ISSN 0130–6545

7.1979

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ДУШАН БЕНИЦКИЙ. Суженые

Словацкая народная живопись по стеклу

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

■

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

■

ИЗДАЕТСЯ С 1955 ГОДА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ», МОСКВА

7 июль 1979

Содержание

Из молодой польской поэзии

ЮЗЕФ БАРАН. МИРОСЛАВ БОРУШЕВСКИЙ. ЮЛИАН КОРНХАУЗЕР. МАРИАННА БОЦЯН. СТАНИСЛАВ ГОСТКОВСКИЙ *(Перевод с польского и вступление Н. Астафьевой)* 3

ТИБОР ДЕРИ — Милый бо-пэр!.. *(Повесть. Перевод с венгерского Е. Малыхиной. Вступление Имре Добози)* 13

КИПРИАН ЭКВЕНСИ — Переживи мир *(Роман. Перевод с английского В. Перехватова)* 81

ДЖОН АПДАЙК — Давай поженимся *(Романическая история. Перевод с английского Т. Кудрявцевой. Вступление Григория Бакланова)* 132

ТОНИНО ГУЭРРА — Стихи *(Переводы с итальянского (романьоло) Романа Сефа, Беллы Ахмадулиной, Евгения Солоновича. Вступление Андрея Тарковского)* 188

Критика

Помнить о прошлом, созидать будущее («Круглый стол» польских писателей в редакции журнала) 196

Т. МОТЫЛЕВА — Женщина и социализм (Размышления о нескольких новых книгах) 205

СОПОСТАВЛЯЯ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ

Диалог об эпохе Возрождения

ВИТТОРЕ БРАНКА — Суждение об итальянском Ренессансе от Петрарки до Полициано *(Перевод с итальянского Евгения Солоновича)* 216

Р. ХЛОДОВСКИЙ — Об итальянском историке литературы Витторе Бранке, его суждениях о Петрарке, Боккаччо, Полициано и о возможностях диалога между католиком и марксистами 222

Публицистика

Проблемы идеологии

ГЕОРГИЙ ШАХНАЗАРОВ — Этот прекрасный новый мир в этом пресловутом 1984 году 228

Против ветра и течения *(Отрывки из книги. Окончание. Перевод с испанского М. Канторович)* 246

Антирубрика

ВЛОДЗИМЕЖ ШИСЛОВСКИЙ — Стихи *(Перевод с польского Катарины Мурадян)* 257

Г. Л. ЛЭК — Упрямый робот *(Перевод с английского Э. Башиловой)* 258

ВОЛЬФРАМ ЗИБЕК — О боже, боже... *(Перевод с немецкого И. Болотникова)* 262

ШАНДОР ТЁРЁК — Общество охраны людей *(Перевод с венгерского Светланы Солодовник)* 263

Р. К. НАРАЙАН — О юморе *(Перевод с английского Елены Калинниковой)* 265

Наши гости

С. Фадеев — Сильвестр Эрдег (Венгрия) 267

Из месяца в месяц 269

Авторы этого номера 285

На обложке: ФРАНТИШЕК БЛОХА *(Чехословакия). Горцы. Живопись по стеклу.*

На стр. 12, 80, 187, 195, 204, 215 рисунки польской художницы МАРИИ ХИШПАНЬСКОЙ-НОЙМАН.

© «Иностранная литература» № 7, 1979 г.

Из молодой польской поэзии

Перевод с польского и вступление НАТАЛЬИ АСТАФЬЕВОЙ

Одно из самых больших богатств культуры Польской Народной Республики — ее поэзия, ее поэты. Когда пробуешь охватить взглядом тридцатипятилетний путь литературы Народной Польши, одинаково поражают два явления: неисчерпаемость творческого дара старейших польских поэтов и неисчерпаемость потока все новых молодых поэтов, вступающих в польскую литературу.

В семидесятых годах половодье молодой поэзии широко разлилось по всей Польше. Если раньше большинство поэтических дебютов было связано с двумя крупнейшими историческими центрами польской культуры — Варшавой и Краковом, то за последние годы наряду с этими двумя городами Вроцлав и Познань, Лодзь и Люблин, Гданьск и Щецин — центры польской промышленности и науки — все более становятся также и центрами молодой польской поэзии. Местные издательства и местные журналы стремятся помочь молодым поэтам войти в литературу.

Такое внимание к молодым вполне естественно: ведь это люди, выросшие уже в Народной Польше, ее надежда и будущее. Сами их биографии, помещаемые на суперобложках их первых книжек и раскрывающиеся в их стихах, могли бы быть прекрасным материалом для социолога, изучающего формирование новой польской интеллигенции. Здесь — лишь пять поэтов, но и эти пять биографий характерны.

Юзеф Баран родился в крестьянской семье в Краковском воеводстве. Сейчас он профессиональный поэт и журналист. Первая книга (1974) была наиболее «крестьянской» по духу, по мироощущению. Некоторые стихи в ней, например «Гнедой», чем-то напоминали поэзию Тадеуша Новака[1]. Вторая книга рисовала жизнь сельской школы, работу и будни сельского учителя — Баран сам к тому времени стал сельским учителем. В третьей книге круг тем автора шире: он смотрит уже «из окна ракеты» (так и называется одно из его стихотворений) и видит как бы всю Польшу и себя в ней.

Мирослав Борушевский опубликовал первую книгу, будучи уже 35-летним. Летом 1976 года рукопись его книги стихов получила первую премию на общепольском фестивале поэзии в Лодзи, осенью того же года пять стихотворений были напечатаны в журнале «Поэзия», а к следующему лету вышла в Лодзи первая книга, сразу же замеченная критикой. Основу книги составляет цикл «Разговоры с мастером». Сын рабочего (отец, как он пишет, оставил ему в наследство «клещи и напильник»), Борушевский восемнадцати лет пошел на фабрику рабочим. В книге Борушевского его постоянным собеседником, его совестью остается его «первый мастер», который когда-то учил новичка не только секретам профессии, но и рабочей морали, рабочей честности.

Краковский поэт Юлиан Корнхаузер — автор нескольких книг стихов, повести, книги очерков о хорватской поэзии XX века, переводчик югославских поэтов; защитил диссертацию и работает в Институте славянской филологии при университете в Кракове. Он постоянно печатается и как критик, любит этот жанр и занимается им столь же страстно, как и поэзией. В его первой книге стихов (1972) выделялись вариации на темы картин Брейгеля и Гойи, как бы концентрирующие весь драматизм европейской истории (входящие в цикл «Гойя» стихи об Испании Корнхаузер писал в последние годы франкистского режима). Импульсивность, публицистичность первых книг Корнхаузера, некоторая перегруженность ассоциациями из литературы и искусства все больше сменяются сдержанностью и лаконизмом.

[1] См. «ИЛ» № 4, 1977 г.

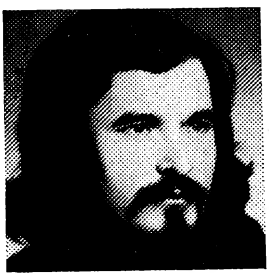
Много общего у Станислава Гостковского и Марианны Боцян. Оба родились в крестьянских семьях: Боцян — в деревне Белченц на Люблинщине, Гостковский — на польском побережье Балтики. Оба окончили филологические факультеты университетов: Боцян — во Вроцлаве, Гостковский — в Гданьске. Оба работали в городских библиотеках — соответственно Вроцлава и Гданьска.

В первой книге Гостковского большое место занимает цикл стихов, связанных с историей Польши: «Грюнвальд», «Ян Собеский». В стихотворении «Урок польского» поэт вспоминает эпизод второй мировой войны — боевой путь и гибель подводной лодки «Орел». Содержание «исторических» стихотворений Гостковского — это воспоминание о событиях польской истории, давней или недавней, и современные, насущные для молодого поколения поиски нравственной позиции, поиски себя. Юношеская боязнь фальши и ложной риторики привлекает и в исторической, и в философской, и в любовной лирике Гостковского:

> Хуже всего для стихов если их автор лжет
> если он подделывает свою жизнь стихи ощущают
> они горбатятся от стыда их кривит и корежит от
> презрения к пишущему...

Эмоциональная, страстная поэзия Марианны Боцян, по словам одного из ее сверстников, писавшего об ее последней книге, «наполнена клубящейся материей переживания и опыта, материей мира». Рисует ли она образ своей матери-крестьянки, объятия любящих, рождение ребенка или прощание с человеком, достойно прошедшим свой жизненный путь, везде у нее органическое, непосредственное ощущение природы и народной жизни сочетается с философской обобщенностью. Длинная и торжественная фраза ее стиха, ораторская интонация напоминают о том, что в старину Польша славилась ораторским искусством. Но современен свободный стих поэтессы, современна и даже несколько непривычна, в особенности для русского читателя, ее пунктуация, как бы отражающая «дыхание» говорящего, длину паузы, повороты мысли. И в этом Боцян имеет таких предшественников, как Норвид в XIX веке и Пшибось в наше время: оба пользовались подобной, «личной» системой пунктуации, чтобы как можно точнее донести до читателя мысль и чувство.

Пять поэтов — пять индивидуальностей. Но если искать у них что-то общее, это, пожалуй, то, что отличало польскую и русскую литературу во все времена: нравственное начало. «Искусство быть человеком» — так называет это Марианна Боцян.



ЮЗЕФ БАРАН

Гнедой

с тех пор как пошел он на службу к отцу
счастья не приносила ему ни одна подкова
пять гектаров тащил на хребтине
а имел за это лишь охапку сена
часто поэтому стоял он понурив голову
и размышлял об ином лучшем мире

случалось однако
что он припомнит
что-нибудь повеселее из детства
тогда он помахивал бодро хвостом
и без понуканий
трогался с места

Всю жизнь дорогу ему указывал
указательный палец дышла
и шел он всю жизнь на два шага впереди телеги

вижу вас обоих как вечером возвращаетесь с поля
воз катится сам по привычке к воротам ограды
перед собой толкая живое пятое колесо
дремлющего гнедого
спит и возница с папиросой прилипшей к губе
в закрытых ваших глазах отражаются звезды
и видится вам в этой вечерней тьме
что вы заблудились и вместо того чтобы ехать домой
едете в небо Млечным Путем на Звездном Возе
отец погоняет сквозь сон а гнедой
тянет небесное дышло и фыркает

Лестница

а все-таки ты должен был
разбить эту тесную скорлупу
деревенского горизонта
где сидел ты сжавшись в комок
как цыпленок в яйце
под крылом у приходского бога

на распутье
ты схватился с отцом
преграждавшим тебе вилами дорогу

ты оставил его там
в пыли проселка
на ослепленной солнцем плоской равнине
которая как пластинка
вращалась со скрипом
по Вечному Циферблату Года

а все это длилось
может быть несколько мгновений
может быть целую вечность

ты должен был
уйти с узелком в руках

и не было для тебя
возврата
потому что лестницу по которой
ты взобрался
кто-то отодвинул
навсегда

■ ■ ■

а прежде всего я поэт
людей несмелых
этих с осиновым листком улыбки
прилепленным к губам и дрожащим
при каждом чуть более сильном
дуновении слов

этих бедных родственников датского
принца гамлета
у которых дурная дикция
и хотя они на каждом шагу говорят
быть или не быть
они делают это так тихо и неуверенно
что ни один шекспир из этого
не сделал еще трагедии

хо хо кто ведает
что в них в сих малых дремлет
и миру
рта никогда
не откроет

какие заколдованные спящие рыцари
ждут в них звука волшебной трубы
чтобы ринуться хлопая орлиными крыльями
и освободить загражденные
с самого рожденья невидимой стражей
врата уст

МИРОСЛАВ БОРУШЕВСКИЙ

Квартира

старичок этот со мною в расшатавшемся автобусе трясется
первый мастер скрюченный годами и в спецовке старой
со штангенциркулем и с гаечным ключом в кармане

на остановках в глаза мне глядит как будто коня
покупает мастер ведь должен знать взять ли меня на смену
за секунду до пенсии за минуту до смерти
сумеет ли сделать еще из меня человека

он едет со мной через город вернее сказать я несу
гроб с его телом легкий как кораблик
который проплыл через все на свете цеха ведя за собой
караваны металла а теперь кортеж неживых цветов
в последний рейс

как же сказать ему ты научил меня мастер
штамповать ложки клепать прикасаться к металлу
через брезентовую рукавицу так научил что через нее
могу на металле буквы писать пальцем

я еду с работы мастер ты меня слышишь
я получил квартиру

Там

ты там поближе мастер тебе лишь стоит
из неба высунуть голову и сразу видишь
всю галактику как когда-то нашу равнину

что там скажи сады плодоносные или
атомные войны или может быть там
длинноволосые девушки пляжи а может быть там
как и у нас фабричные трубы и люди люди
идущие по утрам выполнять план

Карьера

разве ж это карьера копаться в бумагах
передвигать на столе справа налево
а задницу подымать со стула лишь для путешествия в сортир

я отказался от этой карьеры мастер
хоть мне предлагали такую бумажную должность
я отказался потому что как же
выплюнуть вдруг из себя все эти железяки
это как если бы всех знакомых расстрелять за месяц

ты меня выучил мастер
чтобы я на это не годился
я и не гожусь

Столы

мой старый стол
уйдя на пенсию забрал с собою
стук топора и запах дровосека
и дерево слой к слою
а этот новый
воняет лаком
как если бы и в самом деле
земля и конское копыто
носили маникюр
а хлеб
легко доставался

ЮЛИАН КОРНХАУЗЕР

Гойя: кого покидает разум, тому являются чудовища

И жезл мне дайте, как кнут в руку. Еще по
локти в крови. Нетопыри вытрясают воздух,
чудовища, распятые в стенах, дышат плоско.
Солдаты, купающиеся в потоке, кричат друг другу:
идете, короли. В гробу замкнутое небо
истлевает. На закате, на голой пустоши,
актер, играющий Христа, подвешенный на кресте,
воронье пугало, рядом белый голубь, клюющий
пульки зерна, колосья ветра, другой актер
исчезает в сукровице света. И хлеба кусок дайте,
как змею в руку, к изумлению умирающих.
Ничего нет проще, чем молчать. И каменные крылья
богинь взлетают над головами, летят, летят, когда
во рвах лишь мертвые защитники, когда за углом
горят на костре книги, на эстраде мира, под стеной
казней.

Испания

Краюхи хлеба росли в расщелинах
пола. Тростник вколочен в солнце.
Кресты света на спинах. Пришли мы,
не ведая, что такое театр и народ без
театра. Даты, имена, одно за другим.
Чад пригоревшей рыбы, море, как мясо
убитой лошади. Холодные погреба соборов,
в них матери верят в Икаров, свечи
обжигают глаза. Теперь твой черед,
обливающаяся кровью бумага.

*Письменный стол**

Вечное перо
Два фломастера
Шариковая ручка карандаши

* © PIW, 1978.

Чернила для вечных перьев «Орион»
Скоросшиватель
Томик Сандрара
Настольная лампа
Пишущая машинка пачка бумаги карточки
Папки журналы
Записные книжки
Множество книг сербская антология
Петрович Шуица Шицел Славомир Петрович
(а тот был Растко) Вучетич словарь югославских
писателей Томас Павезе Голенищев-Кутузов
Брехт Карпентьер Кортасар Корню и другие
Все это лежит на моем столе
Ждет когда же я что-то скажу

*Альбатрос**

поэзия выстаивает в очереди за лимонами
выходит на пенсию
покупает заграничные джинсы
дышит в закоченевшие ладони
насвистывает последний шлягер
пишет письма знакомым
посещает столицы Европы
считает до десяти —
старый засушенный цветок зла

Белый цветок

Цветок придает мне отваги
Хватает воздух всеми лепестками
Ищет солнца
Солнце выпускает воздух и летит себе

Тонкий стебель колеблется
В воде зеленые крошки
Белый цветок подымается и выпрямляется
Хочет пахнуть
Хорошо выглядеть
Высасывает хрустальную воду
Пьет
Пьет без оглядки
Розовеет
Захлебывается и теряет дыханье
Головенкой стукается о стекло
Опускает бессильно листик
Пахнет

МАРИАННА БОЦЯН

■ ■ ■

прими горящую алость тела
прими белизну кожи которую мрак пронижет
шептала женщина пламенем первой речи
многоцветностью не земли но чего-то существующего
вечно
будучи в центре неведомого мы не знаем сути
только соль пота
слыша таинственный стон в глубине дыханья
который не Есть тело
мы друг для друга
совершенно чужды и как бы неслышимы

существуем от скобок желанья открытых взглядом
сонным шепотом прикосновенья и до острого крика ребенка
замыкающего наше время беспощадной формой
из наших содержаний
покуда белая боль дыханья вдунутого в ребенка
начиная становиться чужой
не поразит наши тела смертельно
черная женщина стоит за нами
в руке ее ветвь тишины и вечного сна

тело — горящий терновый куст от которого остается
светлый алмаз новорожденного
пепел мужчины и женщины

■ ■ ■

Хоть скажет мужчина что не было женщин колумбов —
он ошибается
чересчур даже ясно видят они хоть вслепую топят
континенты живой надежды
чтобы в родильной крови открыть как бы вновь
сотворить из себя зачать тело колумба

время не ценит старых америк богов и первооткрывателей
ибо смысл их исполнился и сегодня стал лишь костюмом

наш век открывает оружье и смерть кошмары глобальных
зверств
еще тайной окутан тот кто грядет из неизмеримой дали
отдельный как лист телесного древа грядет землею
обетованной

женщина видит чреду поколений покорно льющих кровь
кроит из себя лоскуты огненной земли и больше чем
жизнь дать уж не может

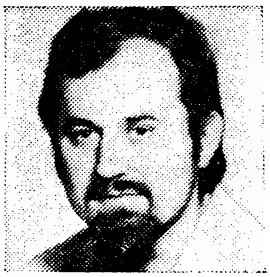
Прощальное слово

за искусство быть человеком, встречающееся столь редко,
а нужное всем столь насущно, как поле и Польша
:воздух в легких: единственная земля под ногами
— — молчанье
что значит слово в устах, которые жаждут,
чтобы ты глянул последним движеньем глаз и тем взглядом,
более мудрым,
чем самые древние водопои мира,
— — утишил в годину смерти
если искусство быть человеком спасает от судного дня
потому,
что было пренебрегаемо от сотворения мира за свою
неопровержимую силу,

за искусство быть человеком, встречающееся столь редко
не коня вороного, не розу, не стих, не царство небесное
— — слезу в годину
смерти, что вечна
как комета над пустыней,
где око ничье не видит, голос ничей не зовет
и лишь волна песка уносит в лоно земли

за искусство быть человеком, встречающееся столь редко

минуту молчанья
над черным квадратом



СТАНИСЛАВ ГОСТКОВСКИЙ

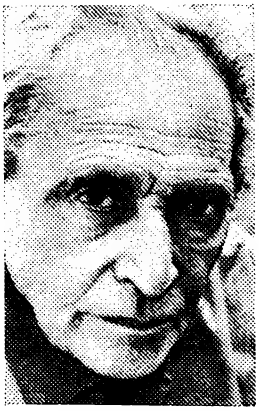
Урок польского

мальчишки в белых рубашках у девочек длинные косы
хоть это уже последний класс школы
все серьезны
в ожидании слов звучащих как пустое эхо
со дна молчания лодки затопленной восьмого июня 1940 года
вместе со всем экипажем то есть 54 матросами
которые тоже имели семьи были сыновьями своих матерей
были сыновьями своих отцов или отцами своих сыновей
подрастающих дочек мужьями любящих жен
трагедия разыгралась близ острова Гельголанд
когда солнце опустило свой взгляд на металлическую мачту
радиотелеграфной станции вещая последние минуты
морю играющему с беспечной веселостью волн

вокруг военного корабля
«Орел»
но прежде чем это случилось
худшее что могло случиться прежде чем корабль
окончательно
затонул я прошу вас помнить что в начале сентябрьской
кампании
он грыз неприятеля с остервенелой яростью в Гданьском
заливе
потом рванулся бешеным ураганом из Таллина
без карт без боезапаса достаточного для честной
борьбы в открытых глубинах
он полетел в пространство подстерегающей смерти
на врага
как тысячи лет назад
малыш Давид убил Голиафа
он торпедировал немецкий транспорт «Рио де Жанейро»
тем самым частично отомстив за сожженную
Варшаву за поруганную польскую землю
как писал капитан Ян Грудзиньский
в своем бортовом журнале
тщательно проанализированном в желудках морских акул
до последней пули всаженной в грудь врага
стояли навытяжку с напряженными нервами
погибая за Польшу
отчизну где мы сегодня спокойно едим хлеб

■

МАРИЯ ХИШПАНЬСКА-НОЙМАН. Польша. Иллюстрация к пьесе Федерико Гарсиа Лорки «Иерма».



ТИБОР ДЕРИ

Милый бо-пэр!..

ПОВЕСТЬ

Перевод с венгерского Е. МАЛЫХИНОЙ

Вступление

Тибор Дери — выдающийся представитель венгерской социалистической литературы, признанный за пределами нашей страны.

Первые произведения молодого Дери опубликованы были в журнале «Нюгат» («Запад») в 1917 году, и его сразу заметили — тогда еще, правда, не литературная критика, но прокуратура. За рассказ «Лия» он был привлечен к суду.

Под влиянием крупных социальных потрясений, значительных исторических событий и собственного жизненного опыта Тибор Дери в конце 1918 года вступил в только что организованную венгерскую партию коммунистов и во время Венгерской советской республики был[1] членом Директории писателей. Когда начался контрреволюционный террор, он эмигрировал и лишь в 1926 году вернулся на родину.

Для его литературной деятельности этого периода характерны стихотворения, написанные под знаком различных мудреных «измов», и влекущаяся к фантастическому, склоняющаяся к сюрреализму проза. В начале 30-х годов, как отклик на усиление фашизма, он создает повесть-трилогию «Лицом к лицу»: этот его памятный труд рассказывал о борьбе немецких коммунистов. Затем, в 1933 году, в Вене, Дери приступил к роману «Неоконченная фраза». Яркое, широкоформатное по социальному охвату изображение рабочего класса Венгрии не могло появиться в Венгрии хортистской. Лишь несколько отрывков из романа увидели свет в «Нюгате», и еще вышла статья Дюлы Ийеша, чуткого и смелого друга, готового бесстрашно принять удар на себя; Ийеш с достаточной ясностью рассказал читателям о большом произведении, вынужденно остающемся у писателя в столе. На долю Тибора Дери выпала тогда трудная бесприютная жизнь: его самые значительные произведения были как бы изгнаны из литературы, это заставило писателя уйти в настоящую внутреннюю эмиграцию, принудило ради куска хлеба тратить силы на перевод литературно безликих бестселлеров.

Освобождение страны в 1945 году принесло ему не только гражданскую свободу, но означало также свободу писать, работать, печататься. Как выдающийся писатель левого направления, он принял участие в нашей заново организующейся духовной жизни в рядах Венгерской коммунистической партии, и в становлении этой жизни безусловно сыграло свою роль первое издание «Неоконченной фразы». Дери писал драмы, новеллы, вышли из печати первый и второй тома романа «Ответ», этого значительного произведения о рабочих, рисующего в широком социальном русле путь рабочего, становящегося сознательным. За роман «Ответ» он подвергся суровой, во многом несправедливой критике; столь же необоснованная полемическая буря разразилась вокруг рассказа «Белая бабочка». Таким образом, к середине 50-х годов Дери оказался не только объектом признания за деятельность его и за талант, но также объектом неумеренной критики и безосновательных нападок. Разумеется, даже все это вместе взятое не может оправдать некоторых его выступлений, которые в конечном счете были на руку контрреволюционным силам. После жестокого нравственного, политического поражения, после понесенного наказания у писателя достало сил вернуться к общественно полезной деятельности.

И вот в 1974 году, в день его восьмидесятилетия, государство удостаивает писателя высокой награды — премии Лайоша Кошута. О том, что происходило за эти семнадцать-восемнадцать лет, будет еще написано много исследований и книг, разбира-

[1] От французского beau-père —свекор. *(Здесь и далее — примечания переводчика.)*

© Déry Tibor, 1976.

ющих сущность взаимоотношений культурной политики коммунистов и социалистической по направлению своему духовной жизни страны. Буржуазный Запад поднял вокруг Дери большую шумиху, и когда писатель в 1963 году отправился в свое первое заграничное лекционное турне, его, «мученика», поджидала в Вене целая армия пропагандистов, жаждущих скандала, сенсаций. Однако Дери, не делая при этом никаких показных самокритических жестов, заявил недвусмысленно: «В нынешней Венгрии я могу писать совершенно свободно, и эту свободу творчества ограничивает лишь одно условие — творчество не должно быть направлено против социализма. Я же и ныне, равно как и в прошлом, являюсь социалистом, так что это ограничение принимаю добровольно». Та же позиция нашла свое выражение и в выступлениях Тибора Дери во время поездки в Советский Союз, она же сконцентрирована в его последующих произведениях, и можно смело сказать: начиная с шестидесятых годов мы наблюдали поистине ренессанс в творчестве Дери. «Господин А. Г. в городе Н.», «Отлучающий», «Милый бо-пэр!..», мемуары «Приговора нет», стяжавшие признание, но и оговорки; волнующие душу зарисовки «Приношения дня», рассказ «Любовь» и кинофильм по нему — все это было духовным самовыражением писателя, проницательно наблюдающего мир и себя в нем, писателя, неизменно готового и способного к художественному обновлению.

В этой способности Тибора Дери к обновлению восторжествовала не просто воля к жизни, но воля к творческой, к разумной жизни, а также нравственная победа участника общих усилий по созданию новой Венгрии. Эту человеческую, писательскую победу он мог одержать лишь благодаря тому, что, следуя логике своего собственного жизненного пути, поборов внутренние и внешние трудности, сознательно встал на путь солидарности, союза, принципиального единства с историческими, основополагающими принципами нашего народного государственного строя.

Тибор Дери — писатель глубоко современный, один из самых известных и читаемых в мире наших прозаиков. Секрет современности и широкого успеха Дери не в том, что он разрыхлил традиционную структуру романа, рядом с полномерно обрисованными характерами набросал небрежные эскизы образов, в то убыстряющееся, то совсем затухающее сюжетное движение вмешал пространные размышления философского и социального характера, свою тягу к «чудакам» и чудачествам сопряг с объективной достоверностью, взволнованное восхищение — с иронией. Все это он досоздал, если угодно, приладил к главному, все решавшему шагу, когда он вырвался из пресловутой венгерской резервации, угадав, увидев за противоречием «господин — слуга» иное, исторически неизбежное и непримиримое противоречие «буржуа — пролетарий». Именно благодаря этому Дери и подключился к общим проблемам мировой современности — это было действительно современное решение: показать все устарелое через внешние и внутренние битвы нарождающегося рабочего движения; понять их, поставить себя на службу им, выразить их с наибольшею силой.

Думаю, в этом — или в чем-то подобном — и заключается разгадка значения одного из самых выдающихся его эпических полотен — романа «Неоконченная фраза».

На протяжении минувших десятилетий нас связывали с Дери то суровые и тяжкие споры, то дружеские, товарищеские рабочие контакты. Беседовать Дери любил. Когда соберутся двое-трое, ну, пятеро-шестеро у него дома, в Фюреде. Свою «литературную жизнь», которую кое-кто представляет себе в виде некоей агоры, набитой шумной толпой, он вел в узком — часто меняющемся по составу — кругу, то есть в обстановке, когда еще возможен углубленный обмен мыслями, когда у собеседников и в самом деле имеется интерес и терпение выслушивать более или менее сложные умозаключения друг друга. Если случалось иногда, что я приглашал его на несколько более многолюдные собрания, он недовольно ворчал: «Сорок тысяч писателей на Ракошском поле!» [1] Но, бывало, в кои-то веки все-таки приходил. Однако мне никогда не удавалось подвигнуть его на разговор о том, как бы расположил он по значимости свои произведения или хотя бы детальнее рассказал о них. Возможно, я не умел найти нужный подход к нему.

Теперь уже вместо диалога возможен лишь монолог. Эскиз собственных моих раздумий.

Сколько бы я ни встречался с ним, всякий раз при виде его хрупкой фигуры, мягкого лица, задумчивых глаз я задавался вопросом: где и почему пребывает в этом слабом, хилом теле его пресловутое — иной раз просто заклятое какое-то — упорство? Ибо он был упорен. И более всего, пожалуй, тогда, когда писал — безо всякой надежды напечатать, выпустить в свет, услышать отклик, но в сознании своей правды и своего таланта,— писал долгих четыре года, влача самое жалкое существование, свою «Неоконченную фразу». А ведь мог бы как-то и приблизиться к хортистскому курсу (были такие). Мог бы сделать для этого хоть какой-нибудь жест.

Он был упорен и в том, что никогда не довольствовался однажды сделанным. Он был новатором, постоянно и со страстью, неустанно меняя традиционный облик

[1] Шутливый намек на историческое собрание—своего рода вече—представителей венгерских сословий на Ракошском поле (теперь—район Будапешта) в бурные дни революции 1848 года.

венгерской прозы. Он был мастером сюжетного повествования, но строил сюжеты всякий раз по-иному, и повествования его все чаще обрывались, прерывались трагической или, напротив, иронической гимнастикой ума, выливавшейся то в фантастические, гротескные картины, то в глубокие рассуждения. Благодаря этой своей склонности к новаторству он постоянно как бы омолаживался, даже в преклонные годы, а омоложение, в свою очередь, лишь подстегивало его новаторские склонности.

Если мы не были слишком богаты писателями-насмешниками, то и бедны ими не были тоже. Однако Дери более всего высмеивал самого себя, собственную бренность, свои сомнительные предубеждения, запоздалые сетованья свои, им самим себе назначавшиеся роли. Ведь он написал не только «Приговора нет», но и «Милый бо-пэр!..», с той иронической и мудрой отрешенностью, какая и положена всему тому, что страстно желанно и — невозвратно. Он мог себе это позволить. С той высоты, на которую он поднялся, он мог уже с усмешкой взирать на собственные человеческие габариты.

ИМРЕ ДОБОЗИ

Я родился в Будапеште в конце девяностых годов, значит, если не ошибаюсь в счете, мне сейчас ближе к семидесяти, нежели к восьмидесяти. Все семейные документы, в том числе моя метрика и свидетельство о крещении, сгинули во время осады под обломками нашего разрушенного бомбой дома, а раздобыть копии за три минувших с той поры десятилетия мне было, видимо, недосуг. Я еще в состоянии припомнить, когда требуется, девичью фамилию матери, равно как и жены; забыть собственное прозванье не удалось бы, даже если бы захотел,— давать автографы и сейчас еще приходится часто. Среди прочих хранимых памятью сведений, имеющих отношение к книге записей гражданского состояния, следует упомянуть о моем перворожденном сыне, преставившемся во младенческом возрасте неисповедимою милостию господней в середине сороковых годов; супруга моя отмучилась много позднее, лет через десять после него, разрешившись от бремени вторым моим сыном Тамашем, и таким образом вот уже шестнадцать лет мы живем с сыном вдвоем. Или семнадцать лет — возможно, впрочем, восемнадцать или девятнадцать, не все ли равно.

Коль скоро природа одарила меня столь выдающейся памятью, надлежит ею воспользоваться. Отсюда эти записки. Разумеется, они пишутся исключительно для себя — ведь и курица для себя несет яйца; иными словами, перед смертью я намереваюсь уничтожить их собственноручно. Осуществить свой замысел у меня, естественно, недостанет душевных сил, а потому прошу первого, кто записки сии обнаружит, оказать мне великую милость и сжечь их. Увы, увы, это пожелание также не будет выполнено: кто, в самом деле, решится уничтожить хотя бы одну-единственную строку известного всей стране писателя? Мой сын Тамаш? Для которого каждый мой чих — святая заповедь? Который не способен усмехнуться надо мною даже во сне?! Да и вообще — где он будет в тот час, когда я умру? В тот безотрадный рассветный час — ибо случится это на рассвете,— когда я с последней гримасою скажу однажды миру «прощай»?

Где ж ему и быть? В постели Кати, черт его подери! У моей же постели будет коротать ночь какой-нибудь верный филолог, а то и двое-трое сразу, один вернее другого, не говоря уж о непременном репортере, который, бредя домой из «Фесека»[1], завернет ко мне, чтобы, навострив шариковую ручку, перехватить мои последние хрипы и подбросить их выпускающему перед самой сдачей номера в набор. А кстати, каким будет мое последнее слово? Положиться ли на вдох-

[1] Популярный в Будапеште клуб артистической и художественной интеллигенции.

новение или отработать его заранее? Разумеется, память у меня еще превосходна, но как бы второпях, в последнюю минуту, все ж не позабыть подготовленный текст... Разве что набросать на бумажке и сунуть под подушку? В частной моей жизни я не чураюсь странностей, это верно, однако, представая перед публикой, следует блюсти приличия, а посему последнее слово есть не только право человека, но и его долг.

Впрочем, находясь в полном и совершенном здравии, я могу, по-видимому, еще лет десять спокойно предаваться размышлениям на эту тему.

Высоко над ореховыми деревьями моего сада пролетает балканская горлица, за ней другая, и обе, медленно взмахивая крыльями — которые, должно быть, подобно следам ног на траве, приминают в прогретом солнцем воздухе тропу,— исчезают над крышею соседней виллы. Если б и я мог так же неслышно исчезнуть в предназначенных мне кругах неба или ада!

Итак, мы живем с сыном одиноко вот уж семнадцать-восемнадцать лет — впрочем, может статься, и все девятнадцать. Память на числа у меня неважная, еще и по этой причине я не знаю, сколько мне лет, да и какое это имеет значение! Годы свои я считаю по числу зубов; резцы и клыки у меня — за исключением одного, нижнего,— все на месте, правда, четыре-пять кариозных коренных пришлось удалить, но их отсутствие заметно, только когда я расхохочусь. Смеюсь же я редко и не иначе как над чужою бедой; а поскольку человек я, в сущности, доброжелательный, то причиной для веселья служит мне чаще всего вид старика в холодный зимний день с каплей под носом. Приметив собирающуюся в его ноздрях влагу, я неотступно слежу, как она сгущается затем в каплю, выкатывается из ноздри и какое-то время остается висеть на кончике носа. Весь вопрос в том, сколько она провисит. И когда, наконец, в миг полного созревания, вытянувшись грушей и поблескивая, она падает вдруг на отворот пальто или на жилет злополучного старца, мною овладевает приступ неудержимого смеха. А старик вперяет в меня долгий тусклый и тупой взгляд, не понимая, с чего я развеселился. И если тем временем следующая капля...

А из всего этого явственно следует, что, хотя мой собственный нос пока остается сух, меня одолевает страх, как бы рано или поздно, лет, скажем, через десять, и ему не впасть в тот же самый грех.

Вот, например, мой коллега, Ференц Галгомачаи, именитый поэт. Он много моложе меня — да хранит его господь еще минус сто двадцать лет,— однако нос у него течет зимой даже в натопленной комнате.

Недавно я повстречался с ним в морозный день на площади Свободы. Элегантный короткий тулупчик, узкие замшевые штаны, широкий голубой шарф вокруг шеи, меховая шапка набекрень. Он всегда облекает свое дряхлое тело в наимоднейшие тряпки, только бы не отстать от лихой молодежи.

Бросаю взгляд на его длинный нос. И тотчас обращаю глаза к небу. Откинув назад голову, он вслед за мной всматривается ввысь. Снизу мне хорошо видны его ноздри, правая уже становится влажной.

— Что ты там видишь? — спрашивает он.

— Горлинку,— говорю отрешенно.— Очень люблю горлинок. Кстати, читал ты Кароя?..

— Читал,— отвечает он.— Слабо.

— Н-да,— отзываюсь я.

Капля уже зреет, все мое внимание приковано к ней, я не могу сосредоточиться на слабостях упомянутого романа Кароя. Да и вообще не читал его. Вдруг я с ужасом замечаю, что рука приятеля моего Ференца Галгомачаи тянется к карману — явно за носовым платком. Рука дрожит. Болезнь Паркинсона? Или просто старческий тремор? Но сейчас мне некогда разбираться в этом. Я должен отвлечь его внимание.

— Смотри-ка, вон она! — говорю я, вперив глаза в небо.

— Еще одна горлинка?

— Да уж не сова,— отвечаю.— С совой я встречался в последний раз на страницах романов сестер Бронте.

— А я в Пуркерсдорфе, на колокольне храма святого Иеронима,— сообщает мой коллега,— притом со стареньким, потрепанным экземпляром. Но глаза у нее сверкали словно карбункулы.

Карбункулы? Смехотворно! Из лексики Йокаи![1]

— Вот именно, словно карбункулы,— повторяет он нараспев, анапестом.— Когда ж это? Тому уж более четверти века, дружище! Точнее, летом сорок седьмого, в августе.

Блистает своей памятью, словно карбункулом.

— Не могло быть в августе сорок седьмого,— говорю наугад, чтобы оттянуть время,— в ту пору еще не давали выездных паспортов на Запад.

— Мне дали,— говорит он, укоризненно на меня смотрит, потом опускает голову, его рука снова ощупью пробирается к карману. А я, словно завороженный, не могу оторвать глаз от его носа. К счастью, сила земного притяжения вовремя одерживает победу, грушевидная капля отрывается от ноздри и уже поблескивает на отвороте модного тулупчика. Я усмехаюсь... какое там! Я хохочу.

— Что ты смеешься?

— Просто так.

С каких уж пор я живу с сыном вдвоем! То есть один — с ним, во главе редеющей процессии известкующихся воспоминаний, сопровождаемой довольно шумным аккомпанементом Тамаша. Ну, а не будь Тамаша? Лучше ли было бы мне совсем одному, лишь на то уповая, что, когда придет мой черед, чья-нибудь чужая рука милосердно утрет мои сопли-слюни?

Я пока не нуждаюсь в сыновней поддержке и не желаю ее, но сын служит единицею измерения для оценки моего физического и духовного угасания. Если мне все еще внятны его заурядно глупые вопросы и сомнения — значит, я пока что в здравом уме и лишь умеренным темпом — паук по паутине — спускаюсь к вратам моего будущего ада. Вообще же, если я не ошибаюсь, из Тамаша выйдет здоровый, мелочно важничающий, дюжинный человек с дюжинными страстями и соответствующей им ограниченностью, об этом свидетельствует его любовь к порядку и поистине невероятная правдивость. Мало-помалу оправится он и от впитанного с детства преклонения передо мной, обнаружив со временем, сколько лгал я за свою жизнь, особенно в молодые годы, когда еще была в том необходимость, и станет от этого, несомненно, более здоровой натурой. Я предрекаю ему долгую жизнь, хотя, вероятно, она будет короче моей.

С умилением вспоминаю о том, сколь достойно вел себя по отношению к нему после смерти его матери, как и в младенчестве его, так и много позднее, когда он уже передвигался на собственных ножках. Словно вознамерясь исправить все оплошности моей жизни, иначе говоря, символически — в лице одного человека — воздать за

[1] Йокаи Мор (1825—1902) — венгерский писатель-романтик.

все невзгоды, возможно причиненные мною человечеству, я каждый божий день ровно в семь часов вечера — даже если для этого нужно было покинуть постель любовницы или оторваться от карточного стола — появлялся к вечернему купанию малютки и дожидался, пока его уложат в постельку, дабы он унес в свои сопровождаемые желудочными коликами сны облик склоненного над ним отца. Чтобы не скучать, я выпроваживал иногда няньку и купал ребенка сам. Подведя ладонь под его затылок, я осторожно покачивал младенческую головку над водой, глядя с легкой брезгливостью на корчащееся, сучащее ножками, извивающееся розовое тельце, слушая слабые вскрики, напоминавшие звуковой гаммой короткие вскрики его матери, когда она ночами искала радости в моей постели. Воспоминание поначалу развлекало меня, но со временем я как-то отстранился от ванной комнаты и занял свое место отца и главы семьи у колыбели ребенка, а позднее — у его кроватки.

Он уже вышел из младенческого возраста, когда я, сидя как-то вечером у его ложа и мысленно рисуя черты матери над спящим детским личиком, заметил вдруг, как легкое летнее покрывало приподымается над его пахом. Признаюсь, я был потрясен. Потрясен настолько, что лишь несколько минут спустя встал и вышел из детской.

Войдя в смежную комнату, которая была когда-то спальней жены, и остановившись перед большим, до самого пола, зеркалом, я принялся изучать свое отражение. Из соседней комнаты слышалось мирное посапывание ребенка.

Мне конец, повторял я про себя потрясенно. У меня уже есть преемник. Мне конец. До сих пор мир принадлежал мне, и вот — вступает он. Значит, я старюсь. Что будет со мной?

Я попробовал подсчитать, сколько же мне лет. И малодушно оставил это занятие: числа, казалось, подтверждали сделанный мною вывод. Я продолжал разглядывать свое отражение в зеркале. Видимость этому выводу противоречила. Пожалуй, мой биологический возраст был меньше числа лет. Я все еще был выше среднего роста на голову, а то и полторы, живот мой подобран, осанка не хуже, чем в бытность мою гусарским поручиком, в длинных волосах, хоть и стали они совершенно белы, иной раз все еще оставался зуб расчески; щеки гладкие, без морщин, морщины на лбу — свидетельства не возраста, а труда... да и походка — я все присматривался к ней, беспокойно расхаживая взад-вперед по комнате и то и дело возвращаясь к зеркалу,— походка оставалась по-прежнему пружинистой и бесшумной: помню, когда я вот так же, под вечер, входил к жене — тогда она еще была жива, бедняжка,— она всякий раз вздрагивала, так как не слышала за дверью приближения моих шагов. И голос мой оставался юношески резким, будто свист меча; правда, меч-то несколько повыщербился.

Итак, я стоял перед зеркалом. Теперь я уже понимал, что значит выражение: он был убит наповал. Или: получил удар кинжалом в спину. Я весь дрожал, охваченный возмущением и — признаться? не признаваться? — страхом смерти. В зеркале я видел мои длинные белые волосы — нет, все-таки они не обманывают. Как и гусиные лапки возле глаз, сколь они ни тонки. Первая эрекция сына — словно красный флажок, знак запрета, поднятый передо мной. Берегись, дальше пропасть! Красный глаз семафора: дальше пути нет! Этот семафор встал передо мною словно крутая гора, словно скала, встал преградою моим пружинистым, бесшумным шагам к будущему, казавшемуся бесконечным. Я впервые ощутил, что умру. До тех пор не верил — видит бог, я не лгу.

Меня только что не трясло. В дальнейшем я по-прежнему владел своим организмом при любых душевных передрягах — он проявлял себя самое большее сердитым вздохом, реже — зубовным скрежетом или коротким ударом кулака по столу. Сейчас у меня дрожали даже ноги. Я подтянул к зеркалу стул, сел. И продолжал рассматривать себя. Но эта маленькая, уже готовая к запуску ракета перевернула все мое нутро. Теперь я знал, я понял: новое поглощает старое. Мне конец. Эта минута меня так всего перевернула, что в тот вечер я даже не вышел из дому: оказаться среди людей было бы просто непереносимо.

Надеюсь, что час моей действительной смерти я встречу с бóльшим спокойствием. Правда, к тому времени я буду много старше.

Удар судьбы лишил меня даже обычного чувства юмора. Я серьезно отнесся к себе, а следовательно, и к окружающему миру. На счастье, вошла моя домоправительница Жофи и спросила, не приготовить ли ужин, коль уж я так засиделся дома.

— Ну как же,— ответил я невразумительно.

— Значит, приготовить?

— Не нужно. Скажите, Жофи, сколько вы на мне зарабатываете? На каждой моей трапезе?

— О чем это вы?

— Ну, хоть так, приблизительно... В среднем?

— Не пойму я вас, молодой барин.

Она все еще так меня величала, даром что голова моя давно уж белым-бела.

— Я спрашиваю, сколько вы крадете у меня в среднем на каждой еде? — выговорил я, не запнувшись.— Или вам помесячно сподручнее?

Я без смеха смотрел на хватающий воздух рот и протестующе вскинутые трясущиеся руки Жофи; впрочем, мне вообще было не до смеха, что правда, то правда.

— Сколько денег вы уже припрятали от меня в сберегательной кассе? — спросил я, глядя ей прямо в глаза: наполнятся же они, наконец, слезами!

Но в тот вечер мне решительно ничего не удавалось. Старуха медленно опустила вскинувшиеся было руки, неожиданно рассмеялась густым, хриплым смехом и всем своим грузным телом двинулась ко мне, шаркая ногами. Обошла меня сзади и вдруг поцеловала в затылок.

— Дурная это шутка, молодой барин, право,— сказала она,— вам уж и не по возрасту. Кабы не знала вас невесть с каких времен... Чем надо мною шутки шутить, лучше бы воспитанием паршивца этого занялись...

— Что там опять с ним неладно?

— А... и сказать-то совестно.

— Ну?

— Да кто ж, как не он, юбку нынче задрал девчушке той, что ваши рубашки приносила из прачечной? В дом больше не впущу паршивку этакую.

— Что ж ее не впускать? — сказал я.— Пускайте, пусть мальчик учится.

— Другому чему пусть учится негодник.

— Жофи,— сказал я,— вы по вечерам, как уложите мальчика, не замечали, что творится там, под одеялом его?

Жофи молчала.

— Позвольте, молодой барин, я по своим делам пойду,— сказала

она немного погодя, покраснев всем своим старым, морщинистым лицом.— Со мной вы уж не безобразничайте!

— Да ведь не я безобразничаю, Жофи,— сказал я,— но что верно, то верно: там, под тем одеялом, готовится великое свинство. Ну есть ли большее свинство, Жофи, чем смерть? Там, под тем одеялом, свистулькою моего сына мне ежевечерне пишут смертный приговор. Эта маленькая свистулька станет для меня трубою последнего суда.

— Вам горячий ужин приготовить, молодой барин? — спросила старая Жофи.— Или довольно будет чаю, масла, баночки сардин, может, еще чего?

— Вы хотите пережить меня, моя старушка? — спросил я.— А ведь там, под одеялом, и по вашу душу свистят. Сколько вы еще собираетесь протянуть с этими негнущимися, опухшими ногами, плохо работающими сердечными клапанами, больной поясницей? Почему в конце концов на пенсию не идете?

— Это уж мне верная смерть,— тотчас откликается Жофи.— Так что вы потерпите: еще какое-никакое время пошаркаю тут подле вас.

Зачем человеку нужно усугублять собственные страдания ранами своих ближних? Или когда худо ему в собственной шкуре, он черпает радость в том, что и другому не лучше? Столь безграничен эгоизм? Нам невыносимо, что сосед наш крепче, здоровее, моложе, о, главное, моложе? Моложе нас, в ком сознание собственного бессилия плодит зависть, как отбросы — червей. Еще несколько считанных лет — и эта символика распада начнет проступать на мне там и сям, и злорадство, сопутствующее зависти, все чаще станет просить себе слова, да я и теперь иной раз содрогаюсь от собственного моего безудержного смеха при виде старца с каплей под носом. Вот и тогда, помню отлично, я чуть ли не весело смотрел на ожиревшую согбенную спину Жофи, когда она, шаркая ногами, шла из комнаты. Уж ее-то переживу, повторял я про себя. И даже словно бы расчувствовался. Ну и пусть подворовывает, думал я — ибо не сомневался в этом,— все равно ведь мне оставит свои денежки, родни-то у нее никакой. Чем больше уворует, тем больше мне достанется. Дело в том, что к этому времени я обнаружил, как мне показалось, на богатой цветовой палитре моей натуры некоторые признаки скупости.

Но если все-таки она оставит свои деньги не мне? А например, сиротскому дому в Кишкунмайше или монашкам ордена святой Мелании в Боготе? Тоже не беда! Почему бы и мне не принять участие в оздоровлении общественной морали, тем более на чужие средства? Какая важность, что я не верю в возможность духовного совершенствования, ежели, пусть не веруя, делаю то же самое, что сделал бы верующий! И это даже нельзя назвать лицемерием, если благородное движение моей души я сопровожу тонкой усмешкой.

Господи боже мой, ведь минуло то время, когда я — как говорится — с радостью положил бы голову под меч во имя моих идеалов. Ну пусть не с радостью, но положил бы. И не только денег не пожалел бы — в данном случае денег Жофи,— но и все земные блага, буде они у меня имелись, отдал бы не колеблясь на благородные, мною самим тщательно отобранные цели. Не только «vita et sanguina», но и «avena»[1].

Во что же превращается человек?! — ошеломленно спрашиваю я себя ныне, на закате долгой жизни.

---

[1] «Жизнь и кровь», «овес» *(лат.)* — ироническая отсылка к известному девизу феодалов: не только «жизнь и кровь» за сюзерена, но и «овес» — то есть готовность и на материальные жертвы.

Как восхитительно беззаботен был я прежде! Как беззаботно обращался с тем, что имел, и еще более — с тем, чего у меня не было. Я ощущал в себе запасы, каких достало бы и на сто жизней, и силами моими и деньгами я делился щедро со всяким встречным и поперечным и собственное будущее мое бездумно закидывал за спину, словно теплый, навечно мне приданный плащ. И вот теперь... теперь я стал скупердяем, horribile dictu[1], мне даже чужой крови жалко. Не говоря уж о собственном достоянии. Вон ведь что пожалел — гроши те, что прибирает к рукам Жофи, ведя мое хозяйство.

А давно ли это со мной?

Если не ошибаюсь, скупость стала развиваться у меня в то самое время... точнее: я с того времени начал наблюдать за собою и протокольно фиксировать замеченное, когда мужская сила Тамаша восстала против меня. Против меня — верно я выразился?

На другой же день, а может быть, еще день спустя, внешне несколько успокоившись, я пошел к другу моему доктору Шандору Шандору, чей сын примерно одного возраста с моим. Шандор человек глупый, но мне он нравится именно своей обыкновенностью. Благодаря коей он даже не чувствовал себя польщенным моим визитом.

— Ну, что...

— Ну, как...

— Хочу кое о чем спросить тебя, Шандор.

— Изволь, смелее! Попросить жену выйти?

Жена у него молодая, красивая, с жаркими черными миндалевидными глазами над выдающимися по-татарски скулами. С такой тоненькой талией, чуть подрагивающими бедрами она не посрамила бы себя и в постелях, получше этой. Не знаю, где уж раздобыл ее Шандор.

— Ну что ты, зачем? Я о сыне твоем хотел спросить. Ведь он примерно одних лет с Тамашем.

— В октябре ему исполнилось восемь. А твоему?

— Восемь? Что-то в этом роде.

— Ты не знаешь, сколько лет твоему сыну?

— Я и своих-то лет не знаю.

— Ах, Флориш, Флориш,— проговорила жена Шандора и погрозила пальчиком.— Вы кокетничаете своим возрастом.

— Возможно,— отозвался я коротко: мне испортил настроение этот тривиальный, столь не идущий к ее благородной стати жест, этот грозивший мне указательный палец.— Скажи, Шандор, у твоего сына уже была эрекция?

— Как ты сказал?.. Была ли у него?.. Ну, разумеется, была.

Его жена покраснела. Теперь я простил ей тот дурацкий жест, потому что покраснела она естественно, красиво.

— Ну и ты? — спросил я Шандора.— Какое это на тебя произвело впечатление?

— Какое? Я порадовался. Здоровенький малец растет.

Чего же еще и ждать от глупца?

— А тебе не пришло в голову, старый ты осел,— сказал я,— что ты умрешь?

— Эка! Ведь это могло бы прийти мне в голову и тогда, когда он только на свет появился, мне-то было уже за сорок.

— И что импотентом вот-вот станешь, не подумал?

— И про это не думал,— расхохотался Шандор.— Это уж женина забота.

---

[1] Страшно сказать *(лат.)*.

Я встал и откланялся, не дожидаясь, пока юмор разгулявшегося самца, теперь уже неизбежный, окончательно лишит меня вкуса к жизни. Они не слишком удивились внезапному моему уходу, я давно приучил их смотреть на писателей, как на безумцев: так для обеих сторон приятнее.

Собственно, в то время, когда я начал за собой наблюдать, то есть приблизительно лет десять тому назад, причин для подобного наблюдения еще и не было. Надо мною шествовала ранняя осень, сентябрьская переходная пора, природой едва обозначаемая: разве что воздух становится чуть прохладнее после августовской жары. Если бы мой маленький сын не выбросил против меня свой бунтарский стяг, я продолжал бы стариться, того не замечая; мне было это тем легче, что и тогда уже мои волосы были белы как снег, да и морщин на лице с тех пор, пожалуй, не прибавилось — может быть, только самую малость,— память же пострадала не более, чем лист абрикосового дерева от легкого дуновения ветерка: я почти одинаково ясно мог воспроизвести, как мне помнится, события, случившиеся десять лет назад или происшедшие вчера. И имена я почти никогда не путал. И еще редко бывало со мною в ту пору, чтобы, сидя в саду, в тени огромного орехового дерева, и наблюдая медленное колыханье выстроившихся вдоль боковой стены дома девяти тополей,— это колыханье захватывает стволы целиком, от верхушки до земли, сверху донизу,— да, редко бывало так, чтобы я вдруг непроизвольно вздохнул в такую минуту. Мое тело, мой мозг были еще безупречны или, по крайней мере, такими казались. С учетом, разумеется, того прискорбного факта, что человеческий организм начинает распадаться с минуты рождения и распадается одновременно с ростом. Но ведь не испытывал же я зависти, если позади меня послышатся вдруг шаги бегущего ребенка и стремительная фигурка в мгновение ока оставит меня позади — я был убежден, что при желании легко мог бы бежать вровень,— просто *я не хотел* бежать. И почему бы тот факт, что *я не хотел,* счесть признаком старости? Что же, если я вижу на Пашарети ищейку-щенка, который носится взад-вперед, хлопая ушами,— я тоже должен носиться, тоже хлопать ушами? А если надо мною пролетела ворона, мне что же, лететь за нею? И если каменщик, стоя на лесах и шлепая на кладку раствор, насвистывает себе под нос, я тоже обязан свистеть, как он? И ходить в джинсах и красной рубашке — оттого что так одевается нынешняя молодежь?! У меня в то время даже не возникало еще ощущения опасности из-за того, что я от молодых отличаюсь, не возникало потребности быть на них похожим, я двигался естественным шагом по начертанному для моего возраста пути. И когда после холодной октябрьской ночи я замечал в оранжерее тронутую заморозками розу или до времени замерзшую хризантему, это не производило на меня особого впечатления.

Увы, с той поры как Тамаш своим маленьким минометом взорвал мой покой и я принялся наблюдать себя, признаки увядания, правда, весьма медленного увядания, начали обнаруживаться вдруг то в одном, то в другом — вернее, становилось видимым то, чего до сих пор я не видел. Не видел по легкомыслию, поверхностности или потому, что сам же отодвигал в подсознание — из самозащиты. Так, стоя однажды утром под душем и намыливая свои все еще хорошей формы ноги, я неожиданно увидел, что в области щиколотки, но значительно выше, вдоль большой берцовой кости и даже с переходом на икры, изнутри, под белой кожей, проступает паутина причудливо извивающихся тоненьких лиловых линий, напоминая гидрографиче-

скую карту с помеченными кое-где пятнышками озер. Так что же, вчера этого еще не было? Вчера я еще не видел. И не коварство капилляров тому виной, а всего лишь трусость глаз моих, которые не желали заметить, что мои ноги стареют. Они начали стареть со дня моего рождения, даже раньше, у матери в матке, тогда еще не удаленной, и это будет продолжаться до тех пор, пока меня не поглотит могила.

Могила. Вот и слово это отсутствовало раньше в моем лексиконе...

На похороны я не ходил. Сперва отклонял докучные приглашения, отговариваясь тем, что боюсь вдруг забыться и начать вслух посмеиваться над лицемерными аттракционами, какими, за неимением лучшего, развлекает себя траурно одетая публика; позднее, когда к моему отсутствию привыкли, уже и не требовалось отговорок, чтобы, оставшись дома, молча, про себя, оплакать того, кто стоил слез. Таких, к счастью, бывало немного. Чем старее человек, тем больше отсевков застревает на его сите, последним — к сожалению, последним — оказывается он сам.

Я привык к тому, что не хожу на похороны, вот это меня и встревожило. Значит, у меня появились привычки, безошибочный признак старости,— морщинки не только на коже, но и в душе. И вокруг меня к моим привычкам, оказывается, привыкли. Настолько, что, когда я однажды все-таки явился на похороны — когда ж это было?.. в прошлом году?.. позапрошлом?.. или, может, еще раньше? — люди стали перешептываться за моей спиной. Слух у меня для моих лет необыкновенно острый — по крайней мере, еще недавно был таковым,— когда речь заходит о том, что меня интересует; ко всему прочему я глух был прежде, остался глух и теперь. На Фаркашретское кладбище меня выманили похороны мужа некоей известной пештской красавицы. Был чудный осенний день, природа застыла в осеннем уборе — что ж, подумал я, прогуляю себя немножко. Увы, я не принял в расчет, что встречу так много знакомых.

— А этого каким ветром сюда занесло? — послышалось за моей спиной справа.

— Этот с чего заявился? — прошелестело слева.

— Ему-то здесь что надо? — нескромно громыхнуло уже сверху, из туч, с неба, быть может, голосом самого покойника.

Шепот:

— А ты не знал? У него же связь была со вдовушкой.

— Да ну?

— Много лет!

— Кому ж это не известно?

Кажется, даже деревья, даже кресты на могилах с любопытством оборачивались мне вслед, когда я медленно брел, по щиколотки в огненной осенней листве, за похоронными дрогами, оттянувшись в самый конец траурного шествия. Там был tout Budapest [1], так почему бы и мне не почтить память покойного? Не прийти потому только, что в грош его не ставил? Это еще не резон. Я жалел его жену, независимо от того, была у меня с нею связь или нет. Она шла за дрогами совсем одна, не опираясь ни на чью руку, гордо выпрямив стройный стан, вся в черном, с открытым лицом; длинная траурная вуаль, откинутая через шляпку назад, покрывала ей плечи. В пяти шагах позади нее сопела, всхлипывая, воронья стая родни, за ними шли вороны официальные, тоже все в черном, а дальше — бесконечная вереница стариков и ста-

[1] Весь Будапешт *(франц.)*.

рух, и все они горячо кивали, словно твердили: ну вот, так-то! В смраде старых тел совсем терялся запах молодости.

— Оказывается, и тебя можно увидеть в кои-то веки?

Я знал: из всех воронов и псевдоворонов, готовых на меня накинуться, он первым — как только увидит — вонзит в меня свой клюв. Он настолько стар и дряхл, что передвигается уже не на ногах — на разбухших варикозных венах, его голос так надтреснут, что об него спотыкаются даже мухи, его лицо известково-бело, словно его же посмертная маска, и несмотря на все это он так нахально назойлив, как будто в его жилах переливается жизненная сила какого-нибудь двадцатилетнего непоседы. Незачем и говорить, что он поэт, лирик.

— Так, значит, и ты иногда посещаешь кладбища?

— Редко.

— Знаем... это мы про тебя знаем. Ну да ведь бывают исключительные случаи!

И он еще шаловливо подмаргивает слезящимися оловянными глазками! Вдобавок ко всему — должно быть, вящего курьеза ради — он именует себя Яношем Курейсом-младшим, как будто можно вообразить Яноша Курейса-старшего! Прикрыв ладонью глаза от солнца, хотя солнца нет, а если есть, то светит по-осеннему слабо, он отыскивает взглядом идущую за похоронными дрогами вдову.

— А ведь все еще хороша, мм?.. хе-хе-хе...

Ах ты, мумия ходячая, говорю я про себя, да ведь ты вот-вот рассыплешься, а все еще воображаешь себя мужчиной? Да сожми я тебя сейчас, ты так и вытек бы между пальцев, словно коровьи мозги. А ты еще причмокиваешь тут, будто губы твои и впрямь из плоти и крови. Сорок или сколько там лет ходишь ты в поэтах, обиженных родиной, и не замечаешь, что родина обижать тебя вправе?

Даже в медленном темпе траурной процессии он с трудом за мной поспевает. Я почти пожалел его — ведь как он вцепился в рукав моего пальто, чтобы не отстать, вернее, не упустить исторической минуты, когда я встречусь у могилы с вдовой! Ибо в поэтических жилах этой дряхлой птицы кровь обращается быстрее, лишь подогретая событиями и скандалами интимнейшего свойства, которые время от времени будоражат общественную жизнь; он мог всегда с необыкновенной точностью сказать, у кого с кем была связь среди знаменитостей нашей культуры и когда она оборвалась.

Медленно взмахивая крыльями, над процессией пролетела ворона, потом другая, третья. Следом за ними беззвучно надвинулась густая черная стая. Вот сейчас какая-нибудь ворона, злая вещунья, оторвется от прочих и опустится на череп спотыкающегося подле меня старца, понадеялся я. Увы, пророческий дар утерян даже птицами.

А поэт своим дурно пахнущим ртом совсем приник к моему уху:

— Да верно ли, будто муж ни о чем не догадывался?

Я смотрю ему в лицо.

— Уж мне-то можешь довериться смело!

— Прошу прощения,— говорю я, высвобождаю рукав из его когтей, отхожу. Но меня уже перехватывает другой милый коллега.

— А ведь и ты нечастый гость на кладбище.

Вороны всем скопом безостановочно кружат над нами; черные, маслено поблескивающие, отнимают у нас и последние остатки осеннего солнца. Мой коллега Шома Деметриус берет меня под руку, снизу — без всякого основания, спешу отметить,— мне подмигивая.

— А ведь и ты нечастый гость на кладбище.

— Нечастый.

— Да-с, это развлечение не для таких старичков, как мы.

Я взглядываю на него: как мы?

Мой коллега Шома Деметриус тоже лирик, но, в прямую противоположность коллеге, носящему на лице маску смерти, так и пышет здоровьем: его присутствие на кладбище — богохульство. И другое коренное отличие: его никто не интересует, он присматривается, прислушивается только к себе, говорит только о себе, никогда не оскудевая в жалобах.

— Вот и сюда еле дотащился,— сетует он, обратив ко мне красное, лоснящееся, словно подрумянившаяся свиная отбивная, лицо.

Он сам водит шестицилиндровый «мерседес», сноровкой посрамляя профессиональных шоферов. Он уже похоронил двух жен, сейчас на очереди третья.

— Что-то со мной худое творится,— вздыхает.

Над нами все так же — вороны. Мечутся туда-сюда, застилают черной пеленой всякую щель в кронах деревьев, сквозь которую мог бы пробиться солнечный луч; теперь они начинают покаркивать, правда, пока тактично, лишь изредка бросая сверху отрывистое «карр...», «карр...», и когда какая-нибудь на миг присядет на ветку, ветка сильно прогибается, словно на нее повесили мешок с грязным бельем. Они кружат стаями, друг над другом, улетают вперед, возвращаются, они будут провожать нас до самой могилы, а может, и за могилой тоже...

— Ты не слышал, что я сказал? Или тебе уже нет дела до чужих несчастий?

— Где у тебя болит?

Он прижимает руку к своему огромному, зыбкому от каплуньего жира животу.

— Ясное дело, рак,— говорю я.— Поджелудочной железы.

Он страдальчески улыбается. Он тоже — обиженный, как и все представители этого ремесла. Мне рассказывали, как однажды...

...вороны все кружатся...

...однажды он попросил аудиенции у главы государства, дабы пожаловаться ему, что заслуги его не ценят и вообще ни во что не ставят. Как же так, спросил...

...вороны кружатся...

— ...как же так,— спросил его глава государства,— разве у вас нет премии Кошута?

— Есть.

— А премия Аттилы Йожефа?

— Тоже есть.

— И орден Труда есть, золотой, высшей степени. Так в чем же дело?

Вопрос это весьма щекотливый, сейчас вы поймете, ответствовал Шома Деметриус,— к кому ведь и пойти человеку, перед кем излить душу, как не перед тем, на чьих плечах заботы целой страны! Ну-ну?.. Да вот, например, Лехел Фиолка, коллега мой, выкладывает Шома, прекрасный поэт и лично мне друг истинный, но как же так: стоит нам случайно оказаться с ним вместе в одном номере журнала, на литературной странице газеты или на каком-нибудь вечере — Фиолку непременно ставят первым, хотя всем известно, что по материнской линии он из швабов...

Вороны кружатся, вьются над самыми деревьями, похрустывает гравий кладбищенских дорожек под негромкую болтовню обряженных в траур людей... Однажды, скрюченный ревматизмом, я лежал дома, как вдруг, нежданно-негаданно, меня навестил мой коллега Деметриус. Посреди комнаты стоял растяжной станок — скамья двух метров в длину, оснащенная ремнями, сверкающими никелированными ручками, железными гирями,— на этом прокрустовом ложе новой эры врачи растягивали меня дважды в день по получасу; у каждого,

кто заходил ко мне, ноги прирастали к полу при виде дьявольского сооружения. Деметриус переступил порог, бросил на дыбу беглый взгляд, затем старательно обошел ее и сел у моей постели. Он даже не спросил меня...

...вороны...

...о том, что со мной, пожаловался на головную боль, которая...

...аспирин прими...

...которая мучит его с самого утра, должно быть, навязался грипп, недаром ведь он чихнул только что, надо бы измерить температуру, но у него нет времени, чтобы...

...вороны кружатся...

...мимоходом съел приготовленную на завтрак Тамашу булочку с ветчиной, попросил почитать том Рабле, через пять минут встал и, описав большую дугу, чтобы обойти станок, удалился. Даже уходя, он не спросил, что со мной...

— Бедная женщина, говорят, она любила мужа,— сообщил он мне сейчас, по-приятельски прижав к себе мою руку, затем остановился, тем принудив остановиться меня, и уставился на огромную сороку, которая, опустившись на каменный крест, старалась удержать равновесие.— Вот так и мы качаемся между жизнью и смертью, друг мой. Что может означать эта тяжесть, вот здесь, над пахом?

— Возможно, там застрял какой-нибудь твой сонет. Выпусти его, смелее, никто ничего не услышит.

Справа и слева на мраморных надгробиях ампелоний уже пожелтел, кое-где листики наливались кровью, ало блестели. Я подошел к стайке деревьев, совсем облетевших, но и над ними в светло-голубом небе порхали не ангелы, а кружились все те же вороны, в одиночку, и парами, и нестройными скопищами, они каркали все громче, надсаднее, эти вознесшиеся на небо деревенские плакальщицы. А внизу по земле двигались мы, куда менее безобидные. Уже почти у самой могилы я наткнулся на третьего моего дорогого друга. По достоинствам своим он сильно опережал первых двух.

— Ты — здесь? А ведь тебя не часто увидишь на кладбище.

— То есть как? — говорю я, отступая на шаг.— Да я ни одних похорон не пропускаю, если узнаю о них своевременно.

— Ой ли?

— Чтобы я лишал себя величайшей радости бытия?

— То есть?

— Радости, что пережил кого-то,— поясняю я.— Я и на твои похороны явлюсь, братец Пети.

— Что ты... что ты! — испуганно лепечет мой друг Петер Киеш.— Да и вообще я много тебя моложе.

— Какое это имеет значение! — отмахиваюсь я удрученно.

Это единственный способ заставить его замолчать: всем известно, что Киеш патологически боится смерти; сочувственно, встревоженно спросив его о здоровье, можно остановить поток даже самого смачного его вранья и клеветы. Мне же вынести в тот день еще и третий коллегиальный разговор вроде двух первых было бы тяжко.

— Что, я, на твой взгляд, скверно выгляжу?

— Ну-ну, какое там, какое!..— прокаркал я, подражая кружившим над нашими головами птицам и предусмотрительно отступая от него еще на шаг.

Следует знать, что мой друг Петер Киеш — один из опаснейших представителей нашей здравствующей национальной литературы: стоит ему открыть рот, как из него, словно из поливальной установки, в лицо тому, кто окажется перед ним, извергается настоящий водопад распыленной слюны; если же Киеш особенно возбужден, то слюна

разбрызгивается и более мощными зарядами, поражая глаз либо ухо жертвы. Соперники-поэты утверждают, что в его слюне содержится необычайно высокий процент солей и ферментов, поэтому она такая едкая. Про него еще говорят, что слюна выделяется у него, особенно возле левого угла рта, даже в спокойном состоянии: в такие минуты он накапливает вдохновение для следующей клеветы.

— С чего ты взял, будто скверно выглядишь? — говорю я, отступая еще на шаг и отворачивая лицо.— Сколько я тебя помню, дружок, ты всегда такой бледный. Ну, правда, вот эта вздувшаяся жила на виске... Ты, верно, слишком много работаешь.

Те, кто его не знает — хотя кто ж не знает его из тех, кто обращается в наших адских кругах,— даже не подозревают, какая подлость и хитрость скрываются за его мужественной наружностью, прямым крупным носом, широким лбом и располагающими к доверию голубыми глазами. Несколько десятилетий подряд он трудился в поте лица, пока не вылепил так называемый «image»[1], иначе говоря, фиктивный автопортрет, какими политики пользуются обычно как знаменем; основательно поразмыслив и все рассчитав, он избрал для себя роль «рыцаря справедливости». Он создал новую, отступающую от классической традиции систему: в глаза ругал, а за спиною расхваливал. Поскольку в сущности он был труслив как заяц, то, не успевши высказать кому-то в лицо уничтожающее о нем мнение, со страху немедленно, едва тот отвернется, начинал превозносить его и таким образом убивал двух зайцев сразу: считался прямодушным, неустрашимым храбрецом и патриотом, а в то же время — замечательным образцом всепрощающей христианской любви. Если, например, он заявлял N N прямо в глаза, что его последний роман ниже всякой критики, то назавтра N N недоумевая слышал, что в другом обществе Петер Киеш назвал его самым ярким представителем новейшей венгерской прозы. Разумеется, даже при этой тактике он не избег за свою жизнь нескольких пощечин, которыми кое-кто успел его наградить в интервалах между изрыгаемой им хулой и хвалой.

— Так, по-твоему, я похудел? — обеспокоенно спрашивает он. Вороны словно осатанели...

В противоположность большинству пожилых — да-да, вот верное определение: пожилых — людей я не имею обыкновения растроганно погружаться мыслями в собственное прошлое, оттого, быть может, что не слишком им занят, поскольку и настоящее мое, слава богу, доставляет мне достаточно забот. Несмотря на мою исключительно и необычайно ясную память, прошлое теперь все чаще видится мне как бы подо мною, представляется неким гористым краем, над которым клубится туман и где я, стоя на самой высокой вершине и глядя вниз, как будто различаю вдали пик пониже, еще дальше — вздыбившийся утес, но и они то возникают, то исчезают в перекатывающемся между ними тумане; выявить их из хаоса и определить точные очертания зависит, разумеется, лишь от меня. Но — к чему?.. Как я уже сказал, напряженное настоящее все еще доставляет мне достаточно забот. Воспоминания овладевают мной только в случаях исключительных, например, на кладбище, когда я оказываюсь с ними лицом к лицу, но на кладбищах, как уже говорилось, я бываю редко. Вдова действительно была «все еще» хороша; это, впрочем, неудивительно при том, что она на двадцать—двадцать пять лет моложе своего мужа. Она шла за похоронными дрогами одна, ветер изредка шевелил откинутую на плечи траурную вуаль. Сейчас, восстанавливая для себя, какою запомнили ее мои глаза тогда — лет десять... да, примерно десять лет тому

[1] Образ *(англ.)*.

назад...— я сам дивлюсь свежести моей памяти: словно ожившая «Женщина в черном» с картины Уистлера [1], она и ныне осталась на моей сетчатке стройная, с тяжелым узлом волос, со скрытой пружинистостью фокстерьера в длинных прекрасных ногах. И вновь возникает во мне еще более раннее, уже, слава богу, схороненное воспоминание: милое прелестное лицо моей жены в большом зале Музыкальной Академии, искаженное ненавистью, устремленное из ложи в лицо другой, прямо на нее глядящей женщины.

Мы подошли к могиле; вороны в небе, вороны на земле, они облепили ее со всех сторон. Человеческий глаз избирательно выделяет симметрию в явлениях мира; потому, возможно, и мне припоминается так, будто птицы, то брызгами осыпаясь с неба вниз, то вновь взмывая, охватили отверстую могилу точно таким же черным венком, что и траурное скопище внизу. Создавалось впечатление — по крайней мере, у меня, толстокожего осла,— словно вороны обезумелым своим карканьем кляли вершившееся внизу действо; в самом деле, возможна ли комедия отвратительней, чем эта, когда еще едва тронутое тлением человеческое тело опускают на шесть футов в землю, а затем с глухим стуком забрасывают грязью голову, грудь и все прочее; я уж не говорю о том, что подчас нельзя знать наверное, не хороним ли мы мнимоумершего. Посему в завещании, коему надлежит еще быть написанным, я непременно дам наказ — надеюсь, не запамятую,— чтобы, перед тем как опустить в могилу, мне проткнули сердце иглой (при таком-то большом сердце, как мое, довольно будет и простой булавки).

Карканье наверху, а внизу победные рыдания тех, кто пережил покойного,— с их помощью мне удалось отразить наглухо запечатанным слухом и последнее надгробное слово, произнесенное уже над могилой. Я отступил как можно дальше назад, не желая, чтобы вдова меня увидела. Но в минутной торжественной тишине после окончания надгробного слова, пока могильщики не начали засыпать яму, Шома Деметриус, снова ко мне подобравшийся, вдруг громко чихнул: вдова обернулась в нашу сторону. До тех пор она, если не ошибаюсь, не плакала, но когда взгляд ее упал на меня, ее глаза внезапно налились слезами. Она опустила голову, громко икнула, еще раз на меня посмотрела. Благодарение моей необыкновенной памяти, коя и сейчас, когда мне уж за семьдесят, подпортилась разве что самую малость, я в состоянии точно воспроизвести все, за тем последовавшее: из горла вдовы вырвался короткий нечленораздельный вопль, красивое лицо исказилось странной гримасой, похожею на усмешку над собой, и она закатилась долгим истерическим хохотом, давясь слезами и смехом. Все бегом кинулись к ней.

Я уже отмечал, что человек в моем возрасте обрастает привычками и они отяжеляют работу мозга, как излишние жировые ткани затрудняют движения тела. Правда, инстинкт тоже нацеливает нас на формирование привычек, и, не создайся у нас навыка следом за правой ногой переставлять левую, мы никогда бы не продвинулись вперед. Впрочем, и так-то ушли не слишком далеко. С тех пор как Тамаш выбросил знамя восстания против того, что обречено, то есть против меня, я начал внимательней следить за собою, занялся прополкой моих привычек. Однако внесем ясность: человек в течение жизни приобретает привычки двоякого рода — необходимые и никчемные. Необходимо, например, дыхание. Я упоминаю об этом не из педантизма: в наше время слишком многим людям препятствуют дышать глубоко и в свое удовольствие, причем действуют иной раз столь рети-

[1] Уистлер Джеймс (1834 — 1903) — американский художник-импрессионист.

во, что остается только прикрыть объект воздействия землей, дабы он не отравлял атмосферу и впредь. Необходимы также навыки, какие мы создали ради сохранения равновесия в общежитии во имя человеческого достоинства, например, обычай говорить правду в обществе лишь в том случае, если при этом мы никоим образом не задеваем интересы присутствующих. Точно так же и с ложью: мы лжем только тогда, когда нас не могут уличить. Светская беседа в подобные моменты принимает столь утонченные, менуэта достойные формы, что просто не веришь Дарвину, будто человек произошел от неразумных тварей. Неизбежным представляется также обычай учить потомков наших читать и писать: иначе как бы они унаследовали те бесчисленные варианты лжи из истории человечества, коими поддерживается существование нашего рода.

Но все это — вещи общеизвестные. Я пишу о собственном старении, а не о старении человечества. Тех стариков моего возраста, чьи привычки, обратясь в причуды, вынуждают окружение то и дело почесываться, я просто не выношу. Итак, надлежит выяснить, какие из укоренившихся во мне навыков должны быть изгнаны, иными словами, продолжая уже использованное сравнение, каковы те липомы и жировые подушки в моих духовных жировых тканях, которые ни так, ни эдак в обмене веществ души не участвуют и, следовательно, могут быть удалены без опасности для жизни хирургическим путем. Когда Тамаш впервые выставил свою осадную пушечку, я надеялся, что мой глаз, мои руки еще тверды и я сумею провести эту операцию.

Я говорил, что примерно в это время будто бы обнаружил на стволе моей старости некоторые признаки — чуть набухающие почки — скупости. Старости, сказал я?.. э-э, десять-то лет назад?.. неверное словоупотребление! Темечко у меня хоть давным-давно под сединами, а ведь, по сути дела, только что заросло: мне уже случалось иногда набросать несколько таких страниц, которые в сущности, с учетом средней моей одаренности, получались чуть ли не совершенными. Немногие среди почтенных моих коллег это понимали, но, по счастью, находились изредка и такие, что бледнели, их читая. Вот в это самое время я и заметил, что нет-нет да пропускаю в рукописи слова, другие слова недописываю, укорачиваю на одну букву, а то и на две; я относил это за счет спешки — необходимости поскорей закрепить на бумаге удачно сложившуюся фразу. Однако в ту же пору со мною раз-другой случились такие вещи, что я стал следить за собой внимательней; результат был ошеломительный: я установил, что недописываю буквы только и исключительно из... скупости. Из скупости? И констипативные явления — уже в другом, более органическом пласте моей жизни,— возникшие в тот период, означили не что иное, как нараставшую приверженность мою к частной собственности.

Скупость! Я — скуп?.. Вот уж никогда не подумал бы, во сне бы не привиделось. Как уже было сказано, я знал себя беззаботным, даже легкомысленным, покуда незачем было экономить избыточные силы и скудные житейские блага; однако умножением последних, по-видимому, не компенсировалось уменьшение первых. Рост годов моих и благосостояния привел к обратному против ожидаемого результату: чем меньше оставалось у меня надежд на будущее, тем прижимистей относился я к моему настоящему. Словно угадав, что подлатать изношенные клетки хотя бы кое-как можно лишь форинтами, я стал скуповат и понемногу, почти неприметно весь как-то съежился физически и духовно. Способствовали этому и душевное потрясение, нервный шок, вызванные грубым объявлением войны сыном моим Тамашем.

Но в один прекрасный день глаза мои открылись: под впечатлением от следовавших друг за другом событий, в общем-то незначительных, и изумления, даже потрясения, им сопутствовавших, я понял, что веду себя по отношению к себе недостойно. Мой биологический возраст еще не заслуживает обызвествления старческими привычками. Мне еще рано, полагал я, становиться рабом привычек, хотя бы той же скупости, приличествовавшей лишь числу моих лет. И хотя мне уже есть что терять, но ведь может еще представиться случай и выиграть.

Место действия, где глаза мои открылись,— квартира моего тестя. Собственный портрет я разбираю обыкновенно в зеркале, какое являют мне лица моих ближних; с безошибочностью животного инстинкта я нахожу в них все те черты, какие хотел бы — поскольку в зеркале отмечаю их с неприязнью — вытравить из собственного изображения. Так человечество, словно огромная зеркальная галерея, учит меня, каким быть не нужно, а значит, косвенно, каким быть следовало бы. Разумеется, что уж скрывать, учение не всегда мне дается.

Не часто встречал я людей противнее моего тестя. Меня, при моем привередливом желудке, буквально тошнило иной раз от его присутствия. Понятно поэтому, что навещал я тещу, которая была мне симпатична, в такие часы — обычно уже под вечер,— когда надеялся не застать старика дома, то есть когда он отправлялся в свое неизменное кафе, чтобы посидеть в обществе других завсегдатаев, своих бывших коллег — банковских директоров. Чаще всего я заходил к теще в первых числах месяца, с определенной суммой в бумажнике, которою помогал ей в расходах по хозяйству; отсутствие главы дома представлялось тем более желательным, что из барственного гонора денег от меня он не принимал: в мире человеческих отношений господину экс-директору банка ведом был лишь один принцип: «даю — беру». Но прежде всего — как бы он разыгрывал передо мною роль главы семейства, если бы вынужден был признать, что, с тех пор как строй в Венгрии изменился, то есть вот уже два десятилетия, содержу его я, хотя и без всякого удовольствия.

Моя незаурядная память всегда с большей или меньшей уверенностью находит в наслоениях прошлого те мышиные норки, куда я упрятывал казавшиеся мне относительно важными воспоминания. Благодаря этому я и нынче могу воспроизвести разговор с моей покойной женой, тогда еще девушкой, который произошел у нас накануне свадьбы. Состоя в партии, мы, хотя оба и работали в подполье, познакомились только после войны, в районной парторганизации, и скоро сдружились. Она была на диво хороша собой; с зеркальных осколков моей памяти она и сейчас отражается в сотне моментальных снимков как перпетуум-мобиле, как памятник вечной молодости.

Э-эх, вечная молодость!..

Как-то она спросила, не знаю ли я, где можно недорого снять комнату. Что такое? Она покидает родителей? Почему? Потому что и до сих пор оставалась в родительском доме только из-за того, что квартира почтенного директора банка, ее отца, была удобным прикрытием для нелегальной работы. Значит, она не ладит с родителями?

Пока буду жив, не забуду печальную, горько-страдальческую улыбку, с какой она вскинула на меня глаза, но тут же и отвела их, как видно, не найдя в моем лице опоры. Голова ее поникла, чуть выгнулась стройная белая шея. Эта шея была сама покорность.

— Я не люблю моего отца,— сказала она просто.— Я люблю тебя.

Любит меня — потому что не любит отца?.. Может быть, так сле-

довало истолковать ее слова, спрашиваю я себя сегодня, заглядывая в самые дальние тайнички мозга.

Эта минута все еще жива, она затаилась в своей мышиной норке и не истлеет, должно быть, пока сознание мне не изменит.

«И на что же вы собираетесь жить, позвольте осведомиться?» — спросил ее отец, сверкая мне в лицо глазами, увеличенными пенсне. Его белое треугольное лицо с правильными чертами и слегка выступающим вперед подбородком оставалось в течение всего нашего разговора неподвижным, и только у правого — или левого? — глаза иногда подергивалась под кожей крохотная мышца, словно грыжа, от усиленной мозговой деятельности выщемленная наружу.

Пенсне остро взблескивает. «Да-с, на что вы собираетесь жить, прошу прощения? На ваши книги? А какая у вас профессия — дело, я имею в виду? Ах, нет профессии! И сколько же вы зарабатываете вашими книгами в месяц?» Блеск пенсне. Та наша беседа не принадлежит к приятнейшим воспоминаниям моей жизни. «Будущее моей дочери с вами не представляется мне обеспеченным. Но, может быть, у вас есть какие-либо иные источники доходов? Итак, их нет. Прискорбно. Предусмотрительный отец подумать об этом обязан. Уж не коммунист ли вы? Одним словом, коммунист. Прискорбно. И вы полагаете, вероятно, что этот режим может здесь удержаться?» Блеск пенсне. Как приятно, что даже сейчас, когда мне уж за семьдесят, я не нуждаюсь в очках, чтобы заглянуть собеседнику в самые печенки. «Ах, вот оно что, вы верите в этот режим? И вы полагаете, что западные державы... Не отвечайте, я не хочу вести с вами политические споры. Имеется у вас квартира? Имеется, говорите. Две комнаты с обстановкой — в квартире, покинутой ее владельцем. Уехал за границу. Понимаю. И вы не сгорели со стыда, когда получали от властей эту квартиру без согласия ее хозяев, временно ими оставленную? А что вы намереваетесь делать, позвольте осведомиться, если владелец вернется?»

Воспоминание о той нашей беседе даже сейчас меня не особенно развлекает, как не забавляло, впрочем, и в те времена — десять лет?.. восемь лет назад? — когда я ежемесячно совершал паломничество к старикам, да будет земля им пухом, чтобы вручить теще — хотя у меня по-прежнему не было определенного рода занятий и иных доходов, кроме как от моих книг,— ту сумму, с помощью которой она будет выплачивать накопившиеся за месяц долги и поддерживать в исправности физическое и духовное здоровье мужа. Я над ними не смеялся и даже не испытывал, как ни странно, ни малейшего удовлетворения, отсчитывая банкноты в руки красивой старушки, которая неизменно отвечала на это румянцем на щеках и неизменно, даже в глубокой старости, каждым движением напоминала мне свою дочь. Удовлетворение?.. Насмешка?.. что уж там, право!.. ведь я почитаю себя знатоком всякого рода житейских капканов, как и злосчастных ног человеческих, в них попадающих. Даже если б я мог швырнуть пачку денег тестю в лицо, и это, пожалуй, не пробудило бы мои страсти.

Как было сказано, я старался навещать мою тещу по возможности в отсутствие мужа. Он мог не знать — и якобы в самом деле не знал, он-то, директор банка! — как, каким образом выкручивается его супруга при жалкой их пенсии и все возрастающем прожиточном уровне. Но однажды, и как раз в тот период моей жизни, когда, спугнутый Тамашем, я стал присматриваться к незаконному, казалось мне, наступлению старости, я, на мою беду, застал тестя дома. Объявив, что у него болит горло, тесть сказался больным и, обмотав шею белым шелковым шарфом, сел за полдник.

В ту пору он уже облачился в мундир старости и казался именно тем, кем был. Его нос истончился и вытянулся между набрякшими сумками щек, морщины на шее сплывались в низко обвисший, весь в красных прожилках, подгрудок, выпиравший из-под воротничка, а пенсне на водянистых глазах теперь не сверкало даже тогда, когда, в приступе старческого гнева, он с радостью ослепил бы противника. Вообще же он поразительно обмяк, и если во время беседы, прерванной заметно усилившимся за последнее время кашлем, брызгал слюной, то стыдливо озирался, словно просил прощения у присутствовавших от лица смерти, и потом долго, старательно вытирал платком губы, подбородок и складки на шее. Он был чистоплотен, этого у него не отнимешь.

— Вот и ты заглянул к нам, сынок, в кои-то веки!.. хе-хе?

Теща накрыла и для меня: кофе, молоко, печенье. Те же решительные движения, что когда-то у моей жены, та же легкая стремительная уверенность женщины, занятой своим делом. Старость ее не обезобразила, на еще красивом лице — все та же известная улыбка женщины, кормящей мужчин.

— Вот и ты, сынок, иногда заглядываешь? Хе-хе-хе.

— Вы это уже сказали.

— Сказал?.. хе-хе-хе... И господину Мюллеру всякий раз приходилось повторять дважды, чтобы он понял.

— Кто этот господин Мюллер?

— Кто такой господин Мюллер?.. Ты не знаешь?! Ну нет, как же не знаешь! Мой бывший бухгалтер. Еще в прошлом году протянул ноги, бедняжка... кхе... кхе... а ведь был моложе меня, верно, Элла? В прошлом году, верно? Мы отдали ему последний долг, не так ли, Элла? Ведь мы любим посещать кладбище, покуда добираемся туда на своих ногах, хе... хе...

Тебе уже недолго, думал я, представляя себе, видя перед собой легкие старика...

— А что это вы там с женой моей шептались в передней? А?

Старушка покраснела.

Ты же отлично все знаешь, ну, что притворяешься, думал я.

— Он рассказывал мне о Тамаше,— сказала теща, все еще краснея, но превосходя меня присутствием духа.

Старец снял с носа пенсне, подмигнул мне подслеповатыми глазками и снова водрузил окуляры на место. Какой ни был он теперь пришибленный, но по-прежнему радовался от души, если мог кого-то принудить ко лжи. Еще большее, наивысшее наслаждение он испытывал теперь лишь тогда, когда ему удавалось ущемить кого-либо и материально.

— Что скажешь о дороговизне, сынок, а? Что скажешь? Как раз сегодня я вынужден был поставить в известность почтальона, который приносит мне пенсию... Элла, шарф опять сползает... так о чем я... ах, да... что пока мне не повысят пенсию, я, к великому сожалению, должен временно лишить его чаевых. Нынче ведь и почтальон принадлежит к правящему классу, не так ли?.. хе-хе-хе... так пусть и позаботится! Ну-ка, что ты на это скажешь, сынок?

Нет, неудивительно, что жена моя любила меня больше, чем своего отца. Но вот как теща выдержала с ним рядом эти сорок или пятьдесят лет? В страдании, как видно, терпение не знает границ. Я отвел глаза от лица старика и стал смотреть на большой шелестевший на ветру каштан под окном, на который как раз слетела воробьиная стая, а когда обернулся...

Это и была та минута, когда я получил первый шок, минута, с которой началась для меня пора самонаблюдения; и еще несколько

подобных минут за нею последуют. Я не поклонник так называемых символов, не люблю и обобщений, я стараюсь рассматривать явления в их естественных рамках, но на сей раз их подкрепляющие друг друга речи были столь явственны, что я не мог закрыть глаза на их двукратное предупреждение. Тот, кто сидел сейчас передо мной и кого я до глубины души презирал и ненавидел, был похож на меня. Как ни разнились мы по своему образу жизни, но оба мы были зачаты и рождены согласно общему закону и теперь, состарившись, вновь схожие как пара сапог, одинаково плетемся к exitus[1].

Итак, я отвернулся, говорю, от шелестевшего за окном тополя, взгляд мой снова упал на тестя, и тут у меня перехватило дыхание... Я не преувеличиваю: у меня замерло сердце. Рука тестя сметала со скатерти хлебные крошки вокруг чашки совершенно так же — совершенно, совершенно так же! — как это делал я по утрам, выпив свою чашку кофе с молоком. Ошибки быть не могло, вся автоматика от начала и до конца срабатывала совершенно одинаково. Старик прислонил левую ладонь к краю стола, правой рукой, круговыми движениями, собрал крошки в холмик, потом осторожно, чтобы не просыпать на пол, смел их в подставленную ковшиком ладонь левой руки. Некоторое время он удовлетворенно смотрел на крошечный коричневатый бугорок, потом — в точности так, как делал и я,— слегка отвел голову назад, открыл рот и быстрым движением забросил туда добычу.

— Кто крейцера не бережет, к тому и форинт не пойдет,— вымолвил он со вздохом, прикрыв глаза. Вокруг усов от удовольствия проступил пот.

Я попрощался со старенькой тещей, ушел. Взбудораженный, чуть было не опрокинул чашку с недопитым кофе. До этой самой минуты я полагал, что сметаю в ладонь крошки порядка ради, чтобы стол около меня оставался чистым; ничуть не бывало! Оказывается, мне было жаль отдать воробьям эти крохи. Оказывается, я пожираю даже излишки, лишь бы не делиться с птахами, что, слетевшись ко мне под окно, то и дело заглядывали в комнату. Оказывается, старческая скупость уже начала во мне свою медленную, разрушающую душу работу, и, если я не дам ей сразу же по рукам, она подроет все благородное сооружение.

Итак, старею? Уже? — спрашивал я про себя, сам тому не веря. Уже? Да может, это всего лишь несколько дурных привычек, приставших ко мне и незаметно окостеневших на поверхности души? Во всяком случае нужно быть начеку — ведь недолго и обмануться! Необходимо исследовать все мои привычки, установить, что сокрыто под ними. Я чувствовал себя, как пес, занявшийся ловлей собственного хвоста.

Уже на другой или на третий день выявилась еще одна достойная презрения привычка, еще один увесистый экземпляр скаредности. Обострившимся чутьем я ее обнаружил и, схватив за ухо, поставил в угол.

— Простите, учитель, вы еще не прочитали мою рукопись? — осведомился молодой автор.

— Я не учитель. Извольте называть меня по имени.

Но я пожалел его. Нахальный огонь молодости, полыхавший из его глаз, на миг разжег меня. Его худое, костистое лицо еще не вспучилось водянкою самодовольства, он был свеж и требователен, он еще не удовлетворялся тем, чего стоил. Говорю, мне стало жаль его; да и чем еще я мог бы защититься от его презрения?

[1] Исходу *(лат.)*.

— Что это была за рукопись, простите?

Он послал мне рукопись своего романа по почте, в сопровождении длинного лестного письма. Рукопись я, разумеется, не прочитал. Впрочем, оно и лишнее: что первые романы молодых писателей плохи, известно заранее. Я же полагал в ту пору, что, чем читать плохой чужой роман, выгодней уж писать мне самому, все выйдет хоть сколько-нибудь лучше.

Однако позволь, придержал я себя. Выгоднее? Для кого? Ты это интересы человечества защищаешь? Или свое время жалеешь? Опять скаредничаешь, мелкота, про черный день запасаешься?

Я еще раз посмотрел молодому человеку в лицо; бояться-то его мне было нечего. По-моему, в писательских физиономиях я разбираюсь: этот, похоже, бесталанен, как пень. Ничего, не будем мелочны, решил я, у меня еще есть что транжирить. Суровость — ведь тоже разновидность скупости.

— Дорогой мой друг,— сказал я,— я прочитал ваш роман с великим удовольствием. Позвольте мне теперь изложить мое суждение детальнее...

Молодой человек таращил глаза.

— ...знаю,— продолжал я,— молодежь не любит, когда ее хвалят в лицо...

— Вы изволили прочесть весь роман? — ошеломленно спросил молодой автор.

— То есть?

— Все восемьсот страниц... до конца?

— Да я не мог от него оторваться, любезный друг,— сказал я.— Не хотелось бы сейчас подробнее говорить о моем впечатлении...

— Только один вопрос, учитель...

— Ни единого,— сказал я.— Мое мнение я изложу в рекомендательном письме, которое намереваюсь послать моему другу Ф. Л., главному редактору в...

На его лице — засасывающая тупость болот; я все больше воодушевлялся:

— Как известно, мой молодой друг, пожилые писатели моего возраста оделяют своим признанием весьма экономно... Вот-вот, выражение верное, экономно... С течением времени, разочаровавшись и в самих себе, они по отношению к другим тоже становятся осторожнее. Хвалить не любят, да оно и не получается больше, эгоизм мешает. В скаредности своей они всякий успех хотят оставить себе и, уж конечно, не приложат усилий, чтобы и незрелый юный простак вроде вас — разумеется, я аттестую вас так исключительно для примера — ухватил себе листик-другой из их избыточных лавров. Дарование!.. молодое дарование!.. Да ведь в этом нет никакой заслуги, друг мой, это все равно что поллюция у подростка. Нет, вы в шестьдесят лет хоть изредка сумейте написать одну хорошую страницу — вот это будет уже настоящее! Но до шестидесяти лет пусть никто не смеет считать себя талантливым.

На подоконник сел воробей, заглянул ко мне в комнату, потом привычно застучал в окно, как бы напоминая. Я засмеялся: уже и у моих воробьев завелись привычки.

— Я должен понять это так, учитель...— выдавил из себя молодой человек, явно обескураженный.

— Можете никак не понимать,— сказал я.— Все это не относится ни к вам, ни ко мне. Я говорю обобщенно. Своими молодыми орлиными глазами вы, вероятно, уже приметили, что у людей пожилых имеются привычки, с которыми они расстаются весьма неохотно. Одна из их самых навязчивых привычек — отрицание, их излюблен-

ное словечко «нет». Если вдруг какое-нибудь свежее явление, скажем, вроде вас попадется такому склеротику в когти, не дай вам бог напечатать тогда хоть строчку. Я вот решил сейчас, что рекомендательное письмо моему другу-редактору писать не буду...

По внезапно посеревшему лицу молодого человека я догадался, что из всей моей речи он уразумел лишь последнюю неоконченную фразу. И я вдруг пожалел его: не его же, право, вина, что он родился жертвой. В его глупости было даже какое-то невольное очарование — вот как сейчас, когда он вскинул голову и, сцепив челюсти, с ненавистью взглянул мне прямо в глаза.

— ...рекомендательного письма посылать не буду,— продолжал я,— а напишу о вашем романе статью и отошлю его в редакцию вместе с ней. Статья о романе, который еще в рукописи... а?.. Ну-с, что вы на это скажете?

Вот так, шестидесяти с чем-то лет от роду, я вновь поступил в школу, но на сей раз преподавал в ней я сам. Мне приходилось нелегко, я оказался строгим учителем. Поход против старости — так назвал бы я эту учебную программу, которая обширностью своей смело могла бы соревноваться со всем, что было накоплено по этому предмету, начиная с Цицерона и до современных ученых-геронтологов. Разница состоит лишь в том, что заметки эти — кои в день моей смерти подлежат уничтожению, не правда ли? — я пишу не затем, чтобы лишний раз посердить человечество, а исключительно для собственного удовольствия.

В этот период я пересмотрел даже самые мелкие, домашние мои привычки и с садистическим сладострастием всем им — по крайней мере, так говорится — всем им свернул шеи...

Из опасения наскучить читателю, то есть самому себе, перечислять все мои покушения этого рода не стану. Привычки отдельно взятого человека интереса не представляют; их значение возрастает тогда, когда к ним пристращаются и другие, когда пристрастия одного человека распространяются — словно заразная болезнь — и становятся уже всенародной, национальной причудой, какой стало, например, у нас на родине занятие литературой. Писание — чтение: пишем мы все, а кое-кто даже читает написанное, прежде чем отдать в типографию.

Мои личные пристрастия много скромнее, я и не думаю, чтобы они стали однажды всенародным достоянием. Упомяну поэтому только для примера и, пожалуй, документальности ради о привычке по утрам после душа — принятие которого также имело свой весьма строгий ритуал — пользоваться для бритья каждый день другим кремом или мылом, беря со стеклянной полки над умывальником, согласно строжайше установленному порядку, полагающийся для данного дня тюбик или спрей, а затем, также поочередно меняя, английский, польский, французский или отечественный лосьон. Отнюдь не в угоду космополитическим склонностям — клянусь в том! — а просто из желания преодолеть скуку ежедневных гигиенических процедур я старался навести некий порядок в миниатюрной истории моих будней, иными словами, взнуздать кроющиеся в случайности анархические бури. Со временем я так в этом поднаторел, что уже на пути в ванную знал, что в этот день на очереди австрийский крем для бритья «Элида», который стоял на полке вторым справа, а после бритья — стоявший с ним рядом французский лосьон «Экипаж», и знание это холодной объективностью фактов, как твердо установленная отправная точка начинающегося дня, привносило покой в мою бедную душу и давало силы вынести предстоящие двадцать четыре часа. И если иногда все же случалось так, что память меня подводила и я

перед зеркалом, морща лоб, соображал, действительно ли на очереди лосьон «Табак», мною овладевала вдруг безумная тревога, словно какого-нибудь дипломатического служащего, утерявшего тайный код для телеграфного шифра своего государства.

Ну что ж, больше не станем играть в эти игры, сказал я себе через неделю-другую после перевернувшей мне душу встречи с тестем, когда, оправившись от первого потрясения, я решил устроить генеральную уборку и смену режима. Еще не время обрастать старческими привычками. Успею еще походить в стариках. Все правильно, пусть будут привычки, но только при условии, что ты в любой момент в состоянии их изменить. Право на привычки, смысл привычек определяются их полезностью; если же они ограничивают нашу свободу, от них следует избавляться. И с бодрым «а ну-ка!» я набросился на полку в ванной комнате: вмиг переворошил, растолкал, разбросал тюбики, флаконы, сухие и пенистые кремы, помазок, бритву, словно задался целью отомстить всему миропорядку за некую исконную обиду. И даже распевал при этом во все горло, как в дни давно минувшей молодости, в героическую эпоху омовений под ледяным душем.

Замечу к слову, что и поныне после теплого душа непременно окатываюсь холодной водой.

Пылая страстью неофита, еще в тот же день, выйдя из ванной и сев к столу завтракать, я занялся моей домоправительницей Жофи. Пока она подавала мне завтрак, я внимательно ее изучал, даже принюхивался тайком, а сам думал: сумею ли я когда-нибудь отвыкнуть от этой пахнущей кислятиной старушенции? Или существуют привычки, которые отсечь нельзя, ибо вместе с ними изойдет кровью и нечто более тонкое, глубинное? Да я и не сказал бы вот так, с ходу, она ли стала моей привычкой или я — ее... Впрочем, пока я оставил этот вопрос открытым Она пришла к нам, когда я был еще подростком, и если мы — пережив и мать мою и отца — не прикончили друг друга за минувшие не знаю, сколько уж лет, если я не пристукнул ее ножкою стула, а она меня не отравила, подбросив яду в кофе с молоком или в соус из шпината, значит, мы являем с нею такой блистательный пример человеческого долготерпения и милосердия, что не пристало лишать его ореола: да послужит пример сей в поучение всему человечеству. Итак, выдворять мою старушку пока нет необходимости; на том я и покончил с утренними медитациями, слушая между тем не без содрогания, а по существу с истинным облегчением ее медлительное шарканье по комнате, от которого по спине бежали мурашки, и глядя, как асимметрично движутся ее руки, накрывавшие на стол. Впрочем, досталось и ей пылу-жару от очистительного костра, что разжег я в тот день под собою... Или досталось-то все-таки только мне одному?

— Опять вы ставите мне эту старую кружку?

Жофи сочла, что ослышалась, даже не ответила.

Пузатая емкая кружка в голубой горошек осталась мне от матери; с тех пор как она умерла, я всегда из нее пью мой утренний кофе — вернее, Жофи меня из нее поит, вероятно, в знак особой милости.

— Вы не слышите, что я говорю?

— Слышать-то слышу,— проворчала старая домоправительница, в то же время пододвигая кружку мне под нос,— да только в толк не возьму, о чем вы. Чем же это не угодила вам кружка?

— А тем, что надоела мне.

— Да как же такое надоела, когда это мамаши вашей кружка! — возмущенно воскликнула Жофи.— Ох, молодой барин, молодой барин, уймитесь вы, не то бог накажет!

Я удивился, к этому доводу я не был готов. Вот ведь какие противоречия умещаются в душе человеческой: что же сберегла в своей памяти эта старая женщина о моей матери и что так любила в ней — в той, кому должна была прислуживать? Ну, конечно, продолжал я про себя, отодвигая кружку как можно дальше, раз уж выпала нам судьба быть кому-то слугой, то как же и терпеть-то себя иначе, как не полюбив путы, в которых нас держат. Но призывать бога в защиту какой-то обшарпанной кружки!

— У бога не найдется дела получше? — спросил я.

— Постыдились бы, молодой барин,— сказала старуха, опять пододвигая мне кружку.— Уж такой вы сирота одинокий, будто сорняк придорожный живете, ни отца у вас нет, ни матери, единственная жена вас тоже покинула, а вы еще и память об них уничтожить хотите?

— Эту кружку вы унесите, Жофи,— сказал я,— чтобы я ее больше не видел. А воспоминаниями я займусь ужо, когда состарюсь.

— Да вы и так-то уж довольно старый,— едко отозвалась Жофи, наставив на меня свой крючковатый красный нос.— Еще-то чего дожидаетесь, молодой барин?

Я засмеялся.

— Вы как думаете, сколько мне лет?

— Ничего я не думаю, потому как и без того знаю, молодой барин,— ответила старуха.

Жофи была в самом своем воинственном духе, видно, ночью ее порядком измучила подагра.

— Ничего вы не знаете,— сказал я ей.— Откуда вам знать, когда я и сам-то не знаю! Или вы шпионили за мной?.. силенок не пожалели, доплелись до районного отдела, чтобы выведать мой год рождения?

На этот раз старая домоправительница отмолчалась, не успокоились только ее глаза; сперва она их опустила, потом подняла снова и, как будто пожалев меня, надолго задержала на мне их тускло-голубой взгляд.

— Старость, молодой барин, не обманешь,— сказала она немного спустя.— Званая ли, незваная, она тут как тут. Если бы вы, молодой барин, не бились против нее, а приняли бы по-доброму то, что господом отмерено...

— Жофи,— сказал я,— не утруждайте вы так господа бога!

— Ему это не в тягость,— сказала Жофи негромко.— Я ведь одного хочу, чтоб жизнь ваша, молодой барин, была поспокойнее, чтоб не мучили себя понапрасну из-за того, чего не изменишь, как ни бейся. А вот ежели бы смирились вы с тем, что сама природа ваша требует...— И опять этот долгий жалеющий взгляд на моем лице.— И что возрасту вашему подходяще...

— Да что вам мой возраст покою не дает, ведьма вы старая!

— Ладно уж, не кипятитесь! — огрызнулась старуха.— Пейте кофий свой, покуда горячий. Не бойтесь, я уже недолго буду надоедать вам своими речами.

— А вы меня не пугайте,— сказал я.— Теперь же, пока не настала та прискорбная минута, уберите с глаз моих эту кружку! И с нынешнего дня каждое утро приносите мне кофе в другой чашке, кружке, плошке, каждый день в другой, вы меня слышите?

Жофи опять опустила глаза и, мне показалось, изменилась в лице. Но прежде чем ее дрожащие пальцы успели дотянуться до кружки, я схватил ее сам, поднял и швырнул в угол; то была добрая крепкая кружка, она разлетелась всего на три или четыре черепка.

— Это чтобы у вас не было угрызений совести, Жофи,— сказал я.— Вы правы: затеял грязную работу — делай ее своими руками.

Я упомянул в начале этих записок, что мы с сыном живем совсем одни вот уже семнадцать... восемнадцать или девятнадцать лет; это, впрочем, нуждается в уточнении. В раннем отрочестве Тамаш провел несколько лет в Швейцарии, сперва у доктора Шмидта, в пансионе св. Галлена для мальчиков, дабы он усвоил немецкую речь, затем еще несколько лет у своей тетки в Женеве — ради изучения французского. Говорю все, как есть: мне хотелось избавиться от него на некоторое время. Моя квартира была чересчур заполнена живостью его детских телодвижений, а главное — голосом, я же с возрастом счел себя обязанным больше заботиться о необходимых рабочих условиях для моего пера и покое для физического моего существования. Говоря попросту, я изнежился. Было ли это позволительно? Не нужно себя убаюкивать, думал я уже тогда: если человеку за семьдесят, он вправе, хотя к миру по-прежнему оборачивается еще колючей своей стороной, от самого себя желать некоторых себе послаблений. Разумеется, в меру: ходить в шлепанцах не следует даже дома, а распускать корсет самодисциплины допустимо разве что во сне. Мои умственные возможности, казалось мне, полностью сохранились, да и мир эмоций не затухает еще под покровами старости, вот только меньше стало во мне сочувствия да прибавилось, напротив, злорадства: меня все больше сердит теперь людская самоуверенность. Вверх, к Луне? Еще выше? Нет, никакой ракете не унести нас столь далеко в бесконечность, чтобы не последовало за нею, уцепившись хоть за последнюю ее ступень, человеческое тщеславие, не обогнала бы зависть. На каком же небесном теле, спрашиваю я себя, скрючится последний скелет нашего человеческого рода с вымерзшими слезными мешочками под пустыми глазницами?

Что до меня, то хотя мой гонор, мои претензии всем известны, я вполне удовольствовался бы теми маленькими сюрпризами, какие предлагает нам наш земной шар. Мои сны, правда, не ведают преград и потому неосуществимы, но я вполне удовлетворился бы — да еще с какою радостью! — исполнись хотя бы самый непритязательный из них: сумей я помирить, например, господина Йожефа Кеттауера, моего соседа слева, с господином Иштваном Барцой, моим соседом справа, которые — из-за кем-то переставленного мусорного бака — теперь спят и видят, как бы прикончить в один прекрасный день недруга своего ступкою либо лопатой для угля,— и был бы поражен до глубины души, если бы господь даровал мне вдосталь ума и терпения, чтобы это мне удалось. Выбраться куда-либо подальше я не осмелился бы и во сне. Ну, пройти, куда ни шло, еще дом, вверх или вниз по улице, забраться в автобус в час «пик», приблизиться к конторскому столу какого-нибудь чиновника. Сесть, наконец, в электричку, побывать на пахучей мессе в Ниредьхазе, среди дряхлых богомолок. Но уж за границу я даже взор бросить не решился бы. Всей оставшейся мне жизни не хватило бы, чтобы перечислить, под сколькими углами перекрещиваются человеческие страсти и сколько потребовалось бы бальзама и корпии, чтобы вылечить, заговорить хотя бы только затаившиеся в подсознании каждого человека обиды.

Повторяю, я сержусь, хотя и посмеиваюсь иной раз, наблюдая непостижимое кружение несообразностей. Или мне, чем брюзжать, предаться лучше отчаянию — то есть наказать себя же?

Важно не забывать об одном: коль скоро я не жалею других, то и себя жалеть нечего. Услышав, увидев либо прочитав в газете что-то, на мой взгляд, возмутительное, я должен помнить: это произошло не затем, чтобы воздействовать на мою печень и слезные мешочки, и не обязательно ко мне взывают за словом справедливости. Не я — вершина мира. И очень даже вероятно, что этот мир вертится не подо

мной, а надо мною. Что двум каменным скрижалям Моисеевым в лучшем случае нашлось бы место в «Мадьяр немзет» под рубрикой «Юмор», да и то успех они имели бы скромный. «Не желай... у ближнего твоего...» Ну, и не желай! «Не убий!» Ха-ха — усмехнется читатель, если уже не перевернул страницу.

Однажды, когда сын мой Тамаш еще пребывал в Швейцарии, ко мне на квартиру явилась некая молодая авторесса. Несмотря на мои просьбы держать в редакциях под замком номер моего телефона и адрес, не проходит недели, чтобы ко мне не постучался какой-нибудь непрошеный посетитель. Барышня Сильвия Вукович утверждала, что получила адрес от меня самого. Я это отрицал, ссылаясь на безукоризненную память.

— Ну что вы, барышня,— сказал я,— моя память служит мне все еще безотказно, я помню, представьте себе, девичье имя моей матери, да что там имя — помню год ее рождения... Так как же вы...

Вероятно, она приняла мои слова за самоиронию, ибо вдруг улыбнулась.

— ...как же вы могли вообразить, что я способен запамятовать встречу с такой очаровательной особой?

Что и говорить, она была на редкость хороша собой.

— Мы встретились в редакции «Уй ираш», учитель...

— Только не учитель!

Она опять улыбнулась.

— ...Мы вышли оттуда вместе, и вы были так милы, что даже проводили меня чу-чуточку, помните?

Она мне улыбнулась. Если бы не эта улыбка, я ее выставил бы за дверь при всей ее красоте. Она лгала: я не имею обыкновения провожать авторесс, я боюсь их как огня. К тому же барышня Сильвия — которую я несколько позже и лишь самое короткое время, в минуты моей слабости, стану именовать Сильвой — вся извивалась, словно змея, отчего и внутри у меня все извивалось, переворачивалось, она напоминала мне когда-то случайно увиденную певичку из «шоу» — одним словом, она не только не возбуждала мое мужское начало, но, напротив, смиряла его, как, впрочем, и ее протяжный сладенький, тоненький голосок, от каждой модуляции которого в лицо вам так и брызгала капелька искусственного меда. Я утерся.

— Ведь вы вспомнили, ну, чу-чуточку?

— Вы родились в провинции, барышня?

— Ах, что вы, учитель. Я здесь...

— Без «учителя».

— Ах, ах, тысяча извинений. Я родилась здесь, в этом прелестном Будапеште, я его обожаю. А почему вы спрашиваете?

— Ежели вы родились здесь, откуда это «чу-чуточку»,— проговорил я злобно, в предчувствии близкого своего поражения.— Возможно, так принято изъясняться в Балмазуйвароше, но здесь...

— Вы прелесть,— сказала посетительница. Но улыбалась.

— И когда же могли мы повстречаться в редакции «Уй ираш»? — спросил я.— Будьте любезны, помогите моей во всех прочих случаях безукоризненной памяти.

— Летом,— ответствовала дама.— В августе.

Она лгала. В августе меня и в Пеште-то не было. Или был? Какая разница и почему бы ей не лгать? Эта ложь в конечном счете есть просьба извинить ее за вторжение, это, собственно говоря, признание моего, в сущности, незаконного и не имеющего оправданий стремления жить уединенно в человеческом обществе. Это, собственно говоря, лишь признание того факта, что из нас двоих я сильнее и что в жестокой борьбе, какую ведут друг с другом люди, мужчины и жен-

щины, ей бы следовало спасаться, бежать от меня. Ложь — единственная возможность для слабых удержаться на сей земле, иначе те, что сильнее, непременно вырвали бы ее у них из-под ног.

— Вы правы, барышня,— сказал я,— не будь лжи, человечество бы давным-давно сгинуло.

Она улыбалась.

— Не понимаю.

Но она понимала, понимала лучше, чем я сам. Ибо была женщиной, к тому же женщиной того типа, какие лгут не крошечным своим умишком, а всеми своими клетками.

— Одно из великих заблуждений моральных кодексов, барышня,— сказал я, к ней обращаясь, но адресуясь к себе,— состоит в том, что в них осуждается ложь, которая в действительности есть одно из величайших изобретений человечества. Представить какое-либо сосуществование без лжи невозможно. Ложь соединяет всякую общность, коя в противном случае распалась бы на обезумелые, кровоточащие частицы...

Дама мне улыбалась.

— Ах, но вы же прелесть!

— ...ложь,— продолжал я, с непонятной нервозностью расхаживая по комнате,— смягчает нравы, ибо облекает грубый интерес в пристойные одежды, и, таким образом, он может в относительно приличном антураже отстаивать то, что почитает своим правом. Но она не только обеспечивает приличия...

— Ах, вы прелесть! — произнесла барышня Сильвия.— Я думаю совершенно так же, только вот выразить так бы не могла.

— Не сомневаюсь, барышня, что вы думаете совершенно так же,— сказал я.— Итак, ложь обеспечивает не только внешние приличия, она привносит мир в наши чувствительные души, щадит наши сердца, поскольку мы ведь можем лгать и самим себе тоже. Лично я, вот такой старый, каким видят меня ваши сияющие молодые глазки, намерен лгать себе до самого моего смертного часа.

Вдруг мне все надоело, стало противно.

— Собственно говоря, что вам от меня угодно, барышня?

— Ах, вы, право же, душка,— щебетала дама.— Угодно, чтобы вы перестали бегать взад-вперед по комнате, потому что у меня уж голова кружится. Может, вы бы присели рядом со мной на диван?

Она улыбалась.

Меня обезоружила ее улыбка. Выпроставшись из лепестков этого красивого, но банального создания, улыбка явила собой для меня самое вечную природу — то была всезнающая улыбка женщины. Незабываемая, бесстрастная улыбка природы. Не все ли равно, ради какой бесполой цели призвала ее эта девица себе в помощь: на несколько минут она высвободила меня из скорлупы самоуверенности и наполнила блаженным сознанием бесконечной собственной моей незначимости. Какая важность, что́ я делаю, чего не делаю! Какая важность, что я старею и рано или поздно выйду из употребления. Творение будет изредка улыбаться и потом, после. На несколько минут я стал легким, как бесплотная пушинка, все бремя ответственности меня вдруг покинуло.

— Собственно говоря, что вам от меня угодно, барышня? — повторил я, когда пришел в себя.

Да и что тут такого, если начинающая молодая писательница обращается ко мне за помощью?.. если в жестоких внутренних битвах литературной жизни ее предполагаемая одаренность пускает в ход как вспомогательное средство и красоту? Она знает, что у меня есть некоторое влияние в этих по-разному пахнущих литературных зарос-

лях, что с моим словом обычно считаются, что уважают (или по крайней мере делают вид, будто уважают) и, last but not least [1], боятся меня несмотря на то, что я всем отвечаю на приветствия. Одним словом, я potens [2], и было бы противоестественно, противоречило бы так называемому здравому смыслу, если бы красивая молодая женщина не попыталась войти, или хотя бы постучаться, в калиточку моей потенции ради достижения блаженства совсем иного рода. О господи, она хочет стать писательницей, ну так пусть будет ею! Уровень литературной продукции страны из-за этого существенно не понизится.

Но — совесть моя? Скромнее: мой вкус?

Да так ли он непогрешим?

— Ахбожемой, я так тронута, учитель... вы все-таки приняли меня, безвестную скромненькую писательницу... Ахбожемой, я сижу сейчас здесь, на вашем диване... вы ведь тут отдыхаете? Ну, посидите же со мной чу-чуточку!

— Только не «чу-чуточку»,— проворчал я.

— Ахбожемой, вот опять вы...

Но улыбалась.

— Я не сяду сейчас подле вас, барышня, я занят,— сказал я.— Оставьте рукопись и позвоните через неделю, за это время я, вероятно, прочту ее.

Но она не позвонила, она, не жалея трудов, опять явилась сама. Ее писания ничего не стоили, решительно ничего. Я бранился, их читая. Черт возьми, бормотал я про себя, почему было не вселить в это тело и дух, ему соответственный? Явилась бы новая герцогиня Сансеверина. Но духовности в ней нет ни крупицы. Хотя бы столечко, чтобы можно было опубликовать ее опус в каком-нибудь венгерском журнале. Будь я Эрнестом Рануцио IV, тираном пармским[3], я приказал бы эту даму казнить, дабы исправить роковую ошибку природы — отвратительное совокупление тела с пустотой, но, увы... Или велел бы ее отравить — все было бы приятнее, чем с нею беседовать!

На протяжении долгого жизненного пути я привык в глаза говорить писателям правду — прошу прощения: высказывать мое суждение; эта роль мне более всего по вкусу. Я не делаю исключения даже для себя, разве что изредка. Бывало, сердце мое обливалось кровью при виде какого-нибудь симпатичного юнца, но я преодолевал себя. Уж не по этой ли причине молодые писатели нынче все реже переступают мой порог, дабы узнать мое мнение о своей работе? Противный старикашка — должно быть, таким они меня видят. Одряхлел, где уж ему поспеть за нами. В молодости, правда, выдал несколько неплохих вещиц, да ведь когда это было!.. Но если и залетит ко мне в кои-то веки неосведомленный воробышек — вроде этой барышни,— чтобы я напутствовал его, то и от этого я получал немного радости. Воробышек тоже.

Да, видимо, я все-таки старею, мне не по вкусу собственные мои пристрастия. Я стоял у окна, спиною к дивану, где расположилась, надо думать, посетительница, и смотрел в окно. Стоял, дивясь необычайной своей растерянности. Что сказать ей? С чего начать? За моей спиной послышался смех, радостный свежий смех.

— Чему вы смеетесь? — спросил я, не оборачиваясь.

— Тому, как нервно вы барабаните по стеклу. Ой, уж не боитесь ли вы меня?

— Милая барышня,— выговорил я,— я прочитал вашу рукопись...

---

[1] Не в последнюю очередь *(англ.)*.

[2] В силе *(лат.)*.

[3] Эрнест Рануцио IV, как и герцогиня Сансеверина,— действующие лица романа «Пармская обитель» Стендаля.

Но я опоздал; когда я к ней обернулся, она стояла уже голая, разбросав где попало свое платье, белье; дымчатые колготки очутились на письменном столе, прикрыв только что начатую мною работу. Я мог бы счесть это знамением, будь у меня настроение и время для мудрствований. Как видно, не было ни того, ни другого. Я опустился в кресло и смотрел на стоявшую у дивана юную даму. Ее тело было совершенно.

Она улыбалась.

— Идите же!

Я все так же сидел и смотрел на нее.

— Столь прекрасная молодая женщина — редкий подарок для старика,— сказал я.— Позвольте же еще немного полюбоваться вами. Здесь тепло, так что вы не замерзнете.

Она мне улыбалась.

—. Да идите же! — позвала она еще раз.

Спустя неделю я отправил Тамашу в Швейцарию письмо. Пусть едет домой. Пусть в доме будет мужчина.

Надобно прибавить, что я решил: Тамаш нужен не только в доме, он нужен мне самому. В доме — очень уж затхлым стал в доме воздух от суммы моей и Жофиной старости; его следовало хоть немного разрядить движением молодости, чтобы мы не застыли навечно в собственном унылом безмолвии. Ибо сколько ни ссорился я с Жофи из-за разной ерунды, как ни огрызалась она мне в пику, обоим нам давно приелись все оттенки и повороты наших речей и где уж нам было прислушиваться к их смыслу. Что могли мы сказать друг другу, что разъяснить, еще не разжеванное до отвращения за минувшие десятилетия? Когда и невысказанные-то мысли друг друга знали все наизусть?!

А тут еще Жофи с некоторых пор буквально прожужжала мне уши: заберем да заберем мальчика домой.

— Велите мальчику домой ехать, молодой барин,— твердила она.— Хоть бы уж повидать его, пока жива.

— Ну тогда можно не торопиться,— сказал я.— Ведь это вы будете хихикать у моей могилы, не я у вашей.

Старая домоправительница засмеялась.

— Не приведи господь,— сказала она.— Да я б все выла у надгробия вашего целые дни напролет, покуда и меня дьявол не унес бы.

— Дьявол? — буркнул я сердито.— Так вы и в аду намерены за меня цепляться?

Старуха не ответила.

— К чему разговоры долгие, молодой барин, пора уж мальчика домой призвать,— сказала она немного погодя.

— Зачем?

— Так ведь нужен в доме мужчина,— сказала старуха.

К стыду своему, признаюсь: она меня так разозлила, что в тот день я пришел домой поздно ночью, когда знал наверное, что она уж в постели. Не хватало, чтобы она меня и сна лишила, меля всякий вздор своим неугомонным грубым языком, чтоб и в сны мои совала свой толстый красный вездесущий нос! Мало ей, что обирает меня до нитки, так надо мною же еще и посмеивается?! Как посмеиваются свысока кичащиеся своим опытом взрослые над несмышленым дитятей: погоди, мол, и тебя жизнь проучит! Будешь ужо и ты плестись нога за ногу! Словно не видит — я и так-то не хожу, а едва плетусь, только что ноги переставляю... А еще в последнее время слышится в ее речи вроде бы жалость: вижу, мол, вижу, бедняжка ты, вижу, что через

силу бредешь,— похоже, и у тебя темечко-то зарастает... Стоит ли даже упоминать, что ревнивая ведьма давно отметила про себя, с каких пор — а правда, с каких пор?.. одному богу ведомо...— не проводил я ночи вне дома, точно так же как прежде она всегда безошибочно определяла ведьминским своим нюхом, когда я бывал в обществе женщины, и всякий раз давала мне это понять едва заметным, мстительным подрагиванием ноздрей.

Визит барышни Сильвии озадачил не только меня, но, пожалуй, и Жофи тоже; она подозрительно поглядывала на меня то справа, то слева, если же я случайно оборачивался к ней, поспешно отводила глаза. Сумей я когда-нибудь назвать ее матерью, то есть не стесняйся ее, я спросил бы прямо: ну, ведь ты же все знаешь? Ты видишь сквозь стены, слышишь через них даже шепот? Тебе известны и самые низменные мои сны, да?

А тем не менее ты не знаешь всего, продолжал бы я. Ты не знаешь, что в ночь после того печально окончившегося приключения я лежал с тою барышнею — в ее отсутствие — и доказал самому себе, что время моего мужского «я» еще не миновало... Разумеется, попусту растрачивать силы уже не следует — это удел легкомысленных двадцатилетних юнцов, из которых так и брызжет вокруг радость жизни. Я же, насколько мне известно, уже не двадцатилетний юнец, хотя и не могу того подтвердить ни метрикою, ни свидетельством о крещении.

Нет, нет, барышня, мы не станем попусту растрачивать свои силы, объяснял я расшалившейся в моем воображении Сильвии Вукович, ибо нам, слава богу, уже не двадцать. Мы осмотрительны и в некотором смысле даже скупы, поскольку все лучшие жизненные соки приберегаем для работы. Теперь-то вы были бы мною довольны, как видите сами, и даже более того, но, к сожалению,— ах и ах! — мне сейчас не с руки, меня уже с нетерпением ждет мой письменный стол. Ждут — чу-чуточку — и рукописи... мои рукописи.

С тем и вступил я в новую пору моей жизни: в лабиринт самообманов. Правда, я плутал в нем совсем недолго, однако время это было мучительно. От меня одного зависит, размышлял я, лежа под слабенькой звездочкой ночника и устремив глаза к расплывавшимся в сумраке любимым очертаниям письменного стола, только от меня зависит, встав поутру, взвиться к самым звездам — ну-ну, скромнее: хотя бы к ним поближе — или, оставаясь на сей сластолюбивой земле, поднять трубку и позвонить Сильвии Вукович, которая в безмерном оптимизме оставила на моем столе свой адрес и телефон.

Я так и не набрал ее номер. Каждую ночь решал, что позвоню, а утром от своего решения отказывался. Если моя рука все же тянулась к телефонной трубке, я отдергивал ее, словно ужаленную обратившимся в паука «чу-чуточку». Я должен работать, твердил я себе, ведь не может быть никакого сомнения, что все блаженство человечества зависит от завитушек моего пера, в том числе блаженство господ Йожефа Кеттауера и Иштвана Барца, правого и левого соседей моих, которые, высунувшись из окон, боясь дышать, с двух сторон следят за движением моего пера. А за ними — вся страна, приложив к уху трубочкою ладонь,— да что страна!..— все человечество: ведь кое-какие мои книги переведены на четырнадцать языков. Да, я жертва чувства ответственности: я не могу позвонить Сильвии Вукович...

— Сожалею, барышня,— все же мог бы сказать я ей в телефон, войдя в Робеспьерову роль Неподкупного,— я мог бы в любое время исправить допущенную в прошлый раз неловкость, но, за отсутствием

времени, принять вас не могу. Именно сейчас я занят формулированием одиннадцатой заповеди.

Однако какое-то время все же прошло, прежде чем я разоблачил себя. Разоблачил притаившуюся в глубине души трусость, не смевшую выйти на испытание действительностью. Ибо где-то в самой сердцевине моей я все-таки знал, знал лучше, чем железы внутренней секреции, что наступила старость и я приближаюсь к концу моего пути: теперь уже и пристойно быть малодушным. Сознавая при этом, конечно, и мудро на том примирившись, что, хотя в самом конце мы будем побеждены, все же какое-то время, пусть на слабом огне, мы еще способны честно вершить свое дело. Хорохорящиеся старики мне отвратительны. Моя рука отлично знала, что делает, когда, потянувшись к телефону, вдруг отдергивалась: она не хотела предавать меня. Она лучше меня ощущала ужасающее различие между фантазией и действительностью.

Повторяю, период лицемерия и самообмана окончился быстро, рухнул внезапно, словно обвал. Однажды днем — помню, то была суббота — я неожиданно сник. Причины — никакой. Ни с того ни с сего я осознал, что старость огрела меня по затылку, я пал и больше не встану никогда. И нечего убаюкивать себя баснями, будто жива еще во мне мужская сила; душа — проклятая! — знала, что никогда больше мне не познать — пользуясь выражением Ветхого завета — живую женщину из плоти и крови. Навсегда остыло место в постели рядом со мной.

Повторяю, не было никакой особой причины к тому, чтобы пелена вдруг спала с моих глаз; да если бы я и мог ее отыскать, она пряталась в мозговых извилинах так глубоко, что никаким психологическим пинцетом ее бы оттуда не вытащить. Я сидел за письменным столом, в земляничном свете весеннего заката, достраивал незаконченную фразу в новом романе и тут заметил, что плачу. Слезы лились по моему лицу, солоно чувствовались на старых губах. Я удивился, облизал губы. Рыдание вырвалось уже после, пробившись изнутри сквозь паутину нескольких ошеломленных вдохов, но вырвалось из такой глуби, так судорожно, что я ухватился за стол, чтобы не свалиться со стула. Я все еще не понимал, что со мной, и, как ребенок, кулаком утирал слезы. Я, вероятно, являл собою презабавное зрелище, ведь это же надо представить: убеленный сединами, но крепкий старик, в здравом рассудке, сидит за своим столом, погруженный в работу, и вдруг, без всякой видимой причины, разражается отчаянными рыданиями, с такой смертельной обидою в сердце, словно собственный сын ударил его по лицу. Живет он в достатке, пользуется всеобщим признанием: кое-какие его книги, как упоминалось, переведены на иностранные языки,— и вот однажды он обнаруживает, что горько обижен на мир. Еще бы, ему предстоит умереть!

Что уж скрывать, последовали мучительные недели, месяцы. В скитаниях по этому аду я утерял, кажется, всякое самоуважение, даже роман свой забросил до поры. Вечером, если я оставался дома, приходилось иной раз запираться на ключ, чтобы Жофи, чего доброго, не застигла меня однажды в слезах. Вот уж не ожидал, думал я, оглядывая взгорья и низины прожитой жизни, что под старость буду истериком. Я боялся, разумеется, не смерти, а увядания... На другой день, после того как у меня открылись глаза, иными словами, после того как я отрезвел,— то есть в воскресенье, коль скоро событие это случилось в субботу,— я зашел к старому моему другу, недавно женившемуся на особе, которая была моложе его на двадцать лет. Я знавал ее еще девушкой, это было прелестное создание, она походила на мою жену.

Дверь отворил Янош.

— А, наконец-то пожаловал, старый разбойник!

Я засмеялся. «Старый разбойник»! Да, попал в самую точку. Я смеялся так долго, так усердно, что Янош, кажется, уловил фальшивую ноту и покачал головой.

— Что с тобой, старый плут?

«Старый плут»! Еще лучше! Я продолжал смеяться, но теперь над собой: вид старого доброго друга, словно антиспазматическое средство, на некоторое время ослабил в сердце судорогу отчаяния.

— Со мной ничего,— сказал я.— Ты-то как, лабух?

Что, как и я помолодею, обрядившись в жаргон молодежи! Над этим я опять посмеялся некоторое время.

— Жена?

— В магазин побежала,— сказал Янош,— сейчас вернется. Ты, конечно, ужинаешь с нами?

— Мясного я вечером не ем,— сказал я.— Кружку молочка, вот старому козлу и довольно.

Янош смотрел на меня вопросительно.

— Неделю назад я видел тебя в «Фесеке», ты уплетал во-от такой ростбиф с луком...

— Давно дело-то было.

Янош остановил на мне долгий, как сама вечность, взгляд.

— Тысяча чертей тебе в глотку, всемилостивейший государь,— проговорил он.— Неделя!.. По-твоему, это давно?

— Известно ли вам, ваше превосходительство, сколько всякой всячины может случиться с человеком за неделю?

— Известно. Он становится на неделю старее.

— Вот то-то,— сказал я.— Ну что, оправдывает себя наша курочка в супружестве?

— Еще как, милостивый государь! В самый раз, по мерке. Вот и вашей милости, если б поменьше хулиганить изволили, такой бы обзавестись, было бы кому постель постелить на старости лет.

— На мою долю хватает,— ответил я лихо.— За меня, ваше превосходительство, не тревожьтесь!

Янош опять глянул на меня с подозрением.

— Ты это серьезно?

— Что?

— Тебя еще интересуют женщины? Кстати, сколько тебе лет?

— Не знаю.

— Не знаешь. Ну, конечно. И ты, выходит, женщин еще интересуешь?

— То есть считают ли они меня мужчиной?

Мы сидели у Яноша в кабинете друг против друга в двух старых, обитых черной кожею креслах, стоявших возле окна. За окном, в маленьком рожадомбском[1] саду, высился огромный каштан; его толстый ствол делил надвое открывавшийся из окна вид: справа выгибалась дугою над темной рекой убегавшая на пештский берег лента ярко освещенного моста Маргит, слева, по другую сторону ствола, виднелся слабее светящийся мост Арпада. Окно было отворено, в комнату тянулся аромат свежескошенной травы, за ним на цыпочках крался запах дунайской воды. Было приятно дышать. Пускай я стар, но я люблю этот город!

— Погляди на каштан,— сказал я Яношу.— Он, должно быть, одних лет со мной, а все зеленеет.

— Кабан,— сказал Янош.

---

[1] Рожадомб *(буквально: холм роз)* — район вилл в Буде.

— Я любвеобилен, ты же знаешь,— продолжал я,— а у женщин на это нюх, они чуют это сразу. Скажем, вчера...

— Ах ты, племенной бык,— сказал Янош.— Ах ты, производитель!

— Не люблю хвастаться,— продолжал я,— но вот хоть и вчера... погоди, когда ж это?.. ну да, вчера. Позавчера около полудня зашел я в кафе «Вёрёшмарти», спросил кофе, коньяку. Чувствовал себя усталым: поднялся в тот день непривычно рано — хотелось выправить незадавшуюся с вечера, недописанную фразу... но так и не выправил. В кафе сразу прошел в дальний, пустой зал, там сидело всего двое, ну да, двое. Муж и жена, молодые совсем. Ведь бывают пары, от которых издали несет супружеством, словно чесноком. Так и тут. Это были англичане, английский дипломат с женой, проездом. Женщину звали Сильвия.

— Откуда ты знаешь?

— Женщину звали Сильвия,— продолжал я,— миссис Сильвия Вукович, Бестактности в том, что я назвал ее имя, нет, они уже проследовали дальше, к месту назначения, в Анкару. Вообще-то они были американцы, не англичане, а я, хотя по-британски несколько слов еще проквакать могу, американского диалекта не понимаю. Да ведь к чему и беседовать с женщиной, если вместо глаз у нее две пылающие звезды и улыбается она так... Ее улыбка меня и сразила, дружище, эта улыбка, выпроставшись из лепестков обворожительного создания, явила собой для меня самое вечную природу: то была всезнающая улыбка женщины. Незабываемая, бесстрастная улыбка природы.

— И где же она испробовала на тебе свою улыбку? — спросил Янош.

— Жизнь без любви ничего не стоит, ваше превосходительство,— продолжал я.— Один немецкий философ, чуть ли не Кант... да-да, именно Кант сказал... что бишь он сказал?.. что любовь есть единственная возможность для двух индивидов утерять сознание своей разобщенности или же, добавлю я, с триумфом преодолеть никак иначе не одолимое, невыносимое одиночество.

— Да где ж и когда добился ты такого триумфа? — спросил Янош.— В кафе «Вёрёшмарти»?

— Я не упомянул еще,— сказал я,— что у дамы с глазами-звездами кожа было светло-коричневая, но то была не разновидность загоревшей европейской кожи, а некий более древний грунтовой цвет, обретенный еще во чреве матери. Одним словом, она была дочерью индийского магараджи.

— Не ослышался ли я, милостивый государь? — спросил Янош.— Только что вы изволили говорить как будто об американке?

— Ее муж американец. И разговаривали они, само собой, по-английски,— сказал я, уже сердясь, так как чувствовал, что Янош не столько следит за рассказом, сколько изучает мое лицо. Зная меня как человека правдивого, он, на худой конец, мог подозревать, что я несколько приукрашиваю события, но от него я и это воспринимал с неудовольствием. Что он высматривает на моем лице, спрашивал я про себя, мой возраст? Который не в ладу с тем, что ему известно о старости? Он помнит меня чуть ли не с детства, мог бы уж знать, что, рассказывая, я привираю самое большее наполовину.

— Ну, и как же в конце концов вы сговорились? — спросил Янош.— Ты почему молчишь? — спросил он немного погодя.

— Потому, надо полагать, что не могу с ходу придумать, как мы с ней сговорились,— ответствовал я ледяным тоном.

Янош примирительно положил руку мне на рукав.

— Не злись!

— Смотрю я на твою честную физиономию, дружище,— сказал я,— и знаешь, на ней просто написано, почему твоя женушка, не пройдет и года, наставит тебе рога.

— Так как же вы сговорились? — повторил Янош.

— Когда муж,— сказал я,— отправился в гардероб за манто жены, я подошел к ее столику и положил перед ней свою визитную карточку с адресом, телефоном. На другой день она пришла без звонка: ведь по телефону мы бы все равно не поняли друг друга. Вот так-то — без всякого предупреждения, появилась — и все. Без слов, но зато со своей улыбкой.

Итак, вообразим рандеву,— продолжал я,— когда любовь мужчины и женщины проходит по наидревнейшему ее варианту, при выключенном рассудке и чисто физическом единении. Вместо разговоров они только улыбаются друг другу, да и улыбки видятся смутно в сумраке комнаты, где сквозь решетку жалюзи тонкие как лезвие полоски света лишь кое-где добираются до кровати. И ничто не нарушает приятного общения двух тел, которое, помимо взаимного удовольствия, не осложнено никаким посторонним интересом. Сильвия не хотела от меня денег, драгоценностей, не мечтала о том, чтобы я пристроил ее рукопись в каком-нибудь издательстве, она желала только меня самого, случайную капельку рода мужского, коей, по неисповедимому капризу природы, могла утолить свою жажду. Неутолимую жажду природы — я мог бы выразиться и так.

Вообрази себе далее,— продолжал я,— ту поистине возвышенную тишину, которая окутывает диалог двух тел, тишину, оттеняемую шепотом пашаретских садов за окнами зашторенной спальни. Змей из райского сада, разум человеческий, не разевал свою пасть, не слышно было ни звука — только ласки всезнающих рук, учащенное дыхание, стон радости, трепет тесного объятья. Нет, говорить было не о чем, взаимопонимание существовало без слов. И голос природы, подтверждавший: жить стоит. Друг мой, ты смотришь на мои седины? Я формулирую сейчас, быть может, последний великий урок моей жизни: мне следовало бы жениться на немой женщине.

— Так ты еще хочешь жениться? — с любопытством спросил Янош.

Вошедшую в этот миг Юли я, как уже говорил, знал с ее девических лет. Сейчас она была красивей, чем когда-либо. С голубым, в горошек, платочком на непослушных золотисто-рыжих кудрях, прямым, чуть приподнятым на конце носиком, полной снежно-белой шеей и молодыми формами, лишь сейчас исполнившими то, что обещали в девичестве, она была пикантнее, чем тогда... когда же это?.. тому, уж верно, немало лет... когда я, слегка за нею приударив, чуть было не влюбился всерьез. Воспоминание, должно быть, постучалось и к ней, она покраснела, узнав меня.

— Ах, как славно, что вы зашли! Как давно мы вас не видели!

— Слышишь, Юли,— сказал Янош.— Этот тип надумал жениться!

Юли рассмеялась, затем, как бы желая исправить оплошность, подбежала ко мне, обняла, расцеловала. И даже прижалась на миг горячим, крепким, весенним телом.

Нет, я не пожелал ее. Ни единой клеточкой. Я посмотрел на нее, я ее отверг. Еще некоторое время полюбовался ее движениями, женственным излучением ее молодости, столь приятным для глаз, носа, ушей, и на том самообследование окончил. Нет, я не пожелал ее. Я стар.

Поскольку я выяснил, таким образом, то, ради чего пришел, я тут же встал и откланялся. Они проводили меня до прихожей, здесь я закурил сигарету.

— Ой, как странно,— воскликнула Юли.— Как дрожат эти два пальца, в которых вы держите сигарету!

Я посмотрел на свои пальцы.

— Что ж, дрожат,— сказал я.— Я старик, Юли.

Тамашу, летом приехавшему, наконец, из Швейцарии, я объявил:

— Я вернул тебя домой, сын, потому что, как видно, старею и в доме нужен мужчина.

Заметим, что в виде приложения к этой фразе я изобразил на губах тонкую улыбку, дабы мальчик не принял все же слишком всерьез сообщение о моей близящейся старости. Я предположил, что понятие «самоирония» ему известно.

После истории с барышней Сильвией уже прошло, надо сказать, несколько месяцев, и я постольку поскольку примирился с тем, что положен на обе лопатки, то есть сбит с ног и сброшен со счета. К горизонтальному положению, какое придется занять в могиле, следует привыкнуть заблаговременно. Вот я и привык, то есть весь как-то задеревенел и теперь все реже просыпался по утрам с бешено колотящимся сердцем и с ощущением, что лучше было бы уж и не просыпаться.

— Я вернул тебя домой, сын, потому что, как видно, старею и в доме нужен мужчина,— объявил я, повторяю, Тамашу с тонкой улыбкой.— Память моя слабеет... впрочем, я мог бы выразиться иначе: память моя уже не считает нужным утруждать себя, подбирая все, что ни попадет под ноги, или, точнее, отбрасывать прочь с дороги каждый ком... Ты мне нужен.

Тамаш встал, подошел — я стоял за своим письменным столом — и нежно меня обнял. Даже длительное пребывание за границей не отучило его от сыновнего ко мне пристрастия.

— Вы совсем не постарели, отец,— сказал он.

Он был красивый стройный молодой человек, хотя на голову меня ниже. Лицом он тоже походил на меня, хотя и в удешевленном издании; его черты как будто подтверждали верность сохраненного памятью детского его облика: прескучную любовь к порядку и поистине необычайную надежность. Рядом со мной до самой моей смерти будет здоровый, добронравный, послушный сын — успокоенно отметил я, верный привычке думать прежде всего о себе.

— Признаки старения, сын, неопровержимы,— сказал я.— Так, за последние месяцы я заметил, что, стоит мне задуматься, нижняя губа отвисает и на жилет падает несколько лишних капель слюны. Правда, для жилета это безвредно, поскольку слюна не оставляет пятен, но самое явление оскорбляет мой вкус.

Тамаш рассмеялся, это меня встревожило. Конечно, он не позволил себе ни единого дерзкого замечания, но про себя, вероятно, подумал: что ж, мне ходить за тобой следом с носовым платком в руке?

— Я упомянул об этом просто как об одном из проявлений наступающей старости,— сказал я.— Только для подтверждения, а не затем, что жду от тебя помощи. Точно так же, полагаю, ты не в состоянии помочь мне, ежели я забыл, как звали моего перворожденного сына, умершего за десять лет до твоего рождения. Знать его имя мне не нужно, это также всего лишь пример. Моя знаменитая, то бишь моя безукоризненная память начинает угасать.

— Но почему вы не спросили у Жофи, отец?

— Соображаешь ты туго, сынок,— сказал я уже с нетерпением, но по существу довольный: это будет заурядный тяжелодум, иными словами, человек счастливый.— Ты усомнился в том, что я старею,

я пожелал рассеять твои сомнения. Если, впрочем, они не просто порождение сыновней любви!

Тамаш опять поднялся, опять меня обнял. С тою неловкой нежностью, с какой, похлопывая друг друга по спине, обнимаются только мужчины. Я нимало не сомневался, что он и за границей сберег унаследованные от матери благие черты, ее человеколюбие и, вместе с ним, почтение к авторитетам и что под моим руководством он благополучно минует все новомодные опасности, кои якобы угрожают современной молодежи. Он не отрастил бороду в Швейцарии, волосы стриг коротко. Я оглядел его: сознание отцовской ответственности даже растрогало меня. Конечно, ему бы не повредило быть немного позатейливее, подумал я. Но тут же добавил: впрочем, одного сумасброда в семье достаточно. Хотя, сказать по правде, не себя я считал сумасбродом среди живущих.

— Чем ты намерен заняться в Пеште?

С этого моего вопроса началась для меня новая глава моих старческих метаний. Я только-только пришел в себя от первого громового удара — ха-ха-ха,— от того щелчка по носу, коим закончилась моя мужская пора, и вот уж разразилась надо мной новая гроза, еще забавнее первой.

Тамаш учился на инженера-текстильщика. Рассказав, что в Женеве окончил уже два курса, он спросил, может ли жить у меня.

— Да где ж еще тебе жить? — спросил я.— Квартира достаточно просторна, двум холостякам места хватит.

— Но дело в том...— заикнулся Тамаш.

Очевидно, я не обратил внимания на его «но дело в том».

— Я вернул тебя домой потому,— сказал я,— что мне нужен здесь какой-то отзвук. Надеюсь, ты отнесешься с должным почтением к значительности этой роли?

— Я буду стараться, отец.

Кажется, его не покоробило чванство, достаточно отчетливо прозвучавшее в моем вопросе. Право, блаженная добрая душа, решил я про себя.

— Мы должны понять друг друга, сын,— сказал я.— Я нуждаюсь не просто в понимании с твоей стороны, хотя оно и не вредно для такого старца, особенно ежели пресловутое понимание лишь имитируется,— иными словами, может быть принято только как проявление любви и такта. И не для того вернул я тебя домой, чтобы ты ходил за мной по пятам с носовым платком в руке и утирал нос и рот своему дряхлому папеньке. И даже не ради Жофи, которая, по-моему, ни за что бы не умерла, не покормив тебя еще разок грудью памяти.

— Понимаю, отец.

— Допустим,— сказал я.— Надеюсь, поймешь и все последующее. Мир вокруг меня смолкает, сын. Потому ли, что становлюсь туг на ухо и не улавливаю его речей? Или я слишком внимательно, приблизив ухо к запястью, прислушиваюсь к своему пульсу и его биение столь громко, что я становлюсь глух к прочим звукам? Тревожный симптом, сын, сигнал близящегося маразма. Писатель лишь до тех пор писатель, пока он, вслушиваясь в себя, за акустическими проявлениями собственного организма улавливает также и звучание мира. Если же мир становится ему невнятен, весь концерт уже ни к черту. Стареющий человек буквально начинен постоянно умножающимися дефектами, поправить которые извне ему удается все реже: от этого он все менее уверен в себе и все более одинок. Новый опыт его уже не интересует, с него достаточно того, что накопилось за долгую жизнь, да он и не верит, будто есть что-то новое под солнцем — как,

впрочем, и над оным. Поэтому он предпочитает затвориться в себе: он глохнет, слепнет. И чтобы все же как-то развлечься, вскарабкивается в конце концов на огненную колесницу Ильи-пророка, приманенный ложной, как известно, идеей бессмертия. Все выше, все дальше от остывающей и немеющей Земли! Понимаешь?

— Понимаю, отец.

— Возможно,— сказал я.— В таком случае ты поймешь, вероятно, и роль, для которой призван. Твоя молодость станет посредником между моей глухотой и миром.

— С огромной радостью, отец. Насколько хватит моих способностей. Но, мне кажется, отец, у вас все еще отличный слух.

— Старый человек лишь наполовину мужчина,— продолжал я после короткой паузы, в течение которой вспоминал, выпил ли утром слабительный настой.— Вторую половину надлежит восполнить тебе, сын. Из чего ты поймешь, что я считаю тебя мужчиной и намерен прислушиваться — по крайней мере, мне так кажется — к твоим советам и замечаниям. Прежде всего следи за всем тем шлаком, который накапливается к старости в каждом человеке, после того как отгорели его страсти. Страсти, заглушаемые в течение нашей жизни, не тонут бесследно, самоконтроль, навязанный нам так называемой цивилизацией, также камнем лежит в желудке до последней нашей минуты. Например, обращаю твое внимание — а тебе предстоит ежевечерне напоминать о том мне,— что мною сделано поразительное открытие: я завистлив. Чему именно я завидую, не знаю. Напоминай мне также о том...

Но вдруг я прискучил себе.

— Продолжим в другой раз, сын,— сказал я.— Теперь же ступай к себе, я устал.

— Еще только одну минуту, отец,— сказал Тамаш.— Вы не ответили на мой вопрос, могу ли я жить здесь.

— Да почему бы тебе не жить здесь?

— Я не один, отец.

— С какой стороны ни погляжу, вижу перед собой только одного человека,— сказал я бессмысленно: очевидно, голова моя уже ушла в работу.

— Я женился, отец.

— Ну нет! — сказал я тотчас.— Ну нет!

Возможно, впрочем, не сказал, а завопил. Стоя за письменным моим столом, я чувствовал, как со мной происходит невероятная метаморфоза и, подобно древнему сфинксу, я превращаюсь в некую помесь: к моей голове пророка снизу пристраивалось кровожадное тело обывателя.

— Ну нет! — вопил я.

Тамаш смотрел на меня. Пожалуй, он решил, что вслед за обсуждавшейся выше символической глухотой последовала глухота действительная, так как подошел ко мне ближе, наклонился вперед и сказал громко:

— Вы меня неправильно поняли, отец. Я сообщил вам не о намерении жениться, а самый факт: я женился.

— Исключено! — заорал я.

— Месяц назад, в Женеве.

— Исключено! — продолжал я орать.

— Что мы поженились в Женеве?

— Исключено!

— Я совершеннолетний, отец.

— Бога нет! Правда, его нет не только поэтому.

— Я женился на венгерке, отец.

— Я вызвал тебя, чтобы в доме был мужчина!

Тамаш сделал еще шаг ко мне.

— Так вот же я.

— Тебя здесь нет! — вопил я.

— Оттого, что я женат...

— Никто тебя не просил настолько быть мужчиной,— бушевал я.— Знать ни о чем не хочу!

— О чем вы не хотите знать, отец?

— И Жофи тоже! — вопил я.

— О чем вы?

— Я вернул тебя, чтобы ты стал моим опекуном, а не затем, чтобы заполонил весь дом этими ломаками женщинами.

— Я в вашем распоряжении, отец, но...

— Не желаю больше видеть вокруг себя женщин,— не унимался я.

— Как прикажете, отец.

— Отцеубийца! — вопил я.— Гонерилья в мужском обличье!

— Как? — спросил Тамаш.

Он не знал Шекспира. Его необразованность не возмутила меня, а, напротив, успокоила.

— Знать не желаю,— продолжал я.

Тамаш посмотрел на меня, потом поклонился и молча направился к двери.

— Гистологическая несовместимость! — выкрикнул я ему вслед, но уже сбавив тон. Он обернулся.

— Не понимаю,— сказал он.

Стихая — быть может, под гнетом воспоминаний,— я проговорил:

— Между мною и женщинами возникла гистологическая несовместимость... недавно возникла,— добавил я точности ради.

Тамаш опустил глаза.

— Я с глубокой горечью принимаю к сведению ваше решение, отец,— сказал он четко, как и подобало инженеру-текстильщику,— и покину дом. Кстати, это будет не первый случай в нашей семье,— добавил он, улыбаясь.— Из ваших же рассказов, отец, я знаю, что мама вышла за вас замуж невзирая на протесты и даже прямой запрет родителей.

— Где эта женщина? — спросил я.

Через неделю после этого разговора она прибыла в Будапешт. Ее отец еще до войны уехал из Дебрецена в Швейцарию, женился там на текстильной фабрике — ага, текстильной! — но поварихой в его доме была венгерка и говорили там по-венгерски. Почему уж так, запамятовал. Возможно, и тесть был венгром? За границей выходцы из одной нации, если не стыдятся своей родины, лепятся обычно друг к другу, как слова хорошо написанной фразы; вероятно, они полагают, что только вместе имеют какой-то смысл. Катрин — в дальнейшем мы будем именовать ее Кати — говорила по-венгерски без ошибок и даже красиво, в ее интонациях еще угадывались далекие дебреценские истоки.

— Целую руки, рара,— сказала она еще от двери, когда Тамаш, встретивший жену на аэродроме, ввел ее ко мне в кабинет, чтобы представить.

Я сидел за столом, обернулся. Не видно было, что она утомлена после долгого пути, или успела выкупаться, переодеться? К их комнате на втором этаже примыкала отдельная ванная. Кати была в белых брюках и вишневого цвета пуловере.

— Рара? — повторил я за ней.— Насколько мне известно, барышня, я вам не отец.

Кати, направившаяся было ко мне, вдруг замерла, остановилась в трех-четырех шагах от моего стола. И вспыхнула — так, что покраснела даже шея. Тамаш обнял ее за плечи, мягко подтолкнул ко мне. За ними в двери показался толстый красный нос Жофи.

— Позвольте напомнить вам, отец, что Кати уже не девица,— сказал Тамаш почтительно, хотя и со смехом.— Уже месяц, как мы поженились.

— Это ничего не значит,— сказал я.

Она была красивая женщина, с чутким, насколько я мог судить, пропорционально сложенным телом, и это меня разозлило особенно. Хотя бы очки носила, что ли... однако глаза ее ясно блестели. Вся ее гибкая стать казалась легкой, словно брошенное невзначай замечание, весомость которого ощущаешь лишь позднее, когда оно проникает в самую глубь сознания.

— Как же ей обращаться к вам, отец? — спросил Тамаш.

— Пока никак,— сказал я.— Я сам обращусь к ней, если возникнет в том нужда. Сколько вам лет, барышня?

— Семнадцать исполнилось, mon cher beau-père,— сказала Кати. Она опустила глаза, но я видел по стройной девичьей шее, что диафрагма ее колышется. Разумеется, меня сердило и это.

— Ребенок уже есть, барышня? — спросил я.

— Нет, отец,— сказал Тамаш.

— И в проекте нет?

— Нет,— решительно ответила Кати.

Жофи, до сих пор державшаяся в дверях, теперь вошла в комнату.

— Да уж, только этого не хватало,— проворчала она негромко, но так, чтобы все мы услышали.— Ребенок!.. Да я тут же на пенсию. Работать на четверых, с больной-то поясницей!..

— Не думайте, барышня, что мы тут все с зайчиками, мы просто с норовом, как вообще старики,— сказал я, покосившись на Жофи и продолжая изучать Кати, которая растерянно на меня смотрела.— Вам следует заметить себе это, если вы намерены поселиться в нашем семейном кругу.

— Qu'est-ce que c'est que [1] с зайчиками? — спросила Кати у Тамаша.

— Те, у кого со страху пятки чешутся,— ответил я.— Ваши почтенные родители зудом не страдают?

— Редко, mon cher beau-père,— сказала Кати; она уже вновь смеялась!

Уныние и смех так быстро сменялись в девичьей ее душе, как ее венгерская речь — французским ходом мысли. Этот легкий смех я полюбил прежде всего, когда — значительно позже — мог уже простить ей, что она женщина, и близко — скажем так: ближе — подпустил к своему сердцу. Но пока, в Фермопилах моей старости, я отражал все ее атаки.

— Одна из наших причуд, кою разделяет со мной и старая моя приятельница Жофи,— сказал я Кати, одним глазом косясь на Тамаша,— состоит в том, что мы не любим красивых женщин и не считаем их приемлемыми ни в качестве жены, ни в качестве невестки. Вот вам пример: перед особой, не столь щедро украшенной всяческими достоинствами, я не стыдился бы, если у меня вдруг капнет из носу,— пока, допустим, еще не капает, но ведь это будет, и в весьма обозримое время. Вы тактично отвернетесь, барышня, меня же, поскольку речь идет о красивой женщине, это раздражает уже сейчас,

[1] Что значит *(франц.)*.

при одной только мысли. Далее: я зябок, поэтому весной, выходя в сад, я набрасываю на плечи ветхий черный берлинский платок приятельницы моей Жофи, что будет раздражать вас и, ответно, рикошетом, меня. Продолжим: я люблю солнечную погоду, в пасмурные же дни ко мне просто не подступиться. Если бы вы вашим цыплячьим умишком были способны уважать все это — а о самом тяжком я еще и не обмолвился,— я счел бы вас разумной не по годам, а это меня оттолкнуло бы от вас еще больше.

По лицу Тамаша я видел, что он чертовски наслаждается этой сценой; тут уж и я подивился, поскольку не предполагал в нем такого лукавства.

— Mais il est charmant [1],— воскликнула девчушка и, отстранив Тамаша, который сделал попытку ее удержать, бросилась ко мне. Я опоздал, я не успел подняться с кресла. Она обвила руками мою шею, расцеловала на французский манер, в правую, потом в левую щеку, затем склонилась к моей руке и тоже поцеловала.— Mon cher beau-père, vous êtes charmant!

Ее легкие поцелуи, слетавшие на меня с трепетным теплом бабочки, напомнив былую сладость любви, еще больше меня расстроили. Я вскочил с кресла, рассвирепевший, словно меня оскорбили в моем мужском достоинстве. Ныне, когда я пишу эти строки, уже очевидно, что, играя сурового старика, я вел себя в действительности как смешной клоун и лишь благодаря исключительно чуткому женскому уму и доброте моя невестка меня разгадала. Могу сообщить: даже роли анахорета надлежит учиться, если человек вообще для нее пригоден.

— Барышня,— сказал я,— вы ошибаетесь, я отнюдь не charmant. Что же касается моего физического состояния, то вы уже слышали, вероятно, о том — а если не слышали, то будьте любезны принять это к сведению,— что в старых организмах структура белка коренным образом видоизменяется, как это подтверждает и биохимический анализ. В ходе обменного процесса в перестраивающемся белке возникают химически все более стабильные узлы, которые в конце концов делают дальнейший обмен невозможным. Что сие означает — а означает сие, в числе прочего, и атеросклероз головного мозга, рано или поздно приводящий к кретинизму,— вам расскажет об этом поточнее mon fils[2] Тамаш. Что же до так называемой души моей, то я гляжу на мир, и вид этой грязи сохраняет меня в чистоте. Вы изволили понять меня?

Не знаю, что она поняла из сказанного, но меня она поняла. Конечно, такой прием поначалу смутил ее: она смотрела на меня большими испуганными глазами, но не побледнела. Правда, ничего не ответила, но и не выбежала из комнаты. И хотя девически худенькая шея покраснела до самых ключиц, глаза не налились слезами. Она явно содержала душу свою в швейцарском порядке, и была эта душа, пожалуй, столь же цивилизованным садовым растеньицем — впрочем, тут никогда нельзя знать наверное!— как и душа Тамаша, разве что немножко оригинальнее, ровно настолько, насколько была моложе. Упомяну как признак ее инстинктивного такта: в моем присутствии она никогда — даже позднее — не поцеловалась с Тамашем, не позволила ему взять себя хотя бы за руку.

Четверть часа спустя после нашей беседы, выйдя на лестничную площадку, я замер, пораженный: сверху, из их комнаты на втором этаже, ко мне неслась легкая французская песенка на приятных аль-

[1] Но он же прелестный *(франц.)*.
[2] Мой сын *(франц.)*.

товых волнах голоса Катрин. Возблагодарим господа, пробормотал я про себя, у нее не сопрано, хоть не пищит, по крайней мере.

Наверху отворилась дверь, по лестнице спускался Тамаш. Песенка оборвалась в ту минуту, как дверь распахнулась.

...on y danse
on y danse,—[1]

послышалось напоследок, и тотчас, в той же тональности, словно продолжая песню, раздался идущий от сердца, а может, откуда-то еще глубже именуемый сладостным смех.

Смеется... надо мной?

— Дорогой отец, найдется у вас еще пять минут? — спросил Тамаш.

Внутренняя лестница вела вверх в комнату Тамаша, вниз — в полуэтаж. Здесь жила Жофи, рядом с ней была ванная комната и еще комната для гостей, затем прачечная, чулан и — согласно предписанию — отдельное помещение для газового счетчика. Я шел как раз в прачечную, где два раза в день подвешивал себя на пять минут, если, впрочем, не забывал об этом.

— Сейчас мне недосуг,— буркнул я угрюмо.— Впрочем, ступай со мной,— бросил я через плечо, увидев его разочарованное, вытянувшееся лицо.

— Зачем вы подвешиваетесь, отец? — спросил Тамаш.

— Осуществляю приговор, вынесенный мне обществом, сын,— сказал я.— Вернее, осуществил бы, если бы хватило духу. Ну вот и примериваюсь без пользы, два раза на день... Вон там, направо, первая дверь — это и есть моя плаха.

Аппарат для подвешивания, из дерева, стали, кожаных ремней, был укреплен в прачечной на толстом крюке двадцати сантиметров в длину. Тамаш с интересом его рассматривал.

— Он также пригоден для вытягивания обызвествленных шейных позвонков,— сказал я,— дабы я мог держать спину прямее, участвуя в общественной жизни.

Я стал застегивать ремни. Голову — между двух подбитых белой замшей ремней, подбородок — на передний ремень. Чтобы застегнуть третий, связующий ремешок, приходилось петлю вокруг шеи слегка поворачивать влево, но и так мне иной раз по нескольку минут не удавалось нащупать нужную дырку. Помощь Тамаша я отверг.

— Лучше помогай мне не забывать то и дело об этом никчемном инквизиторском упражнении. Вообще-то напоминать мне об этом следовало бы Жофи, но она, конечно, тоже забывчива.

Присутствие сына, по-видимому, нервировало меня, я никак не мог застегнуть ремешок.

— Оставь, не нужно,— сказал я.— Но заодно уж попрошу, напоминай мне, чтобы за полчаса до ужина я пил желудочный чай. В сущности, и это дело Жофи, но она забывает. Приготовить приготовит, но не подаст. А я, если не пью его каждый день, гм... все удерживаю в себе. Возможно, из скупости?

— Из скупости?

— Что мое, пусть остается при мне,— объяснил я.

— Понимаю, отец.

— Сообразил теперь, зачем было тебе возвращаться домой из Швейцарии?

Похоже, у Тамаша и юмора хватало. Он смеялся. Я не был рад этому.

[1] ...Там танцуют, танцуют *(франц.)*.

— Когда я подтяну веревку,— сказал я,— выкладывай свою просьбу. Самое подходящее время подавать прошения: поскольку говорить я не могу, то не могу, следовательно, и отклонить просьбу... Но постой-ка, еще словечко о Жофи.

В углу кухни-прачечной мокло в полиэтиленовом тазу грязное белье. На гладильной доске лежала моя недоглаженная белая рубашка.

— Жофи,— сказал я,— не склонна признать ma belle-fille[1] хозяйкой, так что пусть Кати не вздумает заказывать ей обед, ужин или спрашивать отчета в расходах по хозяйству. Последнее вообще ни к чему. Я тоже никогда этого не делаю. Жофи верна, как старый комондор[2], в ее руках не застрянет и филлера... Ну выкладывай.

Я подтянул веревку, мой подбородок задрался кверху. Отпустил веревку, подбородок — вниз.

— Посмотри на часы, пройдет пять минут, скажи.

— У меня не просьба, а, скорее, вопрос,— сказал Тамаш, облокотясь на гладильную доску.— Вас не обеспокоит, отец, присутствие в доме моей жены?

— Крррр,— сказал я.

— Видите ли, если да, то я попросил бы у вас разрешения переехать. Правда, тогда я не смогу выполнять те задачи, ради которых вы меня вызвали домой, но, наверное, это меньше нарушило бы привычный вам распорядок, чем наше присутствие.

— Крррр,— сказал я.

После вышеизложенного разговора я посетил — чтобы сориентироваться — давнего моего друга, который как раз жил с невесткой и сыном под одним кровом. Когда-то... когда же?.. очень давно!.. он попал в Пешт из альфёльдского селеньица Хайдубагоша, сын его родился уже здесь, женился, теперь подрастают внуки. Этот старик был достоин всяческой жалости, как и я, его супруга умерла примерно тогда же, когда и моя, и тоже родами. С тех пор — поскольку связь через жен распалась — мы видимся редко.

Пока Тамаш пребывал в Швейцарии, я в своем одиночестве не раз задумывался о том, не легче ли, в конечном счете, выносить одиночество в окружении и под защитой семьи, как у Йошки, чем мое агрессивное, со скрипом зубовным, отшельничество. И в такие минуты против воли оказывался лицом к лицу с одной из комических — ибо неразрешимых — проблем моей жизни; проблема эта, словно подводное чудище, нет-нет да и подымалась вдруг на поверхность дней моих и плевала мне в глаза.

Я осудил себя на одиночество, чтобы иметь возможность работать. Но есть ли в моей работе какая-то польза и в чем она? Помимо того, что иногда — редко — удавшаяся, хорошо закрученная фраза порадует мою душеньку?

После пятидесяти с лишком лет работы вопрос, по-видимому, смешной. Но и горький до слез!

Иногда она так представляется мне, моя работа: будто я вознамерился сложить египетскую пирамиду, но вершиной к земле. А позади меня, в прошлом, и вокруг меня, в водовороте обезумевшей толпы, тысячи и тысячи одинаково несообразных сооружений, несметные множества вершинами вниз наставленных пирамид. Словно в пустыне, где мираж перевернул вверх дном смысл человеческого труда.

Это надо себе представить! А после того — наказание, водворение творцов всего этого в ад и их вопли в кругах его.

---

[1] Мою сноху *(франц.)*.

[2] Венгерская порода сторожевых собак.

Я не собираюсь рассуждать о смысле искусства, носить в лес дрова. Присоединяться к шумному суесловию, из-за которого уже едва различимы голоса самого леса. Мы — увы, нередко и я тоже — дошли до того, что за деревьями не видим леса, иначе говоря, за рассуждениями — смысла. Например, чего ради оказались мы на сей земле: может, затем, чтобы хорошо себя чувствовать? И т. д. и т. д.— говорит в подобных случаях Стендаль, когда собственные мысли ему наскучат. Но все эти рассуждения не заслуживали бы ничего, кроме гомерического хохота, если бы не сновало вокруг нас столько утонченных душ, желающих во что бы то ни стало утешить глупую толпу. Утешить в том, что человек выполняет на земле работу паразитов: уничтожает, дабы в конце концов уничтожиться самому.

И с этим я вновь вернулся к собственной паразитической работе — стоило ли ради нее обрекать себя на одиночество? На эту мышиную нору, из которой я разогнал, попискивая, всех моих ближних? А сейчас готов выставить из нее и сына за то, что он, повинуясь долгу — слава ему! —желает приумножить нашу смешную породу?!

Ну что ж, присмотримся ближе к счастливому «семейному кругу» а-ля Янош Арань[1], сказал я себе, где заботливое окружение защищает оставшегося одиноким старца от жестоких ударов старости. И не только простыни его содержит в чистоте, но и душеньку его оберегает от издевательских укусов внешнего мира, и даже от непременно за этим следующего самобичевания. И чутко, ласково провожает его до самой могилы.

Неблагоприятные результаты моего визита и проведенного обследования не оказали, увы, никакого влияния на мою дальнейшую судьбу, из чего для меня стало еще очевиднее, что опыт, полученный в старости, конвертировать уже невозможно. Тот, кому на старости лет дадут по рукам, отвечает только смехом.

Или сказать: как было—было хорошо? Да ведь говори не говори, все равно неизвестно, как было бы, сложись все по-другому...

С Йошкой мы встретились у его подъезда, он как раз возвращался домой с голубым молочным бидончиком в руке.

— А это что? — спросил я, указывая на бидон.

— Как что? Молоко.

— Правильно,— сказал я.— Такому старику только молоком и ужинать, не ростбифом с луком.

— А ты все ростбифы?

— Я-то? Исключительно. Так я ведь тебе в младшие братцы гожусь.

Йошка кисло ухмыльнулся.

— Точно так,— сказал он.— Если не ошибаюсь, ты моложе меня на полгода.

— Я своих лет не считаю, тебе это, кажется, известно,— сказал я.— Только чужие. Над чужим возрастом хоть посмеяться можно. Да-с, хотя ты старше меня всего на полгода, но в твоем возрасте, дяденька, это колоссальная разница.

Он порядком постарел с тех пор, как был у меня в последний раз. По его лицу я видел: он думает про меня то же самое; но я отнес это за счет его пресбиопии. Впрочем, выглядел он неплохо: сухощавый, высокий, он казался еще длиннее — на высоту шапки своей из бараньей кожи, которую он не снимал с головы ни зимой, ни летом, а иногда и в комнате с ней не расставался. В этой шапке он и меня был выше.

---

[1] Арань Янош (1817—1882) — крупнейший венгерский поэт. «Семейный круг» — широкоизвестное его стихотворение, воссоздающее атмосферу сельской патриархальности.

— Лысеешь, Йошка? — спросил я, ткнув пальцем на его шапку.

Он тем же жестом указал на мою голову — я был без шляпы.

— А ты все в том же парике шастаешь?

— До могилы,— сказал я.

Мы стояли у лифта, дворник все не выходил.

— Поднимемся пешком?

— Ну нет,— сказал я,— это вредно для твоих легких.

— Расширение легких — это ведь у тебя,— сказал Йошка.— Ты прав, с ними нужно поосторожней.

Мы прошли прямо в его комнату, самую маленькую комнатушку в квартире, бывшее помещение для прислуги, с окном на внутренний двор. И молоко он пронес прямо к себе, не на кухню. Из прежней своей большой комнаты, окнами на улицу, он перебрался: подросли внуки, начали учиться, а науки ведь места требуют, объяснил он, но глаза отвел в сторону.

— Понимаю,— сказал я.— Живешь своим коштом?

Он вылил молоко в красную кастрюльку, поставил ее на старомодную спиртовку, стоявшую на столе, чиркнул спичкой. Достал из шкафа две кружки.

— Выпьешь со мной кружечку?

— Вечером только ростбиф. С луком,— сказал я.

Он продолжал рыться в шкафу.

— Вот так штука, хлеба-то у меня нет больше,— пробормотал он.— Забыл купить.

— Сбегать в магазин, старшой?

— Он уже закрылся, малыш,— сказал он.— Проживу и без хлеба.

— Почему не попросишь у невестки взаймы?

Он махнул рукой.

— Проживу и без хлеба.

— Ясное дело, проживешь,— сказал я.— Но почему твоя невестка не приносит тебе молоко и хлеб, для себя-то она все равно по утрам в магазин ходит?

Он обратил ко мне густые белые усы. Если у него и под шапкой волосы такие же густые, подумал я, тогда они погуще моих.

— Ей, бедняжке, с детьми хлопот хватает.

— Бедняжка,— сказал я.— Бедная твоя невестка. Невестка — кара небесная, верно?

Он опять глянул на меня своими усами, казавшимися разумнее глаз.

— Все у меня в порядке,— сказал он.— Оно, конечно, что правда, то правда, пока жива была моя бедная жена... Нет, я не жалуюсь. Но зачем и жить такому старику вроде меня?

— У тебя волосы уже выпадают? — спросил я.

— Нет, у меня все в порядке,— сказал Йошка.— Ну, конечно, одно мне не нравится: когда к ним гости приходят, меня на ключ запирают снаружи. А так — все у меня ничего.

— Волосы-то выпадают уже? — спросил я еще раз.

— Когда голову мою,— сказал Йошка.— Тогда в тазу волос полно, так и плавают белыми клочьями, уж лучше не мыть.

— У меня и без мытья сыплются,— сказал я,— едва поспеваю снимать с пиджака. Знаешь ли, сколько весит такой волос?

— Покуда не взвешивал,— сказал Йошка.

— Просто поверить трудно. Бывает, работая за столом, сниму волос с воротника и, не вставая, бросаю в корзину для бумаг, а она от меня шагах в трех стоит. Такой волос не плывет по воздуху, а падает.

Тем временем молоко вскипело.

— Есть у меня овечьего сыру немножко, домашнего,— сказал Йошка,— сестра прислала из Богоша. Хочешь?

Возвращаясь домой, я размышлял о том, найдется ли добрая душа, которая бы вдосталь снабжала меня овечьим сыром, когда и меня, после смерти Жофи, переселят в комнату для прислуги.

Можно с определенностью сказать, что именно старость, вышелушивая постепенно из жизни нашей добродетели и прегрешения, показывает неподдельно, то есть наиболее достоверно, ее, жизни этой, ценность. Да и для выявления подлинной ее ценности старик подходит наилучшим образом. Глаза у него не разбегаются, ум натренирован, разочарования позади. Мы уже ничего не ждем от мира и от самих себя тоже ожидаем немного. Мир и себя мы благословляем — это удобнее, чем проклинать.

Что любовь сменяется рано или поздно привычкою — дело также известное. Но когда исчезают и последние крохи привычного, это все же ошеломляет, как человек ни стар. Обращение апостола Павла я не наблюдал бы с большим потрясением, чем измену Жофи,— я даже забыл посмеяться. Понятие верности мы давно уж положили на долженствующее место, то есть в ящик для игрушек,— но чтобы и нервные пути можно было переставлять, словно железнодорожные стрелки... ну-ну!

Несколько лет тому назад, когда в страхе перед старостью, то есть перед окостенением, я восстал против моих закоренелых привычек и с посрамляющей профессиональных революционеров решимостью занялся перемещением на полке в ванной лосьона, названного именем мосье Роша, на место австрийского лосьона «Элида» и, наоборот, помазка на место крема для бритья, а крема для бритья на место помазка, когда разбил на куски наследие матери, кружку, из которой я пил утренний кофе,— в этот мой позднеподростковый период я кое в чем был еще неискушен. Так, я не знал, что, сбросив старые свои привычки, человек чувствует себя опустошенным и волей-неволей обрастает новыми привычками. Нервы, в точности так же как история, вакуума не терпят. На полке в ванной комнате ведущим моим принципом — или привычкой — стал беспорядок. Почему же меня так ошеломило, когда и Жофи провозгласила вдруг: «Le roi est mort, vive le roi!»[1]

— Не пойму я вас, молодой барин,— сказала мне старая ведьма.

— Не пойму... не пойму! — проворчал я.— Да вы же совсем недавно объявили мне... когда это было?.. ну да, в конце лета... что не намерены обслуживать чужеземных барынек, больше того, в нарушение всех ваших правил, вы еще и грозились мне, что покинете мой дом и бренные мои останки. Хотя этому я не поверил...

— Что с вами опять такое? — спросила Жофи, присаживаясь в стоявшее возле моего стола кресло, правда, из почтения, лишь на самый краешек.

— Усаживайтесь как следует,— сказал я.— Итак, еще летом вы мне заявили...

— Так то летом было,— сказала Жофи.— Теперь вон осень стоит.

— Вы так быстро сменяете свои принципы, моя старушка? — осведомился я.— По сезонам?

---

[1] Король умер, да здравствует король! *(франц.)*

— Когда есть в том надобность, молодой барин,— сказала Жофи.— Зачем звали-то?

— Осень, говорите,— продолжал я, подходя к окну и глядя на ярко расцвеченные зонты пашаретских деревьев, которыми они загораживались от близящегося зимнего ненастья.— Значит, осень, но еще не зима. Тогда зачем это вы так раскалили котел, словно на улице уже снег похрустывает под ногами?

Жофи молча на меня смотрела.

— Чем же опять девочка вам не угодила? — спросила она немного спустя.— Ведь знаете, зябнет она.

— А что вы сказали недавно, еще летом? — спросил я.— Невестка-де чужая кровь, она и сына от отца отваживает.

Жофи засмеялась:

— Чего только человек не наскажет, молодой барин.

— Когда умерла моя бедная жена,— продолжал я, по-прежнему стоя у окна и наблюдая, как гнутся под октябрьским ветром деревья вдоль Пашарети,— вы заявили, что останетесь у меня только в том случае, если я не приведу новую женщину в дом.

Жофи опять засмеялась:

— Так эту не вы привели. Ну чего вы по окну-то барабаните нервно так?

— Если бы я считал достойными ответа каверзные вопросы такого рода,— сказал я,— то ответил бы: я нервничаю, ибо меня предали. Я полагал, бестолковая вы женщина, что вы, пусть не по чему другому, просто по привычке, будете во всем за меня то недолгое уж время, которое я намерен еще провести на этой земле. Но и у вас, видно, хотя вон вы какая старая перечница, все еще молодые на уме.

Вот ведь какова была моя неслыханная, до старости сбереженная невинность: я был оскорблен, как младенец, у которого отняли материнский сосок изо рта. Я читал о некоем Уголино, итальянце из Милана, которого в старости кормила грудью дочь его; уж не того ли и мне было нужно? Никогда я не убаюкивал себя мыслями, будто меня любили — те, кто любил,— ради меня самого, но положенного вознаграждения, в том числе и от издательств, добивался всегда, чтобы не слишком уж односторонними выходили мои расчеты с миром.

— Так я пойду, молодой барин? — спросила Жофи.— Или я еще что-нибудь говорила такое, чем вы хотите глаза мне колоть?

— Вот гляжу я на вас, Жофи,— продолжал я,— и вижу: очень вы похожи на Фридриха Великого. Про него рассказывают, будто встал он однажды на поле битвы, преградил путь солдатам своим, от врага бегущим, да как крикнет им: или вы вечно, псы, жить хотите?!

— Никакого такого Фридриха я не знаю,— сказала Жофи.— Вот на Чевской дороге, верно, проживал один жестянщик по фамилии Великий, дак того Белой звали... и потом, он невесть когда уж в Вену эмигрировал. А из слов ваших, молодой барин, я так понимаю, что господин этот Фридрих сам-то своей поганой жизнью, прошу прощения, куда как дорожил! Видать, непременно хотел пережить солдат своих.

Вот это, верно, и есть демократия, подумал я, когда для старой прислуги жизнь ее важна так же, как и жизнь императора?

— Конечно, хотел,— сказал я.— Вот как я, например, хочу вас пережить, верно, моя старушка?

Жофи посмотрела на меня и опять засмеялась.

— Быть посему,— сказала она.

— А с чего это у вас такое распрекрасное настроение, старая ведьма? — спросил я.

— Жил в нашей деревне,— сказала мне Жофи,— хозяин один, из швабов, так вот, на кухне у него, над плитой, висел красиво расшитый платок с поговоркой швабскою, мне как-то перевели ее. А значила она вот что, молодой барин: откуда пришел, не ведаю, куда иду, не знаю, а все ж таки весел я... И будет уж вам по окну тому барабанить, ведь разобьется.

В дверях она еще раз обернулась:

— Так чем не угодила вам девочка?

— Как же, девочка! — передразнил я.— Если моя безукоризненная память по-прежнему мне не изменяет, она полгода, как замужем. Ступайте по своим делам, Жофи.

— Иду, молодой барин,— сказала старуха, даже не шелохнувшись; ей явно хотелось поговорить: — Она совсем еще девчушка, молодой барин, надо бы с ней помягче. Уж не говоря об том, как она вас-то любит, молодой барин.

— Меня? — спросил я, удивленный.

— Ну да! — сказала Жофи.— Уж так почитает, что даже виду подать не смеет. Вот намедни тоже вдруг спрашивает: «А правда ведь, мама Жофи, мой бо-пэр — самый великий писатель в Венгрии?»

— Болтовня,— сказал я раздраженно.— А вас она, значит, мамой Жофи называет?

Жофи все стояла в дверях.

— Говорю же, она девчушка еще. Такие маленькие да слабенькие птенчики в ласке нуждаются, молодой барин.

— Ну-с, а с чего вы взяли, будто она мне симпатизирует?

— Вы меня только не выдавайте! — сказала Жофи.— Она, молодой барин, заставила меня разыскать фотографию вашу, вставила ее в красивую золотую рамочку и повесила над своей кроватью.

— Над кроватью? Ну, ладно вам, подите к дьяволу, старая сводня,— сказал я.

Оглядываясь назад, я вижу, что за последнее время Жофи сильно сдала: не только ноги, но и дух ее приустал. Она стала от этого многоречивей — как, впрочем, и я, что по вышеизложенному заметить нетрудно. В старости человек словесами возмещает недостающие мысли — вы только понаблюдайте, с какой поразительной быстротой вскакивают слова на их место! Не раз уж и у меня — обыкновенно в живой речи — бывало так, словно я читаю готовый текст, заранее отпечатанный в мозгу, особенно когда намерен говорить правду; перо мое обходится пока без этих трафаретов, и это, по-видимому, должно успокаивать. Но до каких пор? — задаю я себе иногда вопрос, и, сказать по совести, не без тревоги. А потом, замечу ли я, если обызвествление черепной коробки перейдет на кончик моего пера? Когда следует остановить его бег, кто мне скажет об этом? И поверю ли я? Рассчитывать на сострадание не приходится, рьяная молодежь следует по пятам. Что ж, смена поколений! Но для того, кого сменяют, спрашиваю я себя, это тоже веселое развлечение?

Разумеется, я-то пока еще крепок, даже если память моя нуждается порою в подпорках, полагал я в ту пору.

На другой день, когда Тамаша и его жены не было дома, я поднялся в их квартиру. Комната аккуратно прибрана — видно, что здесь живет Тамаш, но видно и то, что он женат: в ванной комнате я заметил в открытую дверь сушившуюся на плечиках батистовую ночную сорочку с отороченным кружевами воротом. Фотография висела на стене против двери в ванную, над их кроватью. Меня это не порадовало. Я изображен на фотографии в задумчивой позе, подбородок уперся в ладонь, словно я размышляю: а чем же, собственно, зани-

маются в постели эти двое? Взгляд мой туманен, видно, я никак не могу догадаться. Или мой взор устремлен уже в иной мир, из которого нагроможденье твердых тел исчезает, уплывает в иные, неземные сферы? Нет, сказал я про себя, не в моем вкусе быть вечным свидетелем, хотя бы только двухмерным, бесчинств двух молодых существ, я всегда недолюбливал роль voyeur[1]. Да есть в этом и чисто физическая несовместимость: что делать мне, двухмерному, среди тех, кто живет в трех измерениях? Зачем, для чего мне, двухмерному, взирать на то, как разоблачается стройное и красивое девичье тело?

Вот она сбрасывает туфли и, не глядя, привычно находит узенькой ножкой домашние шлепанцы.

Вот спускает юбку, я вижу это со стены; юбка на мгновение задерживается на бедрах, затем, победив колебание, соскальзывает наземь, охватывая тонкие щиколотки волнующимся кольцом.

...как удачная фраза охватывает мысль, скажу я себе там, на стене, если захочется вдруг подыскать сравнение.

Она носит колготки, а не чулки, я и в этом могу убедиться оттуда, со стены.

Что думать нам о женской стыдливости?

Глядя со стены отрешенным взглядом одновременно и в мое прошлое, которое тут же подносит мне несколько разнообразных вариантов, признáем: ma belle-fille раздевается стыдливо, стесняясь даже своего молодого мужа. Она прячется за открытою дверцей шкафа, но зеркало, к счастью, отражает ее по-девичьи угловатые быстрые движения как раз в мою сторону. Полагаю, она не подозревает о предательстве зеркала. Тонкими пальцами она расстегивает пуговицы на белой блузке, выпрастывает из нее обе руки сразу, бросает блузку на дверцу шкафа.

Три перламýтровые пуговки вспыхивают под электрическим светом. Ma belle-fille набрасывает сверху бюстгальтер, пуговки затухают.

Теперь она стоит голая, маленькими грудями к самому зеркалу. Плечи худенькие — еще девочка, сказала про нее Жофи,— я различаю впадинку под ключицей. В коротком зеркале мне видна только плавная линия, уходящая к загорелому животу. Смочив слюной указательный палец правой руки, она проводит им сперва под правым, затем под левым глазом: так готовится она к ночи.

Ага, говорю я себе там, на стене, вот она и исчезла из зеркала. Уже в постели? Нет, она сидит на краешке кровати, весело покачивая голой ногой. Отсюда, сверху, мне не видно ее лица, она повернулась ко мне спиной. Больше ждать не стану — разве что самую чуточку, пока она — до того мгновенья, когда погаснет свет и вспыхнет тело,— будет лежать, прижавшись к стенке, оставив место Тамашу, своему мужу, рядом с собой, над собой, под собой, в себе.

. . . . . .

Но остановимся! И, простите меня,— я сойду со стены. Не желаю наблюдать эту сцену ежедневно, хотя бы и в темноте, сказал я себе, такое мне не пристало, да и радости в том нет никакой. Отправимся-ка обратно, к нашему рабочему столу: за ним мне еще удастся, быть может, разок-другой покрасоваться в пышном убранстве — сродни октябрьскому убранству моих пашаретских деревьев.

Итак, я снял свой портрет со стены, снес его вниз и запер в ящике стола.

---

[1] Наблюдателя *(франц.)*.

Тамаш и Кати вернулись домой в полдень; не прошло и пяти минут, как в дверь робко постучали. Я сделал вид, будто не слышу. Опять стук, такой же скромный, но в тишине моей комнаты он отдался в сердце, словно вздох ребенка.

В двери, чуть склонив голову, тесно сдвинув коленки, стояла ma belle-fille в васильковой юбке и опять — в белой блузке; верхняя пуговка была уже расстегнута, волосы слегка растрепались, как будто свою красную бархатную шляпку она сбросила второпях.

— Бо-пэ-ер,— сказала она, явно взволнованная,— милый бо-пэр!..

— Что вам угодно? — спросил я.

Так как она не ответила, я вновь склонился над рукописью.

— Не люблю, чтобы мне мешали утром, во время работы,— бросил я назад, не оборачиваясь.— Это относится ко всем лицам, именуемым членами семьи. Наш домашний распорядок достаточно ясен, за столько времени его вполне можно было усвоить.

Поскольку позади меня было по-прежнему тихо, следовало предположить, что посетительница моя застыла в дверях; я опять обернулся. Ma belle-fille была как натянутая струна, чей внутренний трепет неприметен для глаза, но при этом ясно: стоит к ней прикоснуться, и струна зазвенит. Она стояла прямо, тесно сдвинув колени, и с поднятой головой смотрела мне прямо в глаза. Она была восхитительна!

— Простите меня,— сказала она. И голос был тоже как натянутая струна.

— Ну-с? — спросил я.

— ...но я не люблю, милый бо-пэр,— продолжала она,— когда в мое отсутствие ко мне приходят подсматривать...

Я рассмеялся вслух: разъяренная косуля. Еще, чего доброго, бодаться вздумает, мелькнула веселая мысль. Однако подзывать не стал, пускай постоит там, в дверях!

— Катрин,— сказал я,— уж нет ли у вас секретов от такого-то старика?

Она тотчас уловила перемену интонации, я видел это по ее глазам. Лицо у нее было изменчиво, словно небо ранней весной, малейшее облачко оставляло на нем след. Если бы не безмерное возмущение, она, может, и улыбнулась бы.

— Катрин,— сказал я,— от меня вам не нужно таиться. В моем возрасте человек уже раз и навсегда сложил оружие перед молодостью. Старые люди беззащитны, признаются они в том или нет, самое большее — у них водятся зайчики, а ведь зайчики не опасны! Какой смысл таиться от старика? Он не опасен, ибо от всего отказался и навредить способен уже разве только себе.

Сознаюсь, я намеренно преувеличивал немощность моего тела, было любопытно, насколько мне удастся перехитрить ее. Вернее — ее сердце.

Она все еще стояла в дверях.

— Как же не опасны, милый бо-пэр,— опять заговорила она, смело глядя мне в глаза.— Разве не вы украли у меня фотографию?

— Украл?

Она покраснела. Мне нравилось смотреть, как она краснеет, и я не упускал случая вогнать ее в краску.

— Вы говорите, я — украл?! Где вас учили приличиям, барышня?

Теперь она вспыхнула до самой шеи. И хотя не ответила, но ее молчание стоило удара кинжалом. Я едва удержался, чтобы опять не засмеяться громко; вот поистине достойная меня забава, подумал я,— беседовать с младенцем. Не знаю, во сколько раз я был ее стар-

ше, да и не мог бы высчитать с ходу. Но правду свою она обороняла так же упорно и воинственно, как наседка яйца.

— Катрин,— сказал я и сам почувствовал, как укоризненно подымаю брови,— допускаю, что вы уже пожалели об этой мимолетной бестактности, и даже если не пожалели, то сердце ваше уже начинает тревожиться. Я знаю, у себя на родине, в Швейцарии, вы получили прекрасное воспитание, но с сожалением убеждаюсь, что вас не научили лгать. Говорить правду не обязательно, барышня. Особенно же не приличествует говорить правду людям старым, чья жизнь подходит к концу.

Я полагал, что тремоло этой фразы растрогает ее, но вместо этого растрогался сам. По-видимому, впредь мне следует быть начеку, дабы не расчувствоваться от собственных рулад. Но Кати была упорная, храбрая девочка и к тому же, возможно, видела меня насквозь.

— Вы еще достаточно молоды, бо-пэр,— сказала она воинственно,— чтобы вам можно было смело говорить правду.

— Смело? — спросил я.— Сомневаюсь. Однако войдите же, Катрин, ступайте сюда, к моему столу. У меня имеется для вас, барышня, важное сообщение.

— Лучше я постою здесь, в дверях,— сказала ma belle-fille упрямо.— Спасибо, но мне не хотелось бы долго докучать вам.

Теперь я посмеивался вслух.

— Докучать! — сказал я весело.— Когда красивая молодая женщина удостаивает дряхлого старца беседою, для него это редкая радость, можно сказать, даже честь. Кстати, я хотел бы дать несколько разъяснений касательно моего возраста.

Оглядываясь на то утро, когда я был еще относительно свеж и крепок не только физически, но и духовно, я вижу теперь — ибо долгоиграющая пластинка нашей тогдашней беседы и сегодня звучит у меня в ушах,— что мне этот разговор был нужен больше, нежели той застывшей в дверях девочке, которую я мог бы называть невесткой. Я адресовал свои слова ей, но относил их к себе. И хотя все время знал, что не следовало бы так отягощать это волшебное создание с чуть-чуть излишне худенькой шеей и строптивым ртом, мной овладела такая потребность высказаться, какую испытывает верующий в исповедальне или, еще хуже, душевнобольной на диване психоаналитика. Ни разу за всю мою жизнь не умел я раскрыться и вот сейчас был к этому близок. Стало ли мне легче, не помню. Эти-то заметки — зачем я пишу их?

— Милый бо-пэр,— сказала Катрин, вернее Кати, все еще стоя в дверях,— отдайте мне фотографию, прошу вас. Она моя.

— Чтобы вы на ней прокололи мне сердце длинной иголкой? — сказал я.

— Вашего сердца там нет, только голова,— ответила девочка.— Я вас очень прошу, отдайте.

— А если вы глаза мне проткнете? — спросил я.— Почем знать, какие опасные желания кружат такую вот озорную девичью головку?

Я желал бы осведомить вас, ma chère belle-fille,— продолжал я,— в чем состоит различие между людьми старыми и молодыми, особо остановившись на собственной достойной сожаления персоне. Возьмем прежде всего время: оно утекает из рук стариков как вода. Самая большая их забота — ско́лько его еще остается у них в запасе; знают они о том или не знают, но их организм днем и ночью занят этим вопросом. Когда старый человек встречается с другим старым человеком, он первым делом спрашивает про себя: а ему-то сколько еще остается? Я переживу его или он меня, черт возьми? Как бы я ни любил его и ни уважал, мне хочется оказаться позади него в по-

нуром строю, шествующем к Раю. Теперь вам станет понятно, барышня, почему я, страдая катастрофической нехваткой времени, не в состоянии заниматься вашей восхитительной особой, как вы того заслуживаете. Я настолько занят собой, своими бóльшими или меньшими, физическими или душевными бедами, занят непрерывно, днем и ночью, что ни о чем ином думать не могу и, чем бы ни попытался отвлечься, тотчас вновь возвращаюсь к своим невзгодам. Иными словами, я трус. Я боюсь, барышня. Страх наполняет каждый миг моего существования. Клетки моего мозга заполнены страхом. Вы спросите, чего я боюсь. Прошу простить мнимую грубость того, что я имею вам сообщить,— откровенное признание вообще бесстыдный жанр. Но я вынужден к нему обратиться, дабы заслужить — иной причины у меня нет — ваше прощение за то, что в начале нашей беседы...

Катрин вдруг сделала два шага к моему столу.

— Но, милый бо-пэр,— произнесла она испуганно и опять покраснела.

— ...за то, что в начале нашей беседы я позволил себе более резкий тон, чем тот, к какому вы привыкли в вашем упорядоченном швейцарском доме. Человек, вынужденный защищаться, нередко перегибает палку, так что не примите в обиду это признание, быть может, и слишком интимное.

Еще один, уже почти доверчивый, шаг к моему столу. (Все-таки я заманю тебя, сказал я себе.) Еще одно: «Но, милый бо-пэр!..»

— Итак, вы спрашиваете, чего я боюсь,— продолжал я.— Точнее, чем я так напуган? Вы видите: я улыбаюсь, но да не обманет вас, барышня, эта улыбка! Как ни смешно звучит, но меня до мозга костей пронизывает ужас при виде трещины на пятке левой ноги. На ней много трещин, но эта, перерезавшая пятку по самой середине, пылающе-красного цвета — как будто в теле моем открылся вдруг ад. Я знаю, что если буду несколько вечеров подряд смазывать пятку не раз уже оправдавшим себя «Флогошаном»[1], трещина через два-три дня затянется, однако сознание, что в мое тело вдруг, бесконтрольно, открылся вход, не покидает меня ни на минуту и постоянно предупреждает... о чем? Что я умру? Ну, полно, барышня, мы-то знаем, что я бессмертен. Однако с этим нашим убеждением представляется несовместимым ужас, какой охватывает меня из-за вспучивания, иначе говоря, из-за едва различимых глазом, но на ощупь заметных вздутий в животе; и хотя через час-другой это проходит, я просыпаюсь наутро с вопросом, который, еще даже несформулированный, трепещет в мозгу: какая же поганая хворь поселилась в моем нутре, будто залив его свинцом? Или возьмем зубы: отчего они вдруг немеют, то верхняя, то нижняя челюсть, и к тому же без всякой причины? Я уж не жалуюсь, что каждый вечер приходится капать в глаза привин и поддерживать старое сердце с помощью изоланида,— но отчего, улегшись, наконец, в постель, я начинаю сперва покашливать легонько, потом кашляю надсадно, хриплым баритоном наподобие псов преисподней, и при этом как ни откашливаюсь, как ни прочищаю горло, как ни перекладываюсь с правого бока на левый и с левого на правый, успокоиться удается не раньше, как приняв кодерит с глотком-двумя холодной воды. И только я потушу лампу на ночном столике, как в ноги вступает судорога. Она сводит то одну, то другую ногу, то обе вместе, и как я ни верчусь, как ни напрягаю мышцы, приходится включить свет, который больно режет полусмеженные сном глаза, и прыгать на одной ноге вокруг кровати, проклиная тот час, когда я родился. Ну-с, а что за голубовато-лиловые пятна обнару-

[1] Питательный крем.

живаю я на икрах ног, ma belle-fille, какой злой дух оставил там отпечатки пальцев своих, а то и ладоней?

Девочка стояла уже в двух шагах от моего стола. Она не смеялась. Вопреки всеобщему предрассудку я был тогда убежден, что не Ева вышла из ребра Адамова, а, наоборот, Адам сотворен из ее ребра, ибо женское начало и есть та праматерия, из бурления коей выполз на свет гомункулус. Мне не стыдно признаться, барышня, думал я про себя: вы значите больше, чем мы. Стоя по щиколотки в грязи, вы собрали в себя всю ее силу; в ваши жилы впиталась вся трезвость, терпение, стойкость грязи. Вы не подымаете на смех страдания гения, даже если они только мнимы. Ласковый взор ваших глаз, напоминающих в лучшие минуты безответные коровьи глаза, быть может, однажды еще спасет нас... если все пойдет хорошо.

— Видите, Катрин,— сказал я,— даже такая девочка еще, вот как вы, с пониманием и терпением относится к людям, хотя бы ей и довелось с ними встретиться лишь в самую бренную пору их жизни. В благодарность, а также ради того, чтобы вас успокоить, добавлю: не принимайте всерьез все, что я напел вам. Я не говорю, чтобы вы не верили ни единому моему слову, однако примите сказанное с величайшими оговорками.

— Милый бо-пэр,— сказала Кати,— большое спасибо за то, что отнеслись ко мне с таким доверием. Я очень хорошо знаю, воображаемое несчастье способно мучить не меньше, чем настоящее.

— Стариков постигают, разумеется, не только воображаемые несчастья,— сказал я.— Потрескалась ли моя пятка, или я всего лишь представил себе это, или только боюсь, что так будет,— в конечном счете безразлично. Но людям моего возраста куда большая опасность грозит с противоположного полюса — она в клетках головного мозга. Это ведь как в сообщающихся сосудах: чем больше лет, тем выше уровень кальция. Как долго я буду еще в состоянии работать, Катрин? Когда перо выпадет из моих лиловых, покрытых узлами вен рук? Они еще не лиловые, говорите вы?

Опять неуверенный шаг к моему столу; на лице — начатое и тут же прерванное движение губ, приоткрывшихся для так и не сказанного слова. Что может быть грациозней внезапно замершей девичьей фигурки?

— Множество признаков свидетельствует о том,— продолжал я,— что и умственные мои способности скудеют. Я мог бы привести бесчисленное количество подтверждений этому моему наблюдению, которые в сумме своей, независимо от того, верны они или нет, позволяют прийти к выводу, что я старею. Пожалуйста, не удивляйтесь, милая Катрин, что меня это все еще поражает. И капля в реке не ведает, у истока находится она или возле устья,— в глубине души и я столь же несведущ. Вернее, был бы несведущ, не получай я время от времени, и притом все чаще, одно за другим, зловещие предупреждения. Вот я встаю внезапно из-за стола — и не знаю зачем. В рукописи осталась неоконченной фраза, так как мне нужно сделать что-то, но что? А ведь за этим «что» и еще что-то скрывается? В моем сознании, причем близко, у самой поверхности, выстраивается целая вереница неотложных дел, я чую их шевеление, но в чем они? Одно ничтожней другого, но я чувствую, что разобраться в них не способен. Я беспомощен, как будто центральная нервная система парализована. У меня не хватит времени, чтобы со всем справиться. У меня вообще нет времени. Знаю, что есть, и все равно его нет. Написать письмо. Надписать конверт к письму, уже написанному. Отнести документ наверх. Принять лекарство за полчаса до обеда. Позвонить по телефону. Сколько дел, столько же и угроз, и каждая является в

образе вскинутого кулака, нацеленного прямо на мой мозг. Перед каждым я упадаю в отчаянии: у меня не хватит времени его выполнить! Выполнить — прежде чем умру. Вообразите, милая Катрин, я не успею выпить мой желудочный чай перед тем, как умру! Не говоря уж о другой опасности — что *я забуду* его выпить! Или забуду отнести документы наверх. В вечной тревоге я то и дело подымаю от рукописи прокальцинированную голову и озираюсь в комнате — что же еще позабыл я исполнить? Вообще — что из прожитого забыто? Помню ли еще девичью фамилию жены? Вторую строку гимна? Но пока я найду, наконец, ответ в одной из клеток мозга и, несколько успокоившись, опять возьмусь за перо, продолжение незаконченной фразы забыто, словно кануло в известковую яму.

— Я не верю,— сказала Катрин с видимым волнением,— милый бо-пэр, я не верю тому, что вы говорите.

— И правильно делаете, барышня,— сказал я,— ибо вполне возможно, что все это верно лишь наполовину. С другой стороны, вы делаете неправильно, ибо сомнение — привилегия стариков, как привилегия молодых — вера. Когда второе сменяет в человеке первое, это явный признак, что склероз уже начал в нем свою разрушительную работу.

— И этому не верю, милый бо-пэр,— сказала девчушка.— Мы, современная молодежь, уж лучше будем сомневаться, чем разочаровываться.

— Что станет со мной, ma chère belle-fille,— продолжал я,— если я не смогу больше работать? Уже и сейчас мне случается забыть дописать букву-другую, даже слог в конце слова, и нетрудно представить, что придет время, когда я буду опускать целые слова и даже целые фразы. Буду сидеть над чистым листом бумаги, уставясь в него, как слепец в зеркало. Писание — это последнее, что меня еще развлекает.

— Развлекает?! Не обижайте себя, милый бо-пэр! — сказала ma belle-fille сердито.— Не глумитесь над собою!

— Или это все же нечто большее чем развлечение? — продолжал я.— Или я тружусь противу приговора, выносимого смертью? Какой ни пустой выглядит подобная попытка — может, это и есть мое дело? Слабым пером моим возвести в закон примат жизни над тленом? Отыскать точку опоры в водовороте явлений и, ликуя, показать ее изверившемуся сердцу человечества? Вложить в руки сломленных и павших единственно утоляющую пищу земную — надежду?

Поскольку ma belle-fille стояла уже подле меня и я чувствовал, что мне хочется дотронуться до ее узкой белой кисти с длинными пальцами, я внезапно поднялся с кресла и отошел к окну, к любимым моим деревьям, бегущим вдоль Пашарети, к их навеваемым ветрами играм.

— Вот так-то, барышня,— сказал я не оборачиваясь.— Как видно, это и есть мое дело — похвала жизни, включая старость. Ибо есть ли, спрошу я вас, что-либо прекраснее жизни, особенно же завершающего ее этапа? Когда уже нет у человека неисполнимых желаний, поскольку их вовремя угасили, и ему нечего больше ждать, поскольку и на ум уж нейдут ожидания. Когда все никчемные чувства ушли из его сердца, все суждения покинули разум — и человек пуст, как опростанное утром мусорное ведро. Когда он способен уже лишь шаркать по дому при условии, что ноги его не скрючило ревматизмом, подагрой, сужением сосудов, и когда нельзя знать наверное, доберется ли он до двери, направившись к ней. А если доберется, то найдет ли ручку, чтобы открыть ее. И когда неизвестно, повстречается ли, войдя в соседнюю комнату, с кем-то еще, кроме собственной

тени. И сумеет ли, уже лишившийся языка, попросить об эутаназии, показав упадшей на горло рукой, о каком молит избавлении?

К сожалению, Катрин не умела владеть ни языком своим, ни молодыми мышцами. Внезапно она оказалась рядом со мной, у окна, и не успел я опомниться, приподнялась на цыпочки и обвила мою шею руками.

— Но, барышня!..— сказал я.

— Молчите, бо-пэр! — сказала она, обжигая меня горячим юным дыханием.— Как вы смеете так говорить! Вам не совестно?

— Но, милая Катрин,— сказал я,— ведь я говорил не о себе, я лишь набросал на стене, то есть перед воображением вашим, общий эскиз старости. Разумеется, все это от меня еще далеко, тут и говорить нечего. На что бы я мог пожаловаться?.. Ни на что решительно. Что любовь уже не для меня?.. но, господи!.. Вы спрашиваете, что́ обрел я взамен? А разве не возмещает ее в полной мере безукоризненное пищеварение? Доставила ли когда-нибудь любовь столь же безмятежную радость, такое истинное, покойное удовлетворение, как сознание, что я могу довериться упорядоченности моего организма, ну, разумеется, не без помощи лекарственных средств? Поверьте мне, барышня...

Но продолжить я не мог, ибо, как ни хорошо воспитана была Кати, она вдруг заплакала навзрыд и, склонясь к моей руке, покрыла ее поцелуями. Когда же я отдернул руку, она бросилась мне на грудь и мокрым от слез, жарким, прелестным лицом прижалась к моему лицу.

— Неправда,— рыдала она,— неправда! Не верьте этому! Мы будем о вас заботиться, милый бо-пэр, не бойтесь, мы вас никогда не покинем.

Не знаю, сколько прошло времени после вышеописанной чувствительной сцены; как известно, уходящее время я не считаю, даже уходящие годы. Кажется мне — порукою моя безукоризненная и поныне память,— будто еще той же зимой... или уж на следующую зиму?.. словом, однажды я заболел и довольно долго провалялся в постели, что бывало со мною в жизни не часто, так что я даже подивился. Связи между болезнью и моим возрастом я не обнаружил, ведь гонконгский грипп А-2 уничтожил намного больше людей, чем средневековая чума, причем людей меня помоложе — в ту зиму в одной только Центральной Европе умерло несколько сотен тысяч людей,— я же, старик, остался жив, хотя болезнь моя, как утверждали, была отягчена опасными осложнениями.

Рассказывают, будто я, как только подскакивала температура, начинал заговариваться. Но откуда им знать, когда я говорил, а когда заговаривался? Мои многоуважаемые читатели, пасясь на зеленых лугах своего добронравия, сейчас обеспокоенно вскидывают головы: вместо привычного тявканья логики им словно бы чудится волчий вой. (Впрочем, какие читатели — ведь я пишу для себя!) И в самом деле, кто же их надоумит, когда я изъясняюсь разумно, а когда завираюсь, если я и сам ничего прояснить не могу. Не только физиологический раствор говорит в человеке, когда он облекает в слова свои жалобы,— разогретая до сорока градусов клетка также способна к безумной отваге. Заговаривался?.. а может, просто был откровенен? Быть может, раскаленная клетка выбалтывает то, в чем при обычной, тепленькой температуре признаться не смеет?

Во всяком случае, выздоровев, я прислушивался с величайшей подозрительностью, когда речь заходила о том, каков я был в бессоз-

нательном состоянии, и цитировался мой горячечный бред. Уж не выдал ли я себя? Сколько потребовалось времени — почти восемьдесят лет,— пока я, с помощью длившейся бесконечно пластической операции, из веры и разочарований, фактов и миражей, правды и лжи слепил в душе своей ту кажущуюся живой марионетку, с которой в конце концов свыкся настолько, что ныне могу уже отождествлять себя с нею. Я до тех пор играл в верность, пока не стал действительно верен, в правдивость — пока не стал выполнять каждое обещание, в скромность — пока не облупился с меня толстый слой тщеславия, в порядочность — пока половина страны не доверила моему перу свое душевное благоденствие, в человеколюбца — пока... ну-ну, остановись, старина! И аутотренинг имеет границы. Эдак на меня еще наклеют под конец ярлык гуманиста.

Представляю себе, как я лежу в голубой пижаме, с пылающим в жару лицом, а благоговейное собрание вокруг меня — сын, невестка, Жофи, врачи, сестра-сиделка — слушает, покачивая головами, какую я несу околесицу. Счастье еще, что они не записали на магнитофон мои речи о запредельном, то бишь о внутреннем моем мире. Должно быть, верили в изворотливость моих легких и сердца — иными словами, допускали, что выкарабкаюсь. Как бы то ни было, я не подготовился к моему последнему предсмертному слову, кое затем может быть использовано для сборника литературных анекдотов; возможно, я и сам еще не испытывал особого желания упокоиться навечно. А может, просто забыл, что́ именно приготовил миру в виде последнего доброго ему напутствия? Тем более что мир интересуется, как известно, видимостью, а не фактами.

Самая острая пора болезни миновала, но и выздоровление затянулось надолго, так что, за отсутствием работы и прочих занятий ввиду все еще полукондиционного состояния, я имел возможность обратить более пристальное внимание на мою разросшуюся семью, равно как и на окружавший меня внешний мир. О семье моей могу отозваться, увы, только лишь с похвалой. Ее члены не доставили мне даже удовольствия на них поворчать, позабыв хотя бы раз-другой дать мне положенный антибиотик или иное лекарство; они так крепко запеленали меня в заботы о моем здоровье, что я дохнуть не мог самостоятельно. Разумеется, от моего положительного сына Тамаша я не ждал ничего другого; но и пылкая швейцарская девчушка с явной радостью ухватилась за возможность — представившуюся ей, по-видимому, впервые — послужить тому, что общее мнение именует женским призванием, то есть посрамлению и порабощению рода мужского.

Так, я знаю, что в самый разгар болезни, когда высокая температура еще несла иной раз угрозу старому моему сердцу, Тамаш с женой перебрались со своего этажа в соседнюю с моей комнату и даже — если я был беспокоен — сын проводил всю ночь напролет у моей постели, дремля в кресле. С него станется. Еще больше раздражала меня только Жофи, которая еженощно — когда молодые опять перекочевали к себе — входила ко мне, проверяя, не помер ли я. Шаркая ногами, она подступала к самой кровати и, остановясь, долго на меня смотрела, потом тихонько, якобы щадя мой сон, начинала смеяться всем своим беззубым ртом. Я знал, откуда такое злорадство: мне все же не удалось опередить ее! Хотя именно в те дни меня одолевала иной раз великая усталость и я не возражал бы, если бы все вокруг меня утихло.

В ту зиму на Пашарети, по крайней мере в нашем доме, было засилье божьих коровок. От того ли, что стояли теплые погоды, от того ли, что им выпала задача восстановить некое биологическое рав-

новесие, как знать; для меня на какое-то время моей болезни они стали развлечением. Я их наблюдал или, лучше сказать, смотрел на них — других-то дел у меня не было. Вот одна всползла ко мне на подушку, к самому лицу; она была сплошное доверие. Без всякого на то права. Или именно в беззащитности — их сила, в неведенье — храбрость? Надо мною по белой стене передвигаются, останавливаются, расправляют хитиновые крылышки крохотные рубины, вот один с легким жужжанием пикирует на мой орлиный нос, который, словно антенна, торчит над осунувшимися в ту пору скулами, выступая значительно дальше обычного. В период выздоровления я стал особенно, непривычно отзывчив ко всему живому, исключая представителей рода людского; я мог часами забавляться, позволяя этим букашкам разгуливать по моим пальцам, перебираться с одного на другой, направлял их то туда, то сюда, пересчитывая у каждой черные пятнышки на блестящих красных спинках. Однажды Жофи застала меня за этой игрой.

— И чего вы все цацкаетесь с этими тварями, молодой барин? — сказала она сердито, подойдя к моему ложу и уперев руки в бока.

— Взгляните, Жофи, какие славные! — сказал я, протягивая к ней указательный палец, на кончике которого восседала маленькая капелька крови.

— Знаю я,— сказала Жофи,— с чего они полюбились вам с некоторых пор. Летом небось на них и не взглянули.

Я не понял ее.

— С некоторых пор?

— Зря, что ли, прозвище-то у них — Катица-жучок! — сказала старуха.— Совсем вас девочка эта с ума свела.

Я смотрел на ее помятое старое лицо; в его морщинах когти стольких страданий прорезали след, что неудивительно, если и сердце под ними окаменело. Ее муж, два ее сына сгинули на войне, единственная дочь умерла от туберкулеза. Выходит, нужно пожалеть ее?

— Вы же знаете, Жофи,— сказал я,— врачи запретили мне волноваться. Оставьте мою комнату!

Или она забыла — конечно же, нет! — что еще недавно... когда ж это?.. сама посоветовала мне взять девочку под мое покровительство. А если помнила — ведь не могло это выветриться из ее памяти! — тогда какое недоброе подозрение, спрашивал я себя, помогло ее зловредному языку вырваться вдруг на волю? У женщин ревность обостряет чутье, и оно, увы, обычно их не обманывает, но кто бы мог подумать, что этим чутьем — пусть на сей раз оно промахнулось — обладают и столь почтенного возраста особы! Невесть когда уж усохли их матки, а они все еще завидуют? Да и в чем позавидовала мне эта давно перешагнувшая за грань человеческого возраста старуха, размышлял я,— в том, что еще могу залюбоваться очарованием молодой женщины? Что случай или, скажем, хороший вкус моего сына дал мне такую возможность? Что я могу побаловать легкие, нос в волнах аромата юного существа и с чистой душой обрести еще в том радость? Что я еще умею распознавать фей?

Да и что мне нужно от них?.. только их присутствие, ничего больше. Ни колыхание бедер, ни трепет грудей, ни постановка ноги — одно лишь нематериализуемое счастье, каким одаряет душу простая песенка.

Sur le pont d'Avignon
on y danse, on y danse...[1]

[1] На мосту Авиньонском танцуют, танцуют... *(франц.)*.

Простая песенка, чья материя — только голос; голос, чья материя — молодость; молодость, чья материя — радость. Много ли я прошу: возможности омыть мое старое сердце в той прелести, какую излучает молодая красивая — хотя и чуть-чуть худощавая — женщина, прелести, столь бесплотной, что я едва не забываю об ее источнике. Нет у меня желания хотя бы взять ее за руку. Довольно с меня и того, что я могу взглядом обрисовать ее силуэт. Погладить ее дыхание. В моем возрасте довольствуются просто сознанием, что здесь ли, там ли, но где-нибудь всегда светит солнце, хотя сами мы, если и решаемся выползти под его лучи, то лишь накинув на плечи черный берлинский платок Жофи.

Но выпадали на мою долю и более солидные радости; например, когда, близкий к выздоровлению, я мог уже на полчаса вставать с постели, мы стали завтракать с невесткой вдвоем — Тамаш теперь ходил на службу. Жофи накрывала в столовой, Катрин ждала у себя наверху девяти часов, когда я подымался. Окно столовой выходило на юг, и в ясную погоду к нам заглядывало солнце. Я усаживал девочку так, чтобы оно светило на нее, моя невестка того заслуживала. Солнце освещало ее губы, еще влажные после ночного сна, даже когда улетучивался ментоловый запах утренней зубной пасты. Она наливала мне в кружку кофе с молоком, и ее обычная угловатость сменялась вдруг плавными движениями заботливой и внимательной хозяйки дома. Она разрезала булочку, намазывала ее маслом — никогда, за всю мою долгую жизнь, не испытывал я такого доверия к булочке с маслом. Когда же, наконец, она и сама принималась за еду, я отводил глаза, чтобы нескромному взору не открылись сверкающие тайны зева ее и зубов. «Почитать газету, бо-пэр?»— спрашивала она, управившись с полнокровным завтраком, долженствовавшим поддержать ее плоть,— чаем, двумя яйцами всмятку, ветчиной,— и закуривая сигарету. В то время я уж многие годы не брал в руки газету — зачем мне она?.. еще раз обозреть старыми глазами меняющуюся в деталях, а в общем неизменную панораму мира?.. забыться в думах о страданиях ближних?.. нет, полагал я в то время, развлечь меня по-настоящему могут лишь ближайшие родственные узы, да и то иной раз плакать хочется. Совсем иное дело, продолжал я размышлять, заканчивая очередной наш совместный завтрак, ежели мир приходит ко мне по волнам молодого, особенно этого милого молодого голоса, от которого и преступления кажутся не столь жестокими; вот почему я каждый день просил невестку читать мне попеременно «Непсабадшаг» либо «Мадьяр немзет» или любую другую газету, какая попадалась под руки, а иногда, приперчивая удовольствие, выслушивал еще и передовую статью, выпеваемую ее женевско-дебреценским говорком.

Моя последняя любовь, я прощаюсь с тобою.

Пусть твоим образом завершатся эти записки, пока, сохраняя в относительной исправности сердце и при более или менее ясном рассудке, я еще в состоянии воспроизвести его. Не ропща, без злобы.

То, что засим последует — пора моего угасания,— касается меня одного. И даже этим запискам доверено быть не может... мне вообще не хотелось бы это запечатлевать, хотя бы и только для себя самого. Описание моей старости надлежит оборвать здесь, сейчас, пока я както еще владею моим пером, пока я ему хозяин. Продолжение, последний этап моего распада, интереса не представляет. Буду ли я впредь, под занавес, способен писать-читать, буду ли еще и понимать написанное, бог весть. Но если все же, еще отчетливо себя сознавая, я натолкнусь вдруг на этот короткий отрывок моей биографии — воз-

можно, он послужит для меня подтверждением, что к старости я был с собой откровенен настолько, насколько это под силу человеку, а тем самым был по возможности честен с другими. И что не чужаком рыскал среди людей...

Время выздоровления было, пожалуй, самым счастливым временем всей моей жизни. Или только старости?.. Я все же склоняюсь к первому определению. У меня не было несбыточных желаний. Я испытывал удовлетворение; довольствовался тем, чем дарила меня судьба. Одним лишь ее присутствием. Даже только сознанием ее присутствия. Его отблеском. Стоило мне услышать ее легкие, ни на чьи не похожие шаги за стеною, в столовой, или еще дальше, в прихожей, как на меня нисходило великое облегчение, даже если шаги эти не приближались ко мне, облегчение, подобное тому, когда с совести спадает тяжкий груз. Словно мне отпустили грехи мои. Становилось легко, как если бы я выплатил тяготивший меня долг... кому?.. жизни?.. самому себе? Как будто и телесные страдания мои были уже где-то по ту сторону жизни, на другом берегу Леты. Ее присутствие в доме — как постоянно действующее болеутоляющее. И я неизменно довольствовался тем, что присутствие ее мне от себя уделяло: если только шаги — значит, шагами. Если она разговаривала за стеною с Жофи — ее голосом. Если же удавалось разобрать и слова — я брал их на язык, примеривал на слух, смакуя то одно из них, то другое, выпевал их про себя, подражая неповторимым ее интонациям. Если она входила ко мне на цыпочках и замирала на пороге затемненной жалюзи комнаты, прислушиваясь, заснул ли я, ее осиянный лучами облик в белом платье вспархивал мне на сетчатку глаз и там оставался дивным видением. Если она от порога приближалась ко мне, я был счастлив. Если присаживалась на миг на краешек моей кровати... Но если и не садилась, не приближалась, если прямо с порога поворачивала назад...

Мне не хотелось даже подержать ее за руку.

Пожалуй, маловерие — величайший дар старости. Пусть оно лишает надежд, но зато от скольких разочарований нас избавляет! Если бы бессонною ночью я размечтался о том, что вот сейчас, по милостивому соизволению судьбы — например, вспугнутая дурным сновидением,— Катрин вдруг проснется, догадается о моих терзаниях или даже услышит — этажом выше! — мои не сдерживаемые в этот час вздохи-стенанья и, накинув красно-черный полосатый халатик, сбежит среди ночи ко мне — я в первую же минуту отрезвления, то есть какой-нибудь минутою позже, расхохотался бы, невзирая на все мои муки. И когда однажды это все же случилось, когда она, встав в три часа ночи и пошатываясь со сна, прибрела ко мне, оттого что ей «привиделся дурной сон», я — я удовольствовался этим нежданным, душу перевернувшим визитом и ни разу в последующие бессонные ночи не томился надеждой, что вот сейчас вновь скрипнет лестница, ведущая к ним на этаж, и от приотворенной осторожно двери на меня опять повеет едва уловимо ее французским одеколоном.

— Барышня,— сказал я ей в первый же раз,— что это пришло вам в голову? Тревожить ночной покой старика!

— У вас в комнате горел свет, милый бо-пэр,— сказала девочка.

— Ночное мое беспокойство также не извольте тревожить! — сказал я.

— Мне такой дурной сон приснился, милый бо-пэр!

Я сел в постели.

— В подобных случаях извольте будить супруга,— объявил я.— Успокаивать вас — его дело... и даже обязанность.

Девочка рассмеялась.

— Что толку будить его, бо-пэр, он так громко храпит, что все равно не услышит.

— Гм, у нас в семействе храпеть не принято,— сказал я.— Он выродок, разведитесь с ним!.. А теперь ступайте к себе, я хочу спать.

По едва заметному дрожанию губ я видел, что ей хочется посмеяться еще, но она себя сдерживает. Только в дверях она обернулась.

— Вы тоже храпите, бо-пэр,— сказала она, уже смеясь вслух.— Так храпите, что через две комнаты слышно.

— Барышня,— сказал я,— хороший слух не оправдание неучтивости. Старому человеку не следует резать правду в глаза, особенно ежели он еще только оправляется от болезни.

— Я ухожу,— сказала ma belle fille.— Но даже в постели все буду смеяться.

Мог ли я получить больше в последние мои годы, чем возможность влюбиться в фантом? Если бы, не дай бог, мне еще не были чужды упованья, то есть имей я глаза ненасытнее, сколько новых разочарований постигло бы мое и так-то довольно изношенное сердце! Желаниям должно сообразоваться с жизненной силой: коль она опадает, им тоже туда и дорога! Но признаться ли — коль скоро я почитаю себя человеком откровенным... поскольку то и другое не бывает вполне синхронно, надежды старца иной раз забегают вперед, опережают, пусть на каких-нибудь полшажка, его же собственную мудрость. Впрочем, равновесия от того он не теряет. И не клянет бога, то и дело поглядывая в бесконечно длящейся предрассветной мгле бесконечной летней ночи на словно застывшие стрелки часов. И не впадает в отчаяние, если каждая одинокая его ночь представляется ему годом, тогда как день, наполненный Катрин, мелькает будто одна секунда. Его настроение — словно вода в лужице, что волнуется, идет морщинами от малейшего дуновения ветерка. Хотя всем известно: лужа спокойней, чем море.

Вот так в конце лета — не ропща и без гнева, как было сказано,— я согласился на просьбу невестки завтракать одному: Тамашу не нравилось, что утром — из-за службы своей он подымался раньше — ему приходится завтракать на кухне, довольствуясь обществом Жофи. То, что сообщение это, столь для меня неожиданное, как гром среди ясного неба, я мог выслушать, не смутясь душой, не испытав разочарования, даже не затаив на Тамаша обиды, было, несомненно, наградой за стариковское мое маловерие; между тем мой утренний кофе, выпитый в обществе Катрин, был кульминацией каждого дня, которая, стирая полностью самую память о недобрых ночах, вновь и вновь открывала собой череду моих маленьких дневных упований.

Правда, к этому времени мое состояние основательно улучшилось. я мог уже несколько раз в день на час покинуть постель, мог даже, набросив на плечи черный платок Жофи, выбраться в сад и раз-другой обойти дом вокруг. Ноги мои еще дрожали, все мои дряхлые члены скрипели, словно части выбракованной машины, и только мозг, жаловаться на который, кстати, я не имел оснований даже в разгар болезни, работал сравнительно сносно, работал, увы, и ночью, противоборствуя любым снотворным. Очевидно, поэтому я угадывал каждую мысль Жофи — это было нетрудно,— когда она впервые накрывала стол для моего одинокого завтрака. «А все ж таки не худо иметь в доме старую прислугу»,— думала она, вероятно, хотя и без ухмылки, но с хитрецою в глазах.

— Ну-ка присядьте со мною, старушка,— сказал я, отодвигая для нее опустевший стул моей невестки.— Зачем это вы опять подслушивали нынче ночью у меня под дверью? Разве я не запретил вам?

Но старая моя домоправительница обошла стол и села напротив меня. Из почтения или в насмешку — трудно сказать.

— Я ведь тоже, бывает, не сплю ночью, молодой барин,— сказала она.— Чего ж и не глянуть, коли уж все равно на ногах, вдруг вам что нужно.

— Мне нужно, чтобы меня оставили в покое,— сказал я.— Известно ли вам, Жофи, что улыбка — благороднейшее выражение лица человеческого? Вы же только ухмыляться умеете.

— Это потому, что зубов у меня нет, молодой барин,— сказала Жофи.— Вот как и у вас-то повыпадут...

— На это не рассчитывайте,— сказал я.— Я и на смертном одре кусаться буду. А кстати, почему вы ухмыльнулись или, скажем, улыбнулись, когда я предложил вам присесть? Подумали небось: птичка вылетела, теперь и старая Жофи сойдет, так?

Жофи помолчала, словно хотела проглотить слова, уже рвавшиеся с языка.

— Ну, покаркайте уж, коли на то пошло!

— Только б не досталось вам еще горших разочарований, молодой барин,— сказала старая домоправительница и с жалостью уставила на меня свои маленькие водянистые глаза.— Вот когда меня уже не будет, чтобы вам тут прислуживать, и останетесь вы один как перст...

— За меня, моя старушка, не бойтесь,— сказал я и, если память мне не изменяет, даже засмеялся,— таким стариканам, как мы с вами, особенно много разочарований уже не грозит. Нам-то с вами известно, что такое молодежь... А мне вот известно еще, что такое старые злые завистницы, которые для чужого рта кусок хлеба жалеют...

— Ладно вам, не волнуйтесь уж! — сказала Жофи.— Эдак-то и здоровью во вред.

И все-таки в тот день, после первого моего одинокого завтрака, я поднялся от стола с тяжелым сердцем, даже не пошел в сад. Не предсказания моей домоправительницы так меня взбудоражили — им-то я верил и не верил,— а поразительное открытие: кажется, уж все во мне выгорело дотла, и вот одна точно нацеленная из ада искра — и меня опять опалило.

Если не ошибаюсь, в тот год стояла у нас долгая теплая осень; меня нарядили в легкий серый костюм, когда я решил первый раз выйти со двора. Пройтись по улице Кароя Лотца до конца, затем по аллее Эржебет Силади, по улице Хазмана — и назад, по Пашарети. Моя невестка попыталась взять меня под руку, очевидно, чтобы поддерживать. Но мне не хотелось касаться даже платья ее.

— Барышня,— сказал я,— мне не нравится производить сенсацию. Кто-нибудь, пожалуй, еще примет вас за мою незаконную правнучку. Коль скоро я могу один ходить по саду, то обойдусь и здесь без вашей нежной поддержки.

С этого прекрасного осеннего дня и отчисляю я поворот в моей судьбе к последующему, более суровому жизненному этапу. Я принял его спокойно; моя вошедшая в поговорку мудрость, вероятно, предугадывала — хотя и не заявляла о том громогласно,— что вслед за подъемом рано или поздно должен наступить спад. После обеда я захотел повторить прогулку, но оказалось, ma belle-fille занята. Я был ошеломлен — упоминаю об этом лишь как о примечательном факте. Правда, я тотчас совладал с потрясением и нынче уже весело смеюсь, припоминая, как был обескуражен, однако — благодарение моей вновь ожившей великолепной памяти — я и сейчас не забыл тот сердечный спазм, что-то вроде микроинфаркта, который заставил меня тогда опуститься на ближайший стул. Известно, как быстро при-

выкает человек к хорошему и как дивится, в избалованности своей, когда поток добра вдруг иссякает. Но чего ж, в самом деле, ждет он упрямой своею глупой свинячьей башкой, если и опыт тысячелетий не мог примирить его с судьбой?

Назавтра после обеда Катрин опять была занята. На третий день, помнится, тоже. А ну-ка покрасуюсь своей памятью: ее первая отлучка выпала на пятницу, она пошла в Институт Франции, где показывали какой-то фильм Трюфо. На следующий день она уговорилась о встрече с девушкой-француженкой Аннамарией, с которой там и познакомилась, и женихом ее, тоже французом. На третий день, в воскресенье, поднялась с Тамашем на гору Хармашхатар, вернулась домой поздно вечером, разрумянившаяся, счастливая, усталая, и тут же легла, Тамаш забрал ужин прямо в комнату. Продолжать ли, припомнить еще и четвертый день... к чему? Пожалуй, так мне бы и самому показалось, будто я был несчастлив, или обижен, или хотя бы мрачен, а между тем я всего-навсего был охвачен таким чувством, какое испытал бы человек абсолютно здоровый, если бы у него на секунду-другую начались перебои в сердце,— он просто не понимал бы, что с ним происходит. Или еще трезвее: как будто в твоей привычно обставленной комнате сняли со стены картину и ты, глянув на пустой светлый квадрат, видишь только ее отсутствие.

Естественно, в первые дни мне было еще непривычно, что девчушка то и дело выпархивает из дому, иной раз убегает прямо с утра.

Однажды, когда ее отсутствие, сам не знаю отчего, особенно меня томило, я поплелся наверх, в ее комнату. Врач, правда, запретил мне лазать по лестницам. но тут я подумал: а почему бы в кои-то веки не быть и к себе беспощадным? Стоило мне, слегка задохнувшись, отворить дверь в ее комнату, я в тот же миг успокоился. Истерические всплески улеглись, в душу вернулся покой. Аромат одеколона Катрин так пропитал воздух, что на мгновение я просто увидел ее, сидящую в своем полосатом красно-черном халатике у рабочего столика с книжкой в руках. Это было приятно. Я опустился в кресло, смотрел и нюхал: столько-то и старику невозбранно, думал я. Поблескивали серебряные домашние туфельки у кровати, напоминая о ее быстрой поступи. Небрежно раскинулось через стул платье — знак обычной ее беспечности. Иллюстрированные газеты на полу, тоже возле кровати. Невыключенная лампочка над трюмо. На ночном столике недопитый стакан с еще сверкающей пузырьками минеральной водой, со следами губной помады по краю. Даже когда ее не было, все свидетельствовало о том, что она здесь. Хотя бы этот хлюпающий в ванной, плохо ею завернутый кран. Когда добрых полчаса спустя, закончив инвентарную опись, я, шаркая, спустился к себе и лег в постель, то, сколь ни мало свойственно мне предаваться фантазиям, испытал чувство удовлетворения столь полное, и физически тоже, с каким, бывало — давным-давно,— ночью на цыпочках выходил после любовного свидания из спальни моей уснувшей жены.

Однако же будем придерживаться фактов: хотя невестка моя с той поры регулярно ходила в Институт на чтения, часто встречалась с Аннамарией, новой подругой-француженкой, и ее окружением, хотя она посещала еще и лекции по венгерской литературе в университете, а вечерами бывала иногда с Тамашем в театре, я могу с чистой душой повторить, что время выздоровления было, пожалуй, самым счастливым в моей старости — если не всей жизни.

Я жил с притушенными желаниями, как и пристало возрасту моему и обретенной с возрастом затаенности, а потому всякий раз получал больше, чем даже желал. Если дом целый день был пуст, к обеду он весь наполнялся смехом Катрин, ее легкими довольными

вздохами над тарелкой — а ведь иной раз мы еще и ужинали вместе! Поскольку в результате болезни у меня ухудшилось зрение и помногу читать я не мог, дни мои протекали, можно сказать, в сомнамбулическом состоянии, с краткими пробуждениями — дважды в день. Но я мог бы сказать и так: они проходили в счастливом ожидании,— с утра до полудня, с полудня до вечера.

Сейчас, когда я пишу эти строки, мне трудно припомнить, сколько же все-таки продолжалась эта райская жизнь. Вероятно, дольше, чем способно удержать в себе обыкновенное человеческое воображение. Скажем, три месяца?.. полгода?.. разве этого мало для счастья? Помнится, уже наступила весна, когда ко мне постучался мой сын Тамаш.

— Вы хорошо себя чувствуете, дорогой отец?

— Превосходно.

— Может, хотели бы уже лечь спать?

— Хотеть хотел бы, сынок, а вот уснуть не уснул бы.

— У меня просьба к вам...

— Ты меня пугаешь, сын. Вероятно, ты в большом затруднении, если решаешься...

— С тяжелым сердцем...

— Слушаю же, выкладывай наконец!

Нет, я отнюдь не горел нетерпением, но уже угадывал дурное, не зная, конечно, откуда придет и куда нацелен удар. Беспокоило и то, что Тамаш явился без девочки, один. Уж не поссорились ли, спросил я себя. Но это касалось бы их одних — откуда же тогда эта тяжесть в области сердца и парализующий шок дурного предчувствия? Предчувствия, настолько оправданного, что, услышав сообщение Тамаша, я едва сумел скрыть внезапную дурноту. Чтобы с этим покончить, скажу сразу: они желали от меня съехать.

— Мы хотели бы переехать от вас, дорогой отец,— сказал Тамаш.

Чтобы скрыть свое потрясение, я повернулся к Тамашу спиной и подошел к окну.

— Почему?

— Хочу стоять на собственных ногах, дорогой отец.

— Ты на них и стоишь.

— Только на одной, отец. А мне хочется убедиться, могу ли я жить, рассчитывая лишь на себя.

— Других причин нет?

— Сказав, что хочу стоять на собственных ногах, дорогой отец, я свел тем воедино множество различных побуждений, моральных и практических. Если позволите, я их перечислю.

— Перечисляй! — сказал я.

Я почувствовал себя плохо, поэтому вернулся к кровати, сел. Зная обстоятельность мыслей и речи моего сына Тамаша, я понял: если останусь на ногах, им не выдержать. Как, впрочем, и сердцу, с ним надо поосторожней.

— Перечисляй! — повторил я.— Сядь!

— Я не хочу до конца моей жизни существовать на ваш счет, на ваши деньги, дорогой отец.

— До конца твоей жизни?.. Это у тебя здорово получилось. Ну, продолжай!

— Простите меня! Я, конечно, знаю, что вы, не считая...

— Если знаешь, перейдем к следующему звену. Идет?

— Это не так-то для меня просто, дорогой отец. Человеку бывает необходимо доказать себе самому собственную силу и жизнеспособность, если он не хочет удовольствоваться тем, что «до конца своей жизни» — простите! — останется сыном известного писателя.

— Вы даже не подозреваете, сударь мой, как скоро позабудут обо мне после моей смерти. Ну-с, продолжайте!

Я мог бы даже не слушать его, я уже знал, что повержен, разбит. Да, знал, с той самой минуты, как сын вошел ко мне. И напрасно тянуло ко мне от окна ласковым вечерним ветерком, и напрасно мои любимые деревья за окном, вдоль Пашарети...

— Мне неприятно слышать, дорогой отец,— сказал Тамаш,— что вы так мало цените...

— Ценю, сын мой, ценю. Но перейдем, с твоего разрешения, к причинам практического свойства. Мы, второразрядные писатели, не любим витать в облаках.

Только сейчас Тамаш сел; как видно, для него, существа нравственного, это была самая трудная часть.

— Комната наверху вам мала? — спросил я, чтобы как-то сдвинуться с места.

Тамаш — сама скромность — проглотил комок.

— Мала, дорогой отец. После службы я хотел бы работать еще и дома... вдвоем в одной комнате мы невольно мешаем друг другу.

— Ну-ну,— вырвалось у меня с горечью,— мешаете друг другу? Кто бы мог подумать!

Тамаш взглянул на меня вопросительно и не ответил.

— Перебирайтесь на первый этаж,— сказал я.— Столовую и приемную можно запросто превратить в кабинет и спальню... А то и еще проще — наверх переберусь я.

— Вы смеетесь надо мной, дорогой отец,— сказал Тамаш. По нему было видно: я обидел его. В самом деле обидел — я это признал, хотя и не высказал вслух. Разве нельзя человеку, разволновавшись, быть немножко несправедливым?

— С вашего позволения, я продолжу, дорогой отец,— сказал Тамаш.— Нам еще потому тесновато в одной комнате, что Кати ждет ребенка.

Я опять встал, подошел к окну. Было тихо — и снаружи и внутри. Молчал и Тамаш.

— Беременна?

— На третьем месяце, дорогой отец.

— Точно ли?

— Точно, отец.

— У врача были?

— Были.

Девочке конец, подумал я. Провались все ко всем чертям! Я опять сел на кровать. Комната описала вместе со мною круг, но потом остановилась. Я надеялся, что Тамаш не замечает моего состояния. Он сидел передо мной, опустив глаза, как будто забеременел сам. Оба мы не произнесли ни слова. Нарушил молчание я; в конце концов из нас двоих я был старше, опытнее, бесстыднее.

— Поздравляю,— сказал я.— Надеюсь, будет мальчик, но пойдет не в деда, это дурная наследственность. Зачем вы так рано начали? Желаете споспешествовать демографическому росту нации?

— Возможно,— сказал Тамаш, как показалось мне, уже с некоторым раздражением.— Мы оба хотим иметь много детей, дорогой отец.

— Placet [1],— сказал я — Единственный ребенок в самом деле нехорошо... только не принимайте этого на свой счет, сударь мой! На третьем месяце, говоришь? Еще можно избавиться...

Стук в дверь: Катрин.

---

[1] Быть посему *(лат.)*.

Удивленно:

— Ты здесь, Тамаш? — Весело: — И о чем же это вы тут вдвоем беседуете?

— Барышня,— сказал я,— либо войдите в комнату, либо останьтесь за порогом. Вам, должно быть, известно, что я не терплю перекличку через распахнутые двери.

Но она все же осталась в дверях; готовая к бегству?

— Уж не сказал ли ты? — вдруг взволновавшись, спросила она Тамаша.

— Сказал.

— Все?

— Все,— ответил Тамаш.

Девочка прикрыла за собой дверь. Ее лицо пылало, шея тоже. Она по-прежнему стояла у двери.

— Все? — переспросила она. И двинулась к моей постели: ноги несли вперед, душа увлекала назад.

— Все правильно, дети мои,— сказал я.— Правильно. Старость молодости не пара. А уж если к ним еще и третье поколение прибавится...

Внезапно девочка бросилась ко мне со всех ног и у самой кровати присела на корточки. В ее глазах стояли слезы. Она схватила мою безвольно висевшую руку, поцеловала. Я, конечно, отдернул ее, но она продолжала все так же сидеть на корточках перед кроватью.

— Милый, дорогой бо-пэр,— сказала она чуть слышно,— ничего-ничего не бойтесь! Я каждый день стану приходить к вам, каждый день! Вы только подумаете про меня, а я уж тут как тут, даже звать не нужно — я угадаю, вы же знаете. Каждый день буду здесь, а по воскресеньям и Тамаша прихвачу. Вот увидите...

По ее побледневшим щекам катились детские крупные слезы, даже всхлипы сдержать она не умела.

— Не плачьте, барышня,— сказал я,— и главное, меня не утешайте. О вашем переезде я весьма сожалею, но в отчаяние из-за этого не прихожу. Короче говоря, вы беременны? И уверены в этом?

— Уверена.

— На котором же месяце?

— На третьем.

— У врача были?

— Были, милый бо-пэр. Но я стану приходить каждый-каждый день, милый, хороший бо-пэр!

— И когда появится ребенок?.. Ну, неважно. Почему вы изволили так поспешить, барышня? А известно ли вам, что сейчас еще не поздно было бы изгнать плод?

— Нет! — крикнула девочка.— Нет!

Это прозвучало так отчаянно, так гневно, как будто я на цепи волок ее к операционному столу.

— Почему вы изволили так поспешить, барышня? — спросил я еще раз.

— Тамаш хочет много детей,— сказала Катрин и разрыдалась громко.— И я тоже. А с детьми в этой маленькой комнатке мы не разместимся.

— Разумеется, нет,— сказал я.— Не говоря уж о том, что я терпеть не могу детскую кутерьму. Ведь и Тамаша я отправлял в Швейцарию не затем, чтобы он познакомился с вами, барышня, а потому, что он мешал моей работе. Вам, вероятно, известно, что работа для меня главное. И ничто иное в жизни меня не интересует.

— Я буду приходить каждый день, милый бо-пэр,— сказала Катрин.

— Мы и прежде жили с Жофи вдвоем,— сказал я,— проживем и теперь. Но как, однако, собираетесь вы раздобыть квартиру? Нынче ведь их не предлагают на каждом углу, как в те времена, когда я женился, себе на беду.

— Квартира уже есть, дорогой отец,— сказал Тамаш.

— Невероятно,— сказал я.

Сердце мое опять сжалось. Этого я не ожидал.

— Невероятно,— повторил я.— Надеюсь, где-то здесь, поблизости?

— В Кишпеште. Совсем рядом с моей фабрикой,— сказал Тамаш.

— Понимаю,— сказал я.— И барышня намерена ежедневно навещать меня — из Кишпешта!

— Одна квартира в кооперативном доме оказалась свободна,— сказал Тамаш,— и если бы вы, отец, могли немного помочь...

— Деньгами? Всеми, сколько у меня есть, сынок.

Я еще поворошил в мозгу, который от волнения соображал медленней, чем обычно.

— Но разве не лучше было бы...

Я не договорил. С первой минуты, как заговорил Тамаш, я знал, что побит.

— Пустяки,— сказал я.— Просто подумал было, что, если бы не спех, можно бы купить квартиру здесь, неподалеку от меня, чтобы ребенок рос на здоровом пашаретском воздухе. А Тамашу я купил бы машину... Но оставим это, сынок! Ты говоришь, квартира в Кишпеште готова?.. Рядом с фабрикой?

— Можно переезжать хоть завтра,— сказал Тамаш.

— Дети мои,— сказал я,— в течение всей моей тихой, мало примечательной жизни, лишь в молодости знававшей кое-какие скромные всплески, я заботился об одном: о том, чтобы в свое удовольствие, не считая, растрачивать деньги, силы, способности, все, сколько б их ни было. Подражая природе, я воспитал себя беспечным, будучи убежден, очевидно, в своем бессмертии. Если кто-то хотел надуть меня, лишив денег или обманув в преданности, я над ним только посмеивался. Лишь в эти последние годы я ловил себя — не часто, но всегда с презрением — на некоторой скупости. Если один-два раза в год я спрашивал у Жофи отчет в хозяйственных расходах, после этого приходилось устраивать себе хорошую парилку, так было тошно. Высказав все это в виде пролога, я желал бы сейчас, когда мы расстаемся, снабдить вас на дорогу серией советов — разумеется, зная, что вы ими не воспользуетесь. Первый совет: не экономничайте, дети мои. Прижимистость есть вторая кара господня после первой — изгнания нас из Рая. Не уподобляйтесь муравьям, тратьте без страха, радостно, щедро! Пока у меня есть деньги, они есть и у вас. Не откладывайте на черный день, бережливость разъедает молодую душу, как жучок дерево. На наследство, впрочем, слишком не рассчитывайте, так как после моей смерти состояния останется ровно столько, сколько воздействия от трудов моих: иными словами — нисколько. Ну, может быть, издадут еще раз для виду одну-две мои книжки, но и тут причин для радости мало, ведь наследникам полагается лишь четвертая часть гонорара.

Второй совет: не попадайтесь на удочку десяти заповедей, сын мой и моя невестка! Из них, десяти, выберите по своему вкусу те, которые вам хочется воспринять. Не поддавайтесь общественному лицемерию, ибо исправить человечество вы не можете, себя же погубите. Будем порядочны лишь в той мере, какую выдерживает наш костяк. Ежели один из вас, по наущениям Ричарда III, пожелает стать негодяем — хотя, как я вижу, у вас, сударыня, и у вас, сударь мой, на-

клонностей к этому мало,— но если все же искушение защекочет ваши сердца, или разум, или пол, не спешите отпрянуть от исполнения ваших грез. Я говорю не о том, что в жизни можно преуспеть лишь хитростью, насилием, обманом, пролитием крови, это ясно и так, но есть ведь цель еще более достойная, нежели успех,— постараться жить в мире с нашими слабостями. Хотя и успехом, разумеется, пренебрегать не следует. Но не забывайте: тщеславие человеческое ненасытно, и, как извращенная мать, оно пожирает собственные, в муках рожденные, достижения. Таким образом, остается лишь Приключение, но если, паче чаяния, оно привлечет вас — увы, увы... ибо нынче стоящее Приключение найдешь разве что в преступлении либо в сексуальной жизни, а я весьма сомневаюсь, чтобы вы были способны в любой из этих областей подняться до вершин бесчестия. Я, например, оказался для этого слаб.

Однако же старайтесь удержать равновесие, молодые люди, между скаредностью мира и безмерностью наших вожделений. Для достижения указанной цели рекомендуется среди прочего проявлять почтение к власти. Не будем исследовать ни источник ее, ни цели, а тем паче ее природу, ибо человек от этого лишь нервничает, сердится, приходит в ярость, в лучшем случае впадает в тоску. Ни в коем разе не должно судить ее, это может кончиться плохо! Но и в себе разбираться надобно лишь с оглядкой — вот таким-то образом и может быть установлено это глупое равновесие, потребное ради сохранения человеческого общества.

Я опять сел на кровать, я очень устал.

— Все прочее потом, в Кишпеште! — сказал я.

Дни, остававшиеся до их отъезда — две или три недели,— я заполнил прожектами. Времени на это у меня было вдоволь, невестка с утра до вечера бегала по магазинам. Покупала в комиссионном мебель, кухню, приобретала всякую всячину в универмагах, на толкучке на Эчери; вечером являлась смертельно усталая, счастливая. Ужинали мы втроем — с Тамашем; после ужина, приучая себе к одиночеству, я удалялся в свою комнату.

Я решил, что после их отъезда стану завтракать вместе с Жофи. Радости, конечно, немного, но я привыкну. Жофи тоже начнет сперва кочевряжиться, но в конце концов согласится. Будем, два старика, жевать на пару. Я больше не намерен осуждать себя на одиночное заключение. Из нас двоих, надеюсь, я умру первым. Теперь уж я и дряхлее, да и, правду сказать, старше... но, с другой стороны, ведь Жофи, бедняжка, всю жизнь тащила на своей горбатой спине ношу куда тяжелее, чем я. Просто не устаю удивляться, с каким спокойствием терпит она оскорбления, наносимые старостью; словно нет ничего естественнее на свете, что к старости человек хиреет и умирает. Она же это терпит, да еще весела вдобавок!

Итак, завтракать мы будем вдвоем, потом я почитаю ей газету. Обедать?.. Ужинать?.. Тоже вместе.

Из дома выходить стану не часто: вдруг у Катрин случится когда-нибудь дело в наших краях и она забежит, а меня как раз нет дома. Погуляю уж лучше в саду или, самое большее, по известному кольцу: улица Кароя Лотца, аллея Эржебет Силади, улица Хазмана, Пашарети — настичь меня там нетрудно. Да и вообще скоро уж осень, дождливая пора, куда ж мне выходить! Попрошу вот протопить мою комнату, после болезни я стал больше зябнуть.

Столовую и приемную распоряжусь запереть, трапезничать будем в кабинете.

Возможно, куплю щенка пули[1]. Собака живет лет десять — двенадцать, она и проводит меня до могилы. Собака, говорят, верней человека.

В мои планы — я ведь предусмотрителен — входило также научить Жофи играть в шахматы. Я и сам игрок слабый, пусть же собака у моих ног станет терпеливым свидетелем сражения двух светочей мысли. А еще — решением шахматных задач займусь на досуге...

Между тем переезд Тамаша — через две-три недели после вышеописанной беседы, как я упоминал,— прошел гладко, без излишних чувствительных сцен. У девчушки, если не ошибаюсь, увлажнились глаза, но мечта о счастливом будущем скоро их осушила. Багаж их уместился в одном такси: накупленные за последние дни вещи дожидались в кишпештской квартире. Я проводил их до калитки, даже помахал вслед рукой.

Когда я вернулся, квартира показалась мне пустой. Взбираться наверх я поостерегся, хотя хождение по лестнице теперь не представляло для меня труда. Я несомненно окреп, стал здоровее. Правда, в ночь после exodus[2] я не сомкнул глаз, разве что под утро на какой-нибудь час, и в семь часов уже был на ногах, но в общем я оставался спокоен. Светило солнце, это тоже мне помогало. Надеясь не встретить Жофи, я вышел в сад и добрых полчаса бродил вокруг дома. В изрядно пожелтевшей листве моих любимых ореховых деревьев вели беседу пять-шесть черных дроздов; я люблю их посвист, предпочитаю его въедливому, слащавому бульканью канареек.

Итак, молодость ушла безвозвратно, думал я, бредя по саду. Да и на что мне еще надеяться, старой развалине? Благослови тебя бог, моя последняя любовь.

Я вернулся к себе чуть-чуть усталый, сел за письменный стол. Когда я — после болезни впервые — взял в руку перо, положил на колени тетрадь, меня охватило то же тихое волнение, какое на протяжении почти уж шестидесяти лет подымалось во мне всякий раз, как только я садился за работу. Это меня немножко утешило.

[1] Венгерская порода пастушеских собак.

[2] Исхода *(лат.)*.

МАРИЯ ГИШПАНЬСКА-НОЙМАН. Польша.
Иллюстрация к книге Романа Брандстетера «Война бурсаков».

КИПРИАН ЭКВЕНСИ

Переживи мир

РОМАН

Перевод с английского В. ПЕРЕХВАТОВА

Памяти Нкируки, которая сделала все, чтобы выжить

КНИГА I

Последняя переправа

Мы воюем, чтобы жить в мире.
Аристотель

I

В разгар трагедии смех никогда не бывает веселым. А в тот день, после воздушного налета, они шутили не переставая.

В комнате отдела новостей, где сидели старший репортер Джеймс Одуго и его коллеги, атмосфера была напряжена до предела. Всеми владел беспричинный страх, тот самый страх, который во время войны мнет человека железными пальцами. И рождает этот страх смерть, всю войну неотступно следующая за нами по пятам.

Кто-то из сидевших за машинкой заметил:

— Вот закончится эта война, и останется после нее лишь мерзость запустения, о которой говорил пророк Даниил. Внемлющий да уразумеет...

По комнате пробежал нервный смешок, и напряжение как-то спало.

— И пребывающий на крыше,— в тон подхватил еще один,— да не спустится, чтобы хоть что-то взять из дома своего.

— И горе той, что понесла и грудью вскармливает в дни эти.

— И молись, чтобы бегство твое не случилось зимой.

— А в Биафре всегда зима,— смех стал громче.

Взад-вперед сновали каретки пишущих машинок, и треску их вторили нервические цитаты. Наконец Одуго перестал обращать на них внимание. Углубясь в собственные мысли, он курил сигарету за сигаретой. И хотя ему было вовсе не до смеха, он знал: ничего не

© Cyprian Ekwensi, 1976.

поделаешь с этой привычкой смеяться над враньем, которое они, журналисты, обязаны были ежедневно выпекать для мира,— над бесконечными речами, внутренней национальной политикой, над вымогательством признания Биафры, над требованием создания транспортных коридоров для доставки из-за рубежа помощи мирному населению, над игрой в слова, над тактикой проволочек, усвоенной обеими сторонами. Все это могло бы оставаться шуткой, если бы не леденящая кровь действительность, когда каждый день погибали сотни мужчин, женщин и детей — особенно детей.

В комнату влетел репортер, и его сразу забросали вопросами:

— Ну как там, сколько убитых?

— Двадцать.

— Пусть будет сорок девять — цифра посолиднее.

— Раненых?

— Человек сорок пять.

— Скажем сотни — захватывающе прозвучит.

— И бомбами снесены до основания три дома.

— Ладно... И целая улица превращена в развалины — это более образно. Хорошо. Сейчас заголовки новостей... Сегодня во время бомбежки убито сорок девять человек, несколько сот ранено...

На улице завывали сирены машин скорой помощи. Они увозили раненых. Пишущие машинки замолчали.

— Когда эфир?

— Через три минуты.

— Бюллетень готов?

Перед выходом в эфир пророчества, как и шутки, прекращались. И каждый день в обращениях к Красному Кресту с просьбой о дополнительных поставках продовольствия и медикаментов, и проведении более ответственных переговоров, и прекращении огня звучало нечто новое.

По вечерам после работы Одуго заглядывал в небольшой бар, где торговали пальмовым вином, и накачивался там до чертиков. Так что его приходилось отводить домой. Этим он — хоть на время — заглушал голос совести и давал нервам разрядку.

«После войны, если останусь жив — само собой, только в этом случае,— расскажу в Лагосе, что все эти три года пил только пальмовое вино. Думаете, поверят? Да-да — именно пальмовое вино! Решат небось: ну, парень свихнулся, свяжут и свезут куда следует. А как там наши пирушки — я их всегда закатывал под Новый год? Когда нам еще с ребятами доведется загулять в Лагосе и смертельно надраться на рождество? Возобновится ли традиция? Ведь я еще жив и умирать не собираюсь. Пиво «Эксберген», виски, цыплята, жареная баранина, суп окро, отбивные на пальмовом масле в отеле «Икойи»... Но один день — это один день! Он проходит. Эх, счастливые времена...»

В этот январский полдень 1970 года, пересекая базарную площадь по дороге на работу, Одуго меньше всего думал о конце войны. Отвлекшись от своих мыслей, он увидал, что находится возле большого дерева, вокруг которого стоят, без умолку болтая, торговки. Они наперебой предлагали цыплят, протягивая их Одуго, и он подумал: «Интересно, почем сейчас цыплята... и могу ли я себе позволить купить хоть одного?»

— Эй, хозяйка, сколько стоит?

— Двадцать фунтов,— закричали все хором. Только одна сказала:

— Пятьдесят.

А другая, тыча ему под нос цыплят, которых держала за ноги, прокудахтала:

— Этот потяжелей будет, держи — сам увидишь.

— Один заморыш — двадцать фунтов? Ей-богу, деньги у нас стали дешевле бумаги, на которой их печатают. В начале войны красная цена цыпленку была пятнадцать шиллингов, а теперь ему впору гордиться перед довоенными козами. Ведь они шли по пять, от силы — по шесть фунтов.

А торговки совали ему свой товар, и Одуго прикрикнул на них:

— Что я, по-вашему, генерал, что ли? Двадцать фунтов! Я еще с ума не сошел!

— Сколько дашь?

— Вот это другой разговор.

— Ладно уж, давай пятнадцать.

Он взял цыпленка и прикинул его на вес — кожа да кости.

— А десять вас не устроит... фунтов?

Сперва ему показалось, будто он чем-то обидел торговку. Женщина смотрела на него, хотя взгляд ее скользил мимо, рот оставался открытым. В ее голосовых связках явно шла какая-то работа, но ничего вразумительного исторгнуть они не могли.

Тут только Одуго заметил, что все на базаре уставились в одну сторону. Он обернулся и увидел нечто, повергнувшее его в страх. Он даже не сразу понял, что именно предстало его взору, только мозг вдруг иглой пронзило пророчество: «Вот закончится эта война, и останется после нее лишь мерзость запустения».

Нет! Неужто многотысячная эта толпа оборванцев и есть биафрская армия — отступающая армия? Что происходит, куда бредут они через базарную площадь?

Какая-то женщина закричала:

— Смотрите, они бегут! Бегут!

И в панике стала собирать свои пожитки.

Другая в тон ей заорала на весь базар:

— Слышишь! Говорят, федеральная армия вступила в...— тут мысль ее, и без того скудная, оборвалась.— Вступила в... Черт, не припомню, куда там она вступила.

— Куда, говоришь, вступила?.. Это не рядом ли с Умунево?

— Да будет тебе! Погоди, сейчас вспомню. Ну ладно, мне пора.

Вскоре Одуго понял: торговка не очень-то и ошиблась.

Измотанные в боях, чертовски усталые, солдаты не знали, куда они направляются. Наверно, никто из них не догадывался, что базар этот — не более чем маскировка биафрской радиостанции и, явившись сюда, они навели вражеские бомбардировщики на сердце Биафры.

— О боже, дай мне силы... направь на путь истинный, помоги понять, что происходит.

Если бы солдаты спасались от бомбежки, видны были бы столбы дыма над горящими домами и резервуарами с горючим. Но ничего похожего он не мог разглядеть через плотную маскировку из пальмовых листьев, покрывавшую рынок. Он прислушался — не слышны ли разрывы снарядов? Нет, все тихо. Если был бой или налет, значит, сюда должны хлынуть гражданские беженцы — но их нет и в помине.

Шум на базаре усиливался, и волнение охватывало все больше людей. Но вот сквозь гул и гомон до него донесся голос торговки:

— Давай деньги, мне идти надо.

Она схватила его за плечо, но Одуго резким движением сбросил ее цепкие пальцы:

— Пошла! Ты в своем уме? Думаешь, деньги защитят тебя от смерти? Деньги! Деньги! Деньги!.. Вот и доигрались с ними!

Но его монолог не произвел на торговку никакого впечатления.

— Двадцать фунтов! — визжала она, перекрывая общий шум.— Давай! — И она ухватила за ноги цыпленка, которого хотел купить Одуго.— Я ухожу!.. Ой, мамочки!

— Десять фунтов,— настаивал Одуго,— это последняя цена.

Несмотря на панику, главный закон войны — закон выживания — прочно сидел у него в голове. А он требовал пищи, одежды, крова — именно в этом порядке. Насколько Одуго мог судить, это было начало конца. Торговка тоже уловила наступившую перемену. А отход, сдача федералистам очередного района взвинчивали цены на рынке.

Паника охватила уже всех торговок. Они суетились, напоминая скопище муравьев; Одуго подивился, с каким проворством они улепетывали, ловко взгромоздив на голову огромные тюки, забросив младенцев за спину и волоча за руки детей постарше.

Вскоре от базара не осталось и следа; новые толпы солдат затопили рыночную площадь, словно воды реки, когда они, прорвав дамбу, устремляются в долину. «Правду знают все, кроме меня,— подумал Одуго.— Федеральная армия одерживает победу за победой. Торговки нутром чуют это».

— Давай плати! Мне пора! — Одуго даже подпрыгнул от неожиданности, услышав этот отчаянный крик.

— Сейчас, минуту.

Он быстро достал бумажник и дрожащими руками отсчитал три пятифунтовые бумажки. Купля состоялась. Дочка торговки, уже слегка изуродованная квашиоркором [1], помогла матери поставить на голову таз с товаром, и они обе, не оглядываясь, засеменили прочь.

Солдаты все прибывали и прибывали, располагаясь в тени огромных деревьев, и лучи полуденного солнца, пробиваясь сквозь кроны, заиграли зайчиками на грязных хаки.

Одуго подбежал к дереву и начал мочиться. Губы его шептали: «Нет, я не боюсь, не боюсь. Все к чертям, надо бежать. Это — единственное спасение... Так уже было в Энугу, в Умуахии, Ачи, Оверри и Аба. Теперь надо сматываться из Умунево. Я-то знаком с поражением и сейчас узнаю его приметы».

Обычно первым районы боев покидало гражданское население. Оно бежало, забивая все дороги и тропинки. Неся на голове тюки с пожитками, люди бессознательно, как муравьи, шли и шли вглубь Биафры в безопасные места. Пусть не для каждого сыщется кров, но там под любым деревом можно найти приют.

Однако сейчас нескончаемый людской поток, запрудивший базарную площадь, состоял из солдат. Создавалось впечатление, будто они действуют по плану. Вся эта масса одетых в хаки людей пела скорбными, низкими голосами, и от пения их даже листва набухала слезами. Против воли в мозгу Одуго вспыхнула вдруг не лишенная гордости надежда: «Что, если это не разгром? Вдруг — передислокация, а вовсе не бегство?»

Неистребимый оптимизм был как бальзам, пролитый на рану. Одуго снова обрел спокойствие. Когда солдаты проходили совсем близко, он вдыхал запах потных, немытых тел, видел их понурые плечи, впалые щеки и голодный блеск глаз. Опустив голову, он разглядывал разбитые кожаные башмаки и парусиновые ботинки на опухших солдатских ногах — от них уцелели большей частью шнурки да подметки. Иногда на этом параде негодной обуви мелькали бо-

[1] Разновидность авитаминоза.

сые мозолистые ступни, казалось, они без слов благодарили хозяев за полученную передышку.

Одуго высморкался. «Война проиграна,— снова пронзила его мысль.— Что я стою здесь как вкопанный? Не пора ли бежать? Нет. Я журналист. Кто, как не я, засвидетельствует все это?»

Он увидел, как три солдата толкают на середину площади пушку. Они подкатили ее к дереву и бросили. Для других это стало сигналом. Все начали срывать с себя форму и швырять ее на землю — это как бы означало вновь обретенную свободу. К удивлению Одуго, никто не останавливал дезертиров.

— Нет, это невозможно! — закричал он, но тотчас взял себя в руки: что, если за подобную дерзость ему размозжат голову?

Один из солдат положил на землю свой пулемет и знаками показал Одуго: «Хочу пить, принеси воды».

Рядом с площадью находилась радиостанция, и Одуго окликнул посыльного.

— Сходи-ка к ручью,— велел он,— и зачерпни воды, да почище. Поторопись и захвати из буфета чашки.

Тем временем по базару поползли слухи, будто армия Биафры капитулировала.

— Нигерийцы заняли аэропорт Ули,— сказал какой-то солдат.— И — заняли...

— Что?!

— Ули,— устало подтвердил тот, что просил воды. Когда ее принесли в большом калабаше[1], к воде бросились все разом: завязалась драка. Один ухитрился сделать глоток, другой едва успел поднести калабаш к губам и только залил себе лицо. Вода вся вылилась на землю, а пустой калабаш в сердцах разбили.

В толпе заворчали:

— Плохая примета — разбить пустой калабаш.

Солдаты испугались было и притихли. Потом кто-то сказал:

— Все во власти божьей. Он всемогущ.

Люди молча садились прямо на землю, позабыв про жажду.

Одуго едва не заплакал, услыхав о потере аэропорта Ули. Оборвалась единственная связь с внешним миром, откуда Биафра получала свой главный продукт питания — вяленую треску.

«Да, прощай, вяленая рыбка. Бог действительно всемогущ. Идет голод, настоящий голод!»

Тем, кто побогаче, по карману и козлятина за восемьдесят биафрских фунтов. А каково беднякам — ведь для них эта вяленая треска была единственным спасением. И ее посылали благотворительные организации через аэропорт Ули.

Вдруг где-то рядом оглушительно рвануло, и все как по команде повернули головы в сторону взрыва. Наступила тишина. Потом ее нарушил чей-то голос:

— В полдень они перешли мост Авомама.

— Но ведь это последний мост, который удерживала Биафра. Теперь путь в наши земли открыт.

— Невозможно, мы же взорвали его! — стал спорить маленький угловатый человек в военной форме.— Слышите, мы взорвали его!

— И все-таки они переправились,— ответил ему сосед.— Наемники, белые наемники, это они навели переправу. Не пора ли нам по домам? Войне — конец.

Одуго никогда не воевал. Правда, от ветеранов, сражавшихся на стороне Британии во второй мировой войне, он слышал об операци-

[1] Калабаш, калебас — сосуд из высушенной тыквы.

ях в Бирме. Но Нигерию раньше война обходила стороной, и никто из солдат не говорил, чем обычно кончаются войны. Одуго больше всего волновало, какова будет цена человеческой жизни в это смутное время после победы или поражения. Разве не может тогда любой стать жертвой насилия и произвола? Да, самое мудрое сейчас — спрятаться.

Одуго в отчаянье схватил за руку молодого солдата:

— Брат, что происходит?

Тот поднял на него бесконечно усталый взгляд, полный апатии. И Одуго поверил... Но лишь много месяцев спустя он окончательно осознал, что именно в этот полдень и произошла биафрская катастрофа. Рядом громко спорили сбившиеся в кучу солдаты.

— Да, но об этом еще не объявлено!

«Так вот в чем дело. Африкой управляют по радио. И в минуты сомнений оно оказывается верховной властью».

— А кому объявлять — все удрали.— Молодой солдат бросил на говорящего пронзительный взгляд.

— Нам нравится себя обманывать,— вмешался еще один.— Неужели еще не надоело? Все болтаем о победе, а нас бьют — кругом одна ложь! — Солдат достал бычок, закурил и пустил его по кругу.— С меня хватит,— процедил он сквозь зубы и вытащил из своего вещмешка узелок.— Все кончено.

На глазах у всех он развязал узелок. Там оказалось гражданское платье. В мгновение ока он переоделся, нахлобучил на голову измятую шапчонку и благодушно ухмыльнулся:

— Можете меня пристрелить, если хоть раз еще увидите в военной форме.

Сейчас парень выглядел на свои восемнадцать. Вместе с формой спало все напускное и чуждое, исчезла военная лихость и чванство. Все ушло, никчемное, как для змеи сброшенная при линьке кожа.

Сейчас уже отчетливо можно было различить на слух знакомые всем разрывы артиллерийских снарядов федералистов. Потом их заглушил сердитый назойливый гул — в небе появился истребитель-бомбардировщик. Вглядевшись сквозь маскировочное покрытие из пальмовых листьев, они увидели его силуэт... Тяжкое, громыхающее эхо возвестило, что многотонный бомбовый груз упал где-то рядом.

— Ну, пора!

Переодевшийся солдат замешкался, глянув на свою брошенную форму. И тут его словно осенило. Погрозив кулаком в небо, он закричал:

— Заберите обратно свои самолеты. Мы тут сами закончим драку. Вас она больше не касается.

Послышался дружный смех. Рядом солдаты торопливо переодевались в штатское. А молодой парень тем временем зашагал, насвистывая, по тропинке, ведущей в деревню Умунево.

— Пойду-ка лучше домой, пусть мама сварит мне суп с перцем.

И это упоминание домашнего блюда послужило для окружающих последним сигналом. Солдаты тут же стали бросать оружие и срывать с себя форму. Местные жители, шнырявшие вокруг, подбирали что могли и уносили в лес...

Одуго уже насмотрелся достаточно, чтобы понять: сейчас каждый должен спасать свою шкуру.

«Господи,— молил он,— я пережил тридцать месяцев войны, помоги же мне пережить мир. Укажи, что делать, откуда взять силы, как спасти друзей, где найти убежище и укрыться от глаз людских до начала всеобщего избиения. Одних опьянит победа, других ожесточит поражение. Многие утратят всякую власть над собой, станут

хватать все, что подвернется под руку. Сколько народу пострадает при этом».

Тра-та-та — раздалась где-то неподалеку автоматная очередь. Стреляли вроде у моста Умунево.

Одуго тотчас стряхнул с себя оцепенение. Все его планы изменились. Вместо радиостанции он направился к себе, в маленькую комнатку на задворках Умунево. Сердце его яростно колотилось. При малейшем шуме его била дрожь. Он собрался за несколько минут. Взял лишь самое необходимое: цыпленка, консервы, соль, кое-что из одежды. Все прочее — ни к чему... Главное, что чудом у него остается жизнь!

Потом — сразу на работу; надо проверить бюллетень последних известий. Ничего особенного к этому часу не поступало, и он подписал сводку в том виде, в каком составил ее раньше. Курьер унес ее в студию. Это была последняя сводка, написанная Одуго на радиостанции Умунево. Он не успел еще выйти из комнаты, как зазвучал доверительный голос диктора: «Доблестные биафрские части отбили сегодня атаки противника у моста Умунево».

На радио работала знакомая девушка, Вик Эзента, и Одуго, прежде чем уехать, должен был убедиться, что ей не нужна его помощь.

За бензином надо было отстоять длиннющую очередь. И — подумать только! — ради того, чтобы отправиться неведомо куда. Все, кто работал в Умунево, собрались у цистерны, закрепленной за радиостанцией, и шумели, требуя бензина. Намаявшись с канистрой в руках, Одуго, наконец, дождался своей очереди. Канонада становилась все громче. Иногда в непрерывном гуле ее выделялись особенно мощные раскаты.

Кто-то включил радиоприемник, послышался бодрый голос: «...в заключение передаем сводку новостей. Биафрские войска отбили вражеские атаки у реки Умунево. Наши части понесли незначительные потери. У противника много убитых и раненых...»

2

Одуго пришел в ярость, узнав, что Вик на дежурстве. Он направился прямо в студию. Через стеклянную перегородку Джеймс увидел ее — сидящую перед микрофоном с включенным зеленым глазком, спокойную и торжественную, как священник во время причастия.

Три года их передвижная станция вещала в эфир, и передачи ее, как сообщалось, принимали даже в далекой Канаде и Японии. На той стороне Нигера у станции были постоянные слушатели. Многие из них сразу узнавали голос Вик, хотя и не знали ее имени.

Одуго едва не ворвался в студию, но оператор схватил его за рубаху и показал на красное табло у себя над головой: «Тихо! Идет вещание».

Потом он опять надел наушники и щелкнул каким-то тумблером. Лицо его стало серьезным и сосредоточенным. Подумать только — все это лицедейство происходит в тот самый момент, когда рядом в панике разбегаются солдаты.

Послышался голос Вик, спокойный и приятный: «Наш сегодняшний комментарий посвящен преступному вмешательству великих держав во внутренние дела Африки».

Одуго даже поперхнулся от злости: «Нашла время морализировать на международные темы. Выглянула бы лучше из окна. Не пора ли, вместо болтовни, спасать свою шкуру». Знаком он попросил ее

выйти, но это было все равно что вызывать на свидание бога Энвонву. Она все читала и читала о поставках еще более разрушительного оружия воюющим африканским странам, о наемниках, о голоде, о политике благотворительности и лицемерии великих держав.

«До тех пор, пока в стране остается хоть капля нефти,— вещала она,— иностранцы будут натравливать одну группировку на другую».

Наконец она дочитала весь текст, собрала странички и встала — высокая, стройная и многозначительная. Выйдя через вращающуюся дверь, она, улыбаясь, направилась к Одуго. Но улыбка сразу сошла с ее лица, едва она заметила его напряженный взгляд.

— Что случилось, Джеймс?

— Вик, объясняться некогда. Все кончено.— Он вывел ее на улицу.— Ты ничего не слышала? Сидишь как в темнице, разглагольствуешь на весь мир о вмешательстве великих держав. А тут, в Умунево, у всех только пятки сверкают.

— Что же все-таки случилось?

— Там, на рыночной площади, наши солдаты...

— Как, солдаты? Они что, бегут? — Она сразу почувствовала близость катастрофы.

— Да, отступают. Но такого раньше не было. Они срывают с себя форму. Я видел своими глазами. Все твердят, что захвачен аэродром Ули. Я сам слышал. Мне страшно, Вик. Это — конец!

— Ты думаешь?

— Да, Вик. У нас нет времени на разговоры. Давай уносить ноги — да побыстрее.

Пока они шли к его дому дворами, чтобы сократить путь,— Одуго рассказывал обо всем, что видел. Вик молчала, с трудом поспевая за ним. Но когда они сели в машину и поехали к маленькой хижине, где жила Вик и ее подружки с радиостанции, она призналась:

— Только сейчас я поняла, что ты говоришь правду.

Ее охватила та же апатия, которую ощутил Одуго при виде бегущих солдат. Он пытался ее ободрить, помочь ей прийти в себя.

— Не унывай, собирайся быстрее.

Она стала складывать в кучу чемоданы, кастрюли, плошки, книги, корзинки и всякий хлам. Он даже присвистнул от удивления:

— Ты хочешь все это взять с собой? Тогда нам понадобится товарный вагон.

В комнату вошла какая-то девушка.

— Кто это? — спросил Одуго.

— Каро. Мы живем вместе.

Каро добавила к огромной куче свои пожитки.

Он уложил вещи в машину, заметив, что она здорово осела. Подружек Вик собралось уже шесть, и каждая — со своим багажом. Они явились, услыхав, что приехал Одуго.

— Ну ладно, чему быть, того не миновать. Сломается машина — будем топать на своих двоих. Поехали.

— А куда мы едем? — поинтересовалась Вик.

— Попытаемся прорваться в Ифитену.

— Ифитену?! Но там же живет твоя жена. Прости, нам, кажется, не по пути.

— Вик, не дури. Сейчас не время. Ифитену — большая деревня. Война туда не дошла. Там до тебя никому не будет дела — разве что священнику, распределяющему продовольствие, да служащим Красного Креста.

Подружки тоже принялись уговаривать Вик, но она была непреклонна:

— Я не собираюсь соперничать с твоей женой.

— Да не с ней же тебе жить. Поселишься со своими подругами.

— Нет, я выхожу.

Одуго включил скорость и нажал на акселератор. Но Вик схватилась за руль и крутанула его на себя. «Фольксваген» вильнул и врезался в дерево. Девушки, завизжав, посыпались из машины как горох. Каро заплакала. Подружки собрали что смогли из своих вещей и сложили их у обочины, поджидая попутный транспорт.

Взрывы снарядов раздавались все ближе.

— Что ж, так и будем сидеть, пока не придут нигерийцы и не перебьют нас всех до единой? — спросила Каро.

Вик вместо ответа заплакала. Вскоре они уже плакали все вместе.

— Не надейтесь, что они станут тратить на вас патроны,— ухмыльнулся Одуго.— Солдаты не убивают хорошеньких девушек. Они их насилуют.

Он вылез из машины, осмотрел ее. Слава богу, ничего серьезного. Немного помят передний бампер. Но ведь мотор у «жука» сзади. Он остался целехонек.

Снаряды свистели так близко, что Одуго показалось, будто они рвутся уже на базарной площади.

Машину выкатили на дорогу. Девушки — они ушли вперед пешком,— заслышав звук мотора, прибежали назад.

Через каждые полмили они попадали в затор. С наступлением темноты дорожный контроль участился. Иногда им попадались армейские КПП, и издали невозможно было определить, что за солдаты стоят на посту — биафрские или нигерийские. Но, слава богу, все обходилось благополучно.

Машина шла на север. Судя по слухам, туда двигались все — там было безопаснее. И Одуго решил, что пока суд да дело, лучше, чем в Ободонте, нигде не укроешься.

До деревни этой фронт не дошел. К тому же там находился один из центров по распределению помощи Красного Креста.

В начале войны Одуго заезжал туда на несколько дней — навестить свою сестру Мери Нвако. Правда, сестра сменила работу, но в деревне оставался старик Па Укоха, сын которого, Клейтус, одно время подвизался на радио, и поэтому Па Укоха был всегда добр к Одуго. Впоследствии Клейтус поступил на работу в Красный Крест, где и продовольствие и медикаменты достать было гораздо легче. А что в войну может быть важнее еды и лекарств!

Если удастся добраться до Ободонты, Вик можно было бы поселить у Укохи, а самому съездить в Ифитену, к жене и детям. Одуго не наведывался к ним уже несколько месяцев, потому что дороги стали небезопасными и были забиты беженцами, которые все шли и шли под натиском федеральных войск.

Мысль о том, что он увидит жену и детей, приободрила Одуго, но, когда стемнело, настроение снова упало: аэропорт Ули, по-видимому, находился в руках федералистов, а дорога шла мимо него, и надо было торопиться, чтобы проскочить по ней затемно.

В районе аэропорта стояла тишина. Это настораживало и пугало. Отыскав объезд, Одуго выключил фары и поехал быстрее.

Вдруг Вик в испуге схватила его руку. Сперва Джеймс не понял, в чем дело. Воздух был сух как в пустыне. Наконец, он уловил резкий свистящий звук. Потом раздался ужасающий гул и дружно завыли сирены. Машина съехала в канаву и остановилась. Все пассажиры выскочили.

— Обстрел,— прошептала Вик.

— Они заметили нас.

— Значит, аэропорт действительно в руках федералистов.

— Джим,— только и смогла выдавить из себя Вик,— это конец. Мы погибли.

В полутьме они разглядели нескончаемый поток людей, все несли на головах тюки со своим скарбом. Мужчины, женщины, дети скользили мимо как черные призраки. Одуго оглянулся и увидел, что их попутчицы удрали. Они с Вик остались вдвоем.

— Чего ж ты не убежала с ними, Вик? В конце концов они твои подружки.

— Это все, что тебе сейчас пришло в голову? Давай-ка лучше вытащим машину.

— Что ж, давай попробуем.

В порыве отчаяния они пытались вытолкнуть свой «фольксваген» на дорогу, но обстрел образумил их.

— Пошли отсюда, и побыстрей.

— Но куда? — вскричала Вик.

— Да все равно, лишь бы подальше отсюда.

Низко пригнувшись, они добрались до переполненного народом помещения. Одуго узнал кассовый зал аэропорта. При виде сцены, разыгравшейся там, их взяла оторопь. Высокопоставленные чиновники как базарные торговки ругались из-за билетов на последний самолет из Биафры.

И тут Одуго осенило:

— Будем выбираться!

— На самолете?

— Да!

— Но как?!

— Неужели не видишь? Как и все.

Идея сама по себе казалась неплохой. Они встали в очередь, как и все остальные, пытаясь прорваться вперед, толкаясь плечами, локтями, коленями, огрызаясь, бранясь истерическими голосами.

— Все,— прокричал начальник аэропорта,— мест нет. Самолет заполнен. Это последний рейс. Ничем не могу помочь.

Он был раздражен, а толпа плевала в него, ругалась, улюлюкала, обвиняла во взяточничестве.

Роскошные лимузины под градом снарядов пробивались к самолету. Пилот, выполняя приказ, ждал их. Было слышно, как запустили двигатели.

Потом над аэродромом показался самолет, доставлявший грузы благотворительных организаций, сделал круг и зашел на посадку. Но видя, что огонь по аэродрому усилился, летчик, должно быть, передумал, снова поднял машину, и она скрылась во мгле.

Тут началось столпотворение. Грохот снарядов сливался с ревом турбин.

— Взлетает!.. Взлетает!.. Они собьют его...

Несмотря на разрывы, машина, словно обезумев, мчалась по дорожке, набирая скорость, потом оторвалась от земли и понеслась к горизонту — все дальше и дальше от Биафры. Отважный поступок пилота, взлетевшего под обстрелом в кромешной тьме, станет когда-нибудь легендой, которую отцы будут рассказывать детям.

«Бессердечные, они бросили нас на погибель...» Все лица устремлены были вверх, туда, где в ночном небе гасли огоньки последнего в этой войне самолета, поднявшегося с аэродрома Ули. В толпе раздались рыдания, проклятия, кто-то бился на полу в истерике.

Когда обстрел чуть ослаб, Одуго стал смелее.

— Я иду к машине,— сказал он дрожащей от страха Вик.— Ты со мной?

— Слишком опасно, Джим. Нас могут убить.

— Но там все наши вещи. Без них-то мы наверняка погибнем. А с ними можно хоть на что-то надеяться.

— Но у нас остается главное — жизнь. Что ты упрямишься?

Послышалось жужжание «дугласа», ночного патрульного самолета. Редкая ночь проходила в Биафре без того, чтобы этот ночной хищник не бомбил аэродром Ули, накрывая всех, кто осмеливался пользоваться взлетно-посадочной полосой.

— Тсс. Он где-то рядом,— сказал, напрягаясь, Одуго.— Слышишь?

Вик молчала и только вертела головой, пытаясь хоть что-то уловить.

— У тебя, видно, слух не в порядке,— заметил Одуго.

И тут Вик схватила его за руку:

— Слышу! Вот он приближается. Неужели и сегодня будет бомбить? Ведь война окончена.

Голос Одуго прозвучал напряженно:

— Это его дело. А наше — выжить во что бы то ни стало.

Время шло, а самолет все кружил и кружил. Он не бомбил, но и не улетал. Едва затихал шум моторов, Одуго и Вик выходили из здания и всматривались в ночное небо.

Иногда в неярком свете луны мелькала угловатая тень бомбардировщика, но они не успевали толком его разглядеть, как он исчезал и шум моторов слышался уже где-то далеко в стороне. Пока самолет висел над головой, идти к машине было небезопасно. Но и сомкнуть глаза, пока он летал, никто не смел. Днем его никогда не было видно, и потому многие считали «дуглас» привидением, ночным кошмаром.

Наконец самолет вроде бы улетел, возможно на заправку. В наступившей тишине было что-то тревожное. Одуго почувствовал озноб, зубы стучали, хоть он и всячески гнал от себя мысль о смерти. Проведя рукой по лицу, он заметил, что ладонь стала мокрой от пота.

Осторожно ступая, они подошли к машине и принялись изо всех сил толкать «жука», но безуспешно. Решили передохнуть. Из темноты показалась группа усталых, оборванных беженцев. Одуго попросил помочь вытолкнуть машину, пообещав им денег. И все же пришлось их долго упрашивать. Они боялись ловушки, подвоха. Наконец совместными усилиями «фольксваген» вытащили из кювета на дорогу.

И тут Одуго и Вик вдруг охватил страх. Было так тихо, что гул автомобильного мотора стал бы слышен, казалось, и на краю света. А федералисты, наверно, только и ждут такой глупости, чтобы обрушить на источник шума шквал огня. Мили две Вик и Джеймс толкали машину по дороге. Только потом Одуго осмелился сесть за руль и включить зажигание. Мотор ожил, и Джеймс подумал, что это самый счастливый день в его жизни.

На шоссе «фольксваген» влился в поток автомобилей, двигавшихся на север. Подъехали к мосту. Его охраняли солдаты. На их форменных нашивках было изображено восходящее солнце.

— Выйти из машины! — скомандовал молодой солдат. Его самоуверенность забавляла Одуго. Да знает ли этот мальчишка, что недалеко отсюда тысячи таких, как он, бросают оружие и срывают с себя военную форму? Но солдат явно думал только о том, как употребить отпущенную ему власть.

Одуго вышел из машины и дал себя обыскать.

— Дальше ехать нельзя. Возвращайтесь назад в ближайшую деревню.

— Что за деревня?

— Ободонта. Давай поворачивай!

В двух словах солдат пояснил, как туда добраться, и перешел к другой машине.

Наконец, миновав все препоны, они подъехали к Ободонте. В домах горел свет, и Вик заявила:

— Я здесь не останусь. Эти люди забыли о воздушных налетах.

Одуго пропустил ее слова мимо ушей. Он улыбнулся, радуясь, что опять оказался среди близких людей.

— Вик, пока здесь конечный пункт нашего путешествия. Я знаю тут одного старика. Постараюсь поскорей разыскать его.

Одуго поставил машину под деревом недалеко от церкви.

— Жди и не вздумай выходить без меня.

Он ушел в темноту, потом вернулся.

— Подними стекла и закрой двери изнутри. Не открывай никому.

— Хорошо. Только побыстрей. Господи, куда это нас занесло.

3

Вик глядела вслед Одуго, пока его не поглотила темнота. И тут ей стало страшно. Она притихла, сжавшись в комочек. А на улице кипела жизнь. Кругом светились огни, куда-то спешили группы мужчин и женщин. У женщин на головах громоздились свернутые матрасы, а из-за спины, прихваченные куском материи, выглядывали дети. Люди искали приюта. Кто-то подходил к машине и заглядывал через стекла внутрь, желая, видимо, узнать, есть ли там пассажиры и нельзя ли чем-нибудь поживиться.

Вик обратила внимание на странную пару. Пока люди занимались своими делами, двое мужчин с подозрительными физиономиями слонялись по улице, изредка перебрасываясь словами. Они все время приближались к машине, пока не остановились совсем рядом. Вик обуял страх, она не знала, что делать, и молила судьбу, чтобы Одуго вернулся быстрее.

Между тем она расслышала обрывки фраз:

— Оверри... разбежались... все до единого... пусто,— говорил незнакомец.

—Я знаю,— отвечал другой,— есть чем поживиться... ни души... удрали.

И потом:

— Еще солдаты пристрелят... схлопотать пулю...

В неясном свете Вик до боли в глазах тщилась рассмотреть незнакомцев. Кто-то прошел мимо с фонарем «молнией». В оранжевом отблеске его луча Вик разглядела лицо одного злоумышленника, заросшее густой черной бородой.

— Ты что, дурак?.. — снова послышался шепот.— Если сцапают, ори во все горло: «Единая Нигерия»!

Спор разгорался, и голоса зазвучали громче и отчетливее:

— «Единая Нигерия»! Они не станут стрелять в нас!.. Кричи: «Единая Нигерия»!..

Бородатый извлек из-под одежды тесак и рубанул по ближайшему деревцу. Оно рухнуло, словно срезанное бритвой. Второй достал двуствольный пистолет и отогнул стволы, проверяя, есть ли в них патроны. Вик в ужасе решила, что сейчас они бросятся на ее машину. В двуствольном пистолете она узнала смертоносную самоделку, подпольную продукцию деревенских кузнецов.

Но страхи ее длились недолго. Мужчина, проверив пистолет, спрятал его за пазуху.

Где же Одуго? Ей хотелось броситься наутек, но страх перед теми двумя крепче цепей приковал ее к сиденью. К счастью, она увидела, что злоумышленники направились через поле в лес. Они смеялись и переговаривались в предвкушении легкой добычи.

Вскоре показался Одуго. Он подошел, открыл дверцу и сел рядом.

— Джим,— еле выговорила Вик.— Когда тебя не было, чуть не случилась ужасная вещь. О боже, как я испугалась!.. Эти бандиты...

И она скороговоркой рассказала ему обо всем.

— Они собирались в Оверри — поживиться добром, что бросили там горожане, но боятся солдат-федералистов. Ты можешь в это поверить, Джим, они хотят ограбить тех, кто пытался спасти свою жизнь?

— Сущие дьяволы. Для них нет ничего святого. Таких типов полно по обе стороны фронта. Они и мертвецов грабят. Что ж, пусть разбойничают. Только в Оверри они свернут себе шею. Никакая армия не потерпит мародерства. Особенно сейчас, в этакой неразберихе.

— Ты нашел своего друга? — Вик заговорила о другом.

— Да, только что. Укоха спит. Он вроде приболел. Но жена его, Ада, мне обрадовалась и отвела нам комнату. Так что едем. Машину здесь оставлять не стоит.

Кое-где развели костры и готовили ужин; разворачивали матрасы, стелили постели прямо под открытым небом. Люди ссорились из-за куска хлеба, из-за банки консервированного молока.

— Хотя Укоха мой старый друг,— заметил Одуго,— будить мы его не будем. Увидимся завтра утром.

В комнате, отведенной для них, воздух был спертый, зато стены ее ограждали от внешнего мира, а на бамбуковой лежанке можно было спать. Одуго чертовски устал, но был доволен собой.

Когда они уже лежали рядом, тесно прижавшись друг к другу, Вик поддела его:

— А ты еще ругался, когда я укладывала матрас и постельное белье. Спать бы тебе сейчас на голом бамбуке.

— Твоя правда,— только и пробормотал он в ответ. Крепко обнявшись, они забылись глубоким сном измотанных, утомленных дорогой путников.

Одуго все явственней начал тревожить доносившийся как бы из глубины его сознания настойчивый рокот и гул какого-то неудержимого размеренного движения. Постепенно он стал различать отдельные голоса. Покупатели орали, спорили, отвергая назначенные цены и выкликая свои, новые. И обуздать эти цены было не легче, чем необъезженных лошадей. Раздражение и любопытство отбили сон у Одуго, ему захотелось узнать, откуда, собственно, исходит этот тревожный шум.

Он открыл глаза и прислушался. Спавшая рядом Вик дышала спокойно и ровно. Наверно, подумал он, вчерашний интенсивный артобстрел усилил царившую вокруг панику и новые толпы влились в поток солдат и беженцев, отступающих под напором федеральных войск.

Всю ночь воздух сотрясался от гула этого потока, да вдобавок где-то еще гудели моторы ночного пирата, который, должно быть, снова патрулировал над взлетно-посадочной полосой аэропорта Ули. За окном надрывались двигатели автомашин, по кронам пальм скользили отсветы фар.

Одуго сел на кровати и осмотрелся. Рядом, свернувшись калачиком, теплая и влекущая, спала Вик. Но он не решился ее будить.

Одуго вышел во двор. Сначала в кромешной тьме он ничего не мог различить, потом глаза немного привыкли и он увидел неподале-

ку двух мужчин в одних лишь набедренных повязках. Тела их сливались с ночным мраком. Незнакомцы чуть слышно пререкались. У одного из них на поясе висел тесак.

— Кто там?! — крикнул Одуго, и мужчины исчезли бесшумно, как тени. Он вспомнил рассказ Вик. Наверно, это те самые бандиты.

Вернувшись в комнату, Джеймс разбудил свою подругу и обо всем ей рассказал.

— Ну, конечно, они — те же самые громилы. Меня от одного их вида в дрожь бросило.

— Но они скрылись без шума, а могли ведь и убить меня?

— Ты напугал их, Джим. Прошу тебя, не выходи больше ночью. Время сам знаешь какое. У одного из них тесак...

Когда небо прояснилось и наступил новый день, Одуго рискнул выйти на улицу. Зрелище, представшее ему, потрясало не меньше, чем паника на рыночной площади в Умунево. Ему почудилось, будто он перенесся в какой-то другой мир. Тысячи и тысячи беженцев молча шли по трое в ряд. Мужчины несли на головах кровати с привязанными к ним матрасами. За спиной у женщин виднелись младенцы; и у всех изможденные лица, ввалившиеся, затравленные глаза; одни едва волочили ноги, другие торопились и даже бежали галопом, но все были охвачены единым порывом — уцелеть, спасти свою жизнь.

Куда же они идут, ведь скоро прилетят самолеты, да и вся эта местность простреливается артиллерией. Любой офицер, не получивший еще приказа о прекращении военных действий, может скомандовать «Огонь!» — и по полю разлетятся тела этих беглецов вместе с их скарбом.

Рядом на бугорке присела беременная женщина. Ее обступили дети, мал мала меньше, жуя что-то завернутое в листья. Они не торопились снова отправиться в путь.

Глаза их лихорадочно блестели, как у затравленных зверьков.

— А где папа? — спросил, увидев Одуго, один из малышей.

— Он скоро придет,— ответила мать.

— Они не убьют его?

Одуго понял: отца их, наверно, схватили солдаты, и мать уводит детей от греха подальше. Его потрясла обыденность, с которой ребенок произнес слово «убить».

— Нет-нет, он вернется,— заверила мать.— А ты пока ешь свою кассаву.

— Вон тот человек, мама! Вон он...— закричал малыш, указывая куда-то.

— Который? Тот, что ударил папу прикладом? Или тот, что увел его?

Она заплакала, и дети обступили ее и утешали с такой нежностью, что сердце Одуго дрогнуло, и он чуть не бросился предлагать им свои услуги. Он шагнул было к ним, но одумался и прошел дальше. Нет, с него достаточно. Горечь и боль стеснили ему грудь; увы, человек в одиночку бессилен против ужасов войны.

Машины, набирая скорость, проносились мимо. В каждую набилось людей вдвое больше положенного. На прикрученных сверху багажниках громоздились стулья, столы, подушки, матрасы, грозившие обрушиться всякий раз, когда шоферы резко выжимали газ. Машины все шли и шли не останавливаясь, и никто не думал, как бы помочь слабым и изможденным. Это конец, подумал Одуго, мерзость запустения. Горе той, что понесла и грудью вскармливает в дни эти.

Старший репортер отдела новостей, Одуго только сейчас ощутил разницу между реальной жизнью и теми сообщениями, которые передавались по радио. Какая неизмеримая дистанция! Вся Биафра в дви-

жении, все бегут. Но, оставайся он на своем посту, Одуго наверняка готовил бы сейчас сводку победных реляций. Раньше, конечно, он зачастую не знал, что творится в Биафре на самом деле. Но пелена с его глаз спала, едва он увидел беженцев. Жаль, случилось это слишком поздно, и при всем желании ничего уже не изменишь. Теперь его будут терзать угрызения совести, он будет заливать свое горе пальмовым вином и молиться, чтоб поскорей наступил день, который смоет все последствия этой трагедии.

Да, пришло, наконец, время, о котором молили судьбу он и его коллеги, но предстало оно вовсе не в том обличье, в каком они его себе представляли.

Двое бродяг, которых видела Вик, зашагали по дороге и смешались с беженцами. Но среди всеобщего стремления к жизни ими владела одна лишь мысль — чем бы еще поживиться. Они держались бок о бок, хищно вглядываясь в усталые, изможденные лица, выискивая жертву и поджидая случая, чтобы погреть руки.

Вдруг на шоссе послышался топот бегущих ног и автоматные очереди. Злоумышленники кинулись на шум. И им предстала такая картина: в утренней дымке на середине дороги стоял биафрский солдат и по смехотворно низким ценам — да еще за биафрские деньги — продавал муку, консервированную кукурузу, тушенку и бобы. Беженцы посмелее подходили к нему, совали в руки пачки кредиток и уходили прочь с пакетами продуктов. Рядом на перекрестке второй солдат прикрывал всю эту операцию, постреливая для острастки в воздух из автомата.

Солдат быстро раскладывал продукты. Это были те самые запасы, что многие месяцы копились на складах, поступая в Биафру от благотворительных организаций, покуда продолжались дипломатические раунды в Женеве, Вашингтоне, Уганде и Эфиопии, а квашиоркор беспощадно косил детей. Хотя именно для них доставляли продукты пилоты, верившие, что выполняют гуманную миссию.

Встав чуть поодаль, один из бандитов крикнул:

— О! Чинеке! Здесь такая жратва, а мы голодали!

Выхватив тесак, он подмигнул напарнику. Тот сразу достал пистолет и, подойдя к солдату, продававшему продукты, выстрелом в упор между глаз уложил его наповал. Перепуганные покупатели кинулись врассыпную, роняя свою добычу.

Другой солдат, прикрывавший торговлю у перекрестка, обернулся и, увидев пистолет, бросился на землю, дав длинную очередь по бандиту, а заодно и по всем оказавшимся поблизости. Люди попадали, как костяшки домино. Среди них оба бандита, женщины, дети.

В отдалении сквозь хор голосов, тянувших «Да здравствует единая Нигерия!», потрескивали ружейные выстрелы.

— Пора сматываться,— сказал солдат с автоматом,— там уже федералисты.

Но он успел еще обшарить убитого напарника и рассовать по своим карманам пачки денег.

4

Днем Одуго убедился: Ободонта оставалась прежней — небольшой поселок, приткнувшийся под боком у фабрики по производству пальмового вина. Неподалеку текла речушка, девушки брали из нее воду и любили ходить туда на рассвете мыться. Люди по-прежнему жили в домах, обнесенных высоким забором, выгораживавшим маленький дворик. Его по утрам убирали с необычайной тщательностью, и там в чистом песке играли дети, а старики, усевшись в кресла, спокойно коротали время за разговорами.

На деревенской площади стояли церковь, школа и родильный дом. В церкви помещался теперь центр благотворительной деятельности, а школу отдали ему под служебные помещения. Родильный дом остался сам по себе. В благотворительном центре работал один из сыновей Укохи — Клейтус. Еще со своего прошлого приезда Одуго знал кое-что и о других сыновьях старика, но все они были далеко от родного дома. Укоха всегда сокрушался об их отсутствии и ждал, что они вот-вот вернутся насовсем или хоть навестят старика — пусть убедится: они, мол, живы-здоровы.

Проснувшись, Укоха каждое утро молился за них. Чаще других он вспоминал любимого сына, Самсона. Однажды в полдень в Ободонту нагрянула призывная комиссия. Десять биафрских фунтов могли бы уберечь Самсона от призыва в армию, по крайней мере до следующего приезда комиссии, но парень заявил, что ему надоело прятаться, да это и бесполезно. И его забрали. Долго еще Па Укоха негодовал на своих недругов — они знали, где прячется Самсон, и всегда выдавали его властям.

А сейчас, хоть радио и сообщало о прекращении огня, никто в Ободонте этому не верил. Особенно скептически относились к передачам зарубежных станций, которые, предсказывая голод, призывали начать массовые поставки продовольствия в пострадавшие от военных действий районы. Те, кто слышал эти призывы, пересказывали их остальным, но это привело лишь к повсеместному росту спекуляции. Общее мнение было таково, что перемирие временное и война скоро возобновится.

Джеймс и Вик нанесли Па Укохе визит в первое же утро после приезда. Встреча произошла в гостиной. Когда вошел Па Укоха, Одуго показалось, что со времени последнего их свидания старик еще больше ссохся. Глаза вроде сильнее прежнего выделялись на его лице, и взгляд их стал неуверенней и беспокойней. Губы пересохли и потрескались. К тому же он теперь тяжелее опирался на палку.

Ада, жена Укохи, крупная, почтенная женщина, принесла на плоской тарелке нож и орехи кола. Одуго предложили расколоть орех. Но он возразил:

— Нет-нет, это ваше право, Па, я слишком молод, чтобы колоть орех в вашем присутствии.

Они припомнили обычаи, связанные с орехами кола: в одних районах Иболенда по традиции орех раскалывают молодые люди, в других, наоборот, старики, подчеркивая этим свой возраст и положение. В конце концов сошлись на том, что Па Укоха уступает свое право Джеймсу Одуго, который и расколол орех. Вик взяла тарелку и стала обносить присутствующих: сперва предложила угощение Па Укохе, затем его жене Аде, потом Одуго и, наконец, взяла кусочек сама. Остатки достались детям — они влетели в комнату как по команде.

Один нетронутый орех положили Джеймсу в карман. Как гласит пословица: «Поминай добрым словом дом, где тебя угостили орехом кола».

Они ели и шептали молитвы, прося защитить тех, кому угрожает беда. Они просили всевышнего уберечь людей от насильственной и безвременной смерти.

— Вы вчера спали, Па, когда мы приехали.

— Война,— ответил Укоха.— Я люблю теперь ложиться пораньше, за день-то устанешь прятаться от самолетов.

— Но самолеты больше не прилетят. Война закончилась.

— Вы уверены?

— Так говорят по радио, а мы должны верить радиопередачам.

Па Укоха кивнул:

— И вы точно знаете, что это не надувательство?

— Я сам видел, как бежали биафрские солдаты, срывая с себя форму. Именно этого мы испугались и поспешили уехать из Умунево. Хотели попасть в Ифитену, но дорога оказалась перекрытой.

— Ну и что же теперь будет? Все солдаты отправятся по домам?

— Кое-кто вернется... А вообще-то одному господу богу известно, что нас ждет в будущем.

— Все бог решает! Черт подери! — вскричал старик.

Он пошевелил большими пальцами на ногах, словно отгоняя докучливую боль, и взглянул на жену:

— Чует сердце — мы, может, и не увидим больше нашего Самсона...

— Самсона? — спросил Одуго.— А где он сейчас?

— Не знаю.

В это время в комнату вошла молодая женщина. На голове она несла кувшин с водой. С любопытством взглянув на Джеймса и Вик, она прошла было мимо, но Ада сказала:

— Бенн, что ж ты не здороваешься с нашими гостями?

В ответ Бенн улыбнулась, потом сказала:

— Доброе утро, добро пожаловать.

В облике ее было больше девичьих черт, чем женских, но Одуго подметил в ее манерах уверенность, не свойственную девушкам.

Бенн прошла во двор.

— Это жена Капитана,— заметил Укоха,— моего племянника. Сам он на фронте. Еще не вернулся. А жену вот оставил с нами... Хм... Так вы говорите, война закончилась?

— Да, войне конец.

— Это хорошо. Но наша радость будет неполной, пока не вернутся живыми все, кто ушел воевать.

Ходили слухи, будто федералисты начали строить казарму недалеко от Ободонты и что солдаты хотят наладить с местным населением хорошие отношения, да и вообще они, мол, весьма дружелюбны в обращении.

Однако... Недавно в дом Укохи вся в слезах зашла деревенская девушка. Вот что с нею случилось. Набрав в речке воды, она поставила кувшин, разделась и пошла купаться. Но когда намылилась, увидела, что с берега ее разглядывает человек в форме. Поначалу она не придала этому значения, но потом, когда к незнакомцу присоединились еще двое военных, насторожилась. Они схватили ее сразу, едва она вышла из воды, и стали насмехаться над ней. А потом все трое— по очереди — изнасиловали ее. Она кричала во все горло, звала на помощь, но тщетно. Девушки, спускавшиеся в это время к речке, бросились наутек, побросав свои кувшины. Бедняжка была без сознания, когда ее нашел сосед, привел в чувство и принес домой. А там уже ею занялись женщины. Натерли мазью тело и дали выпить какого-то снадобья — у нее сразу началась рвота. Она опять едва не потеряла сознание.

— Ничего,— заметила Ада,— зато у тебя не будет ребенка, зачатого в насилии. Это было бы проклятием для Ободонты. Если уж происходит такое, кто посмеет сказать, что война закончилась. Испокон века мужчины и женщины купались у нас вместе нагишом. Но никому и в голову не приходило набрасываться на девушек. А сейчас...

От этой истории Вик и Одуго стало не по себе, и они сразу ушли в свою комнату.

Как-то поутру, едва солнце стало слизывать с листьев росу, Одуго услышал топот бегущих ног. «Солдаты! — сразу подумал он.— Нам конец».

Он взглянул на Вик, и она уловила в его глазах испуг.

— Что там?

Он отложил записи. Они на цыпочках подошли к двери и выглянули во двор. От ворот в сторону банановой рощи, как стайка антилоп, бежали девочки. Груди их ритмично подпрыгивали в такт шагам, бедра грациозно колебались. Они смеялись, и звонкий их смех не мог не вызвать улыбки.

Па Укоха стоял один, опершись на палку. На лице его застыла тревога.

— Что случилось? — спросил Одуго.

— Солдаты охотятся за девушками. Они идут сюда.

Он прислушался и жестом попросил Одуго скрыться.

Из дома в дом змеей пополз слух: «Солдаты ищут девушек. Прячьте их».

Если даже война и закончилась, официально об этом объявлено не было. Все знали наверняка лишь то, что солдаты федеральной армии свободно передвигаются, устанавливают КПП и обменивают у населения официальную валюту на биафрские деньги, чтоб покупать продукты и прочее. Обстановка была напряжена до предела. Кругом кишели одни военные. Они разбили лагерь прямо у шоссе. Гражданские лица не могли передвигаться без пропусков. Бронетранспортеры носились по дорогам как бешеные — неведомо куда и откуда.

Вся эта атмосфера чрезвычайной активности и особой секретности сулила посторонним массу бед и хлопот. Военные были обвешаны оружием и держали его наготове.

Маленький мальчик спросил у Укохи:

— Па, они нас всех убьют?

— Ну что ты,— успокоила его Ада.— Всех им убить не под силу.

— Сейчас самое верное,— добавил старик,— держаться подальше от посторонних глаз и тихонько сидеть дома. Если надо, старики выйдут и объяснятся. А вам, молодым, особенно девушкам, лучше попрятаться.

И вот они отсиживаются дома и ловят каждый звук, доносящийся с дороги, нервы натянуты как струны, слышно, как кто-то переговаривается на улице. Говорили не на ибо. Укоха подошел к дверям и увидел троих незнакомцев в военной форме.

Пока Укоха разговаривал с ними, явился соседский мальчишка. Он, хихикая, стал рассказывать новости:

— Они поймали кучу девушек. Одних заперли в казарме, а других заставили варить обед... Хи-хи...— Мальчишка находил все это очень забавным.

В комнате воцарилась напряженная тишина. Одуго испуганно посмотрел на Вик: «Неужели схватят и ее?» Вернулся старик и устало проворчал:

— Вот она, цена поражения. У побежденных забирают женщин.

Вдруг послышался голос Ады:

— Бенн! Где Бенн?!

Все бросились искать ее. Бенн уже дважды оставалась вдовой: впервые — во время беспорядков в Кано и затем, когда началась война. Капитан был ее третьим мужем, но он все еще на фронте. Куда подевалась Бенн, не знал никто.

Потом какая-то девочка рассказала, что Бенн ушла с солдатом: «Она пошла сама... никто ее не заставлял».

Укоха с женой переглянулись. Из-за Бенн у них вечно возникали недоразумения. Даже в те недолгие дни, когда Капитан приезжал на побывку, старики не знали покоя — приходилось то и дело мирить молодых. Бенн обладала какой-то притягательной силой. Муж регулярно слал ей с фронта посылки. Все знали: он ее любит и, даже сожалея иногда о своем браке, ничего не может с собой поделать. Укоха и Ада всячески старались образумить Бенн, но им не понять было, что за тайная пружина движет ею. Бенн всегда ускользала от них, старики же были не в том возрасте, чтобы ходить за ней по пятам. Ее всегда влекла веселая мужская компания. А военная форма ее прямо-таки околдовывала, пробуждая в ней неодолимую чувственность.

Бенн вернулась поздно, нагруженная мясом, пивом, виски да еще с пятьюдесятью фунтами в нигерийской валюте. Новенькие банкноты заманчиво хрустели. Зайдя в гостиную, она небрежно бросила полбрикета вяленой трески.

— Откуда все это? — со страхом спросил Па Укоха.

— Федералисты дали. Душевные ребята. И вовсе они не собираются убивать нас. Радио все врет.

— Откуда ты их знаешь?

— Да вот шла сегодня по улице, а они окликнули меня, предложили выпить.— Глаза Бенн ярко блестели, и она приплясывала от возбуждения.

Продукты приняли, но Ада попросила Бенн быть осмотрительней. Отныне благодаря своим связям Бенн приобрела в семье особое положение и всякий, кто вкушал от ее щедрот, уже не мог ни в чем ее упрекнуть.

Днем она уходила в казарму и возвращалась к ночи с хлебом, яичным порошком, вяленой треской, сухим молоком и деньгами. А ведь раздобыть новые деньги все равно что найти золотой самородок. На них можно было купить все что угодно, и они запросто вытеснили из оборота биафрские фунты, от которых уважающие себя торговцы отказывались теперь наотрез.

Однажды в полдень Бенн заявилась домой с двумя офицерами— пусть, мол, все видят, какие у нее связи. Офицеры оказались молодыми людьми внушительного вида, и Па Укоха, разглядывая их форму, решил, что к нему залетели небось важные птицы. Один был в хаки, другой — в светло-сером мундире с заткнутым под погон черным беретом.

Укоха приветствовал гостей в своем доме и без лишних слов перешел к делу:

— Что вам угодно? Мы слышали, будто война закончилась. Это правда?

— Мир вам,— сказал одетый в хаки. А Бенн от себя пояснила:

— Па, они ищут кое-кого.

— Поверьте, мы пришли с миром,— сказал офицер в серой форме.— Меня зовут Абдул Гана. Я служу в ВВС.

— Добро пожаловать, мистер Гана.

— А меня зовут Байо,— добавил другой,— я начальник военного лагеря. Если наши ребята будут досаждать вам, обращайтесь прямо ко мне. Мир вам, войне конец.

— Нет, пока не все улеглось,— заметил Укоха.— Вы говорите о мире, а люди еще умирают, наших девушек насилуют, и ни один из моих сыновей не вернулся еще под родной кров.

Бенн с беспокойством взглянула на старика:

— Па, тут не его вина. Он делает все что может ради мира. Но это — дело долгое.

Па Укоха поднял на нее глаза.

— Мы задержим вас ненадолго,— вмешался Абдул Гана.

У дома собиралась толпа — прошел слух, что военные пришли арестовать Укоху со всей семьей.

— Из разговора с Бенн мы поняли, что можем зайти к вам.

— Ну вот вы и здесь.

— Мы хотели справиться о девушке, которую я знал до войны,— продолжал Абдул Гана.— Очень красивая девушка. Ее зовут Нгози.

— Нгози,— нараспев выговорил старик,— очень красивая.— И он грустно улыбнулся.— Пока идет война, красоте нет места. Все ужас, смерть и тлен. Что красивого в стервятниках, терзающих человечью плоть? — Он помедлил и продолжал: — Нгози... в краю народа ибо многих девушек нарекли этим именем. Нгози — значит благословенная богом.

— Но ее звали Нгози Укоха,— заметил летчик.— Поэтому я и пришел к вам. Не можете ли вы сообщить мне хоть что-нибудь о ней?

Старик отличался завидной выдержкой, но в нем что-то дрогнуло. Он повернулся к жене:

— Принеси кола и биафрской воды.

Ада ушла и вскоре вернулась с подносом, на котором были три ореха кола, нож и зеленая бутылка с прохладительным напитком. Мужчины разбили орехи и стали молиться, когда послышался свист реактивного самолета. Всех вокруг словно ветром сдуло, люди бросились под кроны больших деревьев, ожидая бомбежки.

— Это же реактивный самолет, чего тут бояться,— сказал Абдул Гана.

— Люди лучше знают, чего им бояться,— ответил Па Укоха.— Для них военные самолеты не игрушка... Насколько я понимаю, вы тоже летаете на таком?

— Да-да,— сказал Абдул Гана.

Когда они сели, он вернулся к прерванному разговору:

— До войны Нгози была моей невестой.

Лицо Укохи тронула улыбка, но он ничего не ответил.

— На офицерской мессе я встретил Бенн. Мы разговорились, и я понял, что близок к своей цели. В Лагосе мы с Нгози собирались пожениться. Потом началась война. Я просил ее остаться и выйти за меня замуж, но она сказала, что должна быть в такое время дома, и уехала. С тех пор прошло больше двух лет. Воистину пути господни неисповедимы. И вот я сижу перед вами. Вы должны были стать моим тестем.

— Поди разберись, где начало, где конец,— заговорил Укоха.— Мы боролись сами с собой. Вы были на той стороне, что бросала бомбы на женщин, а одна из них должна была стать матерью ваших детей. Отцы их на той стороне занимали видные посты, а матери здесь умирали от голода. Это была братоубийственная война. Так вы говорите, сейчас она закончилась?

— Слава богу, закончилась.

Укоха пожевал орех.

— Ну да ладно. Хватит ходить вокруг да около. Нгози была моей единственной дочерью. Остальные дети у меня — сыновья. Я слышал о вашей намечавшейся свадьбе. Я старик, мне бояться нечего. Я говорил, на войне все отвратительно, ведь говорил? Да, вы предлагали Нгози выйти за вас замуж. Но я вас не знаю. Вы не посетили мой дом, не спросили моего согласия. А вот сейчас пришли узнать, где Нгози? В любом случае Нгози... хм... как бы мне вам объяснить. Од-

ним словом, бомба оторвала ей руку, тому уж побольше года. Я даже день запомнил — пятого мая. Был налет на Оверри. Она пряталась в доме, и туда угодила бомба. Потом три месяца пролежала в госпитале. И вот сейчас — без руки.

— Пятое мая?.. Оверри? — переспросил летчик и обхватил голову руками.

— Слава богу, жива осталась. Тогда многих поубивало. Вы толкуете о красоте, а мы вот — о жизни. Ведь, чтобы быть красивым, человеку надо выжить.

Укохе хотелось бы знать, о чем размышляет офицер ВВС. Неужели он думает, что можно бомбить, убивать людей, а потом жизнь снова пойдет как ни в чем не бывало?

Абдул Гана молчал. Потом вдруг предложил Па Укохе:

— Послушайте, может, вам нужна помощь — деньги, продукты, бензин? Если вы хоть в чем-нибудь нуждаетесь, не стесняйтесь, обращайтесь ко мне или к моему другу Байо.

— Ну что вы,— сказал Укоха,— стоит ли беспокоиться.

Но старик почувствовал, как сердце его наполнилось нежностью к этому офицеру, и он добавил:

— Раз уж мы пережили эту войну, переживем и все остальное.

— Я беспокоюсь, потому... потому... Я чувствую ответственность за то, что случилось с Нгози. Ведь я тоже участвовал в налетах.

— Гражданская война — наваждение дьявола. Вы помогали убивать собственную невесту, но не казните себя за это. Война есть война.

Абдул Гана склонил голову и перекрестился.

— Вы ведь католик? Тогда утешайтесь тем, что Нгози замужем. И она счастлива. У нее двое детей. Я не знаком еще с ее мужем, но, когда все уляжется, они к нам приедут.

Абдул встал, надел берет и протянул Укохе руку. Но старик руки ему не подал.

Бенн проводила офицеров до двери:

— Надеюсь, вы не обиделись и не жалеете, что зашли к нам.

— Ничуть,— ответил Байо.

Бенн улыбнулась:

— Старики, они все с причудами. Па Укоха болен. У него ревматизм, да и за детей он все время тревожится. Ведь никто из них пока не вернулся. Самсон — в армии, от него давно нет вестей. Другие — за границей. А Нгози... напомнив о ней, вы разбередили старую рану.

— Поймите меня! — воскликнул Гана.— Должен же я хоть что-то сделать для нее.

— Да-да, я понимаю...

— Ну, ладно,— сказал Байо.— Нам пора... ты придешь вечером?

— Ждите.

Они сели в «лендровер» и укатили, возбужденно толкуя о чем-то.

В первый же день после приезда Вик взялась готовить обед. Вместе с Одуго она сходила к машине и забрала продукты. Джеймс был рад, что купил цыпленка. А тут еще Клейтус Укоха принес банку сухого молока, вяленую треску и консервированную кукурузу. Он обрадовался гостям, но, пожалуй, еще больше сообщенной ими новости — война окончена.

Посидев немного, Клейтус заторопился:

— Извините, мне пора, как бы отец Оконкво не встревожился, что меня нет. Ведь люди сейчас очень нуждаются в нашей помощи.

— Хорошее место у тебя,— заметил Одуго на прощание.

Клейтус ушел, заглянув еще ненадолго к родителям.

Одуго целый день слушал радио, крутя ручку настройки и конспектируя интересные передачи. Потом он зачитал все Вик.

«Из Британии в Лагос отправлено десять тонн груза для Нигерии. Говон официально объявил об окончании гражданской войны. Представитель Нигерии в ООН пригласил генерального секретаря У Тана посетить Нигерию по окончании его визита в республику Берег Слоновой Кости. Русская делегация прибыла в Лагос, чтобы вручить правительственное послание главе нигерийского кабинета. Соединенные Штаты безвозмездно предоставили Нигерии еще два миллиона долларов — в дополнение к десяти миллионам, выделенным ранее.

Подполковник Эфионг, глава делегации ибо, официально объявил о капитуляции Биафры. «Нигерия вышла из отроческого возраста» (Говон). Началась работа по восстановлению хозяйства и нормализации жизни в стране. Объявлена амнистия. Чрезвычайное положение остается в силе. Сохраняется деление страны на двенадцать штатов. Оджукву[1] скрывается. Призыв в течение семидесяти двух часов доставить продовольственную помощь, чтобы спасти от голодной смерти сотни тысяч людей. Красный Крест изучает создавшееся положение. Командующий третьим корпусом морской пехоты выступил по радио Биафры и объявил об отводе войск в казармы».

— Что ж, немало,— заметила Вик, хлопоча у огня.

Одуго чувствовал: он должен быть там, в гуще событий, а не сидеть в Ободонте, есть, спать и волноваться из-за житейских дел.

— Обед готов,— позвала его Вик.

Еда заманчиво пахла, но вкус ее превзошел все ожидания. Настала ночь, и Вик, постелив свежие простыни, легла спать. А Одуго все не мог оторваться от приемника, пытаясь выудить из официальных сообщений нечто конкретное, чтобы понять создавшееся положение. Но все звучало слишком расплывчато и формально.

Он не знал, что будет дальше, и это не давало ему покоя. Он вышел в гостиную и сел рядом с Па Укохой. Старик заговорил о своих сыновьях. В углу, наполняя комнату едким чадом, горела лампа, заправленная пальмовым маслом. Одуго немного послушал старика, потом встал и, пожелав ему спокойной ночи, ушел в свою комнату.

Вик ждала его.

— У меня очень неспокойно на душе,— прошептала она, когда он лег рядом.

— Что поделаешь, сейчас всем тяжело.

— Я беспокоюсь за мать. Знаешь, после того, как погибла Анна, мы не получали от нее никаких вестей. И я думаю, вот закончилась война...

— Прости, а как же открытка Красного Креста с сообщением об ее переезде в Нигерию?..

— Да, но ведь мы получили открытку больше года назад, вскоре после смерти Анны.

Одуго привлек Вик к себе. От нее пахло духами.

— Что ты думаешь делать, Вик?

— Как только все успокоится, поеду искать маму. Но когда это будет?

— И с чего ты начнешь свои поиски?

— Не знаю, у мамы в Лагосе много знакомых. Начну, пожалуй, с наших друзей.

— Да, похоже, она в Лагосе,— заметил Одуго, поймав себя на том, что при одном лишь упоминании этого города в памяти сразу

[1] Лидер сепаратистской Биафры.

всплыли имена приятелей-репортеров из отдела новостей. В первую очередь он подумал об Абрахаме Фумори из Варри. Хорошо бы его повидать. К своим старым сослуживцам Одуго не чувствовал ни вражды, ни злобы. Может быть, потому, что война, разделившая их, была делом политиков и военных...

— А я лишь игрушка в руках жестокой судьбы,— подумал Одуго, не замечая, что говорит вслух.

— Ты это о чем? — спросила Вик.

— Да вот, оказывается, я всегда служу тем, в чьих руках власть.

— Но ведь речь не об этом. Послушай, Джим, не кажется ли тебе, что мама сама приедет в Энугу или даже в нашу деревню, в Неку, повидаться с нами? Война-то закончилась.

— Может быть.

— Да, я уверена, что она приедет домой, должна приехать. Да и отец меня беспокоит. Не знаю, жив ли он, ведь он не из тех, кто сможет долго протянуть в одиночестве.

— Не торопись, как бы не вышло, что ты поедешь в Лагос, а твоя мать окажется в Неке. Ну, а ехать в Неку, пока нет уверенности, что отец там, не стоит. Значит, самое лучшее сейчас — ждать.

— Что ж, пожалуй, ты прав.

5

На радиостанции в Умунево Одуго проработал пять месяцев. Все это время его жена Джульетта и дети находились в эвакуации в Ифитену. Семья Одуго, спасаясь от федеральных войск, как и другие биафрские семьи, кочевала из города в город. Но потом стало ясно, что именно по городам авиация противника наносит свои основные удары. И тогда гражданское население стали вывозить в отдаленные деревни; последним прибежищем семьи Одуго стала Ифитену. По расчетам Джеймса, Джульетта с детьми была все еще там. Хоть он и не видел их с тех пор, как радиостанцию перебросили в Умунево, Джеймс утешался тем, что жена и дети его пусть временно, но пристроены. А кто может рассчитывать на большее, когда идет война.

Повсюду говорили о женах, крутивших романы с военными. Ведь в руках военных была сейчас вся власть. Одни женщины продавали себя за продукты, другие — за благосклонность и покровительство, третьи — за легкую жизнь. Люди без разбору заводили знакомства.

Одуго взял себе за правило гнать прочь все подозрения насчет Джульетты, поскольку и сам он отнюдь не жил затворником. Он не принимал близко к сердцу рассказы о женской неверности, которые слышал то здесь, то там, считая измену пусть позорной, но неизбежной платой за общий упадок морали во время войны. За окном было тихо, он подумал, что до утра еще далеко. Уснуть он не мог — прямо над ухом жужжала какая-то надоедливая мошка. Джеймс поднялся с постели, взял книгу, но читать не смог. Тогда он раскрыл дневник...

В последние дни Джеймсу некогда было думать о семье. Вик не переставая говорила о своей матери, о сестре Анне. Анна... именно та бомбежка, которая оборвала ее жизнь, породила цепь событий, вызвавших в его сердце такое глубокое чувство к Вик. Как-то она заметила:

— Порой мне не верится, что я никогда не увижу Анны. Джеймс, ты веришь в загробную жизнь?

— Я ее не исключаю.

— Значит, ты думаешь, я могу еще встретить Анну?

На этот вопрос он не ответил, а сказал лишь:

— Она могла бы жить и после того, как мы с тобой сошли бы в могилу. Ты сама это знаешь.

Вик, задумавшись, помолчала, и Джеймс добавил:

— Я до сих пор не пойму, как все это произошло, почему погибла именно Анна?

Он помнил все, что тогда случилось, до малейших подробностей. Утром на радиостанцию пришла Вик. Она искала работу. Передатчик еще не успели смонтировать, не установили студийное оборудование. Джеймс тогда увидел Вик впервые. Она сообщила, что работала в соседнем городе в отделении Красного Креста. Но из-за бомбежек Красный Крест переехал.

С первого взгляда Одуго почувствовал, что Вик — женщина его судьбы и он должен, обязан принять в ней участие. Бросив свои дела, он повел Вик на радиостанцию, потом ворвался в кабинет директора и потребовал, чтобы ее взяли на работу. Помнится, директор тогда ответил: «Вакансий нет, но если она не возражает, я внесу ее в список кандидатов. Слишком уж много девушек ищет сейчас работу».

Отказ не обескуражил Одуго. Конечно, безработица среди девушек, как, впрочем, и вошедшая в моду свободная любовь никого не могли удивить. Но Вик казалась ему какой-то особенной. Высокая, полногрудая, скуластая, с грустным выражением лица и осанкой, исполненной гордости и достоинства, она пробудила в нем целое море чувств.

Одуго понял, что его тянет к ней. С тех пор как началась война, он только однажды встретил девушку, так же взволновавшую его. Звали ее Гледис Нвибе. Их обоих охватила тогда лихорадочная, всепоглощающая страсть, которая как огнем жгла их всю ночь. Потом Гледис исчезла. Как-то неподалеку от Оверри в промелькнувшем мимо армейском фургоне он заметил похожую на нее женщину, но как назло появились самолеты, и под свист и грохот ракетного обстрела все в панике бросились врассыпную. В суматохе он опять потерял ее. И с тех пор их пути больше не пересекались. Единственная ниточка к Гледис вела через ее отца. Джеймс знал лишь его имя — Силас Нвибе — и слышал, что ему принадлежало несколько отелей в Кано. Но где его сейчас искать, оставалось загадкой. Одуго чувствовал, что между Вик и Гледис много общего. Обе производили на окружающих сильное впечатление, у обеих была какая-то особенная мягкая улыбка. Но все-таки Гледис, с ее высокой, точеной шеей, казалась привлекательней. Зато у Вик были очень изящные, ухоженные руки. Видно было, что она часами просиживала за маникюром. С появлением Вик на радио для Одуго как бы вновь началась пора любви и увлечений. Его неутоленная страсть к Гледис нашла, наконец, новый выход. Когда Вик явилась к нему в кабинет узнать насчет своих дел, он сказал:

— Все очень сложно, судьба нас пока не балует, но надежда все-таки есть.

В голосе его слышались теплота и симпатия. Чтобы как-то сгладить первую неудачу, он предложил:

— Позвольте, я подвезу вас домой.

Было часов одиннадцать утра. Он хорошо запомнил тот день. Ярко-синее, без единого облачка небо. В Биафре это считалось плохим предзнаменованием. В любую минуту могли появиться самолеты, поэтому днем в хорошую погоду люди предпочитали отсиживаться в лесах.

Базар собирался лишь с наступлением темноты. Днем в деревнях не оставалось ни души. С рассветом, захватив еду и с опаской поглядывая на небо, народ расходился по своим убежищам.

Но в тот день Одуго находился под обаянием Вик и мысль о воздушном налете даже не приходила ему в голову. Гораздо больше его беспокоила машина, которая никак не заводилась, хотя для Биафры это дело вполне обычное — аккумуляторы никуда не годились — почти вся серная кислота шла на производство взрывчатки.

Он оглянулся, поискал глазами служебную машину, но все они были на задании. Тогда он обратился к Вик:

— Если вы обещаете мне позвонить, то я провожу вас вон до того перекрестка,— он показал рукой в конец улицы,— а оттуда вам уже недалеко.

Она улыбнулась в ответ:

— Конечно. Я рада, что нашла здесь друга.

В это время к ним подошла девушка, которую Вик представила как свою младшую сестру Анну. И действительно, Одуго обнаружил между ними большое сходство, хотя Вик выделялась своей зрелостью и более темной кожей. Анне было около двадцати, и она еще не обрела очарования и изящества, отличавших старшую сестру. Анна держала в руке корзинку, прикрытую салфеткой. Приподняв салфетку, девушка похвасталась. показав Вик бананы, кокосовые орехи, специи, овощи, мясо, сушеную рыбу.

— На базаре почти никого нет. Тишина как на кладбище. Но я все равно не с пустыми руками.

Она улыбнулась, и на ее щеках обозначились ямочки.

Сестра Вик была полна жизни, свежа и молода. Одуго словно вновь ощутил ее мягкое рукопожатие и увидел маленькие капельки пота на кончике ее носа. Да, именно такой представляет себе каждый младшую сестру.

По словам Вик, перед самой войной Анна должна была получить аттестат зрелости, но не успела. А сейчас об учебе не могло быть и речи. Анна устроилась в управление по снабжению горючим, а когда бензин кончился, делать ей было нечего, и она присоединилась к Вик в поисках работы.

Втроем они пошли по улице, убеждаясь, что не только базар, но и весь город напоминает кладбище. Правда, время от времени им попадались прохожие, но вся атмосфера была как бы насыщена ожиданием смерти.

Сезон дождей еще не наступил, однако в воздухе ощущалось приближение грозы. Подул сильный ветер, цапли мерно взмахивали на лету своими белыми крыльями, грифы, кружась, издавали злобные крики. И вдруг люди бросились врассыпную. Все указывали на небо. Вик вскрикнула:

— Самолеты! Бомбежка!

Два истребителя, отливая серебром, грозно вошли в пике. И все они трое, здесь, внизу — живая цель. Самолеты, сверкнув крыльями, мгновенно взмыли ввысь и, сделав вираж, снова вошли в пике. А Джеймс, Вик и Анна все стояли как вкопанные. Ноги налились свинцом. Взгляд его, словно прикованный, следовал за сверкающими плоскостями самолетов, позади которых из сопел турбин вырывалось пламя.

— В укрытие! Ложись! — только и успел крикнуть Одуго.

Должно быть, они вместе с Вик побежали, держась за руки. Кто-то крикнул: «Смотри!» — но грохот взрывов поглотил крик. Послышалась беспорядочная стрельба. Над нефтехранилищем взвился столб дыма. Одуго почувствовал, как его накрыла огромная тень крыльев, распластавшихся в грозном, неотвратимом взмахе. Горячая волна обожгла нос и глотку. Земля дрогнула и разверзлась. Гулкое эхо взрывов покатилось прочь. Грифы сталкивались в воздухе и, крутясь, па-

дали вниз, цапли, пытаясь спастись, судорожно махали крыльями. Все живое стремилось укрыться от смерти. Но она поражала всех — и бежавших, и застывших в оцепенении. Кругом бились в агонии изуродованные, умирающие люди.

В голове гудело. Одуго встал и осмотрелся. Рядом с ним поднялась Вик, но снова рухнула, схватившись за голову руками.

Одуго отер пот с ее лба, отвел в укрытие. Там она постепенно пришла в себя. И сразу спросила:

— Где Анна? Ты видел ее?

«Да-да,— подумал Одуго.— Где же Анна?» В голове еще стоял звон. Но они побрели разыскивать Анну, забыв, что налет может возобновиться в любую минуту.

Под вой сирен машины «скорой помощи» увозили мертвых и раненых.

Вик и Одуго, не переводя дух, пробежали пять миль до деревни Аманту, где жила тогда мать девушек. Они застали ее во дворе. Она стояла, глядя в небо. Материнское сердце чуяло беду.

— Где Анна?

— Мы сами пришли спросить тебя о ней,— ответила Вик.

— По-моему, Вик, спрашивать должна я! Вы ведь вместе ушли утром из дому. Говори правду, ничего не скрывай от меня.

Вик с Джеймсом переглянулись. Мать Вик, крупная женщина лет пятидесяти, не скрывала своей тревоги.

— Возвращайтесь обратно, найдите ее и приведите домой. Наверно, она где-то в укрытии.

Одуго била дрожь. Вик, обессиленная, прижалась к нему и вдруг зарыдала. Он стал ее успокаивать:

— Ну что ты? Не плачь! Мы найдем ее, непременно найдем. Не могла же она исчезнуть. Может, ждет нас где-нибудь возле рынка, боится выйти на улицу. Пойдем поищем ее.

Он пытался восстановить в памяти все как было, вспомнить поточнее место, где они стояли в начале налета, куда побежали, где и как потеряли Анну. Но память отказывала ему, едва он доходил до того момента, когда с воздуха обрушился на них шквал огня.

— Вы были вместе, все трое? — с надеждой спрашивала мать. Одуго от этого вопроса становилось не по себе.— Ведь вы же знали, что радиостанция считается военным объектом и федералисты все время охотятся за ней.— Она помолчала и с надеждой добавила: — Я знаю Анну. Она трусиха. Не то что Вик. Спряталась где-нибудь и не выйдет, пока не убедится, что самолеты не прилетят снова.

Эти слова ободрили их. Одуго взял Вик за руку и потянул за собой:

— Пошли... Пойдем, нам пора.

Он понимал, что люди не сидят подолгу в одном и том же убежище. Где бы они ни прятались, они не считают себя в безопасности. И едва наступает пауза, выходят из укрытия — поискать себе место получше.

Но если Анна не пришла домой, где ее искать?

Одуго и сам не мог ответить на свой вопрос. Он много слышал о воздушных налетах, комментировал их по радио, но сегодня впервые в жизни попал под бомбежку, война предстала теперь перед ним в новом обличье.

Смеркалось. Они обошли и обыскали все закоулки, но тщетно. Улицы были пусты, убитые и раненые вывезены. Красный Крест прекрасно справился со своей задачей. А они все ходили по деревне, забыв об опасности — ведь самолеты могли вернуться.

Кто-то спросил их:

— А вы были в больнице?

— В больнице? Где именно: в палатах для раненых или... в морге?

— И там, и там.

Он с трудом убедил Вик идти вместе с ним — в случае необходимости она могла опознать труп. Господи! Это был какой-то кошмар. Проснись он поутру с подобными воспоминаниями, Джеймс подумал бы, что ему привиделся страшный сон. Исковерканные тела, удушливый запах растерзанной человеческой плоти, кровь, перебитые кости — все это было невыносимо. Но они искали любимое существо и не могли отступиться, не достигнув цели. В отделении для раненых в груде вещей, сложенных в коридоре, Одуго увидел корзинку:

— Это не Анны?

Вик внимательно осмотрела ее.

— Не знаю... Похоже.

Она на что-то присела, усталая и растерянная, шепча помертвелыми губами:

— Мне плохо. Боже, спаси Анну. Умоляю тебя, сохрани ей жизнь. Она никому не сделала зла, за что карать ее смертью.

— С чего ты взяла, что она погибла? Ты судишь по этой корзинке?

Одуго больше всего потрясло то, как живые воспринимают мертвых, как спокойно реагируют на смрад гниющих ран. Поиски продолжались уже целый день, но Анны не было ни среди раненых, ни среди мертвых. Настроение стало улучшаться, вновь появилась надежда. Они возблагодарили бога.

Вик села отдохнуть.

— Мне плохо. Боюсь, не выдержу...

Но он повел ее дальше. Надо было зайти еще в одну больницу. Отделение скорой помощи гудело от криков и стонов людей, которым обрабатывали ожоги, переломы, раны.

Сестра, к которой они обратились, спросила:

— А вы были во втором морге? Убитых так много, что мы не смогли разместить здесь все трупы. Некоторые увезли...

Одуго бросило в жар. Он стоял как вкопанный и смотрел на Вик. Под ложечкой засосало так резко, что он едва устоял на ногах. Его охватило щемящее предчувствие беды.

Они отправились в морг. Ему пришлось поддерживать Вик, она была на грани обморока. Дверь открылась, и взгляд словно утонул в вязкой мгле. Картина, которая затем предстала перед ними, была ужасна. Вик навалилась на него как пьяная:

— Нет, не может быть... Анна, сестра?!

У нее началась истерика.

— О, это бог покарал меня! Бог покарал меня!

Она стиснула руками голову и топала ногами на крохотном свободном от трупов клочке пола. Тем временем в морге стали появляться другие люди, искавшие своих близких.

На шее у Анны зияла глубокая рана, из которой торчал осколок. Наверно, он сразил ее на бегу. Одуго поднял какие-то лохмотья и прикрыл ее наготу. Ему даже не показалось абсурдным, что живые стесняются наготы мертвых. Большинство жертв лежало нагими. И Анна, такая холодная и величественная, больше не нуждалась в жалких приличиях этого мира.

И тут Одуго прорвало:

— Хватит, мы сыты этой войной по горло! О боже! Останови ее, спаси нас, пока мы не перебили друг друга.

Вик оборвала его:

— Тише... здесь могут быть шпики.— Она перестала плакать.

— Что они мне могут сделать? Упечь за решетку?

— Тс-с...

— Пусть лучше попробуют посадить Анну,— он истерически захохотал.— Пусть посадят ее вместе со мной.

— Джеймс, возьми себя в руки, пойдем. Ни ты, ни я не виноваты в том, что идет война. Надо подумать о похоронах.

— Да, ты права... Но вспомни о матери, смерть Анны может стать для нее роковой.

— Ты идешь со мной? А как же твоя работа? Ты ведь и так отсутствовал весь день.

Одуго усмехнулся:

— А если б меня убили? Кто бы тогда вернулся на работу? Взгляни на Анну, будет она теперь работать?

Они молча вышли на улицу. У встречных на лицах лежала та же печать горечи и боли.

Остаток дня прошел в суматохе. Из дома они снова вернулись в больницу, забрали Анну и сразу похоронили ее. Покойницу не выставляли для прощания. Народу собралось немного. Ведь родная деревня их была далеко. Они эвакуировались сюда из Энугу. Поэтому почти никто не пришел, кроме Джеймса Одуго, его друзей по работе да нескольких сослуживцев Анны, которых удалось предупредить.

Одуго договорился кое с кем из армейских друзей, что они по своим каналам сообщат отцу Анны о случившемся. Он жил в Неке, которую по последним сообщениям федералисты еще не захватили. Значит, армейская связь могла сработать.

Джеймс Одуго все глубже осознавал, что становится членом семьи Эзента. Его растрогала мать Вик — она была ему так признательна за все. Джеймс как мог утешал ее, говоря, что во время войны смерть вездесуща и может когда угодно постучаться в любой дом.

Вик приняли на работу, когда Джеймс Одуго поехал открывать новое отделение радиостанции в Умунево. Вторая станция стала необходима, потому что старую успели уже засечь и каждый день бомбили ее. Гибли люди, да и работать в таких условиях было невозможно. Вик назначили диктором-оператором. Работала она с увлечением. Как-то она пришла к Джеймсу домой, и они не расставались до утра. Вик жаловалась:

— Все ночи напролет Анна не отпускает меня. Я вижу один и тот же сон, просыпаюсь от него и долго лежу в ужасе.

Но в присутствии Джеймса страх исчезал, и ей удавалось заснуть. Иногда приходили весточки от матери Вик. Однажды утром, проснувшись, они увидали, что прилегающая к радиостанции площадь запружена толпами беженцев, и узнали, что федералисты наступают. Беженцами оказались жители Аманту.

— Аманту! Джеймс, это та деревня, где живет мама. Поедем, разыщем ее и привезем сюда.

Они отправились в путь на машине, но вскоре им пришлось повернуть назад: все дороги в Аманту были забиты беженцами, рассказывавшими, что они подвергались постоянным обстрелам — снаряды сеялись с неба как июльский дождь. Потом они с Вик ждали ее мать в Умунево. Но дни складывались в недели, а о ней ничего не было слышно. Лишь через несколько месяцев с помощью одного приятеля Одуго достал список ибо, проживающих в Лагосе. К его величайшему удивлению, там значилось и имя Марты Эзента. Джеймс сломя голову бросился в студию — сообщить об этом Вик.

— Значит, она в Нигерии,— вздохнула Вик.

По выражению лица нельзя было понять, довольна она этим или нет. Было ясно лишь, что для любого биафрца жить на другом берегу Нигера значило то же, что поселиться на Луне.

Вик полагала, что в Лагосе матери есть где остановиться.

— У папы маленький домик в Аджегунле. Он получил землю и построил дом, когда там еще никто не жил. Даже если дом этот занят, у нас там есть друзья.

Позднее Вик призналась Джеймсу, что Анна не хотела возвращаться в Иболенд. Как будто знала, что ее здесь ждет. Она долго упрямилась, а ее все убеждали: это, мол, не обычный кризис, переговорами его не решишь, и дело кончится войной. «Я никуда не поеду и останусь здесь»,— так говорила Анна в Лагосе.

Пришлось ее оставить. Но потом их отец Па Эзента послал за Анной своего брата. Немало помучились они на разных КПП, прежде чем попали на этот берег Нигера. А вскоре границы закрыли и началась война.

Остальные сестры Вик остались в Лагосе со своими мужьями. И если мать действительно там, она скорее всего будет жить у одной из своих дочерей.

6

Не каждый знал о том, что война окончена, и уж конечно об этом не догадывались те, кто сидел в засаде на берегу реки Умунево. Их окопы, расположенные на отшибе недалеко от радиостанции, были хорошо замаскированы.

Самсон Укоха и дюжина вверенных ему ребят выполняли последний полученный ими приказ: окопаться у моста и охранять подступы к реке. О прекращении военных действий начальство не удосужилось их известить.

Откуда было Самсону и его ребятам знать, что вот уже сутки, как Джеймс и Вик бежали со станции, и что тысячи солдат, бросая оружие и переодеваясь в гражданское платье, растекаются по лесу вокруг Умунево. Вскоре по их расчетам должны были появиться передовые части федералистов.

До зубов вооруженного противника солдаты Укохи должны были сдерживать с помощью допотопных ружей. При этом на каждое едва приходилось по горсти патронов. Но это их не пугало.

— Мы сражаемся на родной земле. С нами бог,— говорил Самсон своим ребятам.— Не открывайте огня, пока они не подойдут вплотную. Стрелять только по команде и беречь каждый патрон.

Солдаты обливались потом, голод подвел животы. Один парень, явно не местный, в страхе отпрыгнул, увидев длиннющего питона, скользившего по направлению к реке. Упругое и лоснящееся, с красивым узором тело змеи венчала непропорционально маленькая голова с глазами-бусинками. Солдат вскинул винтовку, но Укоха успел схватить его за локоть.

— Не стреляй, питонов здесь обожествляют! Ты что, хочешь накликать на нас беду?

Парень опустил винтовку, руки его дрожали.

Кругом виднелись толпы беженцев, и Укоха беспокоился за них. Вспыхни вдруг бой, многие наверняка попадут под перекрестный огонь. Один из солдат стоял у моста и торопил беженцев: «Быстрее, быстрее! Прячьтесь в лесу или переходите поскорее сюда. Вам что, жизнь надоела? Не знаете разве: мост заминирован?»

При упоминании о минах, грозных самодельных огбунигве, люди бросали последние пожитки и спешили убраться подальше от этого страшного места.

— Эй, гляньте-ка вон туда!

— Что тебе там привиделось? — спросил Самсон.

— Кажется, мелькнули каски, сэр.

— Похоже и правда, сэр, они идут.

Самсон Укоха, как ни старался, ничего не мог разглядеть.

— Смотрите, сэр, кусты-то живые.

— Кусты не носят стальных касок.

И сейчас Самсон увидел все. Сердце его учащенно забилось.

— Боже, спаси нас.— Страх пробудил в нем энергию. Послышались отрывистые команды. Как заводные, солдаты бросились к своим окопам и залегли. Они видели, как Укоха плюнул на ладонь и вытер ее о рубашку. Он прикидывал силы противника; человек пятьдесят, пулеметы, базуки, миномет. Он вдруг осознал, что эти пятьдесят солдат там, в низине, стали соучастниками их общей игры со смертью. Тридцать месяцев они забавлялись, а сейчас ему надо было покончить с этими ребятами, чтобы завершить игру. В случае благоприятного исхода он сможет вернуться к отцу, женится на какой-нибудь девчонке из Ободонты и навсегда покончит с этой дикой жизнью.

Если его опыт хоть чего-то стоил, значит, перед ним передовой отряд федералистов, а за ним продвигаются главные силы: «ферреты», «панхарды», «стопятки» и десять тысяч солдат. Что же он мог противопоставить всей этой мощи: дюжину солдат с музейными ружьями да пригоршню патронов?

Ноги онемели, будто их и не было. Вот она — смерть, обряженная в форму солдат федеральной армии. Никто не мог упрекнуть его, что он хоть раз оставил поле боя. И все же сейчас здравый смысл требовал — отступать. Но перед ним всплыло лицо командира, и он решил: лучше смерть, чем отступление.

Самсон Укоха воевал на разных участках фронта и остался жив, только, похоже, везение его кончилось, сейчас война вышвырнет его из окопа, как вода выплескивает в половодье из норы дохлую крысу.

— Смерть, вот ты и пришла за мной. Неужели это тот самый, предрешенный судьбой день?

Он увидел, что примерно в миле от моста солдаты устанавливают миномет, и тогда впервые за все время службы снял пилотку и стал усердно молиться: «Боже, благослови дорогого отца моего и мать. Чинеке, если это конец, я явлюсь к тебе, смиренный, без промедления и боли, ты не виноват, что на нашу землю пришла война,— пока существует человек и пока он жаждет власти, землю будут раздирать войны и мы, солдаты, будем служить разменной монетой. Но, господи, пусть те, что выживут, извлекут пользу из наших страданий. Мы, смертные, сражаясь и умирая, надеемся помочь живым, и если жизнь их не станет лучше, значит, жертвы наши напрасны. Чинеке, благослови моих кровных братьев, где бы они ни были... И еще благослови моих собратьев по оружию».

Самсон повернулся к своим солдатам:

— Патронов мало, впустую не стрелять! — Он водрузил на голову пилотку и перекрестился. Самсон Укоха излучал решимость.

А федералисты между тем шли по петлявшей в буше тропинке. Здесь-то их и накрыл ружейный залп. Солдаты залегли, и заиграл оркестр. Звон ударников мешался с мелодией гитар, флейт, труб и минометов: пинг... бум... бу-ум... тра-та-та... бух. Дым, плач, предсмертные крики и стоны, рвота, удушье, хрип.

И вдруг все стихло.

— Ты ранен? — Голос был настолько слабым, что казался детским. Изо рта Самсона струйкой текла кровь. Они пытались поднять его и

оттащить в безопасное место, но тут опять началась стрельба. С опозданием послышался его ответ, в котором звучала злость:

— Сколько осталось патронов?

— Два.

— Используйте их как надо... Стемнеет, и вас уже ничто не спасет.

Самсон слизал с губ кровь, силы быстро покидали его.

— Они хитрят. Сейчас опять пойдут в атаку...

Неожиданно на мосту показался десяток федералистов. Самсон отдал команду. Раздался взрыв. Мост взлетел в воздух. Небо заволокло дымом, в лицо ударили щепа и мусор. Но было поздно. Когда гарь рассеялась, стало ясно, что часть солдат успела перебраться на эту сторону. Послышалась их брань. Потом заговорил пулемет. Пули его вышивали на холме смертоносный узор. Вдруг один из солдат отбросил винтовку и что-то крикнул. Все поняли: пора последовать его примеру. Но пулемет выбрасывал свои огненные жала, пронзавшие ребра, крушившие кости и черепа, и вскоре на берегу Умунево никого не осталось в живых. Один лишь питон, обвившись вокруг толстого дерева, уцепившегося корнями за берег, удивленно озирался вокруг. Но и он молчал, раскрыв пасть и время от времени выбрасывая свое раздвоенное жало. Странно было питону слышать гром без грозы.

Бой за мост Умунево закончился задолго до того, как подкатили «ферреты» и рявкнули их могучие стволы. Беженцы уже смешались с солдатами федеральной армии и кричали: «Да здравствует единая Нигерия!» Этим они спасали себе жизнь, демонстрируя верность делу, горячо обсуждавшемуся последние тридцать месяцев,— «Единая Нигерия».

В Умунево рухнул последний мост, остававшийся в руках Биафры.

Шествие беженцев замыкала высокая, сравнительно светлокожая миловидная молодая женщина. Такую сразу заметишь в любой толчее.

«Да здравствует единая Нигерия!» — выкрикивала Гледис Нвибе, переходя реку вброд. Вместе с другими беженцами под пристальными взглядами солдат она вскарабкалась у развалин моста на другой берег и пошла дальше. Гледис заглянула на радиостанцию, но никого там не встретила, кроме солдат-федералистов, охранявших запертые помещения. Вокруг тоже не было ни души.

На базарной площади она обратила внимание на брошенное полевое орудие и груды обмундирования. Солдат не было видно. Из сваленного в кучу оружия она могла взять все, что хотела, но не стала искушать судьбу и вместе с попутчиками, стараясь не привлекать к себе внимания, поспешила влиться в поток беженцев, неудержимо двигавшийся на север.

То и дело где-то раздавалась стрельба, и трудно было сказать с уверенностью, какая дорога безопасней и что лучше: стоять на месте или отдаться на волю этого людского потока. Она шла, как и все другие, понимая прекрасно, что любой неверный шаг может стать последним.

Человека, которого она искала, звали Джеймс Одуго. Она не посмела остановиться в его доме. А в Умунево не осталось никого из знакомых. Значит, надо идти дальше, неизвестно куда, и она шла, более прежнего беззащитная перед лицом вездесущей смерти. Лишь один человек на свете, считала она, может вдохнуть в нее уверенность, наполнить смыслом ее жизнь — Джеймс Одуго. И она решила разыскать его во что бы то ни стало.

Весть о сражении у моста Умунево достигла Ободонты. Па Укоха узнал о жаркой схватке, в которой горстка смельчаков уничтожила значительные силы противника, но полегла вся до последнего человека.

— Когда это было?

— Сегодня!

— Сегодня?.. Но ведь вы говорили, что война закончилась еще вчера?

— Так все говорят... хотелось бы...

— Значит, война не кончилась. Хватит обманывать нас. Как могла она кончиться, если бои продолжаются?!

И как бы в подтверждение этих слов раздался оглушительный взрыв. Люди в страхе бросились в укрытие, уверенные теперь, что война и впрямь продолжается. Весь день Па Укоха говорил о своем сыне Самсоне.

Спустилась ночь, но он так и остался сидеть в своем кресле, до блеска отполированном за долгие годы службы. Он сидел, изредка шевеля большими пальцами ног и негромко разговаривая сам с собой. Его настораживал каждый посторонний шум. Но звуки смолкали, и опять воцарялась тишина.

Мысли Укохи устремлены были к детям — то к одному, то к другому. Его мучил вопрос: когда же они, наконец, возвратятся под родной кров — в Ободонту?

«Проклятье всем войнам и этой нашей войне, такой жестокой и бессмысленной. Проклятье властолюбцам, развязывающим войны. Пусть не рождаются они на свет ни при нас, ни при детях наших. Аминь».

Ему показалось, будто где-то в ночном небе ревет реактивный самолет. Потом звук пропал, и он не мог понять, приснилось ему это или было наяву?

«Чинеке, верни моих сыновей. Сейчас я один на один со своей бедой...»

Укоха ушел и лег спать, но долго еще ворочался на бамбуковой кровати. Плоть его иссохла и не укрывала мякотью старые кости.

Прошел день. Джеймс и Вик сидели во дворе, когда услышали крик, страшный вопль — казалось, кричала вся округа. Отовсюду к дому Укохи бежали женщины, скорбно ломая руки.

Они остановились у дверей. Одна, с красными заплаканными глазами, выступила вперед.

— С чем пришли, женщины? — спросил старик.

Женщина с красными глазами подняла свое лицо. Пальцы ее рук были судорожно сцеплены. Никто не сказал ни слова. В толпе плакала мать, кормившая грудью ребенка. Плакали и другие, но Укоха никак не мог понять причину их скорби.

— Что ж ты молчишь, женщина? У тебя кто-нибудь умер?

— Бог миловал, — услышал он в ответ.

— Он пал на поле боя!.. Когда война уже закончилась.

— О ком вы?

Женщина не ответила и направилась во двор.

Вдруг что-то шевельнулось в его сознании. Может быть, горе этих людей касается и его?

Все в Ободонте ждали вестей от ушедших на фронт, но до сих пор скорбные вести большей частью обходили деревню. Неужто несчастье постучалось к нему в дверь?

Все нараставший плач достиг своей высшей точки, и Укоха, наконец, все понял. К дому подъезжал грузовик, вид его внушал старику страх.

— Там наш сын... Самсон!... Наш Самсон...

— Самсон, так ты вернулся? Это тебя везут? Значит, ты не смог прийти сам, пожать нам руки и выпить с нами, как пьют, вернувшись издалека? Разве так мы хотели тебя принять?

Люди кольцом обступили старика. А во дворе Ада в отчаянии раздирала грудь, билась об землю, и пятеро женщин не могли с ней совладать.

Люди расступились, давая дорогу грузовику. Урча и гремя, он полз по живому коридору. Радиатор его украшала молодая пальмовая ветвь. Грузовик был полон людей, они висели даже на бортах.

Женщины катались по земле, осыпая себя песком. Грузовик дал задний ход и подъехал вплотную к забору.

— Стой... О-о... Ох!.. Ох...

Из кузова выпрыгнуло несколько человек.

— Он приехал. Вернулся Самсон, сын Па Укохи!

Теперь, глядя на лица собравшихся, Укоха уже знал наверняка, что случилось. Подавленный, он стоял неподвижно, и по лицу его бежала спокойная улыбка смерти. А тем временем плач и причитания зазвучали с такой силой, что казалось, вот-вот лопнут барабанные перепонки. У дверей хижин, крытых пальмовыми листьями, вторя взрослым высокими голосами, заливались дети. Не понимая жуткого смысла происходящего, они следом за взрослыми подпрыгивали и падали наземь.

С машины сняли сколоченный наспех гроб и понесли по тропинке к дому, мимо ограды, мимо пальм и зарослей слоновой травы.

Когда гроб установили в гостиной, Одуго заметил военного, который спокойно вошел во двор.

— Как мне жить? Как жить? — стенала Ада Укоха.

— Ма,— обратился к Аде молодой солдат, под присмотром которого Укохе доставили гроб,— послушай. Я был с ним во время последнего боя. Нас было всего двенадцать, нам не хватало ружей и патронов. А у них было все. Ваш сын сражался как истинный сын Ободонты.

Ма Укоха смотрела вдаль невидящим взглядом.

— Он сражался как настоящий мужчина. И что же с ним стало?

— Мне очень жаль... На все воля божья. Я уцелел чудом. Все время был рядом с ним. Вот, глядите,— солдат показал спину, ободранную пулей.

Его приняли со всем радушием, молились за него, просили остаться и вместе со всеми оплакать Самсона. Но он сказал, что выполнил свой долг и теперь ему надо идти к своим близким.

— Да хранит тебя господь, молодой человек,— благословила его семья Укохи. Воцарилась тишина, и солдат прошел сквозь толпу.

Па Укоха уселся в углу гостиной, скрестив ноги:

— Так вот как возвращаются мои дети?

— На все воля божья,— заметил кто-то.

Па Укоха не видел сына с того самого дня, когда в Ободонту нагрянула призывная комиссия. Кого он ни спрашивал о Самсоне, все отвечали, что сына его перебросили сейчас на другой участок фронта — еще более опасный. А сейчас он вернулся, вернулся побежденным, и больше никто и никогда не перебросит его на другой фронт. Во имя чего все эти жертвы?

Аду Укоху с трудом удерживали близкие. Выглядела она как сама смерть: волосы всклокочены, глаза заплаканы, платье разорвано. Старик понюхал табаку и чихнул.

— Снова повторяю вам всем... Мы, черные люди, еще не хозяева своей жизни. Кто выиграл эту войну? Не иностранцы ли, что делают оружие и продают его нам? А мы как дураки покупаем самолеты и ракеты и убиваем своих братьев и сестер. Я не могу взять в толк, из-за чего мы воевали? — Он оглядел всех вокруг.— Люди Ободонты! Из-за чего была эта война? — Глаза его горели, лоб изрезали морщины. Все, понурив головы, молчали. Тогда Па Укоха сказал: — Сейчас я начинаю понимать... война велась ради того, чтобы разбить семьи, отнять у нас сыновей и дочерей, жен и мужей. Именно так. А если семья распалась, как мы можем надеяться на лучшее будущее? — Он горько усмехнулся. — Да, вот как мы собираемся стать независимыми. Вот как намерены управлять собой.

Все собрались вокруг Па Укохи и слушали, не смея проронить ни слова.

Они бодрствовали всю эту ночь, чтя память Самсона Укохи. Вик и Одуго вместе со всеми не смыкали глаз. Мужчины пели песни, пили пальмовое вино и при свете костра негромко переговаривались друг с другом.

Самсона обмыли, одели и к утру — тело сильно пострадало, и ждать дальше нельзя было — начали рыть могилу.

Похоронить его решили рядом с могилой отца Укохи во дворе дома. В больших сосудах из тыквы и плетеных бутылях принесли пальмового вина, и старейшины, отгоняя метелками мух, уселись в углу для совершения великого обряда.

— Впервые за три года я вижу настоящие похороны,— сказал Одуго Вик.

— Да,— ответила она.— Я не помню ничего похожего. Где обычно хоронили солдат?

— В ямах... на поле боя.

— Самсону еще повезло,— сказала Вик.— Упокой, господи, душу его. У него пристойные семейные похороны.

7

Самсона Укоху отпевал католический священник, отец Оконкво. В своей проповеди он требовал покончить с войной, с производством новых видов оружия, призывал научиться решать спорные вопросы путем переговоров, взывал к умеренности. Ох, как были знакомы Одуго все эти речи! Все эти громкие слова влетали в левое ухо обеспокоенной мировой общественности и без задержки вылетали в правое. А война продолжалась.

Священник говорил об уроках войны, о том, что человечество ничему не научилось по прошлым войнам и слепо бредет вперед в атмосфере неуверенности и страха, без устали изобретая новые, еще более ужасные средства массового истребления людей. Вьетнам, сказал он, был кульминацией бессмысленности и всеобщего уничтожения человека человеком.

Временами Одуго даже казалось, что проповедь носит скорее политический, чем религиозный характер. Он стал с интересом приглядываться к отцу Оконкво. Одуго часто встречал священника в благотворительном центре: подвижный как ртуть, с мягкими манерами, с большими влажными глазами, отец Оконкво сыпал шутками налево и направо. Все знали, что он очень любит детей. Если бы Одуго не видел Оконкво раньше, то при встрече никогда бы не догадался, что

перед ним священник. Он редко носил сутану, предпочитая европейский костюм или что-нибудь из одежды, присланной благотворительными организациями. Единственным знаком его сана была маленькая черная книжка с золотым обрезом. И речь Оконкво, хоть и пересыпанная шутками, была задумчива и печальна.

Днем и ночью в дом Укохи шли люди. Каждый, узнав о постигшем старика горе, считал своим долгом навестить Ухоку и лично выразить ему свои соболезнования, время суток при этом не имело никакого значения.

Смерть Самсона еще больше сблизила Па Укоху и Джеймса Одуго. Часто усаживались они во дворе и вели долгие задушевные беседы.

Война принесла много смертей, так много, что люди забыли, как надо по-настоящему отпевать усопших,— на все не хватало времени. Не успевали собраться на похороны, как толпу засекали с воздуха и забрасывали ее бомбами. Смерть порождала смерть. Да и как тут похоронишь человека по всем правилам, когда каждое утро уносит сотни жизней. Но с Самсоном был особый случай. Он погиб в расцвете сил и главное — после прекращения огня. Смерть его повергла Укоху в глубокую печаль и настроила на философский лад. Как-то Одуго спросил его:

— Па, вы так и не выезжали из Ободонты во время войны?

— Не выезжал ли? Да разве черепаха уйдет от места кормежки?

— Но иногда ей опасно там оставаться. Ее может растоптать слон.— Одуго пытался говорить в тон образной речи Укохи.

Старик только пожал плечами.

— Бывает, что смерть одного спасает многих.

Кроме Самсона у Па Укохи было еще пятеро сыновей. Калу Укоха, врач, доктор медицины, работал сейчас в Германии. Кристофер Укоха — бухгалтер, работал в США. Абель Укоха — специалист по компьютерам. Он уже вернулся из США, но в Ободонту пока не приезжал. За Абелем идет Клейтус и, наконец, Френсис Укоха, он учится в Ирландии, в духовной семинарии.

— Чтобы получить образование, дети рано покинули дом,— жаловался старик. Он был рад, что хоть Клейтус его не оставил, работает рядом — в благотворительном центре. Если бы не Клейтус и его помощь, старик бы давно умер от квашиоркора.— А Нгози — моя единственная дочь. Тот парень — хауса, Абдул Гана — имел на нее виды. Он тогда еще не служил в авиации, а учился в университете. Война разрушила их планы. По последним сведениям, Нгози с семьей переехала в Оверри, и я жду, когда они вернутся к нам.

Коротая время, Укоха мастерил кровати из бамбука. Но смерть Самсона настолько его измотала, что он ни на что уже не был способен. Целыми днями просиживал он в своем кресле. Даже перестал бриться — начал отращивать бороду. А люди все шли и шли в дом, и без конца лилось пальмовое вино. Самсон умер, его похоронили; свежий могильный холм возвещал об этом всему свету.

— Народ наш никак не найдет общего языка. Главная наша беда! И еще эта жадность... Каждый желает разбогатеть. А это ведь невозможно. И неугодно богу.

— Но разве то же самое не происходит во всем мире? — возразил Одуго.— Повсюду все хотят разбогатеть.

— Да, но только у нас желание это проявляется самым наихудшим образом. Каждый спешит урвать кусок. А ведь мы бедны, и нам немного надо. Чистая вода — для питья и умывания, хорошие дороги — возить по ним ямс и кассаву, хорошие школы — учить детей. Нам нужно, чтобы наши женщины могли спокойно жить и рожать детей;

нужно место, где мы могли бы поклоняться нашему богу. И, наконец, нам нужен мир, хватит кровопролития.

— И ты не обратишься за ссудой к богачу, если все это получишь?

— Зачем? От денег одни только беды.

Одуго улыбнулся, а Па Укоха между тем продолжал:

— Ты знаешь... В этой войне мы потеряли все. Одни иностранцы выиграли, а нам, черным, достались только страданья. Говорили, война облагородит нас, заставит бояться бога, а она нас сделала похожими на усу-агву. Что это такое, спрашиваешь? Ты не знаешь, кого в Иболенде называют усу-агву?

— Нет, Па.

— Это разновидность усу — летучей мыши. У нее есть крылья, но летать она не умеет. Не птица и не животное, хотя тело ее покрыто шерстью. Каждый год у усу-агву вырастает по одному носу, у пятилетнего усу уже пять носов, а лицо у него совсем крохотное.

— О боже!

— Да, зрелище такое, что не позавидуешь. Когда дети находят усу-агву, они не могут понять, что это, и бегут в страхе домой.

— Теперь понимаю,— заметил Одуго.— Выходит, по-твоему, война сделала нас еще безобразнее.

Па Укоха ухмыльнулся и кивнул головой.

Пришла Ада, взяла старика за руку и повела домой. Он покорно шел за нею.

— Тебе вредно много говорить,— сказала она.— Отдохни лучше.

У дверей Укоха обернулся:

— Мы еще продолжим этот разговор, Одуго.

8

— Теперь-то я стал многое понимать,— неторопливо начал Па Укоха, когда они на другой вечер устроились поудобнее в гостиной.— Ты знаешь, Одуго, люди любят говорить, мол, жизнь коротка, я понимаю, что они имеют в виду... возьми Самсона. Я помню все: день, когда он родился на свет, как сделал первый шаг, пошел в школу и когда занял у меня денег, чтобы начать торговлю. Я дал ему двадцать фунтов.— Глаза Укохи подернула дымка, и он отвернулся, скрывая слезы.— И вот Самсон ушел от нас... вчерашний маленький мальчик. Он не питал ненависти к людям, которых убивал, а те, кто убили его, даже не видели его в лицо. Вот что такое война.

Помолчав, Укоха продолжал:

— Я уже старик, и смерть обрекает меня на одинокую старость, забирая тех, кто моложе, кому хочется жить... Зачем я живу?

Одуго не ответил. Он сам думал о войне. Укоха заговорил снова:

— Но скажи, Одуго, вот вы... те, кто поближе к власти, почему вы позволили... Как началась эта война, почему увлекла она всех в свою круговерть?

— Не знаю, началась она чуть ли не с забавного происшествия. Так начинаются все войны. Начало всегда просто. Конец посложнее. А хуже всего середина, когда вокруг полыхает пожар, а люди, гордясь собой, опускаются все ниже и ниже... Когда два лидера ссорятся, они шлют своих агентов досадить другой стороне. Но, едва прогремят выстрелы, лидеры сразу оказываются в безопасности, а умирают простые люди вроде Самсона. Он не начинал войны, его мобилизовали силой. Но кто нам заменит тех, кого сожрала война?

Одуго уселся поудобнее.

— Конечно, не мы с вами начинали войну. Я был всего лишь радиожурналистом, работал в Лагосе. Я не военный, да и политикой не интересуюсь. Но журналисту трудно уйти от общественных дел. И вдруг ты обнаруживаешь, что находишься в самой гуще событий. Люди ждут, что ты скажешь, а тебе и невдомек, что происходит. Но они-то верят, будто ты знаешь больше их. Я скажу вам вот что: мы, радиожурналисты, готовим те новости, которые нам велят... В конце концов, как говорят белые люди, кто платит, тот и заказывает музыку.— Он нагнулся к Укохе и заговорил доверительно: — Знаете, будь я главой любого африканского правительства, я бы не позволил ни прессе, ни радио болтать все что вздумается. Кому нравится оппозиция? Лидеры официально могут заявлять, будто они вовсе не против оппозиции, но какой правитель сам себе ищет неприятности. Слишком уж это рискованно...

А если я, журналист, не буду писать то, что от меня требуется, кто мне за все заплатит? На что буду я одевать своих троих детей, чем платить за их обучение в школе? Мне-то немного надо: сигареты да пару бутылок пива, холодного, со слезой. Вот и все.

Укоха с удивлением посмотрел на него, но ничего не сказал.

Джеймс закурил сигарету, выпустив густой клуб дыма, и добавил:

— Когда мастера приглашают строить дом, то он делает свое дело и не более того. Он не знает и знать не хочет, чем станет его детище — тюрьмой, школой или моргом. Почему же журналист должен беспокоиться, на что используют его талант? Власть имущие — наши работодатели, а мы — их служащие. Если я опять вернусь на радио, то буду писать то, что мне скажут, или меня выбросят вон.

Па Укоха улыбнулся.

— Я знаю, что ты говоришь так ради забавы. И еще потому, что разочаровался во всем. Да, именно разочаровался.

К этому Па Укоха ничего не добавил, и Одуго задумался над его словами.

«Старик говорит правду. Я во всем разочаровался. Сказано — факт священен, а толковать его можно по-всякому. Нет, погоди. Факт вовсе не священен, и его можно извращать сколько угодно — и в политических и в идеологических целях. А если у вас в руках власть, вы можете заставить прессу даже создавать факты. Комментарии — это дело последнее. Да и что толку от комментария, если он не влияет на будущее. Нет, ответ надо искать не в подчинении или независимости журналистов,— решил Одуго,— а в кардинальной перемене положения самих правителей».

Он стряхнул с сигареты пепел. В это время мощный взрыв потряс стены дома и всполошил женщин, забегавших по комнатам. Одуго прислушался — тишина. Тогда он открыл дверь, выглянул на улицу и увидел бегущих к церкви людей.

— Что случилось? — спросил Укоха.

— Кто-то наткнулся на мину... схожу посмотрю.

Но Вик опередила его и побежала к церкви. Вернувшись, она едва могла говорить: тело... мясо... кусками...

— Ужасные времена,— заметил Па Укоха,— надо быть очень осторожным, чтобы не угодить в лапы к смерти.

Одуго не заметил, как прошла ночь. Разговор с Па Укохой растревожил его. Старика же, напротив, успокаивал, словно открыв ему, что у всех есть свои проблемы — даже у журналистов и у правителей.

Укоха разговаривал с ним до рассвета.

— Где твои дети?

— В Ифитену. Живут вместе с матерью. Там рядом благотвори-

тельный центр. Их ведь несколько таких центров, как в Ободонте... Давно не видел малышей. Но рано или поздно я снова двинусь в путь. Правда, дороги сейчас опасные да и денег мало...

Одуго не принадлежал к тем счастливчикам, которым на самолетах доставляли в Биафру соль, батарейки, сахар и прочие дефицитные товары. Но у него были приятели-журналисты, а от них кое-что перепадало и ему. Индийский фотограф как-то принес ему сверток с зубной пастой, лезвиями, мылом, солью и батарейками. Простые вещи, но достать их в Биафре было невозможно. В то время этому свертку не было цены. И Джеймс всегда будет помнить этого индийского парня, вскоре, увы, погибшего на съемках.

Да, было что вспомнить...

Джеймс рассказывал о своей прошлой жизни, а Укоха сидел рядом и все расспрашивал:

— У тебя что — две жены?

— Пока одна. Вик — моя подруга, хорошая женщина.

— А-а!.. Мне показалось, она твоя жена.

— Мы живем как муж с женой, но не женаты. Я ее не просил стать моей женой, да она об этом и не заговаривала. У нас разные планы. Она еще не отошла после смерти своей сестры Анны, убитой во время бомбежки. После этого ее мать уехала и пропала. Вик ничего не знает и об отце. Боится, его уже нет в живых. Как вспомнит своих близких, не может уснуть всю ночь.

— Да-да,— заметил старик,— война ужасная вещь.

— Конечно, сейчас мужчины находят себе новых жен, а женщины новых мужей.

— Как в воду глядишь,— согласился Па Укоха. Он оглянулся и продолжал: — Возьми Бенн. Разве уследишь за ней? Сейчас вон якшается с федералистами, особенно с этим Болой. Но придет день, Капитан вернется, и будет беда. Капитан, он не потерпит этого безобразия. Он человек решительный.

Разговор навел Одуго на мрачные мысли. Он вспомнил вдруг, что весь последний год практически не задумывался о будущем. Да и о каких тут планах может идти речь, если живешь, будто скачешь по болоту с кочки на кочку: зазевался — и готов. Хороши расчеты, когда не знаешь, что случится с тобой или любым твоим знакомым в ближайшие сутки.

Одуго ушел к себе, пожелав Па Укохе спокойной ночи. Старик, откинувшись на спинку кресла, тихонько шевелил ногой и монотонно, как во сне, все говорил и говорил о своих сыновьях, еще не вернувшихся после войны.

9

Джеймс всегда знал, когда в Вик просыпалось желание. Она подходила к нему, заглядывала в глаза и подолгу не отводила взгляда, словно хотела увидеть нечто очень ей нужное. Прижималась к нему всем своим нетерпеливым телом, усаживалась на колени или целовала в губы, перегнувшись через его плечо, когда он писал. В такие минуты от нее исходил какой-то магический ток, заставлявший кровь Джеймса быстрее бежать по жилам.

Вик тогда очень напоминала кошку. Ей хотелось, чтобы ее гладили любимые руки. Она мурлыкала, была порывиста и ласкова одновременно и не сводила с него глаз в течение всего обеда. А потом, даже не убрав со стола, ныряла в постель.

— Ты не хочешь спать?

— Нет еще, Вик. Надо кое-что сделать.

— Брось ты свою работу. Война закончилась. Давай спать. Иди сюда. Ложись рядом со мной.

Он смотрел на нее, и все его тело охватывал трепет желания. Тогда он откладывал свои книги и ложился рядом. Хвала всевышнему за все, чем Вик одарила Джеймса. Его словно магнитом тянуло к ней, и с не меньшей силой ее влекло к нему. Но он не всегда отдавался ей до конца. Чувство приходило в противоречие с разумом. Он вспоминал свою жену Джульетту и пытался сдержать себя. Не будь Джульетты, не будь у него семьи, он бы отдался Вик очертя голову. Но подсознательно он понимал, что его затянувшиеся каникулы на исходе.

Настанет день, и он должен будет уехать к Джульетте, а Вик займется своими делами. Мысль эта неприятно поражала его, и он гнал ее прочь.

Этой ночью Одуго был поражен пылкостью Вик. Он был уверен, что она пытается изгнать дьявола из своей души. Может быть, она тоже считала, что их страсть исчерпает себя в неистовом любовном поединке, что близок конец их связи. Между собой они говорили мало. Она все на что-то жаловалась, вечно вздыхала, плакала втихомолку. Когда он спросил, что с ней происходит, она прижалась лицом к его груди и расплакалась навзрыд.

Одуго хорошо знал Вик и понимал, что сейчас как никогда она нуждается в его помощи и поддержке.

— Что ты думаешь делать дальше, Джим?

Одуго ответил неопределенно. Все решится в ближайшие несколько дней или, возможно, недель... надо, чтобы жизнь пришла в норму.

— А потом? — спросила она.— Ты уйдешь к своей жене и оставишь меня? — Ее улыбка поразила его.

Воцарилось молчание.

Первой его нарушила Вик:

— Побежденный должен сделать все, чтобы выжить. Отвергнутый да не отвергнет.

Она встала с постели и прибавила в лампе огня. Свет выхватил скуластое ее лицо, подчеркивая его красоту и молодость, и немного печальные глаза, очертил руки и грудь.

— Что до меня, я решила наверстать упущенное за последние два с половиной года.

— Что, например? — с тяжелым предчувствием спросил Одуго.

— Все, что может упустить девушка. Хорошую компанию, приличные модные тряпки, прическу, танцы, путешествия...

— Я надеюсь, не в Ободонте.

— Да, разумеется, там, где девушка может быть девушкой. А не в этой дыре с застойной водой и кострами.

— В Лагосе? Видишь ли, моя дорогая, последствия войны сказываются везде. В войну всегда хиреют моды, вечеринки, роскошь... Война — это карточки, ограничение импорта и высокие цены. И так повсюду, куда бы ты ни поехала.

— Но везде лучше, чем здесь.— Она достала пачку сигарет «555» и закурила.— Кто не рискует, тот не выигрывает.

Раньше, по крайней мере с тех пор, как Вик пришла на работу в Умунево, Одуго не замечал, чтобы она курила. А потом эта марка. Ее не продают здесь. Все курят «Синтру» или «АС».

— Где ты достала эти сигареты? — спросил Джеймс, зная, что есть только один источник — старшие армейские офицеры.

— Почему ты спрашиваешь?

— Вик, ты ступила на скользкий путь и даже не скрываешь этого.

Он попытался выхватить у нее сигареты, но она отдернула руку.

Вид у него был жалкий. Вот оно что, значит, она, еще живя с ним, начала флиртовать на стороне. Он схватил ее и увлек обратно в постель.

— Ты встречалась с Абдулом Гана? — с болью спросил он.— Да или нет?

— Ну, предположим, а ты разве не собираешься встречаться со своей женой?

— Что ж, если хочешь вкусить радости жизни, иди к тем, у кого власть.

— Да, ты прав. Но я предупреждала тебя, что уеду. Так или иначе, мне нужно навестить мать и отца, если он еще жив.

— А кто говорит, что ты не должна ехать к ним? Но, Вик, ты меняешься на глазах. Я обратил на это внимание. Все началось, когда Бенн открыла, что федералисты добрые ребята. А сейчас ты говоришь так, словно уже приняла решение, и все из-за каких-то призрачных обещаний.

— Они не такие уж призрачные.

— Ты хочешь всего сразу! Всего! Ты всегда старалась ловить момент.

Она смотрела куда-то мимо него. Губы ее скривила усмешка, именно усмешка, а не улыбка. Глаза блестели, в них можно было уловить сочувствие. Словно она говорила: «Что ж, оставайся здесь, а я пойду своим путем. Не желаю больше расхлебывать всю эту кашу вместе с тобой».

Перед ним была другая, новая Вик — баба, сука, какой Джеймс ее еще никогда не видел. Он швырнул ее на постель и овладел ею, исчерпав все свое чувство мести, все безумие, захлестнувшее его.

Как-то вечером, когда Вик ушла, что она в последнее время все чаще позволяла себе, мимо его комнаты прошла Бенн, потом вернулась и, замешкавшись, остановилась в дверях. Он взглянул на нее и увидел в ее глазах страсть, которую способен распознать только опытный мужчина. Точно такое же выражение он часто замечал в глазах Вик.

Она шагнула в комнату.

— Ваша жена наделает бед,— прошептала Бенн. Ее трясло как в лихорадке.

— Садись,— пригласил Одуго, и она села на постель.

— Если ты имеешь в виду Вик, то она ушла в благотворительный центр. А где твой муж?

— Капитан? Я его давно не видела. Наверно, воюет.— Она улыбнулась и глубоко вздохнула.

Бенн обладала редким манящим очарованием. Ох! Как он был слеп!

— Капитан вернется, только когда погибнут все свободные женщины.

— Значит, твой муж бабник?

— Думаете, меня это волнует? Будто он один умеет творить это чудо.

— Ты имеешь в виду...

— Мне кажется, вы очень хороший человек, но ваша жена...

Послышался громкий, пронзительный голос:

— Бенн! Бенн!

— Это моя свекровь. Все время следит за мной. Считает меня дурочкой.— И Бенн пошла из комнаты, вызывающе покачивая бедрами, потом обернулась и многозначительно взглянула на Джеймса.

— Я сейчас вернусь.

Едва она вышла, появилась Вик, которая принесла еду в толстом бумажном пакете. Она сразу спросила:

— Что у тебя общего с этой шлюхой?

Одуго улыбнулся:

— Какой шлюхой? Вик, ты все-таки выбирай слова.

— Она спит со всеми подряд. Смотри, подцепишь еще что-нибудь.

Из соседней комнаты доносились громкие голоса.

Джеймс прислушался. Ада выговаривала Бенн:

— Потаскуха! И не хмурься; не больно-то я тебя испугалась, дура ленивая. Все порхаешь из постели в постель. Муж на фронте, а ты вон ни разу не помолилась за его возвращение. Потаскуха! Еще хорохоришься, когда я напоминаю тебе о твоем долге. Ты посмотри на себя, шлюха.

Вик взглянула на Одуго и сказала:

— Вот послушай...

— Называешь себя мужней женой,— продолжала громким голосом Ада,— а ты — шлюха! Потому и не уберегла детей своих от квашиоркора! Где ты была, когда умер твой ребенок? Шатаешься всюду, как нищая. А Капитан шлет тебе все — и деньги и продукты. Ты хоть подумала, сам-то он что ест там, в окопах? Вот подожди, он вернется и спросит тебя, где дети? Почему они умерли? Все потому, что ты развратница.

Одуго услышал рыдания Бенн, потом ее крик:

— Что я вам сделала?! За что ты честишь меня такими словами? О боже, в чем я виновата? Лучше сдохнуть здесь! Околеть... Будь все проклято.

Вик и Джеймс сидели насторожившись, не проронив ни слова.

Вик снова куда-то ушла, а Одуго читал, когда из-за ограды послышались рыдания. Он пошел на голос и увидел Бенн.

Оранжево-красные лучи заходившего солнца освещали ее волосы, придавая им красновато-коричневый оттенок. В сумерках женщины всегда кажутся привлекательнее. И Бенн была неотразима.

Она взглянула на него. Глаза еще были заплаканы, но она уже улыбалась сквозь слезы.

Он нежно обнял ее за плечи, она прижалась к нему лицом, и руки его как-то сами собой поползли к ее полной груди. Они так и стояли крепко обнявшись; вдруг рядом зашелестели чьи-то шаги, и они отскочили друг от друга. Шаги стихли, но момент был упущен, настроение испорчено. Одуго виновато взглянул на Бенн, и она вернула ему прелестный, все понимающий взгляд.

Так судьба сблизила их, и он оказался в магическом кругу ее чар. Она приходила к нему, и он начал верить в те невероятные истории, которые рассказывали о ней люди. Бенн появлялась у него, стоило лишь Вик ступить за порог. Откуда взялось у нее это чутье?! Но главное, Бенн, утверждала ее свекровь, отдавалась любви вся, без остатка,— чего не скажешь о городских женщинах. Однажды вечером неожиданно вернулась Вик. Она пыталась войти, но Одуго придерживал дверь, пока Бенн не ускользнула через черный ход.

— Джеймс, что с тобой? Ты весь в поту,— с усмешкой спросила Вик, оказавшись в комнате.— С чего это ты так разгорячился?

— Да вот окна закрыты, духота, а я залег отсыпаться.

Вик почувствовала запах спиртного.

— Здесь была женщина? Уж не эта ли шлюха, жена Капитана?

— Кто? — он стал озираться, лихорадочно придумывая, что бы соврать.

Но провести Вик было невозможно.

— Ты хочешь, чтоб я сама назвала ее? Пожалуйста — Бенн.

— Что здесь делать Бенн?

— Не смеши меня.

Разумней всего было смолчать или по крайней мере не трогать ее. Но Джеймс принялся ласкать Вик, и она взорвалась.

Он заглянул ей в лицо и увидел красные, припухшие от слез глаза. Видно, история с Бенн задела ее всерьез. Если б война не кончилась, их любовь была бы в безопасности. Оставаясь по-прежнему в Умунево, они бы работали днем, а по ночам предавались любви. Ведь это единственное благо, которое дала им война. Она соединила их и удерживала вместе.

— Что с тобой, Вик?

Она покачала головой и разрыдалась. Потом высморкалась.

— Вечно мне не везет в любви.

— Не везет?

— Тебе этого не понять. Ты не любишь меня.

И она снова заплакала.

Слова Вик поразили его как гром.

Наконец она вытерла слезы, и он вдруг почувствовал себя одиноким. Джеймс привлек ее к себе, но она не излучала больше ни тепла, ни былой страсти. Будь Джеймс хоть чуточку проницательней, он понял бы: храм, воздвигнутый в его честь в сердце Вик, рухнул.

10

Дети первыми увидели гостя и закричали:

— Капитан!

— Капитан вернулся!..

Вик погляделась в зеркало, заколола волосы деревянным гребнем и предложила Одуго:

— Пойдем посмотрим?

Во дворе, словно море, бурлила толпа детворы. Одни — одетые, другие — голышом, что их ничуть не смущало, грязные, пыльные, немытые, сопливые. И все как один ликовали по поводу возвращения такого важного человека, как Капитан. Соседи заглядывали через ограду и приветствовали его. Кое-кто даже зашел во двор, чтобы вблизи увидеть вернувшегося героя, коснуться его рукой.

Дети, подхватив его вещи, потянулись к свертку, который Капитан держал под мышкой, но он отмахнулся от них.

При взгляде на гостя Одуго показалось, будто лицо Капитана ему знакомо.

Капитану было за тридцать: атлетического сложения, чисто выбрит, элегантен — настоящий кадровый офицер.

— Добро пожаловать! — приветствовал его Одуго.

Капитан поздоровался с ним, потом с Вик и направился в гостиную, куда, опираясь на палку, вышел старик. Гость обнял Укоху, Ада тоже подошла обнять Капитана. А Бенн, взволнованная, суетилась вокруг, глаза ее как-то странно блестели.

— Вот и вернулся твой муж,— сказала Ада.— Смотри, будь к нему внимательна.

Капитан покосился на Бенн, но промолчал и не обнял ее.

— Ты вернулся, ну, здравствуй! — сказала девушка.

Он опустился в кресло.

Бенн тотчас подсела к нему. Ада бросилась в соседнюю комнату и вскоре вернулась с кувшином пальмового вина. Весть о возвраще-

нии Капитана облетела деревню, в дом набились люди, и вскоре в гостиной было уже не продохнуть.

— Что надо мужчине, вернувшемуся с войны,— говорила, протягивая кувшин, Ада,— отдых, еда и выпивка.

— Спасибо, Ма,— ответил Капитан,— да продлятся годы твои. Только вы, старшие, и знаете, как надо жить в этом мире!

Он взглянул на Бенн, та поспешно встала и вышла, но вскоре вернулась напудренная, с накрашенными губами и небрежно — из-за спешки — подведенными бровями.

Одуго и Вик протиснулись в комнату, но сесть там уже было негде.

— Добро пожаловать,— приветствовала гостя Вик.— Слава богу, вы вернулись домой живым и невредимым.

— Ты еще не знаком с нашими друзьями, Капитан? — спросил Па Укоха.— Они попали сюда из Умунево, когда закончилась война. Джеймс Одуго — друг Клейтуса, они вместе работали на радио. Клейтус сейчас здесь, в Ободонте. Повидаешься с ним, когда будет время... А это — Вик, подруга Джеймса. Одуго,— повернулся он к Джеймсу,— а это — Капитан, мы так его называем, муж Бенн, мой племянник. Он вырос у нас, в Ободонте. Очень деловой человек... Он у нас профессиональный солдат.

— Все, друзья,— отрезал Капитан,— я свое отслужил.

А Па Укоха продолжал:

— Не слушайте его. Капитан всегда говорит одно, а делает другое. Допустим, одолжит он денег, сколько дадут, и начнет торговлю. Но что за торговец из человека, рожденного быть солдатом?

— Вот так и должно быть,— вмешалась в разговор Ада.— Те, кто уходит на войну, должны возвращаться живыми. Хвала тебе, Чинеке! Радости нашей нет конца.

— Да,— поддержал ее Укоха,— в данном случае бог справедлив — что взял, то и дал.

Пока шли эти разговоры, Бенн не могла найти себе места. Она ломала пальцы, ходила взад-вперед, а потом стала выпроваживать детей, набившихся в гостиную.

— Ступайте, ступайте. Дайте Капитану отдохнуть с дороги.

Но Капитан подозвал детей к себе, гладил их по головкам. Кого помнил, называл по имени, удивляясь, как они выросли. Многих он видел впервые. Они родились уже после его ухода на фронт.

— Да, уж чего только не довелось пережить,— не удержавшись, начал рассказывать Капитан.— Меня чуть не прихлопнули. Ох и намаялся я, пока добрался до вас. Куда ни сунешься — всюду солдаты. А на одном КПП меня арестовали, продержали несколько часов. Потом нас всех заставили трижды подпрыгнуть, выкрикивая: «Да здравствует единая Нигерия!»

— И ты тоже кричал?

— А как же,— засмеялся Капитан.— Иначе бы мне здесь не бывать. Один, было, отказался, так его пристрелили на месте,— он отхлебнул вволю пальмового вина,— победили те, кто воевал за единую Нигерию. Зачем я стану просто — за здорово живешь — подставлять голову? Покричал, что велено, и погуляю на свободе. Какое мне дело до политики?

Все засмеялись. Капитан, приятный и откровенный малый, любил выражаться без обиняков.

Благодаря энергии и силе, исходившим от Капитана, настроение Па Укохи стало подниматься.

— Принесите ему еды,— велел он.— Принесите кола да зарежьте курицу!

Ребята бросились во двор выполнять его приказание, а он, извиняясь, заметил:

— Мы бы зарезали козу, да война всех извела.

— Капитан,— спросил один из мальчишек,— а где твоя форма?

— Я выбросил ее... Она больше мне ни к чему.

— Как?

— Войне-то конец... А если ты носишь форму, значит, еще воюешь. Да и потом, мне досталась не та форма,— он засмеялся.— Но ничего, я все исправлю.

— А как же те, на КПП? Они ведь в форме!

— Так они ведь на посту, потому и в форме.

— А ты вернешься в армию?

— Нет... Вернее, это зависит от кое-каких обстоятельств. Дайте немного передохнуть,— и он опять засмеялся.— Потом я надену другую форму.

Па Укоха посмотрел на Капитана.

— А что я вам говорил? Он ведь ничего не умеет делать, только тянуть лямку. Ты и до войны-то ходил под ружьем. А еще грозишься: начну, мол, работать. Ха-ха!..

— Нет уж, пора поумнеть. Восемь лет солдатчины! С меня хватит,— Капитан опять сел.— Последние три года мы сами себя обманывали. Знаете, когда что-нибудь не получается, никто не хочет слушать правду; все считают, будто дела обстоят блестяще. Это слепой оптимизм ибо. Мне приходилось читать военные сводки, я слушал радио. И, не веря своим ушам, спешил к ребятам за разъяснениями, а они только смеялись. Многие знали, что радиопередачи — сплошное вранье, но хоть на что-то надеялись. Мы все надеялись...

Па Укоха перебил его, обращаясь к Одуго:

— Это правда? Насчет радио?

Одуго и Вик засмеялись.

— Вот Вик была на станции до последнего дня,— сказал Джеймс.— Помню, в Умунево она читает в эфир, а рядом на рыночной площади солдаты бросают оружие. А она все читает. Я ее еле оттуда вытащил. Чуть не бросил на студии.

Па Укоха и Ада захохотали.

— Ничего,— заметил Капитан.— Они нам лгали, но это помогало жить и надеяться. И ради такой лжи многие из нас не пощадили бы жизни.

Одуго пожал плечами и посмотрел на Вик.

— Да, но...

Бенн с Капитаном ушли спать. Бенн раздевалась неторопливо, словно показывала стриптиз. Тело ее с тех пор, как в Ободонте появились федералисты, налилось приятной полнотой: консервированная кукуруза, рис, треска и соль дополнили прежний скудный рацион.

Она отдалась ему. Потом он сказал:

— Позови детей, скажи, что приехал отец.

— Утром. Все утром,— ответила робко Бенн.

— Но где они? Почему их не видно?

— Ты же знаешь, что такое бомбежка...

Она лежала в розовой ночной рубашке — Бенн умудрилась купить ее за один фунт на толкучке у деревенского базара. Биафрские деньги были упразднены, и люди распродавали все по дешевке, лишь бы заполучить новые, законные ассигнации. А уж друзья Бенн позаботились, чтобы новые деньги у нее не переводились.

— Капитан, а что ты привез своей жене? Хоть что-нибудь привез?

— Да, кое-что... Но боюсь, подарок тебе не понравится.

— А что?.. Можно взглянуть?

— Тебе наверняка не понравится... Я захватил эту вещь и для себя тоже, для всех, кто не хочет забыть наши страдания.

— Ну покажи.

Она вильнула бедрами в своей воздушной сорочке.

— Сейчас я устал. Давай завтра утром, я хочу, чтобы все видели.

— Тогда это не для меня.— Бенн надула губы.

— Для тебя, для меня, для всех нас.

— Не понимаю.

— Утром поймешь.

Капитан засыпал, она пристроила его голову на своей полной груди. Вдруг он дернулся и соскочил с кровати.

— Не стреляйте! — крикнул он.— Не стреляйте!

Он тяжело дышал и весь покрылся испариной.

— Что случилось, Капитан? Ты кричишь как резаный.

— Что?! Что я говорил?

— Не стреляйте!.. Не стреляйте!

— Черт возьми, каждую ночь тот же сон. И все так реально, как наяву.

— Какой сон? Расскажи...

— Сейчас,— он стиснул голову руками и сидел так, пока не пришел в себя.— Знаешь,— заговорил он,— в начале войны люди доносили друг на друга, сводили старые счеты. Любой мог прийти к военным и сказать: «Такой-то устраивает саботаж!» Человека брали и расстреливали без суда и следствия... Однажды и меня поставили к стенке вместе с другими. Я знал, всех нас обвиняют в предательстве. Среди нас были военнопленные и еще какие-то люди, я даже не знаю, что они сделали. Короче, тот, кто командовал расстрелом, заявил: «Вы все — предатели!» Я крикнул: «Я не предатель!» — «Молчать, предатель! — заорал он.— Вы показывали дорогу войскам федералистов...» — «Я ничего не знаю! Я пришел сюда рыть траншеи!» — «А ты уверен, что тебя прислали сюда рыть траншеи?» — спросил молодой солдат с патронташем на груди. «Он врет! — закричал другой солдат в рваной пилотке.— Думаешь, мы ничего не знаем?..» Тут я понял, что дело мое дрянь и жизнь висит на волоске. Солдаты заряжали винтовки, ожидая команды. Времени было в обрез. Если я хотел бежать, надо было действовать. Но как? «Он ждал федералистов...» — «Знать не знаю никаких федералистов... Я здесь должен был рыть траншеи...» — «А ты знаешь, кто копает траншеи?» — «Пленные и предатели».— «Так, значит, ты знаешь?» — «Это все знают...» — «Ты помогал федералистам. Завтра их войска будут здесь. И мы не узнаем, кто передал им сведения. Разве не так? Даже если не придут солдаты, нагрянет авиация и засыплет нас ракетами... Вы предатели. Бог да покарает смертью ваших матерей...» Кто-то толкнул меня, и человек с винтовкой приказал мне отойти в сторону. «Давай выкладывай все. Не бойся». Своей уловкой я отвлек их внимание. Мнимых предателей прикончили, а я бросился бежать. Солдаты стреляли мне вслед... Вот, собственно, и все... Тут я проснулся... Всегда просыпаюсь на этом самом месте. «Не стреляйте!.. Не стреляйте...» Так я кричал?

— Да,— сказала Бенн.— Но война закончилась, ты дома. И все это скоро забудется.

Капитан вышел из комнаты и уселся на веранде. Бенн подошла и опустилась рядом — гордая жена героя войны, которому так нужен покой.

Они проговорили до поздней ночи, пока Капитан снова не стал засыпать. И Бенн увела его.

Утром все встретились: Капитан, Ада, Вик, Одуго и Бенн.

— Я привез кое-что с войны,— сказал Капитан.

Наступило молчание. Все смотрели на его руки, медленно разворачивавшие сверток. Наконец они увидели, что именно он хотел показать. Бенн и Ада вскрикнули. Па Укоха напрягся в своем кресле. Вик в испуге стиснула руку Джеймса.

— Что это?

— Это сувенир, который я привез с войны.

Капитан положил на стол свой страшный подарок. Казалось, зияющие глазницы усмехались, дразня живых.

— В конце войны, убегая, я нашел в кустах этот череп и сказал себе: «Вот что надо принести домой»... Кому принадлежал он: убийце, священнику, политику, студенту? Кем он был, этот человек,— ибо, или хауса, или йоруба, или эфик? [1] Кто теперь может это сказать? Он больше не будет бороться, никто не оскорбит его. Он вернулся к своему творцу и уже не станет ни с кем замышлять свержение правительства. Запомните, каждого из нас ждет его участь. Это уж как пить дать.

Капитан постучал по черепу.

— Никто не избегнет того, что предначертано свыше. И когда придет этот день, мы тоже обратимся в прах и умолкнем. Но пока — во плоти и крови — мы хотим есть, грустим, надеемся, любим. И при этом еще не забываем, кто мы — хауса, или ибо, или эфик, или йоруба. Так что же, скажите, правит нами, к чему мы стремимся? — Он повернулся, глядя прямо в лицо Бенн.— Чего все мы хотим, а? — Глаза Капитана сверкали.— Пусть этот череп обвиняет, разоблачает, казнит... Но не больше! Хватит с него, хватит!

Капитан криво усмехнулся и заходил взад-вперед по комнате, держа череп перед собой. Потом остановился рядом с женой, она вся съежилась от страха.

— Смотри, Бенн, этим когда-нибудь кончатся и твои штучки. Посмотри и ты, красавица Вик. И ты — Одуго, всеведущий журналист... Разве я не прав?

— Убери его! — крикнула Бенн.— Ты сошел с ума, совсем свихнулся на своей войне.

Она зарыдала.

— Я? Я — сумасшедший? Только потому, что сказал тебе правду? Так знай: тысячи, сотни тысяч таких черепов валяются в буше, где проходил фронт. В мелких, вырытых наспех могилах, в прудах и речках, вдоль дорог и тропинок. Я видел грифов, терзавших свежие трупы. Это война. Собаки и грифы дрались из-за останков наших товарищей, а мы кричали: «Вперед!» И шрапнель косила наши ряды. А ты, Бенн, оставалась здесь, виляя задом перед бездельниками и дезертирами, предаваясь блуду с каждым встречным. Думаешь, я не знаю тебя?.. Но я позвал вас сюда для другого. Пролитая нами кровь и все наши жертвы будут напрасны, если не приведут к миру и у нас не будет правительства, которое мы хотим... Правительства, способного обеспечить нас дешевыми продуктами, чистой питьевой водой, удобными жилищами, работой, за которую платят деньгами, а не зуботычинами. Нам нужно правительство, могущее дать образование немногим выжившим нашим детям и обеспечить их медицинской помощью, короче — воплотить в жизнь все, что подразумевается под словами «независимая Африка» и за что люди готовы идти в бой. Но превыше всего да будет мир. Мир, чтобы спокойно торговать, воспитывать детей и даже просто сидеть сложа руки.

---

[1] Названия народностей, живущих в Нигерии.

Бенн беспомощно перевела взгляд с мужа на Одуго, словно в отчаянии призывая положить конец этой муке.

— Он в самом деле сошел с ума... Раньше с ним ничего подобного не случалось. Па Укоха, останови его, прошу тебя — останови!

В ответ на ее слова Капитан заявил:

— Я хочу начать жизнь заново. Ведь у меня нет ни денег теперь, ни работы, ни друзей, нет жены и детей — значит, нет семьи. Надо все начинать сначала.

— Нет детей! — воскликнула Ада.— Значит, тебе все известно? Известно, что дети умерли?

Вдруг он бросился к Бенн и, прежде чем его успели остановить, стал бить ее черепом, норовя угодить по ней челюстями.

— Сумасшедший, сумасшедший, сумасшедший! — Бенн страшно кричала, а мертвые зубы вонзались в ее нежную кожу.

Одуго остановил Капитана. Бенн рыдала на полу:

— Ты сумасшедший, совсем спятил... Прошу вас, держите его, не то он меня прикончит.

Весь день Капитан ходил по деревне и вернулся лишь вечером. Спать с Бенн он больше не лег. На следующее утро он собрал свои вещи. Потом постучал в дверь к Па Укохе.

— Сын мой, ты был пьян вчера.

— Нет, Па, я не был пьян. Я был в здравом уме и твердой памяти. Мы пережили бессмысленную войну. Но кое-что все же она должна изменить; хоть дьявол по-прежнему будет править человеком. Вот почему мир никогда не восторжествует.

— Значит, опять будет война?

— Не знаю. Но злодеи останутся злодеями, а властолюбцы всегда будут стремиться к власти, потому я и говорю: никакая война не может переделать человека.

— В тебе сейчас говорят ожесточение и усталость.

— Я зол, но я не устал.

— Будь осторожен,— сказал Па Укоха.— Успокойся, и да покинет тебя избыток желчи.

— Я пришел сказать тебе, что больше не могу оставаться здесь.

— Что ты думаешь делать?

Капитан глубоко вздохнул.

— Жена в мое отсутствие вела себя как шлюха. Любой, кто уходит на фронт, должен ожидать этого. Бенн всегда была неверной женой, а война и вовсе дала ей волю. Ее легкомыслие стоило жизни нашим детям — все трое умерли от квашиоркора. Для того ли я посылал ей продукты и деньги? Бенн заслуживает смерти, но я не стану марать руки. Что делать? Жить с ней, пока она не наградит меня какой-нибудь мерзкой болезнью, а потом сдохнуть? Избави бог! Я решил иначе. Я ухожу от вас сегодня же. Поеду в Энугу. Это большой город ибо. Хочу посмотреть, на что я еще способен. У меня аттестат зрелости и опыт службы в армии.

— А что ты будешь делать в Энугу?

— Там живут мои старые армейские друзья, для начала разыщу их.

— Ты уходишь один? Не берешь с собой Бенн? Ты же знаешь, она любит тебя. Ну, не устояла против соблазна... Их так много во время войны. А тут еще голод и одиночество.

— Ты разве не слышал — я собираюсь начать жизнь заново.

— О боже! — Укоха обхватил голову руками. Потом он закрыл глаза, поднял руку и перекрестил Капитана, благословляя его.— Да

хранит тебя бог повсюду, где бы ты ни был. Нынче во всем — и в делах, и в умах людей — брожение. Народ позабыл закон. На дорогах грабят и убивают. Пусть же всевышний убережет тебя от искушения... Иди своей дорогой; не ищи беды сам, и она минует тебя... И пусть Чинеке укажет тебе путь.

В комнату вошла Ада. В ее глазах стояли слезы.

Старики смотрели, как он уходит с мешком за плечами. У развилки дорог он на мгновение остановился, словно раздумывая, куда же ему направиться. Потом через площадь, где раздавали людям продукты, двинулся к церкви.

Было видно, как он заговорил с отцом Оконкво, и они вместе вошли в храм. Потом говорили, что Капитан исповедался, получил отпущение грехов и благословение.

После ухода Капитана ничего, на первый взгляд, не изменилось. Одуго любил наблюдать, как Па Укоха плетет свои бамбуковые лежанки. Старика мучили боли в спине, но он забывал о них, разговорившись с Джеймсом.

— Терпение,— как-то заметил он.— Имей терпение. Я старик и знаю, как много оно значит. Что-то должно произойти. Я чувствую это. Таков уж обычай черного человека — не думать ни о начале, ни о конце. Но если ты терпеливо ждешь, дождешься того, чего хочешь.

Для Одуго голос Укохи звучал как речь колдуна, гадающего по костям. Старик осматривал бамбуковые стебли — ими был завален весь пол,— выбирая пригодные для работы.

— Когда нами правили белые, все было иначе. Если белый господин говорил: «Это так», так оно и было; ничего другого мы и не ждали. А черный человек, он так не может.

— Да, но...

— Дай мне закончить. В старые времена мы, бывало, воевали между собой. Шли деревня на деревню, вооружившись одни ружьями, другие мачете, луками и стрелами. Пленных тогда продавали в рабство. Потом пришел белый человек, покорил нас и стал нами править. Я помню времена, когда сюда, в Ободонту, пришли проповедовать миссионеры. Епископ тогда был в Оверри. С тех пор церковь выросла в наших глазах. Многих наших детей она обучила.

— Да, но они сожгли наших богов, объявив их языческими идолами,— перебил старика Одуго.

Па Укоха, казалось, не слышал его слов. Он бросил работу и погрузился в свои мысли.

— Ты разве не видишь, что произошло? — спросил, помолчав, Укоха.— С тех пор как нами стал править черный человек, мы снова вернулись к войнам, только теперь убиваем не десятками, а тысячами. Мы уже пользуемся самолетами, а не мачете. Я слушаю радио, и везде черные правители говорят о войне. Разве этого мы хотим?

— Мы переживаем сейчас переходный период, скоро все уляжется.

— Что-то я не вижу никаких признаков наступающего покоя,— усмехнулся Па Укоха.— Когда черный дорывается до власти, им овладевает алчность. Правители начинают жадно жрать, набивая свои утробы и желудки своих близких. Но им этого мало. Они все глотают и глотают, пока жратва не разопрет их и не подкатит к горлу. Только им и этого мало. Наполнив утробу, они запасаются впрок. Но никому, кроме родичей и соплеменников, не дают запустить ложку в общий котел. А есть-то хочется всем. Вот так и валятся на нас беды. Я рвусь к власти, чтобы урвать свою долю, а ты — свою. Потом мы начинаем

убивать друг друга. Нет, этому надо положить конец. Капитан прав: дерутся живые, а не мертвые. Но должны же живые знать, за что они дерутся... Для меня лично главное даже не это, а мои дети. Я ждал, пока они вырастут. Теперь жду их домой. Самсон уже вернулся, об этом все знают. Но где другие? Пускай они поторопятся. Я долго не протяну.

— Ты плохо чувствуешь себя?

— Человек умирает не только от болезней. После смерти Самсона я стал быстрей уставать. У меня нет желания продолжать борьбу.

— Ты ведь еще не стар,— заметил Одуго.

— Но из моего тела уходят жизненные соки. Я больной, ослабленный недоеданием старик. Ты слышал об эпидемии? Человек должен быть сильным, чтобы противостоять ей. А как я ее встречу, если она придет в Ободонту?

Одуго пытался успокоить старика, и впрямь хлебнувшего немало горя. Он счел за лучшее дать ему выговориться: пусть со словами уйдет хоть часть накопившейся в нем горечи.

11

Одуго попал в весьма щекотливую ситуацию. Возвращаясь из армейского лагеря, куда он ходил по делам, он натолкнулся на Вик и Абдула Гана — они, ни о чем не подозревая, оживленно болтали прямо напротив дома Па Укохи. Он пробормотал что-то вроде «Здрасьте» и прошел мимо.

Эта неожиданная встреча лишний раз подтвердила то, что ему рассказывали ребята во дворе: мол, к Па Укохе часто приходят два армейских офицера, и Па Укоха принимает их и угощает пальмовым вином. Обычно с одним офицером уходит Бенн, а другой, по словам ребят, подолгу беседует с Вик.

Одуго подозревал, что трещина в его отношениях с Вик восходит к той ночи, когда она чуть не застала Бенн в его комнате. С тех пор Вик стала чужой и замкнутой. Но чего она хочет? Отомстить ему или просто вызвать его ревность? Одуго знал, что она продолжает курить, а при желании без труда доставала себе пиво.

Вик вошла в гостиную вместе с Абдулом Гана. Заметив Джеймса, она спросила:

— Вы знакомы?.. Капитан ВВС, пилот Абдул Гана... Джеймс Одуго, радиожурналист.

Представление оказалось излишним, они уже были знакомы раньше и, пожимая друг другу руки, мысленно оценивали один другого. А Вик, чтобы скрыть свое замешательство, стала быстро объяснять:

— Капитан Гана на днях улетает в Лагос, он пришел попрощаться.

— Да, мы вылетаем из Энугу на военном самолете. Час пути — и мы в Лагосе, если, конечно, все пойдет нормально.— Он напряженно засмеялся.

— Надеюсь, вы берете и пассажиров? — спросил Одуго, глядя на Вик.

— Вы хотите лететь с нами? Могу подыскать для вас местечко, но я должен знать заранее и наверняка.

— Не сейчас. Мы слишком заняты, собираем наши разбитые семьи.— Одуго повернулся к Вик: — Не так ли? — Потом буркнул: — Извините,— и вышел из комнаты.

Па Укоха был во дворе, вязал лежанки из рафии. Он даже крякнул от удовольствия, заметив Одуго. А мысли Джеймса метались: «Вот она — горькая правда. Если ты побежден, если у тебя нет работы, нет

власти, как ты удержишь своих женщин? Их отберет тот, у кого работа и власть. Это естественно. Разве Вик не говорила тебе, что она хочет взять от жизни все лучшее как можно скорее? Ясно, в Ободонте она не найдет того, что ищет. К тому же Вик не жена тебе».

Вдруг послышался голос Гана.

Одуго обернулся — Вик стояла рядом с офицером.

— Вы еще вернетесь? — обратилась она к Гана.

Джеймс заметил, как в глазах ее заиграли победные огоньки.

— Не знаю, меня могут перевести отсюда.

Па Укоха и Одуго кивнули Гана на прощание, а Вик проводила его до «лендровера». Голодные дети, столпившись у окон, буквально пожирали их глазами. Взревел мотор, и машина уехала.

Одуго весь кипел от злости, но, вместо того чтобы выяснять отношения, счел за благо уйти из дома и весь день слонялся по Ободонте, пытаясь осмыслить свое теперешнее положение.

Жизнь в деревне начинала его угнетать. Ему хотелось свободы — свободы мысли и свободы передвижения.

В комнате он сразу заметил какие-то непонятные перемены. Однажды в Лагосе, много лет назад, в его квартире побывали воры. Вернувшись, он увидел, что двери болтаются на петлях, замки сорваны. На полу валялась груда одежды, чемодан исчез. Тогда, как и сейчас, у него засосало под ложечкой. Оказалось, что платья Вик исчезли все до единого вместе с ее чемоданом и их постельным бельем.

В дверях появилась Бенн. На лице ее играла улыбка.

— Ты что-нибудь ищешь?

Джеймс не ответил, но это ее не смутило.

— Твоя женщина уехала со своим любовником. Я думала, она тебя предупредила. Выходит, ты не в курсе дела? — Пройдя мимо Одуго, Бенн направилась к кровати, он еле удержался, чтоб не ударить ее по оттопыренному заду.

Она села, поддернув платье выше колен, и можно было увидеть, какая нежная у нее на бедрах кожа. В глазах ее, пока она говорила, светился дерзкий игривый огонек. Она то и дело забрасывала ногу на ногу, поддергивая платье повыше.

— Меня бросил муж, а тебя — любовница. Неужто же мы расстанемся лишь потому, что обоих нас бросили?

Одуго задумался: «Она конформистка. Такие женщины обычно беспощадны к своим соперницам. Но нельзя же всех — и Бенн, и Вик, и себя — ставить на одну доску».

Бенн смотрела на него смеющимися глазами.

— Так, значит, ты не знал, что твоя подружка стала встречаться с этим человеком, едва он появился здесь?

— Почему же ты мне ничего не сказала? — спросил Одуго. А сам обшаривал взглядом комнату: не найдется ль чего-нибудь, проясняющего бегство Вик.

— Потому что...

— Постой-ка, что это?

На полу у стола лежал клочок бумаги. Записка. Очевидно, она упала со стола. Одуго поднял ее, развернул и прочитал:

«Дорогой Джим!

Пишу на прощание. Я еду искать свою маму. Прошлой ночью мне приснилось, что папа умер. Ты знаешь, он остался, больной, в Неке, нашей родной деревне, и с тех пор о нем никто ничего не слышал. Я не вернусь в Ободонту. Не знаю, что ждет меня там, куда я еду, и надолго ли я задержусь. Мне кажется, я вправе поступать как захочу. Думаю, ты вернешься к своей жене, которую так любишь. Будь муже-

ственным, мне тоже нелегко было решиться на все это. Думай обо мне иногда. Спасибо за все. Вик».

Джеймс перечитал записку, пытаясь найти между строк объяснение случившемуся. Он пришел к выводу, что Вик по-своему любила его больше, чем он ее. И если она отважилась завести новую связь, значит, на то есть свои причины, и одна из них та, что у их отношений не было будущего. Должно быть, так она и посчитала.

— Эта твоя женщина,— донесся до него голос Бенн,— никак не могла усидеть дома. Вечно ее тянуло к солдатне.

— Что ж, теперь ты можешь рассказать мне все подробности.

Бенн пожала плечами:

— Откуда могла я знать, что это не ты сам посылаешь ее туда?

— Зачем?

— Некоторые мужчины посылали туда своих женщин ради продуктов и денег.

— Ты хочешь сказать, кое-кто из мужей торговал своими женами?

— Возможно.

Женщины вроде Бенн всегда знают больше, чем министерство информации. Вик убежала с Абдулом Гана. Стало быть, она поехала в Лагос. Но это может значить также, что она и впрямь отправилась на поиски матери. Почему же она не сказала ему об этом? Значит, у нее были свои причины, и он их никогда не узнает. Как больно, унизительно получить от Вик этот первый наглядный урок приспособленчества. Держись поближе к тем, в чьих руках власть. Вик знала: останься она с ним здесь, в Ободонте, еще неизвестно, удалось ли бы ей выжить. А рядом с Гана, при его помощи и влиянии, шансы ее повышались. Почему женщины практичней мужчин? Как тщательно она все взвесила, принимая решение!

Он вдруг вспомнил о Гледис. Наверное, это было связано с бегством Вик. Бенн настойчиво предлагала себя в любовницы. Но Бенн ему не подходила. Нет, хватит этих любовных историй. Пора подумать о семье. Как только дороги станут безопасней, надо ехать к жене и детям. Если Вик и преподала ему урок, то суть его вот в чем: глупо плыть по течению, когда перед тобой открываются лучшие возможности.

— Что с тобой происходит? — донесся до него голос Бенн.

Она взглянула ему в глаза.

— Эта твоя женщина... Ты слишком любил ее. На других даже смотреть не хочешь. Только о ней и думаешь. Может, поешь что-нибудь?

Она вышла из комнаты и вскоре вернулась с подносом в руках.

— Вот погляди... Толченый батат, суп из трески с перцем. Ешь, нет, погоди. Помой руки, я тебе полью.

Она подвинула стол поближе к Одуго и поставила на него поднос. Джеймс был польщен. Его восхищало, как быстро приспосабливалась Бенн к новым обстоятельствам, принимая жизнь такой, какая она есть. Вот, пожалуй, единственный способ сохранить рассудок в это смутное время.

(Окончание следует)

ДЖОН АПДАЙК

Давай поженимся

РОМАНИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ

Перевод с английского Т. КУДРЯВЦЕВОЙ

Тоска по счастью, которого не было

Во время последней нашей встречи — американских и советских писателей в Нью-Йорке в мае 1978 года — произошел интересный спор между Джоном Апдайком и Джойс Кэрол Оутс, писателями одного поколения. Апдайк утверждал, что роман невозможен без адюльтера, что любовь, любовные переживания составляют основу романа и читателя они интересуют гораздо больше, чем все остальные проблемы жизни человека и общества. Джойс Кэрол Оутс отстаивала другую точку зрения, она говорила, что роман всегда и обязательно социален.

Но о художнике судить надо не по его высказываниям, а по его художественным созданиям; если художник верен правде жизни, он очень часто опровергает себя как теоретика. Джон Апдайк, тонкий художник, пишет своих героев не со стороны, а изнутри, от этого у неискушенного читателя может создаться впечатление, что автор и его герои — одно и то же. Но это совсем не так. Показывая в романе «Давай поженимся» жизнь людей среднего по размерам американского города, вернее даже пригорода, «средних американцев», принадлежащих к так называемому «миддл-классу», не вынося им приговора, а только представив их в романе такими, каковы они в жизни, Апдайк создал социальный портрет целого современного общественного слоя или, как он сам говорит, общественного круга своей страны. И не для того в романе перемежаются картины интимной жизни, чтобы вызвать обостренный читательский интерес, а потому, что его героям, средним американцам, секс и спорт заменяют духовную жизнь. Ну ладно бы еще это касалось тех, чья профессия — «делать деньги». Но Джерри и Руфь — художники И у них — то же самое поразительное отсутствие духовных интересов, та же опустошенность, примитивность. «Все мы до того избалованы,— скажет Руфь,— что от нас смердит».

В рассказанной Апдайком истории участвуют две супружеских пары и две пары машин. Джерри и Руфь Конанты, с одной стороны, и Ричард и Салли Матиасы — с другой. Машины я могу перепутать, хотя все они разных марок, разных расцветок и каждая из них имеет свои собственные недостатки. Скажем, «сааб», принадлежащий Салли, не заводится. Это имеет свои преимущества, так как, например, когда Салли вслед за Джерри Конантом, мужем Руфи, полетит в Вашингтон провести с ним ночь в отеле, она скажет своему мужу, что просто не завелся ее «сааб» и ей пришлось переночевать у друзей.

Разумеется, участвуют еще две авиакомпании — «Юнайтед» и «Американ»,— потому что, если бы не было мощной авиации и очередных рейсов через короткие промежутки времени, как бы Салли, выйдя из дома с сумочкой и романом Камю в этой сумочке, через час оказалась в Вашингтоне? Впрочем, расстояние тут измерялось даже не временем, а двадцатью страницами романа Камю, которые она успевает прочесть в воздухе.

Ну и конечно участвуют в этой истории телефоны, телефоны, множество телефонов: как без них обойтись в современной Америке современным любовникам? И хотя установлено, что в 70-х годах нынешнего столетия больше всех говорят по телефону не

© John Updike, 1976. Перевод публикуется с разрешения издательства «Alfred A Knopf, Inc»

американцы, не французы, не итальянцы, а японцы, герои романа Апдайка используют телефон в полной мере. А еще привлечены бытовая техника, избавившая американку от многих хлопот и давшая ей свободное время, затронуты в какой-то степени и проблемы «третьего мира», поскольку Джерри работает над тридцатисекундными «мультяшками» и между разговором со своей пока еще любовницей Салли и пока еще женой Руфью принимает участие «в бесконечных идиотских совещаниях, на которых пытаются установить, какого оттенка серого цвета должен быть средний представитель «третьего мира» в этих идиотских тридцатисекундных вонючих сериях...».

Словом, современно все: и проблемы, и техника, и язык героев. А история сама по себе стара как мир, но долго еще, как мир, будет нова в различных вариантах: он любит ее, она любит его. В данном случае он женат и любит не свою, а чужую жену. Хотя и от своей жены он еще не отвык и не очень способен совершать поступки, но порывать все же с кем-то надо. А она, чужая жена, Салли, любит не своего мужа Ричарда, а Джерри, чужого мужа. И в дополнение ко всему у Руфи, жены Джерри, и у Ричарда, мужа Салли, был кратковременный роман.

Пора, наконец, сказать, что участвуют в этой истории еще шестеро детей школьного и дошкольного возраста: трое детей Джерри и Руфи и трое детей Ричарда и Салли. О них я упоминаю в последнюю очередь потому, что и родители вспоминают о них в последнюю очередь, хотя говорят о них много и делят их между собой в различных сочетаниях и даже с бумагой и карандашом в руках уславливаются точно, кто за их обучение будет платить, если расторгнется брак. Пожалуй, больше других помнит о детях Руфь, да еще у Джерри вот такие сомнения прорываются среди телефонных фраз: «Я не знаю — а вдруг у детей случится нервное расстройство. Я не знаю — а вдруг Салли, заполучив меня, обнаружит, что я зануда. Ну, а раз так, нелепо разбивать две семьи, которые более или менее держатся, и портить жизнь полудюжине детей. С другой стороны, е с т ь что-то, связывающее меня с Салли. И что-то в известном смысле очень прочное».

Даже если этот легкий тон, и «полудюжину», и то, что муж и жена ведут свой разговор по телефону так, словно говорят не друг с другом, а на сцене при свете прожекторов, на глазах у толпы зрителей,— даже если все это счесть американской манерой разговора, все равно ясно, что из-за детей тут не будут, как Анна Каренина, бросаться на рельсы или под колеса современных машин. «Я же, черт побери, прекрасно знаю, что тебе они не нужны,— скажет Салли своему мужу.— Мы решили их завести потому, что наши психоаналитики сочли, что это полезно для здоровья». Откровенный цинизм, в какой-то мере объясняющий, почему в сегодняшней Америке сотни тысяч детей (по данным американской статистики) бегут из своих семей, где они не видят ни заботы, ни душевного тепла. И тем не менее Апдайк отчетливо дает понять, что ломка семьи — процесс болезненный даже тогда, когда семья «еле держится».

Впрочем, не только эти две семьи «еле держатся» в городке Гринвуде, где разворачивается действие романа. К концу истории у Ричарда — новая машина и новая любовница: она из их круга, жена одного из приятелей, с кем вместе проводит он время на пляже, на танцах, на теннисном корте и на волейбольной площадке. «У молодых супружеских пар Гринвуда — после того, как женщины перестали одаривать семьи новыми детьми,— возникла поистине ритуальная потребность поддерживать отношения, и они находили бесконечные поводы для встреч». И вот «... однажды в сумерках не по сезону мягкого мартовского дня Джерри увидел его на довольно пустынной дороге: Ричард ехал с Дженет Хорнунг в машине со спущенным верхом»...

Одним словом, заканчивается одна история и уже начинается новая, с новым переплетением семейных пар.

Бесчисленное множество книг написано о том, как узы брака, который по таким-то и таким-то глупым законам не может быть расторгнут, заставляют жить вместе людей, давно не любящих друг друга, лгать, как омерзительна эта ложь, как она калечит души. Наверное, еще больше книг написано о страданиях и переживаниях тех, кто связан не любовью, не близостью духовной, а цепью золотой. Но вот совсем иная, очень современная ситуация описана Джоном Апдайком в его романе «Давай поженимся»: расторгнуть брак возможно, и можно откровенно и цинично говорить о том, о чем раньше предпочитали лгать, и нету цепи золотой и тех миллионов, которые должны унаследовать дети и раздел которых представлял всегда определенную трудность, а потому удерживал супругов в браке. С другой стороны, нет и бедности, которая тоже создает свои проблемы и по-своему калечит души. Американский писатель-юморист и карикатурист Кин Хаббард сказал как-то: «Трудно сказать, что именно приносит счастье. Богатство и бедность явно не способны на это».

У Апдайка в его романе — не богатство и не бедность, а повседневный быт, чувства и переживания «средних американцев», и если счастья нет ни в богатстве, ни в бедности, то уж здесь, казалось бы, оно должно быть! И женщины, как мы видим, тут в той поре, когда они «перестали одаривать семьи новыми детьми», а бытовая техника так разгрузила их, а самолеты, автомобили сделали их такими транспортабельными, создали такие прекрасные возможности для встреч... Но счастья нет и здесь. Так что же есть? Страдание? Трагедия? Самое печальное, что и настоящей трагедии нет.

Трагедии нет, и подлинного страдания нет, потому что не любовь рушится, а нечто заменяющее ее. И хоть герои ведут себя и говорят так, будто семь восьмых собы-

тий и переживаний скрыты от глаз, точно айсберг под водой,— этих семи восьмых попросту нет, неотягченная одна восьмая легко качается на волнах. Отсюда — поза, актерство, которого люди, быть может, не замечают сами. Они действительно плачут от потери, но потеряли они не любовь.

В одном из интервью Джон Апдайк так сказал об этом своем романе: «Это книга о браке, об очень интимном чувстве, но не о сексуальной сфере, а о состоянии ума и души человека, живущего в определенном общественном кругу». Этот общественный круг, средние слои американского общества, выписан точно, правда — в традициях далекой от нас современной американской беллетристики.

Конец романа — открытый, история не закончена. Быть может, Джерри, глядя на ее милое, печальное, опущенное вниз лицо... скажет Салли: «Давай поженимся». Быть может, и не произойдет этого никогда.

Осталась тоска по утраченному счастью, которого не было.

ГРИГОРИЙ БАКЛАНОВ

О, если любишь ты меня,
женись, не ведая сомненья.
Любовь не хочет ждать ни дня,
она умрет от промедленья.

Роберт Геррик [1]

I. Теплое вино

Этот пляж на перенаселенном побережье Коннектикута был мало кому известен — к нему ведет узкая асфальтовая дорога с непонятными разилками, зигзагами и поворотами, которую поддерживают лишь в более или менее приличном состоянии. У большинства неясных поворотов потрескавшиеся деревянные стрелки с длинным индейским названием указывают дорогу к пляжу, но некоторые из них упали в траву, и когда наша пара впервые решила здесь встретиться — а было это идиллическим, не по сезону мягким мартовским днем,— Джерри сбился с пути и опоздал на полчаса.

Сегодня Салли опять приехала раньше его. Он задержался: купил бутылку вина, потом — безуспешно — пытался найти штопор. Ее темно-стальной «сааб» стоял одиноко в дальнем конце площадки для машин. Джерри мягко подвел к нему свой автомобиль — старый «меркурий» со складным верхом — в надежде, что Салли сидит, дожидаясь его, за рулем и слушает радио; у него в машине как раз зазвучало «Рожденные для утрат» в исполнении Рэя Чарльза:

Мечты всегда. всегда
Мне приносили только боль...

Она оживала перед ним в этой песне — в голове у него уже сложились слова, которыми он окликнет ее и предложит перейти к нему в машину, чтобы вместе послушать: «Эй! Привет! Иди скорей сюда — клевые записи дают!» Он привык разговаривать с ней, как мальчишка с девчонкой, перемежая хиповый жаргон телячьим сюсюканьем. Песни по радио обретали для него новый смысл, если он слышал их, когда ехал к ней на свидание. Ему хотелось слушать их вместе с нею, но они редко приезжали в одной машине, и по мере того как той весной неделя сменяла неделю, песни, словно майские жуки, умирали в полете.

Ее «сааб» стоял пустой, Салли поблизости не было. Наверно, она — в дюнах. По форме пляж был необычный: дуга гладкого намытого океаном песка тянулась на добрых полмили между нагромождениями больших, в желтых подтеках, камней; вверх от ближайшей груды камней уходили дюны — чахлая трава и извилистые дорожки отделяли друг от друга сотни песчаных лоскутов, словно комнаты в огромном, созданном природой отеле. Это царство гребней и впадин было обманчиво запутанным. Салли и Джерри ни разу еще не удалось найти то место — то идеальное место, где они были в прошлый раз.

Джерри быстро полез вверх по крутой дюне, не желая терять время и останавливаться, чтобы снять туфли и носки. Он задыхался, поднимаясь бегом в гору, и это казалось таким чудесным — будто вернулась юность, вернулась жажда жизни. С тех пор как начался их роман, он всегда спешил, бежал, выгадывал время там, где прежде этого не требовалось,— он стал атлетом, обгонявшим часовую стрелку, выкраивавшим то тут, то там час-другой, из которых складывалась небывалая и неведомая

[1] Перевод Виктора Лунина.

вторая жизнь. Он бросил курить: ему не хотелось, чтобы его поцелуи отдавали табаком.

Он выскочил на гребень дюн и испугался — Салли нигде не было. Вообще никого не было. Помимо их двух машин на просторной стоянке виднелось еще штук десять — не больше. А через какой-нибудь месяц здесь будет полно народу: забитый досками дом (бар-раздевалка) оживет, наполненный загорелыми людьми и грохотом механической музыки, в дюнах станет невыносимо жарко, необитабельно. Сегодня же дюны еще хранили оставшуюся после зимы первозданность природы, не тронутой человеком. Когда она окликнула его, звук прилетел к нему по прохладному воздуху словно крик птицы: «Джерри?» Это был вопрос, хотя если она видела его, то не могла не знать, что это он. «Джерри? Эй?»

Повернувшись, он обнаружил ее на одной из дюн, что высилась над ним,— в желтом купальном костюме, она шла, глядя вниз, чтобы не наколоть босые ноги о жесткую траву; светловолосая, стройная, вся в веснушках, она казалась сейчас стыдливой девой песков, скрывавших ее от него. На вид плечи и грудь у нее были жаркие, а впадина спины — прохладная. Наверное, лежала на солнце. Ее широкоскулое, с заостренным подбородком лицо раскраснелось.— Эй! Как я рада, что ты приехал?!— Она слегка задыхалась, возбужденный голос ее звенел, и каждая фраза звучала вопросительно.— Жду тебя здесь, в дюнах. а вокруг носится орда диких полуголых мальчишек, мне стало так стра-аш-но?!

Мгновенно отбросив хиповые выражения, точно он стремился обойти нечто непередаваемое, смущающее, Джерри подчеркнуто вежливо сказал: — Храбрая ты моя бедняжечка. Каким опасностям я тебя подвергаю. Извини, что опоздал, слушай. Мне ведь надо было купить вина, потом я пытался купить штопор, а эти абсолютные кретины, эти типы в занюханной деревенской лавчонке — их бы только Норману Рокуэллу [1] рисовать — пытались всучить мне вместо штопора коловорот.

— Коловорот?

— Ну да. Это как скоба с ручкой, только без скобы.

— Тебе, видно, совсем не жарко.

— Ты же лежала на солнце. Ты где?

— Здесь, наверху?! Иди сюда!

Прежде чем последовать ее призыву, Джерри присел, снял туфли и носки. Он был в городской одежде — в пиджаке и при галстуке — и нес бумажный пакет с бутылкой вина, словно дачник, возвращающийся домой с подарком. Салли расстелила свое красное с желтым клетчатое одеяло во впадине, где не было ничьих следов — лишь ее собственные. Джерри поискал глазами мальчишек и обнаружил их на некотором расстоянии в дюнах — они настороженно наблюдали за молодой парой, не поворачивая головы, точно чайки. А он бесстрашно, не таясь посмотрел на них и прошептал Салли: — Они же совсем щенки и, похоже, невредные. Но, может, ты хочешь уйти подальше в дюны?

Он почувствовал, как она кивнула у его плеча, кивнула, будто сказала, как одна лишь она могла сказать, по-особому быстро и резко дернув головой: «Да, да, да, да»; он ловил себя на том, что нередко, когда Салли и близко не было, подражал этой ее манере. Он поднял ее одеяло, и ее плетеную сумку, и ее книгу (роман Моравиа) и положил на ее теплые руки. Шагая рядом с нею вверх по склону соседней дюны, он обнял ее обнаженный торс, желая поддержать, и повернулся, проверяя, видели ли мальчишки этот жест собственника. Но они, устыдившись, уже с воплями неслись в другом направлении.

Как всегда, Джерри и Салли долго бродили по дюнам — вниз по извилистым дорожкам меж колючих кустов восковицы, вверх по гладким склонам, смеясь от усталости, выискивая идеальное место — то самое, где они были в прошлый раз. И, как всегда, не могли его найти; под конец они разложили одеяло в первой попавшейся ложбинке с чистым песком и тотчас сочли это место изумительным.

Джерри встал перед ней в позу и устроил стриптиз. Сбросил пиджак, галстук, рубашку, брюки.

— О,— сказала она,— на тебе уже купальные трусы.

— Я проходил в них все это чертово утро,— сказал он,— и всякий раз, чувствуя, как резинка врезается в живот, думал: «А я увижу Салли. И она увидит меня сразу в купальных трусах».

С наслаждением впивая воздух каждой клеточкой своего тела, он огляделся: они были скрыты от чужих глаз, сами же могли видеть стоянку для машин внизу, и застывший рукав моря, крепко зажатый между здешним берегом и Лонг-Айлендом, и сверкающие гребешки пены, спешащие к берегу и разбивающиеся о полосатые скалы.

— Эй?! — послышалось с одеяла.— Не хочешь навестить меня в своих купальных трусах?

Да, да, почувствовать друг друга кожей, всей длиной тела, на воздухе, под солнцем. От солнца под опущенными веками Джерри поплыли красные круги; бок и плечи Салли нагрелись, рот постепенно таял. Они не спешили — это и было, пожалуй,

[1] Рокуэлл Норман (1894—1978) — американский художник и иллюстратор, прославившийся своими зарисовками мальчишек. *(Здесь и далее — прим. перев.)*.

самым весомым доказательством того, что они, Джерри и Салли, мужчина и женщина, были созданы друг для друга, — они не спешили, они стремились не столько распалиться, сколько успокоиться один в другом. Ее волосы — прядь за прядью — падали ему на лицо. Чувство покоя, ощущение, что они достигли долгожданного апогея, наполняло его, словно он погружался в сон.

— Непостижимо, — сказал он. И повернул лицо вверх, чтобы вобрать в себя еще и солнце: под веками все стало красным.

Она заговорила, уткнувшись губами в его шею, где была прохладная, хрусткая от песчинок тень. Он чувствовал песок, хотя песчинки скрипели на зубах Салли.

— А ведь стоит того — вот что самое удивительное, — сказала она. — Стоит того, чтобы ждать, преодолевать препятствия, лгать, спешить; наступает эта минута, и ты понимаешь, что все стоит того. — Голос ее, постепенно замирая, звучал тише и тише.

Он сделал попытку открыть глаза и ничего не увидел, кроме плотной идеальной округлости чуть поменьше луны.

— А ты не думаешь о той боли, которую мы причиним? — спросил он, снова крепко сжав веки, накрыв ими пульсирующее фиолетовое эхо.

Ее неподвижное тело вздрогнуло, словно он плеснул кислотой. Ноги, прижатые к его ногам, приподнялись.

— Эй?! — сказала она. — А как насчет вина? Оно ведь согреется. — Она выкатилась из его рук, села, откинула волосы с лица, поморгала, сбросила языком песчинки с губ. — Я захватила бумажные стаканчики: не сомневалась, что ты о них и не вспомнишь. — Это крошечное проявление предвидения в отношении своей собственности вызвало улыбку на ее влажных губах.

— Угу, ведь и штопора у меня тоже нет. Вообще, леди, не знаю, что у меня есть.

— У тебя есть ты. И это куда больше, чем все, что имею я.

— Нет, нет, у тебя есть я. — Он заволновался, засуетился, пополз на коленях туда, где лежали его сложенные вещи, извлек из бумажного пакета бутылку. Вино было розовое. — Теперь надо выбрать место, где ее разбить.

— Вон там торчит скала.

— Думаешь? А если эта хреновина раздавится у меня в руке? — Внезапная неуверенность в себе пробудила привычку к жаргону.

— А ты поосторожнее, — сказала она.

Он постучал горлышком бутылки о выступ бурого, в подтеках, камня — никакого результата. Постучал еще, чуть сильнее — стекло солидно звякнуло, и он почувствовал, что краснеет. «Да ну же, дружище, — взмолился он про себя, — ломай шею».

Он решительно взмахнул бутылкой — брызги осколков сверкнули, прежде чем он услышал звук разбиваемого стекла; изумленный взор его погрузился сквозь ощерившееся острыми пиками отверстие в море покачивающегося вина, заключенное в маленьком глубоком цилиндре. Она подползла к нему на коленях и воскликнула: «М-м!», несколько пораженная, как и он, этим вдруг обнажившимся вином — зрелищем кровавой плоти в лишенной девственности бутылке. И добавила:

— С виду оно отличное.

— А где стаканчики?

— К черту стаканчики. — Она взяла у него бутылку и, ловко приладившись к зазубренному отверстию, запрокинула голову и начала пить. Сердце у него на секунду замерло от ощущения опасности, но когда она опустила бутылку, лицо у нее было довольное и ничуть не пораненное. — Да, — сказала она. — Вот так у него нет привкуса бумаги. Чистое вино.

— Жаль, что оно теплое, — сказал он.

— Нет, — сказала она. — Теплое вино приятно.

— Очевидно, по принципу: лучше такое, чем никакого.

— Я сказала «приятно», Джерри. Почему ты мне никогда не веришь?

— Слушай Я только и делаю, что верю тебе. — Он взял бутылку и так же, как она, стал пить; когда он запрокинул голову, красное солнце смешалось с красным вином.

Она воскликнула: — Ты порежешь себе нос!

Он опустил бутылку и, прищурясь, посмотрел на Салли. И сказал про вино:— От него покачивает.

Она улыбнулась и сказала: — Вот тебя и качнуло. — Она дотронулась до его переносицы и показала алое пятнышко крови на своем белом пальце. — Теперь,— сказала она, — встретясь с тобой в обычных условиях, я всегда буду замечать этот порез у тебя на носу; и только я буду знать, откуда он.

Они вернулись на одеяло и дальше уже пили из стаканчиков. Потом пили вино друг у друга изо рта. Через какое-то время он застенчиво спросил ее: — Хочешь?

— Да?! Очень, очень?! Всегда?! — Опять эта ее интонация, все превращавшая в вопросы.

— Никого же кругом нет, нас тут не увидят.

Опустившись на колени у ног Салли, он вдруг подумал о продавцах из обувного

магазина — в детстве его смущало, что на свете есть люди, которые только и заняты тем, что, став перед другими на колени, возятся у их ног, и он удивлялся, что при этом они вроде бы не чувствуют себя униженными.

Хотя Салли была уже десять лет замужем и к тому же до Джерри имела любовников, она отличалась чудесной безыскусностью и простотой. С собственной женой у Джерри часто возникало ощущение тщательно продуманных усилий, а с Салли всегда было бесценное ощущение изумленной невинности. Ее осыпанное веснушками, запрокинутое в экстазе лицо, с капельками пота, который выступил от солнца на верхней губе, обнажавшей сверкающие передние зубы, казалось зеркалом, помещенным в нескольких дюймах под его лицом, — чуть запотевшим зеркалом, а не лицом другого человека. Он спросил себя, кто это, и потом вдруг вспомнил: «Да это же Салли!» Он закрыл глаза и постарался дышать в одном ритме с ее легкими прерывистыми вздохами. Когда ее дыхание стало ровным, он сказал:

— До чего же хорошо под открытым небом, верно?

Он почувствовал ее кивок у своего плеча, словно трепетное касание крыльев.

— А теперь отпусти меня? — сказала она.

Еще лежа рядом с нею, он уже предал ее: захотелось сигарету. А ведь все и так хорошо — эта наполненность до краев, эта благодарность, это широкое небо, этот запах моря. Устыдившись стремления снова влезть в свою загрязненную, прокуренную шкуру, он вылил остатки вина в стаканчики и воткнул пустую бутылку, как монумент, горлышком вверх в песок.

Она смотрела вниз на безлюдную стоянку для машин и вдруг спросила:

— Джерри, как я могу жить без тебя?

— В точности как я живу без тебя. Просто мы оба большую часть времени не живем.

— Давай не будем говорить об этом. Давай не будем портить наш день.

— О'кей. — Он взял роман, который она читала, и спросил: — Ты понимаешь, что к чему у этого малого?

— Да. А ты — нет.

— Не очень. Я хочу сказать, не потому, что все это неправда, но... — Он потряс книгой и отшвырнул ее в сторону. — Разве это надо говорить людям?

— По-моему, он хороший писатель.

— Ты многое считаешь хорошим, верно? Ты считаешь Моравиа хорошим, ты считаешь, что теплое вино — это хорошо, ты считаешь, что любовь — это хорошо.

Она быстро взглянула на него. — А ты не согласен?

— Отчего же — вполне.

— Нет, неправда, ты мне иногда не веришь. Не веришь, что я такая простая. А я в самом деле простая. Ну совсем точно...— Ей трудно давались сравнения: она видела все так, как оно есть,— точно эта разбитая бутылка. Во мне нет тайн.

— Такая красивая бутылка. Посмотри, как срез — там, где отбито, — сверкает на солнце. Она — будто маленький каток, которым утрамбовывают пляж: круглая-круглая. — Джерри снова захотелось сигарету — чтобы было чем жестикулировать.

— Эй? — сказала она, как говорила обычно, когда между ними, казалось, возникало отчуждение.

— Привет, — серьезно ответил он.

— Привет, — повторила она в тон ему.

— Солнышко, почему ты все-таки вышла за него замуж?

И она рассказала ему, рассказала подробнее, чем когда-либо, обхватив колени и потягивая вино, — рассказала так мило, мягко, небрежно историю своего брака, типичную историю двадцатого века, а он смеялся и целовал ее склоненную голую поясницу. — Ну, а я продолжала брать уроки верховой езды, и опять у меня был выкидыш. Тогда он послал меня к психоаналитику, и этот чертов аналитик, Джерри, — он бы тебе понравился: он очень похож на тебя, такой этичный, — говорит мне — сама не знаю, отчего это у меня, но я всегда стараюсь делать, как советуют мужчины, такая уж у меня слабость, — так вот, он и говорит мне: «На этот раз вы родите». О'кей, я и родила. В голове у меня все так перепуталось, я даже было подумала, не от аналитика ли у меня ребенок. Но, конечно, не от него. Это был ребенок Ричарда. Ну, а потом — раз уж появился один, вроде бы надо было завести и еще, чтоб первый вырос человеком. Но не всегда все получается, как хочешь.

— А знаешь, почему у меня столько детей? — спросил он. — Я понятия об этом не имел, пока Руфь не сказала мне как-то ночью. Ты же знаешь, она очень верит в то, что роды должны быть естественные. Так вот, Джоанну она родила с великими муками, поэтому, видите ли, она решила произвести на свет еще двоих детей, чтобы, так сказать, отшлифовать технику.

Он надеялся, что вызовет у Салли смех, и она действительно рассмеялась, и в этом взрыве веселого серебристого смеха они потопили все печальные тайны, которые хранили про себя. У нее таких тайн было больше, чем у него. Это их неравенство огорчало Джерри, и когда тени от дюн удлинились в их маленькой лощинке, он поцеловал ее запястья и признался, отчаянно пытаясь уравновесить их судьбы: — Я пре-

погано поступил, женившись на Руфи. Право же, куда хуже, чем если б женился ради денег. Ведь я женился на ней, так как знал, что из нее выйдет хорошая жена. Такой она и оказалась. Господи, до чего же я об этом жалею. До чего жалею, Салли.

— Не грусти. Я люблю тебя.

— Я знаю, знаю. И тоже тебя люблю. Но как могу я не грустить? И что нам делать?

— Не знаю, — сказала она. — Наверное, еще немного потянуть как оно есть?

— Да ведь на месте ничто не стоит. — Он указал вверх и уставился на солнце, точно хотел себя ослепить. — Это чертово солнце и то на месте не стоит.

— Не устраивай мелодрамы, — сказала она.

Они ползали на коленях, собирая свои вещи, а в уме прокручивали хрупкую ложь, которую придется нести домой. Светлые волосы его Салли упали, когда она склонилась над их крошечным, немудреным хозяйством, — она казалась при этом песчано-желтом освещении такой спокойной и такой покорной, что он сердито поцеловал ее, последний раз в этот день. Все их поцелуи казались последними. Ленивым движением она опустилась на колени и, прижавшись к нему всем телом, обвила его руками. Плечо ее было теплым на вкус — его губы заскользили по ее коже.

— Детка, не могу я, у меня это не пройдет, — сказал он, и она кивала, кивала так, что тела их закачались: Я з н а ю. Я з н а ю.

— Эй? Джерри? За твоим плечом я вижу Саунд, и на нем маленький парусник, и какой-то городок вдали, и волны накатывают на скалы, и все залито солнцем, и так красиво?! Нет. Не поворачивай головы. Просто поверь мне.

II. Ожидание

— Прощай.

— Не говори мне этого слова, Джерри. Пожалуйста, не говори. — Рука у Салли ныла оттого, что она так долго держала трубку, а сейчас задрожал и мускул плеча. Зажав трубку между плечом и ухом и высвободив таким образом руки, она принялась застегивать лямки на брюках Питера — за последние два-три месяца он научился сам одеваться, вот только пуговицы не умел застегивать, она же в разброде чувств не подумала даже его похвалить. Бедный мальчик, он уже целых десять минут стоял, дожидаясь, пока мать кончит разговор, — ждал и слушал, ждал и наблюдал с неуверенной улыбкой и таким настороженным выражением в глазах, что она заплакала. Рыдания подступили к горлу, словно рвота; она сжала зубы, стараясь, чтобы их не было слышно в телефоне.

— Эй! Не надо. — Джерри смущенно рассмеялся — звук донесся слабо, издалека. — Ведь я же только на два дня.

— Не говори так, черт бы тебя подрал. Мне плевать, что ты там думаешь, но не смей этого говорить.—«Я с ума схожу,— подумала она.— Я — сумасшедшая, и он возненавидит меня». При мысли, что он может возненавидеть ее после того, как она так безраздельно себя ему отдала, Салли возмутилась:— Если ты только и способен смеяться надо мной, может, лучше нам в самом деле расстаться.

— О, господи. Я вовсе не смеюсь над тобой. Я люблю тебя. Мне просто невыносимо, что я не могу быть с тобой, чтобы утешить тебя.

Питер потерся о нее, чтобы она застегнула ему и другую лямку, и она почувствовала в его дыхании запах леденца.

— Где ты взял леденец?— спросила она.— Нельзя есть сладкое с утра.

Джерри спросил:

— Кто там у тебя?

— Никого. Только Питер.

— Мне дал Бобби,— сказал Питер, и на его личико, растянутое в неуверенной улыбке, стал наползать страх.

— Пойди разыщи Бобби и скажи, что я хочу с ним поговорить. Иди же, лапочка. Иди найди Бобби и скажи ему. Мама сейчас кончит говорить по телефону.

— Бедный Питер,— раздался у нее в ухе голос Джерри.— Не отсылай его.

Да как он может так говорить, он, который лишил ее всякой радости общения с детьми? И однако, то, что он так говорил, делало ее совсем беззащитной, неизмеримо расширяло ее любовь: не желал он держаться в рамках любовника, какими она их себе представляла. Излишняя доброта то и дело заставляла его вылезать из своей скорлупы. Слезы обожгли ей щеки; она молчала, чтобы он не услышал ее охрипшего голоса. Живот и плечи у нее буквально ныли от боли. Господи, он что, нарочно так себя ведет?

— Эй? Привет?

— Привет,— ответила она.

— Ты в порядке?

— Да.

— Пока меня не будет, ты сможешь съездить в Загородный клуб, и свозить детей на море, и почитать Моравиа...

— Я сейчас читаю Камю.

— Ты такая умная.

— Ты не опоздаешь на самолет?

— Свози Питера на море, и поиграй с малышкой, и поваляйся на солнце, и будь милой с Ричардом...

— Не могу. Я не могу быть милой с Ричардом. Из-за тебя он теперь больше для меня не существует.

— Я не хотел.

— Я знаю. Знаю.— Как любовник, Джерри совершал одну ошибку — жестокую ошибку: он вел себя будто ее муж. А у нее до сих пор не было настоящего мужа. Теперь, наблюдая Джерри, Салли начала подумывать о том, что десять лет была замужем за человеком, старавшимся остаться для нее лишь любовником, сохраняя дистанцию, которую любовникам всякий раз приходится преодолевать. Ричард вечно критиковал ее, анализировал ее поступки. Когда она была молода, это ей льстило; теперь же казалось подлым. Вне постели он вечно стремился раздеть ее, обнажить какое-то двуличие, какие-то скрытые мотивы ее действий. А Джерри пытается ее одеть, то и дело бросая ей жалкие вуальки утешений и советов. Она кажется ему душераздирающе обнаженной.

— Послушай.—сказал он.—Я люблю тебя. Мне бы так хотелось, чтоб ты могла поехать со мной в Вашингтон. Но это невозможно. Однажды нам это сошло с рук. А теперь Ричард что-то знает. И Руфь знает.

— Знает?

— Чувствует кожей.

— Что ты сказал?

— З н а е т. Только не волнуйся на этот счет. Все равно во второй раз так чудесно не было бы. Мне тебя все время будет не хватать, и один в постели я вообще не засну. Кондиционер жужжит «ш-ш-ш», «ш-ш-ш».

— Значит, тебе будет не хватать и Руфи.

— Не в такой степени.

— Нет? Эй, я люблю тебя за то, что ты сказал: «Не в такой степени». Настоящий любовник сказал бы: «Ничуть».

Он засмеялся.

— А я как раз такой и есть. Не настоящий.

— Тогда почему же я не могу выкинуть тебя из головы? Джерри, мне б о л ь н о, физически б о л ь н о. Даже Ричард жалеет меня и дает мне снотворное, которое выписал ему врач.

— Мир не знает более высокой любви, чем когда один человек отдает другому снотворное, которое выписал ему врач.

— Я могла бы вечером позвонить Джози и сказать, что у меня сломался «сааб» и я застряла в Нью-Йорке. Последнее время машина барахлит вовсю, я знаю, мне бы поверили.

— Ах ты мое солнышко! До чего же ты храбрая. Но это у нас не пройдет. Они узнают, и тогда Ричард не отдаст тебе детей.

— Мне не нужны дети, мне нужен ты.

— Не говори так. Ты очень любишь своих детей. Достаточно тебе было посмотреть на Питера — и уже глаза на мокром месте.

— Это из-за тебя у меня глаза на мокром месте.

— Я этого не хотел.

Она не знала, как на это реагировать: у нее никогда не хватит духу ему сказать, что он виноват во всем — и в том, чего не хотел совершить, и в том, что совершил. Джерри верил в бога, и это служило препятствием для ее наставлений. Из окна кухни она увидела, что Питер нашел Бобби. Питер забыл про ее наказ и вместе со старшим братом направился в рощицу.

Она спросила:

— Ты весь день будешь в Госдепартаменте? Я могу позвонить тебе туда, если приеду?

— Салли, не надо приезжать. Ты идешь на Голгофу ради пустяков, мы же провели бы там всего одну ночь.

— Ты забудешь меня.

Его смех отозвался в ней болью: она ведь действительно так считала.

— Не думаю, чтобы я мог забыть тебя за два дня.

— Ты считаешь, что ночь со мной — это пустяк?

Он помолчал; лента секунд разматывалась, и Салли почувствовала, что он не спешит с ответом.

— Нет,— наконец сказал он.— Я считаю, что ночь с тобой — почти предел мечтаний. Я надеюсь, что у нас будет таких ночей — целая жизнь.

— Надежда — вещь приятная и безопасная.

— Я не хочу препираться с тобой. Я никогда не препираюсь с женщинами. Мне кажется, мы не должны вступать на этот путь, пока не будем точно знать, что намерены делать дальше.

Она вздохнула:— Ты прав. Я говорю себе: «Джерри прав». Мы не должны поступать необдуманно. Слишком многих это затрагивает.

— Целую орду. Хотелось бы мне, чтоб их было поменьше. Хотелось бы мне, чтоб в мире были только ты и я. Слушай. Ты не должна приезжать. Все рейсы перепутаны из-за этой забастовки компании «Истерн». Как раз сейчас у меня на глазах шесть генералов с четырьмя звездочками и двести молодчиков в дакроновых костюмах устремились к выходу номер семнадцать. Должно быть, объявили посадку на мой самолет.— Он говорил из телефонной будки на аэродроме Ла-Гардиа. Мест на самолете, которым Джерри собирался лететь, не оказалось, и теперь он убивал неожиданно освободившееся время, болтая с ней по телефону. Она подумала: «Если бы он попал на тот самолет, он бы мне не позвонил», и эта случайность, позволившая увидеть, какое маленькое место занимает она в его жизни, лишь возвысила его в ее глазах, расширила своим оскорбительным подтекстом горькую ноющую пустоту, которую создала в ней любовь.

Он ждет, что она рассмеется или согласится с ним,— она никак не могла вспомнить, чего он от нее ждет.

— Я очень тебя люблю,— вяло сказала она.

— Эй, а как ты объяснишь сумму, которую с вас взыщут за этот телефонный разговор? Я бы не стал звонить за твой счет, если бы знал, что мы проговорим так долго.

— Ну, я скажу... сама не знаю, что я скажу. Во всяком случае он никогда не слушает, что я говорю.— Иногда Салли задумывалась, так ли уж справедливы обвинения, которые она выдвигала против мужа. Ее рассуждения были как заросший сад: каждый день появлялись новые сорняки.

— Уже началась посадка. Прощай?

— Прощай, дорогой.

— Я позвоню тебе в среду утром.

— Очень хорошо.

Он уловил в ее голосе укор и спросил:

— Позвонить тебе из Вашингтона? Завтра утром?

— Нет, у тебя и без того дел хватит. Вот и занимайся ими. А обо мне — думай иногда.

Он рассмеялся.

— А как же иначе?— Помолчал и сказал:— Ты ведь единственная.— Чмокнул мембрану и повесил трубку.

Она быстро опустила трубку на рычаг, словно спешила закупорить бутылку, чтобы Джерри не выскочил из нее.

Нечесаная, в развевающемся банном халате, Салли вышла из дома и громко крикнула, повернувшись к кромке рощицы: «Ма-аль-чики! На пля-аж!»

В рощице, отделявшей дома соседей друг от друга, густо пахло летом — то был не обычный для Коннектикута запах прореженного кустарника и травы, а насыщенный теплый аромат спрессованной листвы и гниющей древесины; вот так же пахло, когда она девчонкой приезжала на летние каникулы из Сиэттла в Каскады. Она поднялась наверх переодеться, и легкая свежесть папоротника, вызывавшая ностальгию, проникла в окно спальни, сливаясь с резким, слегка порочным запахом соли, которым отдавал ее купальный костюм. Салли скрутила волосы в пучок и заколола шпильками. Одна, у себя в ванной, она вызвала к жизни образ Джерри — его глаза смотрели на нее из воздуха. Прежде чем предаться любви, он всегда вытаскивал из ее волос шпильки, и, совершая ежедневный туалет, она как бы склонялась к нему, разделяя его бережную любовь к ее телу.

Она приготовила термос лимонада, побранила мальчиков, велела им быстрее надевать плавки и усадила всех в машину. «Сааб» в последнее время неохотно заводился, поэтому она парковала его носом к спуску и, используя инерцию движения, включила сейчас мотор. Когда Салли покатила вниз, на дороге показалась Джози, толкавшая колясочку с Теодорой, в ногах которой стоял пакет с покупками; они встретились на самой крутизне, где Салли обычно отпускала сцепление. Женщины успели лишь обменяться испуганными взглядами — как раз в этот момент зажигание дало искру, и мотор рывком заработал. Салли показалось, что Джози хотела о чем-то ее спросить — что-нибудь насчет кормления или сна Теодоры, но Джози знала все это не хуже ее — даже лучше, потому что была менее рассеянная, немолодая и уже оставившая любовь позади.

Под умиротворяющим июньским солнцем Саунд расстилался гладкой равниной, излучавшей приказ: «Не езди». Салли повела Питера и Бобби в дальний конец пляжа. Ей показалось, что в группке матерей на другом конце она заметила Руфь, а Бобби как раз сказал:

— Я хочу поиграть с Чарли Конантом.

— Вот устроимся, тогда пойдешь и разыщешь его,— сказала Салли. И вдруг обнаружила, что снова плачет: почувствовала, как щеки стали влажными. Не езди. Все было за это — песчинки, хор танцующих искр на воде, настороженные взгляды сыновей, отдаленные всплески и крики, заполнившие ее слух, словно мягкий стук сказочной швейной машинки, когда она легла и закрыла глаза. Не езди, ты не можешь уехать, ты здесь. Это единодушие всех и вся было просто поразительным. Он не

хотел, чтобы она ехала к нему, он считал, что ночь с ней — это ничто, он заявил, что она устраивает себе Голгофу, он сказал, что так, как было в первый раз, уже не будет. Она обозлилась на него. Под безжалостными лучами солнца ей стало трудно дышать; что-то жесткое царапнуло кожу на ее обнаженном животе, и она открыла глаза, еле сдержав крик. Питер принес клешню краба, высохшую и пахучую. «Не уезжай, мамочка»,— молил он, поднеся к самым ее глазам свой хрупкий мертвый дар. Должно быть, все-таки это ей послышалось.

— Какая прелесть, солнышко. Только не бери в ротик. А теперь беги, играй с Бобби.

— Бобби не любит меня.

— Не говори глупости, милый, он тебя очень любит, просто не умеет это выразить. А сейчас беги и дай мамочке подумать.

Конечно, не надо ей ехать. Джерри правильно сказал: им тогда повезло. Ричард находился в одной из своих поездок. Джерри ждал ее в Национальном аэропорту, они взяли такси и поехали в Вашингтон. Шофер, серьезный мужчина с кожей цвета чая, который вел машину так осторожно, будто она его собственная, подметил их особую молчаливость и спросил, не хотят ли они проехать через парк, вокруг Тайдлбейсин, чтобы полюбоваться японскими вишнями. Джерри сказал: да. Деревья стояли в цвету — розовые, сиреневатые, оранжевые, белые; дрожащие пальцы Джерри все крутили и крутили на ее пальце обручальное кольцо. Черная няня играла в пятнашки с маленькими мальчиками на тенистой лужайке, и самый маленький из них протянул ручонки, а мяч, не коснувшись их, упал у его ног. В вестибюле отеля, затянутом темными коврами, гудели протяжные южные голоса. Опустив глаза, портье записал ее как миссис Конант. Наверно, слишком уж она сияла. В номере были белые стены, на них — олеографии в рамках, изображавшие цветы; окна глядели в колодец двора. Джерри брился опасной бритвой, усиленно намыливаясь кисточкой, чего она никак не ожидала. Она полагала, что все мужчины бреются электробритвами, потому что так брился Ричард. Не ожидала она и того, что в первый же вечер, пока она подкрашивала глаза в ванной, а он смотрел по телевизору, как Арнолд Палмер одерживает победу, загоняя мяч в лунку, на него нападет депрессия и ей придется добрых четверть часа сидеть подле него, а он будет лежать в постели, смотреть на белые стены и бормотать что-то насчет страданий и греха; с большим трудом ему удастся, наконец, собраться с духом, застегнуть рубашку, надеть пиджак и пойти с ней в ресторан. Они шли тогда под весенним, высекавшим слезы ветром — квартал за кварталом, по широким, проложенным под прямым углом друг к другу улицам, — а ресторана все не было. Вдали от освещенных монументов и фасадов Вашингтон казался темным и загадочным, словно закулисная часть театра. Мимо, шурша, проносились лимузины, оставляя за собой одинокий текучий звук, — на Манхэттене такой звук можно услышать разве что поздно ночью. Салли чувствовала, как наваждение постепенно покидает Джерри. Он стал вдруг очень возбужденным, перепрыгнул лягушкой через счетчик у стоянки машин, а в ресторане, излюбленном месте техасцев, где подавали дорогие мясные блюда, изображал из себя конгрессмена, сопровождающего молочную королеву из Миннесоты. «А ты мне пригляну-у-улась, душечка...» Официант, прислушивавшийся к их разговору, ждал хороших чаевых и был явно разочарован. Странно, что ей доставляет удовольствие вспоминать неловкие ситуации, в которые она попадала. В тесном магазинчике подарков, где Джерри непременно хотел купить игрушки своим детям, продавщица то и дело поворачивалась к ней, как если бы она была их матерью, и вопросительно смотрела, озадаченная ее молчанием. В последнее утро возле лифта, когда они ехали завтракать, старшая горничная спросила у нее, можно ли убрать в номере, и она сказала: да; эта женщина была первым человеком, не усомнившимся в том, что она — жена Джерри. Когда они в полдень вернулись в номер, жалюзи были подняты, с кровати все было сдернуто и сама она отодвинута к бюро, а по полу ползал негр и чистил ковер мягко жужжавшим пылесосом. Джерри и Салли покинули отель в одном такси, но домой летели разными самолетами, а приехав, обнаружили, что никто не сопоставил их одновременного отсутствия. Их мимолетный брак — обручальное кольцо, вышвырнутое за борт, — все глубже и глубже, безвозвратно погружался в зеленые воды прошлого. Что бы ни случилось, такого уже не будет, никогда не будет — до конца дней. Было бы глупо — чистое безумие — все поставить на карту и поехать к нему сейчас. Ибо теперь жалюзи, прикрывавшие их роман, если и не были окончательно сорваны, то, во всяком случае, достаточно приоткрыты: Джози краснела и решительно выходила из кухни, когда в десять часов раздавался, по обыкновению, звонок Джерри; Ричард вечера напролет сидел и пил, задумчиво втянув в себя верхнюю губу; а с личика Питера почти не исчезало настороженное, выжидающее выражение. Даже малышка, только-только учившаяся ходить, и та, казалось, сторонилась ее и предпочитала держаться за воздух. Быть может, все это ей просто мерещится, — порою Салли всерьез боялась за свой рассудок.

Она поднялась на ноги. Море, сшитое с небом тоненькой бежевой ниточкой острова, казалось, исключало возможность вырваться отсюда. Ею овладела паника.

— Ма-альчики!— позвала она.— Пора е-ехать!

Тельце Бобби изогнулось и упало на песок в припадке досады. Он крикнул:

— Мы же только что приехали, ты, дурочка!

— Никогда не смей так говорить,— сказала она ему.— Если будешь грубить, никому и в голову не придет, что в общем-то ты славный маленький мальчик.— Еще одна из теорий Джерри: если часто повторять человеку, что он славный, он и станет славным. И в известном смысле это срабатывало. Питер подошел к ней; Бобби, испугавшись, что его оставят одного, надулся, но все же нехотя побрел за ними к «саабу».

Не езди. Не надо. Однако приказ этот не имел веса, никакого веса, и хотя она читала его в десятке предзнаменований, возникавших препятствиями на ее пути, пока она одевалась и что-то искала, чтобы выбраться из дома, и мчалась в аэропорт, и оплачивала проезд на самолете,— слова оставались пустыми, невесомыми, они колыхались на поверхности, а под ними была глубокая убежденность, что надо ехать, что ничего другого и быть не может, что только это правильно. Волна уверенности в том, что она поступает правильно, подхватила Салли и пронесла над неожиданным препятствием в виде изумленной Джози, мимо обращенных к ней лиц детей, заставила стремительно, задыхаясь, переодеться, пренебречь зловещим непослушанием стартера в «саабе», погнала ее вниз по извилистым аллеям парка Мерритт, по захламленным металлическим ломом бульварам Куинса, помогла выдержать нервотрепку в аэропорту Ла-Гардиа, пока служащие компании «Юнайтед» искали для нее место на самолете, вылетавшем в Вашингтон. И Салли полетела — стала птицей, героиней. Небо легло ей на спину, когда они взмыли ввысь в безоблачную прерию над облаками,— трепещущая, сияющая, неподвижно застывшая, она залпом проглотила двадцать страниц Камю, в то время как тупорылый воздушный кондиционер шелестел над ее волосами. Самолет накренился над глинистым континентом ферм, где скакали лошади величиной с булавочную головку. В иллюминаторе возникли акры пастельных домиков, изогнувшихся кривыми рядами, а потом город—пересекающиеся авеню и миниатюрные памятники. Обелиск Вашингтона на мгновение возник в глубине широкого Молла с куполом Капитолия в противоположном конце. Самолет пролетел над самой водой, подскочил, коснувшись земли, дал обратный ход моторам, содрогнулся, потом, величественно покачиваясь, пробежал немного вразвалку и остановился. Промчавшийся ливень оставил мокрые следы на взлетно-посадочной полосе. Послеполуденное солнце припекало бетон, и от него поднимался влажный жар, тропически душный, совсем не похожий на жару у моря, откуда Салли бежала. Было три часа дня. В аэровокзале люди стремительно шли к выходу, осаждаемые смешанными запахами натертых полов и горячих сосисок. Салли отыскала пустую телефонную будку. Рука не слушалась, вкладывая в отверстие монету. Заусеница на указательном пальце больно задралась, когда она стала набирать нужный номер.

Джерри работал художником-мультипликатором и иллюстрировал телевизионную рекламу; Госдепартамент заказал его фирме серию тридцатисекундных сюжетов на тему о приобщении слаборазвитых стран к свободе, и Джерри отвечал за этот проект. Со времени той первой поездки в Вашингтон Салли помнила, в каком отделе Госдепартамента можно его найти.

— Он не работает у вас в штате, — пояснила она.—Он приехал всего на два дня.

— Мы нашли его, мисс. Скажите, пожалуйста, что передать — кто звонит?

— Салли Матиас.

— Мистер Конант, вас спрашивает мисс Салли Матиас.

Шуршание электрических помех. И его резкий хохоток:

— Эй, ты, сумасшедшая мисс Матиас, привет.

— Я сумасшедшая? Наверно. Бывает, смотрю на себя и думаю — совсем спокойно: «Ты рехнулась».

— Ты где, дома?

— Солнышко, неужели не ясно? Я здесь. В аэропорту.

— Господи, в самом деле приехала, да? Безумица.

— Ты на меня сердишься?

Он рассмеялся, но не стал разуверять ее. Во всяком случае не сказал ничего утвердительного — одни вопросы.

— Да разве я могу на тебя сердиться, если я люблю тебя? Какие у тебя планы?

— А надо мне было приезжать? Я поступлю так, как ты хочешь. Ты хочешь, чтоб я уехала?

Она почувствовала: он что-то высчитывает. За стеклом телефонной будки на натертом полу стоял маленький пуэрториканец, приблизительно одних лет с Питером — должно быть, его тут оставили. Он вращал своими черными глазенками; острый подбородочек его вдруг задрожал, и он заплакал.

— Можешь убить как-то время? — спросил наконец Джерри.—Я позвоню в отель и скажу, что жена решила приехать ко мне. Возьми такси, поезжай в Смитсоновский институт или еще куда-нибудь часика на два, встретимся на Четырнадцатой улице, угол Нью-Йоркской авеню, примерно в половине шестого.

Дверь соседней телефонной будки распахнулась, и смуглый мужчина в цветастой рубашке раздраженно схватил мальчика за руку и повел куда-то.

— А что, если мы друг друга не найдем?

— Слушай. Я найду тебя даже в аду.—Ее всегда пугало, что Джерри, упоминая про ад, имеет в виду вполне конкретное место.—Если почувствуешь, что заблудилась, иди на Лафайетт-сквер — ну, ты знаешь, в садик за Белым домом — и стой под передними копытами лошади.

— Эй, Джерри? Не смей меня ненавидеть.

— О, господи. Вот было бы хорошо, если б я тебя возненавидел! Скажи лучше, как ты одета.

— Черный полотняный костюм.

— Тот, в котором ты была на вечеринке у Коллинзов? Грандиозно. В Смитсоновском институте на первом этаже потрясающие старинные поезда. И не пропусти самолет Линдберга. До встречи в полшестого.

— Джерри? Я люблю тебя.

— И я тебя люблю.

«Значит, он считает, что хорошо было бы, если бы он мог возненавидеть меня»,— подумала она и, выйдя из аэровокзала, взяла такси. Шофер спросил, в какой Смитсоновский институт ей надо — в старый или в новый, и она сказала: в старый. Но подойдя к двери старинного дворца из красного кирпича, она круто повернула обратно Прошлое было для нее лишь пыльным пьедесталом, возведенным для того, чтобы она могла жить сейчас. Она повернула обратно и пошла под солнцем по Моллу. Убывающий день, тротуары, усеянные пятнами тени и семенами, тележки торговцев сластями, туристские автобусы с темными стеклами, набитые глазеющими американцами, стайки детей, причудливое кольцо колеблемых ветерком красно-бело-синих флагов у основания высокого обелиска, индийские женщины в сари с браминскими кружочками на лбу и жемчужинками в ноздре и в то же время при зонтиках и портфелях — все это создавало у Салли впечатление ярмарки, а купол Капитолия вдали, более светлый, чем серые крылья основного здания, поблескивал, словно глазированный марципан. Солнечный свет, озарявший, куда ни глянь, официальные здания, казался ей драгоценным, как деньги, — она шла мимо Музея естественной истории вверх по 12-й улице под сырыми аркадами министерства почт, затем по Пенсильванской авеню — к ограде Белого дома. Она чувствовала себя легко, свободно. Правительственные здания, вылепленные причудливой рукой и застывшие, как бы парили в воздухе рядом с нею — величественные и нереальные, они давили на нее. В просветы между часовыми и зеленью она поглядела на Белый дом — ей показалось, что он сделан из чего-то ненастоящего и похож на меренгу. Она подумала о большеглазом молодом ирландце, который правил там; интересно, каков он в любви, мелькнуло у нее в голове, но представить себе этого она не могла — он же президент. И она свернула на 14-ю улицу, шагая навстречу своей судьбе.

В сумочке у Салли была зубная щетка — весь ее багаж: она унаследовала от отца любовь путешествовать налегке. Ничем не обремененная, не чувствуя жары в своем черном полотняном костюме, она казалась самой себе элегантной молодой вдовой, возвращающейся с похорон мужа, старого, жадного и злого. На самом-то деле Ричард, несколько, правда, отяжелевший за эти десять лет, был все еще хорош собой, хотя голова его, казалось, давила своей тяжестью на плечи, а движения стали менее стремительными и четкими под бременем «ответственности» — слово это он произносил отрывисто и раздраженно. Когда они только поженились, жили они на Манхэттене и, поскольку были бедны, много ходили пешком и ничуть не расстраивались. Она почувствовала призрак Ричарда у своего плеча, вспомнила, как стала даже ходить иначе от сознания, что рядом — мужчина, т в о й с о б с т в е н н ы й. Она ненавидела учебные заведения — эти чопорные места изгнания на Восточном побережье. Ричард вызволил ее из Барнарда и сделал женщиной. Куда же девалась ее благодарность? Неужели она такая испорченная? Нет, не могла она этому поверить сейчас, когда вся была еще наполнена ощущением бескрайнего небесного простора, хотя под ногами блестели кусочки слюды, а ноздри щекотал перечный запах гудрона. Полосы на переходе размазались и сместились, расплавленные летней жарой. Она решительно шагала по широким тротуарам, обгоняя неторопливо шествующих южан. Часы на церкви — лимонно-желтой церкви святого Иоанна — пробили пять ударов. Она пошла на запад по Ай-стрит. Правительственные служащие в распахнутых легких пиджаках, щурясь от солнца, смотрели сквозь нее и спешили дальше — к ожидающим в Мэриленде женам и «Мартини». Море женщин выплеснулось на улицы. По стеклянным фронтонам зданий слева золотой брошью катилось солнце, и жаркие лучи его, нагрев ее лицо, заставили Салли вспомнить о себе. Она поняла, что невольно насупилась, сосредоточенно вглядываясь в лица из страха пропустить лицо Джерри.

Как он просияет! Невзирая на все свои угрызения совести и предчувствия, как он просияет при виде ее,— он всегда сияет, и только она одна способна вызвать у него эту улыбку. Хотя он был всего на несколько месяцев старше ее и отличался удивительной для своих тридцати лет наивностью, в его присутствии она чувствовала себя словно бы его дочерью, чье непослушание всякий раз было проявлением бережно хранимой жизнестойкости. Салли почувствовала, что лицо ее застыло в широкой улыбке — в ответ на воображаемую улыбку Джерри.

А другие лица таили в себе опасность. Ей показалось, что она увидела знакомого, молодого питомца Уолл-стрита, которого Ричард не раз приглашал к ним в дом, — он

как раз заворачивал за угол здания авиакомпании «Бритиш оверсиз эруэйс», напротив простершей свою длань статуи Фэррагата [1]. Фамилия этого человека была Уиглсуорс, а перед ней два инициала — какие именно, Салли не могла вспомнить. Его ничего не выражающее лицо исчезло за углом. Наверняка она ошиблась: ведь на свете миллионы людей, но типов — лишь несколько, а таких людей, которые не принадлежат ни к одному из них, очень мало. Тем не менее из страха быть узнанной она опустила взгляд, так что, как и предсказывал Джерри, обнаружил ее, конечно же, он, хоть и не в аду.

— Салли! — Он стоял на теневой стороне Ай-стрит, без шляпы, подняв руку, точно останавливал такси. В строгом костюме он был обескураживающе похож на всех прочих, и пока он ждал у перекрестка, чтобы сигнал светофора позволил перейти улицу, сердце у нее екнуло, точно она вдруг проснулась и выяснила, что находится за двести миль от дома. Она спросила себя: «Кто этот мужчина?» Сигнал возвестил: ИДИТЕ, и он заспешил к ней — первый в группке людей; сердце у нее заколотилось. Она беспомощно стояла на краю тротуара, а расстояние между ними сокращалось, и ее тело, все ее опустошенное тело вновь чувствовало трепетное касание его рук; она увидела его крючковатый нос, который никогда не загорал и был красным все лето, его печальные, неопределенного цвета глаза, его неровные, торчащие зубы. Он гордо и как-то нервно улыбнулся, с минуту неуверенно постоял, потом дотронулся до ее локтя и поцеловал в щеку.

— Господи, до чего же ты грандиозна, — сказал он, — шагаешь вразвалку своими большими ногами, точно девчонка с фермы, которая на каблуках ходить не умеет.

Сердце у нее успокоилось. Никто больше не видел ее такой. Она ведь из Сиэттла, потому и кажется Джерри девчонкой с фермы. Да она и в самом деле чувствовала себя не в своей тарелке здесь, на востоке. Среди местных женщин немало таких — к примеру Руфь, — которые никогда не прибегают к косметике, никогда открыто не флиртуют; рядом с ними Салли чувствовала себя нескладной, угловатой. Ричард заметил это и пытался понять причину ее неуверенности. Джерри тоже заметил и назвал ее своей «девочкой в ситцах». Только после смерти отца, поехав однажды в Сан-Франциско, она вдруг почувствовала то, что, наверное, чувствуют все дети: до чего же здорово во всем, в каждой маленькой мелочи, быть самой собой.

— Как ты, черт подери, сумела удрать?

— Просто сказала «до свидания», села в «сааб» и отправилась в аэропорт.

— А знаешь, это здорово — встретить женщину, которая умеет использовать двадцатый век на все сто.— Это была еще одна его причуда — считать, будто есть что-то комическое, несообразное в том, что они живут сейчас, в этом веке. Случалось, лежа с ней в постели, он называл ее «дражайшая моя половина». Она чувствовала, что ему доставляет удовольствие деликатно подчеркивать — чтобы она ни в коем случае не забыла — сложность их отношений в рамках окружающего мира. Даже сама его нежность возвещала о том, что их любовь незаконна и обречена.

— Эй,— сказал он, перекидывая к ней мостик сквозь наступившее молчание.— Я не хочу, чтобы ты рисковала ради меня. Я хочу сам рисковать ради тебя.

«Но ты не станешь»,— подумала она, продевая руку под его локоть, и опустила голову, стараясь попасть в ритм его шагов.

— Пусть это тебя не волнует,— сказала она.— Я ведь здесь.

Он молчал.

— Ты злишься на меня. Не следовало мне приезжать.

— Я никогда на тебя не злюсь. Но все-таки как же тебе это удалось?

— Удалось.

Казалось, тела у него нет — одни крупные кости да нервы; у нее возникло впечатление, будто она держится за уголок воздушного змея, который стремится вырваться и взмыть ввысь.

Он тащил ее за собой.

— Ричарда что, сегодня вечером не будет дома? — спросил он.

— Будет.

Он резко остановился.

— Господи, Салли. Что случилось? Ты взяла и сбежала? А назад ты можешь вернуться?

При последнем вопросе голос его резко повысился. Ее ответ еле царапнул ее собственную барабанную перепонку:

— Не волнуйся на этот счет, милый. Я с тобой, а все остальное кажется таким далеким.

— Говори же. Не заставляй меня себя презирать. Расскажи, что произошло.

Она рассказала, переживая все заново, пугая самое себя. Пляж, охватившая ее паника, дети, Джози, самолет, скитание по городу, намерение позвонить домой через час, сказать, что она на Манхэттене, что у нее сломался «сааб» — никак не желает заводиться — и что Фитчи предложили ей переночевать, поскольку завтра утром у нее занятия на курсах искусствоведения в музее «Метрополитен».

---

[1] Фэррагат Дэвид Глазгоу (1801—1870) — американский адмирал.

— Солнышко, это не пройдет,— сказал он ей.— Постараемся не терять голову. Если я сейчас посажу тебя на самолет, ты еще успеешь домой к восьми.

— Ты этого хочешь?

— Нет. Ты же знаешь, я хочу, чтобы ты всегда была со мной.

И хотя все свидетельствовало об обратном, она чувствовала, что это правда. Она — его жена. Это странное обстоятельство, неведомое миру, но ведомое им, превращало неправедное — в праведное, все, казавшееся безумием,— в мудрость. Из всех женщин Джерри выбрал ее, Салли, и самым ценным во время их первого незаконного путешествия было то, что она почувствовала за те два дня, как крепнет эта истина, почувствовала, как расслабляется он. В первую ночь он совсем не спал. Она несколько раз в испуге просыпалась, когда он выскальзывал из постели — то попить воды, то подкрутить воздушный кондиционер, то что-то найти в чемодане.

«Что ты ищешь?»

«Пижаму».

«Замерз?»

«Немного. Спи, спи».

«Я не могу. Тебе плохо, ты несчастлив».

«Я очень счастлив. Я люблю тебя».

«Но я не могу тебя согреть».

«Ты действительно холоднее, чем Руфь,— почему-то».

«В самом деле?»

Должно быть, по ее голосу он почувствовал, что ее оскорбило это неожиданное сравнение, ибо он тут же поспешил отступить: «Нет, я не знаю. Забудь. Спи, пожалуйста».

«Я завтра же уеду. Я не останусь на завтрашнюю ночь, если у тебя из-за меня бессонница».

«Не будь такой обидчивой. Бессонница у меня не из-за тебя. Это господь ее на меня насылает».

«Потому что ты со мной».

«Слушай. Я люблю бессонницу. Это доказывает, что я еще жив».

«Прошу тебя, Джерри, пожалуйста, ложись». Она крепко прижалась к его телу, стараясь заставить воздушного змея спуститься с небес, и сама уснула где-то между землей и небом, на котором в кирпичном колодце двора за их жалюзи начинала разгораться заря. Вторую ночь Джерри хоть еще и крутился, но спал уже лучше, а сейчас, в эту третью ночь, тремя месяцами позже, когда весна уступила место лету, он очень скоро задышал ровно и ритмично, в то время как у Салли все еще слегка колотилось сердце. Она старалась внушить себе, что гордится его доверием. Заснула она, однако, со смутным ощущением утраты, а проснулась рано утром с обостренным сознанием, что осталась одна. Комната была совсем другая, чем в тот первый раз. Стены, хотя Джерри и Салли остановились в том же отеле, были не белые, а желтые, и вместо цветов на них висели два бледных гольбейновских портрета. За жалюзи брезжило утро, и Салли видела лица портретов словно сквозь дымку, отчего они казались живыми — капризные, с пухлыми губками. Свидетелями скольких адюльтеров пришлось им быть? Внизу, по проспекту, шурша метлой, прошел уборщик. Та, первая их комната выходила во двор; эта с высоты пяти этажей смотрела на сквер. Где-то внизу под ними, в лабиринте столицы взвыла сирена грузовика, собирающего отбросы, лязгнул мусорный бак. Она подумала о молочнике, который поднимается сейчас на ее крыльцо, чтобы со звоном поставить свои бутылки у двери покинутого ею дома. Джерри лежал поперек кровати — простыня дыбилась у его горла, а ноги торчали голые. Она растолкала его, разбудила, вызвала в нем страсть. В какой-то момент он сонно прошептал:— Руфь!— Но уже через секунду осознал свою ошибку:— Ах, извини. Невольно вырвалось.

— К твоему сведению, меня зовут мисс Салли Матиас, и я сумасшедшая женщина.

— Конечно, сумасшедшая. И к тому же очень красивая.

— Только немного холодновата по сравнению...

— Ты так этого и не забыла?

— Нет.— Это у нее стало наваждением: дома, садясь в ванну, она теперь быстро касалась своей кожи, выискивая тот холодок, о котором он говорил, а однажды, прощаясь с его женой после званого ужина, не без любопытства задержала в руке ее руку, стремясь ощутить легкую разницу в телесном тепле, дававшую преимущество над ней этой внешне холодной женщине. Она заметила, что тощего Джерри часто знобит. И всякий раз ревниво сражалась с образом той, другой женщины. Однако сейчас все это исчезло. На разгоревшемся восходе долгого июньского дня, который последует за их третьей проведенной вместе ночью, Джерри и Салли любили друг друга ясно, бездумно, как любили Адам и Ева, когда человечество было еще четко разделено на две половины. Она вгляделась в его лицо и невольно воскликнула, пронзенная своим открытием:

— Джерри, какие у тебя печальные глаза!

Улыбка, обнажившая неровные зубы, была поистине сатанинской.— Да как же они могут быть печальными, когда я так счастлив?

— И все же они такие печальные, Джерри.

— Не надо смотреть мне в глаза.
— А я всегда смотрю.
— Тогда я буду закрывать их.

Ах, Салли, моя единственная, утраченная Салли, позволь сказать тебе сейчас — сейчас, пока мы оба еще не забыли, пока в водопаде еще сверкают искры,— что я любил тебя, но самый твой вид был мне вечным укором. Ты была словно запретная земля, куда я входил на цыпочках, чтобы украсть волшебное зерцало. Ты была принцессой, вышедшей замуж за упыря. Я шел к тебе, как рыцарь, чтобы тебя спасти, а превращался в дракона и насиловал тебя. Ты мерила мою цену бриллиантами, я же мог предложить тебе лишь пепел. Помнишь, как в нашей первой комнате во вторую ночь я посадил тебя в ванну и тер губкой тебе лицо, и пальцы, и твои длинные руки так старательно, точно мыл кого-то из моих детей? Я пытался сказать тебе об этом еще тогда. Ведь я — отец. Наша любовь к детям ведет к их потере. Каким прелестным, ленивым, голым ребенком была тогда ты, моя любовница и минутная жена: веки твои были опущены, щеки покоились на простыне из пара, поднимавшегося от воды. Смогу ли я когда-нибудь забыть, хотя я вечно живу на небе, средь колесниц, чьи ободья сплошь состоят из глаз, прославляющих господа,— забыть, как ты вышла тогда из ванны и тело твое вдруг превратилось в водопад? Ты, совсем как мужчина, обмотала свои чресла полотенцем и заставила меня ступить в воду, которую твоя плоть зачаровала, покрыв серебристой пленкой. И я стал твоим ребенком. Дурацкой мокрой рукавщей ты, моя мать, моя рабыня, протерла мне даже уши, и я весь размяк, растаял от этих нежных омовений. Я все забыл, потонул. А потом мы высушили друг другу капли на мокрых спинах и отправились в кровать с намерением мгновенно заснуть, словно два послушных ребенка, которые спят и видят сны в низком шатре, под шум проливного дождя.

Джерри закрыл глаза, и это ее обидело. Она любила наблюдать любовь, следить за игрой, за тем, как постепенно смягчается взгляд. Неужели она порочная? В Париже во время медового месяца с Ричардом ее сначала шокировали зеркала в комнате, а потом стали вызывать интерес. Ведь этим занимаются люди — такие уж они есть. Она даже немножко гордилась, что приучила и Джерри просто на это смотреть. Почему-то Руфь не научила его этому. Однако печаль в его глазах глубоко проникла ей в душу, и до конца дня Салли всем существом остро и испуганно ощущала свой образ в глазах других людей. Продавец газет в пропахшем духами вестибюле отеля, смотревший на нее из-под набрякших век, видел перед собой избалованную молодую даму. Официантка, подавшая им завтрак у стойки, весело взглянула на нее и явно приняла за секретаршу, переспавшую с хозяином. Салли отдала Джерри объятиям такси и осталась одна — она кожей чувствовала, как отражается в каждом взгляде, в каждой стеклянной двери. Для продавцов в японском магазине сувениров она была слишком крупной. Для швейцара-негра она была белой. Для всех остальных — ничто.

Кто же она? И что за тяжесть несет в себе, что за боль, которую, словно нерожденного ребенка, конечно же, стоит нести? Одна ли она такая? Или эта молоденькая черная девушка, похожая на шоколадного лебедя, эта подрумяненная матрона вся в шерсти — они тоже страдают от раздирающей сердце любви, которая в прямом смысле слова возносит на небеса? Салли не могла этому поверить; однако же не хотелось верить и тому, что она одна такая — эксцентричная, сумасшедшая. Ей вспомнилась мать. Когда отец умер во время своей последней поездки — тихий, смирный человек, навеки успокоившийся в больнице святого Франциска (все авторитеты сошлись на том, что в смерти его не были повинны ни таблетки, ни бутылка),— они перебрались в Чикаго, поближе к родственникам матери, и ее мать, хоть и была католичкой, не ударилась в религию, не запила, а стала играть. Непостижимыми островками счастья в ту пору были дни, когда они вместе, на поезде или на автобусе, ездили в Арлингтонский парк, или на трек Готорна в Сисеро, или в Мейвуд смотреть рысаков; все в тех местах держалось на ниточке, на нерве, косо освещенное лучами удачи,— ноги лошадей, обмотанные белым бинтом, хлысты жокеев, планки загородок, брусья турникетов, отполированные множеством рук, исподтишка брошенные взгляды мужчин, возможно гангстеров, летящие на ветру клочья разорванных пополам невыигравших билетов, косые лучи солнца, которые передвигаются словно спицы медленно вращающегося колеса. Опухшие руки матери снова и снова теребили сумочку. Люди или лошади — разве у всех не один инстинкт? О, господи, только что он был рядом с ней, и вот его уже нет — исчез, затерялся среди мраморных зданий. Только что был весь с нею, весь в ней, скулил и хныкал, а через минуту уже встречался с самим заместителем госсекретаря по мультяшкам[1]. Где же тут разумное начало? Кто так все устроил? Он до того все запутал, этот ее не муж и не любовник, что она теперь и сама не знает, верит в бога или нет. Когда-то у нее было на этот счет твердое мнение — «да» или «нет», вот только она забыла какое.

Судя по солнцу, время перевалило уже за полдень, и тень ее съежилась; разгоряченные ноги болели. Салли повернула на север от отеля и неторопливо побрела

[1] Так называют в США Уолта Диснея.

по улицам — через однообразные кварталы, заполненные авиационными агентствами, мимо островков зелени, посреди которых стояли всадники в фисташковой форме и махали ей, пытаясь привлечь к себе внимание. Джерри должен ждать ее в Национальной галерее в час дня. А пока время то бежало, то останавливалось — в зависимости от того, на какие часы падал ее взгляд: свои она забыла надеть в спешке отъезда. И теперь на ее загорелой руке виднелась белая полоска от браслета.

Железные курильницы, каменные вазы, азиатские ножи для бумаги в витринах антикварных магазинов отвечали ей тупым блеском, когда она пыталась найти в них себя. Когда-то ее интересовали эти вещицы; когда-то она умела заполнить время, оказавшись в каком-нибудь городе одна: она разглядывала предметы и ткани и как бы вступала в обладание ими. Теперь же она искала себя в бронзе, шелках и фарфоре и — не находила. Когда она шла вместе с Джерри, она что-то в них обнаруживала, но уже не себя, а их обоих; она объясняла ему, он — ей, они обменивались жизненным опытом, впитывая по частям тот огромный урок, которым стали для них годы, предшествовавшие их любви. В каждой вещи она видела лишь что-то, о чем можно рассказать ему, а без него — нечего и рассказывать: он украл у нее внешний мир. И она вдруг разозлилась на него. Да как он смел говорить ей, чтоб она не приезжала, а когда приехала, сразу лег с ней в постель! И при этом смотрел на нее такими печальными глазами, словно умоляя почувствовать себя виноватой! Да как он смеет брать ее задаром, когда она могла бы продать себя за сотни долларов любому достойному человеку на этом проспекте — ну, например, вон тому. Какой-то чиновник-иностранец в белоснежных манжетах и с экстравагантной, но тщательно продуманной стрижкой горделиво вышагивал по залитому палящим солнцем тротуару мимо министерства юстиции. Он поглядывал на нее. Она красивая. Сознание, что это так, все утро ближе и ближе подступало к ней и сейчас вошло в нее. Она красивая. Где бы она ни проходила, люди смотрят. Высокая, светловолосая, до краев наполненная любовью — отданной и приобретенной. Недаром, когда она поднялась, наконец, по ступеням музея, гигантская ротонда не показалась ей нечеловечески большой — такая, как надо: большому человеку нужны дворцы. Она долго стояла перед фигурой Карла V работы Леона Леони и в его расширенных зрачках видела себя королевой.

— Прекрати,— сказал Джерри, подходя к ней сзади и беря ее за локоть.— Прекрати быть такой красивой и гордой. Ты меня убьешь. Я упаду замертво к твоим ногам, и тогда — как ты доставишь мой труп Руфи?

Руфь, Руфь — она никогда не выходит у него из головы.

— Я очень на тебя рассердилась.

— Я знаю. Это видно.

— Ты думаешь, ты все знаешь обо мне, да? Ты думаешь, я принадлежу тебе.

— Ничего подобного. Ты во многом принадлежишь сама себе.

— Нет, Джерри. Я — твоя. Мне очень жаль. Я обременяю тебя.

— Не надо ни о чем жалеть,— сказал он.— Мне такое бремя нужно.— Глаза его внимательно следили за ее лицом, подстерегая сигнал тревоги, перемену.— Посмотрим?— робко спросил он.— Или пойдем есть?

— Давай посмотрим. Желудок у меня сегодня неспокоен.

И в галерее она все время остро ощущала, что существует среди картин, отражается в блеске глаз, глядевших на нее с портретов, смотрит, пригибается, отступает, позирует в этом завораживающем пестром театральном мире. В музеях Джерри становился маньяком — в нем пробуждалось увлечение школой старых мастеров. Его восторги тянули Салли из зала в зал. Его руки показывали, жадно повторяли жесты на застывших полотнах. Посетители, покорно внимавшие объяснениям через наушники, с возмущением посматривали на них. Наверно, она казалась им тупой ученицей Джерри. Наконец он нашел, что хотел: стену с тремя Вермеерами.

— О, господи,— простонал он,— какой рисунок! Люди не понимают, какой у Вермеера рисунок. Влажные губы вон той женщины. И удивительные шляпы. А та — как освещены ее руки, и золото, и жемчуга. Это прием, понимаешь... двойной прием: точный цвет в точно избранном месте.— Он взглянул на Салли и улыбнулся.—Вот мы с тобой,— добавил он,— мы точно совпадаем по цвету, но, похоже, находимся не в том месте, где надо бы.

— Давай не будем говорить о нас,— сказала Салли.— Мне надоело быть в плохом настроении. У меня болят ноги. Я наверняка отмахала сегодня не одну милю. А что, если мы где-нибудь сядем и поедим?

Стены кафетерия были увешаны репродукциями круглоглазых пернатых — творений Одюбона[1]. Проглоченная через силу еда камнем легла в желудке Салли. Вопреки обыкновению, у нее не было аппетита — возможно, от бессонницы, а возможно, от сознания, что время утекает так быстро. Зато Джерри уплетал за обе щеки — чтобы забить себе рот и не разговаривать или от радости, что еще одна адюльтерная эскапада благополучно подходит к концу. Оба молчали. Салли подумала, что тот огромный урок, который они друг другу преподали, усвоен ими до конца.

[1] Одюбон Джон Джеймс (1785—1851) — американский орнитолог и художник, писавший птиц.

Она вздохнула:— Не знаю. Наверно, мы просто оба ужасно эгоистичны и жадны.

Хотя она произнесла это, чтобы доставить ему удовольствие, он тут же с ней не согласился:— Ты полагаешь? В конце концов Ричард и Руфь не так уж много нам и дали. Ну, почему мы должны умирать ради того, чтобы их жизнь шла как по накатанному? Не умерщвляйте духа своего — разве святой Павел этого не сказал?

— Возможно, это чувство новизны делает наши отношения такими удивительными. Но мы устанем. Я уже сейчас устала.

— От меня?

— Нет. От всего.

— Я знаю, знаю. Не бойся. Мы благополучно доставим тебя назад.

— Меня это не волнует. Ведь Ричарду в общем-то все равно.

— Не может быть.

— Может.

— Думаю, что и Руфи было бы безразлично, узнай она обо всем.

Хотя Салли понимала, что Джерри сказал это просто в тон ей, она вдруг услышала свое настойчивое:— А хочешь, давай не вернемся? Возьмем и удерем?

— Ты лишишься своих детей.

— Я готова.

— Это ты сейчас так говоришь, а через неделю тебе станет их не хватать, и ты возненавидишь меня, потому что их с тобой не будет.

— Ты такой умный, Джерри.

— От этого нам ничуть не легче, верно? Бедняжка ты моя. Тебе нужен хороший человек в мужья и плохой человек — в любовники, а у тебя все наоборот.

— Ричард совсем не такой уж плохой.

— О'кей. Извини. Он — принц.

— Обожаю, когда ты злишься на меня.

— Я знаю. Но я не злюсь. И не собираюсь злиться. Я люблю тебя. Если хочешь ссориться, отправляйся домой.

Она посмотрела вокруг — за столиками сидели студенты художественных школ, преподаватели в обмотанных клейкой лентой очках, толстухи, бежавшие от жары, а на стенах — такие мертвые-мертвые птицы.

— Я туда и отправлюсь,— сказала она.

— И правильно сделаешь. Давно пора. Вот только остановимся по дороге купить что-нибудь моим чертовым деткам.

— Ты балуешь их, Джерри. Ты ведь уезжал всего на один день.

— Они ждут подарков.— Он поднялся, и они вышли через дверь, открывавшуюся прямо на тротуар. Он шагал стремительно, широко — мимо торговцев сластями и автобусов с туристами, и, стараясь не отстать, она задыхалась, так что слова не могла вымолвить. Наконец, сжалившись над ней, он взял ее за руку, но прикосновение было влажным, и обоим стало неловко: они уже перешли тот возраст, когда ходят, держась за руки. У двери в магазин мелочей, где в витрине были выставлены обычные дешевые сувениры — свинки-копилки, флажки, набившие оскомину изображения Кеннеди во всех видах,— выдержка вдруг изменила ей, и она наотрез отказалась зайти.

— Но почему?— спросил он.— Помоги мне выбрать.

— Нет. Не могу.

— Салли.

— Выбирай сам. Это твои дети — твои и Руфи.

Он побледнел: он никогда еще не видел ее такой.

Она попыталась загладить ссору:— Я пойду в отель и уложу твой чемодан. Не волнуйся. Только, пожалуйста, не заставляй меня покупать с тобой игрушки.

— Слушай. Я люблю...— Он попытался взять ее под локоть.

— Не ставь меня в глупое положение, Джерри. Мы мешаем людям входить.

Шагая одна по 14-й улице — от блеска кусочков слюды в асфальте у нее резало глаза,— Салли вдруг заплакала и тотчас поняла, что никому до нее нет дела: никто на нее не смотрит — ни одна живая душа из всего этого множества людей.

Они вместе вышли из отеля и поймали такси. Они пересекли Потомак и проехали мимо какой-то непонятной аварии на дороге через парк у обелиска Вашингтона. Старенький синий «додж» с красным номером штата Огайо лежал вверх колесами на средней полосе — просто непостижимо, как его угораздило перевернуться. Никакая другая машина к этому явно не была причастна. Смеющиеся полисмены под палящим солнцем направляли движение. Две толстухи с всклокоченными волосами обнимались у линии разграничения, а вся поверхность дороги блестела, усеянная стекольной пудрой. Рука Джерри сжала ее руку. Авария осталась позади, машинам стало свободнее, и они поехали быстрее, шофер перестал что-то бормотать, и, покрутив по «восьмеркам», они подкатили к северному крылу аэровокзала.

В зале ожидания — хотя был обычный рабочий день — неожиданно оказалось много народу. По лицам оборачивавшихся людей Салли поняла, что их находят красивой парой, в чем-то заурядной, а чем-то запоминающейся: он — в сером, она — в черном, он — с чемоданом, она — с карманным изданием Камю. Она представила

себе, как они на протяжении жизни входили бы в аэропорты, на вокзалы, на причалы, в вестибюли гостиниц, и подумала, что они всегда выглядели бы такими же — высокие, молодые, чуть слишком часто друг друга касающиеся. Хорошо бы Джерри перестал то и дело брать ее за руку — это разрушает иллюзию, будто они женаты. А он, видимо, не думал о необходимости поддерживать эту иллюзию здесь. Он поставил чемодан и направился к одной из очередей, а она, покраснев, волнуясь, заняла место в хвосте соседней очереди. Очередь была длинная, двигалась медленно, и постепенно Салли поняла, что атмосфера веселого ожидания, царившая вокруг, не имеет никакого отношения ни к ней, ни к ее растерянному виду. Пораженная, она вдруг обнаружила — так поражается человек, который, проснувшись, видит, что находится в комнате, где мебель расставлена точно так же, как в его долгом сне,— что кроме нее на свете существуют другие люди и другие проблемы. В очереди позади нее стоял полный раскрасневшийся человек в мятом дакроновом костюме — от волнения он даже не замечал, что то и дело ударяет ее по ногам своим чемоданом.— Мне надо быть в Ньюарке к семи,— твердил он. Взволнованное лицо уже не пыталось сохранять вкрадчивое выражение, на которое намекала тоненькая щеточка усов. Одно время Ричард тоже носил такие усы, и Салли подумала: не потому ли его верхняя губа в профиль кажется ей теперь такой голой и беззащитной.

Когда две очереди, изогнувшись, сблизились до расстояния вытянутой руки, Джерри взял ее под локоть и сказал:

— Похоже, забастовка в «Истерн» создала здесь такую пробку. Надо было нам заранее забронировать места. Когда ты должна вернуться?

— Я думала — между пятью и шестью. Да не волнуйся ты так, Джерри.

— Я волнуюсь не за себя. Руфь поедет встречать меня только после девяти. Давай подумаем. Сейчас пять минут четвертого. Предположим, мы не попадем на три пятнадцать, следующий самолет — в четыре пятнадцать; твоя машина стоит в аэропорту Ла-Гардиа...

— Она может не завестись.

Салли сказала это, чтобы подразнить его. Но он даже не улыбнулся. Длинное лицо его было напряжено и без смешливых морщинок казалось моложе, неискушеннее. Ричард не раз говорил: Джерри не знает, что такое страдание. Салли поняла эти слова по-своему: что Джерри скользит по поверхности, а Ричард зарывается вглубь; или же: что Джерри со своей женою жить легче, чем ему с нею. Но мысль об этом не оставляла Салли, и она то и дело думала: не для того ли Джерри впустил ее в свою жизнь, чтобы научиться страдать. Он сказал:

— Будем исходить из того, что заведется. Тогда ты приедешь домой чуть позже шести — со скидкой на час «пик». Это тебя устроит?

— Как выйдет, так и выйдет,— отрезала она. Их разговор явно начал отвлекать стоявшего позади мужчину от собственных забот.

Джерри выхватил у нее из руки деньги и раздраженным жестом показал, чтобы она вышла из очереди.— Я с таким же успехом могу купить и оба эти чертова билета. Не понимаю, на кой бес нам нужно создавать эту видимость.— Он посмотрел прямо в лицо мужчине, стремившемуся попасть в Ньюарк, и изрек:— «Летайте по воздуху, ругайте без роздыху».— Такая бравада как раз в его стиле: ему приятно создавать впечатление, что он — с любовницей.

Все пластмассовые кресла были заняты. Молоденький моряк-китаец поднялся, уступая Салли место, и она, перешагнув через его спортивную сумку, села. Обычно она не любила, когда к ней относились как к слабому существу, но сейчас охотно приняла предложение моряка. Ей хотелось от всего отключиться. Она углубилась в Камю. Пистолет в руке, слепящий свет. Араб в бумажных брюках. Выстрел как удар хлыстом. Ощущение нереальности. Джерри подошел к ней, держа два желтых билета, и сказал:

— Ну и каша. Оказывается, сегодня на Нью-Йорк не бронируют места — мы все в живой очереди. Но они в любую минуту ждут сообщения о дополнительном самолете. Я уверен, что ты попадешь домой к шести.

— Ш-ш. Ты слишком громко говоришь.

— Слишком громко — для чего?

— А, неважно.

Отрезвленный ее взглядом, он сказал:

— Я получил посадочные талоны с номером очереди.

— На чье имя?

— На мое. О'кей?

Она не могла не улыбнуться.

— Это, кажется, незаконно,— сказала она, потому что он явно об этом сейчас и думал.

«Пасхальное шествие» в бравурной аранжировке «Музак» вдруг смолкло, и громкоговоритель забормотал что-то нечленораздельное. Новая волна усталых путешественников скатилась по настилу и растеклась у билетных стоек. Служащие в синих форменных костюмах казались совсем юными и испуганными. Они с преувеличенной четкостью прикрепляли к билетам талончики на багаж и отвечали на вопросы с той

непреложной категоричностью, с какой Салли обычно лгала Ричарду. «Ты врешь как мужчина,— однажды сказал он ей.— Выдумаешь какую-нибудь неправдоподобную историю и держишься ее». Значит, Ричард знает о ней то, чего не знает Джерри. Она ведь никогда не лгала Джерри. И при мысли об этом он сразу показался ей безнадежно наивным, беспомощным; она встала и пошла к стойке вдоль очереди, состоявшей сплошь из мужчин. Должны же быть какие-то преимущества оттого, что ты — женщина; нельзя только ждать и желать.

Девушка, занимавшаяся билетами, была такая молоденькая, что не побоялась искусственной седины; Салли почувствовала свое превосходство над нею — превосходство умудренной опытом женщины. У этой девчонки нет детей, нет женатого любовника, за которого она не может выйти замуж. Она из причуды покрыла волосы инеем.

— Я д о л ж н а быть дома к шести,— заявила ей Салли. Но голос ее прозвучал хрустко, робко, тогда как ответ девушки был профессионально тверд.

— Мне очень жаль, мисс,— сказала она.— Следующий самолет на Ла-Гардиа вылетает в четыре пятнадцать. Пассажирам, стоящим в живой очереди, следует пройти к выходу двадцать семь, имея при себе посадочные талоны с порядковым номером.

— Но мы попадем на самолет?— спросила Салли.

— По расписанию следующий самолет на Ла-Гардиа вылетает в четыре пятнадцать,— повторила девушка, ловко прикалывая талончик к билету.

Джерри подошел и встал за спиной Салли.

— Нам сказали, что может быть дополнительный.

— Мы ждем сообщения об этом, сэр,— сказала девушка. Взгляд ее кукольных глаз, умело подмазанных гримом, официально выдаваемым авиакомпанией, охватил Джерри вместе с Салли, но выражение их не изменилось. Салли не была уверена, должна ли она говорить «мы» или «я». Люди в очереди, услышав их переговоры с девушкой и почувствовав, что эти двое могут попасть на самолет раньше остальных, заволновались, затолкались.

— Прошу соблюдать очередь,— повысив голос, крикнула девушка.— П р о ш у не выходить из очереди.

Салли вдруг почувствовала симпатию к девушке: пока они с Джерри занимались любовью, таким вот младенцам пришлось взвалить на себя дела целого мира. И теперь, когда взрослые вылезли из своего эгоистического уединения в постели, они с раздражением обнаружили, что мир распадается на части. Какие все мы алчные, какие напористые! Салли стало стыдно, и она закрыла глаза, от души желая снова стать маленькой девочкой. Девочкой, какой она была до того дня, когда отец не вернулся домой. Все поездки, подумала она, таят в себе эту возможность — невозвращения.

— Пить хочется,— сказала она.

Джерри спросил:— Пить или выпить? Чего-нибудь крепкого или просто так?

— Просто так. От алкоголя у меня только больше будет голова кружиться.— Какой-то частицей души она все еще была там, на берегу, с Мерсо и Арабом.

У стойки, где продавали сосиски, стояла такая толпа, что не протолкнешься, но шагах в ста дальше по коридору в направлении центрального зала они обнаружили бар, открытый, точно сцена, с одной стороны; в дальнем конце его был свободный столик. Джерри усадил за него Салли и из отнюдь не блещущего чистотой оазиса, по обеим сторонам которого булькали стеклянные конусы с подцвеченной водой, добыл два пакетика молока в виде двух островерхих палаток из вощеной бумаги. Вернувшись к столику, Джерри поставил один пакетик себе на голову и стал им балансировать. В руке он держал соломинку в белом бумажном пакетике и размахивал ею, как волшебной палочкой. А Салли была Золушкой.

Она сказала:— Не занимайся эксгибиционизмом.

— А я буду,— сказал он.— Я пришел к выводу, что я страшный человек. Понять не могу, что ты во мне нашла.

Она проткнула отмеченный пунктиром уголок, просунула в отверстие соломинку и принялась пить; по выражению его лица она поняла, что он пустится сейчас в рассуждения.

— Займемся анализом,— сказал он.— Что ты во мне нашла? Должно быть, то, что ты можешь быть со мной лишь считанные минуты — минуты, за которые тебе приходится бороться,— и делает наши отношения бесценными. А вот если мы поженимся, когда я умерщвлю свою жену и по крови своих детей приду к тебе...

— Какие ужасы ты говоришь, Джерри.

— Так мне это видится. Если я таким образом поступлю, я уже не буду тем, кого, тебе кажется, ты любишь. Я буду человеком, бросившим жену и троих детей. Я буду презирать себя, и ты очень быстро станешь относиться ко мне соответственно.

— Я вовсе не уверена, что все именно так произойдет,— сказала она, мысленно пытаясь как-то обобщить свои представления о жизни. Он, право, ничего не понимает. Джерри верит в возможность выбора, в ошибки, в осуждение на вечные муки — верит, что можно избежать страданий. Они же с Ричардом просто верят в случай. Да, конечно, детство у нее было несчастливое: неожиданная смерть отца, интернаты —

и тем не менее в ней жило чувство, что она не имела бы сейчас своего лица, случись все иначе. Она была бы другой — такою, какой ей вовсе не хотелось быть.

— С другой стороны,— сказал он, изящно изгибая кисть (никому из ее знакомых не доставляло такого удовольствия любоваться своими руками),— почему я тебя люблю? Ну, ты мужественная, добрая — в самом деле очень добрая,— роскошная, женственная, живая, в общем, отличная баба, это всякому ясно. Тут уж ничего не скажешь: стоит тебе войти в комнату, все в тебя влюбляются. Я влюбился в тебя, как только увидел, а ты была тогда на девятом месяце — ждала Питера.

— А ты ведь ошибаешься. Я нравлюсь очень немногим.

Он с минуту подумал, словно производя смотр сердец их общих знакомых, и затем сказал с присущей ему жесткой бесстрастностью:

— Пожалуй, ты права.

— Ты вообще единственный, кто видит во мне что-то особенное.— Подбородок у нее задрожал: произнося эти слова, она почувствовала, что еще крепче привязывает себя к нему.

Он сказал: — Другие мужчины — просто идиоты. Однако же, невзирая на все свои чары, ты несчастлива. Ты нуждаешься во мне, а я не могу тебе себя дать. Я хочу тебя, а получить в свою собственность не могу. Ты — точно золотая лестница, до вершины которой я так никогда и не долезу. Я смотрю вниз — и земля кажется мне клубком голубого тумана. Я смотрю вверх — и вижу сияние, до которого мне никогда не добраться. Это-то и придает тебе непостижимую красоту, и если я женюсь на тебе, я ее уничтожу.

— Знаешь, Джерри, брак — он ведь кое-что и создает, а не только разрушает иллюзии.

— Знаю. Я действительно это знаю. И это меня убивает. Я хочу помимо всего прочего — хочу с ф о р м и р о в а т ь тебя, создать тебя заново. Я чувствую, что мог бы. А вот с Руфью я этого не чувствую. Она в общем-то уже сложилась, и если мне жить с ней, то лучше всего...— И он на пальцах проиллюстрировал свою мысль:— На параллелях.

— Давай посмотрим правде в лицо, Джерри. Ты все еще любишь ее.

— Она не вызывает у меня неприязни — это точно. Хотел бы, чтоб было иначе. Это могло бы все облегчить.

Она потянула через соломинку воздух со дна пакета.

— Не пора ли нам двигаться, чтоб не опоздать на четыре пятнадцать?

— Подожди, не затыкай мне рта. Пожалуйста. Послушай. Я вижу все так ясно. У нас с тобой, солнышко мое, Салли,— любовь идеальная. Идеальная — потому что она не может быть материализована. Для мира мы не существуем. Мы никогда не лежали вместе в постели, мы не были вместе в Вашингтоне; мы — ничто. И любая попытка начать существовать, вырваться из этой муки убьет нас. О, конечно, мы можем на все наплевать и пожениться и как-то склеить совместную жизнь — в газетах об этом пишут каждый день,— но то, что есть у нас сейчас, мы потеряем. Самое грустное, конечно, что мы в любом случае это потеряем. Слишком вся эта ситуация тяготит тебя. Ты скоро меня возненавидишь.— Он был явно доволен столь блистательным выводом.

— Или ты — меня,— сказала она, поднимаясь. Ей не нравился этот бар. Детишки, ссорившиеся за соседним столиком, вызвали у нее тоску по собственным детям. Мать детишек, хоть и была не старше Салли, выглядела бесконечно измученной.

Когда они выходили из этого бара, напоминавшего сцену, Джерри рассмеялся так театрально, что все головы повернулись в их сторону. Он схватил Салли за руку выше локтя и сказал:— Знаешь, на что мы похожи? Мне только сию минуту пришло это в голову. Мы с тобой — точно слова молитвы, выгравированные на рукоятке ножа. Помнишь, в детстве мы читали Рипли «Веришь — не веришь?» — там всегда были такие штуки? Выгравировано старым чероки в Стиллуотере, штат Оклахома?

Они пошли к выходу на поле по коридору, оклеенному рекламами: одна стена здесь была голубая, другая — кремовая. Салли поняла, что бессильна против этого потока слов: ее словно обезоружили и выставили на посмешище.— Джерри, наш брак ничем бы не отличался от других браков: жизнь не превратилась бы в сплошной рай, но это еще вовсе не значит, что в ней не было бы ничего хорошего.

— Ох, не надо,— взмолился он, глаза его стали какие-то бесцветные, и он поспешно отвел их от нее.— Не заставляй меня терзаться. Конечно, нам было бы хорошо. Бог ты мой! Конечно, ты была бы мне лучшей женой, чем Руфь. Хотя бы потому, что ты животное классом выше.

«Животное» — это слово больно хлестнуло ее, но, собственно, почему? В Париже она глядела на себя в зеркала и видела правду: люди — животные, белые животные, извивающиеся, рвущиеся к свету. У выхода номер 27 толпились животные в костюмах, но они плотно сбились, словно стадо у кручи; от них исходил запах паники. Впервые Салли ощутила безнадежность ситуации. Десятки людей пришли сюда раньше их. Иллюзия порядка, которую поддерживали немногословные молодые агенты по продаже билетов в большом зале ожидания, здесь, среди реклам, предлагающих посетить Бермудские острова и нью-йоркские мюзиклы с длинными, ничего не говоря-

щими названиями, полностью рассыпалась. Ни единого сотрудника авиакомпании. Стальная дверь выхода номер 27, точно вход в газовую камеру, плотно задвинута. Бетонный пол чуть скошен, словно для стока крови. Джерри поставил чемодан у металлической стены и жестом предложил Салли сесть на него, а сам отправился в голову очереди — поговорить с теми, кто был в гуще толкучки. Вернувшись, он сказал:

— Ну и дела. Двое из тех ребят ждут уже с полудня.

— Посадочные талоны у тебя?— спросила она.

Расстроенный, взмокший, он дважды перерыл все карманы, пока, наконец, нашел их и, точно фокусник, стремительным жестом извлек на свет. Внезапно залаял невидимый громкоговоритель. Негр в больших голубых солнечных очках и пилотской фуражке открыл с другой стороны стальную дверь. К нему жался маленький бледный контролер с узким лицом. Громкоговоритель объявил посадку на самолет, вылетавший в четыре пятнадцать на аэродром Ла-Гардиа, выход номер 27, и по коридору, чинно вышагивая, продефилировала группа пассажиров — легкие чемоданчики, хорошо одетые дети и шляпы с цветами. Все это были обладатели забронированных мест. А прочие — «живая очередь» — толпились за оградой из металлических трубок. Один за другим обладатели забронированных мест отмечались у стойки и исчезали. Крещендо недовольных воплей взмыло над сгрудившейся очередью, угрожая захлестнуть негра в голубых солнечных очках; он поднял глаза от билета, который как раз собирался надорвать, и весело сверкнул белоснежными зубами, широкой улыбкой, поражавшей глубиной своей радости, своей мстительности, своего понимания и своего ангельского презрения.

— Потерпите, ребята,— сказал он.— Пусть жена сначала выпроводит его из дома.

Нарочито громкий смех был ответом на эту шутку. Джерри тоже рассмеялся и осторожно бросил взгляд на Салли, а ей был отвратителен смех толпы: они же все подхалимничают перед этим негром. Только бы привлечь к себе его внимание — может, тогда он пропустит их. Дверь, ведущая к самолету, превратилась в позорную преграду; чтобы пройти сквозь нее, требовались улещивания и подкуп. Когда последние обладатели забронированных мест отметились, у стойки пошептались и выкрикнули два номера, не имевших ничего общего с теми, что стояли на посадочных талонах Джерри и Салли. Двое мужчин—таинственные избранники, по костюму и внешнему виду ничем не отличавшиеся от остальных,— отделились от стада и прошли в дверь. Негр приподнял свои голубые солнечные очки и медленно оглядел оставшихся. Глаза у него были налиты кровью. На секунду они остановились на Салли, приподнявшейся было с чемодана.

— Всё, друзья,— сказал он.

В воздухе раздался сдавленный стон протеста.

— А как насчет дополнительного?— крикнул кто-то.

Негр словно и не слышал. Он шагнул в сторону, и стальная дверь с грохотом захлопнулась за ним. Фаланга пассажиров с только что прилетевшего самолета появилась в глубине коридора и двинулась на них — им пришлось отступить в зал ожидания, который сразу словно уменьшился в размерах. Ноги у Салли болели, в горле снова пересохло, и мужчина, стоявший рядом, вдруг показался ей загримированным и чужим, одновременно близким и далеким — точно в пьесе, которую они играли в школе, когда другая девочка изображала ее мужа. Нараставший у Джерри страх — а Салли чувствовала его запах — оскорблял ее. Она сказала ему: — Джерри, ты не видишь всего юмора ситуации.

Он спросил:— Может, попытаем счастья в «Американ»?

— У меня не хватит денег еще на один билет.

— Господи, у меня тоже. Придется сдать наши билеты и получить деньги.

Он добрых четверть часа проторчал в плотно сбитой, громко выражавшей свое возмущение очереди, и когда билеты были, наконец, сданы и деньги получены, Джерри и Салли помчались по бесконечным чертовым коридорам и лестницам, соединявшим северное крыло аэровокзала с главным зданием. Компания «Американ» помещалась в самом дальнем конце. Здесь было просторнее, яркий свет не так бил в глаза, но к полированным поверхностям все равно липла чума суеты. От билетных стоек отошли двое-трое со знакомыми лицами — такие же, как они, ветераны ожидания. «Кина, ребятки, не будет»,— весело объявил им один. Значит, их уже приметили. Должно быть, они привлекают внимание — неужели так заметно, что они незаконно вместе? Неужели от них так несет любовью?

Агент по продаже билетов компании «Американ», отвечавший точно запущенная магнитофонная лента, подтвердил дурные вести: ни одного места на север до завтрашнего утра. Джерри отвернулся от стойки, губы его брезгливо вытянулись под облезшим от загара носом. Салли спросила:— А мы можем снова получить наши места в «Юнайтед»? У нас ведь сохранились посадочные талоны.

— Сомневаюсь. Ох, до чего же я нескладный. Возьми себе лучше пилота в возлюбленные.

Они помчались назад — ее стертые пятки вопили от боли при каждом шаге,— и Джерри снова стал в очередь, и девушка с химически-седыми волосами, состроив гримасу, восстановила их в списке. Он вернулся к Салли и сообщил:— Она говорит,

нечего и думать попасть на тот, что вылетает в пять пятнадцать, но они надеются, что будет дополнительный около шести. Ричард уже вернется домой?

— Наверно. Джерри, не надо делать такое отчаянное лицо. Положение безвыходное. Давай примиримся с тем, что еще несколько часов проведем вместе.

Руки его безвольно висели вдоль тела. Он дотронулся до ее плеча.

— Пойдем погуляем.

Они прошли мимо автоматов, продающих плитки шоколада и книжки Гарольда Роббинса, и, толкнув захватанную двойную дверь, выбрались на воздух. Она сняла туфли, и он нес их — по одной в каждой руке. Она взяла его под локоть, и он, сунув туфлю в карман пиджака, сжал ее пальцы свободной рукой. Они вышли на узкий тротуар, тянувшийся вдоль каких-то безликих, низких кирпичных зданий — здесь, видимо, никто никогда не гулял,— и двинулись по нему. Асфальт под ее ногами без туфель был теплый. Джерри вздохнул и опустился на низкий бетонный парапет, который разделял два клочка пожухлой травы, нуждавшейся в стрижке, Салли села с ним рядом. Перед ними лежал голый пустырь, где стоял, уткнувшись в землю, одинокий бульдозер, словно его бросили посреди последнего рывка в конце рабочего дня. Мирная тишина повисла над этими акрами ободранной земли. За ними брусочек моста через шоссе поблескивал бесшумно проносившимися машинами. Вдали виднелись деревья, стояли ряды красноватых государственных жилых домов, а еще дальше, на низком синем холме — аккуратно посаженная роща и надо всем — бескрайнее нежно-голубое небо, зеленоватое ближе к затянутому дымкой горизонту. Пейзаж был какой-то удивительно благостный. Без туфель ноги у Салли перестали гореть, и ее спутник здесь, на фоне неба и травы, вновь обрел реальность.

— Я так и вижу нас в Вайоминге,— сказал он, вытянув руку и указывая куда-то в пространство,— с нами твои дети, и у нас есть лошадь, и холодное маленькое озеро, где можно плавать, и сад, который мы разобьем у дома.

Она рассмеялась. Она заметила как-то мимоходом, что ей всегда хотелось вернуться на Запад, но не на побережье, и с тех пор он в своих планах на будущее неизменно исходил из этого. «Вайоминг» — само слово, когда она мысленно писала его, дышало простором, привольем.

— Не дразни меня,— сказала она.

— Разве я тебя дразню? И не думаю. Я говорю это потому, что так чувствую, хочу, чтобы так было. Извини. Боюсь, слишком я с тобой нюни распускаю; наверно, следовало бы делать вид, будто я вовсе не считаю, что жизнь у нас сложится чудесно. А ведь жизнь у нас с л о ж и т с я чудесно, если я сумею проглотить чувство вины. Первый месяц мы станем только заниматься любовью и смотреть на все вокруг. Мы ведь будем такие усталые, когда там обоснуемся, и нам придется смотреть на мир заново и строить его, начиная с фундамента: засыпать гравий, потом класть камень за камнем.

Она рассмеялась:— Мы с тобой будем этим заниматься?

Он явно обиделся:— А разве нет? Это кажется тебе неразумным? Меня, например, после любви с тобой всегда тянет к земле. Сегодня утром, когда мы под руку вышли на улицу, я увидел в витрине магазина маленькое растение, и оно показалось мне удивительно живым. Каждый листочек, каждая жилка. Именно такими я видел предметы, когда учился в художественной школе. В Вайоминге я снова начну писать маслом — и рисовать тостеры для рекламного агентства в Каспере.

— Расскажи мне про художественную школу, Джерри.

— А нечего рассказывать. Я поступил туда и встретил там Руфь, и она очень неплохо для женщины рисовала; отец у нее был священником, и я женился на ней. И не жалею об этом. Мы прожили вместе несколько хороших лет.

— Знаешь, тебе будет ее не хватать.

— В определенном смысле — пожалуй. А тебе, как ни странно, будет не хватать Ричарда.

— Не говори «как ни странно», Джерри. Ты иногда вынуждаешь меня думать, что все это — дело моих рук. Ты и Руфь были так счастливы...

— Нет.

— ...а тут появилась эта злополучная женщина, которая вела себя так, будто хочет завести себе любовника, тогда как на самом деле хотела заполучить тебя в мужья.

— Да нет же. Слушай. Я ведь уже не один год люблю тебя. И ты это знаешь. И понял я, что люблю тебя, не в ту минуту, когда ты стала моей,— я это понял, у в и д е в тебя. Что же до брака, то ведь не ты завела о нем разговор. Ты считала его невозможным. А я подумал, что из этого может кое-что получиться. Мне, конечно, не следовало говорить об этом, пока я сам твердо не решил, но ведь и тут мною двигала любовь к тебе: я хотел, чтобы ты знала... Ох, слишком много я болтаю. Даже слово «любовь» начинает звучать бессмысленно.

— В одном ты был неправ, Джерри.

— В чем же? Похоже, я неправ во всем.

— Своей великой любовью ты внушил мне, что быть на положении любовницы — это для меня унизительно.

— Так оно и есть. Ты для этого, право же, слишком хорошая, слишком прямая.

Слишком уж самозабвенно ты себя отдаешь. И я ненавижу себя за то, что все это принимаю.

— Принимай и дальше, Джерри. Если ты не можешь взять меня в жены, пусть хоть я останусь для тебя хорошей любовницей.

— Но я не хочу, чтобы ты оставалась любовницей — наши жизни для этого не приспособлены. Любовницы — это для европейских романов. А здесь, у нас, другого института, кроме брака, нет. Семья — и баскетбол в пятницу вечером. Ты так долго не выдержишь; тебе кажется, что выдержишь, но я-то знаю, что нет.

— По-моему, я это тоже знаю. Просто я ужасно боюсь, погнавшись за безраздельным обладанием тобой, потерять даже то, что у нас сейчас есть.

— У нас есть любовь. Но любовь должна приносить плоды, иначе она иссякнет. Я вовсе не имею в виду детей — видит бог, у нас их и так слишком много,— я имею в виду ощущение раскованности, праведности — понимаешь, любовь должна быть освящена благословением. Слово «благословение» кажется тебе глупым?

— А разве мы — не благословение друг для друга?

— Нет. Оно должно исходить не от нас, а свыше.

Над ними в вышине, в еще ярком небе, тогда как на землю уже наползала тень, беззвучно висел распластанный серебряный самолет. Джерри легонько обнял ее за плечи и совсем по-иному посмотрел на нее — лицо его расползлось в отеческой улыбке, всепрощающей, обволакивающей. Он сказал:— Эй!— и посмотрел на свои колени.— Ты знаешь, я могу сидеть здесь с тобой и говорить о потерях — о том, что могу потерять тебя и что мы оба можем потерять нашу любовь, но ведь я говорю только потому, что ты — со мной, и все это всерьез не воспринимаю. А вот когда я потеряю тебя, когда тебя со мной не будет, тут я взвою как зверь. По-настоящему взвою. И все, что мешает мне сейчас прийти к тебе, покажется пустыми словами.

— Но ведь это не пустые слова.

— Нет. Пожалуй, не совсем. Возможно, беда наша в том, что мы живем на закате старой морали: она еще способна мучить нас, но уже не способна поддерживать.

Тембр его голоса, заглохшего в беспросветном мраке, заледенил ее. Она чуть подвинулась вперед, высвобождаясь из-под его руки, встала, глубоко вобрала в легкие воздух и позволила мысли раствориться в природе.

— Какой чудесный долгий день,— сказала она, пытаясь вернуть радость, охватившую их при виде этих мест.

— Почти самый долгий в году,— сказал он, поднимаясь с наигранно самоуверенным видом, который старался придать себе всякий раз, как получал отпор.— Никак не могу сообразить, дни сейчас убывают или еще прибывают?— Он посмотрел на Салли и, решив, что она не поняла, пояснил:— Я имею в виду солнцестояние.

И оба расхохотались от этой его попытки объяснить очевидное.

Они вернулись в зал ожидания и обнаружили, что там по-прежнему полно народу. Самолет в пять пятнадцать улетел. Запах сосисок усилился: настало время ужина. Трое молодых людей за стойками уже явно осатанели от нескончаемого столпотворения. Они перекидывались остротами, то и дело пожимали плечами и не столько отвечали на вопросы разъяренной, взволнованной толпы, сколько стоически сносили ее возмущение. Девушка с седыми волосами потягивала кофе из стаканчика с эмблемой авиакомпании. Джерри осведомился у нее, будет ли дополнительный самолет в шесть часов.

— Нам еще ничего не известно, сэр.

— Но ведь час назад вы сказали, что он будет.

— О вылете объявят, сэр, как только мы получим подтверждение.

— Но нам н е о б х о д и м о попасть домой. Наша... наша помощница, которая сидит с ребенком, собиралась пойти на танцы.— Как это похоже на Джерри, подумала Салли: зачем врать, когда не умеешь. Танцы во вторник вечером? Они с девушкой переглянулись, и тогда Джерри, разоблаченный ими обеими, спросил девушку напрямик:— Так есть надежда?

— Мы запросили о дополнительном самолете нашу главную контору и ждем ответа,— сказала она и отвернулась, чтобы без помехи насладиться кофе.

Вид у Джерри был такой мрачный, что Салли сказала: «Я есть хочу» в надежде услышать от него обычную грубовато-дружескую шутку по поводу ее аппетита. Но он воспринял ее слова лишь как некий факт, требовавший определенных действий, и, вытащив не без труда свой чемодан из-за пластмассового кресла, повел ее назад по голубому и кремовому коридору в бар. Все столики были заняты. Он поставил чемодан у металлического столба и, усадив на него Салли, отправился к стойке выяснять, есть ли сандвичи. Он принес два тоненьких сухих ломтика хлеба с ветчиной и сыром и два бумажных стаканчика с кофе. Почему он не прихватил ничего покрепче? Наверное, решил, что не положено пить, когда ты в столь тяжелом положении, или что надо сохранять ясность ума. Будь она дома, Ричард уже нес бы ей сейчас джин с тоником, или «Дайкири», или даже ромовый коктейль «Коллинз», или чистый джин с лимоном. В их первое совместное рождество она подарила ему шейкер для сбивания коктейлей, и даже когда они ссорились до умопомрачения, он тор-

жественно приносил ей что-нибудь выпить. Она подумала, что Ричард во время этого ожидания непременно устроил бы спектакль — по крайней мере взорвался бы, возмутился. Крупный, сильный, с далеко не идеальным зрением, он обожал лезть на рожон. Обожал кухню, обожал так набить холодильник, чтобы тот, набирая холод, весь трясся. Салли ощутила во рту вкус «Дайкири», который он бы ей принес. Холодный-прехолодный.

Джерри ел стоя, возвышаясь над нею, и сама поза возродила в нем желание поактерствовать. Если бы это была сцена, они находились бы на самом ее краю. В двух-трех шагах от них непрерывно шаркала толпа.

— Я попытался представить себе тиски, в которых я очутился,— сказал он ей.— Так вот: я — между смертью и смертью. Жизнь без тебя — для меня смерть. С другой стороны, бросить семью — это грех; пойдя на такой шаг, я отрину господа, а отринув господа, лишусь права на вечную жизнь.

Салли почувствовала, что у нее нет сил бороться: ну, что она может сказать в ответ на такое обвинительное заключение? Она попыталась подладиться под его умонастроение, но трудно было поверить, что ум имеет ко всему этому хоть какое-то отношение.

Заглотав сандвич, он присел на корточки и зашептал ей в самое ухо. Она досадливо отвернула голову и в эту минуту заметила знакомого с виду мужчину, который стоял у бара и смотрел на них. Он тотчас отвел взгляд; его усики в профиль на фоне неоновой рекламы превратились в зеленую каплю под носом. А Джерри шептал ей:— Я смотрю на твое лицо и представляю себе, что вот я лежу в постели, умираю и спрашиваю себя: «Именно это лицо хотелось бы мне видеть, лежа на смертном одре?» Не знаю. Честно говорю: н е з н а ю, Салли.

— Ты не скоро умрешь, Джерри, и до тех пор в твоей жизни будет еще много женщин после меня.

— Ничего подобного. Ты — моя единственная женщина, ты — единственная женщина, которая мне нужна. Ты была предназначена мне на небесах, и небеса не разрешают мне быть с тобой.

Она чувствовала, что ему доставляет удовольствие создавать немыслимые препятствия из абсурдных абсолютов, а кроме того, она чувствовала, что ему доставляет удовольствие наказывать ее. Наказывать за то, что она его любит. Она понимала, что он считает такое наказание благом: совесть требовала, чтобы он все время держал ее на грани боли, обрамлявшей их любовь. Но понимала она и то, что он ведет себя, как ребенок, который нарочно говорит гадости в расчете, что ему станут возражать.— Ты ведь не женщина, Джерри, поэтому, мне кажется, ты преувеличиваешь, думая, что твой уход будет так уж трагически воспринят Руфью.

— В самом деле? Как же он будет ею воспринят? Скажи.— Руфь была единственной земной темой, которая никогда не переставала интересовать его.

— Ну, она будет потрясена и почувствует себя очень одинокой, но при ней останутся дети, и у нее появится... трудно передать это словами, но я помню по себе, когда я осталась одна... у нее появится чувство удовлетворения при мысли, что вот еще один день она пережила и справилась. В замужестве этого чувства не испытываешь. А потом она, конечно, снова выйдет замуж.

— Думаешь, выйдет? Скажи — да.

— Конечно, выйдет. Но... Джерри? Только, пожалуйста, не злись.

— Я слушаю тебя.

— Если ты намерен сделать этот шаг, то делай. Я не знаю, о чем она догадывается или что ты ей говоришь, но если ты мучаешь ее так, как мучаешь меня...

— Я тебя мучаю? Господи! Я же хочу как раз обратного.

— Я знаю. Но... я... я не собираюсь собой торговать. Я буду приходить к тебе сколько смогу, и тебе вовсе не обязательно на мне жениться. Но не дразни меня такой возможностью. Если ты считаешь это возможным и хочешь этого, то женись на мне, Джерри. Оставь ее, и пусть она создает себе новую жизнь. Она не погибнет.

— Хотел бы я быть в этом уверен. Вот если бы существовал какой-то приличный человек, который, я бы знал, готов на ней жениться и заботиться о ней... Но все знакомые мужики по сравнению со мной — сущие кретины. В самом деле. Я вовсе не самонадеян, просто это факт.

Салли подумала: не потому ли она и любит его, что он может сказать такое и в то же время выглядеть наивным мальчишкой, который многого от нее ждет и готов выслушать отповедь.

— Она не найдет никого другого, пока ты не уйдешь от нее,— сказала ему Салли.— Не можешь же ты выбрать ей нового мужа, Джерри, вот это уж действительно слишком самонадеянно с твоей стороны.

Всякий раз, как она пыталась уязвить его, он был, казалось, только благодарен ей. «Давай, давай,— словно говорила его улыбка,— сделай мне больно. Помоги мне».

— Ну что ж,— сказал он и вставил ее стаканчик из-под кофе в свой.— Все это чрезвычайно интересно. Досыта наелись горьких истин.

— Зато, по-моему, мы все друг другу выложили начистоту,— заметила она, пытаясь оправдаться.

— Мило, правда? До того мило — выложить все друг другу и сидеть спокойненько, как ни в чем не бывало. Но нам, пожалуй, лучше вернуться. Вернуться в свой ад.

— Спасибо за сандвич,— сказала она, поднимаясь.— Он был очень вкусный.

— Ты грандиозная,— сказал он ей.— Грандиозная блондинка. Когда ты встаешь — точно флаг поднимается. У меня сразу возникает желание присягнуть ему.— И он при всех церемонно прижал руку к сердцу.

Толпа разрослась: к билетным стойкам было не пробиться. Салли вдруг поняла полную безнадежность их положения и впервые после полудня почувствовала, что сейчас заплачет. Джерри повернулся к ней и сказал:— Не волнуйся. Я доставлю тебя домой. А что, если нам нанять машину?

— И проделать весь путь на колесах? Джерри, да разве это в о з м о ж н о?

— Ну, а ты не считаешь, что хватит с нас самолетов?

Она кивнула, и слезы обожгли ей горло как отрыжка. Джерри помчался во весь дух по коридору — ей казалось, что кожа у нее на пятках рвется в клочья, когда она кинулась за ним. Стойки компаний по прокату автомобилей тремя одинокими островками маячили далеко впереди.

Девица из компании «Херц» была в желтом, девица из компании «Эйвис» — в красном, девица из компании «Нейшнл» — в зеленом. У Джерри была кредитная карточка «Херц», и девица в желтом сказала:

— Мне очень жаль, но все наши машины разобраны. Все хотят ехать в Нью-Йорк.

Значит, такая уж у них судьба — всюду опаздывать. Куда бы они ни тыкались, толпы людей уже стояли там до них. Джерри вяло возмутился: ему словно бы стало даже легче от того, что еще одна возможность упущена, еще одно появилось оправдание для бездействия. Вот Ричард — тот бы наверняка сумел найти выход: нет таких трудностей, которых он бы окольным путем не обошел, самый процесс нахождения окольных путей доставлял ему чувственное удовольствие. Человек, фигурой напоминавший Ричарда,— крупный, но стремительный в движениях,— возник в поле зрения Салли; мужчина этот подошел к ним и сказал:

— Я не ослышался — вы говорили про Нью-Йорк? Я охотно разделил бы с вами затраты.— Это был тот самый, которому необходимо было попасть в Ньюарк к семи часам. Сейчас стрелки показывали без двадцати семь.

Девица из «Херца» окликнула ту, что стояла за стойкой «Эйвиса»:— Джина, нет ли у тебя машины, которую ты могла бы послать в Нью-Йорк?

— Сомневаюсь, но подожди: дай позвоню на стоянку.— Джина стала набирать номер, зажав трубку между ухом и плечом. Салли вдруг подумала: интересно, эта Джина была когда-нибудь влюблена? Она была совсем молоденькая, но апатичная, с пресыщенным и одновременно недовольным выражением лица, какое, решила Салли, очевидно, появляется у итальянских девушек от того, что страдалицы-матери слишком долго прижимают их к груди. Салли сбежала от своей страдалицы-матери, как только смогла: сначала нашла приют в школе, затем в замужестве и, возможно, потому всякое страдание воспринимала как что-то неожиданное, неоправданное, остро болезненное. Она думала: неужели каждой женщине в мире выпадает на долю такая боль — разве это вынесешь? Чем же тогда держится мир?

Высокая девушка в зеленом за стойкой «Нейшнл» спросила:— И чего это все рвутся в Нью-Йорк? Что там такого, в Нью-Йорке?

— Колокол свободы[1],— сказал ей Джерри.

— Будь я на вашем месте,— сказала она ему,— я бы взяла такси, поехала в город и посмотрела какой-нибудь фильм.

Джерри спросил:— А что идет хорошего?

Девица из «Херца» сказала:— Моему приятелю понравился фильм «Прошлым летом в Мариенбаде», а я считаю — хуже не придумаешь. У кустов там даже тени нет. Я ему говорю: «И это они называют искусством», а он говорит: «С а м о е что ни на есть искусство».

Девушка компании «Эйвис» крикнула из-за своей стойки:— В городе идет новая картина с Дорис Дэй и Роком Хадсоном — все в восторге.

Джерри сказал:— Я люблю Дорис Дэй. Голливуду надо бы почаще давать ей петь.— Салли всегда огорчало то, как легко он завязывает разговоры с женщинами — любыми женщинами.

Джина положила телефонную трубку на рычаг и сказала:— Элис, одна машина только что вернулась, ее могут сразу выпустить.

И Элис, миленькая Элис с личиком без подбородка и таким нетребовательным приятелем, улыбнулась, выставив вперед крупные зубы, и сказала:— Извольте, сэр. Теперь она займется вами.

— Меня не забудьте,— напомнил мужчина, которому надо было в Ньюарк.

Джерри повернулся к нему и, покраснев, сказал:— Мы с женой, пожалуй, предпочли бы ехать одни.

Мужчина шагнул к Джерри и схватил его руку.

[1] Этот колокол, который прозвонил, когда конгресс принял Декларацию независимости, на самом деле хранится в Зале независимости в Филадельфии.

— Меня зовут Фэнчер. Я живу в Элизабет, штат Нью-Джерси, и работаю по химическим присадкам. Я вовсе не хочу на вас давить, но вы бы очень меня обязали, если бы разрешили поехать с вами.

Джерри изящным жестом приложил свою тонкую длинную руку ко лбу и сказал:

— Что ж, мы об этом подумаем. Сначала еще надо получить машину.

Он небрежно швырнул кредитную карточку «Херца» на стойку перед Джиной, но она сказала, что поскольку машина принадлежит компании «Эйвис», надо внести аванс в двадцать пять долларов наличными.

— Но у нас ведь нет двадцати пяти долларов, верно?— спросил Джерри у Салли.

— А билеты,— сказала она.

Фэнчер мигом очутился подле них.

— Вам нужно двадцать пять долларов?

Салли и Джерри молча посмотрели друг на друга, и от романтической поездки вдвоем при луне, навстречу своей судьбе и полуночи, остался лишь раскрашенный задник.

— Я сдам билеты и получу за них деньги,— сказал он.— Та девчонка у меня действительно поседеет.— И сказал Джине:— Я вернусь через десять минут.— А Салли сказал: — Жди меня здесь и стереги машину.— Скорчил извиняющуюся гримасу Фэнчеру и умчался.

Минуты тянулись нескончаемо долго. Мистер Фэнчер молча стоял рядом с ней, то и дело теребя свои усики, и стерег ее, в то время как она стерегла призрачный автомобиль. Три девицы в наступившем вокруг их островков затишье болтали наперебой о приятелях и купальных костюмах. У Салли закружилась голова. Горечь подступала к горлу — ее тошнило от этой любви. Любовь... любовь окутала мир туманом, любовь не выпускает самолеты, любовь скрыла от нее детей, любовь придала ее мужу в профиль вид немощного старца. Фэнчер торчал рядом с нею — он занимается химическими присадками, и ему необходимо быть в Ньюарке, но она обещала любить того, что ушел, и повиноваться ему, пока смерть не разлучит их. «Великий боже, отпусти меня!» Она держалась очень прямо и старалась не шевелиться, чтобы ее не вырвало. Цементный пол был весь в сигаретных окурках и следах от каблуков. Говорила зеленая девица из компании «Нейшнл»: она-де всю жизнь считала, что у нее неподходящая фигура для бикини — ведь она такая высокая, но ее приятель шутки ради купил ей бикини, и теперь она и думать ни о чем другом не хочет: в бикини чувствуешь себя так свободно.

Вернулся красный, запыхавшийся Джерри — Джерри со своим лупящимся от солнца носом, глазами, избегающими смотреть на собеседника, и этой летящей походкой, которая делала его похожим на воздушного змея.

— Порядок!— объявил он, выбросив в воздух руки победной буквой «V»[1] и как бы заключая всех четырех женщин в объятия. Фэнчеру он сказал: — Можете забирать машину. И всяческих вам успехов в Ньюарке.— И, дотронувшись до плеча Салли, сообщил:— Девушка из «Юнайтед» сказала, что будет дополнительный самолет, и посоветовала обратиться к человеку — она тут написала, к кому.— Он показал клочок бумаги, на котором женским почерком было поспешно нацарапано одно-единственное слово: «Кардомон».

— Ты его уже видел?

— Нет, его не оказалось на месте. Пошли поищем его.

— Джерри, чемодан!

— Ах, верно. Господи, обо всем-то ты думаешь, Салли.

Фэнчер сказал: — Вы говорите, есть самолет? Тогда и мне не нужна машина.— И с поразительной для такого крупного мужчины скоростью — словно метнули дротик — устремился вперед, оставив их далеко позади на пути к залу ожидания.

Здесь, казалось, инстинкт передвижения овладел человеческими ордами — почти все устремились к выходам на поле. Встревоженные Джерри и Салли в общем потоке вышли из зала и двинулись по коридору. Толпа густела. В воздухе стоял какой-то странный гул — Салли почудилось, что люди скандируют: «Шаферица, шаферица!» Она решила, что у нее опять галлюцинация, но оказалось, выкрикивали именно это слово. В центре толпы негр в синих солнечных очках совещался о чем-то со светловолосым человеком в форме авиакомпании, вооруженным блокнотом. А вокруг них полукружием стояли разодетые немолодые люди и гортанными выкриками, изобличавшими уроженцев Диксиленда[2], подбадривали девушку в шляпе с цветами и в платье из переливающегося желтого шелка. Теперь Салли все поняла: это — подружка невесты, и если она не попадет на самолет, то опоздает на свадьбу; а может, она едет со свадьбы? Толпа заскандировала громче — Джерри присоединился к ней. «Шаферица, шаферица!» От возмущения у Салли заныло под ложечкой и глаза набухли слезами. Несправедливо это — ведь девчонка даже и некрасивая. Возле носа — земляничное родимое пятно, и у губ — морщинки от напряженной, жеманной улыбочки. Светловолосый кивнул негру. Тот сверкнул широкой иронической улыбкой и взял у девушки билет. Толпа ответила громким «ура». Девушка прошла

[1] Во время второй мировой войны союзники обычно изображали на пальцах букву «V» — от французского слова «victoire» или английского «victory» — победа.

[2] Распространенное название южных штатов.

в дверь. И та с лязгом за ней захлопнулась. Самолет, вылетавший по расписанию в семь пятнадцать, взял курс на Нью-Йорк.

В зале ожидания Джерри оставил Салли и отправился разыскивать мистера Кардомона. Пока она одиноко стояла у выцветшей голубой стены, к ней подошел высокий мужчина и вежливо произнес:

— Если не ошибаюсь,— Салли Матиас!

Уиглсуорс — и два инициала перед фамилией. Салли сразу вспомнила эти инициалы: Э. Д. Он спросил: — Вы здесь с Диком? — Голос у него был бархатный, мягкий; он был хорошо сложен, и тщательно причесан, и так богат, что Ричард буквально танцевал вокруг него, когда он два-три раза был у них дома.

— Нет, я здесь одна,— сказала она.— Я довольно часто удираю. У меня мама живет в Джорджтауне. А вы пытаетесь пробиться в Нью-Йорк?

— Нет, я двигаюсь в Сент-Луис. Мой самолет улетает через полчаса. Хотите чего-нибудь выпить?

— Это было бы чудесно,— сказала Салли,— но я стою в живой очереди, и мне, пожалуй, лучше не отходить. Мы ждем дополнительный самолет.— И тотчас исправила местоимение: — Я торчу здесь уже с трех часов. Фантастическая неразбериха.

— И все же, мне кажется, вам не мешало бы выпить.— Он улыбнулся — этакий большой кот, который мурлычет, когда его гладят; он был отменно красив и отменно противен и, несмотря на весь свой внешний лоск, понимал это.

— Я тоже так думаю,— сказала она, озираясь кругом и ища взглядом Джерри. Но его нигде не было видно.

Уиглсуорс истолковал этот ищущий взгляд как согласие и взял Салли за локоть. Она вырвала руку. Она сама не сознавала, до какой степени у нее натянуты нервы.

— Извините,— сказала она.— Честное слово, я еле сдерживаюсь, чтоб не разреветься: Ричард ведь ждет меня к ужину.

— В такой ситуации начинаешь жалеть о милых старых поездах, верно?— успокаивающе сказал Уиглсуорс, хотя и был явно оскорблен.

— А что вы собираетесь делать в Сент-Луисе? — спросила Салли. Она почувствовала, как на ее лицо плотно легла маска соблазнительницы, почувствовала, что без всякого перехода начинает флиртовать.

— О, нечто весьма нудное. Банковские дела, слияние железных дорог. Акт отчаяния. Ненавижу Средний Запад.

— Вот как?

— Скажите, чем кончилось у Дика с канадской нефтью? Мне это показалось невероятно заманчивым, но я не сумел заинтересовать отца.

— Я об этом ничего не слышала. Он ведь никогда мне ничего не рассказывает. А как Би? — Она отчаянно пыталась вспомнить имя его жены, но в памяти возникло лишь восковое личико балерины да то, что имя ее тоже смахивает на инициал.

— О ч е н ь хорошо. У нас теперь двое деток.

— Вот как? Чудесно. Еще одна девочка?

— Еще один мальчик. Вы уверены, что не хотите ничего выпить?

— Как вы меня соблазняете,— сказала Салли.

— А вы слышали про Джейми Бэбсона? Он снова женился — на сногсшибательной индонезийке. Она — синхронщица в ООН.

— Да. Ему это, конечно, по душе.

Уиглсуорс рассмеялся. Зубы у него были безупречные, но слишком мелкие.

— А Бинк Хаббард — Ричард, я знаю, встречался с ним — исчез во Флориде: говорят, он снова уплыл на либерийском грузовом судне.

— По-моему, я его не знаю.

— Нет, конечно. Он из тех мужчин, кому все остальные дико завидуют.

— Да, есть такие.— Салли сама сознавала, что говорит как автомат. Оттолкнуть, притянуть, оттолкнуть, притянуть — настоящая проститутка.

Уиглсуорс посмотрел поверх ее головы и сказал:

— Это там не Джерри Конант?

— Где? А вы знаете Джерри?

— Конечно. Он ведь, кажется, живет где-то рядом с вами?

Он опустил на нее взгляд, и его безупречные брови (он что — выщипывает их?) приподнялись при виде ее напряженной озабоченности.

— Через Руфь,— пояснил он.— Мои родители ходили в церковь ее отца. Она слыла тогда красавицей.

— Такой она и осталась.

— Никто тогда не мог понять, почему она вышла замуж за Джерри.

Тут он и появился. Салли не столько увидела, сколько почувствовала его приближение, хотя он был еще далеко, почти у самых стоек авиакомпаний. Она почувствовала, как он заколебался, потом решил подойти. Голос его резко прозвучал у самого ее уха:

— Anno Domini[1] Уиглсуорс — Иисус Христос собственной персоной.

— Джерри! Вы что — тоже тут застряли?

---

[1] В лето от Р. Х. (*лат.*). Здесь: в год от Уиглсуорса.

— По-видимому. Я как раз искал некоего мифического мужчину по имени Кардомон, который вроде бы должен помочь нам отсюда выбраться.

— Вам и миссис Матиас?

— Да, мы с миссис Матиас, похоже, попали в одну беду.— Он опустил взгляд на свою руку, в которой держал два билета. Поднял их и показал.— Я взялся вести переговоры и за нее тоже. У вас место забронировано?

— Да.

— А вы бы не согласились отдать его Салли?

— Охотно — только я лечу в Сент-Луис.

Джерри повернулся к Салли и сказал:

— Может, и нам махнуть в Сент-Луис. А там нанять плот и поплыть по Миссисипи.

Она рассмеялась — от возмущения. Как он смеет дразнить ее, когда они на краю катастрофы!

Улыбка застыла на лице Уиглсуорса, и по тому, как окаменели лица обоих мужчин, Салли поняла, что стала для них предметом раздора — телом.

— Я как раз говорил Салли,— сказал Уиглсуорс,— что Джейми Бэбсон женился на индонезийке.

— Великолепно,— сказал Джерри.— Смешанные браки — единственное, что навеки способно разрядить напряженность в мире. Кеннеди это тоже знает.

— Что на вас нашло, Джерри? — сказал тот, другой.— С каких это пор вы стали проповедником? Мне казалось, вы трудитесь на Госдепартамент.

Они сражались за нее. Тошнотворный страх вернулся к Салли и с ним — желание спать; она представила себе, как озадаченный Ричард сидит в одиночестве, волнуется, пьет уже второй «Мартини», и ей отчаянно захотелось упасть в обморок — грохнуться на грязный, затоптанный пол среди сигаретных окурков и проснуться у его ног. А мужчины все говорили, зло обмениваясь репликами, долетавшими до нее словно сквозь вату, пока Уиглсуорс, загнанный в угол превосходящей резкостью Джерри, наконец не сказал. — По-моему, мне пора на посадку. Желаю вам обоим удачи.— И в том, как он попрощался, как поклонился одной головой с высоты своего стройного тела, было что-то удивительно изящное, близкое к благословению. Только чванливое ничтожество могло так держаться.

Джерри надулся и был мрачен, как грозовая туча. Значит, это все-таки случилось — он возненавидел ее? Она спросила:

— Ты так и не нашел Кардомона?

— Нет. Его просто не существует. Может, это шифр? Если «Кардомон» прочесть наоборот, получится «Ном-о-драк».— Объявили посадку на восьмичасовой самолет, вылетавший в Сент-Луис, и Уиглсуорса — устремленный вдаль взгляд, высоко поднятый подбородок — вынесло в лавине портфелей из зала ожидания. Джерри взял руки Салли в свои.— Ты вся дрожишь.

— Немножко. Меня расстроила эта история.

— Он часто встречается с Ричардом?

— Почти никогда. Ричард ему не компания.

— Ничего он не скажет. Никаких процентов ему это не принесет. Просто запомнит на всякий случай: а вдруг понадобится пошантажировать тебя.

— И будет прав, верно? Я хочу сказать, что я и есть такая, какой он увидел меня.

— А какой он тебя увидел?

— Не заставляй меня произносить это, Джерри.

Джерри перемолол в мозгу ее отказ

— Вообще-то,— сказал он,— тебе было бы куда лучше с ним, чем со мной. Уж он бы посадил тебя на этот чертов самолет, уверен.

— Джерри.

— М-м?

— Не кори себя. Ты же говорил мне, чтоб я не приезжала.

— Но я хотел, чтобы ты приехала. И ты это знала. Потому и приехала.

— Я приехала, потому что и мне этого хотелось.

Он вздохнул.

— Ох, Салли,— сказал он.— Ты ко мне так добра.— Он взглянул на билеты, которые все еще держал в руке, и сунул их в боковой карман пиджака, потом устало посмотрел на нее. Улыбка сожаления на секунду осветила его лицо: — Эй?!

— Привет.

— Давай поженимся.

— Прошу тебя, Джерри, прекрати.

— Нет, давай. А ну их всех к черту. Назад мы вернуться не можем. Господь сказал свое слово

— Не верю, что ты это серьезно.

Голос его звучал вяло: — Нет. Серьезно. Ты же ведешь себя со мной как жена. И вообще в моих глазах ты — миссис Конант.

— Но я не миссис Конант, Джерри. Мне только хотелось бы ею быть.

— Тогда — о'кей. Предложение принято. Я не вижу другого выхода: возвращаемся в отель, звоним Руфи и Ричарду, а со временем поженимся. Это единствен-

ное, что я могу придумать. Сейчас я чувствую только усталость, но мне кажется, я буду счастлив.

— Я постараюсь сделать тебя счастливым.

— По-моему, мы сумеем получить твоих детей. Теперь суды уже так не придираются к тому, кто из супругов совершил адюльтер.

— А ты уверен, что именно этого хочешь?

— Конечно. Я, правда, не думал, что все так получится, но я рад, что получилось.— Однако с места он не двигался. А она стояла рядом, и в сердце у нее было пусто. Радость и горе, страх и надежда — все, что наполняло ее прежде, куда-то исчезло. Даже на полу вокруг них образовалась пустота. Люди кричали, жестикулировали, но она слышала лишь тишину. Потом вдруг почувствовала, что хочет пить и что у нее болят стертые пятки. В отеле можно будет снять туфли. А потом они спустятся в бар выпить.

В окружавшей их пустоте возникла девушка, крашенная под седину.

— Мистер и миссис Конант? Я разыскала мистера Кардомона.

За ней следовал светловолосый мужчина в форменном пиджаке авиакомпании, с блокнотом в руке. Салли уже видела его раньше. Когда?

Джерри вдруг рванулся в сторону от нее. Вытащил авиабилеты. Они были истрепанные и казались ненужными бумажками. Заикаясь, он принялся объяснять:

— Мы уже с трех часов пытаемся попасть на самолет в Нью-Йорк и отказались от прокатной машины, потому что нам сказали, что будет дополнительный самолет.

— Могу я взглянуть на номера ваших посадочных талонов? — попросил мистер Кардомон. И принялся рассматривать их, потирая кончик носа костяшкой пальца. Потом внимательно оглядел их обоих, то и дело почесывая пальцем нос. До Салли вдруг дошло, что обе они — и она и седая девушка — стоят, вытянувшись в струнку. От шеи Джерри потянуло слабым, еле уловимым запахом пота. Мистер Кардомон что-то записал в блокноте, пробормотав: — Конант, два.— Затем поднял голову с копной светлых, вьющихся, как у мальчишки, волос, и Салли увидела, что глаза у него серые, цвета алюминия. Он знает. Он сказал Джерри: — Мисс Марч сейчас прикрепит посадочные талоны к вашим билетам.

— Так, значит, все-таки е с т ь самолет? — спросил Джерри.

Кардомон посмотрел на ручные часы.

— Он вылетает через полчаса. Выход — двадцать восемь.

— И мы летим на нем? Господи, благодарю тебя. Благодарю. А мы было решили возвращаться в отель.— И не в силах выразить мистеру Кардомону, который уже повернулся к ним спиной, всю свою благодарность, Джерри повернулся к девушке и зафонтанировал: — А вы знаете, теперь мне уже нравятся ваши волосы. Ни в коем случае не перекрашивайте их в натуральный цвет.

Он куда-то ушел следом за ней и вернулся с билетами, к которым были прикреплены два голубых листочка; затем подхватил чемодан с игрушками для своих детей и зашагал по коридору, сопровождаемый Салли. К этому времени она уже успела изучить все рекламы. Спектакли, которые она не увидит, острова, которые никогда не посетит. Настороженная толпа, почуяв близость избавления, собралась у выхода двадцать восемь; в положенное время появился негр — солнечные очки его на сей раз торчали из кармашка рубашки — и медленно, с наслаждением прочел список фамилий. Их фамилия стояла последней. Конанты. Они прошли в дверь, и когда Салли оглянулась, ей показалось, что она увидела среди теснившихся позади людей взволнованного усача, которому уже давно следовало быть в Ньюарке.

Самолет был маленький ДС-3 — он стоял, задрав нос, так что проход между креслами круто шел вверх. В кабине все мужчины уже сняли пиджаки, убрали чемоданчики и пересмеивались. «Интересно, на каком чердаке они его откопали»,— сказал кто-то, и Джерри рассмеялся и похлопал Салли по спине. Он был в таком восторге, испытывал такое облегчение — она попыталась разделить с ним эти чувства, но тут же поняла, что вообще почти не способна что-либо чувствовать. Она села дальше от прохода и сквозь овальное оконце смотрела, как механики размахивают карманными фонарями, а Джерри гладил ее руки и требовал, чтобы она похвалила его за то, что он достал им места. Она подумала было о Камю, лежавшем у нее в сумке, и — закрыла глаза. Сбросила терзавшие ноги туфли. Сзади доносился голос одной из стюардесс, а под самым окном вдруг взвыл мотор. В самолете было холодно, словно он только что спустился к ним с большой ледяной высоты. Джерри что-то положил на нее сверху — свой пиджак. Воротник тер Салли подбородок. Джерри все гладил ее руки и запястья, а она чувствовала, как тело ее сжимает словно металлическим кольцом; мужчины что-то бормотали, переговариваясь между собой,— она была единственная женщина в самолете,— и пиджак Джерри хранил его запах, и она уже засыпала, когда самолет еще стоял.

Ах, Салли, до чего же это был чудесный полет! Помнишь, как низко мы летели? И как наш маленький самолетик, подпрыгивая на воздушных течениях, нес нас точно лодка-лебедь [1] *по воздуху где-то между звездами, рассыпанными наверху, и городами*

[1] Прогулочная лодка на педалях, на которой обычно катают детей. Нос ее, где сидит человек, работающий педалями, сделан в виде лебедя.

внизу? Над нимбом твоих спящих волос я видел, как ширилось прочерченное спицами световое колесо столицы, накренялось и снова ширилось,— Данте не мог бы вообразить такую розу. В нашем ДС-3, который откопали бог знает где, чтобы отвезти нас домой, было холодно: самолет не отапливался — мы дышали чистым эфиром. Мы плыли, урча двумя моторами, на высоте, которую едва ли назовешь высотой, над Балтимором, Чесапик-Бей, Нью-Джерси, темневшим фермами. Поднимись мы чуть выше, и нам бы уже не увидеть каждую машину, заворачивавшую в гараж, каждый дом, уютно примостившийся в своем гнезде света. И каждый мост был двойным бриллиантовым колье, каждый придорожный ресторанчик — утопленным рубином, каждый город — россыпью жемчуга. А за окнами, скрашивая наше одиночество, недвижно плыли звезды.

И все это была ты — твоя красота. Я вошел в тебя и через тебя познал небо. Ты казалась — спящая подле меня, в то время как мужчины, широким кольцом окружавшие нас, шелестели газетами, пили кофе,— кем же ты казалась? Не моей женой, не сестрой, не дочерью. Я поглаживал твои руки, чтобы ты даже во сне чувствовала, что я тут. Твои руки казались на диво длинными, Салли, и, глядя на тебя, спящую, такую большую, крупную, я непомерно гордился, что ты моя. Как же я гордился — целый час, а то и больше, пока пилот вел нашу чудну́ю посудину от звезды к звезде,—как гордился, что я твой защитник. Никогда прежде и никогда потом не был я тебе столь верным защитником. Ибо если бы самолет разбился и ты умерла, я последовал бы за тобою и мы бы вместе вступили в то сказочное царство — ведь мой пиджак лежал на тебе, мои жизненные соки еще бродили в твоих теплых глубинах. Две трудяги-лошадки тащили нас, покачивая, вверх по черному воздушному скату — на север. В своем забытьи ты принадлежала мне. Мне нравился овал черного неба рядом с твоим лицом. Мне нравился холод, побудивший тебя уткнуться головой мне в плечо. Мне нравились жесткие костяшки твоих рук, и мягкие, как пух, плечи, и твое тело под моим пиджаком.

А потом я ушел от тебя. Моторы заревели громче, стремительно промчался Манхэттен, океан поднялся нам навстречу, чтоб нас поглотить, колеса чиркнули по посадочной полосе, судьба нас пощадила: мы не умерли. Мне ненавистна была наша неудача: и умереть мы даже не смогли. Мне ненавистна была спешка, с какою я снял с тебя пиджак, и вытащил чемодан из-под сиденья, и стал пробираться по проходу, чтобы выйти первым. Руфь встречала меня: ведь было уже за десять. Я оставил тебя полусонную, убрав волосы с лица, чтобы они не щекотали губ,— ты сидела покинутая, добыча для алчных глаз. Я чувствовал твой взгляд, провожавший меня, пока я трусливо бежал по бетону, постепенно уменьшаясь, мелькая в крутящихся полосах света. В толпе за стеклянными дверьми, я уже видел задранное кверху лицо Руфи. Я почувствовал, что исчез из твоих глаз. Я ведь вспомнил о ней.

Когда на следующее утро в десять часов зазвонил телефон, Джози покраснела от злости и вышла из кухни. Салли подошла к аппарату в купальном костюме: Питер уже полчаса ждал ее, чтобы ехать на пляж.

— Привет,— сказала она. Причем таким тоном, что чужому человеку это не показалось бы странным.

— Привет,—откликнулся Джерри. Голос у него был испуганный.—Как все прошло?

— Никак,— сказала Салли.— Я явилась еще до полуночи — он уже спал. А сегодня утром, прежде чем уйти, спросил меня, как поживают Фитчи, я сказала — хорошо, и больше мы ни о чем не говорили.

— Ты шутишь. Он наверняка что-то знает.

— Не думаю, Джерри. Мне кажется, наши отношения достигли такой стадии, когда ему, право же, безразлично, что я делаю.

— Нет, не безразлично.

— А как у тебя с Руфью?

— Отлично. Вся эта путаница с самолетами дала мне тему для разговора — о тебе, естественно, не упоминалось. Я рассказал ей о девушках из прокатных компаний, о Фэнчере и об Уиглсуорсе. Мне даже как-то грустно стало от того, что она так обрадовалась при виде меня. Она уже совсем было потеряла надежду, что я прилечу.

Солнце резко высвечивало солонку и перечницу, стоявшие на подоконнике. У Салли мелькнула мысль, не растопится ли соль.

— Я видела, как она тебя встречала,— сказала она.

— В самом деле? Я не был уверен, что ты увидишь.

— Ты так поспешно вывел ее из зала ожидания, точно взял под арест.

Он рассмеялся:

— Да, она тоже сказала: «Зачем такая спешка?» Вообще-то она слегка подавлена. Джоффри сломал себе ключицу, пока я был в отъезде.

— О, господи, Джерри! Ключицу!

— Судя по всему, ничего страшного. Чарли толкнул его, он упал на траву, потом весь день плакал и как-то странно держал руку, так что Руфи пришлось отвезти его в больницу, а там всего-навсего обмотали ему плечи бинтом, чтобы кость встала на место. Теперь он ходит как маленький старичок и никому не дает до себя дотронуться.

Питер влетел на кухню и принялся в ярости стукаться о ее голые ноги.

— Мне очень жаль,— сказала она.

— Не надо ни о чем жалеть. Ты тут ни при чем. Эй?

— Да?

— Ты была чудо как хороша. Прямо сдохнуть можно, как хороша.

— И ты тоже. И все было куда лучше, чем в первый раз.

— Меня буквально доконала эта пытка в аэропорту. Могу только удивляться, как ты ее выдержала.

— А меня это ничуть не раздражало, Джерри. Даже занятно было.

— Ты грандиозная. До того грандиозная, Салли, просто не знаю, что с тобой и делать. Когда мы летели назад в самолете, ты была до того хороша, я голову потерял.

— А я потом жалела, что уснула. Упустила столько времени, когда могла бы быть с тобой.

— Нет. Не упустила. Все было правильно.

— У меня в самом деле словно вдруг не стало сил. Так со мной бывает в твоем присутствии, Джерри.

— Эй! Ты в самом деле считаешь, что все было хорошо? Не жалеешь, что поехала?

— Конечно нет.

— Не очень-то веселый получился у нас ленч в музее, да и эта процедура с покупкой игрушек тоже прошла не слишком весело.

— Мне жаль, что так вышло. Пора бы мне быть взрослее. А я еще недостаточно взрослая, чтоб быть вечно веселой при тебе.

— Послушай...

— И я чувствую себя ужасно виноватой из-за этой истории с Джоффриной ключицей.

— Почему? Не надо. Ты тут абсолютно ни при чем.

— Нет, при чем. Я из тех, кто может накликать такое. Я приношу несчастье. Я гублю Ричарда, и моих детей, и твоих детей, и Руфь...— Глаза у нее защипало, и она опять вспомнила о соли, которая, наверно, тает сейчас под солнцем в солонке на окне.

— Да нет же. Послушай. Никого ты не губишь. Это я всех гублю. Я все-таки мужчина, а ты — женщина, и мне положено быть хозяином положения, а я не могу. Ты добрая. Ты грандиозная женщина — ты сама знаешь это, а вот знаешь ли, что ты еще и добрая?

— Иногда, когда ты мне так говоришь, я начинаю в это верить.

— Вот и хорошо. Отлично. Верь.

Питер принялся дергать ее за опущенную руку и плаксивым голосом тянуть:— П о ш л и, мам. П о ш л и-и-и.— Все его пухлое тельце дергалось от отчаянных усилий.

Она сказала Джерри: — Питер ведет себя отвратительно, а Джози устраивает очередную истерику в гостиной, так что мне пора вешать трубку.

— Хорошо. Через минуту я отправляюсь к главному шефу с докладом о том, что мне сказали в Вашингтоне о необходимости соблазнять «третий мир». Мне очень неприятно насчет Джози. Если мы поженимся, нам обязательно держать ее?

— Мы никогда не поженимся, Джерри.

— Не говори так. Я только и живу мыслью, что рано или поздно это случится. Ты убеждена, что мы не поженимся?

Ему хотелось знать, хотелось услышать, что она убеждена.

— Не всегда,— сказала она.

Он помолчал, потом сказал:— Отлично.

— Я завтра целый день буду думать над твоим вопросом, так что не звони мне до пятницы. Мне кажется, нам надо какое-то время переждать, поэтому я не знаю, когда мы снова увидимся.

— Угу. Наверно, не стоит испытывать судьбу.

А она-то надеялась, что он станет спорить, настаивать на скорой встрече.

— П и т е р!— рявкнула она.— Ты хочешь, чтобы мама тебя отшлепала?

— Не сердись на Питера,— раздался у нее в ухе голос Джерри.— Он нервничает из-за тебя.

— Я не могу больше говорить. Прощай?

— Прощай. Я люблю тебя. И не будь так дивно хороша ни для кого больше.

— Желаю удачи, Джерри.— Она быстро повесила трубку, ибо знала, что они могут разговаривать до бесконечности и ей никогда не надоест слышать, как его голос произносит слова, в которые едва ли он сам верит. «Не будь так дивно хороша ни для кого больше» — он очень любил играть с мыслью, что она заведет себе другого. Он считает ее проституткой; Салли на миг почувствовала, что ненавидит его. Она стояла — отчаявшаяся, удивительно красивая в своем купальном костюме, голые ноги ее освещал косой теплый луч солнца. Так кто же она — порочная или сумасшедшая? Как она смеет отнимать этого мужчину у безупречной жены и беспомощных детей? И хотя Питер неистовствовал от нетерпения, она еще постояла, словно ждала ответа на свой вопрос.

III. Как реагировала Руфь

Две свернувшиеся фотографии в коробке.

На одной — цветной — запечатлено семейство Конантов по окончании церковной службы в холодное ясное вербное воскресенье — вербное воскресенье 1961 года. Джоффри — двухлетнего карапуза — только что крестили: на фотографии видно мокрое пятнышко у него в волосах. Руфь, в белом пальто, присела на корточки на пожухлой траве лужайки перед их домом между Чарли и Джоффри — у обоих вялые, по-зимнему бледные лица, оба скованные и нескладные, в одинаковых серых коротких штанишках, галстуках бабочкой и синих курточках. Джоанна, которой в ту пору было семь лет, стоит позади матери в зеленом беретике, застенчиво щурясь в свете молодого весеннего солнца. Руфь глядит вверх и лукаво улыбается; солнечные блики нахально лежат у нее на коленях, на ней шляпка, кокетливо сдвинутая набекрень. Шляпку эту она заняла у Линды Коллинз. Под наигранной веселостью чувствуется усталость и напряжение. Накануне Конанты вернулись домой с вечеринки у Матиасов в два часа ночи. Над головой Руфи, у плеча Джоанны, расплывшейся желтой бабочкой или нарождающейся звездой торчит первый в этом году крокус. Цветок рано распустился в тепле, отражающемся от белых досок дома, и Джерри так нацелил объектив, чтобы и он вошел в кадр.

Сам Джерри присутствует на фотографии в виде вишневого пятна в нижнем левом углу. Здесь не запечатлено лишь то, как Джоанна в высокой белой индепендентской церкви, когда родители вернулись на свои места, протянула руку и нерешительно дотронулась до мокрого пятнышка на голове брата. Или как Руфь, решив вздремнуть в тот день после обеда, пока Джерри ходил с детишками на пляж, вдруг расплакалась при мысли, что предала отца и перечеркнула себя как личность.

Она была дочерью священника-унитария. Когда она встретилась с лютеранином Джерри Конантом из Огайо и вышла за него замуж, религия ни для нее, ни для него не имела значения. Оба они посещали художественную школу в Филадельфии и были наивно и всецело поглощены культом точного цвета, живой линии. Они поклонялись молчаливым богам храма-музея, парившего над городом. Когда они впервые увидели друг друга обнаженными, у обоих было такое чувство, точно каждый открыл для себя новое произведение искусства, и в их браке сохранилась эта остраненность, в которой было больше взаимного восхищения, чем взаимного обладания. Каждый восхищался талантом другого. Руфь, хотя у нее никогда не ладилось с перспективой и было довольно смутное представление о форме, так что даже бутылка и горшочек в ее натюрмортах отличались мягкостью, присущей растениям,— владела редким даром цвета. Ее полотна были удивительно смелыми. Желтый кадмий нахально плясал на ее грушах; небо у нее было ровное, густо-синее и тем не менее воздушное; а тени — цвета, не имеющего названия, просто тени, обретшие жизнь, пройдя через мозг. Тем не менее правда жизни проглядывала из хаоса ее твердых, четких мазков, созданного без особых стараний, но и не по небрежности. Этот ее дар показался Джерри удивительным, потому что его собственный талант был иным. Его отличала четкость линий, тщательность вырисовки. Каждый предмет, за изображение которого он брался, выглядел у него как бы пробужденным к жизни призраком, где изгибы линий и тщательно «проработанная» деталь заменяли безмятежную плотность материи. Хотя он много корпел над цветом, пытаясь перенять у Руфи присущую ей от природы экспрессию, его картины, несмотря на всю энергичность письма, рядом с ее полотнами неизбежно оказывались либо по ту, либо по другую сторону тонкой черты, отделяющей яркие тона от грязных. В последний год обучения в художественной школе их мольберты всегда стояли рядом. И тот, кто смотрел на их работы тогда, вполне мог прийти к выводу — как приходили сами они,— что вдвоем они обладают всем, что нужно художнику.

Свои жизни они соединили, быть может, слишком бездумно, слишком уж положившись на эстетику. Но вот художественная школа осталась позади, и Джерри стал не очень преуспевающим художником-карикатуристом, потом весьма преуспевающим мультипликатором в телевизионной рекламе, а Руфь — женой и матерью, слишком занятой хозяйством, чтобы достать ящик с красками и взять в руки палитру, и тут появились тени и начали сгущаться, подчеркивая различия, которые они проглядели, сидя рядом у мольбертов при идеальном верхнем освещении.

Болезненным для них оказался вопрос о крещении детей. Первого ребенка — Джоанну — крестил отец Руфи в их первой квартире на Двенадцатой улице в Западной части города. Джерри шокировала эта церемония, показавшаяся ему пародией на святое таинство: его тесть, человек с остро развитым чувством гражданского долга, посвящавший немало времени деятельности в советах по межрасовым проблемам в Поукипси, отпускал шуточки по поводу «святой воды», которую брал из-под кухонного крана. В результате следующего младенца — мальчика — крестили по-лютерански в аскетически голой деревенской церкви, где пахло яблоневым цветом и обветшалым бархатом,— в той самой церкви, где много лет тому назад принял конфирмацию Джерри. Таким образом счет был уравнен, и третий младенец целых два года висел над разверстой пастью ада, пока его родители упорно сражались —

каждый во имя своей церкви. Руфь была поражена накалом их страстей: для нее религия давно перестала иметь значение. Девочкой она по заведенному обычаю ходила в церковь, теперь же, стоило ей оказаться в церкви, на нее нападала какая-то слабость, растерянность, чувство вины. В конце первого стиха псалма голос у нее начинал дрожать, а к третьему стиху она уже еле сдерживала слезы, в то время как орган гремел в ее ушах раскатами, словно напыщенный, уязвленный отец. Джерри же, потерпев фиаско в своем честолюбивом стремлении стать карикатуристом «с именем», после их переезда в Гринвуд погрузился в дела житейские, мелочные, семейные и вдруг стал бояться смерти. Избавление несла только религия. Он стал читать труды по богословию — Барта, Марселя и Бердяева; научил детей молиться на ночь. Каждое воскресенье он отвозил Джоанну и Чарли в воскресную школу при ближайшей индепендентской церкви, сам же просиживал всю службу и возвращался домой наэлектризованный, как боевой петух. Он ненавидел бесцветную веру Руфи, отступавшую и испарявшуюся под влиянием его ненависти. А Руфь верила в существование добра, ясных истин и совершенства, которые витают в воздухе, как пыльца с почек вяза, что рос у окон их спальни. Что же до остального, то не надо никого намеренно обижать: люди должны радоваться каждому новому дню. Вот и все. Разве этого недостаточно? Однажды ночью, проснувшись и услышав, как Джерри возмущается тем, что его ждет смерть, Руфь сказала: «Прах — во прах!» [1] — и, повернувшись на бок, снова заснула. Джерри так никогда ей этого и не простил. А она страдала, что не может избавить его от страха, который овладевал им, когда он, лежа в постели, пустыми глазами смотрел в потолок или когда без устали вышагивал по ночному дому, точно все тело его ныло от боли, и вел борьбу за каждый вздох,— страдала, что не может вобрать в себя его страх, как вбирала его семя. Джерри мучило сознание, что третий ребенок не крещен: он видел в этом как бы знамение вымирания своего рода. Руфь пожалела его и сдалась. Джоффри крестили на руках у отца, а она стояла рядом в чужой шляпе, клянясь, что никогда больше не переступит порога церкви, стараясь не плакать.

На другой фотографии — черно-белой, снятой несколькими годами раньше, в 58-м или 59-м году,— изображен Джерри: впалая грудь его блестит словно металлическая в гаснущем свете дня, он стоит по пояс в воде, балансируя на голове сверкающим под солнцем котелком. Он несет мидии к лодке, где сидит Салли Матиас,— она и щелкнула его. Руфь поразило тогда, что эта женщина умеет фотографировать. Обе семьи лишь недавно перебрались в Гринвуд, в каждой — маленькие дети, у каждой — свой дом, который они воспринимают как большой игрушечный дом, и вот Матиасы пригласили Конантов половить мидий на их лодке. Была приглашена еще одна пара, но те не поехали. Конанты тоже хотели было уклониться: они настороженно относились к Матиасам, исходя из того немногого, что знали о них. Салли, крупная, светловолосая, дорого одетая Салли, демонстративно на глазах у всех таскала галлоновые бутылки с молоком из супермаркета, чтобы не платить за доставку, которая и стоит-то всего несколько пенни,— зато вино они пили ящиками. Матиасы ни в чем не знали меры—в щедрости и в скаредности, в размахе и в непоследовательности. Ричард был крупный, располневший мужчина, с темными жесткими волосами, нуждавшимися в стрижке, низким голосом и напыщенной речью, подчеркивавшей его самовлюбленность; к тому же один глаз у него не видел — после несчастного случая в детстве. Это не было заметно — разве что чуть настороженным, излишне напряженным был наклон его львиной головы. Только при взгляде в упор обнаруживалось, что зрачок у него не черный, а как бы затянутый морозной пленкой. Словно спасаясь от боли, он много пил, много курил, гонял свой «мерседес» и философствовал тоже много; но чем же он все-таки занимался? У него были деньги, и он совершал поездки ради их приумножения. Его покойный отец владел винным магазином в Кэннонпорте, а теперь у этого магазина появились отделения в торговых центрах городка, который пускал метастазы и сливался с предместьями Нью-Йорка. В противоположность большинству молодых мужчин, поселившихся с семьями в Гринвуде, Ричард и родился в этом районе. Он любил море и еду, которую оно дарит людям. В течение двух лет он посещал Йельский университет, а потом бросил, видимо решив, что для человека с одним глазом достаточно и половинного курса. Он рано женился; жена у него была яркая, чрезвычайно живая и очень броская. Оба, казалось, безоговорочно решили наслаждаться жизнью; такой безоговорочный гедонизм представлялся богохульным Джерри и вульгарным — Руфи. Однако же этот день на море, которого оба они так старательно пытались избежать, оказался настоящей идиллией. Солнце сияло, вино и беседа лились рекой. Джерри, выросший в глубине материка, брезгливый и боящийся воды, согласился поучиться у Ричарда — набрался храбрости, опустил лицо в воду и принялся руками отдирать мидии, розовые и живые, от подводных скал. И теперь, гордясь своими достижениями, шел по воде к лодке с котелком, полным мидий.

На лице у Джерри — резкие тени, вид — до смешного свирепый. Вместо глаз — провалы, тени бегут от носа, губы растянуты в улыбке. Тощий раб, озабоченный и же-

[1] Неточная цитата из Екклесиаста. В оригинале: «Все произошло из праха и возвратится в прах», 3, 20.

стокий. Над его левым плечом — ноги Ричарда, толстые и волосатые, в мокрых теннисных туфлях, цепляются за выступ мокрой скалы. Расплывшееся пятно между его ногами — очевидно, Грейс-Айленд.

После того момента, запечатленного на фотографии, они подвели лодку к маленькой песчаной бухточке на Грейс-Айленде. Вчетвером они набрали хвороста, разожгли костер и сварили мидии. Ричард прихватил с собой масла, соли, чеснока. Мидий оказалось столько, что пришлось скармливать их друг другу, — получилась игра. С закрытыми глазами Джерри не мог отличить, когда во рту у него были пальцы Руфи, а когда — пальцы Салли. Начали сгущаться сумерки, и они занялись игрой в слова, потом индейской борьбой, потом прикончили вино, разделись и кинулись в воду. Их обнаженные тела целомудренно белели в шуршащей мокрой темноте. Джерри с удивлением обнаружил, что вода кажется более теплой и менее страшной, если купаться голышом. Когда они снова собрались у огня, Ричард и Джерри были в брюках, натянутых прямо на мокрое тело, а женщины завернулись в полотенца. На плечах Руфи и Салли красноватыми огоньками, отражавшими костер, сверкали капельки воды. Роскошная женщина, подумала Руфь. Но беспечная и пустая. Поправляя полотенце, Салли без всякого стеснения обнажила груди, — и Руфь позавидовала тому, что они такие маленькие. Самой Руфи уже с тринадцати лет казалось, что у нее слишком большая грудь. Ее не оставляла мысль, что ей не хватает мускулов, чтобы носить такую тяжесть; и это впечатление не исчезало: жизнь опережала ее, то и дело предавая в ней женщину, которая еще не готова была раскрыться. По ту сторону костра сидел чужой Джерри, такой счастливый, а рядом — более крупный, более рыхлый мужчина, блаженно пьяный, как, впрочем, и все они. Однако идиллия больше не повторилась. Остаток того лета Матиасы приглашали другие пары на поиски мидий, а зимой супруги расстались — еще один эксцесс, как казалось Конантам, еще одна кричащая экстравагантность — из-за романа, который затеял Ричард в Кэннонпорте. Весной же, когда они помирились и Ричард вернулся в Гринвуд, лодка в результате его таинственных финансовых махинаций оказалась проданной.

Ему нравилось изображать таинственность. Он разъезжал без всякой видимой цели, часто с ночевками, а из его планов обогащения — открыть в городке кафе, издательство, специализирующееся на выпуске восточной эротики, фирму по перебивке автомобильных сидений тканью под гобелен, той, что с некоторых пор идет на модные «ковровые» чемоданы, — ничего путного не выходило. Беседуя с женщинами, он делал вид, будто не понимает простейших вещей, и его зрячий глаз наполнялся слезами из сочувствия незрячему, сочувствия тому печальному, что поведали ему.

Сначала Руфь, заметив это, краснела от стыда, словно он выудил у нее тайну, а потом краснела от злости: злости на себя за то, что она покраснела, и злости на Ричарда — за то, что он такой въедливый дурак. И, однако же, дело было не только в этом. Возможно, она *действительно* выдала тайну — тайну о себе, которую тщательно скрывала от Джерри все эти восемь лет их супружества. Это была тайна, еще не выраженная словами, — вернее, такая, которую Руфь и не стремилась облечь в слова. Ей нравился запах Ричарда — запах табака, виски и старой кожи, который напоминал ей застоявшийся дух в кабинете отца после очередной утомительной субботы, проведенной за составлением проповедей; ей нравился этот озадаченно-покровительственный вид, с каким Ричард стоял нахохлившись или, пошатываясь, бродил среди гостей на вечеринках и всегда — рано или поздно — подходил к ней поболтать. Джерри заметил это — он ненавидел Ричарда. Ричард был одним из немногих, повстречавшихся им за тридцать лет жизни в материалистической Америке, кто открыто заявлял, что он — атеист. Когда Руфь как-то упомянула в разговоре, что Джерри настаивает, чтобы дети ходили в воскресную школу, жесткие брови Ричарда приподнялись, зрячий глаз расширился, и он рассмеялся от удивления.

— Какого черта — зачем?

— Это для него очень важно, — сказала Руфь как преданная жена, хотя, возможно, такая рефлекторная преданность была скорее отсутствием преданности вообще.

С тех пор Ричард не упускал случая «подкусить» Джерри, как он это называл. Однажды на лужайке возле дома Матиасов в разгар летнего дня Ричард вытащил пластмассового Христа — амулет для автомобиля, присланный ему кем-то по почте, — и рукой фигурки, поднятой для благословения, принялся чистить себе ногти. «Смотрика, Салли-О, — сказал он, — верно, из Христа получилась хорошая ногтечистка?» Салли, которая, насколько знала Руфь, выросла в католической вере, вырвала фигурку у Ричарда и пробормотала что-то насчет того, что хоть она в общем-то ни во что не верит, тем не менее... право же, Ричард... Джерри, несмотря на жаркое солнце, побелел как полотно. Потом он не раз вспоминал этот случай: какой садист этот мерзавец Матиас, разве можно так относиться к жене!

На самом же деле Ричард относился к Салли даже слишком хорошо. Когда из угла полной гвалта комнаты или с лужайки перед домом во время чая на свежем воздухе слышался ее пронзительный голос, его передергивало, но он крепко сжимал губы: сделка заключена, и это цена, которую он платит за яркую броскость своей супруги. Он был хороший семьянин, чем не мог похвалиться Джерри. Как бы поздно он

ни засиделся накануне за бутылкой вина, утром он вставал очень рано и часто готовил завтрак жене и детям, а Джерри поднимался лишь после того, как дети были накормлены и выпровожены из дома, а до его поезда в 8.17 оставались считанные минуты. И хотя Джерри высмеивал Ричарда за то, что у него нет призвания, однако кое-что Ричард у м е л делать: мастерил книжные полки, полировал мебель, выращивал помидоры, салат и тыкву, собирал мидии. Он помог Салли сделать из их старого фермерского дома в колониальном стиле полированный модерн: десятки усовершенствований в доме были произведены им. Он часто — к вящей зависти Руфи — по целым дням сидел дома, что давало возможность Салли заниматься домашней работой, имея под рукой интересного собеседника. Хотя здоровый глаз у него быстро уставал, читал он много, причем читал книги, какие читают женщины: романы, биографии, труды по психологии. Он относился к воспитанию детей как к серьезной проблеме, а Джерри никакой проблемы тут не видел: он-де — изначальный оригинал; господь бог снял с него копии в виде детей, которые со временем в свою очередь будут размножены. Джерри любил процесс воспроизводства и его орудия — фотоаппараты, печатные станки, — но ведь Руфь же все-таки не машина! А одноглазый Ричард умудрился увидеть ее насквозь, разглядеть в ней тайну, которую не видел никто после Марты, толстой негритянки, готовившей и прибиравшей у них в доме в ту пору, когда они жили у отца Руфи — приходского священника в Буффало. Во времена царствования Марты кухня стала для Руфи прибежищем, хранилищем всего того, в чем она беззвучным шепотом признавалась лишь самой себе. «Руфи, — со вздохом говорила Марта,— ты девочка-кудесница, но жизнь тебя проведет. Не боишься ты того, чего надо». И чем жестче был приговор Марты, тем сильнее чувствовала Руфь ее любовь. Вот и Ричард тоже увидел ее насквозь и понял ее обреченность. И она увидела его насквозь, увидела правду: как тяжело ему с Салли, как она заставляет его платить за то, что так хороша; бесстрастным взглядом художника Руфь наблюдала, как он строит из себя клоуна, и пьет, и дурачится, и видела, что могла бы сделать его жизнь более легкой, а сейчас ее легкой назвать было нельзя, хотя Матиасы одинаково любили вечеринки и все, что могут дать деньги, и оба отличались известной незрелостью, заметной и в детях, когда те обращали к родителям свои чистые, похожие на пустые блюдца личики. И, однако же, Ричард болтал с Руфью о Пьяже[1], и о Споке[2], и об Анне Фрейд[3], и об Айрис Мердок[4], и о Джулии Чайлд[5], и о мебели, и о кулинарных рецептах, и о моде. Он всегда замечал, как она одета: иногда отпускал комплимент, иногда — оскорблял. Он осудил ее, когда она обрезала волосы, а Джерри настоял на этом; он даже хотел, чтоб она подстриглась совсем коротко: «Красиво, когда череп обрисован».

Зачем ему понадобилось обрисовывать ее череп? Танцуя с нею как-то на вечеринке, Ричард погладил ее — именно погладил, а не пошлепал — сзади и сказал, что, по его мнению, у нее самый сексуальный в городке зад. «Он разговаривает со мной, как женщина с женщиной»,— пояснила Руфь, когда Джерри посетовал, что на вечеринках она слишком много времени проводит с Ричардом; произнося эти слова, она сознавала, что за все свое замужество впервые намеренно лжет. На другой вечеринке Ричард предложил ей позавтракать вместе и даже назвал ресторан — китайский ресторан по дороге на Кэннонпорт. Она поблагодарила и отказалась. Потом она долго раздумывала, правильно ли поступила, поблагодарив его. Ведь если ты за что-то признательна, значит, уже наполовину согласна принять. А когда она сказала ему (зачем?), что в отчаянии от «религиозного кризиса», переживаемого Джерри, Ричард снова предложил встретиться, чтобы как следует это обсудить. «Он чертовски нервный, а я читал кое-какие книги на этот счет». Она сожалеет, но лучше не надо. Он не стал настаивать, и ей это понравилось. Его предложения были как плоская шутка: чем чаще ее повторять, тем смешнее она становится; теперь на вечеринках Руфь уже ждала той минуты, когда Ричард, поджав от волнения тонкие, почти несуществующие губы и чуть склонив набок голову, точно скривевший бог, подойдет и задаст ей свой избитый вопрос.

Но дома, в часы, когда она оказывалась наедине с собой, она вдруг просыпалась среди ночи с сознанием жуткого одиночества, и словно в ответ на крик о помощи злым духом на нее наваливался Ричард. Она чувствовала, как он неловко, на ощупь ищет дорогу к тайне, которая жаждет быть открытой. Неприятный иней, застилавший его глаз там, где у других людей черная точка вбирает в себя свет, вызывал у нее оцепенение, и, как защитная реакция, вспыхивала дикая, неистовая любовь к Джерри. Она обхватывала его недвижное тело, а он — шевельнется, перекатится на другой бок и снова заснет. Сон у них был разный: Джерри страдал бессонницей, засы-

---

[1] Пьяже Жан (род. в 1896 г.) — швейцарский психолог, специалист по детской психологии.

[2] Спок Бенджамен (род. в 1903 г.) — известный американский врач-педиатр, автор книг по уходу за ребенком.

[3] Фрейд Анна (род. в 1895 г.) — английский психоаналитик австрийского происхождения; дочь Зигмунда Фрейда.

[4] Мердок Айрис (род. в 1919 г.)—известная английская писательница и профессор философии, автор многих романов, в том числе переведенных на русский язык «Под сетью», «Алое и зеленое», «Черный принц», «Дикая роза».

[5] Чайлд Джулия — автор поваренных книг; часто выступает в передачах для домашних хозяек по американскому телевидению.

пал поздно и спал глубоко и долго; Руфь засыпала без труда и просыпалась очень рано.

Если в унитарной церкви есть высшая заповедь, то она гласит: «Смотри на вещи реально». «Выясняли всякие вещи»,— любил говорить ее отец, возвращаясь глубоко за полночь домой после очередной вселенской межрасовой схватки в Поукипси. Однажды пустым зимним днем, когда двое старших детей были в школе, а Джоффри спал и жизнь в доме шла как часы, своим заведенным порядком: топилась плита, высыхал дощатый пол, а улица сверкала от снега,— на крыльце возник Ричард. Увидев из окон гостиной его старый рыжевато-коричневый «мерседес», Руфь пошла открывать, уже зная, кто это. Дверь заело, и Руфи пришлось подергать ее, чтобы открыть,— оба немного растерялись, когда она, наконец, распахнулась. Он стоял в проеме двери точно в раме — дождевик и клетчатая рубашка, раскрытая у ворота,— этакий огромный скорбный призрак. В качестве предлога он принес книгу, о которой они говорили,— новый роман Мердок. Он и использовал ее лишь как предлог, вручив мимоходом: инстинкт подсказывал, что предлоги едва ли понадобятся в дальнейшем.

Зима уступила место весне, и Руфь привыкла к нему.

Ничего не видя поверх его тяжелых, поросших мягкими черными волосками плеч, Руфь деловито отвечала на осторожные, настойчивые ласки Ричарда. Все у них происходило по-деловому, под контролем разума, к взаимному удовлетворению: с этим чужим человеком у нее всегда хватало времени — времени пройти весь путь до конца и упасть вниз с обрыва, упасть и снова прийти к изначальной точке, прочно чувствуя спиною землю. Землей была их постель — ее и Джерри. Яркий свет дня разливался вокруг нее. Джоффри спал на другом конце второго этажа. Не без любопытства Руфь дотронулась до маленькой дуги малиновых пятнышек на плече Ричарда — следы зубов, оставленные словно бы кем-то другим.

— Извини,— сказала она.

— Столь сладостная боль, как принято говорить.

У него был на все ответ. Не желая подвергать себя испытанию, она, чтобы не смотреть ему в глаза, стала изучать его губы. Нижняя губа как-то жалобно, по-стариковски отвисла, и сейчас обе губы были смочены слюной.

— Это так на меня непохоже,— сказала она.

Почти не разжимая губ, он произнес:— Это — часть игры. Любовницы кусаются. Жены — никогда.

— Не смей.— Она передвинулась.— Не зубоскаль.

Его дыхание, отдававшее перегаром виски,— хотя он вошел через кухонную дверь в полдень и они сразу легли в постель,— было все еще неровным, прерывистым.

— Ни черта я не зубоскалю,— сказал он.— Я просто пьян. И выжат как лимон.

Опустив глаза, она увидела волосатую грудь, отчего он всегда казался ей неуклюжим мохнатым медведем. По сравнению с ним Джерри был гладкий как змея.

Словно провидя ее мысли, Ричард спросил:— Я тебе кажусь чокнутым?

— Я и сама себе кажусь такой.

— Почему ты меня впустила, Руфи-детка?

— Потому что ты попросил.

— А никто раньше не просил?

— Во всяком случае я этого не замечала.

Ричард глубоко вобрал в себя воздух, рывком оторвался от ее груди; она с грустью почувствовала, как он уходит из ее жизни, отступает в перспективу.

— Просто не понимаю,— сказал он,— почему у вас с Джерри дело не клеится. Очень ты лихо все умеешь.— Зря он упомянул про Джерри: это грозит все испортить. Дом затрясся, и через мгновение, взрывая звуковой барьер, над ними, в безграничной синеве за окном, пронесся реактивный самолет. На другом конце дома захныкал в своей кроватке Джоффри. Ричарду пора уходить, но пока он здесь, надо его использовать. Надо учиться.

— Так принято говорить?— спросила она.— «Лихо умеешь»? — В ее устах это прозвучало до того странно, что Руфь покраснела.

Ричард посмотрел на нее сверху вниз; своей пухлой, казалось, бескостной рукой он провел по ее волосам, зрячий глаз его словно впивал ее лицо, на котором читался испуг. Она заставила себя посмотреть ему в глаза — уж это-то она может для него сделать.

— Никто, значит, никогда не говорил тебе,— сказал он, поглаживая ее,— какая ты пикантная штучка.

Таким уж он сам себе виделся: учитель, учитель житейской мудрости. В ту весну и лето 1961 года они встречались в основном, чтобы поболтать. Зная, с каким презрением Джерри относится к Ричарду и как гордится собой, Руфь понимала, что изменяет мужу не тогда, когда бывает с другим, а когда рассказывает о тайном страхе, который снедает Джерри и которым он делится только с ней.

— Он говорит, что видит всюду смерть — в газетах, в траве. Он смотрит на детей и говорит, что они высасывают из него жизнь. Говорит, что их слишком много.

— А он когда-нибудь ходил к психиатру? — Ричард зацепил палочками кусочек жареного ореха и отправил в рот. Они сидели в китайском ресторане ярким июль-

ским днем. Занавески на окнах были задернуты, отчего казалось, что за окном — не полдень, а янтарный вечер.

— Он презирает психиатрию. Из себя выходит, стоит мне намекнуть, что у него со здоровьем не все в порядке. Когда я говорю, что н е б о ю с ь смерти, он называет меня духовно неполноценной. Говорит, я не боюсь, потому что лишена воображения. Под этим он, видимо, подразумевает, что у меня нет души.

Ричард, потягивая «Мартини» — третий по счету,— почесал костяшкой пальца нос.— Вот уж никогда не думал, что этот малый до такой степени псих. Я бы попросту списал его как депрессивного маньяка, если бы не эти мысли о смерти,— тут уж пахнет психопатией. А на его работе это не отражается?

— Он говорит, что по-прежнему в состоянии работать, хотя у него уходит на это в два раза больше времени, чем раньше. Он ведь сейчас главным образом ходит по совещаниям да поставляет идеи, а осуществляют их другие. Он уже не рисует дома, а мне жаль. Даже в ту пору, когда все его работы возвращали нам по почте, приятно было видеть его за делом. Он всегда рисовал под радио — говорил, это помогает ему наносить краску.

— Но Ала Каппа [1] из него все-таки не вышло.

— Он никогда к этому и не стремился.

— Мне нравится твоя лояльность,— сказал Ричард; в тоне его звучала непоколебимая самовлюбленность — черта, характерная для обоих Матиасов.

У Руфи перехватило дыхание, и она уставилась в тарелку: она ведь была так далека от мысли, что совершает страшную ошибку.

— Лояльности тут маловато,— сказала она.— У меня сейчас такое чувство, будто мы с тобой проникли в его мозг и сделали его еще хуже. Он говорит, я отсутствую.

— Где отсутствуешь?

— Меня н е т. Н и г д е. Нет с ним. Ну, ты понимаешь.

— То есть ты чувствуешь себя теперь моей, а не его?

Ей не хотелось показывать Ричарду, сколь неприятна ей эта мысль да и сама терминология. Она сказала: — Я не уверена, что я вообще чья-либо. Возможно, в этом моя беда.

Крупинка риса прилипла к его нижней губе, точно окурок.

— Попытайся объяснить,— сказал он,— что это за ерунда насчет твоего отсутствия. Ты хочешь сказать — ты устранилась как жена?

— Я стала лучше как жена. Благодаря тебе. Но, похоже, это не имеет для него значения. Прошлой ночью, после всего, он разбудил меня около трех и спросил, почему я его не люблю. Оказалось, он бродил по дому, читал Библию и смотрел всякие страсти по телевидению. У него бывают такие приступы, когда ему трудно дышать лежа. У тебя рисинка на губе.

Он смахнул ее нарочито подчеркнутым жестом, показавшимся Руфи комичным.

— И давно у него эти неприятности с дыханием? — спросил он.

— Это появилось еще до того, как у нас с тобой началось. Но лучше ему не стало. Я почему-то думала, что станет. Не спрашивай почему.

— Так. Значит, я тебе нужен для того, чтобы избавить Джерри от астмы.— Саркастический смех у Ричарда звучал не очень убедительно.

— Не передергивай, пожалуйста.

— Я и не передергиваю. Ведь совершенно ясно, на что ты намекаешь. Ты намекаешь, что я для тебя — эдакий козел отпущения. Не извиняйся. Все эти годы я был козлом отпущения для Салли. Что ж, теперь могу сыграть эту роль и для тебя.

Он молил ее сказать, что она его любит. А она не могла заставить себя произнести эти слова. Она всегда знала, что у них с Ричардом нет будущего, но только сейчас поняла, сколь кратковременно их настоящее. Его голова в янтарном свете казалась огромной — неестественная, непропорциональная голова, надетая поверх настоящей, из которой глухо, словно из бочки, вылетали слова.

— Надоело мне все,— сказала вдруг она.— Не создана я для романов. Все лето у меня были нелады с желудком, и я чувствую себя ужасно подавленной после наших встреч. А он мою ложь даже и не слушает. Я все думаю: если бы он знал, развелся бы он со мной?

Ричард резко, со стуком опустил палочки на пустую тарелку.

— Никогда,— сказал он.— Он никогда не разведется с тобой — ты ведь для него как мать. А человек, черт возьми, не разводится со своей матерью.— В его словах была такая безнадежность, что ей захотелось плакать; должно быть, он почувствовал это, ибо голос его зазвучал мягче: — Как жратва — понравилась? Похоже, чоу-мейн был консервированный.

— Мне все показалось вкусным,— решительно заявила Руфь.

Он накрыл ее руку ладонью. Ее поразила схожесть их рук: его рука была слишком для него маленькая, а у нее — слишком для нее большая.

— Ты очень выносливая,— сказал он. Это прозвучало и как комплимент, и как прощание.

---

[1] Ал Капп — известный американский карикатурист.

■ ■ ■

Окончательно она порвала с ним в сентябре. Джерри напугал ее, услышав часть их телефонного разговора. Она думала, что он подметает задний двор. А он неожиданно появился из кухни и спросил: — Это кто звонил?

Ее охватила паника.— Да так, ерунда. Одна женщина из воскресной школы спрашивала, собираемся ли мы записывать Джоанну и Чарли.

— Слишком они там стали деятельны и назойливы. Что ты сказала?

— Я сказала — конечно, собираемся.

— Но я слышал, ты сказала — нет.

Ричард спрашивал, не согласится ли она пообедать с ним на будущей неделе.

— Она спросила, собираемся ли мы водить и Джоффри.

— Конечно нет, — сказал Джерри,— ему ведь еще нет и трех.— И, сев за стол, принялся листать субботнюю газету. Он всегда открывал ее на странице с комиксами, словно надеясь найти там себя. — Почему-то,— сказал он, не глядя на нее, — я тебе не верю.

— Но почему же? Что ты такое услышал?

— Ничего. Все дело в твоей интонации.

— Вот как? А какая же у меня была интонация? — Ей захотелось хихикнуть.

Он смотрел куда-то в пространство, словно решал некую проблему. Он выглядел усталым, юным и тощим. Волосы у него были слишком коротко подстрижены.

— Не такая, как всегда,— сказал он.— Более теплая. Это был голос женщины.

— Но ведь я и есть женщина.

— Когда ты говоришь со мной,— сказал он,— голос у тебя совсем девчоночий.

Она хмыкнула и стала ждать следующего, более сильного удара. А он снова углубился в изучение страницы с комиксом. Ей захотелось обнять этого слепца.

— Такой ясный, холодный, девственный,— добавил он. У нее исчезло желание его обнимать.

Как-то на следующей неделе она поехала за покупками в маленький торговый центр Гринвуда. Во всех витринах была выставлена одежда для школьников, а у Гристеда сильно пахло яблоками. Воздух над телефонными проводами, казалось, выстирали и только что повесили. Полисмены надели форму с длинными рукавами. Над входом в магазин мелочей сняли полотняный навес. Направляясь к своему «фалкону» с двумя бумажными пакетами, полными продуктов, она увидела возле парикмахерской «мерседес» Ричарда. Она замедлила шаг, проходя мимо открытой двери, из которой запах бриллиантина выплескивался на панель, и увидела его — широкий, грузный в своей обычной клетчатой рубашке, он сидел, ожидая очереди. Сердце ее устремилось к нему — ей не хотелось, чтобы он стригся. Ричард увидел ее, отложил в сторону «Тру» и, поднявшись с кресла, вышел на улицу.

— Не хочешь чуть-чуть прокатиться?

Это «чуть-чуть» прозвучало для нее укором. Она ведь избегала его. Он стоял, моргая на ярком солнце, незащищенный, неуверенный в следующем шаге,— неприкаянный призрак, оставшийся от развеявшегося сна. Как странно, подумала Руфь, что можно спать с человеком и видеть в нем лишь постороннего человека — не больше. Она пожалела Ричарда и, согласившись прокатиться, поставила на переднее сиденье пакеты с покупками — громоздкие и шуршащие, словно старухи-компаньонки. В его машине знакомо пахло немецкой кожей, американскими конфетами, пролитым вином... Ричард выбрался из центра и повел машину мимо типичных коннектикутских домиков, глубоко и плотно упрятанных в одеяла зелени,— к городской окраине, где вдали от воды еще сохранился заповедный редкий лес.

— Я скучаю по тебе,— сказал он.

Руфь почувствовала, что не может не сказать: — Я тоже по тебе скучаю.

— Тогда что же происходит? Вернее, почему ничего не происходит? Разве я сделал что-то не так?

Руфи бросилось в глаза, пока они, подпрыгивая на выбоинах давно не ремонтированной дороги, ехали к пруду, где зимой детишки катаются на коньках,— что иные деревья, высохшие, умирающие, уже начали терять листву.

— Ничего,— ответила она.— Ничего преднамеренного в моем поведении нет — просто дел прибавилось, кончилось лето. Все зверье возвращается в свои берлоги.

Желтые пятна мелькали за косматым черным облаком его волос.

— Знаешь,— сказал Ричард,—я ведь могу осложнить тебе жизнь.

— Каким образом?

— Сказать все Джерри.

— Зачем тебе это?

— Я хочу тебя.

— Не думаю, чтобы таким путем ты меня получил.

— Я ведь знаю тебя, Руфи-детка. Я так хорошо тебя знаю, что могу сделать тебе больно.

— Но не сделаешь. И вообще не пора ли тебе подыскать другую даму сердца? — Он рассказывал ей о романе, ускорившем его охлаждение к Салли; да и о других романах тоже. Руфь чувствовала себя тогда оскорбленной, хоть и промолча-

ла: эти женщины показались ей такими вульгарными, да и Ричард говорил о них с нескрываемым презрением.

Он свернул на грунтовую дорогу — две колеи в траве,— что вела к пруду. Дальше путь преграждала цепь; Ричард остановил машину. Между ними на переднем сиденье стояли пакеты с продуктами. На той стороне пруда одинокий рыбак общался со своим отражением. Было утро; дети, собиравшиеся здесь в течение всего лета, сейчас сидели в школе; она оставила Джоффри на попечение маляра, сдиравшего обои в гостиной, и обещала вернуться через полчаса. Все это промелькнуло в ее мозгу, пока она ждала, что предпримет Ричард. Он спросил ее:

— У тебя кто-то есть?

— Кроме Джерри? Другой роман? Не будь мерзким. Если бы ты хоть немного знал меня, ты бы даже не спрашивал.

— Возможно, я тебя и н е з н а ю. Борись за то, чтобы узнал.

Раз он считает ее борцом, что ж, она будет бороться.

— Ричард,— сказала она,— я должна просить тебя не звонить мне больше домой. Джерри слышал часть нашего последнего разговора и потом такое нес, что мне стало страшно.

На его лице, повернутом к ней зрячим глазом, отразилось смятение; Руфь сама удивилась, какое это ей доставило удовольствие.

— Что именно?

— Ничего определенного. О тебе — ничего. Но мне кажется, он знает.

— Повтори в точности, что он сказал.

— Нет. Это не имеет значения. Тебя в общем-то не касается, что он сказал.— Это перестало его касаться всего лишь секунду назад, когда он пришел в такое волнение при одной мысли, что Джерри знает. Если бы он любил ее, он бы только обрадовался, ему бы не терпелось в открытую вступить за нее в борьбу.

Ричард на ощупь вытянул сигарету из пачки в нагрудном кармашке.

— Ну что ж.— Он сунул слегка помятую сигарету в рот, поднес к ней спичку и выдохнул вверх, к крыше машины, широкую струю дыма. Нижняя губа его вытянулась, точно сток трубы. Он был пуст. Она поняла, что он мучительно ищет слова, которые не поставили бы его в ложное положение.— Хочешь поблагодарить меня,— спросил он наконец,— за очень приятную поездку?

— Ты не думаешь, что так будет лучше?

Далекий рыбак взмахнул удочкой, и птицы на деревьях обрушили на них град комментариев. Пакеты с продуктами у ее локтя зашуршали — там таяло мороженое и отпотевали банки с замороженным апельсиновым соком. Романы, поняла Руфь, как и все вообще, слишком многого требуют. Всем нам приходится платить фантастическую цену за то лишь, что мы существуем. Она задумалась — внезапно в уголке ее глаза возник Ричард, и она вся сжалась, боясь, что он сейчас ударит ее. Он зло, с наигранной решительностью, потушил сигарету, ткнув ею в пепельницу на приборном щитке.

— Пошли, Руфь-детка,— со вздохом сказал он.— Мы же с тобой на себя не похожи. Давай погуляем. И не смотри на меня так — я тебя не удавлю.— А он наделен способностью ясновидящего: эта мысль у нее мелькнула.

Потом она будет вспоминать, как они шли вниз по затененной дорожке, над которой в пятнах солнечного света тучами толклась мошкара. Укрытые ветвями болотных кленов от глаз рыболова, они поцеловались. Ногам ее стало холодно: теннисные туфли отсырели, набравшись влаги из травы. Он возвышался над нею, словно диковинное теплое дерево, которое она обхватила руками, играя в прятки. Здесь, на природе, под прохладным небом, уже не казалось странным, что ее целуют — это было так же естественно, как то, что мать мыла ей голову над кухонной раковиной с длинным медным краном или что продавец у Гристеда, где она была полчаса тому назад, дал ей сдачу. Руки Ричарда вопреки обыкновению как-то уныло лежали в изгибе ее спины, а не ниже.

— Пожалуйста, прости меня,— сказала она.

— И мы никогда больше не будем вместе? Завязано?

Она не выдержала и рассмеялась — уж очень смешно он это сказал,— потом взмолилась:

— Отпусти меня. Я даже похудела.

Словно для проверки он сжал ее талию.

— Кое-что еще осталось.

Они, наверное, еще о чем-то говорили, но в памяти Руфи все остальное заслонили вибрирующие волны мошкары, ощущение холода в ногах, образ рыболова, как бы осуществлявшего контроль над их расставанием с дальнего берега, где удочка и ее отражение в воде образовали своеобразную арку. Хотя порой по утрам, когда особых дел не было, ей и хотелось, чтобы зазвонил телефон, она все же была благодарна Ричарду за то, что он внял ей и в то же время по-прежнему подходил к ней на вечеринках, словно ожидая, что она, по старой памяти, поделится с ним некоей тайной. В общем-то она не жалела, что в ее жизни был этот роман, и, застегивая молнии на зимних комбинезонах детей или ставя жаркое в духовку, не без удовольствия думала об этом приключении, сокрытом в прошлом. Ей казалось, что во всех отноше-

ниях она стала лучше и значительнее — почти такой, как надо: она не побоялась опасности и вынесла из пережитого умудренность опыта, сделалась женщиной более совершенной, терпимой. Было у нее все — и приятели в юности, и муж, и любовник; теперь вроде бы можно и успокоиться.

Она не намеревалась вечно скрывать это от Джерри. Оглядываясь назад, она все больше убеждалась в том, что пошла на этот шаг не столько ради себя, сколько ради него, и то, что она отдалась другому мужчине, стало казаться ей своеобразной жертвой — жертвой, никем не замеченной. Пока роман был в разгаре, она не раз представляла себе, что будет, когда Джерри узнает: удар грома, оглушительный грохот, изобличающий яркий свет, всеочищающее разрушение. Но брак их выстоял, тупо и прочно, словно заброшенный храм, в который никто не ходит, и когда она вернулась в его лоно — сознание вины давило на нее, и она принялась надраивать полы, перебила диван синей парусиной, накупила специй для кухни, изучала тетрадки детей, словно каждая была частью Священного писания,— Джерри, по всей видимости, даже и не заметил, что она какое-то время отсутствовала. Мысли о Ричарде, воспоминание о физической близости с ним, физически острое предвкушение встречи какое-то время наполняли все ее существо; трепещущая, переполненная чувствами, открытая, стояла она перед зеркалом их брака — и не видела ничего, кроме пустоты. Знакомое ощущение. Ее отец был всецело занят любовью к ближнему, а мать — любовью к отцу, и Руфь выросла, считая, что ею пренебрегают. Она принадлежала к унитариям, и означало это лишь то, что душа у нее хоть и в крошечной степени, но все же существовала.

Незаметное возвращение Руфи к статусу верной жены произошло в мире, где все меняется. Чарли поступил в первый класс Гринвудской начальной школы; Джоанна, уверенная в себе девчушка с высоким лбом, пошла в третий класс. Эту юную особу превращение в женщину наверняка не смутит: вся страсть ее родителей той поры, когда оба учились в художественной школе, материализовалась в ней, их первом творении во плоти и крови. Постепенно Руфь набрала прежний вес, потерянный летом из-за неприятностей на нервной почве с желудком. Зима словно бинтом стянула пламенеющую осень. В тот год — первый год президентства Кеннеди — реки и озера замерзли рано и превратились в чудесные черные зеркала катков. Катаясь на коньках, Руфь летела и в полете обретала свободу. Она водила машину слишком быстро, пила слишком много и убегала на коньках вверх по реке, оставляя далеко позади Джерри и детей,— скользила стремительными, широкими рывками меж застывших стеною по берегам стройных серебряных деревьев. Желание летать появилось у нее после фиаско, которое она потерпела с Ричардом,— а это было фиаско, ибо если роман не закончился браком, то это фиаско.

И у Джерри вспышка религиозности постепенно сошла на нет. К весне полка с богословскими книгами уже утратила для него интерес — только листочки бумаги в каждом томике отмечали, сколько он прочел. Страх оставил после себя след — разухабистость. Джерри безудержно увлекся твистом, и на вечеринках, глядя, как он извивается в экстазе, взмокший от пота, Руфь словно видела перед собой таинственно возникшего сына, которым она могла лишь с опаской гордиться — такой в нем чувствовался переизбыток энергии. Джерри бросил курить и принялся скупать модные пластинки, которые крутил до тех пор, пока не начинал подпевать в унисон: «Рожденный для утрат, я прожил жизнь напрасно...» Это выглядело бы нелепо и жалко — как-никак мужику тридцать лет,— если бы он не казался таким одурело счастливым. К нему вернулась легкая, беззаботная импульсивность — качество, запомнившееся Руфи со времени его ухаживания; зато Руфь вспомнить не могла, когда в последний раз считала его красивым, а теперь, стоило ему повернуться к ней лицом, ее пронзала мысль, что он — интересный мужчина. На щеках у него появился румянец, зеленые глаза смотрели лукаво. Его апатия и страх вызывали в ней чувство беспомощности и вины, и сейчас она радовалась его возрождению к жизни, хотя оно и несло с собой что-то для нее враждебное, непредсказуемое. Как-то вечером, вешая его брюки в шкаф, пока он играл с детьми в пятнашки, она с удивлением услышала легкое, чуть ли не музыкальное шуршание песка на полу. Он высыпался из-под манжет на брюках. О да, пояснил Джерри после ужина, он останавливался на пляже — нет, не на Гринвудском, а на другом, с индейским названием, тут как-то на днях, когда было тепло; заехал по пути со станции: так получилось, что он попал на более ранний поезд. Почему? Да потому что был чудесный майский день — разве нужна другая причина? Она что, жена или тюремный надзиратель? Ему захотелось подышать соленым воздухом — вот он и погулял у воды, посидел немного среди дюн, там почти никого не было, лишь маленькая яхточка плавала в Саунде. Очень было красиво.

— Дети наверняка с удовольствием поехали бы с тобой.

— Ты свободна весь день — взяла бы да и свозила их.

Он смотрел на нее очень смело, и глаза у него были зеленые-зеленые, а вид задиристый из-за крошечной ссадины на переносице, и она вдруг поняла, почему он так нагло держится: он знает. Он узнал. Откуда? Должно быть, Ричард проболтался. Неужели все уже знают? Ну и пусть. Главное для нее — Джерри, и если он знает и при этом не мечет громы и молнии, уже слава богу. Весь вечер, глядя на детей,

на посуду, на лицо Джерри, поочередно возникавшие перед ней, она обдумывала слова признания, объяснения. Как это объяснить? Самое лучшее сказать, что она пошла на это, чтобы стать совершеннее — как женщина и как жена. Она внимательно следила за тем, чтобы ситуация не вышла из-под ее контроля. И роман почти не оставил на ней следа. Эти признания, как и необходимость их сделать, страшили ее, и она уснула, чтобы избавиться от страха, в то время как Джерри молча листал страницы «Арт ньюс». Она вновь ничего не увидела в зеркале, кроме пустоты.

За окнами их спальни, у дороги, стоял гигант вяз — один из немногих, оставшихся в Гринвуде. Молодые листики, только что вылезшие из почек, курчавились на нем, еще не успев набрать красок,— этакая пыль, дымка, недостаточно плотная, чтобы укрыть костяк ветвей. А ветви были корявые, могучие, вечные — неисчерпаемый источник поддержки и радости для глаз Руфи. Из всего, что находилось в поле ее зрения, этот вяз больше всего убеждал ее в наличии космической благодати. Если бы Руфь попросили описать бога, она описала бы это дерево. По раскидистым нижним ветвям разгуливали голуби, точно прихожане по собору; в вольном воздухе над дорогой свисали усиками лозы веточки — они сладострастно и жадно пили свет, лениво прочесывая воздух, словно пальцы, опущенные в воду с каноэ. Руфь подумала, что не так уж и страшно умереть. Она лежала под стеганым одеялом и пыталась заснуть.

Энергичные шаги раздались внизу, покружили и направились наверх. Без приглашения Джерри залез к ней под одеяло. Она надеялась — хотя тут же решила, что, наверное, слишком многого хочет,— что он не станет приставать к ней со своей любовью. А он обхватил рукой ее талию и спросил:

— Ты счастлива?

— Не знаю.

— Ты устала?

— Да.

— Давай спать.

— А ты пришел не для того, чтобы приставать ко мне?

— Ни в коем случае. Я пришел потому, что ты последнее время такая грустная.

Колышущиеся очертания дерева, твердые, как камень, и прихотливые, как ветер, казались далекими, словно шепотом произнесенное слово.

— Я не грустная,— сказала она.

Джерри глубже зарылся под одеяло и уткнулся открытым ртом в ее обнаженное плечо. Когда он заговорил, язык его щекотал ей кожу.

— Скажи, кого ты: любишь,— пробормотал он.

— Я люблю тебя,— сказала она,— и всех голубей на этом дереве, и всех собак в городе, кроме тех, что роются в наших мусорных бачках, и всех котов, кроме того, от которого забеременела наша Лулу. И еще люблю спасателей на пляже и полисменов в городе — кроме того, который отругал меня за то, что я не там развернула машину, и я люблю некоторых из наших ужасных друзей, особенно когда выпью...

— А как ты относишься к Дику Матиасу?

— Мне он безразличен.

— Я знаю. Вот это-то и поражает меня в тебе. Он такой болван. В самом прямом смысле. Да еще одноглазый. У тебя от этого мурашки не бегут по коже?

Руфь считала, что чувство собственного достоинства — достоинства, обязывающего хранить тайну,— требует, чтобы она ничего не говорила, пусть Джерри скажет сам. Замкнувшись в отчаянии, она ждала. Он приподнялся на локте — она закрыла глаза и представила себе в его руке нож. От жаркой погоды снова заныли ноги, болевшие с тех пор, как она носила Джоффри. Присутствие Джерри усиливало боль. Она глубоко вздохнула.

Он сказал совсем не то, чего она ждала, хотя, видимо, это и было главным пунктом разговора: — Ну, а как ты относишься к Салли? Расскажи мне про Салли.

Руфь рассмеялась, словно он неожиданно щекотнул ее.

— Салли?

— Ты ее любишь?

Она снова рассмеялась: — Конечно нет.

— Она тебе нравится?

— Не очень.

— Детка, уж что-что, а нравиться она тебе должна. Ты же ей нравишься.

— Не думаю, чтобы я так уж ей нравилась. То есть я хочу сказать, может, я и нравлюсь ей, но только как еще одна местная жительница, которую она может затмить.

— Нисколько она тебя не затмевает. Она не считает этого. Она считает тебя прехорошенькой.

— Не говори глупостей. Я выгляжу ничего только при правильном освещении и когда у меня настроение не слишком поганое. А она, можно сказать,— грандиозная.

— Почему «можно сказать»? Я согласен. Она — экстра-класс, но чего-то в ней не хватает. Чего?

Руфь никак не могла заставить себя сосредоточиться на Салли — образ ее все время расплывался, сливаясь с образом Ричарда. Она вдруг поняла, что за время их романа научилась не думать о его жене, хотя поначалу, когда они только приехали в Гринвуд, ее поразила Салли — эти светлые волосы, свисающие вдоль широкой спины, мужская походка и испуганный взгляд, напряженная улыбка, кривившая уголок рта.

— Мне кажется,— сказала Руфь,— Салли никогда не была очень счастлива. Они с Диком не подходят друг другу — во всех отношениях. Оба любят бывать на людях, но, пожалуй, не дополняют друг друга...— Ей хотелось добавить: «Как мы с тобой», но она не решилась и умолкла.

А Джерри уже сел на своего любимого конька: — Господи боже мой, да кто же м о ж е т б ы т ь под пару Ричарду? Ведь он чудовище.

— Ничего подобного. И ты это знаешь. Сколько угодно женщин были бы под пару ему. Да любая ленивая, плотоядная бабенка, не слишком алчная...

— Разве Салли — алчная?

— Очень.

— До чего же она алчная?

— До всего. До жизни. Совсем как ты.

— И, однако же,— не плотоядная?

Руфь вспомнила, что говорил Ричард насчет Салли. Только бы не повторить его слов, отвечая сейчас Джерри.

— У меня такое впечатление,— сказала она,— что ей не хватает тепла, сострадания. Она не подпускает к себе ничего, что могло бы ее расстроить. Ну, а насчет ее плотоядности — откуда мне знать. Во всяком случае, с чего это вдруг такой прилив интереса?

— Ни с чего,— сказал он.— Любовь к своему соседу — и только.— Он притулился к ней, глубже уйдя под одеяло, так что видна была только макушка: Руфь вдруг заметила в его волосах седину. Внезапно, следуя своей излюбленной манере, он замурлыкал: звук, рождавшийся где-то глубоко у него в горле, достиг ее ушей. Это было сигналом — повернуться к нему, если она хочет; она продолжала лежать на спине, хотя он прогнал с нее сон и всю священную магию — с вяза.— А мне кажется,— донесся его голос из-под одеяла,— что у вас с Салли куда больше общего, чем ты думаешь. Т ы вот была когда-нибудь очень счастлива?

— Конечно, была. Я почти всегда счастлива — в этом моя беда. Все хотят видеть меня спокойной, довольной, и вот, черт подери, такая я и есть. Даже не знаю, в чем сегодня моя беда.

— Может, решила, что забеременела?— И он тут же вынес обвинительное заключение: — Тогда, значит, встречалась с тем же котом, что и Лулу.

— Я з н а ю, что нет.

— Тогда что-то другое. Подцепила какую-нибудь гадость.

— Иной раз,— попыталась она направить разговор в другое русло,— мне действительно хочется защитить Салли, у меня даже появляется к ней теплое чувство. Она, к о н е ч н о, пустенькая и эгоистка, и я знаю, окажись я когда-нибудь на ее пути, она, не задумываясь, переступит через меня, но в то же время во всей этой ее показухе есть какая-то щедрость, она старается что-то дать миру. В горах, на лыжах, когда она надевает эту свою дурацкую шапочку с кисточкой и начинает флиртовать с лыжным инструктором, мне так и хочется обнять ее, прижать к себе — такая она милая дурочка. А когда мы ездили ловить мидий, она была просто прелесть. Но все теплые чувства к ней у меня исчезают, когда вы твистуете. Ты об этом спрашивал?

Он поглаживал ее грудь поверх комбинации, и теперь, после его кошачьего мурлыканья, у нее возникло неприятное чувство, будто он вот-вот ее съест. Она оттолкнула его и, сбросив покрывало с его лица, спросила:— Так ты о б э т о м спрашивал?

Он уткнулся лицом ей в плечо — большой нос его был таким холодным — и закрыл глаза. Теперь, украв у нее сон, он, видимо, сам решил соснуть. Кожей плеча она почувствовала, как его губы расползаются в улыбке.

— Я люблю тебя,— вздохнул он.— Ты так хорошо все видишь.

Потом она удивлялась, как могла она быть до такой степени слепа — и слепа так долго. Улик было сколько угодно: песок; его необъяснимые появления и исчезновения; то, что он бросил курить; его победоносная, безудержная веселость на вечеринках в присутствии Салли; та свойственная только жене мягкость (в тот момент Руфь словно ужалило, и картина эта надолго осталась в ее памяти), с какою Салли как-то раз взяла Джерри за руку, приглашая танцевать. Одержимость идеей смерти, владевшая Джерри прошлой весной, казалась Руфи настолько неподвластной доводам разума, настолько непробиваемой, что новые черточки в его поведении она отнесла к той же области таинственного: новая манера говорить и вышагивать; приступы раз-

дражительности с детьми; приступы нежности к ней; бесконечный самоанализ, без которого не обходилась ни одна их беседа; бессонница; ослабление его физических притязаний и какая-то новая холодная властность в постели, так что порой ей казалось, что она снова с Ричардом. Как могла она быть настолько слепой? Сначала она подумала, что от долгого созерцания собственной вины приняла появление нового за следствие прошлого. Она призналась себе тогда — хотя ни за что не призналась бы в этом Джерри,— что не считала его способным на такое.

Джерри попросил ее о разводе в воскресенье — в воскресенье той недели, когда он после двух дней, проведенных в Вашингтоне, прилетел в каком-то смятенном состоянии одним из последних самолетов. Расписание тогда сбилось, все рейсы были переполнены, и она сидела на аэродроме Ла-Гардиа, встречая самолет за самолетом. Когда наконец знакомый силуэт — узкие плечи, коротко остриженная голова — вырисовался на фоне мутных огней летного поля и заспешил к ней, она немало удивилась той униженной радости, с какой забилось у нее сердце. Будь она собакой, она, наверное, подпрыгнула бы и лизнула его в лицо; будучи же всего лишь женой, она позволила ему поцеловать себя и повела к машине, по дороге слушая рассказ о поездке: Госдепартамент; несколько минут с Вермеером в Национальной галерее; относительно крепкий сон в гостинице; жалкие подарки детям, которые он купил в магазине мелочей; одуряющее ожидание в аэропорту. По мере того как городская сумятица оставалась позади, его говорящий профиль в теплом склепе машины утрачивал в ее глазах ореол чуда, и к тому времени, когда они со скрежетом остановились на дорожке у дома, оба не чувствовали ничего, кроме усталости; они поели куриного супа, выпили немного бурбона[1] и юркнули в холодную постель. Однако потом это его возвращение домой казалось ей сказкой — последним оазисом, когда еще была твердая почва под ногами, перед этим дождливым воскресным днем, с которого началось плавание по морю кошмара, ставшее с тех пор ее естественным состоянием.

В то утро она с детьми отправилась на пляж. Джерри захотел пойти в церковь. Летом служба начиналась в девять тридцать и кончалась в десять тридцать. Руфь считала несправедливым заставлять детей так долго ждать, особенно учитывая капризы того лета: ясная погода по утрам, тучи — уже к полудню. Поэтому они высадили Джерри, расфранченного, возле церкви и поехали дальше.

Тучи появились раньше обычного: сначала — пуховочки, словно струйки дыма из локомотива, отправляющегося в путь вдоль горизонта, а потом настоящие тучи, все более затейливые и темные — замки, континенты, по мере продвижения разраставшиеся ввысь, застилавшие солнце. У мамаш на пляже была игра — подстерегать очередной просвет солнца. Облака плыли на восток, поэтому глаза мамаш были обращены на запад, где разматывался золотой бинт — сначала зажжет крыши коттеджей на Джейкобс-Пойнт, затем в полосу света попадает большая зеленая водонапорная башня, снабжающая коттеджи водой, и загорится, словно спустившийся с Марса космический корабль, металлическое яйцо на ее крыше; потом яркий свет покатится равномерными толчками по прибрежному песку, отчего он станет похож на поле нездешней, клонимой ветром пшеницы, и, наконец, прорежется солнце над головой, жаркое, вырвавшееся на свободу из цепляющихся за него рваных закраин облаков, а глубины неба закружатся радугой между прищуренными ресницами мамаш. В это воскресенье просветы в облаках исчезали быстрее обычного, и к половине двенадцатого стало ясно, что вот-вот пойдет дождь. Руфь с детьми отправилась домой. Они обнаружили Джерри в гостиной: он сидел и читал воскресную газету. Он снял пиджак и распустил узел галстука, но из-за того, что волосы его были все еще влажные и прилизанные водой, показался Руфи каким-то странным. Он был рассеян, резок, враждебен; он вел себя так, точно они забрали себе все пляжное время и оставили его ни с чем. Но он часто бывал раздражен после церкви.

Руфь вынула из духовки жаркое, и все, кроме Джерри, сели за воскресный обед в купальных костюмах. Это был как раз тот случай, когда Джерри раз в неделю перед обедом читал молитву. Не успел он начать «Отче наш», как Джоффри, которого научили молитвам на сон грядущий, громко произнес: «Милый боженька...» Джоанна с Чарли захихикали. Джерри, не обращая на них внимания, продолжал быстро читать молитву, а Джоффри, закрыв глазенки, сжав пухлые ручки над тарелкой, тщетно пытался поспеть за ним, но, не выдержав темпа, жалобно прохныкал: — Не могу я так говорить!

— Аминь,— произнес Джерри и наотмашь ударил Джоффри по макушке.— Заткнись.

В начале недели мальчик сломал себе ключицу. Плечики его были оттянуты назад специальным бинтом, и он был особенно чувствителен к боли.

Проглотив слезы, Джоффри возмутился:— Ты же читал так б ы с т р о!

— Глупыш, тебе вовсе не надо было повторять молитву за папой,— пояснила Джоанна.

А Чарли повернулся и, приложив язык к нёбу, весело, с издевкой защелкал: — Ки-ки-ки.

---

[1] Бурбон — сорт виски.

Вынести сразу столько оскорблений Джоффри был уже не в состоянии: он чуть не задохнулся. Личико его покраснело и сморщилось в плаксивой гримасе.

— Джерри, ты меня удивляешь,— сказала Руфь.— Нехорошо это.

Джерри схватил вилку и швырнул в нее — собственно, не в нее, а поверх ее головы: вилка через дверь вылетела на кухню. Джоанна и Чарли украдкой переглянулись, и оба чуть не фыркнули.

— Черт бы вас всех подрал,— сказал Джерри,— в свинарнике и то, наверно, лучше читать молитву. Вы же сидите все, как один, голые.

— Ребенок хотел сделать как лучше,— сказала Руфь.— Он же не понимает разницы между благодарственной молитвой и обычной.

— Тогда какого хрена ты его не выучишь? Будь у него приличная мать, хоть наполовину, черт возьми, христианка, он бы знал, что молитву нельзя прерывать. Д ж о ф ф р и,— повернулся к сыну Джерри,— перестань реветь, если хочешь, чтоб ключица перестала болеть.

Потрясенный тем, что отец говорит с ним таким же злым тоном, мальчик попытался что-то произнести:— Я... я... я...

— Я... я... я...— передразнила его Джоанна.

Джоффри завопил точно резаный.

Джерри вскочил и кинулся к Джоанне, намереваясь ударить ее. Она метнулась в сторону, перевернув при этом стул. Лицо у нее было такое испуганное, что Джерри рассмеялся. Этот бессердечный смех словно высвободил всех злых духов за столом: Чарли повернулся к Джоффри и, сказав «плакса», ущипнул его за плечо и тем сдвинул ключицу. Руфь обрушилась на сына еще прежде, чем заревел малыш; Чарли закричал: «Я забыл, я забыл!» Потеряв голову от этой неожиданной вспышки злобы, стремясь обезвредить ее в зародыше, Руфь, все еще держа разливательную ложку, сорвалась с места и обежала вокруг стола с такой стремительностью, что ей казалось, она скользит на коньках. Свободной рукой она замахнулась на Джерри. Увидев ее занесенную руку, он спрятал голову в плечи и закрыл лицо ладонями — взгляду ее предстал затылок с гладко прилизанными волосами и пробивающейся кое-где сединой. Затылок у него оказался тверже ее руки; она подвернула большой палец — боль застлала ей глаза. Ничего не видя, она молотила и молотила эту упрямо склоненную башку, не в состоянии одной рукой — потому что другой продолжала сжимать разливательную ложку — добраться до глаз, до его полного яда рта. Когда она замахнулась на него в четвертый раз, он встал и, в воздухе схватив ее запястье, так сжал, что тонкие косточки хрустнули.

— Ты истеричная холодная стерва,— ровным тоном произнес он. — Никогда больше не смей ко мне прикасаться. — Он произнес это, отчеканивая каждое слово, и лицо, которое наконец смотрело на нее, было хоть и красное, но смертельно-спокойное — лицо подрумяненного трупа. Кошмар начался.

Двое старших детей умолкли. А Джоффри плакал и плакал, терзая всем нервы. Эластичный бинт двойной петлей туго обвивал его голые плечики, так что пухлые ручки беспомощно висели, как у обезьянки. Джерри сел и взял Джоффи за руку.

— Ты умница, что хотел прочесть со мной молитву,— сказал он.— Но благодарственную молитву читает всегда только один человек. Может быть, на этой неделе я научу тебя этой молитве, и тогда в будущее воскресенье ты скажешь ее вместо папы. О'кей?

— О-о-о... — продолжая всхлипывать, малыш попытался выразить свое согласие.

— О-о-о... — шепнула Джоанна на ухо Чарли; тот фыркнул, бросил искоса взгляд на Руфь и снова фыркнул.

А Джерри продолжал уговаривать Джоффри: — Ты умница. Ну, перестань же плакать и ешь горошек. Дети, верно, наша мама молодчина, что приготовила нам такой вкусный горошек? А папа сейчас нарежет вкусное жаркое. Где эта чертова вилка для жаркого? Извините, все извините. Джоффри, прекрати.

Но Джоффри никак не мог остановиться: все тельце его сотрясалось, события последних минут снова и снова возникали в памяти. Руфь обнаружила, что тоже дрожит и не может произнести ни слова. Она не могла подладиться к Джерри, старавшемуся шутками, прибаутками вернуть детям хорошее настроение, заставить их снова полюбить его, и чувствовала себя лишней. На кухне, принявшись мыть посуду, Руфь разрыдалась. Сквозь оконные стекла, на которых появились первые ломаные штрихи дождевых струек, она видела, как Джоанна, Чарли и двое соседских детишек играют в большой зеленый мяч под темным, фиолетовым небом. Джоффри она уложила наверху спать. В кухню вошел Джерри, поднял вилку с пола и, став рядом с женой, молча взял полотенце и принялся вытирать посуду. Она уже забыла, сколько месяцев тому назад он в последний раз помогал ей с посудой. И сейчас в этой его молчаливой помощи она почувствовала что-то угрожающее и заплакала сильнее.

— В чем все-таки дело? — спросил он.

От слез у нее драло горло и трудно было говорить.

— Извини меня за эту вспышку,— сказал он.— Я не в себе эти дни.

— Из-за чего?

— О... из-за всякого разного. Близость смерти? Я перестал об этом думать и просто начал умирать. Посмотри на мои волосы.

— Это тебе идет. Ты стал красивее.

— Наконец-то, да? То же и с работой. Чем меньше я рисую, тем больше меня любят. Им нравится, когда я говорю. Я стал чем-то вроде дешевого варианта Ала.

— Ты мог бы уйти.

— Когда у меня столько детей?

— Эти вытирать не надо. Поставим все остальное на сушилку.

— А ничего, что дети бегают по дождю?

— Пока он еще не такой сильный.

— Может, взять их с собой в кегельбан поиграть в шары, когда дождь разойдется.

— Они были бы счастливы.

— Значит, стал красивее. Что же побудило тебя выйти замуж за такого гадкого утенка?

— Тебя действительно мучает твоя работа?

— Нет.

— А что же?

— Нам обязательно об этом говорить?

— А почему бы и нет? — спросила она.

— Я боюсь. Если мы начнем говорить, то можем уже не остановиться.

— Давай. Пасуй на меня.

Услышав эту команду, он будто расцвел; ей почудилось — хотя от слез все расплывалось перед глазами,— что плечи его распрямились, словно с них упали оковы, и он вдруг стал шириться, разбухать, как разбухают облака над пляжем.

— Пошли,— сказал он и повел ее из кухни в гостиную, затем мимо большого старого камина — к фасадным окнам, смотревшим на вяз. На подоконнике, у самого переплета, лежала маленькая бурая кучка монеток, оранжевая бусинка из индейского ожерелья, которое Джоанна мастерила в школе, тусклый медный ключ от чего-то, чего ему уже никогда не открыть, — от чемодана, сундука, детской копилки. Во время их разговора Джерри не переставая играл этими предметами, словно пытался выжать из них непреложный приказ, конечный приговор.

— Тебе никогда не казалось,— спросил он, намеренно четко произнося слова, как если бы читал вслух детям,— что мы совершили ошибку?

— Когда?

— Когда поженились.

— Разве мы не любили друг друга?

— А это была любовь?

— Я считала, что да.

— Я тоже так считал.— Он ждал.

И она откликнулась: — Да, тогда мне казалось именно так.

— Но теперь не кажется.

— Нет, кажется. По-моему, мы стали лучше ладить.

— В постели?

— А разве мы не об этом говорим?

— Не только. Руфь, а тебя никогда не тянет выйти из игры до наступления конца?

— О чем ты, Джерри?

— Детка, я просто спрашиваю тебя: не совершаем ли мы страшной ошибки, намереваясь остаться в браке до конца жизни.

У нее перехватило дыхание, почудилось, что кожа на лице застыла как одна из стен этой замкнутой комнаты, ограниченной коричневым подоконником с кучкой монеток, низкими фиолетовыми облаками, на фоне которых бледными тенями вырисовывались веточки вяза, квадратом стекла, исполосованным каплями дождя. Голос Джерри окликнул ее: — Эй?

— Что?

— Не расстраивайся,— сказал он.— Это всего лишь предположение. Идея.

— Что ты оставишь меня?

— Что мы оставим друг друга. Ты сможешь вернуться в Нью-Йорк и снова стать художницей. Ведь ты же столько лет не писала. А жаль.

— Ну, а как будет с детьми?

— Я об этом думал — нельзя ли нам как-нибудь их поделить? Они могли бы видеться друг с другом и с нами сколько захотят, и, право же, все было бы не так уж плохо, лишь бы это соответствовало нашим обоюдным желаниям.

— А какие же, собственно, должны быть наши желания?

— Те самые, о которых мы сейчас говорим. Ты могла бы писать, и ходить босиком, и снова приблизиться к богеме.

— Перезрелая представительница богемы — вся в морщинах, с варикозными венами на ногах и выпирающим животом.

— Не говори глупостей. Ты же молодая. Ты сейчас куда лучше выглядишь, чем когда я впервые тебя встретил.

— Как это мило с твоей стороны!

— Ты могла бы взять Чарли. Мальчиков лучше разделить, а Джоанна нужна мне, чтобы помочь вести дом.

— Они нужны друг другу и нужны мне. Все нужны. И всем нам нужен ты.

— Не говори так. Я тебе не нужен. Тебе — нет. Я не создал тебе подобающей жизни, я не тот мужчина, который тебе нужен. И никогда им не был. Просто развлекал тебя как коллега-студент. Тебе нужен другой мужчина. Тебе нужно выбраться из Гринвуда. — Она терпеть не могла, когда в голосе его начинали звучать визгливые нотки.

— Значит, ты и городок наш забираешь себе. Меня заткнешь куда-нибудь на чердак, а дом себе оставишь. Нет, благодарю. Если ты работаешь в большом городе, там и живи.

— Не надо ожесточаться. Ты ведь не жестокая. И ты даже не слушаешь меня. Неужели тебе не хочется стать свободной? Спроси себя по-честному. Я смотрю, как ты изнываешь до отупения, занимаясь этим домом, и у меня возникает чувство, что я в художественной школе поймал птицу и посадил ее в клетку. Вот я и хочу тебе сказать: дверца открыта.

— Ты мне не это говоришь. Ты говоришь, что хочешь, чтобы я убралась отсюда.

— Ничего подобного. Я говорю, что хочу, чтобы ты жила как человек. А то слишком мы всё друг другу облегчаем. Защищаем один другого от настоящей жизни.

— Чушь какая-то. В чем все-таки дело, Джерри? В чем подлинная причина всего этого? Неужели я стала вдруг такой плохой?

— Ты вовсе не плохая. Ты хорошая. — Он дотронулся до ее плеча.— Ты грандиозная.

Она вздрогнула от его прикосновения — ей снова захотелось его ударить. На этот раз он не пытался ей помешать. Ее рука, неудачно занесенная, скользнула по краю его головы. В голосе ее снова зазвучали слезы: — Да как ты смеешь так обо мне говорить! Пошел вон! Пошел вон сейчас же!

Дождь усилился, и дети — их собственные и двое детишек Кантинелли — ввалились с улицы.

— Я возьму их с собой в кегельбан, — предложил Джерри. Казалось, он был даже рад, что она ударила его; он вдруг стал очень деловитым, торопливо заговорил: — Послушай. Больше мы говорить не будем. И не думай о том, что я тебе сказал. Вызови на сегодняшний вечер кого-нибудь посидеть с детьми, и я повезу тебя ужинать в морской ресторан. Пожалуйста, не плачь и не волнуйся. — Он повернулся к детям и крикнул: — Кто-о-о-о едет со мной играть в шары?

Хор «я» орудийным залпом ударил в нее. За ее спиной дождь резко барабанил по холодным стеклам. Джерри, казалось, наслаждался ее беспомощностью.

— Джоанна и Чарли, Роза и Фрэнк,— крикнул он,— живо в машину! — Он помог маленькому Фрэнку, по годам среднему между Чарли и Джоффри, снова надеть туфли. Все происходило так, точно ее уже здесь не было, а Джерри владел и домом, и детьми. Руфь почувствовала, как голову ее пронзила острая боль — она не сразу поняла, что звук возник не в мозгу, а где-то извне: это Джоффри спустился вниз, прижимая к себе одеяльце, и ревел во весь голос. Он тоже хотел ехать в кегельбан.

— Солнышко мое, — сказала Руфь, с усилием выталкивая из горла слова. — Тебе нельзя. У тебя же сломана ключица, ты не сможешь бросать шары.

Он так взвыл, что она даже зажмурилась; остальные дети один за другим выбегали из дома, хлопая дверью — один, два, три, четыре. «Нельзя тебе ехать, нельзя», — звучал в ее голове голос Джерри. Это акустическое чудо заставило ее открыть глаза. Он стоял на коленях, на полу, крепко прижав к себе сына.

— Ангел мой, бедный мой ангелочек, — говорил он.

Лицо его над плечиком Джоффри было искажено, как показалось Руфи, чрезмерным горем. Он попытался подняться с колен, держа на руках сынишку, как младенца. Взвыв от боли, глубоко оскорбленный Джоффри вырвался и уткнулся Руфи в колени — слезы закапали на ее голую ногу. На ней был старый черный купальный костюм от Блюмингдейла — она давно вынула проволоку из лифчика, считая, что у нее слишком торчат в нем груди.

Джерри с улыбкой вытер рукой глаза.

— Бог ты мой, какой ужас, — весело сказал он, клюнул Руфь в щеку и оставил одну в доме, где единственным звуком был шум льющегося дождя.

То, среди чего очутилась Руфь, было, казалось, чем угодно, только не пространством, ибо мебель продолжала плавать по широким сосновым доскам пола, растекшееся пятно на столике у стены безмолвно поддерживало пустую вазу для цветов, а книги на полках — в противоположность ее собственному шаткому существованию — сохраняли в неприкосновенности свою крепость, свою компактную незыблемость, более тошнотворную, чем компактная незыблемость города, хотя каждая книга, если ее открыть, и есть город. Джоффри, которого уложили на обтянутый парусиной диван, рядом с грудой скользких детских книжек, сердился, сыпал вопросами и, наконец, весь извертевшись, заснул. Он лежал обмякнув, свернувшись клубком, в этой

своей жалостной повязке; пухлая, почти квадратная ручонка его перевернулась ладонью вверх — казалось, она состояла из одних больших пальцев, как руки на картинах Пикассо. Руфь положила его ровнее — он поморщился, но не проснулся. А потом с ней заговорил дождь — голосом металлическим, барабанящим, когда она стояла у окон; голосом более тихим, когда она передвинулась на середину комнаты, и почти беззвучным, когда она закрыла лицо руками. Мимо по дороге проносились машины с шипением и свистом кометы. Окна в ванной наверху запотели, и водосточные трубы, забитые у карниза кленовыми листьями и семенами, издевались над ней — вода булькала в них, передразнивая звук, с каким моча падала в овал воды в унитазе. Руфь двигалась по комнатам, заправляя постели, а дождь шуршал, раскрывая чердачные тайны, — так шуршат мыши, черепица, оберточная бумага, стружка для упаковки елочных игрушек. Руфь вспомнила родительский дом в Вермонте, сосновый бор, рыхлую дорогу, а вернее — две грязные колеи между кустами черной смородины, сами эти царапающие кусты, невидимые острые камешки, которые, бывало, вдруг кольнут голую ногу, мешковатые штаны, которые отец носил изо дня в день все лето напролет, кладовку, где мать хранила продукты, столь экономно и продуманно заготовленные, что они с сестрой никогда не голодали, но и не переедали тоже никогда. Руфь подумала было о том, чтобы обратиться к родителям, и тотчас вычеркнула их из мыслей. Смотри на вещи реально. Когда она жила с родителями, они пренебрегали ею — сейчас пришлось бы слишком многое объяснять, чтобы они ее поняли. Она спустилась вниз, налила себе рюмочку вермута и пошла с нею к пианино. Не имея времени рисовать, она снова стала искать удовлетворения в неуклюжих попытках совладать с Бахом. Легкое вино и ее побежавшие по клавишам руки как бы развернули зеленый ковер, с которого ввысь поплыли аккорды; сердце ее взмывало в арабесках, лодыжки болели от усиленной работы педалями. К тому времени, когда Джерри и дети шумной ватагой вернулись из кегельбана, она, пропустив все пьесы, где было больше четырех диезов или бемолей, уже добралась до середины «Хорошо темперированного клавира»; она поднялась было навстречу детям и тотчас почувствовала, как ее качнуло назад, к табурету, словно музыка еще звучала и комната, подчиняясь мелодии, толкнула ее замершее тело. Бутылка вермута была наполовину пуста. Джерри подошел с самодовольным и одновременно удивленным видом и коснулся ее щек — они были влажные.

— Ты все еще в купальном костюме, — сказал он.

Стоило ему вернуться, открыть дверь — и из дома исчезли текучие звуки, которые она вызвала к жизни, чтобы не чувствовать одиночества. Джоффри проснулся от боли; старшие дети толкались вокруг нее. Руфь приготовила им ужин и вызвала на вечер их любимую приходящую няню — миссис О., что означало О'Брайен, дородную вдову с бюстом как диванный валик и безмятежным треугольным личиком послушного ребенка. Она жила через несколько домов от них со своей древней, не желавшей умирать матерью. Руфь приняла ванну и оделась для выхода. Забраковала платья спокойных тонов, висевшие в ее шкафу, и выбрала желтое, которое купила летом после рождения Джоффри, чтобы отметить возврат к нормальному состоянию. Потом это платье стало казаться ей слишком юным, слишком декольтированным. Но не сейчас — сейчас ей нечего было терять. Она даже надушилась. Отвернувшись от туалетного столика, она увидела Джерри, застывшего в одних трусах перед своим гардеробом — одна рука на бедре, другая почесывает голову: должно быть, он тоже раздумывал, что бы надеть по столь непонятному поводу. Он показался ей в эту редкую минуту красивым, как недосягаемая статуя — не разгневанно прекрасным ренессансным Давидом, а средневековым Адамом, который стоит обнаженный в тимпане, склонив голову, дабы она вписалась в пресловутый треугольник, всем костяком своего тела выражая невинность и тревогу. Неуклюжее и чистое — таким, наверно, и должно быть тело христианина, подумала она.

Ресторан с морской едой, который нравился Джерри, находился в старом центре города, близ замшелых доков, — это был перестроенный капитанский дом, где в каждой из маленьких зал имелся камин; в это время года пепел из каминов был удален и между железными решетками стояли пионы. На столиках лежали красные клетчатые скатерти, и низкие лампы-подсвечники освещали лица обедающих совсем как у де Латура [1]. Потягивая джин с тоником, Джерри уходил от прямого разговора и злословил — ну и пусть. Им подали суп из моллюсков — тембр голоса у Джерри изменился, стал ниже, мягче.

— Приятное платье,— сказал он.— Почему ты его так редко носишь?

— Я купила его почти сразу после рождения Джоффри. Теперь оно мне широковато в талии.

— Бедный Джоффри.

— Он никак не может понять, что у него сломана ключица.

— Из нашей троицы он меньше всего похож на нас с тобой. Почему бы это?

---

[1] Латур Жорж (1593—1652) — французский живописец.

— Он самый младший. Ты был единственным ребенком в семье, а я — старшей сестрой. Ну как, собрался с духом все мне рассказать?

— А ты собралась с духом меня выслушать?

— Да, конечно.

— Так вот, мне кажется, что я влюбился.

— Кто же эта счастливица?

— Ты должна знать. Должна была догадаться.

— Возможно, но все-таки скажи.

Джерри хотелось сказать, но он не мог: он опустил глаза и съел несколько ложек супа из моллюсков. Конечно же, это просто так, несерьезно.

Руфь игриво сказала: — Если я неверно отгадаю, ты ведь оскорбишься.

Он сказал: — Это Салли.

И, не встретив никакого отклика, запальчиво добавил: — А кто же еще?

Муха села на губы Руфи, и от ее щекочущего прикосновения она очнулась, представила себе, какой видит ее муха: живая гора, вулкан, изрыгающий запах моллюсков.

— Значит, вот кому суждено было стать твоей избранницей, да? — наконец откликнулась она, стремясь проявить деликатность, разделить с Джерри все оправдывающую убежденность в том, что этой женщиной могла быть только и именно Салли.

— Мне всегда нравилась Салли,— в свою защиту сказал он.

— А как она к тебе относится?

— Любит меня.

— Ты в этом уверен?

— Боюсь, Руфь, что да.

— Ты был с ней близок?

— Ну, конечно.

— Извини. И вы часто встречались?

— Раз двадцать.

— Раз двадцать! Где же это?

Наконец она хоть чему-то удивилась — это вернуло ему уверенность. Он настолько осмелел, что даже улыбнулся ей.

— Разве это имеет значение?

— Конечно имеет. Мне все это еще кажется нереальным.

— Руфь, я влюблен в нее. Это не предмет для обсуждения. Мы встречаемся то здесь, то там. На пляжах. У нее дома... Время от времени в Нью-Йорке. А весной она ездила со мною в Вашингтон.

Теперь это уже становилось реальностью.

— О, господи, Джерри. В Вашингтон?

— Не надо. Не заставляй меня думать, что я зря тебе все рассказал. Не мог я дольше от тебя таиться.

— А на прошлой неделе? Когда ты вернулся так поздно, а я ждала тебя на аэродроме Ла-Гардиа, она тоже была с тобой? Летела тем же самолетом? Значит, летела.

— Нет. Хватит. Я влюблен в Салли. А больше тебе ничего не надо знать. В Салли Матиас. Вот я произношу ее имя и уже чувствую себя счастливым.

— Она была с тобой на том самолете, который я встречала?

— Руфь, не в этом дело.

— Скажи мне.

— О'кей. Да. Была. Была.

Теперь она улыбнулась: — Хорошо, ладно. Не делай из мухи слона. Значит, когда ты подошел ко мне, и поцеловал, и, казалось, был так рад меня видеть, ты только что расстался с ней. Только что поцеловал ее на прощанье в самолете.

— По-моему, даже не поцеловал — такая мной владела паника. И я был рад видеть тебя — как ни странно.

— Как ни странно.

— На этот раз я не хотел, чтобы она приезжала,— она приехала сама по себе. Мне пришлось звонить в отель и врать, пришлось спешно удрать из Госдепартамента — словом, все было крайне неудобно. А потом самолеты перестали лететь в Нью-Йорк, вернее летели, только без нас. Ричард считал, что она застряла в Нью-Йорке на ночь. Она позвонила ему и сказала, что сломалась машина — ее «сааб». Просто поразительно: этот идиот проглатывает любую ее ложь.

— Ричард не знает?

— Думаю, что нет.— Джерри в изумлении уставился на Руфь, увидя вдруг в ней союзницу, советчицу.— Уверен, что не знает. Стал бы он терпеть, если бы знал?

Официантка убрала чашки из-под супа и подала Руфи тушеные гребешки, а Джерри — жареную камбалу. Руфь с удивлением обнаружила, что не только способна, но даже хочет есть. Возможно, она думала, что если может есть, словно ничего не произошло,— значит, ничего и не произошло. Новость, которую сообщил ей Джерри, была как враг, прорвавшийся сквозь линию обороны, но успевший занять лишь незначительную территорию ее души.

— Может, стоит мне поговорить с Ричардом,— предложила она,— и выяснить его реакцию.

— Может, не стоит. Если ты ему скажешь и он разведется с нею из-за меня, я ведь вынужден буду на ней жениться, так?

Она посмотрела на него — лицо с запавшими щеками сияло в свете свечей — и поняла, что ему все это нравится. Они давно никуда не выходили, чтобы вот так поужинать вдвоем, и сейчас эта атмосфера опасности, прощупывания друг друга возбуждала, словно любовное свидание. Руфь была довольна, что в силах играть отведенную ей в этой авантюре роль: утрата частицы себя как бы высвободила в ней все остальное и придала этому остальному новую подвижность.

— Не так,— сказала она.— Может, он с ней вовсе и не разведется. У него были романы и скорей всего у нее — тоже. Может, они решили, что их браку это ничуть не мешает.

Джерри не обратил внимания на то, с какой убежденностью она сказала, что у Ричарда были романы. Он мог говорить только о Салли: — Она действительно спала раньше с другими мужчинами, но никогда прежде не была влюблена.

— С кем же она спала?

— С разными малыми. Когда Ричард ушел от нее. Я ни разу не спрашивал, был ли это кто-нибудь из знакомых. Странно, верно? Очевидно, я боюсь узнать, кто это был.

— Ты должен спросить ее.

— Благодарю, но я уж сам как-нибудь разберусь, о чем мне говорить с Салли.

Руфь спросила: — Хочешь, я тебе в чем-то признаюсь?

— Признаешься — в чем?

— Не смотри на меня так свысока. Мне, конечно, далеко до твоей роскошной романтической истории. Но и у меня был роман.

— У тебя? Руфь, это же чудесно! С кем?

Раньше она собиралась ему сказать, но теперь поняла, что он будет над ней смеяться. Его презрение к Ричарду захлестнуло ее, и она покраснела.— Не скажу. Это случилось некоторое время тому назад, и я порвала с тем человеком, решив, что люблю тебя, а не его. Он же никогда меня не любил.

— Ты уверена?

— Совершенно.

— Этот человек не придет к тебе, если я с тобой разведусь?

— Безусловно, нет.— Скорее всего так и было бы, но кровь быстрее побежала у нее по жилам, словно она солгала.

— Почему ты не хочешь сказать мне, как его зовут?

— Ты можешь использовать это против меня.

— А если я обещаю, что не стану?

— Какой вес имеет слово, данное мне, когда ты любишь другую?

Он молчал с полным ртом, не в состоянии ничего вымолвить, пока не проглотит пищу. — Вы, женщины, в общем-то смотрите на это как на войну, верно?

— А вы как на это смотрите?

— Я смотрю как на мороку. Я люблю детей и любил тебя. И, пожалуй, в определенном смысле все еще люблю. Этот мужчина... тебе с ним было хорошо?

— Неплохо.

Джерри театрально заскрежетал зубами: — Это удар ниже пояса. Лучше, чем со мной?

— Иначе. Он ведь был моим любовником, Джерри. А мужем быть труднее, чем любовником.

— Значит, он все-таки был лучше. Вот дерьмо! Люди устраивают иной раз сюрпризы, верно? Ты вот тоже устроила мне сюрприз. А лучше бы не устраивала. Меня это сбило с толку.

Она взглядом измерила пространство между ними, решая, не пора ли притронуться к его руке. И решила, что нет.

— Пусть это не сбивает тебя с толку,— сказала она.— То была глупая маленькая интрижка, и я рада, что все позади. Я тогда чувствовала себя такой несчастной и до сих пор благодарна тому человеку, поэтому не требуй, чтобы я выдала его. Ни тебя, ни Салли это никак не касается.

— Очень даже касается. Я ревную. Почему ты не хочешь мне его назвать?

— Если я назову, может, ты перестанешь ревновать.

Он восхищенно рассмеялся: — Это был Попрыгунчик, да?

— Нет.

— Тогда, значит, Дэвид.

— Я не намерена играть в отгадки.

— Значит — Дэвид. Вот почему ты так враждебно относишься к Хэрриет. Значит, это он.

— Сейчас я тебе ничего не скажу. Возможно, потом. Мне необходимо подумать. Я рассказала тебе про свой роман, потому что он уже изжил себя. Романы действительно изживают себя, Джерри. Все потрясающе, чудесно, лучше быть не может, но — мимолетно, и ради Салли... забудь обо мне, если тебе так легче... ради Салли, и твоих детей, и ее детей, и даже Ричарда — дай времени пройти, не спеши.

— А я и не с п е ш и л. Это началось ранней весной, а любил я ее уже долгие годы. Мне не нужна была постель, чтобы полюбить ее. Хотя это тоже способствовало. Послушай, Руфь. Не пытайся сбросить эту женщину со счетов. Она не дура, и она не гадючка. Она не сказала ни одной гадости про тебя — она очень о тебе тревожится. Когда стало ясно, что мы зашли слишком далеко, она попыталась порвать, но я удержал ее. Не она, а я настаивал на продолжении отношений. Она — моя. Она всецело принадлежит мне — у нас с тобой никогда так не было. Мне трудно это объяснить, но когда я с ней, я главенствую. А когда я с тобой, мы на равных. — И он проиллюстрировал это, вытянув два длинных пальца.

Почему он устраивает ей такую пытку? Почему просто не уйдет? Почему пытается заставить ее сказать «уходи»? А она ему в этом отказывает. Отказывает своим молчанием. Поступаешь как мужчина, так и будь до конца мужчиной. Смотри на вещи реально.

— Желаете кофе и десерт?

Интересно, подумала Руфь, давно ли стоит возле них официантка. Сухопарая женщина всем своим весом опиралась на спинку стула, словно хотела облегчить боль в ногах, и с выражением уставшей матери смотрела на них сверху вниз. Ее поза как бы говорила о том, что в этом их разговоре нет для нее ничего необычного.

— Только кофе, пожалуйста, — сказал Джерри, взял салфетку с колен и, сложив ее, каким-то удивительно мягким, легким жестом опустил на стол возле своего бокала: он уже облегчил душу, избавился от бремени. Но в этом бремени, которое он переложил на нее, Руфь тотчас почувствовала непонятные острые углы.

— Она приехала в Вашингтон второй раз без твоего приглашения?

— Так точно. — По лицу его видно было, как он этим польщен. — Я умолял ее не приезжать. Ради ее же безопасности.

— Ну и сука.

Он взглянул на жену настороженно, с надеждой: — Зачем ты так?

— Она — сука. Я всегда это считала. Какая женщина стала бы тебя так преследовать, когда у тебя трое детей.

— Да в общем-то она меня не преследовала. Скорее сбежала ко мне. И вовсе она, золотко, не сука, она хорошая женщина, которая не может понять, почему она должна быть несчастной. Она совсем как ты. Во многих отношениях совсем-совсем как ты.

— Благодарю. По-видимому, ты считаешь это комплиментом.

— Если это комплимент, то прими его — вот мой совет.

— Я буду с ней говорить.

— Господи, зачем? — Джерри переложил салфетку по другую сторону тарелки. — Что ты ей скажешь?

— Понятия не имею. Что-нибудь придумаю.

— Все, что ты способна сказать Салли, она себе уже сказала.

— Тогда, возможно, ей интересно будет услышать это от кого-то еще.

— Слушай, ты. Я не дам эту женщину в обиду. И если мне придется жениться на ней, я женюсь. Ты этого хочешь?

— Я не хочу, чтоб ты на ней женился, нет. Этого ты хочешь. Верно?

Он медленно произнес: — Верно.

Это минутное колебание позволило ей дотронуться до его руки. Он руки не убрал. На двух пальцах, которыми он обычно держал перо, были чернильные мозоли.

— Разреши мне поговорить с ней,— сказала Руфь.— Я ничего не скажу Ричарду. Я не буду ни кричать, ни вопить. Но это важно. Женщины могут сказать друг другу такое, чего мужчины за них никогда не скажут. Я знаю, что она не сука. Она мне нравится. Я уважаю твою любовь к ней. И понимаю: тебя потянуло к ней, потому что... я не во всем устраиваю тебя.

Хотя он и отнял у нее руку, она почувствовала, что он смягчился; она увидела, как он откинулся на стуле, явно довольный тем, что Руфь с Салли утрясут все между собой и тем самым избавят его от необходимости принимать решение. Подали кофе. Вокруг них — теперь они это заметили — шло непрерывное коловращение разговоров, а благодаря этим разговорам вращался и мир. И они с Джерри, прожив многие годы вместе, словно дети под надзором невидимых родителей, сейчас заговорили друг с другом, как взрослые. Прежде чем встать из-за стола, Джерри спросил ее мягко, но официально:— Ты хочешь, чтобы я убрался сегодня же?

Ответ слетел с ее губ так быстро, так инстинктивно, что это не могло быть решением:— Конечно нет.

— Ты уверена? Так было бы порядочнее. Я ведь ничего не могу тебе обещать.

— А куда ты переедешь?

— В этом-то вся и закавыка. В Нью-Йорк?

— Ты же знаешь, что не можешь спать в отелях. Не дури. Ты что, хочешь непременно уйти от меня сегодня?

Он подумал.— Нет. Вроде бы нет.

— Она сейчас скорей всего где-нибудь на вечеринке с Ричардом и все равно не может быть с тобой.

— Я бы и не стал ее звать. Мне надо сначала порвать с тобою.

— Что ж, детям все объяснить должен ТЫ. И тут я тебе не завидую.

Он внимательно изучал клетки на скатерти, словно ткань могла подсказать ему ответ. И все водил и водил безымянным пальцем левой руки вокруг одной из клеток. Когда они поженились, Джерри отказался носить обручальное кольцо — из опасения, сказал он, что будет все время вертеть его.

— Давай пройдемся по пляжу.

Конанты расплатились, улыбнулись усталой официантке, вышли и сели в его машину—«меркурий» со складным верхом. Небо над пляжем после дождя было желтое. Звезды еле мерцали, но почти полная луна так ярко освещала песок, что за ними тянулись длинные тени. Пролив Саунд был словно кнопками прикреплен к горизонту огнями Грейс-Айленда, а с другой стороны — огнями коттеджей Джейкобс-Пойнта. Руфь с трудом могла поверить, что не прошло и двенадцати часов, как она лежала здесь, наблюдая за подкрадывавшимся солнцем,— прилив слизал все дневные отпечатки. Сейчас в темноте ее голые ноги оставляли четкие холодные следы, а волны, фосфоресцируя, накатывались и отступали. Джерри задержал ее и, обняв, поцеловал в шею, в щеки, в глаза.

— Просто не знаю, что и делать,— сказал он.— Я не могу отказаться ни от тебя, ни от нее.

— Ничего сейчас не решай,— сказала она.— Я еще не готова.

— Ты никогда не будешь готова!

— Откуда тебе знать? Я могу приготовиться. Но обещай ничего не предпринимать до конца лета.

— Хорошо,— сказал он.

Ей стало неловко от того, что она так легко добилась столь многого.— А ты выдержишь?— Салли и Джерри; им кажется, что они влюблены — до чего умилительно. Руфь представила себе их — насколько же она выше,— у нее даже голова закружилась. Лакированная ночь завихрилась вокруг нее, как воздух на полотнах Шагала; она крепко прижалась к Джерри — из жалости.

— Выдержу — что?— спросил он.

— Разлуку с Салли,— сказала она.

— Это тоже входит в уговор?

— Ты должен попытаться прожить со мной до начала осени,— сказала ему Руфь.— А иначе — к чему все это?

— К чему — что?

— Пытаться.

— А потом — что?

— Потом решай.

— Господи,— сказал Джерри, выпуская ее из объятий.— Ты была такой прелестной женой.

На другой день, в понедельник, Руфь позвонила сначала миссис О., потом Салли.

— Салли, это Руфь.

— Привет. Как поживаешь?— Салли когда-то работала секретаршей, и голос у нее по телефону был поставленный, бархатный — профессиональное качество, о котором все забывали, видя, как она флиртует и взвизгивает на вечеринках.

— Не слишком хорошо.

— О! Жаль.

— Я звоню, чтобы спросить, можно заехать на чашечку кофе?

Салли старательно сохраняла дистанцию между словами:— Ко-не-е-чно. А может, заглянешь попозже выпить чего-нибудь? Разве ты не едешь на пляж? Вчера была такая жуткая погода.

— Да, была. Я долго тебя не задержу.

— Может, приедешь с детьми?

— Понимаешь, я...— Руфь вздрогнула от собственного извиняющегося смешка.— Я договорилась с одной женщиной, чтоб она с ними посидела.

— Ричард забрал Бобби, и они поехали смотреть какой-то участок или что-то там еще, но Питер и малышка со мной. А ты хотела бы... они тебе не помешают?

— Конечно нет. Я, наверное, зря вызвала ту женщину.

— Как знать,— осмелела Салли.— Возьми Джоффри — он составит компанию моему шалопаю.

Руфь почувствовала, что ею начинают командовать, хотя собеседница по-прежнему не обнаруживала себя.— Пожалуй, возьму.— Джоффри терпеть не мог Питера, который, по его словам, вечно толкается.— Я посмотрю.

— Вот и прекрасно,— сказала Салли и, пропев:— Так мы вас ждем,— повесила трубку.

Руфь в ярости принялась засовывать ноги Джоффри в туфли на резиновом ходу. Когда прибыла миссис О., он ревел из-за того, что его увозят, а Джоанна с Чарли ныли, что их не берут с собой.

Зимой, когда выпадал снег, родители с детьми ездили в конце недели кататься на санках с холма, где стоял дом Матиасов; Ричард и Салли угощали детей печеньем и горячим шоколадом, а взрослых — чаем с ромом. Дорога к их дому вилась вверх по холму, и Руфь, когда ее «фолкон» стало по обыкновению заносить то вправо, то влево, тотчас вспомнила, несмотря на все свое возмущение, раздражение и страх, как гостеприимно — сообразно времени года — встречали ее там, наверху: зимой — катание на санках, летом — чай на лужайке, вечеринки с ужином, игра в слова, рисование плакатов, уроки вязанья, собрания разных комитетов по превращению Гринвуда в еще больший рай.

Салли ждала ее у бокового входа. Солнце светило с востока, и мягкая узорная тень деревьев лежала на красном дощатом доме, а заодно и на Салли, подчеркивая ее животную немоту, превращая в пятнистую олениху. На ней были белые брюки в обтяжку, низко спущенные на бедрах в стиле «Сен-Тропез», и летняя трикотажная кофточка с широкими янтарными полосами. Ее длинные ноги были босы, и лак на ногтях требовал обновления; пепельно-светлые волосы висели прядями, придавая ее облику суровость колдуньи. Заостренное книзу лицо было бледно, точно она потеряла пинту крови или недавно произвела на свет младенца.

— Джерри только что звонил, — объявила она.

— Вот как? — Руфь придерживала дверцу, пока Джоффри, пыхтя, неуклюже вылезал из машины.

— Он хотел меня предупредить. — Салли усмехнулась, и Руфь, как всегда, не устояла и тоже улыбнулась. Питер Матиас и малышка — крошечная девочка с нелепым именем — появились у ног матери. Как же ее зовут, этакое дикарское имя, императрица, но не Клеопатра: ага, Теодора. — Пойдите покажите Джоффри качели! — воскликнула Салли своим пронзительным и в то же время мелодичным голосом, и хотя дети продолжали застенчиво стоять, Цезарь, большеголовый пес Матиасов, одним прыжком проскочил между их ног и помчался на задний двор, где в тени деревьев висели качели.

Салли повернулась и вошла в дверь; Руфь последовала за ней, по-новому, глазами Джерри, глядя на знакомые предметы обстановки: диваны с квадратными подлокотниками; ворсистые, с абстрактным рисунком ковры; стеклянные столики; изогнутые в духе Арпа [1] лампы; гравюры таких посредственностей, как Бюффе [2] и Уайес [3], в рамках. Джерри здесь, конечно же, нравилось: он прежде всего видел во всем этом деньги и много света. А Салли, надо сказать, обладала даром аранжировать освещение, втягивала в окна — с помощью белой краски и горшков с цветами — солнечный свет и уже не выпускала его. Самой веселой из комнат была кухня — разбившись о подоконники, свет здесь лежал длинными черепками на всех деревянных поверхностях, которые Салли с присущей ей энергией надраивала до блеска. Прошлой ночью, когда Руфь и Джерри затеяли тот разговор, ворочаясь без сна в постели, точно дети перед надвигающимся рождеством, а под конец стали уже полными дураками, он посетовал, что Салли и хозяйка-то куда лучше — не в пример ей. Руфь возразила, что у Салли есть Джози, хотя сама понимала, что это слабое оправдание: ведь и она могла бы иметь Джози, если б захотела. Но она не хотела — ей было все равно: она считала домоводство второсортной страстью.

— Я поставила кофе, но не уверена, что он уже готов, — сказала Салли.

Руфь села за стол, где обычно завтракали. Это был тяжелый ореховый стол старинной работы, который Ричард недавно купил в Торонто; она вспомнила, как он гордился своим приобретением.

— А где Джози? — спросила она.

— Наверху. Не нервничай. Она нам не помешает.

— Я и не нервничаю. Просто не хотела ставить тебя в неловкое положение.

— Как это мило с твоей стороны.— Салли, стоявшая у плиты, тряхнула головой, отбрасывая волосы с лица; голова у нее была маленькая, совсем как головка тропического воробья. — Жаль, что Джерри рассказал тебе. По-моему, слишком рано.

— Слишком рано для чего? — И видя, что Салли молчит, Руфь сказала: — Не жалей. Мне так лучше — знать, на каком я свете. Я все лето чувствовала себя несчастной, а почему — не знала.

— Я, собственно, думала, — нарочито размеренно произнесла Салли, ставя перед Руфью чашку кофе, — главным образом не о тебе.

Руфь пожала плечами: — Все равно рано или поздно это бы всплыло. Джерри прямо лопается от гордости.

— Он говорит, ты обещала не рассказывать Ричарду.

— Он сказал, что, если я это сделаю, он сбежит с тобой.

— Он еще сказал мне, Руфь, что у тебя был роман.

---

[1] Арп Ганс (1887—1966) — французский поэт, художник и скульптор, входил в парижскую группу художников-сюрреалистов, известен своими изогнутыми формами.

[2] Бюффе Бернар (род. в 1928 г.) — французский живописец и график.

[3] Уайес Ньюелл Конверс (1880—1945) — американский художник-иллюстратор; автор фресок, украшающих многие американские общественные здания.

Салли повернулась спиной, наливая себе кофе, и Руфь внимательно оглядела ее, ища следы прикосновений Джерри: неужели ему действительно нравятся эти широкие крутые бедра, эта полная, с выемкой спина. — Он не должен был тебе это говорить.

Салли обернулась. Как она посмотрела — чудо: разрез глаз, изогнутая линия слегка нахмуренных бровей. — Он все мне говорит.

Руфь опустила взгляд: — Уверена. — Она почувствовала, что падает навзничь; сумела удержаться. — Нет, вовсе я не уверена. Не уверена в том, что он до конца честен с нами обеими.

— Ты его не знаешь. Он болезненно честен.

— Я не знаю собственного мужа?

— В известном смысле — да.— Салли произнесла это беспечным тоном, но потом, с преувеличенной осторожностью поставив на стол чашку с кофе, тяжело опустилась на стул и уже хриплым голосом добавила: — Не надо такого холода. Он сказал мне, чтобы я не чувствовала себя проституткой в сравнении с тобой. А кто тот человек, он не захотел сказать.

— Он не знает.

— Дэвид Коллинз?

— Нет. Произошло это уже давно, и у меня никогда в мыслях не было расставаться с Джерри. Я сама положила всему конец, и тот человек держался очень хорошо. Удивительно хорошо. Не думаю, чтобы его, как и меня, эта история глубоко задела.

— Какая ты счастливица, — сказала Салли.

— Почему?

— Да потому, что не влюбилась в своего любовника.

— Нет, немного влюбилась. От волнения даже желудок расстроился. Я за те месяцы десять фунтов потеряла. — Она поднесла чашку к губам, выяснила, что кофе слишком горячий, снова поставила ее на блюдце, и, увиденная сверху, с размытыми от яркого света контурами, чашка сразу точно сошла с картины Боннара. Салли провела дрожащими руками по голому столу, словно разглаживая скатерть. Руфь протянула руку к своей чашке; потом, вспоминая этот разговор, она всякий раз прежде всего видела четыре белых дрожащих руки, суетливо двигавшихся по залитой солнцем доске полированного ореха.

— Ведь ты же, — сказала Салли, — сама отвернулась от Джерри.

— У меня и в мыслях такого не было. И не собиралась. Пожалуй, это он отвернулся от меня.

— Вы не можете жить друг с другом.

— Вот как?

— Не надо, Руфь. Кончай с этим тоном. Многие годы Ричард и я — мы восхищались вами, считая идеальной супружеской парой. У нас отношения никогда не складывались легко, и мы, пожалуй, завидовали вам: вы оба, казалось, были так уверены друг в друге, так близки. А потом, в прошлом году, между тобой и Джерри что-то произошло, я чувствовала, как он поглядывает по сторонам — на меня, на других женщин. Я поняла, что кто-то у него появится — так почему бы не я. — Подбородок у Салли при этих словах покраснел, и она улыбнулась, чтобы не заметно было, как дрожат губы.

До чего все было бы просто, подумала Руфь: лечь и умереть, пожертвовав собою ради этой жизнелюбивой женщины. У Салли, конечно, нет ни малейших сомнений насчет своего права на жизнь. Руфь спросила ее: — У тебя давно возникло чувство к Джерри?

Салли кивнула: д а, д а, д а, хотела отхлебнуть кофе, обнаружила, что он слишком горячий, вытащила изо рта прядку волос, отбросила ее с мокрых щек. Сказала: — Оно было всегда.

— В самом деле? — Руфь почувствовала себя оскорбленной: ведь это же явно преувеличено. — А будь ты счастлива в своем браке, оно возникло бы?

Это вышло неуклюже: Салли ощетинилась, усмотрев тут попытку влезть к ней в душу.— Я была вовсе н е т а к у ж несчастлива в браке до появления Джерри. Но сейчас стало просто ужасно. Я сама слышу, как придираюсь, придираюсь к нему и не могу остановиться. Я хочу уничтожить его. — Слезы снова потекли. — Я этого человека в грош не ставлю.

Руфь рассмеялась: те же слова она слышала от Ричарда.

Но если Руфь постепенно отходила, то Салли, наоборот, становилась все жестче и злее.— Нечего сидеть и веселиться. Надо отвечать за свои действия, Руфь. Нельзя отказывать человеку в сердечном тепле, а как только он обратился за этим теплом к другому, натянуть веревочку и вернуть его назад. Джерри нужна любовь; я могу ему дать ее. И даю. Он сам мне говорил, что я завоевала его. Да, завоевала. Я завоевала его, а он завоевал меня.

Руфь заметила в речи Салли отсутствие связи, словно она нанизывала друг на друга заранее подготовленные фразы, позволявшие ей считать себя лишь частично ответственной за случившееся. Она сказала: — Послушай, Салли. Не думай, что мне

так уж нравится моя роль во всем этом. Если бы не трое детей, меня бы здесь не было. Слишком это унизительно.

— Нельзя же строить брак на детях.

— А я и не считала, что наш брак строится на них. Послушать тебя,— продолжала Руфь, — послушать тебя, так выходит, что Джерри нужна только ты. Ты в этом уверена? Вчера ночью он сказал мне, что мы нужны ему обе. Я не сомневаюсь, он думает, что любит только тебя. Но он и меня любит.

Салли, не поднимая глаз, изобразила на лице грустную кривую усмешку бесконечного превосходства. А Руфь упорно продолжала: — Он обманул меня, не все сказав про тебя; возможно, он обманул и тебя, не все сказав про меня. Вчера ночью мы спали вместе.

Салли подняла на нее глаза. — После всего случившегося?

— После долгого разговора. Да. Это казалось вполне естественным и правильным.

— Ты убиваешь его, Руфь. Ты удушишь его — насмерть.

— Нет. Только не я. С весны у него усугубилась астма — он просыпается каждую ночь. Я считала, что это из-за цветочной пыльцы, но это из-за тебя. Ты убиваешь его, когда просишь, чтобы он избавил тебя и троих детей, которым он не отец, от неблагополучного брака. Это ему не по силам. Найди себе кого-нибудь другого. Найди человека покрепче.

— Что ты все нудишь о м о е м браке?

— Но ты ведь замужем, верно? И вышла довольно удачно, с моей точки зрения. Так почему же ты в грош не ставишь Ричарда? Если бы ты была больше и м занята, ты не устроила бы такой пакости н а м.

— Никакой пакости я вам не устраиваю. Я просила Джерри только об одном: чтобы он пришел к какому-то решению.

— В твою пользу. А ему нужна я. И ему нужны его родные дети. Дети играют очень важную роль в жизни Джерри. Он был единственным и притом несчастным ребенком в семье, и сейчас ему приятно, что у него трое детей и что он может содержать их и дать им воспитание, которого сам не получил.

— Дети так и останутся его детьми.

— Ничего подобного, не останутся,— сказала Руфь. Ее смущала собственная запальчивость. Она сказала: — Будем рассуждать здраво. Ты готова жить с ним в бедности? А я жила с ним в бедности и снова готова жить. Я ненавижу наш достаток, ненавижу то, как ему приходится зарабатывать деньги. И не боюсь остаться без них. А ты боишься.

— Не думаю, чтобы ты могла судить, чего я боюсь и чего нет.

Чем суше держалась Салли, тем больше распалялась Руфь. Щеки у нее горели.

— Ты всего боишься,— сказала она,— боишься, как бы не упустить чего-нибудь. И в этой жадности — твое обаяние. Потому-то мы все и любим тебя.

— Как вы можете меня любить? — сказала Салли. И точно собираясь отразить нападение, поднялась; Руфь бессознательно тоже встала и, словно обездоленный ребенок, словно мать, которая во сне видит себя одновременно и ребенком, вдруг обняла эту женщину, стоявшую у края стола, испещренного кругами от кофейных чашек. Тело Салли было чужое, крепкое, широкое. Обе тотчас отстранились друг от друга: объятие лишь утвердило взаимную убежденность, что они — враги.

Лак, и белая краска, и металл, и солнце на кухне Салли вздыбились вокруг Руфи занесенными кинжалами, когда она попыталась объяснить: — Тебе нужно больше, чем всем нам. Тебе нужна твоя новая мебель, твои наряды, твои поездки на Карибское море и в Мон-Тремблан. Мне кажется, ты не отдаешь себе отчета в том, сколь неустойчиво положение Джерри. Он ненавидит то, чем занимается. Я давно уговариваю его уйти с работы. Он ведь не Ричард. Ричард может наделать кучу ошибок — деньги все равно останутся при нем.

Продолжая стоять у стола, Салли водила пальцем по завитку в ореховом дереве — туда-сюда, туда-сюда. Ровным голосом она сказала: — По-моему, ты не очень хорошо нас знаешь.

— Я знаю вас лучше, чем ты думаешь. Я знаю, что Ричард не расщедрится.

Веки у Салли были все еще красные; она казалась крупной, хорошо сложенной девочкой, которая вот-вот расплачется.

— Я говорила Джерри,— сказала Салли,— что он себя доконает, если попробует содержать двух женщин.

— Тем самым ты только подстегнула его. После таких слов он станет из кожи вон лезть, лишь бы доказать, что все может.

— По-моему, ты очень снисходительна к Джерри.

— Я ведь знаю его чуть дольше, чем два-три месяца.

— Послушай, Руфь, нам ни к чему ссориться. Что мы думаем друг о друге — не имеет значения. Решать должен Джерри.

— А он ничего не решит. Пока мы обе при нем, ничего он не решит. Это м ы должны решать.

— Да как же мы можем?

Вопрос Салли прозвучал так искренне, так беспомощно и с такой надеждой, что Руфь ответила ей само собою напрашивавшимся выводом, как это делает пастор, закругляя проповедь: — Откажись от него на время. Не встречайся с ним и ради бога перестань ему звонить. Оставь его в покое до конца лета. А в сентябре, если он по-прежнему захочет быть с тобой,— забирай его. И черт с ним совсем.

— Ты это серьезно?

— А почему бы и нет? Никто из нас не будет жить вечно, и я вовсе не такая сентиментальная дура, какой вы с Джерри, видимо, меня считаете. Я даже думаю, что сумею неплохо провести развод, если уж на это пойду.

И обе женщины рассмеялись, словно раскрыли заговор.

Однако руки Салли на солнечном свету снова дрожали. Она провела по волосам, откидывая их назад.— Почему я должна тебе что-то уступать? Кроме этого лета у нас с Джерри, возможно, ничего больше и не будет, так почему же я должна от него отказываться?

— Я прошу не ради себя. Ради моих детей. Да и твоих, если угодно, тоже. Ричард ведь отец им.

— Ему на них наплевать.

— Нет такого мужчины, которому было бы наплевать.

— Ты знаешь одного только Джерри.

— Прошу прощения.

— Извини, я забыла. У тебя ведь был твой любовничек. Это кажется настолько неправдоподобным.

— Знаешь, Салли,— сказала Руфь,— ты, конечно, женщина роскошная, но у тебя есть один недостаток.

— Всего один? — небрежно переспросила Салли.

— Ты не умеешь слушать. Встаешь в позу и стоишь, не обращая внимания на то, что говорят другие. А я стараюсь быть великодушной. Стараюсь отдать тебе Джерри, если этого не миновать, но так, чтоб мы обе сохранили хоть немного достоинства. У т е б я ж е потом будет лучше на душе, если ты уступишь сейчас. Я ехала сюда с намерением не злиться, не плакать, не умолять, а ты не отступила ни на дюйм. Ты просто не слушаешь меня.

Салли передернула плечами: — Ну что я могу сказать? Что я откажусь от него? Я старалась. Он не допустил. Я люблю его. Лучше бы не любила. Мне совсем не хочется причинять боль тебе и твоим детям. Да и Ричарду, и моим детям тоже.

— Не очень-то ты старалась, когда летела в Вашингтон.

— Джерри просил меня. Он просто в з я л меня с собой.

— Я про второй раз. Тот раз, когда ты сама навязалась ему.

Глаза Салли разъехались в разные стороны — она погрузилась в воспоминания. — Никак не думала, что это такое большое зло. Мне, конечно, перед тобой не оправдаться. Да и не в нас дело, Руфь. Джерри — мужчина. И я буду принадлежать ему, если он захочет. Но он должен проявить себя мужчиной: прийти и забрать меня.

— Таково твое представление о мужчине, да? Значит, мужчина — это тот, кто бросает своих детей.

Салли взяла чашку, поднесла к губам и тут же поставила на место, так и не отхлебнув. Кофе был холодный.

— Я очень рано,— сказала она,— научилась скрывать определенные вещи. Возможно, это не было заметно, но я жила в аду.

— Не сомневаюсь, — сказала Руфь. — Только этот ад ты сама же и создала.

— Без чьей-либо помощи? Ты тут разглагольствовала о недостатках, точно у тебя их нет. Вы с Джерри слишком долго жили на этом вашем островке, в мире искусства. И ты настолько влюблена в себя, хоть и скрываешь это за изящными манерами воспитанной дамы, что даже не пыталась научиться заботиться о мужчине. Мне, к примеру, пришлось немало потрудиться ради сохранения своего брака, ты же палец о палец не ударила. Ты предоставила Джерри полную свободу и теперь из-за своей самовлюбленности не желаешь примириться с последствиями.

— Я примирюсь с ними, когда надо будет. Но...

— Вот уж не думаю, чтобы это когда-либо произошло. Я чертовски хорошо понимаю, что ты удержишь Джерри, если нажмешь на все тормоза и пустишь в ход детей. Но неужели он тебе нужен такой ценой? Я знаю, что мне в подобном случае Ричард не был бы нужен.

— Я тебе делать внушение не собиралась и сама выслушивать не хочу. Я прошу тебя, по-моему, достаточно вежливо: оставь в покое моего мужа на несколько недель.

Бледное лицо Салли вспыхнуло. — Вы с Джерри поступаете, как черт на душу положит. Оба вы, на мой взгляд, предельно незрелые.

— Я передам ему твои слова. Благодарю за кофе.

Проходя через гостиную, Руфь заметила, что квадратные подлокотники белого дивана протерты, а гравюра Уайеса висит криво. Во дворе на лужайке, требовавшей стрижки, Цезарь опрокинул Джоффри. Мальчик закричал — наверно, не столько от боли, решила Руфь, сколько из страха, что у него снова треснет ключица.

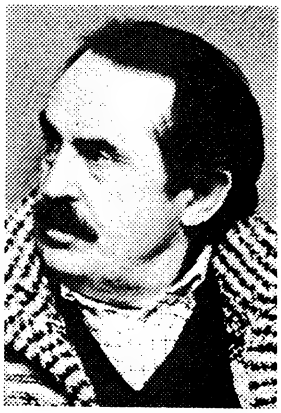
— Цезарь! — рявкнула Салли, а Руфь сказала: — Ничего страшного. Просто у Джоффри выдалась трудная неделя.

— Я слышала, — сказала Салли.

Руфь посмотрела на Салли, ища в ее лице подтверждения, что разговора на кухне не было; та улыбнулась в ответ. Но когда Руфь уже сидела в машине, а Джоффри хныкал позади, она увидела, как Салли в своих белых брюках опустилась на траву — длинные волосы растеклись по спине — и классическим жестом обняла двух своих детей; рядом с Теодорой дополнительным стражем стоял пес. «Враг отброшен» — так назвала бы Руфь эту картину, но тут включилось зажигание, и сила бензина и земного притяжения повлекли ее по дороге вниз.

(Окончание следует)

МАРИЯ ХИШПАНЬСКА-НОЙМАН. Польша.
Иллюстрация к стихотворению Пабло Неруды «Каторга».



ТОНИНО ГУЭРРА

■

С итальянского (романьоло)

Тонино Гуэрра — поэт. И тогда, когда он обращен к прозе, и когда сочиняет сценарий для кино, и когда пишет стихи. Поэзия — его способ жизни, свойство души.

...Кто пуговицы ищет, кто — железки,
девчонки — лоскутки или обрезки;
но вот они уходят, и тогда
является последний. Он опять
пришел к разбору, но не унывает,
счастливец улыбается — он знает,
что самое прекрасное — искать.

Он добрый. И непосредствен как ребенок. У него агрессивный взгляд — от беззащитности. Он немного сутулится. Смеется почти до слез, когда ему смешно, не считаясь с приличиями. С ним очень трудно людям неискренним, не оттого, что он их видит насквозь, а потому, что им кажется, будто они разоблачены.

Тонино Гуэрра выходец из крестьянской семьи. Стихи он пишет на романьоло — одном из многочисленных итальянских диалектов, прозу и сценарии — на литературном итальянском языке. Сборники стихов издаются с параллельным переводом на итальянский.

Диалект исходит из уст народа, живая народная речь дает, по мнению Гуэрры, дополнительные изобразительные возможности — «чувствуешь тело и запах тех, о ком говоришь».

Стихи Гуэрры просты, бесхитростны и прекрасны. Они лишены усложненных метафор и аллегорий, их образы не выносят расшифровки — так нельзя разобрать часовой механизм без того, чтобы он не остановился. Они выражают правду, красоту, не расчленяя их, а отражая — в целокупной радости творчества и бытия.

Кроме романов, рассказов и нескольких книг стихов Гуэрра написал множество киносценариев, иногда совместно с другими сценаристами, для теперь уже знаменитых фильмов. Некоторые из них мы встречали как на фестивальных экранах в Москве, так и в кинотеатрах. Это «Брак по-итальянски» Де Сика, «Амаркорд» Феллини, «Приключение», «Блоу-ап», «Забриски-Пойнт» Антониони. В советских журналах печатались переводы киносценариев «Забриски-Пойнт» и «Амаркорд»[1]. Мироощущение Гуэрры-поэта близко образному мышлению лучших итальянских кинематографистов. Не случайно он сотрудничал и с Микеланджело Антониони, и с Франческо Рози, и с Федерико Феллини. В «Амаркорде» Феллини целый эпизод о сумасшедшем на дереве вышел из стихотворения Гуэрры «Кот на абрикосовом дереве». Больше того, «Амаркорд» весь пронизан ностальгическим воспоминанием детства и любви к Романье, откуда, кстати, родом и режиссер и сценарист. Фильм этот переполнен тончайшими наблюдениями, вернее, скрупулезно и любовно реставрированными кусочками жизни, о которой с нежностью и иронией печально вспоминают Гуэрра и Феллини.

[1] См. «ИЛ» № 2, 1972, и «Искусство кино» № 3, 4, 1976.

«Забриски-Пойнт» — весь от начала до конца поэтическая метафора. Начиная от знакомства молодых героев (девушка едет в автомобиле по пустынному шоссе, а молодой человек летит над ним на краденом самолете). И кончая финалом со взрывающимся миром, который так ненавидит молодая героиня.

Поэтические образы Гуэрры легко воплощаются в кино, ибо они строятся на наблюдениях. Немногим кинематографистам придет в голову снять огромный эпизод на туманном скалистом острове, где герои фильма безрезультатно ищут молодую женщину, бесследно исчезнувшую в самом начале повествования («Приключение»). Эпизод этот лишен какой бы то ни было символической или аллегорической информации. Просто авторы с необычайной точностью и вниманием следят за поведением людей. Утомительные и тоскливые поиски. Без лишних («важных») слов и навязанных персонажам («выразительных») поступков.

На мой взгляд, это один из самых поэтичных эпизодов в мировом кино. Я сказал: поэтичных. И тем не менее я не принадлежу к тем, кто делит кино на поэтическое и интеллектуальное. И если я говорю сейчас о поэте, нашедшем в кино возможность продолжения жизни своих образов, то только оттого, что не считаю поэзию жанром: в любой области творчества можно быть поэтом. Более того. Я думаю, что истинное искусство всегда поэтично.

Лучшие режиссеры кино — всегда поэты. Вспомним имена хотя бы некоторых из них: Довженко, Феллини, Виго, Антониони, Бергман, Иоселиани, Бунюэль. Кино рождено и живо поэтами. И поэтому Тонино Гуэрра не случаен в нем.

В стихах из сборника «Волы», которые сегодня предлагаются вниманию читателей, вы найдете и тонкий юмор, и печаль, и радость, и страдание, и надежду. Он очень нежный и ранимый — этот крестьянин из Романьи, лишенный кожи.

АНДРЕЙ ТАРКОВСКИЙ

Гуси

И я, как все мальчишки, без печали
таскал пушистых кошек за хвосты,
и взрослые с их взрослой высоты
на улице меня не замечали.

Однажды утром я решил: Пора!
Довольно! Накомандовались мною!
Я сам распоряжусь своей судьбою,
прощайте все, иду я со двора!

На улице я увидал гусей,
хотел их испугать, они — в атаку:
топорщат крылья и шипят все злей...
что оставалось делать? Я заплакал.

Искать

Обычная помойка за углом,
ребята к ней приходят за добычей,
здесь, на помойке, им не до приличий —
полны карманы ценным барахлом.
Тот ищет кости, этот — провода,
кто пуговицы ищет, кто — железки,
девчонки — лоскутки или обрезки;
но вот они уходят, и тогда

является последний. Он опять
пришел к разбору, но не унывает,
счастливец улыбается — он знает,
что самое прекрасное — искать.

Каракули

А вот — стена. Вот почерк мой смешной —
каракули, написанные мной,
когда я был мальчишкой и мелком
я строил буковки рядком;
когда меня вперед вела строка
и шла сама за линией рука,
но плохо слушалась, и оттого
не получалось ничего.
...А вот — стена. Вот почерк мой смешной —
каракули, написанные мной.

Перевод РОМАНА СЕФА

Лошадиная лихорадка

Моя мать целовала меня.
Весь ее: с головы до пят.
И, прекратив целовать,
целовать принималась опять.
Время шло, и прошли времена.
Мой отец все стоял вдалеке —
ни надежды и ни ожиданья,
что приблизится он иль приближусь я сам,—
и никогда не позволил руке
прикоснуться к моим волосам —
заскорузлой руке, осязавшей лишь силу желанья
незаметно коснуться меня.
Тот же тайный озноб сотрясает коня:
эта дрожь, став движеньем,
его бы стремглав понесла,
но — узда и нельзя.

Перевод БЕЛЛЫ АХМАДУЛИНОЙ

В одиночестве

Твой сын
в одиночестве,
мама,
стоит у стены
с травинкой во рту.
А кто-то
спешит сквозь дождь
при свете
витрин.

Твой сын
в одиночестве,
мама,
стоит,
вперясь в пустоту,
и нет ему дела,
мама,
ни до кого на свете.

Моя река

Отражает моя река
проплывающий мимо мир
камышей, лозняка,
шелковичных червей, спящих в коконах-погремушках,—
если их разбудить,
интересно, что они скажут.

Отмель лунками сплошь изрыта,
и в заполнившей их воде
впору золото мыть,
приспособя старое сито.

Низко в небе
голубь висит —
ждет заряда из дробовика.

Огород

Клочок земли за каменным забором —
наш огород,
где похоронены останки кошек,
где мы играем под надзором деда,
а он фасоль лущит,
а он вдоль грядки с тяпкою идет,
которую потом за домом ставит.

Нас баловало лето — свой горошек
и лакированные баклажаны
среди салата.
Зимой одна капуста —
изъеденные листья на земле,
и дед на белый свет глядит в окно,
довольный, что сидит в тепле.

Шелковое плетенье

Моя стена когда-то
была покрыта шелковым плетеньем —
сетями пауков.

Перевод ЕВГЕНИЯ СОЛОНОВИЧА

Конец света

Колеса отскрипели. На ночлеге
уснули утомленные телеги,
обуревает сон крестьян усталых,
и трубки не дымят на сеновалах;
отчетливее трещины видны,
как молнии — на белизне стены,
и тень от стержня солнечных часов
упала, растворясь в тени домов.

Перевод РОМАНА СЕФА

Кот на абрикосовом дереве

Он был сумасшедшим,
но не сошедшим с ума в пустоту,
а вошедшим в иное,
себя приравнявшим к коту,
не снизошедшему к нам,
но взошедшему на
абрикосовое дерево,
где его
видели мимо шедшие люди
и заставала луна.

В той деревне (моей),
где вовек не водился злодей,
его добрый отец
был добрее всех добрых людей.

Например: он робел перед шкафом.
Коль надобно шкаф
непременно закрыть (хоть и вовсе не надобно),
как
это сделать? А вот как:
он шкаф обнимал, и затем, приседая,
он коленями ящики внутрь задвигал.

И всегда я,
как и все, кто там жил,
как и всё, что поныне там живо,
слышал, как он призывал сумасшедшего сына:
— О, послушай отца
и спускайся, мой Джино, мой Джино,
уже полночь и сыро.

Джино знал, что он — кот.
Я готов согласиться, пусть так.
Но каков он как кот? И при чем абрикос?
Было в нем нечто,
чего не бывает в нормальных котах.
Среди нас был безумным,
средь кошек прослыл полоумным,
хоть на их языке он стихи сочинял,
когда был возбужден полнолуньем.

Прекрасный мир

Не надо быть печальным.
Малой спички
довольно — и костер уже горит.
Иль вдруг приходят и кричат:
— Вы спите!
А там, во глубине лазури,
этой ночью
родился кит!

Мир так велик, что мы не можем знать,
как он велик.
Корабль, как голубь, белеет.
Ну что ж, пусть хвалит эту благодать
наш детский лепет.

Средь пекл земных, пространных и безводных,
среди пустынь сияющей воды
больших и незапамятных животных
отчетливы громоздкие следы.

Перевод БЕЛЛЫ АХМАДУЛИНОЙ

Волы

Нет, у меня язык не повернется
сказать моим волам,
что выгоднее, видите ли, трактор.

И сердце втайне сдавливает болью
при виде их, теперь уже ненужных,
когда, покорные веревке,
понурые, они бредут на бойню.

Смерть

Меня пугает смерть:
настанет час,
когда лишишься навсегда, навеки
друзей, семьи,
цветов, деревьев, запахов и красок,
людей, кого встречал хотя бы раз.

Я предпочел бы умереть зимой,
дождливым днем, когда темнеет рано,
и за порогом грязь,
и люди, никуда не торопясь,
в кафе у печки жмутся.

Перевод ЕВГЕНИЯ СОЛОНОВИЧА

Зима

Когда бы все имели теплый дом
и шубу с меховым воротником,
ботинки, что в ненастную погоду
подошвами не впитывают воду,—
то стал бы праздником обычный снегопад,
отправились бы в горы все подряд:
смотреть, как тихо белый снег кружится,
как медленно на землю он ложится.

Пирожное с кремом

И если я учился в школе,
то ради мамы. Дело в том,
что, грамоты не зная, поневоле
она расписывалась маленьким крестом.
И если я увидел мир полдневный,
чужие города,
то только ради мамы — из деревни
она не выезжала никуда.
И вот вчера я вышел погулять,
повел в кафе свою слепую мать...
Присаживайтесь рядом, я готов
для вас сегодня сделать невозможное:
просите — всё дадут без лишних слов —
и даже с кремом принесут пирожное.

Перевод РОМАНА СЕФА

Нищета

Конец двадцатых — нищета, нужда,
похлебка из картофельных очистков.
По воскресеньям, сидя на скамейке,
глядим, как едет граф в автомобиле.

Когда открыли, наконец, границу,
кой-кто решил во Францию махнуть,
а я — в Нью-Йорк, туда, где на асфальте
окурки — в половину сигареты.

Десяток лет подряд подраешь окна,
потом в прислугах двадцать проживешь
и замечаешь вдруг — настала старость,
и в зеркале себя не узнаешь.

Вопрос

Я знаю,
что не может быть сравненья,
но если б я не приложился боком,
когда упал с велосипеда,
и руки не расшиб и ноги!..

Я только задаю вопрос:
кто я таков?
Поскольку разговор зашел о ранах,
то чем я хуже, чем Христос?
Короче, как использовать получше
мою удачу?
Творить ли чудеса?
Заняться ли продажей образков?

Перевод ЕВГЕНИЯ СОЛОНОВИЧА

Кашель

Мой дом стоит так высоко в горах,
что даже кашель бога слышен мне.

Перевод РОМАНА СЕФА

Иногда

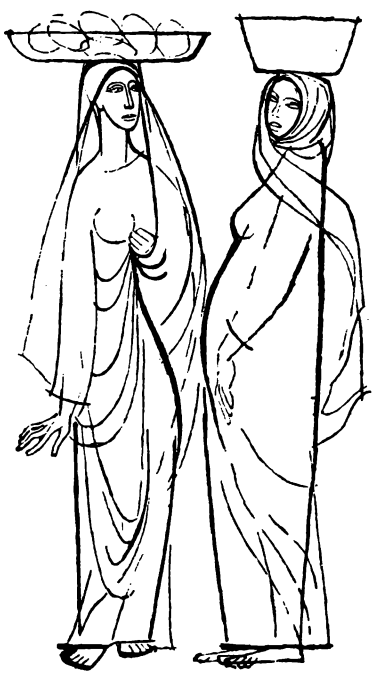
Иногда Сант-Арканжело, маленький город, в плену.
Он туманом пленен. Как бежать из полона тумана?
Городишко! И чем он меня так пленил, не пойму?
Ах, он мой! Я забыл, что здесь прожито было немало.

Птица смотрит сквозь воздух,
как грустный ездок сквозь стекло.
Мгла: темно и светло.

Воскресенье сегодня особенных качеств и свойств.
Все куда-то ушли. Я один выхожу на террасу.
Истекает июнь. В небе — шествие призрачных войск.
Город слушаю я и за ним тишину повторяю.

Перевод БЕЛЛЫ АХМАДУЛИНОЙ

■



МАРИЯ ХИШПАНЬСКА-НОЙМАН.
Польша.
Рисунок из цикла «Египет».

Критика

ПОМНИТЬ О ПРОШЛОМ, СОЗИДАТЬ БУДУЩЕЕ

«Круглый стол» польских писателей в редакции журнала

Уже стало доброй традицией — приглашать в редакцию видных зарубежных мастеров художественного слова и за «круглым столом» обсуждать насущные проблемы той литературы, которую они представляют, узнавать, как говорится, «из первых рук» о самом важном и значительном, что определяет духовную, творческую жизнь в их стране.

На этот раз у нас в гостях побывали писатели из ПНР, участники Дней польской культуры, которые проводились в Советском Союзе в связи со знаменательной датой — тридцатипятилетием Польской Народной Республики.

Хотелось бы отметить, что Дни польской культуры в СССР проходили с особым размахом. Среди мероприятий — симпозиум советских и польских литераторов на тему «Общественное призвание писателя в современном мире». Приветствуя участников симпозиума от имени Союза писателей СССР, сопредседатель встречи, секретарь правления СП СССР Ю. Суровцев, в частности, сказал: «Мы живем в такое время, когда один писатель, вне зависимости от степени таланта, не может стать властителем дум — столь велики свершения этого времени, столь велики задачи, стоящие перед современником, созидателем социалистического общества.

Давняя творческая, профессиональная дружба связывает наших писателей, растет внимание многонационального советского читателя к польской литературе. Процесс взаимообогащения и взаимовлияния наших литератур переживает очевидный подъем. Плоды политики наших партий в этой области становятся год от года все весомее».

Думается, что тема, предложенная к обсуждению за «круглым столом» в редакции журнала «Иностранная литература», находится в русле общих интересов как польских, так и советских участников. С чем приходят польские писатели к юбилею республики, что определяет сегодняшний день польской литературы—эти и многие другие вопросы, безусловно, волнуют и самые широкие читательские аудитории.

Среди гостей — видные польские писатели: Анджей Василевский, Александр Барщевский, Вацлав Билинский, Тадеуш Голуй, Януш Конюш, Веслав Мысливский, Игорь Сикирицкий, Альбин Секерский, Станислав Сроковский, Анджей Твердохлиб, заведующий сектором литературы отдела культуры ЦК ПОРП Влодзимеж Ловицкий. В работе «круглого стола» приняли также участие советские писатели, переводчики и полонисты, в том числе — В. Борисов, А. Ермонский, М. Игнатов, В. Огнев.

Итак, тема дискуссии: «Творческие искания в польской литературе 70-х годов».

Польские писатели за дружеской беседой в редакции «Иностранной литературы».

А. Василевский. Мне кажется, наиболее отличительная черта современной польской литературы — ее богатство и многообразие. Ее самая сильная сторона — наличие ярких, я бы сказал выдающихся, индивидуальностей. Ее слабая сторона — отсутствие доминирующего направления. Многообразие определяется тем, что поток литературы создается усилиями писателей разных поколений, от Ярослава Ивашкевича до представителей самого молодого поколения. Он отражает, вбирает в себя различные писательские судьбы, манеры, пристрастия. Но хочется подчеркнуть, что в целом мы стоим на единой мировоззренческой платформе.

Наиболее значительным сегодня мне представляется направление, разрабатывающее «деревенскую» тему и проблемы, связанные с ней: ломка сложившихся веками патриархальных устоев, строительство новой деревни, уход человека из села в город. Среди писателей-«деревенщиков» плодотворнее всех трудятся те, кто многое пережил на личном опыте.

Сейчас наблюдается рост интереса к военному прошлому. Причем инициатива, как правило, исходит от молодых литераторов, от тех, кто не испытал на себе ужасов войны, а их старшие товарищи по перу нередко вновь возвращаются к этой теме, вспоминают, *как все было*.

Желание узнать о дне вчерашнем и дне сегодняшнем возможно больше и точнее объясняет популярность у польского читателя литературы факта, книг типа «Беседы с палачом» Казимежа Мочарского, повестей Рышарда Капусцинского[1]. Думаю, не стоит убеждать советского читателя, что Капусцинский — настоящий мастер слова, его произведения являют собой пример литературы, в которой нерасторжимо слиты репортаж, документ и домысел.

В Польше вообще наблюдается огромный интерес к мемуарной литературе. В частности, уже издано около шести тысяч дневников, воспоминаний, мемуаров людей самых разных профессий. Собранные вместе, они представляют огромную панораму послевоенной Польши, хронику жизни сотен людей.

Несколько слов об историческом романе, традиция которого у нас очень давняя. Назову талантливого художника слова Теодора Парницкого, его романы — не просто исторические в обычном смысле слова, а скорее философские.

Новый читатель стремится знать прошлое своей родины, свои корни, отсюда — популярность польских классиков и современных писателей, разрабатывающих историческую тему. На читателя смотрят как бы три мира — прошлое, настоящее, будущее. Он хочет не только созидать социалистическое общество во имя будущего, но и приблизить к себе прошлое, сберечь па-

[1] В «ИЛ» опубликованы фрагменты из его книги «Немного об Анголе» — № 8, 1977.

ПОМНИТЬ О ПРОШЛОМ,
СОЗИДАТЬ БУДУЩЕЕ

мять о нем для тех, кто придет ему на смену.

М. Игнатов. Мне думается, наш разговор — это, так сказать, мысли вслух о важнейших тенденциях в польской литературе последних лет. В частности, для меня лично ближе проблематика польской прозы, мастера которой принимают участие в этой дружеской встрече. Польская проза многогранна, в чем меня убеждает более чем тридцатилетний опыт общения с ней. Чрезвычайно интересно наблюдение за эволюцией образа коммуниста. Кстати, этот мой интерес питает благодарная память о реально существовавших польских коммунистах, о живых людях, которых я, будучи офицером дивизии имени Тадеуша Костюшко, видел и на поле боя, и на самых горячих участках строительства новой Польши в первые послевоенные годы. Именно он, польский коммунист, в 60—70-е годы стал одним из главных героев многих романов и рассказов, создаваемых писателями буквально всех поколений.

Можно с полным основанием утверждать, что этот образ свидетельствует о неограниченных творческих возможностях польской литературы. Причем лучшие произведения о коммунистах не просто демонстрируют их высокие гражданские и человеческие достоинства, но и достоверно рисуют неизбежность прихода к партии социально активных людей, беззаветных патриотов. Скажем, Ежи Брошкевич в романе «Долго и счастливо» [1] выявил закономерность этого процесса на примере насыщенной бурными событиями жизни рядового рабочего. Присутствующий здесь Тадеуш Голуй в романе «Личность» [2] убедительно показал, как становится настоящим коммунистом представитель интеллигенции.

Нельзя не вспомнить и новый роман Збигнева Сафьяна «Ничейное поле» о довоенной Польше. Единственный раз появляется в нем коммунист, но эта впечатляющая сцена мировоззренческого поединка убежденного марксиста с одним из пилсудчиков, приведших страну к национальной катастрофе, чрезвычайно важна для понимания идейной направленности книги.

Непродолжительна встреча читателя с партийным руководителем крупного строительства, выведенным Юлианом Кавалецом в романе «Переплывешь реку...» [3]. Причем он не произносит ни слова, нет даже описания его внешности. Он просто приходит в ненастную ночь аврала на дно котлована и работает лопатой наравне с другими землекопами до утра. А потом молча же удаляется, но вы отчетливо видите этого вожака масс, который утверждает свой авторитет не красноречием, а умением двигать вперед дело.

Глубоко эмоциональна, лаконична и емка малая проза о коммунистах Рышарда Лисковацкого. Так, в рассказе «Немножко о господе боге, немножко о товарище Ковальском» человек партии не присутствует непосредственно, но его моральный и политический авторитет ярко показан через восприятие героев новеллы.

Значительным в этом плане видится мне посвященный современности роман «Авария» Вацлава Билинского, участника нашей сегодняшней встречи. В этой книге мы находим лишнее подтверждение тому, что литературе о коммунистах органически чужд казенный оптимизм.

Если в прозе о войне и Сопротивлении люди партии оказывались в трагических ситуациях, определяемых жестокой эпохой гитлеровского нашествия, то и здесь характеры старых партийцев Зарыхты и Барыцкого также проявляются в драматических ситуациях, вполне жизненно оправданных, ибо борьба за новое неизбежно сопряжена с острыми конфликтами как в сфере производства, так и в сфере человеческих отношений.

И вместе с тем роман «Авария» глубоко оптимистичен. Зарыхта и Барыцкий, отдавшие себя без остатка делу созидания, видимо, уже на излете, но, уходя, они оставят после себя не только воздвигнутые дома, заводы. Они оставят своим детям четкие и ясные взгляды на мир, на жизнь. Точно так же, как и сгоревший в огне войны Вацлав Потурецкий — герой книги «Личность» Тадеуша Голуя. Утверждение духовной связи между поколениями мы находим и в повести Юлиана Кавалеца «Серый ореол». По-моему, поиски и свершения в польской прозе о коммунистах несомненно носят наступательный характер. Во всяком случае, в них прослеживается отрицание проповеди пресловутого отчуждения, разобщенности между людьми.

Т. Голуй. Современная польская литература — литература «многоэтажная», состоящая из многочисленных пластов. Было бы преувеличением сказать, что образ коммуниста представлен «на каждом этаже», что он занимает центральное место. Но тем не менее интерес к образу коммуниста — выразителю идей социализма обусловлен даже не столько литературой, сколько историей. Это требование времени, и дело не в том, что есть какое-то энное количество писателей, решивших создать книги о польских коммунистах.

Люди моего поколения считают своим долгом передавать знания вступающему в жизнь следующему поколению. Курсы истории, исторические монографии, содержащие фактические сведения, документы, естественно, не ставят перед собой задач, которые по плечу художественной литературе. Они представляют ценность чаще всего для специалиста, а широкого читателя интересует не только фактическая, событийная сторона, но и люди — творцы истории. Читатель хочет понять, как получилось, что именно эти люди стали коммунистами. И вот поэтому мы, писатели, пытаемся создать полнокровный образ людей партии путем «реконструкции» реально су-

[1] Опубликован в «ИЛ» № 6 — 8, 1972.
[2] Роман вышел в издательстве «Прогресс», 1978 г.
[3] Роман печатался в «ИЛ» № 6, 7, 1976.

ществовавшего прообраза или же создать образ вымышленный, обобщенный.

Бывало, раньше некоторые литераторы, чьи идейные тенденции не выдержали испытания временем, подходили к решению этой творческой задачи чисто формально. А теперь это не мода, но наша внутренняя потребность, потребность ума и сердца.

Михаил Игнатов говорил, что польская литература исполнена драматизма, она показывает драматические судьбы людей. Книги, обращенные к прошлому, к истории подпольного движения, действительно таковы. Вместе с тем, однако, их идейная весомость отнюдь не умаляется тем, что иногда образ коммуниста не находится в центре повествования. Есть и такие, где вовсе не упоминаются люди партии, но книги эти проникнуты коммунистическим духом, их идейная направленность очевидна.

Хотелось бы отметить характерный факт: изменилась манера подачи образа. Было время, когда в исторических произведениях бытовала тенденция к несколько патетическому изображению персонажей, к тому, чтобы превратить их в некий монумент, было не принято писать о том, например, что у коммуниста есть возлюбленная. Это считалось чуть ли не святотатством. Он не имел права допускать ошибки — ни дома, ни на работе. Теперь все более повышаются требования к максимально жизненному показу человека реального, живого. Мне кажется, что польские писатели уже отказались от ненужной риторики, патетики.

В. Мысливский. В самом деле, у нас есть большое число книг, где, казалось бы, впрямую нет речи о том, что герой — коммунист, но есть убедительный портрет человека, его связь с общественной средой.

А. Твердохлиб. Да, и мне кажется, вовсе не обязательно, чтобы литературный герой все время твердил о своей принадлежности к партии. Надо стремиться создать такой образ, чтобы поверили: перед нами — настоящий коммунист, настоящий человек.

В. Билинский. Моя книга «Авария» — полемика с нашими идейными противниками, изображающими в искаженном свете мотивы тех или иных действий командиров производства. Я хотел показать особое, драматическое положение людей, которые, будучи коммунистами, отвечают за судьбу своей страны. Подчеркиваю — людей не равнодушных, не соглашателей, а настоящих коммунистов. Я старался показать драматический конфликт человека со временем, с историей, постоянно опережающей нас, конфликт с идущими нам на смену поколениями. Это нередко трагично, но вместе с тем закономерно. Каждое молодое поколение будет очень строго, очень сурово судить даже тех, кто отдал все свои силы борьбе за общее благо.

1944—1946 годы явились периодом становления народовластия, острых социальных конфликтов, ожесточенной борьбы нового со старым. Эти годы в течение долгого времени были в центре внимания наших литераторов. Лично я тоже черпал материал для своих книг именно в этом периоде. Но в какой-то момент, точнее, в начале семидесятых, на новом этапе развития нашей истории я совершил то, что верующие католики называют «расчетом со своей совестью». Я задумался: что в настоящий момент является самой главной проблемой? Главное, ответил я сам себе, моральная проблематика уже наших дней. Подчеркиваю, это мое субъективное мнение. Я коммунист и постарался взглянуть в лицо нашему времени. То, что сказал Михаил Игнатов о драматизме в современной литературе, вполне логично и понятно: человек подвергается испытаниям не только во время войны, не только тогда, когда нужно иметь силы сражаться и умереть, но и тогда, когда надо жить, когда надо действовать, когда надо совершать выбор и когда иной раз надо иметь мужество сказать, что решение было принято неправильно, что поступок совершен неправильный.

Таково мое творческое кредо, то, что определяет направление моей работы.

А. Твердохлиб. Герой одного из моих романов — партийный работник. Я «предоставил» ему право совершать ошибки, влюбляться. И знаете — книжка вышла в свет, а два года спустя этот роман даже был удостоен премии Центрального совета профсоюзов. Это раньше коммунисты представали бесплотными ангелами — их создатели лишали их права ошибаться, любить, страдать.

А. Барщевский. Образ коммуниста в современной польской литературе органически связан с польской действительностью. Он неотделим от образа общественного деятеля вообще. И в этом — существенное отличие литературы 60—70-х годов от более раннего периода, когда его рисовали несколько схематично. У наших литераторов не хватало умения и опыта для решения доселе не возникавшей перед ними художественной задачи. В качестве примера назову повести Витольда Залевского «Трактора разбудят весну» и Александра Сцибора-Рыльского «Уголь». Позднее такие книги стали называть «производственными». Коммунисты — действующие лица этих книг — выглядят неубедительными, ибо лишены типических человеческих чувств, недостатков. В такой литературе полностью торжествовала теория бесконфликтности, отражались наши романтически-наивные представления о жизни.

В скором времени сама действительность нанесла сильный удар по «литературной наивности». Уже в пятидесятые годы писатели заметили расхождение, я сказал бы

даже конфликт, литературной бесконфликтности с конфликтностью, драматизмом жизни. И видимо, здесь надо искать источник нового подхода к изображению коммуниста в литературе.

В чем же новизна?

Во многом. В том, что изображение стало более реалистичным, лишилось идеализации, вобрало в себя черты, характерные для нашего современника. Конечно, в таком случае можно усомниться — есть ли смысл обязательно называть его коммунистом, если он ничем не отличается от любого из нас. Дело в том, что все-таки о т л и ч а е т с я. Коммунисты — люди исключительной активности, ответственного риска, люди высоких стремлений и поисков.

М. Игнатов. Говоря об истоках новой трактовки людей партии, по-моему, стоит вспомнить цикл рассказов Леона Кручковского «Эскизы из ада честных людей», в котором новаторски раскрывается, по справедливому определению нашего ведущего полониста Виктора Хорева, «мятежный, но подлинно человечный мир, мир коммунистов».

А. Ермонский. Слушая нашего коллегу Василевского, я вспомнил роман Тадеуша Голуя «Личность». Когда я читал его, меня особенно привлек тот молодой человек, который, роясь в старых бумагах, сопоставляя «правды» различных участников давно уже минувших событий, упорно пытается восстановить прошлое. Задача не из легких, но она явно захватывает молодого человека, он стремится очистить ушедшее от всего наносного, от неизбежных деформаций, доискаться ответа на вопрос: как же все было на самом деле? Доискаться не ради того, чтобы просто реконструировать навсегда канувшие в Лету события, но попытаться рассмотреть за «общими закономерностями истории» судьбу реального человека. Почувствовать психологический климат прошлого, которое когда-то для кого-то ведь тоже было настоящим, а значит, как и всякое настоящее, складывалось из действий и характеров живых, неповторимых людей, из их представлений о своих собственных поступках и о поступках современников. Не это ли то главное, то самое важное, ради чего и написал свой роман Тадеуш Голуй?

Подобное увлечение прошлым, скажу больше — своего рода искушение прошлым испытывают сегодня польские писатели всех поколений. Многие лучшие книги последних лет, в том числе и отмеченные премиями, повествуют о событиях, на первый взгляд, оторванных от треволнений сегодняшнего дня, а обращение к истории, хотя и не обязательно очень далекой, стало характернейшей чертой польской прозы 70-х годов. Парадоксальное это обстоятельство можно было бы подтвердить многими примерами. Ограничусь, однако, лишь ссылкой на Анджея Кусьневича и Владислава Терлецкого, двух выдающихся писателей, пользующихся в Польше поистине огромной популярностью у читателей и неизменно благожелательным отношением критики. Кстати, в нынешнем году «Прогресс» познакомит с их творчеством и советского читателя.

Романы Кусьневича и Терлецкого, как правило, переносят нас лет на пятьдесят, сто, а то и двести назад, но они злободневны от первой и до последней строки, ибо рассказывают о поляке второй половины XX столетия куда больше и интереснее, чем иные тома, посвященные «современной теме» в традиционном ее толковании.

У Кусьневича, по его собственному признанию, например в романе «Состояние невесомости», уход в историю — всегда пролог к чему-то, мера сравнения, исходная точка в поисках настоящего, попытка найти ответы на злободневные вопросы и в биографии народа, в его национальном характере, в его национальной судьбе. История в романах Кусьневича — непременно многоцветна и загадочна, фантастична и неожиданна, она напоминает галерею ярких, красочных, с юмором и иронией написанных портретов людей, над судьбами которых писатель размышляет вслух. Прошлое у Кусьневича — всегда скорее плод его буйного воображения, а не документально точная картина времени, его желания воскресить тени давно умерших людей и отзвуки давно отгремевших событий, чтобы еще раз, по-новому пережить пережитое или непережитое им самим.

Терлецкого, похоже, история тоже интересует не сама по себе, а лишь как удобный, «остывший» уже материал для исследования одной и той же модели человеческого поведения. Во всех его романах герои непременно оказываются перед необходимостью сделать жизненно важный выбор в ситуации, для них крайне неблагоприятной, а иногда и просто безвыходной. Писатель довольно свободно обращается с фактами, датами, историческими лицами, зато он тщательно выписывает, стилизует эпоху, вернее, те ее детали, которые чуть ли не с фотографической точностью воссоздают политическую атмосферу и духовный климат ушедшего времени. Тем самым Терлецкий словно бы втягивает читателя в это ушедшее время, заставляет его, приняв правила игры и поверив в реальность предлагаемых жизненных обстоятельств, вместе с героем делать выбор и давать ему нравственную оценку.

Книги Кусьневича и Терлецкого далеки от привычных, «костюмных» исторических романов, далеки они и от романтической традиции изображения прошлого, которую прежде всего связывают с именем Генрика Сенкевича. Писателей этих, несмотря на разительное несходство их творческой манеры, объединяет стремление освободить историю от мифов, разбить расхожее представление о ней как о чем-то застывшем и мертвом, как о музее, куда следует изредка заглядывать, дабы бегло, в нравоучительных, так сказать, целях ознакомиться со строго классифицированными, раз и навсегда оцененными триумфами и пораже-

ниями, предательствами и геройствами прошлых поколений.

Не бегство от дня сегодняшнего, не попытка спрятаться в прошлом, не поиск в нем идеалов и образцов для рабского подражания, а путешествие в историю, желание понять ее, стремление с ее помощью разобраться в настоящем, которое — лишь пролог к дню завтрашнему,— таков, думается, смысл обращения многих польских прозаиков 70-х годов к тому, что обычно называют исторической тематикой. Очень интересного и очень плодотворного, на мой взгляд, обращения. Ведь тон воспоминаний, как заметил однажды, еще восемьдесят лет назад, видный представитель польского неоромантизма, ведущий критик межвоенного двадцатилетия Кароль Ижиковский,— ведь тон воспоминаний «создает гарантию правды», ибо такая форма повествования «словно магнит притягивает все самое важное». Но это уже отдельная тема...

А. Секерский. Какими источниками питается мировая литература? По-моему, их всего два — любовь и война.

Почему любовь всегда интересовала писателей — ясно. Хотя бы потому, что она — залог сохранения рода человеческого. Почему война, которая принесла столько страданий, слез, смертей? Это — тайна художников.

Однако существует еще один аспект, определяющий судьбу человечества, о котором порой забывали литераторы. Но ему мы обязаны всем. Это труд. Уже близится к завершению двухтысячелетие, его главное достижение — прогресс. Нам ничего не падает с неба, с другой планеты, нам ничего не дарует жизнь просто так, все — результат человеческого труда, дело ума и рук человека. Поразительно, почему люди искусства раньше не обращали должного внимания на это? Первыми воспели труд советские художники. Польские писатели, правда, еще до войны занимались темой труда, но, так сказать, от случая к случаю. Густав Морцинек ввел в литературу образ шахтера. После войны, когда созиданию, восстановлению страны и экономики придавалось первостепенное значение, писатели стали глубоко и всесторонне разрабатывать эту тему.

Разумеется, речь идет не о том, что в художественных произведениях следует изображать производственные процессы. Но то, как человек растет, как труд делает его благороднее, как иногда он ошибается и падает, порой даже низко, как вместе с великими свершениями меняется психология труженика,— разве это не достойно нашего вдохновения? Ведь мы должны сказать правду о человеке. В меру своих сил мы и пытаемся это сделать.

С. Сроковский. Не согласен, что для нас тема труда — такая уж новая; в классической польской литературе она ведь присутствовала.

А. Секерский. Да, но у нее был другой масштаб и другое звучание.

В. Мысливский. Мне бы хотелось сказать несколько слов о том направлении в литературе, к которому критика относит и меня,— условно говоря, о «деревенском», вызванном социальными переменами, произошедшими в Польше. Впрочем, деревней наша литература интересовалась всегда. Если говорить о классике, то не было ни одного писателя, который в своем творчестве не писал бы о ней. И хотя, как правило, они не являлись выходцами из села, они очень часто обращали свое внимание именно на деревенскую проблематику, потому что деревня всегда была больным местом. И все-таки ими скорее двигало милосердие, чувство жалости, их привлекала прежде всего экзотика.

По существу, за редким исключением, только с 30-х годов начали появляться произведения писателей крестьянского происхождения. Сама жизнь заставила их писать о деревне. Но подлинный расцвет «деревенской» темы произошел в Народной Польше, после войны.

Мое личное убеждение — социальная революция в Польше нагляднее всего сказалась на жизни села. Не только в экономическом плане, то есть не только потому, что роздали людям землю панскую, но и потому, что революция радикально преобразила их духовный мир. Судьба деревни, взаимоотношения ее с городом, обретение новых идеалов и ценностей — таков, хотя и не исчерпывающий, перечень тем книг писателей «деревенского» направления. Появилась целая плеяда литераторов, сынов деревни — вроде меня,— которые отражают в своих произведениях жизнь современного села.

С. Сроковский. Давным-давно, когда я был еще начинающим писателем, мне казалось, что я все знаю. Со временем моя «умудренность» стала вызывать у меня все больше сомнений. Мои знания о том, что такое литература, вначале были полными, всеобъемлющими, а теперь мне кажется, я вообще ничего не знаю о ней. Я слушаю моих коллег, и у меня такое впечатление, будто мы говорим об айсберге, лишь о той части, которую видим.

Говорить о литературе очень трудно. Это сложная материя. Однако об этом говорить надо, а когда мы обсуждаем творческие проблемы, нельзя забывать о реальной действительности. Большинство прозвучавших сегодня высказываний моих коллег — умных, любопытных, очень личных,— по существу, касались нашего общества и тех преобразований, которые привели к тому, что сегодня появилась столь многогранная, яркая, отражающая жизнь со многих сторон литература.

Социальные процессы, происходящие у

нас в стране, высвободили огромную творческую энергию народа. Поэтому естественно, что каждое новое поколение, входящее в литературу, отражает мир таким, каким его воспринимает. Было бы странно, если бы более молодое поколение польских литераторов ограничилось кругом проблем, поднятых их предшественниками. И вот сегодня мы можем сказать: польская литература охватывает нашу действительность чрезвычайно широко и глубоко. Разумеется, этому способствует многообразие творческих манер и интересов. Мы можем назвать множество существующих у нас течений, но тогда бы нам пришлось остаться у вас по крайней мере на год. С большим удовольствием приедем в другой раз и продолжим этот разговор.

Я бы хотел еще вернуться к тому, о чем говорил Веслав Мысливский. Мне кажется, его высказывание можно дополнить, а именно: направление, которое мы называем «деревенским», выявляет не только весь механизм социальных превращений и преобразований, но и психологические и моральные аспекты этих процессов. Оно представляет собой как бы могучую основу, краеугольным камнем которой является сам человек, его поступки и чувства, отражение в нем целого мира.

Думаю, это направление — исключительно ценное, здоровое, здоровое по сути своей; оно возникло очень органично. У нас появилось много писателей деревенского происхождения, именно они могут написать правду о том, что представляет собой деревня сегодня.

В. Борисов. Мне кажется уместным сказать несколько слов и о знакомстве советского читателя с современной польской литературой, а также о тех писателях, творчество которых наш читатель или совсем не знает, или знает недостаточно.

Интерес к польской литературе у нас в стране всегда был огромным. Особенно много сделано для популяризации лучших произведений современной польской литературы в последние годы. Прежде всего, это издание 15-томной «Библиотеки польской литературы», в которую вошло большое число произведений послевоенного тридцатилетия, дающих довольно широкое представление о ее жанрово-стилевом и тематическом разнообразии. Близко к завершению 8-томное собрание сочинений Ярослава Ивашкевича. крупнейшего писателя наших дней.

Наконец, теперь можно будет прочитать в русском переводе роман «Состояние невесомости» известного польского писателя старшего поколения Анджея Кусьневича. Жаль, что наш читатель пока еще знаком лишь с некоторыми произведениями Яна Парандовского (правда, совсем недавно вышел его сборник «Олимпийский диск», куда вошли также «Аспесия», «Петрарка» [1]) и только с одним романом Марии Кунцевич — «Тристан 1946». Этого, конечно, недостаточно.

[1] Опубликован в «ИЛ» № 6, 1974.

Но есть ряд писателей старшего поколения, которые совершенно неизвестны или почти неизвестны нашему читателю. К примеру, творчество Казимежа Трухановского, автора блестящих психологических романов, определенно заслуживает внимания. Очень интересен, в частности, его последний, вышедший в прошлом году, фантастический роман «Адские колокола». В нем писатель ставит актуальнейшую проблему: что может произойти с человечеством, если не прекратить гонку вооружений, не предотвратить угрозу термоядерной войны.

О другом писателе старшего поколения — Теодоре Парницком — упоминал здесь Анджей Василевский как о большом мастере исторического романа. На русский язык переведена одна из ранних его книг «Аэций — последний римлянин». Добавлю, что Парницкий является автором своеобразных историко-фантастических романов. Это, по существу, совершенно новый тип исторического романа. Грандиозные полотна этого художника сложны по своей структуре, но вместе с тем заставляют вновь задуматься над ходом истории, истинными мотивами поведения исторических личностей, дают огромную пищу для размышлений.

Незаурядным мне представляется и творчество умершего несколько лет назад Михала Хороманьского, обладающего к тому же редким сатирическим дарованием.

Что касается писателей среднего поколения, то произведения многих из них хорошо известны у нас. Достаточно назвать имена Войцеха Жукровского, Тадеуша Новака, Ежи Брошкевича, Юлиана Кавалеца. Недавно вышел роман Леона Вантулы «Рожденные в дыму», а в сборник «Польские повести», выпущенный издательством «Художественная литература», включены повести Вильгельма Маха, Ежи Вавжака и участника нашей встречи Веслава Мысливского. Насколько мне известно, готовятся к выходу в русском переводе роман Вацлава Билинского, большой том избранных произведений Тадеуша Ружевича.

Короче говоря, немало хороших произведений современной польской литературы стало достоянием нашего читателя, но очень многое еще предстоит сделать.

И. Сикирицкий. Мы, по-моему, не просто размышляем вслух, как сказал Игнатов, а, по русской пословице, говорим о том, «у кого что болит...». Так, кажется?

С большим удовольствием соглашусь на выступление Тадеуша Голуя, который представил нам литературу как некое монументальное строение, состоящее из множества этажей. Существует, однако, «этаж», который, к сожалению, не очень-то привлекает писателей. Я имею в виду книги для юношества и детей.

В Польше прекрасная традиция литературы для самых маленьких. Достаточно упомянуть Юлиана Тувима, Яна Бжехву. У нас есть чем гордиться, есть чему радоваться. Но было время, когда воцарилась своеоб-

разная мода. Иные поэты считали, что, создавая лирические стихи, можно между делом написать одну-две книжки и для детей. К сожалению, результаты не всегда получались хорошие. И это естественно.

Если говорить о литературе для юношества, в основном ею занимались люди, которых всерьез интересовала молодежная проблематика. Но по сей день ощущается потребность в романе, повести о нашем юном современнике, о проблемах, волнующих юношество. То же самое относится и к театру.

Поэтому я считаю, что перед писателями, пишущими для детей и юношества, стоит особая задача.

Я. Конюш. Я хочу поддержать Альбина Секерского, который говорил здесь о важности темы труда. В своем творчестве я касаюсь проблематики интеллигенции, вышедшей из рабочей среды, точнее, из горняков, что в какой-то мере автобиографично. Нынешняя интеллигенция — в основном рабочего и крестьянского происхождения. Меня интересуют взаимоотношения отцов, людей труда, и детей, которые в результате огромных преобразований, осуществленных в нашей стране, стали интеллигентами: писателями, мастерами изобразительного искусства, актерами.

Наши литераторы сочетают работу непосредственно над художественным словом с творчеством для телевидения и кино. В современном мире слово сосуществует со зрительным рядом. Литератор сейчас стремится выражать себя не только в строках, запечатленных на страницах книг. Писатель делит бремя отражения мира с кинематографистом, журналистом, фотографом. Происходят явственные перемены и в читательском восприятии самой литературы: огромным успехом пользуется не только художественная литература, но и очерки, эссеистика, публицистика, книги исторического и философского характера, которые непосредственнее связаны с жизнью и потому более доходчивы, чем традиционная беллетристика. Сократилась когда-то значительная дистанция между писателем и читателем. Современный читатель весьма образован, и он становится попросту партнером писателя, поэтому, как мне кажется, нынешняя литература не столько описывает мир, сколько его выражает. Она не столько отвечает на вопросы, сколько сама их ставит. Таким образом, делается попытка вызвать читателя на размышления о самом себе, о судьбах современника.

И несколько слов о песне. У нас очень популярна советская песня, которую к нам принесли советские солдаты, освобождавшие Польшу в 1944—1945 годах. Уже много лет в Зелена Гура, где я живу, проходят посвященные ей фестивали, позывные которых — известное произведение Шаинского и Жигарева.

Я говорю об этом потому, что современный писатель многогранно воздействует на общество — не только посредством книг, то есть печатного слова, но также и слова изреченного, слова, которое поется. Этим определяется огромная ответственность писателя, ибо изданное им становится с помощью кино и телевидения достоянием миллионов.

Т. Голуй. Хотелось бы сделать маленькое признание: право, мы ни о чем заранее не договаривались. Все, кто здесь выступал, выразили свое личное мнение, и при этом мои коллеги дали достаточно объективную картину творческих исканий в польской литературе 70-х годов. По существу, это — суммарный взгляд на новые тенденции, на заметные явления нашей польской литературы. Попробую подвести некоторые итоги.

Наблюдается ли некое «перемещение» в области польской литературы от темы к теме, от течения к течению? Думаю, что да. Но я не критик и, быть может, кое-что упускаю из виду, но, бесспорно, то, что Веслав Мысливский говорил о «деревенской» литературе — по-моему, термин довольно неуклюжий,— отражает существо социального феномена... И сам факт, что появились писатели крестьянского происхождения,— тоже социальное явление.

Мы не говорили о поэзии. Я считаю, что большинство поэтов среднего и младшего поколения привнесли в свое творчество философичность, раздумья о судьбах человека.

Если говорить о самой оперативной литературе, которая освещает текущие события и, так сказать, не укладывается в книге, а находит выражение в киносценариях, радиопередачах, то и в ней много интересного. Это не только репортажи в прямом смысле слова, но и художественные произведения, посвященные нашим будням. Их форма помогает решить главную задачу — быстрее откликнуться на текущие события.

И последнее. Руководство нашей партии уделяет серьезное внимание вопросу о работе с молодой творческой интеллигенцией. У нас подготовлен план мероприятий. В каждом воеводстве созданы объединения молодых писателей. Существуют кружки начинающих писателей, заочные консультативные пункты. Разумеется, далеко не все из них станут профессионалами.

Но тем не менее из них вырастут активные люди. С активным отношением к культуре и литературе.

В. Огнев. В связи с кругом обсуждаемых вопросов мне хотелось бы обратить внимание на некоторые тенденции положительного свойства, намечающиеся в сегодняшней практике литературоведения и связанные с проблемой общего и особенного в литературах социалистических стран Европы.

Литература социализма может изучаться отдельно, как особая сфера идеологиче-

ской жизни, противостоящей миру иных духовных измерений и жизненных целей, — это понятно. Но ошибочно изучать ее... как жесткую, замкнутую в себе систему, пишет один из авторов сборника «Общее и особенное в литературах социалистических стран Европы» Юрий Барабаш. В этом смысле исторически новая задача, вызванная тенденциями к единству и сплоченности литератур социалистических стран, не нова, если рассматривать культуру в общей проекции ее развития. Ярослав Ивашкевич говорил: «Пронизывающая нашу литературу глубокая вера в то, что слово художника должно служить человеку и призвано защищать его права, защищать мир и прогресс,— вот та притягательная сила, благодаря которой наше творчество вызывает интерес во всем мире». В основе социалистической культуры лежит общечеловеческий идеал, гуманный, истинно народный. Это — самое общее в культуре мира. И тут через особое — литературу нашего содружества — виднее единство мирового развития прогрессивной культуры. Социальную детерминированность духовной жизни, разумеется, отражала литература и раньше, но в наши дни диалог личности со временем становится более насыщенным и откровенным, а подлинное искусство не может не реагировать на это.

Свое, индивидуальное, если оно прогрессивно, всегда общезначимо. Так, обращение к духовно-нравственному миру личности, которое мы наблюдаем сегодня, в частности в польской литературе, характерно для всех литератур социалистических стран. И это уже следующий этап той же героической темы искусства революции. Эту мысль хочется акцентировать в полемике с некоторыми ненаучными попытками как-то противопоставить новый, современный этап нашей культуры ее начальному этапу. Неправомерно противопоставлять «коллективный» опыт «личному», ведь этот «личный» вобрал в себя вчерашний «коллективный». И сегодняшняя личность в искусстве, новый герой — то же самое «особенное», в форме которого проявляется «общее». Масса перестает быть фоном личности, становясь все более суммой личностей.

Верно говорили наши польские коллеги сегодня: важнейшим фактором формирования культуры в странах социализма явилась народно-освободительная война. Там— многие истоки сегодняшнего искусства: типологическая близость конфликтов, проблем, героев, общность темы «уроков жизни», «национальной самокритики», противостояния «потребительской цивилизации», постоянной бдительности по отношению к возрождающемуся в мире фашизму.

Многое сегодня понимается нами глубже, чем тридцать — сорок лет назад, но остается неколебимым главное: сознание первородства революционной литературы, убеждение в правоте морали и нравственности трудового человека, для которого социализм — это понятие отнюдь не абстрактное, а емкое, богатое, как сама жизнь. Это — и реальные права человека, и его достоинство, и разумная духовная жизнь на благо других людей независимо от расы, места прописки на земле, особенностей языка и традиций жизни.

Залог дальнейшего разбития представлений об особом и общем в литературе социалистических стран, мне представляется, именно здесь — в выявлении связи реальной практики литературы с основами нравственной жизни человека XX века, общими задачами человечества, судьбами гуманизма. Только на этом широком и достойном серьезного искусства фоне можно глубоко решать и проблемы литературы социализма.

МАРИЯ ХИШПАНЬСКА-НОЙМАН. Польша.
Иллюстрация к пьесе Федерико Гарсиа Лорки «Иерма».

Т. МОТЫЛЕВА

ЖЕНЩИНА И СОЦИАЛИЗМ

Размышления о нескольких новых книгах

Сто лет назад, в 1879 году, впервые появилась книга Августа Бебеля «Женщина в прошлом, настоящем и будущем» — в последующих изданиях она была названа «Женщина и социализм» и под этим заглавием стала знаменита. Когда немецкий пролетарский лидер начинал работу над книгой, используя вынужденный досуг в одиночной камере крепости Губертусберг, где отбывал наказание за «оскорбление величества»,— он вряд ли мог предполагать, что его труду предстоит такая блистательная международная судьба.

Книга Бебеля выдержала шестьдесят три издания на языке оригинала, была переведена на двадцать пять иностранных языков. Она вызвала в разных странах живые отклики, полемику, приобрела яростных противников и пламенных сторонников. «Женщина и социализм» вышла ко времени: в ней говорилось о том, что волновало многих. Она получила широкое распространение не только в среде передовых рабочих, но и в непролетарских, отчасти даже в буржуазных общественных кругах. Далеко не все, кто с увлечением читал труд Бебеля, были готовы принять его страстную проповедь социалистических идеалов. Но книга покоряла — даже и тех, кто не разделял ее революционной программы,— своим глубоким *гуманистическим* смыслом, своей защитой человеческих прав женщины. Именно *социалист* Бебель сумел обосновать эти права с такой отчетливостью и прямотой, каких не достиг никто до него.

Женщина должна получить возможность устраивать свою личную судьбу по собственному выбору, независимо от материальных расчетов, от родительской воли, от тирании общественного мнения. Она должна иметь право на самостоятельный труд, на выбор профессии согласно склонностям. Она должна иметь доступ к общественной и политической жизни, ко всем видам творческой деятельности на равных основаниях с мужчинами... Бебель отважно и горячо, с аргументами в руках, опровергал ходячие обывательские представления о духовной неполноценности женщины. Он доказывал несостоятельность позиций, например, такого влиятельного в то время философа, как А. Шопенгауэр, утверждавшего, что девушек следует воспитывать «для домашнего хозяйства и подчинения», ибо ни на что другое они, мол, не пригодны. «Шопенгауэр...— писал Бебель,— судит о женщине так же односторонне, как большинство наших антропологов и медиков, которые видят в ней половое существо, но никогда не замечают в ней существо общественное»[1]. Именно коренные *общественные* преобразования на путях социализма в состоянии принести миллионам женщин реальное раскрепощение. Дайте женщинам возможность проявить, развить дарования, таящиеся в них,— и мир увидит, на что они способны!

За сто лет многое изменилось на нашей планете. Но для значительной части человечества проблемы, поставленные в свое время Бебелем, отнюдь не утратили остроты, и значение этого труда сегодня — не только историческое.

[1] А. Бебель. Женщина и социализм. М., Политиздат, 1959, стр. 205.

Совсем недавно, в 1977 году, в ФРГ появился обширный роман, где автор труда «Женщина и социализм» фигурирует как эпизодическое действующее лицо. Это «Камбала» Гюнтера Грасса — книга, сразу же после выхода ставшая бестселлером.

С какой, собственно, стати известный западногерманский прозаик — человек весьма уязвимых взглядов — вспомнил сегодня о Бебеле и в каком контексте появляется его образ на страницах монументального по объему повествования? Об этом будет сказано далее. Но прежде всего присмотримся ближе к «Камбале». Действие романа простирается, ни много ни мало, от позднего неолита до наших дней. Пространственные рамки не столь широки: это главным образом родные места Г. Грасса, уже не раз им описанные,— юго-западное побережье Балтийского моря, Данциг (нынешний Гданьск) и его окрестности. В орбиту сюжета включены исторические события: национальные и религиозные войны, смены властей, эпидемии, социальные волнения. Порою автор с немалым искусством — живо, зримо — воскрешает картины далекого прошлого. Но он претендует на нечто гораздо большее. Его роман задуман как своего рода философская притча, повествующая, на материале одного географического региона, о судьбах женской половины человечества.

А откуда взялось название «Камбала»? И почему жене героя-рассказчика дано старинное и редкое имя Ильзебиль? Читателю, хорошо знакомому со сказками братьев Гримм, сразу может вспомниться один из популярнейших сюжетов мирового фольклора — история рыбака, который поймал и отпустил на волю чудо-рыбу, говорящую человеческим голосом и наделенную волшебной силой. В немецком варианте этой сказки речь идет именно о камбале (в обличье которой скрывается заколдованный принц), а жену рыбака зовут Ильзебиль. Заметим сразу: по-немецки и рыба — der Fisch, и камбала — der Butt — слова мужского рода. Это в данном случае не безразлично. Фольклорный сюжет у Грасса поворачивается очень неожиданно. Если в народной сказке рыба по просьбе рыбака исполняет (до поры до времени) желания его вздорной и властной жены, то у Грасса мудрая камбала поступает как раз наоборот: она дает рыбаку советы, помогающие укрепить власть мужчин. Именно благодаря этим советам «отцовское право» укрепляется на побережье Балтийского моря, и матриархат должен там отступить — как отступил уже в других краях. А рыбак, он же повествователь, которому даровано бессмертие, воплощается на протяжении столетий то в одного, то в другого человека, становится попеременно монахом и епископом, пастухом и рабочим — и в каждом из воплощений у него иная жена или подруга. Этот сказочный сюжет служит у Грасса своего рода обрамлением пространного романического действия. Ильзебиль, жена героя-повествователя, ждет ребенка: роман поделен на девять частей, по числу месяцев беременности. Супруг развлекает Ильзебиль рассказами о своих бывших жизнях и бывших женах. Громадный роман как бы дробится на отдельные новеллы, перемежаемые вставными стихотворениями и размышлениями автора.

Хитроумная конструкция книги скрепляется и другим обрамлением, тоже фантастическим. Уже в первой части мы находим главу «Как камбала была поймана во второй раз». Поймали ее завзятые феминистки, жительницы Западного Берлина, проводившие отдых на севере ФРГ. Неистовые ревнительницы женского равноправия заключают камбалу в бассейн и устраивают судебное разбирательство. Камбала должна нести ответ за тот ущерб, который причинила женщинам... во всемирно-историческом масштабе. Женский трибунал, иначе именуемый «Феминал», судит и рядит, выслушивает долгие прения сторон, пока наконец, в конце романа, обвиняемую (то бишь обвиняемого) не выпускают на свободу, в водные просторы Балтики. Грозное судилище оборачивается фарсом.

Уже из краткого пересказа явствует, что проблема эмансипации женщины дана здесь в сатирической трактовке. И в самом деле. На многих страницах «Камбалы» безраздельно царствует стихия гротеска, подчас переходящего в грубое шутовство. Склонность Г. Грасса к скандалу и эпатажу сказывается тут гораздо резче, чем в прежних его книгах. Феминистки рисуются как отталкивающие существа, мужеподобные мужененавистницы, а сборища их напоминают бесовские оргии. Нельзя сказать, чтобы подобные карикатурные картины были вовсе беспредметны,— буржуазное феминистское движение переживает сейчас на Западе своего рода «бум», существует немало женских группировок, склонных подменять решение социальных вопросов извечной «войной полов». Однако Гюнтер Грасс не только бичует экстремистские уродства: он заодно перечеркивает все и всякие попытки улучшить положение женщин, а попутно — и все революционные и прогрессивные социальные движения современности. Подтекстом в его бурлескной и, казалось бы, веселой книге звучит безрадостный, уныло-циничный рефрен: «так было, так будет». Устами камбалы автор заявляет: «Капитализм ли, коммунизм ли: всюду умничает безумие». Антикоммунистическая тенденция, свойственная новейшим выступлениям Г. Грасса, его антипатии к ГДР и всему социалистическому миру — все это получает здесь прямое выражение. И не с этой ли тенденцией связана общая безысходность авторского взгляда на мир?

На вопрос интервьюера еженедельника «Ди цайт», направлен ли роман «Камбала» против эмансипации женщин, Г. Грасс ответил, что в книге высказан всего лишь скепсис по отношению к такой эмансипации, которая ориентируется на мужские образцы. Однако в романе, самою логикой

художественного изображения, выражено и то, что можно назвать позитивным взглядом автора на призвание женщины. Этот взгляд декларируется уже в самом начале. Во вставном стихотворении, озаглавленном «Разделение труда», муж обращается к жене:

Обеспечив твою малую долю,
Я отважусь на великое дело.
Позаботься о домашнем покое —
А я устремлюсь в дальний мир...

Все девять жен, о которых вспоминает повествователь, по сути своей — поварихи. Именно в этом качестве они и предстают перед читателем на множестве страниц. Грасс обнаруживает незаурядную кулинарную эрудицию, рассказывая неторопливо и со вкусом, о секретах приготовления мясных, рыбных и грибных кушаний в разные исторические эпохи. Основной критерий при характеристике каждой из женщин, определитель ее личности — деятельность на кухне. Средневековая святая Доротея, еще до того как удаляется в монастырь, упрямо кормит семью постными супами, даже и в праздничные дни. Зато аббатиса Маргарета, дама весьма вольных нравов, потчует многочисленных любовников жирными мясными блюдами. Аманда Войке, «кухарка для челяди» в крупном имении XVIII века, содействует распространению картофеля в Пруссии.

Некоторые из грассовских героинь проявляют склонность и к политике. Так, кухарка данцигского губернатора Софи Ротцоль, современница Французской революции и наполеоновских войн, поднимает дух своего возлюбленного, заключенного в тюрьму за якобинские взгляды, тем, что посылает ему бунтарские стишки собственного сочинения, запеченные в пироги. А в конце XIX столетия жена рабочего Лена Штуббе, горячая поклонница Августа Бебеля, составляет сборник кухонных рецептов для неимущих семей. Вот тут и появляется в качестве персонажа романа автор книги «Женщина и социализм». Он изображен с известной долей иронии как чудаковатый старик, растерявший в преклонные годы боевой пыл, чуточку разочарованный в собственных теориях, но не без самодовольства пожинающий плоды своей многолетней популярности. Он соглашается в качестве почетного гостя отобедать у Лены Штуббе, однако не берется помочь ей в издании «Пролетарской поваренной книги».

Кухонно-кулинарный аспект изображения женщины в «Камбале» возводится в ранг некоей философии истории. Женщина, по мысли автора,— Родительница и Кормилица. И все. И только. Именно так определяет роль женщины говорящая Камбала в своей иронически окрашенной программной речи перед феминистским судилищем. «Женщины зачинают, вынашивают, рожают, кормят грудью, выращивают, хоронят одного ребенка из шести, между делом заводят еще одного и снова вынашивают, рожают в муках, прикладывают к груди, учат бегать и говорить «мама»... Как бедно в сравнении с ними оснащены мужчины. То, что они зачинают,— всего лишь абсурдные приказы. То, что они вынашивают,— пустые мечтания. А то, что они рожают, называется Страсбургский собор, дизель-мотор, теория относительности, суповые концентраты Кнорра, противогаз, план Шлиффена...» Вместе со своей Камбалой автор совершенно уверен, что такими суждениями он никак не принижает роли женщины: еще бы, ведь они даруют жизнь как матери и поддерживают жизнь как кухарки. Из знаменитой трехчленной формулы, которой в вильгельмовской Германии определялось назначение женщины — «Kinder, Küche, Kirche» — «дети, кухня, церковь», автор романа «Камбала» берет на вооружение первые две части.

Итак, Гюнтер Грасс, имеющий в ФРГ репутацию присяжного разрушителя мещанских табу, в понимании женского вопроса стоит на консервативных и вполне мещанских позициях — в конечном счете на позициях тех литераторов и философов, которых сто лет назад атаковал Август Бебель. Его новый роман, построенный в высшей степени затейливо, заключает в себе слабо замаскированный призыв: женщины, выходите из цехов и библиотек, из аудиторий и лабораторий, стойте насмерть у кухонной плиты! Стоило ли ради такой архаической морали огород городить?

Впрочем, вполне возможно, что шумный коммерческий и читательский успех романа «Камбала» объясняется отчасти и тем, что романист здесь вольно или невольно потрафляет стародавним и очень живучим филистерским предрассудкам...

А между тем проблема «женщина и социализм» вовсе не снята с повестки дня — не только в странах социализма, но и во всех остальных странах мира. И неспроста за последние годы в Западной Европе растет интерес к литературе ГДР. В частности, к книгам женщин-писательниц и к книгам, где идет речь о судьбах женщин.

Мне запомнился разговор о современной литературе в Институте им. Гёте в Мюнхене летом прошедшего года. В ответ на мой вопрос: какие есть в ФРГ интересные новинки современной прозы? — сотрудники Института назвали несколько книг западногерманских писателей, и один из них добавил: «Впрочем, наиболее интересные новинки художественной прозы те, которые выходят в Австрии и ГДР».

Быть может, мой собеседник и не имел в виду книгу австрийца Петера Хандке «Несчастье без желаний» — строго говоря, это уже не новинка, она впервые была опубликована в 1972 году и издавалась несколько раз. Так или иначе Петер Хандке — из тех современных прозаиков, кто наиболее широко читается ныне в ФРГ и чья повесть «Несчастье без желаний» единодушно признана значительной книгой. Здесь в основу

Т. МОТЫЛЕВА
ЖЕНЩИНА И СОЦИАЛИЗМ

положен трагический жизненный казус — смерть матери писателя, покончившей с собой без видимых поводов в возрасте 51 года. Хандке ведет глубинный анализ одной женской души, одной судьбы — и придает частному случаю силу социально-психологического обобщения[1].

Героиня повести, домашняя хозяйка, жена рабочего, выросшая в бедной крестьянской семье, воспитанная, как сказал бы Шопенгауэр, «для домашнего хозяйства и подчинения», накануне смерти не испытывала острой материальной нужды; она даже подумывала о том, чтобы взять на воспитание чужого ребенка, поскольку собственные дети выросли. То, что ее медленно убивало и в конечном счете убило,— голод не физический, а душевный, духовный, ощущение гнетущей бессодержательности всей прожитой жизни. Описывая детство умершей, автор замечает: «Родиться женщиной в таких условиях — это уже было смертельно». Вся ее жизнь будто шла по заранее проложенной колее: быть, как другие, говорить и думать, как другие, вести себя прилично, быть одетой прилично, но не тратить лишнего, поддерживать в доме привычный порядок сегодня, как вчера, завтра, как сегодня. Автоматизм обывательского быта и нравов — Хандке говорит даже резче: «идиотизм» — раскрывается в книге в виде мертвящей, губительной силы. Особенно губительной для женщины, чей кругозор навсегда замкнут в пределы отупляющих забот о хозяйстве, о доме, о покупках, уборке, обеде — о том «малом участке», который расцвечен неоправданно радужными красками на пестром полотне грассовской «Камбалы».

Но обратимся к литературе ГДР. Вокруг нее в ФРГ наших дней идет острая идейная борьба. Она сказывается и в текущей газетной и журнальной критике, иной раз и в спекулятивном отборе книг для публикации. А вместе с тем определенные круги читателей тянутся именно к лучшим произведениям социалистической литературы и находятся издатели, которые стараются удовлетворить этот спрос. Все это заметно тому, кто приезжает в ФРГ после перерыва в десять или более лет и заходит в книжные магазины. В середине 60-х годов книги писателей ГДР издавались и продавались в ФРГ крайне редко, исключение составлял один Брехт. А теперь читатель там может приобрести собрание сочинений Анны Зегерс в десяти томах, романы Э. Штриттматтера, Г. Канта и ряда других писателей, в частности те, которые имеют прямое отношение к нашей теме. Но тут будут уместны и предварительные замечания.

В силу особенностей исторического развития Германии тема женской судьбы, понятая и развернутая в социальном аспекте, стала развиваться в немецкой литературе, пожалуй, позже, чем в литературах других европейских стран. Немецкая проза XIX века не знала романов, подобных «Анне Карениной» или «Госпоже Бовари» (роман Теодора Фонтане «Эффи Брист» вышел почти на рубеже столетий, в 1895 году),— и вряд ли случайно, что именно для германской сцены Генрику Ибсену пришлось переделать концовку пьесы «Кукольный дом», помирить под занавес мятежную Нору с мужем, не оправдавшим ее доверия... Общественная атмосфера старой Германии мало способствовала выдвижению женщин-писательниц — там не выросло фигур, равных по масштабу Жорж Санд, Джордж Элиот, сестрам Бронте или Гарриет Бичер-Стоу.

Уже в начале XX века положение изменилось. Литературовед Ганс Кауфман (ГДР) справедливо замечает: эмансипация женщин как *тема* и *личное* участие женщин в литературном процессе, конечно, не одно и то же, но оба эти явления имеют одну и ту же общественную основу. Появление в Германии перед первой мировой войной выдающихся писательниц — Рикарды Хух в прозе, Эльзы Ласкер-Шюлер в поэзии — было выражением того факта, что «женщины стали выходить из состояния немоты». И в наши дни все большее внимание к проблеме женской эмансипации, как и возрастающая активность самих женщин в литературе,— «симптом и частное проявление растущего участия женщин в эмансипации человека во всеобъемлющем марксовом смысле этого понятия»[1].

Действительность нашего революционного столетия много раз подтверждала и подтверждает закономерность, отмеченную в свое время Бебелем: борьба за раскрепощение женщины, за ее полноценное человеческое существование неотделима от борьбы угнетенных классов и народов за социализм. Эту закономерность отразили в своем творчестве зачинатели немецкой революционно-пролетарской, социалистической литературы. И в первую очередь Бертольт Брехт.

Судьба женщины-труженицы, матери как общественная и нравственная проблема — одна из магистральных тем драматургии Брехта, берущая начало в его ранней, не сходящей со сцены и поныне, пьесе «Мать» — сценической переработке повести Горького. Эта тема поднимается в разных исторических и философских ракурсах и в «Винтовках Тересы Каррар», и в «Мамаше Кураж», и в «Кавказском меловом круге». В строй героинь Брехта, ищущих верного пути в социальных треволнениях эпохи, встала, еще до гитлеровского переворота, Иоанна Дарк, «святая Иоанна скотобоен», а много лет спустя — добрая, изобретательная и все же трагически беспомощная Шен Те. (Мне вспоминаются слова Елены Вайгель на банкете, устроенном московскими писателями в честь Брехта в день вручения ему международной Ленинской премии: «Актрисы всего мира могут быть благодарны

[1] Характеристика этой повести в контексте творчества П. Хандке дана в рецензии Н. Павловой «Несчастная жизнь без желаний» — «ИЛ» № 6, 1978.

[1] Eva Kaufman, Hans Kaufman. Erwartung und Angebot. Studien zum gegenwärtigen Verhältnis der Literatur und der Gesellschaft in der DDR. Berlin, 1976. S. 233.

Брехту, он написал для них столько выигрышных ролей...»)

Анна Зегерс — первая немецкая писательница, чье творчество приобрело бесспорное, ныне все более единодушно признаваемое, национальное и мировое значение,— как правило, не создавала книг, посвященных «женской» проблематике. Но одним из ее открытий как художника стал социально-психологический мотив, выраженный в крылатой формуле — «сила слабых». Многочисленные героини Зегерс, от Марии в романе «Мертвые остаются молодыми» до испанской коммунистки Селии в недавно опубликованной повести-притче «И снова встреча»[1], ни в коей мере не поступаются своей, условно говоря, «слабостью», то есть традиционно женскими чертами характера — добротой, чуткостью, заботливостью, способностью к самоотверженной любви. Однако именно эти их качества расцветают по-новому, когда проявляются не просто ради любимого человека, мужа, детей своих или чужих, а и в самом широком смысле — ради справедливого дела. (Союз Альфонсо и Селии, способный выдержать тяжелейшие испытания,— не есть ли это тот самый «пролетарский гражданский брак с любовью» [2], о котором Ленин говорил как об оптимальной форме семьи в известном письме к Инессе Арманд?)

Становление новых общественных отношений в ГДР дало писателям неразведанные прежде темы, необычайно богатый жизненный материал, разнообразные поводы для размышлений о судьбе женщины. Если рассматривать литературу ГДР в контексте других социалистических литератур, выросших после разгрома фашизма,— тут обнаруживаются яркие черты национального своеобразия. Сама действительность послевоенной Германии создала немало непредвиденно острых жизненных ситуаций, возложила на многих женщин сложнейшие обязанности, но вместе с тем и раскрыла перед ними новые перспективы. Широкое развитие «женской» тематики в литературе ГДР давно отмечено критиками, комментируется в международной печати и обостряет интерес к ней за рубежами республики.

Передо мной небольшая книжка, вышедшая карманным изданием в Мюнхене: «Женщины в ГДР. Двадцать рассказов». Среди авторов, представленных здесь,—Анна Зегерс, Вилли Бредель, Маргарета Нойман, Эльфрида Брюнинг, Криста Вольф, Ирмтрауд Моргнер, Эбергард Панниц и другие прозаики разных поколений. Составитель и автор послесловия Люц В. Вольф комментирует их рассказы в тоне доброжелательного любопытства. Он убежден, что в зеркале художественной литературы можно увидеть существенные аспекты жизни ГДР, тех перемен, которые произошли в стране за послевоенные десятилетия. Он напоминает, что женщинам ГДР открыт доступ во все учебные заведения и ко всем профессиям, что степень занятости их в производительном труде примерно вдвое выше, чем в западных странах; матери, замужние и незамужние, пользуются широкой поддержкой государства. О героинях рассказов, публикуемых в сборнике, он говорит: «Жизнь этих женщин — не просто дополнение к жизни их отцов, братьев, мужей или любовников, она поддерживается собственной силой. Сила эта зародилась еще в военные годы и приобрела решающее значение в годы строительства» [1]. Это свидетельство западногерманского журналиста заслуживает быть отмеченным.

Во множестве книг писателей ГДР запечатлен ход послевоенного восстановления и первых социалистических преобразований, активное участие женщины в трудах, менявших лицо страны. А в то же время и обратное влияние этих перемен на положение, характеры, душевный склад самих женщин.

Общество, строящее социализм, открыло миллионам женщин путь не только к самостоятельной работе, но и к образованию, к знаниям. А тем самым и к творческим профессиям, требующим знаний. Социальная мобильность населения ГДР — неизбежное следствие послевоенных сдвигов — сказалась на многих женских судьбах, и литература чутко отозвалась на эти сдвиги. В стране, где интеллигенция на протяжении столетий составляла обособленную касту, стародавние классовые и кастовые перегородки зашатались и рухнули. Потомственному пролетарию, умудренному трудным жизненным опытом, захотелось стать педагогом, а бойкой фабричной девчонке — «выучиться на актрису» («Решение» Анны Зегерс); бывшая швея сделалась врачом, а бывшая батрачка — ученым-синологом («Актовый зал» Г. Канта). И эти, и подобные им превращения, зафиксированные литературой,— не выдумка романистов: у многих их героев и героинь есть свои реальные прототипы.

Приобщение множества женщин к квалифицированному труду повлекло за собой разнообразные следствия в быту, в семейной жизни.

В упоминавшийся сборник «Женщины в ГДР» включен маленький ранний рассказ-очерк Кристы Вольф «Вторник, 27 сентября 1960 года».

В этом очерке (как и в более позднем, известном советским читателям, рассказе того же автора «Июньский полдень», как и на некоторых страницах повести «Размышления о Кристе Т.») незаметно воссоздается атмосфера семьи, где взрослые и дети связаны крепкой дружбой и привыкли понимать друг друга с полуслова. Писатель-

[1] Lutz-W. Wolff. Nachbemerkung. In: Frauen in der DDR. Zwanzig Erzählungen. München, 1976. S. 251.

[1] Опубликована в «ИЛ» № 11, 1978.
[2] См.: В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 49, стр. 56.

ница, ни в коей мере не склонная приукрашивать действительность, сумела ненавязчиво и как бы пунктиром обрисовать светлые стороны семейной жизни, основанной на реальном равноправии и общности духовных интересов.

Совсем недавно прозаик и драматург Пауль Грацик опубликовал рассказ «Ученики моей жены»: труд учительницы показан здесь в необычном ракурсе — через восприятие ее мужа. Учительница привыкла делиться с мужем школьными новостями, своими педагогическими заботами, радостями, тревогами. Муж, со своей стороны, привык воспринимать эти заботы как его собственные, волноваться, радоваться или печалиться вместе с женой. И читатель чувствует, насколько этот живой интерес мужа к будничной работе жены способствует взаимной привязанности и согласию супругов.

Самостоятельный труд женщин, расширение их умственного кругозора — все это повышает эмоциональный тонус жизни семьи, заключает в себе новые источники семейного счастья. Но в то же время и по-новому окрашивает семейные конфликты. А иногда — об этом стоит сказать прямо — и порождает такие конфликты. Материальная и общественная независимость женщины поднимает у нее сознание собственной ценности, чувство достоинства; а вместе с тем и создает повышенные требования к спутнику жизни, к тому нравственному уровню, на котором строятся семейные отношения. Надо отдать справедливость писателям ГДР: они не проходят мимо такого рода проблем.

Тут стоит вспомнить роман Эрика Нойча «След камней», выход которого стал заметным событием в литературе ГДР середины 60-х годов. Это обширное многоплановое повествование, написанное несколько разбросанно и неэкономно, но сосредоточившее в себе много острых вопросов — политических, нравственных, производственных, психологических,— вызвало живой общественный интерес. Читатели обратили внимание, в частности, на смелую трактовку семейного конфликта: тут есть и сходство и несходство с популярным в ГДР романом Галины Николаевой «Битва в пути».

Вернер Хоррат, парторг крупной стройки, человек женатый и имеющий детей, страстно влюбляется в молодую женщину — инженера Катрин Клее. Она не просто пленяет его красотой: в ее лице он находит верного друга, единомышленницу в своих новаторских начинаниях. И все же он не решается покинуть жену — напротив, даже пытается, после тяжелых душевных перипетий, возобновить прежнюю семейную жизнь. Но Марианна, жена Хорната, сама просит его уйти: брак, поддерживаемый из жалости и чувства долга, для нее неприемлем.

Отчасти сходный поворот событий в знакомом нам романе Гюнтера де Бройна «Буриданов осел» [1]. Библиотекарь Эрп возвращается к своей жене Элизабет, но примет ли она обратно изменившего ей мужа? Этот вопрос остается открытым. С другой стороны, читателю известно, что и фрейлейн Бродер, к которой Эрп ушел было от жены, отвергла его, убедившись, что он человек нерешительный, ненадежный.

Традиционнейшая, избитая сюжетная коллизия, повторявшаяся сотни раз в мировой литературе (сатирически представленная, например, в знаменитом «Дуэте ревнивиц» из «Трехгрошовой оперы» Брехта) — соперничество двух женщин из-за одного мужчины,— в двух романах писателей ГДР теперь как бы выворачивается наизнанку: мужчина, колеблющийся между двумя женщинами, не нужен ни той, ни другой! И тот факт, что два прозаика, очень друг на друга непохожие, пришли к аналогичному сюжетному решению, сам по себе примечателен: он означает, что в самой жизни что-то существенно изменилось.

Любопытная психологическая ситуация создается в повести Карла-Гейнца Якобса «Пирамида для меня», также знакомой советским читателям. Профессор Пауль Зати едет в качестве ученого эксперта в индустриальный район, где не был двадцать лет. Когда-то он трудился здесь на молодежной стройке, увлекся юной работницей Ханкой Антайль, потом оставил ее. И лишь теперь узнает, что у Ханки после его отъезда родился ребенок. Она по-прежнему живет в районе давней стройки, и Зати не без смущения готовится к встрече с той, кому, быть может, разбил жизнь. Но встречает он моложавую, изящную, уверенную в себе женщину — Ханка теперь коммерческий директор калийного комбината, серьезный и всеми уважаемый специалист. Пауль Зати вроде бы должен испытывать облегчение, но его самолюбие терпит некий урон: без него отлично обошлись! И у него есть взрослый сын, который не пожелал даже увидеться с отцом.

Совершенно естественно, что в первые полтора-два десятилетия существования ГДР внимание писателей сосредоточивалось именно на процессах роста, экономического и культурного подъема республики. Авторы лучших романов и повестей ни в коей мере не умалчивали о трудностях этого роста, даже и о прямых политических конфликтах (вспомним роман Анны Зегерс «Доверие»). Но все же преобладали, как правило, пафос гордости, удовлетворение достигнутым: вот какими сильными мы стали! Естественно и то, что в книгах, где в качестве основных персонажей действуют женщины, акцент делался на том, как они добиваются все более полного не только юридического, но и фактического равноправия, как завоевывают все более прочные жизненные позиции.

В этом плане судьба Ханки Антайль, как она обрисована у К.-Г. Якобса, по-своему типична.

Но сопоставим повесть Якобса с рассказом Фрица-Рудольфа Фриза «Когда он родится» [1]. Он написан как своего рода ис-

[1] Опубликован в «ИЛ» № 11, 12, 1969.

[1] Опубликован в «ИЛ» № 9, 1976.

поведь женщины, мысленно обращенная к отцу ее будущего ребенка. Она знает, что он не станет ей мужем, и сама убедилась, что «не пара» ему. Она готова к участи матери-одиночки, уверена, что ей помогут,— работа, заработок ей обеспечены, ребенка она сумеет устроить и в ясли, и в детсад. И все-таки, и все-таки... Радость по поводу предстоящего рождения сына — а она убеждена, что будет именно сын! — приправлена некоторой долей грусти и обиды. И писатель тактично, без нажима дает нам это почувствовать.

Пример этот характерен. Писатели ГДР все чаще обращаются к нерешенным проблемам повседневной жизни, к сложным житейским и психологическим казусам. В поле их зрения — не только движение общества вперед, к новым вершинам общественного и материально-технического прогресса, но и шероховатости, заминки, а то и препятствия, замедляющие, затрудняющие это движение. Судьбы людей нового общества складываются по-разному, и далеко не всегда однозначно благополучно.

Понятно, что основными героями литературы ГДР — и мировой социалистической литературы, взятой в целом,— как правило, оказываются люди активные, энергичные, способные справляться с трудностями и преодолевать преграды. Однако вполне закономерно, что писатели социалистических стран уделяют внимание и тем, кому не повезло, кому, по разным причинам, оказалось нелегко найти свое место в жизни. Чем более зрелыми, развитыми становятся социалистические общественные отношения, тем более пристально и взыскательно всматривается литература во внутренний мир отдельной личности, исследует разнообразные нравственные, психологические коллизии: в современных условиях неизмеримо повышается требовательность человека к самому себе и к окружающей его среде. Все сказанное имеет прямое касательство к новым книгам писателей ГДР, посвященным положению и жизни женщины в современном мире.

Читательский успех книг, о которых пойдет сейчас речь, основан не только на их художественных качествах, но в немалой степени и на том, что проблемы жизни женщины здесь ни в коем случае не изолируются от проблем более широких, общественных, нравственных. Для каждой из них возможности личного благополучия тесно связаны с тем, чем живет весь народ, с тем, какое место сама она, гражданка ГДР, может занять в этой общей жизни. Через рассказы о женских судьбах приоткрываются, каждый раз по-новому, существенные аспекты жизни республики с ее историческими завоеваниями, с ее сложным переплетом социальных и личных коллизий.

Карен Вальдау, юристка — главное действующее лицо романа молодой писательницы Герти Тетцнер «Карен В.»,— имеет, казалось бы, все, что ей надо для того, чтобы быть счастливой. Но она покидает мужа, едет с дочерью в родную деревню, начинает зарабатывать на жизнь тяжелым физическим трудом — почему? Постепенно выясняется, что ей, в сущности, не по душе и работа, на которой приходилось иметь дело больше с бумагами, чем с людьми, и среда, окружавшая ее в городе.

Вернется ли Карен к мужу? Изберет ли другую профессию? Герти Тетцнер оставила много вопросов открытыми и дала много поводов для нареканий. Ее укоряли и за незавершенность действия, и за очевидные художественные промахи, понятные, впрочем, у романистки-дебютанта. Однако книга заслужила одобрение читателей и критики ГДР прямотой постановки вопроса, тем духом нравственной требовательности, которым она проникнута. Есть основание согласиться с суждением С. Апта об этом романе: «При всей бытописательности в нем есть «воздух», ощущение идеала, высокого мерила человеческих поступков и слов» [1].

Карен В. хочет найти такой род деятельности, который целиком бы ее захватил, стал бы для нее истинным содержанием жизни. Франциска Линкерханд — центральный персонаж одноименного романа Бригитты Райман, известного советским читателям,— такую деятельность нашла. Романистка дала ей нелегкую профессию — она архитектор, градостроитель. В северном городе Нойбранденбурге, где рано умершая Б. Райман провела последние годы жизни, мне показали район домов-новостроек, созданных по проектам талантливой женщины-зодчего. Это не значит, что Райман писала портрет реального лица. Но, введя свою Франциску в гущу сложнейших и совсем не женских трудовых забот, романистка не погрешила против истины.

Франциска Линкерханд, как и Карен В., пользуется симпатиями автора и завоевывает симпатии читателя, никак не претендуя на амплуа «идеальной» героини. Обе они — в движении, в поиске. Глубокое родство автора и главного персонажа в романе Райман подчеркнуто своеобразным повествовательным приемом: нередкими и как бы почти незаметными переходами от третьего лица к первому. Франциска для Б. Райман — «она», но в какой-то мере и собственное другое «я».

Был ли когда-либо на немецком языке роман, где в центре стоял бы образ женщины XX века, духовно живой, душевно богатой, самостоятельно прокладывающей себе дорогу в жизни и чуткой к передовым веяниям времени? Думается, что «Франциска Линкерханд» — первая книга такого рода. Уже в этом смысле она по своему значению выходит за пределы литературы ГДР и заслуживает сопоставления с тем, что сделано в нашем столетии писателями других стран. Тут может вспомниться даже «Очарованная душа» Ромена Роллана; однако это в данном случае слишком высокий масштаб для сравнения, тем более что в образе Франциски отсутствует

[1] См. «ИЛ» № 7, 1976.

компонент, столь важный для ролланов-ской героини, мотив материнства (и это, конечно, умаляет обобщающую силу об-раза, созданного Райман). Зато вполне воз-можно сопоставление более скромное — с романом, принадлежащим как-никак одно-му из классиков мировой литературы XX века,— с «Энн Виккерс» Синклера Льюиса. На таком фоне особенно ясно видны отли-чительные черты Франциски Линкерханд как женщины *социалистического* мира. Энн Виккерс, общественная деятельница, рефор-матор и филантроп, то и дело наталкива-ется на непреодолимые препятствия и в конечном счете вынуждена смириться и отступить. Те принципы, за которые борет-ся в своей профессиональной области Франциска Линкерханд, по необходимости вовлекают ее в принципиальные споры и конфликты; но эти принципы отвечают гу-манистической природе общества, в кото-ром она живет.

Подлинным содержанием жизни Франци-ски Линкерханд, главным, что волнует, ра-дует, огорчает, занимает ее, остается в лю-бой ситуации ее работа. Она по собствен-ному желанию приехала туда, где трудно,— в район больших строек, где и клима-т неласков, и быт не налажен. Тут и возникает основной конфликт романа: не столько деловой, производственный, сколь-ко нравственный.

Главный архитектор строящегося города Шафхойтлин, исправный службист и чело-век долга, по-своему безукоризненно чест-ный и преданный делу, видит свою задачу в том, чтобы дать новоселам дешевые бла-гоустроенные жилища, как можно боль-ше, как можно скорее, и это делается — читаем мы в романе — с немалым разма-хом. Франциска смотрит на вещи шире. Долг архитектора, утверждает она, в том, чтобы не просто построить для людей жилье, но и помимо того создать им усло-вия для общения, для культурного роста. Ее беспокоит, что новому городу не хвата-ет не только жилых домов, но и обществ-енных зданий, клубов, кафе: рабочим не-где проводить досуг, одинокие остаются наедине со своим одиночеством. Не это ли гонит молодежь на улицу, не отсюда ли проистекают случаи хулиганства, преступ-ности, даже самоубийства? В работу архи-тектора Франциска вносит свои исконно женские побуждения и свойства — добро-сердечие, чувство изящного. Она убежде-на, что дома слишком стандартного типа гнетуще действуют на психику их жите-лей, а ведь «архитектор планирует не толь-ко дома, но и отношения, контакты их обитателей, общественный строй...» Кон-фликт разрастается, не разрешаясь до кон-ца. В итоге Франциска готова признать: «Он должен, должен найтись, мудрый син-тез Сегодня и Завтра, унылого блочного строительства и веселой живой улицы, не-обходимого и Прекрасного...» [1] Претерпев немало поражений, распрощавшись с лю-бимым человеком, Франциска Линкерханд не теряет надежды.

Мы видим, что перед нами не просто история одной женщины: тут встают воп-росы, касающиеся всего общества, его дальнейшего развития. И автор не предла-гает готовых решений. В этом родство по-следнего романа Бригитты Райман с наибо-лее значительным романом другой извест-ной писательницы ГДР, Ирмтрауд Моргнер. А во многом ином обе эти книги резко различны.

Полное название романа Моргнер такое: «Жизнь и приключения тробадоры Беат-рис согласно свидетельствам ее помощни-цы Лауры. Роман в тринадцати книгах и семи интермеццо». Тут сразу заявка на не-что не совсем обычное. И в самом деле — перед нами повествование вызывающе экс-периментальное, эксцентричное и по мане-ре изложения, и по структуре. Притом по-вествование, включающее немалый элемент фантастики. По мысли автора, «великие истины становятся более убедительны для людей, когда выступают в обличье невероя-тного».

Беатрис де Диа, женщина-трубадур, жи-ла в XII веке в Провансе и сочиняла сти-хи о любви по канонам средневековой по-этики. Но в ту дальнюю эпоху женщине, особенно знатной, не приличествовало от-крыто выражать свою любовь, тем более в стихах. Пожелав покинуть «средневеко-вый мужской мир», Беатрис с помощью магических сил уснула на 800 лет. Она просыпается в нашу эпоху, странствует по Франции, попадает в Париж, охваченный студенческими волнениями, снова и снова странствует, бедствует, ищет места, где ее поэтический дар был бы нужен людям,— и приезжает в ГДР. На вопрос полицей-ского-пограничника о цели ее путешествия она отвечает, что желает поселиться в раю. Пограничник вежливо разъясняет ей, что Германская Демократическая Республика— не рай, а социалистическое государство. «Слава богу,— сказала Беатрис и подняла правый кулак в знак приветствия,— здесь я получу работу».

Так смыкаются у Моргнер фантастика и реальность. Но по мере развития сюжета сказочная линия романа как бы затухает и сводится на нет, картины повседневной жизни ГДР появляются на первом плане. Беатрис мало-помалу включается в эту жизнь — она находит благодарных слушат-елей своих стихов и песен в концертных залах и рабочих клубах. Обо всем этом Ирмтрауд Моргнер рассказывает в непри-нужденной манере, весело, иронично, но вместе с тем и всерьез. Беатрис становит-ся для романистки своего рода медиумом, посредником в ее эстетическом отношении к реальности ГДР: необычная героиня как бы дает автору возможность заново оки-нуть взглядом знакомые, давно примель-кавшиеся характеры и обстоятельства.

Своеобразная структура романа мотиви-руется в краткой главе, где изложен диа-лог Лауры с издателем. Лаура от имени Беатрис предлагает произведение в новом

[1] Бригитта Райман. Франциска Лин-керханд. М., «Прогресс», 1977, стр. 513, 567.

жанре: *роман-монтаж*. И объясняет смысл этого термина: «Ортодоксальная форма романа требует, чтобы автор в течение нескольких лет придерживался одного и того же замысла. В нашу эпоху бурных политических движений, когда поток информации принял чудовищные размеры, на это могут пойти только вялые или косные натуры. То, что я предлагаю — роман будущего. Оперативный жанр... Ортодоксальной романной форме я предпочитаю романный ансамбль малой прозы... Мозаика — нечто большее, чем сумма камешков. В композиции целого они неожиданным образом контрастируют и взаимодействуют на глазах у зрителя».

Ни одна форма искусства не может претендовать на монополию. И хоронить большой эпический жанр, конечно же, ни к чему. Но в наши дни роман существует и развивается во множестве жанровых вариаций. Ирмтрауд Моргнер показала на практике, что «роман-монтаж», как она его понимает, по-своему интересная, заслуживающая внимания повествовательная форма. Книга о тробадоре Беатрис, лишь приблизительно скрепленная сквозным сюжетом, включает разнообразные рассказы-миниатюры, бытовые эпизоды, размышления и путевые заметки автора, отрывки из исторических и политических документов, факты, почерпнутые из газетной хроники... Персонажей много: иногда это лица, связанные с главной героиней, иногда же лица, существующие самостоятельно. Причем все эти разнообразные части объемистой книги, на первых порах озадачивающей читателя своей пестротой, по сути дела очень плотно пригнаны одна к другой. Отдельные фрагменты и куски монтируются без видимой причинной связи, чаще всего по ассоциации, и тем не менее в таком монтаже есть своя логика. Это нетрудно подтвердить примерами.

Один из наиболее симпатичных автору персонажей, столяр Бенно Пакулат рассказывает о своем неудачном браке: жена постоянно упрекала его в недостатке честолюбия, требовала, чтобы он старался выдвинуться по службе и больше зарабатывал. «Потребительство, накопительство — это же просто бедствие какое-то!» По очевидной мысли автора, тут идет речь о явлении не столь редком — и глубоко чуждом самой сути социализма. На следующей странице мы читаем короткий отрывок из воспоминаний Н. К. Крупской, где показана скромность Владимира Ильича, его неприхотливость в быту...

В разных главах романа затрагиваются проблемы воспитания детей. Из жизненного опыта персонажей, из их диалогов ясно вытекает, что даже самые лучшие ясли и детские сады не могут полностью заменить родительской заботы о детях, той нежности, в которой нуждается ребенок. И попутно подключается сообщение об эксперименте одного биолога: оказывается, подопытные животные, привыкшие с первых дней существования к ласковому прикосновению руки лаборанта, развиваются лучше, вырастают более жизнеспособными, чем животные, лишенные такой ласки...

В романе И. Моргнер дана широкая панорама современности. Действие то и дело перекидывается из ГДР в другие страны. Мимо поля зрения автора не проходят ни зверства американской военщины во Вьетнаме, ни бедственное положение семей безработных в Италии, ни архаические законы, согласно которым замужняя француженка может заниматься профессиональной деятельностью только с разрешения мужа. Да, капитализм виновен во многих, больших и малых, несправедливостях по отношению к женской половине человечества. Но Ирмтрауд Моргнер в публицистических экскурсах своей книги очень недвусмысленно отмежевывается от «эмансипаторской моды» западнофеминистского образца. Дело не в каком-то извечном антагонизме полов; путь к реальной эмансипации женщины — борьба против основ эксплуататорского общества. В наши дни уважающая себя женщина, утверждает И. Моргнер, как бы перефразируя старый тезис Бебеля, не может не быть сторонницей социализма. И добавляет: «Революционное преобразование нравов возможно только после того, как достигнуто революционное преобразование экономических отношений. Нельзя сделать второй шаг раньше первого. В ГДР первый шаг давно сделан. Теперь наша задача — второй шаг, вот оно что».

Преобразование быта, нравов в подлинно социалистическом духе — проблема, живо занимающая Ирмтрауд Моргнер и ее героев. Современная писательница видит яснее, чем мог видеть в свое время Бебель, что перестройка экономики не влечет за собой немедленной, а тем более безболезненной перестройки человеческих чувств и отношений. Эмансипация женщин в плане юридическом давно совершилась в ГДР. А нравы? А семейный и общественный быт? Тут налицо немало противоречий, неблагополучий, о которых Моргнер говорит откровенно. Для автора очевидно, что нельзя перекладывать воспитание детей целиком на государство. Вместе со своим Бенно Пакулатом она считает, что забота о собственном ребенке делает каждого человека более добрым, чутким, развивает в нем чувство ответственности. А с другой стороны — «какой прок Отцу-Государству от высоких экономических показателей бригадира, если его дети и внуки причиняют беспокойство психологам и врачам?»

Иные страницы романа заставляют вспомнить широко известную у нас повесть Натальи Баранской «Неделя как неделя». Когда муж предлагает героине этой повести, молодой матери, вечно спешащей, перегруженной и озабоченной, бросить работу в научном институте, заняться исключительно домом и детьми, он слышит ответ:

«Фигушки!» Само собой понятно, что женщина, познавшая вкус самостоятельного труда, не даст загнать себя обратно на кухню и в детскую — ни в ГДР, ни у нас. Но как же все-таки может труженица-мать успешно совместить разнородные свои обязанности, если в сутках всего 24 часа? В «роман-монтаж» Моргнер включена веселая и все же грустная сказочка о женщине-физике, которая изобрела для себя способ скоростного передвижения по воздуху с помощью каната. Иначе она никак не могла успеть вовремя проделать все необходимые ей маршруты — из института в магазин за покупками, потом в детсад за ребенком, потом домой,— да так, чтобы вечером остался хоть часок свободного времени для работы над диссертацией... Словом, фактическое равноправие женщин — *проблема,* и непростая! Сочетая реальность и вымысел, картинки быта и публицистику, автор «Тробадоры Беатрис» поставила острые вопросы, требующие коллективного размышления.

На съезде писателей ГДР в мае 1978 года Ирмтрауд Моргнер с высокой похвалой отозвалась о книге недавно умершей журналистки и писательницы Макси Вандер «Доброе утро, красавица!» И в самом деле — эта книга, на долю которой выпал исключительный литературный успех, задела многих читателей за живое той прямотой, открытостью, с которой в ней ведется разговор о насущно важном. И в то же время привлекла необычностью формы. Это произведение документальной прозы, около двадцати интервью, записанных на магнитофон. Творческая активность автора сказалась здесь и в выборе собеседниц, и в умении внушить им доверие к себе, получить ответы, представляющие общественный интерес, и, наконец, в литературной обработке записей, проведенной бережно, чтобы не нарушать непосредственность разговорных интонаций. Здесь представлены женщины разных возрастов, от 16 до 74 лет, и разных профессий — заводская работница, официантка, служащие, школьницы, доцент, художница, врач, есть и одна домохозяйка.

Каждое из интервью — своего рода исповедь, без налета рисовки или самолюбования (кстати сказать, фамилии говоривших не указаны — все они названы только по именам). Могут ли, имеют ли право эти женщины высказываться от лица всей многомиллионной женской половины населения ГДР? В известной мере могут — в книге Макси Вандер уловлено, зафиксировано, наряду со многим случайным, и нечто существенное.

В статье, напечатанной в журнале ГДР «Нойе дойче литератур», а затем опубликованной в качестве вступления к западногерманскому изданию этой книги, Криста Вольф анализирует работу Вандер не только как литературное произведение, но прежде всего как своего рода исследование. Интервью, взятые вместе, свидетельствуют о глубоких переменах — и в образе жизни женщин ГДР, и в образе их мыслей. Именно потому, что они, как правило, свободны от гнетущих забот о хлебе насущном, чувствуют себя в принципе равноправными мужчине и в гражданской жизни, и в быту — у них рождаются новые запросы, новые проблемы. Они задумываются над смыслом своей жизни — и жизнью общества в целом.

«Немаловажная заслуга этой книги,— пишет Криста Вольф,— в том, что она достоверно свидетельствует, насколько возможность участия в общественных делах изменила частную жизнь и личные чувства многих женщин в ГДР... Условия жизни в нашей стране позволили женщинам выработать самосознание, в основе которого — не воля к власти, преобладанию и вместе с тем к подчинению, а способность к сотрудничеству. В первый раз в истории они в состоянии самоопределиться, а это — огромный прогресс; впервые они проявляют не только творческую фантазию: они выработали в себе также и ту трезвость взгляда, которую мужчины считали типично мужским свойством».

Для каждой из этих женщин Германская Демократическая Республика — то государство, где они выросли, где сложилась их жизнь, здесь они стали сами собою, здесь они *дома.* В ином мире они не могли бы жить — в некоторых интервью это говорится без громких фраз, но открыто, в других подразумевается. Все эти женщины (кроме одной, домашней хозяйки Штеффи, вполне удовлетворенной своим положением) не представляют себе существования без самостоятельного труда. Личная жизнь у каждой сложилась по-своему — есть среди них и замужние, и разведенные, и матери-одиночки с одним ребенком, и бездетные, и многодетные матери семейств. Так или иначе, судя по этим интервью, роковой вопрос для многих и многих поколений женщин: удастся или не удастся выйти замуж? — потерял прежнюю исключительную важность.

Каждая из них определяет по-своему, в чем она видит радость бытия. Ута, незамужняя молодая работница, растит ребенка с помощью матери, трудится на производстве, учится заочно в техникуме: «Вот это мне нужно — чему-то научиться и показать, что́ я умею. Когда меня хвалят, я работаю вдвое лучше — сразу силы прибавляются...» Лена, искусствовед, лектор, высоко ценит свою профессию: ей радостно, что она выводит своих слушателей из узкого круга «потребительских» интересов, приобщает их к духовным ценностям.

При всем том собеседницы Макси Вандер, как правило, далеки от самодовольства. Они требуют многого, и требуют все большего — и от общества, и от самих себя. Габи, шестнадцатилетняя школьница, чувствует смутное недовольство мещанским укладом жизни семьи, теми «идеалами», которые внушает ей мать,— иметь хорошую квартиру, побольше денег, получше одеваться; ей как-то не очень по душе профессия торгового служащего, к которой ее готовят,— она хочет найти себя, и

ей трудно найти себя... Маргот, которая в юные годы избрала своей специальностью физику, «королеву наук», теперь, в зрелом возрасте, приходит к мысли, что ее жизнь была слишком односторонне нацелена на научный успех,— ей хочется преодолеть «комплекс успеха», пока не поздно... Рут, официантка, привыкшая легко и бездумно сходиться с мужчинами, втайне страдает от острого чувства одиночества, опустошенности. Словом, проблем много, и чуть ли не у каждой из опрошенных свои поводы призадуматься.

В некоторых интервью звучат острые критические замечания по адресу общественных организаций или учителей, воспитателей. Гудрун, школьница выпускного класса, сетует на то, что учащимся дается «установка на потребление знаний», эти знания им как бы преподносятся в готовом виде, а если задашь вопрос — «тебе так ответят, что больше не захочется спрашивать». Рози, служащая, огорчается, что приходится иной раз ходить на собрания, где «не услышишь ничего нового, одни фразы», а ведь много трудностей можно одолеть, много недостатков можно исправить, «если откровенно говорить с людьми!».

И у самой Макси Вандер, и у ее собеседниц любовь к своему обществу, к своей республике — это требовательная и взыскательная любовь. Гордость достигнутым естественно сочетается здесь с продуктивным духом нравственного беспокойства.

Такова общая идейная направленность тех новых произведений писательниц ГДР, о которых шла у нас речь. К ним всем применимо то, что сказано у М. Вандер в авторском вступлении к книге: «Мы осознаем конфликты именно тогда, когда чувствуем себя в состоянии справиться с ними».

◆

МАРИЯ ХИШПАНЬСКА-НОЙМАН.
Польша.
Иллюстрация к стихотворению Пабло Неруды «У них отбирают землю».

Критика

СОПОСТАВЛЯЯ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ

ДИАЛОГ ОБ ЭПОХЕ ВОЗРОЖДЕНИЯ

Редакция «Иностранной литературы» получила статью уже известного нашим читателям видного итальянского литературоведа Витторе Бранки [1]. Эта новая его работа не без основания может показаться слишком специальной. Посвящена она проблемам, связанным с сущностью эпохи Возрождения и ее периодизацией.

Как заметит читатель, автор решительно отвергает то, что ему представляется устоявшимися «историческими предрассудками», мешающими, по его мнению, правильно определить место итальянского Ренессанса в истории европейской культуры. Проблемы эти, при всей их дискуссионности, ни в коей мере не носят «чисто академического» характера и вовсе не так далеки от нашего времени, как могло бы показаться на первый взгляд. Речь идет о гуманизме — о тех идеях и идеалах, вокруг которых в наши дни ведется напряженная борьба, вызванная различным пониманием человека и его роли в мире, в обществе и в истории.

Вот почему споры о том, когда начался Ренессанс и принадлежат ли такие художники слова, как Данте, Петрарка, Боккаччо, средним векам или новому времени, не затихают во многих странах мира. Не миновали они и советскую историческую науку. В декабре 1975 года Комиссия по проблемам культуры Возрождения Академии наук СССР провела всесоюзную конференцию, посвященную спорным вопросам периодизации западноевропейского Ренессанса. Материалы конференции опубликованы в книге «Типология и периодизация культуры Возрождения» (М., 1978). А в апреле текущего года советская делегация в составе П. Палиевского, Р. Хлодовского, М Андреева приняла участие в работе состоявшегося в Белграде X Конгресса Международной ассоциации по изучению итальянского языка и литературы (президент В. Бранка) на тему «Проблемы и аспекты итальянского Возрождения».

На основные положения работ Витторе Бранки, посвященных средним векам и Возрождению, как правило, накладывает отпечаток то направление в современном итальянском литературоведении, которое принято именовать «католической критикой». Направление это достаточно влиятельно и, несмотря на противоречивость своих позиций, отнюдь не тождественно тенденциозному клерикализму. К этому направлению принадлежат многие крупные ученые современной Италии, в частности Джованни Джетто, который вместе с Витторе Бранкой редактирует один из крупнейших литературоведческих журналов «Леттере итальяне».

Публикуя статью Витторе Бранки, мы попросили советского критика и историка литературы Р. Хлодовского, на работы которого ссылается автор, поделиться своим мнением о поднятых в ней проблемах.

[1] Его статья «Беспокойная поэзия Микеланджело» была опубликована в «ИЛ» № 10, 1976.

ВИТТОРЕ БРАНКА

Суждение об итальянском Ренессансе от Петрарки до Полициано

Споры о периодизации: Средние века — Гуманизм — Возрождение, как известно, принимали неверное направление, осложняясь псевдоисторическими установками, а подчас предрассудками. Эти установки и эти предрассудки шли прежде всего

а) от традиционного противопоставления (начиная с Буркгардта и Мишле и кончая Саиттой, а теперь и некоторыми псевдомарксистами) мрачного, отвергающего мир средневековья, погруженного лишь в созерцание трансцендентного, Возрождению, означающему только свет, только радость, только торжество человека и его искусства;

б) от тенденции, сторонникам которой (начиная с Кине) нравилось видеть в ходе истории прежде всего «революции», а не «обновления», то есть не развитие традиций, не внутренне назревшие перемены;

в) от исторической науки, изучавшей культурную жизнь Италии и Европы между треченто и кватроченто — XIV и XV веком,— исходя из спорного противопоставления друг другу отдельных «центров» (Парижа, Оксфорда, Флоренции, Венеции, Падуи и т. д.), а не с точки зрения распространения идей, движений, игнорируя такой первостепенный факт, как то, что в разных «центрах» фундаментально изучались одни и те же тексты и часто преподавали одни и те же профессора, которые переезжали из университета в университет;

г) от гипотезы «возрождения» философии, словесности, искусств, общественной и политической жизни, экономики в Италии XV века сравнительно с цивилизацией эпохи Бонавентуры и Фомы Аквинского, Данте, Петрарки и Боккаччо, Джотто, Арнольфо и четырех Пизано, эпохи великих городов и самых передовых городских и цеховых установлений, европейской империи итальянских купцов в XIII—XIV столетиях (и напротив, об «упадке» XV столетия уверенно говорят теперь такие исследователи, как Жильсон, Барон, Сапори, Валери).

О преодолении этих и других исторических предрассудков убедительно свидетельствуют наиболее основательные и тонкие исследования и выступления в ходе дискуссий последних пятидесяти лет: например, известные работы Бурдаха, Тоффанина, затем Нарди и Жильсона и в недавнее время — хотя и написанные с иных позиций — работы Кристеллера, Гарена, Барона, Клайна, Тринкауса, Вазоли, Голенищева-Кутузова, Хлодовского и других (их точка зрения в чем-то сближается с точкой зрения великих историков XVIII столетия: достаточно вспомнить Робертсона и Гиббона). Такого рода позиции нашли современное и настойчивое отражение в ряде недавних дискуссий, в которых особенное и решающее значение получили новые перспективы, открытые исследованиями Сапори, Броделя, Лопеса, Тененти в области социально-экономической истории. Для так называемого Возрождения могли явиться в большой степени определяющими или по меньшей мере благоприятными огромные антиэкономические капиталовложения, то есть финансирование произведений искусства, созданных в XIII—XIV веках, которое в конечном счете оказалось единственно экономически выгодным. В свете нового идеологического и исторического подхода, подкрепленного документальными доказательствами, роль наших великих писателей XIV и XV веков и их слово предстают теперь в иной перспективе, приобретают другое значение.

Так Данте не считается больше родоначальником Гуманизма, либо лишенный этого будто бы облагораживающего его титула, либо возвращенный сугубо средневековому гуманизму каролингского происхождения. О Данте — гуманисте и ренессансном писателе можно говорить разве только в том смысле, что он решительно не укладывается в хронологические рамки периодизации, предложенной романтиками. Это великий художник, первым глубоко почувствовавший и выразивший тот могучий pathos de renovatio[1], характерный для христианства, который, как гениально отметили в своих исследованиях Бурдах, Ауэрбах и Блок, поистине открывает новую эру. Этот пафос должен быть присущ каждому человеку и всем людям, должен поистине подготовлять «возрождение» каждого человека и всего человечества. И под «возрождением» несомненно понимается rectauratio, восстановление anima curva [2], то есть изуродованной первородным грехом и грехами историческими, превращение ее в anima recta, similitudo Dei [3], как в утро творения: этот удивительный путь отражает «Бо-

[1] Пафос обновления *(лат.). (Здесь и далее прим. перев.)*.
[2] Кривая душа *(лат.)*.
[3] Праведная душа, подобие бога *(лат.)*.
(Здесь и далее — прим. перев.)

жественная комедия», цель которой именно в том, чтобы «вырвать живущих в этой жизни из состояния бедствия и привести к состоянию счастья» (послание, адресованное Кан Гранде, 39). Это глубокое осознание необходимости «обновления» человека и человечества делает Данте также первым художником (после писателей — религиозных проповедников), который хочет обращаться ко всем людям, хочет завоевывать — завоевывать по-настоящему своей новейшей поэзией — читателей за пределами обычного круга литераторов (действительно, он обращается ко всем «живущим в этой жизни», а не только к «посвященным»). И он также первый, кто отчетливо сознает, что художественное выражение — поэзия тесно связана с нравственным и социальным обновлением (canticum novum vita nova[1]), более того, что она может стать верным путем к «чудесному видению».

■

Петрарка в известной мере продолжает эту культурную и художественную миссию служения человеку, развивая ее, однако, в другом направлении. Он был в нашу эру первым великим интеллигентом и, решительно отказавшись как от теологических и метафизических умозрений, так и от научных и технических исследований, перенес все свое внимание на нравственные и социальные проблемы, в центре которых стоит человек. Само христианство для этого великого христианина было не столько сокровищницей интеллектуальных откровений, сколько непревзойденным учением о жизни — более того, самым высоким образцом внутреннего самосознания. Именно самосознание, изощренное непрерывным тонким самоанализом, становится для Петрарки подлинной и единственной формой познания. Другие, внешние по отношению к человеку формы знания, как научного, так и технического, не принимаются в расчет: тайна человеческой души важнее, чем тайна вселенной; «и отправляются люди исследовать высокие горы, и беспредельность океана, и путь звезд, но пренебрегают самими собой и глубинами собственной души»,— повторяет он вслед за своим Августином [2].

Так реагировал Петрарка на чрезмерное увлечение прикладной наукой и сведениями о физическом мире, которое, в частности под влиянием арабской культуры, господствовало в предшествовавшую эпоху и продолжало господствовать в его время. Медицина и астрономия, равно как счетное дело и положительное право (против коих и Данте метал громы и молнии), держались за свое главенствующее положение, игнорируя или ограничивая изучение человека и его проблем.

Напротив, для Петрарки человеческая личность и ее сознание объединяют в себе реальность и самые основы жизни и окружающего мира. Вот почему он видит в субстанциональной идентичности душ на протяжении всей истории провиденциальную возможность возвращений и встреч в веках, возможность утверждения и углубления одних и тех же истин в разные времена и под различными небесами. Так была решена Петраркой вековая, вернее, многовековая проблема примирения античного мира и языческой культуры с современным миром и христианством. Ибо, будучи истинно человеком, пишет Петрарка в трактате «De ignorantia» [1], Цицерон может говорить как апостол; ибо подлинно человечные люди, Блаженный Августин и Блаженный Иероним, нашли в Платоне и Цицероне помощников в решении своих проблем; ибо и сам он, понимая предназначение человека, согласно его утверждению в сочинении «De vita solitaria» [2], «рядом с древними, коим он обычно следует во многом, может поставить святое учение Христа». Культура, изучение великих философских систем древности, сами по себе неустанные поиски все новых и новых античных текстов, сделавшие Петрарку героем охоты за рукописями, которая велась по всей Европе, не сводятся для него, таким образом, лишь к эрудиции и литературе: они становятся главным смыслом жизни, жизни неизменно реальной.

После величайших греков и римлян, после великих отцов церкви у человека не было такого пристрастного и чуткого созерцателя его величия и его ничтожества, каким был Петрарка. Человек не знал столь ревностного поборника — в поэзии, философии, историографии — своего достоинства и своей правды, столь тонкого выразителя своей природной неудовлетворенности («я всегда чувствую некую неудовлетворенность в сердце»,— признается Петрарка устами Августина в диалогах «Secretum»[3]).

Отсюда его удивительное проникновение в древних авторов и открытие античных текстов, его благородные послания светского наставника душ, его мудрые этические и исторические трактаты, его высочайшая любовная лирика. Вот почему он возвысился сразу и возвышается поныне как отец и наставник той эпохи, что получила свое название от человека — homo, то есть эпохи гуманизма, простирающейся от Боккаччо до Эразма и далее — до нового гуманизма Маритэна и Элиота, до гуманизма самых глубоких современных умов.

Перед лицом апокалипсической опасности сциентизма, техницизма, потреби-

[1] Новая песня — новая жизнь *(лат.)*.
[2] Несколько неточная цитата из письма Петрарки к Дионисию да Сан Сепольхро (Fam., IV, I).

[1] «О невежестве» *(лат.)*. Полное заглавие: «О невежестве своем собственном и многих других людей».
[2] «Об уединенной жизни» *(лат.)*.
[3] «Тайна» *(лат.)*.

тельства — трех чудовищ, которые, судя по всему, снова угрожают самому существованию человека и человечества, мы понимаем, почему обращение Петрарки к непреходящим ценностям в человеке и его сознании получает решающий отклик там, где такая опасность сильнее и неотвратимее. По мере того как повсеместно повторяющееся варварство гасит просветительскую веру в «великолепную и прогрессивную судьбу человечества» (Леопарди), вновь настойчиво звучит в самых отзывчивых душах гуманистический призыв Петрарки к мудрости (то есть к способности судить и выбирать, руководствуясь вечными принципами), к мудрости как основе человеческого знания.

Петрарковское обращение человека к человеку не имело бы, однако, своего необыкновенного всемирного резонанса в веках, если бы Петрарка не обладал исключительным сознанием и даром письменного слова как божественного средства общения между душами с их самыми глубокими светлыми и мрачными тайнами. Это связь, какую именно теперь страстно ищет наш мир, невыносимо страдающий от иных форм коммуникации, бесчеловечных и угнетающих.

Сотни и сотни писем, которыми Петрарка вовлек в свою деятельность самых ярких представителей тогдашнего культурного мира, его медитативные диалоги прямо восходят к вере его в слово. Эти благородные беседы души способствовали распространению и общности убеждений и устремлений в Европе (а также выбору общих учителей), что позволило Петрарке, как ни одному другому писателю, дать начало быстрому, широкому, решительному обновлению не только в литературе, но и в нравственной, общественной и даже политической жизни (от выступлений за мир в Италии до предпринятых им шагов к возвращению папской курии из Авиньона в Рим).

Высшим выражением его платоновской и христианской веры в слово была настоятельная потребность возвращаться к своим писаниям и постоянно их совершенствовать, непрерывно над ними работая. Особенно волнующим свидетельством этого поныне остаются сохранившиеся листы авторской рукописи его стихотворений (Cod. Vaticano lat. 3196). Мучительнейшие переделки несут несомненную — и, хотелось бы сказать, живую — печать абсолютной, аскетической строгости при выборе в каждом случае слов, которые были бы наиболее точным отпечатком души.

В самом поэтическом слове, в самой поэтической взволнованности звучит стремление по-настоящему приблизиться к действительности. Наше постоянное углубление в самих себя — это и беседа с великими людьми прошлого, и теология, являющаяся не чем иным, как божественной поэзией («poeticam... de Deo»). Так начинается открытие трансцендентного плана человечности, когда «беспокойство и страх могут найти некоторое утишение, при котором кончается одиночество и молчание наполняется бессмертными словами» (Гарен).

Именно это великолепно выражают стихи Петрарки — его «Rerum vulgarium fragmenta» [1]. Прежде всего, они — первый образец великой поэзии, имеющей своей единственной и исключительной целью внутреннюю жизнь человека, более того — человека tout court [2], jedermann [3]. Начиная с деклараций вступительного сонета, этого «назидательного компендиума», как его назвал Контини, стихотворения эти, равные числом количеству дней в году (1+365), представляют собой в их пленительном движении à rebours [4] не столько историю любви, сколько путь человека, простирающийся от «тщетных грез» и «тщетных желаний» до обретения в глубине своего сознания непреходящих ценностей. Вот когда он, человек, ясно понимает, «что радости мирские — краткий сон».

Впервые в новой поэзии стихотворения понимаются не как изолированные, случайные сочинения, какими они были от трубадуров до Боккаччо. Интуиция подсказывает Петрарке, что его стихи, хотя и созданные в разное время, могут стать элементами удивительной единой мозаики — подлинной, правдивой книгой души. Он берет, основываясь на широких нравственных критериях, лучшее, самое живое из того, что было в средневековой латинской и неолатинской традиции, и пропускает через обновленное тонкое восприятие, воспитанное чтением классиков и отцов церкви. Вот почему он может подарить человечеству самое чистое и страстное, самое правдивое и волнующее выражение величия и ничтожества, чаяний и слабостей, любви и боли, которые есть в каждой душе. И вот он с его поразительной чуткостью создает формы и язык, наиболее соответствующие и близкие той действительности, что является для него единственной достойной внимания,— человеку, его совести, его внутреннему миру. Иными словами, он создает канонический образец языка самой современной, самой близкой нам разновидности поэзии — лирики—и предопределяет ее судьбу вплоть до наших дней.

В самом деле, историю европейской лирики можно было бы изложить как историю приятия и неприятия успешного и категорического петрарковского опыта: от Бембо до Микеланджело и Ронсара, от Гонгоры и Мильтона до Клопштока, от Шелли до Гейне, Леопарди, Эредиа, Малларме, Д'Аннунцио, Унгаретти до лучших нынешних поэтов.

[1] «Отрывки на народном языке» *(лат.)*. — так Петрарка озаглавил свой сборник «Канцоньере».
[2] Взятого отдельно *(франц.)*.
[3] Каждого человека *(нем.)*.
[4] В обратном направлении *(франц.)*.

■

Со второй половины XIV века глубоко ощущалась идейная преемственность Петрарки по отношению к Данте. Уже Боккаччо объединял Данте и Петрарку в диалектической связи, читал их и предлагал читать как отцов человеческой культуры наряду с классическими авторами Греции и Рима (то же самое станут делать в итальянских университетах XV века). Он чувствовал, что и для Петрарки, и еще раньше для Данте «нравственность есть красота философии» и что не столь важны диалектика, логика, физика, сколь этика, то есть наука о человеке, на основании которой, также благодаря божественному слову и опыту античных классиков, открывается смысл жизни («Генеалогия» [1], XIV и XV; жизнеописания Данте и Петрарки). Именно поиски «смысла жизни» лежат в основе всего творчества Боккаччо и особенно «Декамерона». И подобно Петрарке, создавшему в своих стихах язык и определившему судьбу новой лирики как выражения внутреннего мира человека, Боккаччо своим шедевром гениально определил тип новой реалистической прозы.

В центре «Декамерона», так же как в центре творчества Петрарки, всегда стоит человек, увиденный и запечатленный со всеми его достоинствами и пороками, самыми характерными, самыми распространенными во все времена и у всех народов. На протяжении ста новелл, готически устремляясь ввысь, развертывается великая «комедия Человека» — первая в истории литературы. Однако человек не рассматривается, как у Петрарки, лишь в плане его внутренней жизни: он раскрывается прежде всего в его сложных поступках в сложном обществе, отличающемся завидным жизнелюбием. Это — общество первой капиталистической организации производства на основе тосканских и итальянских торговых «компаний».

Так наряду с представителями крупной буржуазии впервые в литературе действуют представители самых простых слоев — ремесленники, крестьяне, слуги. Они то изображены во всем их благородстве, с пониманием и человеческой симпатией (например, в новеллах о Симоне, о Сальвестре, о Чисти, о Гризельде), то написаны как бы босховской сангиной, то, наконец, уступают место пикарескным фантазиям об отбросах общества — нищих, мелких торгашах, сводниках, проститутках.

Боккаччо чувствует, что в «человеческой комедии» не менее, чем рыцари меча и экономической экспансии, реальны и поучительны рабы страстей — даже самых необузданных и самых низких. Рядом с героическим и предприимчивым миром должен находиться и мир пороков — иначе изображение человечества будет абстрактным или риторическим, а не конкретным и осмысленным. Именно в основных врожденных инстинктах, главным образом половом и собственническом, он выявляет самые типичные, самые устойчивые и самые могучие пружины человеческого поведения. И он рисует эти инстинкты не мрачными красками неодобрения, но с полным и подчас восхищенным участием.

Эти рельефно написанные мужчины и женщины с их кипящими чувствами, эти олицетворения коварства и мошенничества, эти откровенные циники (выбранные, главным образом, среди представителей господствующих классов — духовенства и торговцев) являются не менее правомерными и поучительными героями «человеческой комедии», нежели образцы благородства и предприимчивости. Без одних или без других «комедия» была бы уродливо однобокой.

Именно об удивительной передаче в «Декамероне» двойственности человека и человечности говорил еще Петрарка, равно высоко оценивая и эти «непристойные и веселые эпизоды», и «трагические и назидательные рассказы». И именно эти живописные и оригинальные повествования «о человеческих пороках и достоинствах» настолько пленили читателей, что вызвали уже на рубеже XIV и XV веков переводы «Декамерона» — случай, единственный для шедевров, написанных на новых языках,— на ряд европейских языков; именно они сделали «Декамерон» образцом для нового театра — от Биббиены и Аретино до Шекспира и Лопе де Вега и дальше, до наших дней, вызвали изобразительные отклики — от художников школы Джотто до Боттичелли, от Пезеллино до Рубенса, до Шагала и Манцу.

Художественное воспроизведение действительности и изображение человека со всеми его светлыми и темными сторонами неизбежно проходит через категорический опыт Боккаччо.

■

Идейный путь познания человека и служения ему, указанный в пору осени средневековья Петраркой и Боккаччо (развивавшего дантовскую традицию), продолжает эпоха Гуманизма и Возрождения, названная так в честь человека и его созидательных способностей. Прославление человека и его достоинства, столь характерное для второй половины XV века в Италии, тоже ведет свое начало от петрарковского и боккаччевского изображения внутренне двойственной, мятущейся природы человека, стремящегося утвердиться как свободная индивидуальность и сочетающего в себе противоречия, которые не способна разрешить жизнь.

Так за мифом о Возрождении, пронизанном солнцем, исполненном нерушимой верой в человека, преклоняющимся

[1] Имеется в виду трактат Боккаччо «Генеалогия языческих богов».

перед искусством и превращающим его едва ли не в образец жизни,— за этим мифом, который создала славная традиция, тянущаяся от Буркгардта к Кроче, Джентиле, Саитте, Реноде, открылось Возрождение смятенное и тревожное, на грани адских или апокалипсических бездн, одержимое иррационализмом и безумием, потрясенное осознанием исчерпанности рушащейся цивилизации. Итальянское общество конца XV—начала XVI столетия теперь нередко предстает как мрачный, раздираемый темными и непомерными страстями мир, которому постоянно грозит хаос.

Не говоря уже о знаменитых апокалипсических видениях и заклинаниях Савонаролы, у аттического и аполлонического Альберти обнаружились беспокойные, жуткие сюрреалистические видения; у Пико делла Мирандолы, певца человеческого достоинства, — пророческое, апостольское чувство ожидания; у Полициано, беззаботно наслаждающегося жизнью и завороженного мифом красоты,— савонароловское смятение и полемика с формалистической литературой; у Ариосто с его небесной улыбкой — мучительное сознание конца гуманистической культуры. Не случайно в поэтическом шедевре нашего раннего Возрождения «Стансы на турнир» Полициано явно подхватывает замысел и схему «Любовного видения» Боккаччо и «Триумфов» Петрарки.

Октавы Полициано («Стансы» обрываются после сто семьдесят первой октавы) не являются, как можно было бы заключить по их заглавию и внешней теме, расплывчатым придворным панегириком Джулиано де Медичи. И не являются только лишь, как то утверждала самая авторитетная критика, трепетной, но фрагментарной и утяжеленной постоянными мифологическими и учеными отступлениями элегией о юности и красоте, то и дело омрачаемых смертью, которую символизирует идеальное присутствие скончавшейся к этому времени героини (Симонетты, умершей 26 апреля 1476 года). Они представляют собой начало значительной поэмы: она должна была строиться по боккаччевско-петрарковской схеме и состоять из органичного ряда моральных, назидательных «триумфов» (Сила, побежденная Любовью, побежденной в свою очередь Фортуной и Смертью, а они — Славой и затем Вечностью). Это было видение жизни, основанное на шкале этических ценностей, реализованных и увенчанных искусством и поэзией.

«Идея» триумфов с их пленительным соединением классических образов и христианских концепций стала господствующей, почти навязчивой в культуре нашего раннего Возрождения. От «Любовного видения» Боккаччо и «Триумфов» Петрарки, первых сочинений этого жанра, пошли многие поэмы и видения, а также блестящий ряд изобразительных переложений, связанных с авторитетными именами Пезеллино, Мантеньи, Синьорелли, Рафаэля.

Именно идею триумфов Полициано с гениальной смелостью успешно прививает к бесцветной, монотонной традиции народных певцов, прославлявших придворные турниры (среди которых был также и Пульчи) с целью обновить ее и облагородить в плане почти что метафизическом. Уже в изложении темы произведения — в первой, глубоко насыщенной октаве, имеющей очевидное программное значение по одному тому, что она открывает «Стансы»,— линия развития поэмы определена как ряд триумфов: «Пышную славу и гордые состязания // ...и жестокую власть той богини (Венеры)...// И достойные награды благородные труды // Дерзкий ум повелевает мне воспеть, // Дабы великие имена и славные неповторимые деяния // Не унесли Фортуна, или Смерть, или Время».

Основной замысел Полициано, изложенный здесь и затем осуществленный лишь частично в поэме, прерванной на сорок шестой октаве второй песни, ясен. От воспевания триумфа физической силы, олицетворяемой героем поэмы охотником, в духе Поллайоло запечатленным в его динамичной отваге (I, 1—33), автор переходит к изображению триумфа Любви над силой и отказом любить (I, 39—67 и 68 сл., а также II, 10—22); после чего следует описание триумфа Смерти над Любовью (I, 55—57, где триумф предвозвещен; II, 35—37, где автор характеризует его, чтобы затем развить) и, наконец,— триумфа Славы над Фортуной, Смертью и Временем (II, 15, 31—34, 40—46). Именно последний триумф должен был получить четкое развитие в незавершенной части «Стансов», став их гармоническим завершением: он ясно задан в самом замысле поэмы, призванной продлить и после смерти жизнь героев — Юлия и Симонетты.

Мысль придать эмблематический, иносказательный характер незначительному эпизоду придворной жизни, дабы не окрашивать его в чрезмерно панегирические тона и не лишать обыденности, могла родиться только у сильной поэтической личности, обладающей большой культурой,— такой, как Полициано,— личности, склонной и привыкшей в силу литературного воспитания и темперамента к подобным преображениям. Они были уже в его юношеских упражнениях, проглядывались в мифах поэтической элегии на смерть Альбьеры и в «Орфее»— мифах о жизни, красоте и смерти, а впоследствии в более зрелых опытах, от «Ведьмы» до «Центурий». Этой иносказательности изображения, его фантазии способствовало великолепное знание «Триумфов», единственного произ-

ведения Петрарки, упомянутого в беглом эскизе истории итальянской литературы, которым Полициано завершает «Кормилицу».

В «Стансах» множество отзвуков, штрихов, juncturae[1] двух произведений, положивших начало в новой литературе жанру «триумфов», о чем свидетельствует уже фронтиспис — две вступительные октавы; более того, они выглядят очевидными ссылками, тонкими намеками для искушенных читателей, к которым Полициано любил обращаться. «Дерзкий ум повелевает мне воспеть»,— начинает он, подхватывая начальные строки Боккаччо: «Побуждаемый новым желанием, дерзкий разум... собирается воспеть...» («Любовное видение»); и продолжает: «Сладостное желание, исполненное горестных мыслей // И питающееся слезами и вздохами...», вторя Петрарке: «Уже мое желание было почти горьким... Вскормленное слезами и вздохами» («Триумфы»). И так — в сотнях строк, перекликающихся с Петраркой и Боккаччо, на которых Полициано изящнейшим образом ссылается. Словесная, изобразительная вязь, украшающая фронтиспис поэмы, возвещает лингвистический и литературный выбор — что-то вроде выразительного «кода».

Невозможно было бы найти лучший пример, подтверждающий стремление возобновить традицию «триумфов», открытую двумя поэтами XIV века, столь дорогими Полициано, и придать ей новое направление, новые формы, переведя ее в иной регистр. Такой метод восстановления и оживления характерен для кружка Медичи. Он аналогичен методу, примененному Альберти в трактатах на народном языке, восходящих к Данте, Лоренцо Великолепным — в лирической поэме, карнавальных песнях и священных представлениях, Пульчи — в пышных, но сумбурных фиоритурах певцов-сказителей. Петрарковские «Триумфы» с их готической устремленностью вверх в аскетическом смысле и строгой структурой четко установленных ценностей, постепенно ведущих к вечности, восприняты в «Стансах» в плане земном и человеческом или, по крайней мере, в пределах того туманного платоновского мира идей, которым постоянно грезил Полициано. Так над треченти стскими метафизическими установками и решениями полностью преобладает изображение человека, колеблющегося между силой-любовью и роком-смертью. И над этой символикой и аллегорией, в духе осени средневековья, сияет чарующий образ красоты и жизненности природы и человека, возникший над бездной тайны смерти и тления.

Лучшего исторического символа возобновления традиции нельзя было бы и придумать. Возобновление это с очевидностью знаменует в литературном отношении постоянно движущуюся и постоянно обновляющуюся связь между словом Петрарки и Боккаччо и культурной проблематикой кружка Медичи, также идущей от углубленного познания человека и от решительного поворота к Платону, осуществленного на разных уровнях двумя великими тречентистами.

Перевод с итальянского ЕВГЕНИЯ СОЛОНОВИЧА

[1] Связей (*лат.*).

Р. ХЛОДОВСКИЙ

Об итальянском историке литературы Витторе Бранке, его суждениях о Петрарке, Боккаччо, Полициано и о возможностях диалога между католиком и марксистами

Витторе Бранку я читаю давно и часто перечитываю. Это всегда интересно. Бранка — один из самых крупных литературоведов современной Италии. Он талантлив, энергичен и очень удачлив. В науке, как, впрочем, и во всем, удачи посещают смелых. Витторе Бранка мыслит интересно, умея взглянуть на анализируемое явление, казалось бы, совсем с неожиданной точки зрения. Во всем этом читатели «Иностранной литературы» имели возможность убедиться. Надеюсь, что вторая встреча с Витторе Бранкой их не разочарует. На этот раз в его статье речь идет о Данте, Петрарке, Боккаччо, Полициано, а также об отношении гуманистической культуры итальянского Возрождения к духовному наследию позднего средневековья.

О Возрождении сейчас пишут много. Некоторые из фундаментальных идей, лет тридцать — сорок назад воспринимавшиеся чуть ли не как аксиомы, на

поверку действительно оказались не более чем антиисторическими предрассудками. Однако отказ от них не привел историков к единомыслию. Скорее напротив. Никогда не выдвигалось столько различных и исключающих друг друга концепций сущности эпохи Возрождения, ее хронологических границ и роли в культурном развитии человечества, как это делается в наши дни. Причин тому немало. Одни из них связаны с огромными внутренними противоречиями Возрождения, о которых писал еще молодой А. Н. Веселовский. Другие порождены нашим временем.

Стремительное и гротескно-уродливое развитие буржуазной цивилизации катастрофически отчуждает человека не только от окружающей его природы, но также от поэзии, искусства, философии — и даже от него самого, безжалостно стирая неповторимость человеческой индивидуальности. Вот почему не столь уж поразительно, что в наши дни на капиталистическом Западе стали возникать ученые вроде Р. Нисберта, бестрепетно объявляющие по-юношески индивидуалистическую культуру Возрождения надуманным «историческим мифом». И вот почему не менее закономерно, что именно в наши дни на том же Западе все чаще и чаще появляются ученые, которые с надеждой оглядываются на пока что не полностью вытоптанную культурную традицию — традицию, порожденную тем взрывом духовной энергии, которым на стыке средних веков и Возрождения величайшие художники и поэты Италии, бывшие, как известно, «всем, чем угодно, но только не людьми буржуазно-ограниченными»[1], отреагировали на первые попытки далеких предков нынешней буржуазии лишить человека свободы, достоинства и радости быть сопричастными к космической гармонии бытия. Витторе Бранка прав: «Перед лицом апокалипсической опасности сциентизма, техницизма, потребительства — трех чудовищ, которые, судя по всему, снова угрожают самому существованию человека и человечества, мы понимаем, почему обращение Петрарки к непреходящим ценностям в человеке и его сознании получает решающий отклик там, где такая опасность сильнее и неотвратимее».

Опасность дегуманизации, которой грозит человеку так называемый капиталистический прогресс, Бранка ощущает необычайно остро. Ученый, обладающий богатейшей эрудицией, он меньше всего похож на кабинетного «эрудита». Даже тогда, когда Витторе Бранка занят сугубо текстологическими изысканиями и роется в забытых архивах (ему принадлежат сенсационные открытия второй «Центурии» Анджело Полициано, до недавнего времени считавшейся безвозвратно потерянной, и авторской рукописи «Декамерона», перевернувшей все представления об умонастроениях состарившегося Боккаччо), он не «воскрешает мертвых», а внимательно вслушивается в бессмертные слова, сказанные некогда для вечности и для всего человечества.

Думаю, что именно поэтому Бранка охотно пишет предисловия к произведениям великих итальянских классиков. Он не популяризатор, но даже самые специальные его работы редко бывают адресованы одному лишь узкому кругу по необходимости односторонних профессионалов. Почти все они обращены к людям. Это не просто позиция: скорее — своего рода программа. Приобщая соотечественников к высокопоэтичному и гуманному слову Данте, Петрарки, Боккаччо, Полициано, Витторе Бранка хочет помочь им установить истинную, естественную связь с реальной действительностью, которую, говоря его словами, «именно теперь страстно ищет наш мир, невыносимо страдающий от иных форм коммуникации, бесчеловечных и угнетающих». Один из самых удивительных результатов научно-технической революции XX века состоит, как мне кажется, в том, что благодаря ей филология опять может получить возможность расширяться до studia humanitatis — до тех ренессансных наук о человеке и человечности, которые в XV веке, вслед за Петраркой, несли во все еще средневековую Европу Леонардо Бруни, Поджо Браччолини, Лоренцо Валла. В наши дни гуманитарий снова превращается в гуманиста.

Из всего этого, однако, вовсе не следует, будто оценки, даваемые Витторе Бранкой итальянской литературе позднего средневековья и Возрождения, полностью или хотя бы даже в основном совпадают с теми концепциями, которых придерживается сейчас, например, большинство его советских коллег. Витторе Бранка отдает должное вкладу, сделанному в разработку проблематики итальянского Ренессанса такими видными современными философами и историками, как Эудженио Гарен и Ганс Барон, высоко ценит работы талантливого итальянского марксиста Альберто Тененти, но сам он от марксизма далек. Советский читатель несомненно сразу обратит на это внимание. В своем историзме, в чем-то по-настоящему глубоком и несомненно плодотворном, Витторе Бранка не во всем до конца последователен. Вот почему он, с одной стороны, темпераментно полемизирует с новоявленными вульгаризаторами марксизма, а с другой — сам же говорит о «крупной буржуазии» и даже прямо о «капиталистической организации производства» уже во времена Джованни Боккаччо. Социально-экономические анализы Бранки, как мне

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 20, стр. 346. *(Здесь и далее — прим. автора.)*

кажется, не всегда достаточно точны. Тем не менее Витторе Бранка вряд ли прав, когда он резко обособляет то новое понимание сущности итальянского Возрождения, которое он сейчас отстаивает, не только от метафизических теорий Эдгара Кине, но также и от той диалектической концепции эпохи Возрождения, которая была сформулирована Фридрихом Энгельсом в «Диалектике природы», а затем разрабатывалась — применительно к разным сферам духовной и материальной культуры — в трудах таких больших советских литературоведов, искусствоведов и историков, как А. В. Луначарский, А. К. Дживелегов, В. Ф. Шишмарев, С. С. Мокульский, В. Н. Лазарев, Б. Р. Виппер, С. Д. Сказкин, М. А. Гуковский, В. И. Рутенбург и др.

Разногласия между католиком Витторе Бранкой и современными марксистами преуменьшать не надо. Они значительны и принципиальны. Дело, конечно, не просто в том, что Бранка, в отличие от подавляющего большинства советских историков и литературоведов, считает вторую половину XV века в Италии всего лишь «ранним Возрождением», относя таким образом к средним векам не только создателя «Божественной комедии», но также Джованни Боккаччо и Франческо Петрарку. В конце концов, всякая периодизация условна и свободное обращение Бранки с жесткими литературоведческими схемами по-человечески привлекательно. Гораздо существеннее другое — то, что за такой непривычной для советского читателя периодизацией стоит определенная философия истории, исходные положения которой в основе своей далеко не бесспорны и даже, как мне теперь представляется, способны привести принявшего их исследователя к серьезным внутренним противоречиям.

Философская и историографическая традиция, в которую включает себя Витторе Бранка, очерчена в его статье достаточно четко. Восходит она к знаменитому «бунту медиевистов». В статье названы имена, как бы воплощающие для Бранки идейно наиболее близкое ему направление в современной исторической науке. Это прежде всего видный французский философ-неотомист Этьен Жильсон и известный, очень не тривиально мыслящий итальянский историк литературы Джузеппе Тоффанин, которого в нашей исторической критике все еще принято числить по разряду «воинствующих клерикалов» [1]. К этим двум именам надо, видимо, добавить также Марка Блока, Люсьена Февра, Эрнеста Роберта Курциуса и не названного в статье, но очень крупного голландского историка культуры Иоганна Хейзингу, классический труд которого «Осень средневековья» оказал на Витторе Бранку заметное влияние.

Ученые эти — разные. Позиции, занимавшиеся ими в исторических конфликтах нашего века, часто не совпадали. Объединяет их одно: все они, отказываясь видеть в эпохе Возрождения «величайший прогрессивный переворот из всех пережитых до того человечеством» [1] (Ф. Энгельс), склонны по возможности размывать границу между Возрождением и средними веками, растворять Возрождение в средневековье или, как говорят иногда, «медиевизировать Ренессанс», изображать по преимуществу принципиально светскую культуру Возрождения как одно из многочисленных проявлений того стремления к духовно-религиозному обновлению, которое было столь характерно для Западной Европы на протяжении многих веков ее исторического развития — от IX до XVI столетия. Именно такого рода взгляды проходят через всю статью Бранки. Характерны они и для остальных его работ. Главная книга Витторе Бранки озаглавлена подчеркнуто и, я сказал бы, даже вызывающе полемично: «Средневековый Боккаччо» (1956).

Игнорировать вызов Бранки было бы вряд ли правильно. Впрочем, теперь это, видимо, просто невозможно. «Средневековый Боккаччо» породил жаркие споры, в ходе которых были не только уточнены, но и в значительной мере пересмотрены существовавшие до тех пор представления об отношении «Декамерона» к предшествовавшей ему риторической и повествовательной традиции. Это смелая по своим идеям и очень богатая по материалу книга. Надо надеяться, что в скором времени она будет издана в нашей стране и широкие круги советской литературной общественности смогут включиться в дискуссию вокруг ее основных идей.

Принципиальность философских разногласий между Витторе Бранкой и советскими учеными ни в коей мере не исключает возможности согласия между ними по ряду проблем. Публикуемая статья в этом еще раз убеждает. Того, что работы Этьена Жильсона и Бруно Нарди помогают глубже понять не только некоторые идеи средневековой схоластики, но и связь гуманизма Возрождения с литературным расцветом XII века, не будет отрицать ни один советский ученый. Так же, как ни один советский ученый, вероятно, не станет в наши дни отвергать идеи о культурном подъеме, пережитом Европой после тысячного года и облекавшегося на протяжении всего зрелого и позднего средневековья в фор-

[1] Такое определение Дж. Тоффанина представляется мне излишне односторонним и в настоящее время достаточно устаревшим. Примечательно, что Антонио Грамши, который, как известно, был непримирим ко всякого рода клерикализму в жизни, литературе и литературоведении, проявлял большой интерес к книге Тоффанина «Что такое был гуманизм» (1929) и считал правильными многие из развиваемых в ней идей.

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 20, стр. 346.

му различного рода «обновлений» и «возрождений». Кстати сказать, идея эта не столь уж новая. Между вольтерианским иезуитом Саверио Беттинелли и Джузеппе Тоффанином существует значительно более непосредственная связь, нежели та, которую Бранка не без некоторой иронии устанавливает между И. Н. Голенищевым-Кутузовым и Эдвардом Гиббоном.

Однако возраст идей сам по себе еще никак не компрометирует их истинности. Полемизируя с упрощенным толкованием концепций Якоба Буркгардта и Франческо Де Санктиса и вместе с тем в чем-то солидаризируясь с Джузеппе Тоффанином, Антонио Грамши писал: «Возрождение представляет собой движение огромной важности, которое начинается после X века, причем гуманизм и Возрождение в узком смысле являются двумя завершающими моментами этого движения, главный центр которого находится в Италии, между тем как исторический процесс в целом носит не узко итальянский, а общеевропейский характер»[1].

Критические упреки Витторе Бранки, адресованные ученым, которым «нравилось видеть в ходе истории прежде всего «революции», а не «обновления», то есть не развитие традиций, не внутренне назревшие перемены», таким образом никак не могут иметь в виду последовательно марксистскую историографию. Любая революция, в том числе и Возрождение в собственном смысле — а это, по словам Ф. Энгельса, «была величайшая из революций, какие до тех пор пережила Земля»[2],— предполагает эволюцию, то есть именно внутреннее назревание перемен как в материальной, так и в духовной жизни. Именно поэтому, говоря об эпохе Возрождения, Ф. Энгельс настойчиво подчеркивал не только ее беспримерную революционность, но также и ее эволюционность — органичную преемственную связь итальянского Ренессанса со средневековой культурной и литературной традицией. Он писал: «Конец феодального средневековья, начало современной капиталистической эры отмечены колоссальной фигурой. Это — итальянец Данте, последний поэт средневековья и вместе с тем первый поэт нового времени»[3].

Развивая эту мысль Ф. Энгельса, советская историческая наука выдвинула в последние десятилетия интересную и, как мне кажется, очень плодотворную концепцию Проторенессанса (термин В. Н. Лазарева), или Предвозрождения (термин Д. С. Лихачева), как совсем особого, специфического периода в истории средневековой культуры, не просто предшествовавшего Ренессансу, но и внутренне подготовившего переворот, произошедший во всех сферах духовной жизни сперва Италии, а затем и остальной Европы, исключая Русь[1]. Данте действительно никак не может быть отнесен к гуманизму, если под гуманизмом, как это делается в современной итальянской историографии, понимать тот период Возрождения, когда гуманистическая идеология облеклась в форму классических studia humanitatis. Однако из этого вовсе не следует, будто Данте, создателя национального литературного языка, автора «Пира» и «Монархии», следует целиком и полностью обособлять от формирования гуманистической культуры итальянского Ренессанса. Те связи, которые широко и очень убедительно устанавливаются в статье Бранки между Данте, с одной стороны, и Петраркой и Боккаччо — с другой, объясняются, как мне кажется, не только «средневековостью» «Триумфов» или «Декамерона»: в не меньшей, а может быть, даже и в еще большей мере их можно объяснить проторенессансностью «Комедии» (не исключавшей, впрочем, ни готической структуры этой великой поэмы, «отмеченной и небом и землей», ни ее аскетической устремленностью к богу). Не надо забывать, что на протяжении всего итальянского Возрождения — которое, как это справедливо и весьма своевременно подчеркивает Витторе Бранка, никак не может быть сведено к «солнечной», «безмятежной» и «идиллической» ренессансности — Данте был знаменем не одних лишь религиозных консерваторов и литературных стародумов. К его поэтическому и философскому наследию обращались такие типичные гуманисты XV столетия, как Леонардо Бруни; великий гуманист-неоплатоник Марселио Фичино счел нужным перевести на итальянский язык не очень-то ортодоксальную «Монархию»; в самом начале XVI века возрожденческий «авангардист» Джанджорджо Триссино усиленно приобщал современников к лингвистическим и литературно-теоретин-

[1] Антонио Грамши. Избранные произведения в трех томах. М., 1959, т. 3, стр. 272.

[2] К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 20, стр. 508.

[3] Там же, т. 22, стр. 382.

[1] В России не было эпохи Возрождения в распространенном ныне значении этого термина. Но роль России в исторической судьбе европейского Возрождения поистине беспримерна. Едва ли не первым об этом сказал Пушкин. Отметив, что, «приняв свет христианства от Византии», Русь «не участвовала ни в политических переворотах, ни в умственной деятельности римско-кафолического мира» и что «великая эпоха возрождения не имела на нее никакого влияния», Пушкин писал: «России определено было высокое предназначенье... ее необозримые равнины поглотили силу монголов и остановили их нашествие на самом краю Европы; варвары не осмелились оставить у себя в тылу порабощенную Русь и возвратились на степи своего Востока. Образующееся просвещение было спасено растерзанной и издыхающей Россией...» (А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. Л., «Наука», 1978, т. VII, стр. 210).

ческим идеям только что опубликованного им трактата «О народном красноречии»; и как раз в это самое время Рафаэль поместил создателя «Божественной комедии» на вершине своего классического «Парнаса» — прямо подле Гомера и Аполлона.

Участие Данте — так же как Джотто, Арнольфо ди Камбио, Никколо и Джованни Пизано, о которых упоминается в статье Бранки,— в создании гуманистической культуры итальянского Возрождения вряд ли может быть поставлено под сомнение. Тем не менее «Божественная комедия» безусловно не ренессансна. Попытки некоторых советских литературоведов и историков, объединив Данте с Петраркой и Боккаччо, начинать с «великого отца Алигьери» (Пушкин) все европейское Возрождение не представляются мне удачными и хоть сколько-нибудь плодотворными. Предвозрождение — это вовсе не раннее Возрождение, а то, что ему предшествует. В данном случае позиция Витторе Бранки выглядит гораздо предпочтительнее. Относя и Данте, и Петрарку, и Боккаччо к «осени средневековья», Бранка в том месте своей статьи, где им дан интересный анализ «Декамерона» и петрарковского «Канцоньере», проводит не только тонкие, но и достаточно принципиальные различия между тремя величайшими итальянскими поэтами. «Декамерон» для него не только готическая, аскетически устремленная к небу «комедия Человека», в структуре своей якобы подобная «Комедии» Данте (мысль об идейно-композиционной близости «Декамерона» к дантовой поэме широко развивается Бранкой в монографии «Средневековый Боккаччо»). Для него это также и «человеческая комедия», идеологически и художественно ориентированная уже не на сверхчувственную реальность потустороннего мира, а на обычную, повседневную жизнь, с ее вполне земными печалями и радостями, то есть первое в европейской литературе реалистическое произведение, в котором человек «раскрывается прежде всего в его сложных поступках в сложном обществе, отличающемся завидным жизнелюбием».

Еще более четкие различия проводит Витторе Бранка между Данте и Петраркой. Петрарка для Бранки — и тут его позиция оказывается очень близка к точке зрения многих советских историков и литературоведов — «первый великий интеллигент» прежде всего потому, что он был первым не только в Италии, но и во всей Европе поэтом и мыслителем, который, «решительно отказавшись как от теологических и метафизических умозрений, так и от научных и технических исследований, перенес все свое внимание на нравственные и социальные проблемы, в центре которых стоит человек». Как это ни странно, Витторе Бранка говорит здесь по сути о том же, о чем более ста лет назад писал знаменитый швейцарский историк Якоб Буркгардт в классическом труде «Культура Италии в эпоху Возрождения» (1860): Бранка говорит о ренессансном «открытии человека».

Но что значит эта до сих пор часто употребляемая формула? Не является ли она чистой метафорой? Может быть, действительно правы те западноевропейские и американские ученые, которые давно уже твердят о том, что все основные идеи Якоба Буркгардта безнадежно устарели и подлежат замене более современными или прямо модернистскими концепциями? Разве человека надо было когда-нибудь открывать?

Оказывается, надо. Люди всегда знали, что они люди, но в разные эпохи смотрели на себя по-разному. В средние века диктатура во всех сферах идеологической жизни принадлежала церкви. В центре средневековой культуры стоял бог, находившийся, однако, за пределами конечного, земного бытия. Сам по себе человек в мировоззренческих и эстетических системах средневековья большой роли не играл. Весь стиль средневековой культуры определялся отношением человека к потустороннему, трансцендентному богу. Средневековая культура теоцентрична. Даже Данте, автор и герой «Божественной комедии», путешествовал по загробному миру. Все дороги вели тогда только к богу.

В эпоху Возрождения — и это стало одним из основных результатов происходившей в ту пору идеологической революции — «духовная диктатура церкви была сломлена» [1]. Гуманисты не были безбожниками и почти никогда не потешались над таинствами христианской религии. Но они вынесли бога за пределы ренессансной идеологии. Потусторонний трансцендентный бог перестал считаться ими главной проблемой времени именно потому, что он был потусторонним. Петрарка утверждал: «На что следует надеяться в божественных делах, этот вопрос предоставим ангелам, из которых даже наивысшие пали под его тяжестью; конечно, небожители должны обсуждать небесное, мы же — человеческое».

Петрарке вторил Боккаччо. Третья новелла первого Дня «Декамерона» начинается словами: «Так как о боге и об истине нашей веры уже было прекрасно говорено, не покажется неприличным, если мы снизойдем теперь к человеческим событиям и действиям» [2]. О боге, однако, не говорилось и в предыдущих новеллах. Весь сюжет первой новеллы «Декамерона» строится как раз на том, что великий грешник и пакостник сер Чапполлетто даже перед лицом неми-

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 20, стр. 346.

[2] Перевод здесь и далее А. Н. Веселовского.

нуемой смерти не вспоминает о боге и артистически разыгрывает исповедующего его монаха, не желая отказываться от собственной человеческой индивидуальности, ибо он уже ценит ее ничуть не меньше вечного райского блаженства. «Вот так человек!» — восклицают братья-ростовщики, подслушавшие святотатственную исповедь Чаппоплетто.— Ни старость, ни болезнь, ни страх близкой смерти, ни страх перед господом, на суд которого он должен предстать через какой-нибудь час, ничто не отвлекло его от греховности и желания умереть таким, каким он жил».

Боккаччо шутит. Но смех и реализм «Декамерона», так же как лирическая сосредоточенность Петрарки на глубинах своего внутреннего мира; предполагали серьезность идеологического переворота. В идеологической системе гуманизма земной человек занял то самое место, которое прежде принадлежало богу. В этом-то и состояло ренессансное «открытие» человека. Человек стал средоточием всего. Культура Возрождения антропоцентрична. Ее ренессансный стиль определяется отношением человека к человеку как главной идеологической проблеме времени.

Однако человек и бог не просто обменялись местами. Поставив человека на место бога, гуманисты Возрождения тем самым признали, что человек богу как бы равновелик и равноценен. Ренессансное «открытие человека» было беспримерной переоценкой ценности человека в системе всего мироздания. На европейскую культуру оно повлияло очень сильно. В эпоху Возрождения «в Италии, Франции, Германии возникла новая, первая современная литература» [1]. Итальянское Возрождение не было ни антихристианской, «языческой» реабилитацией плоти, ни музейной реставрацией античных художественных идеалов: это было рождение первой в истории Европы национальной культуры, принявшей идеальные, классические формы сперва в итальянской поэзии и новеллистической прозе, а затем в живописи, скульптуре, архитектуре.

Классичность итальянского Ренессанса была специально отмечена Ф. Энгельсом. Характеризуя зрелое итальянское Возрождение, он писал: «...в Италии наступил невиданный расцвет искусства, который явился как бы отблеском классической древности и которого никогда уже больше не удавалось достигнуть»[2].

Формирование великих национальных культур, как правило, не завершается классикой, а открывается ею. Классические формы искусства и литературы помогают нации лучше познавать самое себя и яснее очерчивают историческое русло ее дальнейшего духовного развития. Подобно тому как национальная русская классика началась, по существу, с Пушкина и Гоголя, у начала родившейся в эпоху Возрождения национальной литературы Италии встали Петрарка и Боккаччо.

Витторе Бранка не ограничивается тем, что определенным образом обособляет Петрарку и Боккаччо от Данте: он указывает также на классическую национальную нормативность «Канцоньере» и «Декамерона». Петрарка, утверждает Бранка, «создает канонический образец языка самой современной, самой близкой нам разновидности поэзии — лирики и предопределяет ее судьбу вплоть до наших дней». «Боккаччо,— продолжает он,— своим шедевром гениально определил тип новой реалистической прозы». «Художественное воспроизведение действительности и изображение человека со всеми его светлыми и темными сторонами неизбежно проходит через категорический опыт Боккаччо».

Таким образом, отказываясь относить Петрарку и Боккаччо к эпохе гуманизма и Возрождения (она для него охватывает лишь XV—XVI век), Бранка вместе с тем, так же как и большинство советских историков и литературоведов, связывает с антропоцентрическими идеями Петрарки — и отчасти Боккаччо — рождение принципиально новой, национальной литературы Италии. Это определенным образом влияет даже на его формулировки. Читатели «Иностранной литературы», видимо, обратили внимание на то, что если в тексте своей статьи Витторе Бранка говорит о «раннем Возрождении» только применительно ко второй половине XV столетия, то в ее заглавии хронологические границы итальянского Возрождения определяются периодом «от Петрарки до Полициано», то есть именно так, как они очерчиваются сейчас почти во всех современных работах советских историков, литературоведов и искусствоведов, когда речь заходит о раннем Ренессансе.

Принципиальное различие в понимании законов исторического развития отнюдь не исключает общей почвы для плодотворного диалога между Витторе Бранкой и марксистской исторической наукой. Собственно, сам Бранка такой диалог уже начал. Хотелось бы надеяться, что он будет продолжен. Я, конечно, не знаю, сумеют ли советские историки и литературоведы хоть в чем-то повлиять на автора «Средневекового Боккаччо», но твердо уверен, что дружеский диалог с таким крупным и оригинально мыслящим ученым поможет нам расширить представления об эпохе Возрождения и уточнить наше нынешнее понимание ее исторической сути.

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 20, стр. 346.
[2] Там же.

ДИАЛОГ ОБ ЭПОХЕ ВОЗРОЖДЕНИЯ

Публицистика

ПРОБЛЕМЫ ИДЕОЛОГИИ

ГЕОРГИЙ ШАХНАЗАРОВ

Ученый, публицист. Президент Советской ассоциации политических наук, вице-президент Международной ассоциации политических наук, доктор юридических наук. Автор книг «Социалистическая судьба человечества», «Социалистическая демократия», «Коммунизм и свобода личности», «Социализм и равенство».

ЭТОТ ПРЕКРАСНЫЙ НОВЫЙ МИР В ЭТОМ ПРЕСЛОВУТОМ 1984 ГОДУ

Статья, предлагаемая вниманию читателей журнала, представляет собой завершающую часть книги Г. Х. Шахназарова «Фиаско футурологии», которую готовит к выходу в свет Издательство политической литературы.

В предшествующих разделах автор показывает,

что научно-техническая революция не способна подменить революцию социалистическую, а «техноидиллии» никоим образом не опровергают марксистско-ленинского тезиса о неизбежности социализма;

что происходит не конвергенция двух социальных систем, а интернационализация общественной жизни и дальнейшее накопление предпосылок для победы нового строя в мировом масштабе;

что социал-демократическая концепция «третьего пути» не выдерживает критики и не может составить сколько-нибудь серьезную альтернативу программным идеям научного коммунизма;

что вопреки попыткам искусственного противопоставления путей общественного развития и ценностей бытия, социального прогресса и прогресса научно-технического, справедливости и эффективности — они органично взаимодействуют и дополняют друг друга.

Есть, пожалуй, единственный способ, который позволяет без большой натяжки оценить немарксистские теории общественного развития в комплексе,— соединить их в некое цельное представление о будущем и рассмотреть через «увеличительное стекло» антиутопии. Лучше всего для этой цели подходят романы Олдоса Хаксли «Этот прекрасный новый мир» и Джорджа Оруэлла «1984 год».

Во-первых, они относятся к наиболее популярным на Западе произведениям этого жанра и самым активным образом используются в современной борьбе идей.

Во-вторых, 1984 год не за горами, и у нас есть возможность проследить, в какой мере и где именно сбываются мрачные пророчества английского фантаста.

В-третьих, поскольку антиутопии Хаксли и Оруэлла переносят в будущее как негативные тенденции, связанные с техницизмом, так и страх буржуазного рассудка перед коллективизмом,— они позволяют особенно отчетливо различить силу и слабость либеральной традиции политической мысли.

Последняя проявляется в парадоксальном факте — английские романисты описали не совсем то или совсем не то общество, какое они имели в виду. Причины этого парадокса станут ясны, если выделить из «Прекрасного нового мира» и «1984-го» их идейную квинтэссенцию и сопоставить ее с действительностью.

Конечно, подобная операция не обойдется без известного упрощения, так как речь идет не о научных трактатах, а о художественных произведениях, в которых идеи облачены в образы, авторская мысль передается читателю не только прямыми высказываниями персонажей, но и всей атмосферой повествования.

Нельзя сбрасывать со счета и различий между двумя романами. Хотя авторы их происходят из одной социальной среды (состоятельная английская интеллигенция, чьи взгляды формируются в Оксфорде, Кембридже и Итоне), они существенно отличаются друг от друга. Хаксли представляет либерально-демократическое направление, Оруэлл по своим убеждениям может быть причислен к сторонникам правого социализма. Хаксли по преимуществу философ, в его даровании преобладает литературное начало, Оруэлл — политик и публицист.

К тому же надо иметь в виду, что «Этот прекрасный новый мир» был написан в 1932 году, до прихода Гитлера к власти, а «1984 год» вышел в свет в 1949 году, после второй мировой войны, когда человечество получило уже исчерпывающее представление о фашизме. Отсюда — разная окраска будущего: у Хаксли оно выглядит радужно-розовым, у Оруэлла — траурно-черным.

Но в том-то и дело, что розовый цвет «прекрасного нового мира» — не более чем подкладка того же черного сюртука, который надет Оруэллом на общество 1984 года. При разных замыслах и даже при значительной дистанции в «условном времени» (Хаксли отнес свою антиутопию приблизительно к 2500 году) произошло совпадение в некоторых узловых точках, что и позволяет подвести два романа под общий знаменатель.

■

Тотальная организация — вот его первый компонент. Не говоря уж о производстве и распределении материальных и духовных ценностей, наука, литература, искусство, быт, семья — практически все аспекты человеческой жизни и деятельности включены в единый механизм, действующий по раз заведенному порядку и направляемый некой высшей волей. Границы между личным и общественным почти не существует: поскольку вездесущее государство организует индустрию развлечений, оно распоряжается по собственному усмотрению и свободным временем своих граждан или, вернее, подданных.

Специфика «суперорганизации» прежде всего состоит в том, что как таковая она превращается в самоцель. Свидетельство тому — устройство «прекрасного нового мира» и общества «1984-го». Хотя официальной целью государства провозглашено всеобщее благоденствие и счастье, в действительности вся его деятельность подчинена задаче самосохранения: даже правящая верхушка (десять «мировых контролеров» у Хаксли, таинственный «Большой Брат» и его ближайшие соратники у Оруэлла) принуждена подчинять свою волю и страсти мистическому «общему интересу», который каким-то непостижимым образом не отвечает буквально ничьим реальным интересам. В отличие от обычных лидеров, будь то харизматический вождь или просто диктатор, эти люди не формулируют целей правления и не извлекают из своего положения никаких особых выгод.

Несмотря на кажущуюся бесконтрольность верховной власти, она являет собой нечто вроде блока автоматического управления, встроенного в машину и составляющего в конечном счете одну из ее деталей. Все — от стоящих у подножия социальной пирамиды до правителей — рабы этой государственной машины. Характерно, что отдельные представители правящей элиты вроде Мустафы Монда в «Прекрасном новом мире» и О'Брайена в «1984-м» довольно здраво судят обо всем и понимают вопиющую несправедливость заведенных порядков, но у них даже не мелькает мысль предпринять что-либо для их изменения. Да и могут ли винтики покушаться на механизм? А диктаторы в антиутопиях Хаксли и Оруэлла — те же винтики, разве что более крупного размера.

Задачам сохранения статус-кво подчинены и другие элементы социальной структуры. «Антиутопические» общества разделены на классы или касты, причем деление это носит чрезвычайно жесткий характер, какая-либо социальная мобильность практически исключена. У Хаксли это гарантировано, так сказать, физиологически. Поскольку «размножение» ро-

---

ГЕОРГИЙ ШАХНАЗАРОВ
ЭТОТ ПРЕКРАСНЫЙ НОВЫЙ МИР
В ЭТОМ ПРЕСЛОВУТОМ 1984 ГОДУ

да человеческого поставлено в «прекрасном новом мире» на индустриальную основу и производится искусственным путем, все новорожденные «особи» заранее распределяются по кастам и посредством химии, гипнопедии, изощренной системы целенаправленного воспитания им задаются те или иные качества. Здесь насчитывается пять каст (альфа, бета, гамма, дельта, эпсилон), а общество «1984-го» состоит по сути из двух основных классов — управляющих и управляемых.

Эта социальная структура, с одной стороны, подобна феодально-капиталистической, а с другой — имеет существенное от нее отличие: удел ее верхушечных слоев — отнюдь не в наслаждении жизнью за счет эксплуатации труда рабочей массы. Хотя с их положением и связаны кое-какие преимущества (вроде ежедневной порции вонючего джина, о котором пролетарии «1984-го» не могут и мечтать), в конечном счете они поставлены примерно в одни и те же жизненные обстоятельства.

Другими словами, социальная иерархия здесь не влечет за собой практически никаких последствий, «белые» и «черные воротнички» отличаются друг от друга лишь характером исполняемых функций, лишь отведенным им местом у одного государственного конвейера. Те и другие обречены на роль пассивных исполнителей, одинаково отчуждены от своей человеческой сущности. Кстати говоря, распределение по кастам производится не по принципу происхождения или наследования, а, по существу, волей случая.

Наконец, тотальная организация имеет следствием полнейшую унификацию людей в рамках каждого социального слоя. За редкими исключениями они утрачивают индивидуальные черты личности и становятся похожими друг на друга, как гвозди: это более соответствует оптимизации производственного процесса, организованного в виде конвейера И никому не приходит в голову учесть потери, связанные с абсолютным подавлением творческого начала, с искусственным «усреднением» человека.

Почему? Именно потому, что цель системы — не совершенствование, не переход на более высокие ступени прогресса, а цикличное воспроизведение условий своего существования. И те единицы, которые в результате некоего божественного озарения вдруг осознают истинный смысл жизни и предначертания человека, вынуждены под страхом смерти укрывать свою неортодоксальность.

Прямое продолжение или даже компонент тотальной организации антиутопических обществ Хаксли и Оруэлла — т о т а л ь н ы й к о н т р о л ь. Жизнь людей, независимо от того, к какой социальной среде их причислила судьба, регламентирована до мельчайших подробностей, каждый их шаг запланирован, и любое отклонение от этого порядка, сходного с бесконечным однообразным бегом часовых стрелок по окружности циферблата, решительно пресекается.

Контроль распространяется на все сферы бытия и сознания людей, поддающиеся контролю, и даже на те, какие ему на поверхностный взгляд не поддаются. В первую очередь это, естественно, трудовая деятельность, протекающая под бдительным оком надсмотрщиков, за которыми, в свою очередь, наблюдают надзиратели, за которыми... и т. д. Словом, никакой лазейки для уклонения от строгого исполнения предписаний.

Контролируется быт. В оруэллианском 1984 году в жилье у каждого обеспечено постоянное присутствие соглядатая: телевизионная установка позволяет наблюдать извне за занятиями хозяев. По телевизору же проводятся двухминутные кампании любви к «Большому Брату» и ненависти к его главному противнику (бог — дьявол), причем, если кто-либо не выказывает в ходе процедуры должного рвения, это не остается незамеченным для зоркого глаза, укрытого за телеэкраном.

Контролируется секс — способы контроля определяются в зависимости от функционального назначения социальных групп. Классу управляющих надлежит сохранять идеологическую «чистоту» и нетерпимость ко всякому инакомыслию, а поскольку сексуальные влечения погружают в стихию низменных страстей, расслабляют волю и могут отвлекать от высоких помыслов, постольку они воспринимаются как нечто крайне нежелательное в этой среде. Соответственно к браку относятся как к неизбежному злу, внебрачная связь даже между одинокими мужчиной и женщиной рассматривается как тяжкий антиобщественный проступок, а половую энергию молодежи направляют в организованное русло путем поголовного вовлечения ее в «антисексуальную лигу».

Совершенно иное отношение к сексу в пролетарской среде. Здесь он расценивается не только как необходимое условие воспроизводства рабочей силы и пополнения беспрерывно воюющей армии, но, что не менее важно, как весьма эффективное средство заполнения короткого досуга, сублимации всяких нежелательных раздумий. Поэтому принимаются все меры для поощрения сексуальной свободы, даже создан специальный сектор в департаменте информации («pornosex»), который занят выпуском дешевеньких порнографических изданий.

Что касается «прекрасного нового мира», то в нем достигнуты еще более впечатляющие «успехи» в установлении контроля над половой и семейной жизнью. Там попросту не существует больше таких понятий, как любовь, семья, отец, мать, брат, сестра. Они отмерли вместе с естественным деторож-

дением и переходом к массовому биологическому производству миллионов трафаретных «гамма» и «дельта».

Но пожалуй, особо тщательному контролю подвергается мысль. В обществе «1984-го» повсюду снуют агенты специальной «полиции по наблюдению за мыслями», и стоит кому-либо на секунду отвлечься от благочестивых размышлений о величии и праведности существующего общественного порядка, неосторожным словом или жестом выдать прокравшуюся в мозг крамольную идею, как песенка его спета.

По-своему решается эта проблема в «прекрасном новом мире». Зачем, спрашивается, доводить дело до преступления и наказания да вдобавок обременять общественный бюджет содержанием специальных полицейских сил, если есть возможность с помощью химии принять профилактические меры и заранее обезопасить мозг от проникновения чуждых мыслей? В колбы, где выращиваются зародыши низших каст, добавляют алкоголь. В итоге их мозг сокращается до размеров, достаточных для исполнения черной работы и исключающих «никчемное умствование».

В обеих антиутопиях важным дополнением контроля над мыслями служит контроль над историей. Еще бы! Ведь не дай бог какая-нибудь особь, у которой случайно прорежется любознательность, наткнется на правдивое описание прошлого, и революционная мысль, что жизнь может быть устроена иначе, начнет расползаться, как зараза! Во избежание такой опасности история практически изгоняется из убогого стандартного содержимого духовной жизни, а ее жалкие остатки искажаются на все лады в соответствии с потребностями момента.

Сразу после возникновения «прекрасного нового мира» было систематически истреблено все, что могло напоминать о прошлом,— закрыты музеи, взорваны памятники, запрещено чтение книг и само книгопечатание. Девизом его стало изречение американского автомобильного короля Генри Форда: «История — это вздор»[1]. Философия правителей оруэллианского общества выражена в следующем лозунге: «Кто контролирует прошлое — контролирует будущее, кто контролирует настоящее — контролирует прошлое».

Как, за счет чего могут существовать в полном смысле слова кошмарные миры, описанные Хаксли и Оруэллом? За счет т о т а л ь н о г о о б м а н а.

В оруэллианском обществе «1984-го» буквально все перевернуто с ног на голову. Ведением перманентной войны занимается там «министерство мира», распределением скудного рациона — «министерство изобилия», распространением всевозможной дезинформации и лжи — «министерство правды», а «министерство любви» соединяет функции ФБР и ЦРУ. Точно так же нарочито абсурдный характер носят широко рекламируемые основные лозунги или постулаты господствующей идеологии (так называемой ingsoc[1]): «свобода есть рабство», «мир есть война», «правда есть ложь», «невежество есть сила».

Однако этот абсурд, это жонглирование словами имеют, оказывается, весьма существенный резон. И дело здесь отнюдь не сводится к упражнениям в софизмах, что можно было бы предположить на первый взгляд. Намеренно разрушая традиционные представления, выворачивая наизнанку формулы разума, правители тем самым лишают массы каких-либо этических ориентиров, приучают воспринимать на веру любую бессмыслицу, какую верхушка сочтет необходимым им внушить. Подобно тому, как христианин не имеет права усомниться в фантастических деяниях чудотворцев, никто в мире «1984-го» не смеет оспорить ни одно заявление правителей, вплоть до утверждения, что дважды два есть пять.

Впрочем, в этом мире уже не довольствуются обманом, а с помощью целого комплекса принудительных и поощрительных мер добиваются его трансформации в с а м о о б м а н. В результате «Большого Брата» давно уже нет в живых, но все свято веруют в продолжение вечно земного существования небожителя, то же самое относится к его антиподу. Или: три оставшиеся в мире супердержавы заняты своими заботами и почти не соприкасаются друг с другом, но население каждой убеждено, что они находятся в состоянии нескончаемой войны, а чтобы такой самообман не рассеялся, время от времени правительство сбрасывает на собственные города бомбы «иностранного происхождения».

Если у Оруэлла самообман еще необходимо время от времени подкреплять обманом, то у Хаксли в этом давно нет нужды. Как уже говорилось, производство рода человеческого здесь переведено на индустриальную основу, что позволяет «выпускать» партии одноликих людей с заранее заданными свойствами. Кроме того, практикуется внушение «желательных истин» с помощью гипнопедии. Так, пока представители низших каст спят, им несчетное количество раз повторяют мысль о завидности их общественного положения; по мнению правителей, секрет счастья и

[1] Любопытно, что в «прекрасном новом мире» введено летосчисление, берущее начало от рождения Г. Форда,— более чем прозрачный намек на происхождение этого мира от бездушного конвейера и потогонной организации производства в капиталистическом обществе.

[1] От «English socialism» — английский социализм.

ГЕОРГИЙ ШАХНАЗАРОВ
ЭТОТ ПРЕКРАСНЫЙ НОВЫЙ МИР
В ЭТОМ ПРЕСЛОВУТОМ 1984 ГОДУ

заключается в том, чтобы заставить людей полюбить свое социальное предназначение в жизни.

Итак, тотальная организация, тотальный контроль, тотальный обман и самообман — вот «три кита», на которых строятся общество «1984-го» и «прекрасный новый мир». Но здесь сходство двух романов кончается и начинаются существенные различия между ними.

■

Прежде всего в самом важном — в вопросе о происхождении антиутопических миров.

Перед Хаксли этот вопрос не встает вовсе. Поскольку весь его «новый мир» есть не что иное, как гиперболизация некоторых черт современной ему капиталистической действительности, постольку его генезис очевиден. Автор обращается к читателю примерно так, как это делается при постановке какой-нибудь математической задачи: предположим, что уродства общественного устройства, которые мы сейчас наблюдаем, будут беспрепятственно развиваться — какой вид примет общество через 600 лет? И хотя ответ его по необходимости носит гипотетический характер, он в основе своей опирается на реальные жизненные тенденции.

Это не научный прогноз, ибо Хаксли сознательно (или бессознательно) отвлекается от всех факторов, которые способны помешать формированию «прекрасного нового мира». Но это и не фантазия. Это — «предупредительная» научная фантастика или антиутопия в классическом смысле слова.

Оруэлл, напротив, устами главного своего персонажа задает вопрос: зачем и кому понадобилось создавать кошмарное общество «1984-го»? А ответ таков. Испокон веков человечество делилось на три слоя: верхний, средний, низший. Первый всегда стремился сохранить господствующее положение, второй — поменяться с ним местами, а третий в силу своей забитости не способен даже желать каких-либо перемен. И вот в середине XX века появляется элита, открывшая способ увековечить свою власть. Оказывается, для этого надо искусственно сдерживать рост жизненного уровня, который стимулирует политическую активность, и вдобавок установить тот самый абсолютный тоталитаризм, о котором рассказывалось выше.

Иначе говоря, оруэллианское общество обязано своим происхождением не каким-то объективным обстоятельствам, коренящимся в условиях социально-экономического развития общества, а гипертрофированной жажде власти. При всем том, что страсти способны играть в истории весьма важную роль, подобное обоснование будущего не может быть принято всерьез. Роман Оруэлла — не только не имеет ничего общего с научным прогнозом, но и в очень малой степени может быть отнесен к разряду научной фантастики. Это — острая сатира на бесчеловечные общественные порядки, которая по жанру ближе всего к произведениям Рабле и Свифта. И антиутопией его, строго говоря, можно называть с такой же натяжкой, с какой можно назвать утопией, скажем, иные забавные миры, описанные Йоном Тихим.

Романы Хаксли и Оруэлла различаются не только уровнем философских обобщений, но и политической ориентацией. Первый, по существу, возлагает ответственность за изуродованное будущее на капиталистический строй. Тоталитаризм в его «прекрасном новом мире» есть нечто вроде неизбежной функции бездушного техницизма, без него попросту распалось бы доведенное до своего логического завершения «потребительское общество»[1]. У Оруэлла, наоборот, техницизм становится функцией тоталитаризма, именно последний, взращенный на наполеоновских страстях, служит истоком сдерживания технического прогресса или использования его во вред человеку.

А ответственность за все кошмарные последствия тоталитаризма в «1984-м» возлагается без обиняков как на фашизм, так и на коммунизм. Другими словами, Оруэлл фактически перенес в свой роман несостоятельную концепцию тех западных политологов, которые игнорируют социальную природу власти, придают ей абстрактное самодовлеющее значение, из нее выводят общественные отношения, а не наоборот.

Почему же человек, который объявлял себя социалистом, написал произведение, ставшее одним из наиболее активно используемых орудий антикоммунистической пропаганды? Думается, в этом повинен страх буржуазного индивидуалиста перед обобществлением собственности, перед дисциплиной общественного труда и быта. Правда, Оруэлл назвал строй своего «1984-го» «олигархическим коллективизмом», но пороки его он разнес фактически поровну на обе составные части этой формулы.

Неприязненные чувства по отношению к «коллективизму» явственно дают о себе знать и в «прекрасном новом мире». В сущности, это та же казарма, что в «1984-м», только ее основательно вымыли, выскребли, приукрасили, навели лоск. А если вдуматься, не сразу ре-

[1] Как отмечает В. Шестаков, Хаксли удалось убедительно показать уже в 30-е годы, что современная буржуазная цивилизация вырабатывает новый механизм управления обществом: чтобы подчинить волю и сознание масс воле господствующей касты, вовсе не обязательно прибегать к политике насилия, голода или террора. Есть другие, тоже достаточно эффективные средства — тем более эффективные, что, парализуя самостоятельность мысли и чувства, они оставляют человеку необходимую для него иллюзию свободы выбора — иллюзию, подкрепляемую всеми видами удовольствия и наслаждения. (См.: В. Шестаков. Социальная утопия Олдоса Хаксли — миф и реальность. «Новый мир» № 7 за 1969 г.)

шишь, что хуже: быть полуголодным, придавленным работягой или сытым и беспечным придурком с тщательно промытыми от рождения мозгами.

Так, после немалого расхождения антиутопии Хаксли и Оруэлла вновь сходятся. Оба неверно оценили социализм, его возможности и перспективы; приняли за проявления нового общественного строя отрыжки и рецидивы прошлого, возложив на него едва ли не равную с эксплуататорским строем ответственность за изуродованное — пусть ради предупреждения современникам и потомкам! — будущее. С этим и связано наше замечание, что английские романисты описали не совсем то или совсем не то общество, какое имели в виду.

Своеобразным косвенным свидетельством в пользу такого вывода служит то, что в противовес антикоммунистической пропаганде серьезные западные аналитики считают «1984-й» одним из тех произведений, с помощью которых, по выражению И. Ф. Кларка, западная цивилизация пыталась понять меняющийся мир. Р. Уильямс отмечает, что антиутопия Оруэлла отталкивалась от действительности фашистских государств. По мнению Д. Вудкока, она пародирует книгу Д. Бернхема «Революция управляющих» и ни в коей мере не является антикоммунистической. Точно так же критик Дж. Фрейзер подчеркивает, что «1984 год» направлен не против коммунизма или христианства, а «против нашего собственного общества, которое является антикоммунистическим и сохранило лишь рудименты христианства»[1].

Все эти оценки делают честь уму и проницательности их авторов. Но, приходя к совершенно правильным выводам по существу, они приписывают Оруэллу не те намерения, которыми он вдохновлялся. Ибо «1984 год» представляет собой, конечно же, и антикоммунистический памфлет. Здесь нет даже предмета для спора, поскольку в романе достаточно прозрачно повторяется избитый тезис о «родстве» коммунизма с фашизмом.

По словам социолога из ФРГ Ф. Шека, главное для Хаксли и Оруэлла — избежать диктатуры, неважно какой: буржуазной или пролетарской, сохранить «золотую либеральную середину»; он считает, что антиутопии вообще являются продуктом мелкобуржуазного сознания[2]. Вероятно, это не совсем так: и «Прекрасный новый мир», и «1984-й» предостерегают против тоталитаризма, а не диктатуры, что далеко не одно и то же. Вместе с тем верно то, что, осуждая тоталитаризм и игнорируя при этом вопрос о его классовом происхождении, авторы утопических произведений, стоящие на позициях буржуазного либерализма или мелкобуржуазного радикализма[1] (анархизма), сознательно либо бессознательно бросают тень и на понятия диктатуры, организации, общественной дисциплины и контроля вообще.

■

Между тем пролетарская диктатура и по происхождению и по назначению своему антитоталитарна и антиэлитарна. Поскольку рабочий класс не ставит целью увековечить свое господствующее положение в обществе, постольку с его политическим возвышением не может быть связано ничто из набора кошмаров, нарисованных воображением Хаксли, Оруэлла, да и многих других антиутопистов меньшего калибра. Власть рабочих, трудящихся по необходимости принимает форму социалистической демократии, и все, что идет вразрез с этой закономерностью, лишь свидетельствует о сложности исторического процесса, о силе и живучести прошлого, упорно сопротивляющегося становлению нового мира.

Капитализм несет ответственность за миллионы жизней, погубленных в войнах, за раздел и передел мира, страдания порабощенных народов колоний, эксплуатацию труда, растление человеческих душ культом «желтого дьявола» и многие другие трагические следствия общественного устройства, основанного на частной собственности.

Преодоление тяжелого наследия, оставляемого капитализмом, требует длительной и в полном смысле слова титанической работы, такую работу приходилось и до сих пор приходится вести в условиях острой борьбы с международной реакцией. Известно также, сколь сложную задачу представляет открытие, испытание на практике, закрепление и совершенствование новых форм общественной жизни, адекватных принципам социализма и коммунизма.

Социализм по самой этимологии этого понятия означает коллективизм. Но в отличие от «олигархического коллективизма» Оруэлла коллективизм демократический, ставящий своей целью и равенство людей, и всестороннее свободное развитие личности. В утверждении гармоничного соотношения между личным и общественным заклю-

[1] Цит. по кн.: Ю. Кагарлицкий. Что такое фантастика? М., 1974, стр. 301—302.

[2] Scheck F. R. Augenschein und Zukunft. In: «Science-fiction. Theorie und Geschichte». München, 1972, s. 270—271.

[1] Антиутопии успешно используются и писателями марксистской ориентации, чтобы показать, к чему может привести развитие тех или иных негативных тенденций, если им не будет оказано должного противодействия.

ГЕОРГИЙ ШАХНАЗАРОВ
ЭТОТ ПРЕКРАСНЫЙ НОВЫЙ МИР
В ЭТОМ ПРЕСЛОВУТОМ 1984 ГОДУ

чена, можно сказать, сверхзадача переживаемой нами революционной эпохи.

Взять хотя бы сферу искусства. Здесь, как и во всем другом, социализм предполагает определенное «обобществление». Искусство перестает быть делом одиноких энтузиастов, становится предметом общественной заботы, а в том, что касается его распространения, «донесения» до масс — и организации. Это — огромное преимущество, позволяющее преодолеть изолированность художника, его замкнутость в себе и существование для себя, нередко вырождающееся в нарциссизм. Искусство, питаемое нескончаемыми родниками народного творчества, становится не просто наблюдателем жизни, помогающим людям понять самих себя и условия своего существования, но влиятельным участником всей работы по преобразованию общества в интересах человека.

Однако общественное воздействие на формирование искусства имеет свою границу, переход которой угрожает навязыванием художнику усредненного вкуса, сокращением его творческих возможностей, в особенности — способности открывать. Истина, говорил Гегель, рождается как ересь и умирает как предрассудок. Всякое открытие, научное или художественное,— это отрицание утвердившихся трафаретов и обыденного рассудка, оно невозможно без раскованности самого творца и терпимости окружающих к тому, что может поначалу казаться неприемлемым, поскольку противоречит устоявшимся представлениям и привычкам.

И так обстоит дело практически во всех сферах человеческой деятельности. Повсюду необходима та единственная оптимальная мера, которая дает возможность эффективно организовать общественный труд и поддерживать разумную дисциплину, не сковывая личной инициативы, обеспечивая самые благоприятные условия для свободного самовыражения людей в коллективе, для творчества. Гармония между интересом человека как индивида и его же интересом как частицы общества. Между интересом молодого человека и его же интересом на склоне лет. Между великим многообразием общественных, групповых и индивидуальных интересов, составляющих «энергетический заряд» современного общества.

Разумеется, гармония в этих сферах, подобно всякому единству противоположностей, возможна не как некое стабильное состояние, а скорее как п о с т о я н н о е п р е с л е д о в а н и е у с к о л ь з а ю щ е й ц е л и, аналогичное стремлению Фауста остановить «прекрасное мгновенье». Иначе и быть не может, ибо сама мера гармонического сочетания противоречивых интересов непостоянна, величина ее подвержена колебаниям в зависимости от изменения многочисленных факторов и прежде всего — уровня развития производительных сил, производственных отношений и общественного сознания.

Исторический процесс настолько сложен, что далеко не всегда с легкой совестью можно упрекать тех, кто когда-то не сумел отделить семена будущего от плевел прошлого. Но ошибка, совершенная несколько десятилетий назад, не могла бы иметь никакого оправдания в наше время, когда со всей очевидностью выявились объективные закономерности новой общественной формации,— такие, в частности, как постоянное совершенствование социалистической демократии, углубление равенства, расширение прав и свобод личности.

Иначе говоря, с о ц и а л и з м р а з в и в а е т с я в н а п р а в л е н и и, п р я м о п р о т и в о п о л о ж н о м т о м у, к а к о е м о г л о б ы п р и в е с т и к к о ш м а р н о м у о б щ е с т в у «1984-го» и «п р е к р а с н о м у н о в о м у м и р у». Э т о — н е е г о б у д у щ е е.

А как обстоит дело с капитализмом? Можно ли сказать, что капиталистическое общество, если даже не очень приблизилось к «1984-му», то двигалось именно в этом направлении? Думается, ответ не должен быть однозначным.

Из всего, что испытало человечество на протяжении своей многотрудной истории, наиболее близки к кошмарам антиутопии были фашистские порядки. Впрочем, как уже отмечалось, «1984 год» во многом представляет собой не что иное, как перенесение этих порядков на сорок лет вперед. Вспоминая о газовых камерах Освенцима и Майданека, об участи Хатыни, Лидице и Орадура, приходишь к выводу, что фантазия Оруэлла не намного опередила свое время; по сравнению с гитлеровским третьим рейхом его «Океания» выглядит, пожалуй, не столь уж отталкивающей.

Следовательно, история уже со всей определенностью показала, что капитализм способен порождать тот тоталитарный античеловечный строй, против которого предупреждают антиутописты. Продемонстрировано, с другой стороны, что эта способность не всегда реализуется на практике: фашистская чума, охватившая пол-Европы, не смогла взять верх в ряде развитых капиталистических государств с устойчивыми буржуазно-демократическими традициями, что, собственно говоря, предопределило возможность формирования антигитлеровской коалиции.

Феномен не очень понятный на первый взгляд? Но вспомним открытый В. И. Лениным закон неравномерности развития капитализма и вытекающую отсюда разновременность вызревания революционной ситуации. Капитал прибегает к крайним средствам только тогда, когда возникает прямая угроза его господству. В межвоенный период такая угроза стала ощутимой в Италии, Испании, Германии. Монополии усадили Гитлера в кресло рейхсканцлера не потому,

что им очень уж импонировал этот выскочка, а потому, что не видели другого способа расправиться с Тельманом и руководимой им партией рабочих.

Иначе говоря, тяготение капитала к тоталитарным методам представляет прямую реакцию на угрозу его власти, исходящую от революционного движения (не отсюда ли, между прочим, само употребление слова «реакция» в качестве синонима некой враждебной трудящимся социальной силы, применяемого ею террора?). Но такая реакция приобретает уже не спорадический, не разовый, а перманентный характер в эпоху революционного перехода от капитализма к социализму. В этом смысл ленинской характеристики политической надстройки империализма как поворота к реакции.

Таким образом, на последней стадии капитализма проявляется общая тенденция к использованию насильственных мер для сохранения господства монополистической буржуазии, а также самых изощренных средств обмана трудящихся, предоставляемых прогрессом науки и техники; в тех странах, где всего этого оказывается недостаточно, предпринимаются попытки разгромить революционное движение с помощью террористической диктатуры.

■

В наше время получили достаточно широкую известность многочисленные факты, свидетельствующие о кризисе политической и идеологической надстройки современного капитализма, о таких его проявлениях, как попрание буржуазно-демократической законности, эскалация насилия и коррупции, падение нравов и т. д. Тем не менее представляет интерес хотя бы конспективно проследить, как, с какой интенсивностью дают о себе знать те самые черты бездушно техницистской и тоталитаристской структуры, какие были запечатлены Хаксли и Оруэллом.

Оговоримся, что речь идет при этом не столько о самих фактах, сколько об их оценке западными теоретиками и пропагандистами, о том, как видится положение вещей «изнутри» капиталистической системы.

Одна из наиболее характерных черт современной политической жизни в капиталистических странах — постоянно усиливающееся вмешательство государства в частную жизнь граждан под предлогом прежде всего обеспечения «национальной безопасности». Американский публицист Дж. Рейнз пишет в этой связи: то, чему надлежит быть частным делом, становится достоянием властей, а то, что должно быть предметом общественного интереса, погружается в атмосферу своекорыстной приватности и секретности. Это извращение в корне подрывает саму идею гражданства и превращает членов общества в «пассивных обитателей системы», в «объекты бюрократических манипуляций»[1].

По словам Рейнза, бюрократическая форма социальной организации, враждебная духу личной независимости, получила техническое оснащение в виде современных электронно-вычислительных устройств. «Компьютизированное общество», подчиненное внегуманным началам выгоды и эффективности, становится «прозрачным» для административной власти, «просматривается» по всем направлениям. Современные американцы — своего рода «узники досье», обитатели «прочесанной» социальной среды, в которой невозможно жить, не оставляя «следов». Причем существовать во все более «прозрачном» обществе, быть запертым в «темнице досье» — значит находиться в поле обозрения, не будучи уверенным, что тебя наблюдают не с помощью кривых зеркал. «Наше личное пространство,— говорит Рейнз,— это нечто вроде колониальной территории в распоряжении внешней системы социальных внушений и подачек»[2].

Нельзя не оценить ярких и метких определений, с помощью которых американский публицист помогает высветить значение проблемы, глубже осознать, как далеко зашло установление контроля над личностью. Что эти определения имеют под собой почву, свидетельствуют другие близкие к ним высказывания и оценки. Вот, например, извлечение из речи профессора права Мичиганского университета А. Миллера, произнесенной на заседании сената в 1971 году: «В прошлом диктатура обычно устанавливалась солдатскими сапогами, танками и пулеметами. Но диктатура досье, личных дел может оказаться столь же гнетущей, столь же кошмарной»[3].

В настоящее время полицейский аппарат всех штатов США располагает автоматической информационной системой, подключенной к центральной системе Федерального бюро расследований. Последнее имеет возможность собирать, хранить и в нужный момент извлекать компрометирующие данные о гражданах в неограниченном количестве. По свиде-

[1] Raines J. C. Attack on privacy. Valley Forge, 1976, p. 11.

[2] Ibid., pp. 16—28, 49. К злостным нарушениям «внутренней территории личности» Рейнз относит и близкий к тюремному контроль над подлинными и мнимыми душевнобольными, и навешивание ярлыков в результате практики определения так называемого коэффициента интеллектуальности, и унижение человеческого достоинства получателей государственных пособий, обязанных информировать власти о каждом своем шаге.

[3] Severn B. The right to privacy. N. Y., 1973, p. 3.

ГЕОРГИЙ ШАХНАЗАРОВ
ЭТОТ ПРЕКРАСНЫЙ НОВЫЙ МИР
В ЭТОМ ПРЕСЛОВУТОМ 1984 ГОДУ

тельству американского социолога Д. Петраса, одно только отделение ФБР в Вашингтоне составило более 500 тыс. досье на группы и отдельных лиц, вызвавших прямое или «смутное» подозрение у блюстителей порядка [1].

А вот авторитетное свидетельство члена Верховного суда США У. Дугласа. Выступая с особым мнением против санкционирования подслушивания телефонных разговоров, он предупреждал: «Агрессивные нарушения неприкосновенности частной жизни со стороны правительства возрастают в геометрической прогрессии... ускользая от сколько-нибудь эффективного судебного или законодательного контроля... Так постепенно возникает общество совершенно нового образца — общество, в котором правительство по собственному произволу может вторгаться в укромные уголки человеческой жизни» [2].

Разумеется, досье нужно полиции и властям не для того, чтобы посылать поздравительные открытки в связи с юбилейными датами американских граждан. Материалы, собранные путем подслушивания, подсматривания и главным образом доносов, эффективно используются в борьбе против инакомыслия. Сама же реализация «диктатуры досье» осуществляется любыми мерами, в том числе, если легальное преследование оказывается затруднительным, путем прямого насилия.

Можно сказать, что суд Линча давно уже перестал быть орудием одних расистов и широко применяется против видных политических деятелей. Несколько президентов США пали жертвами наемных убийц [3]. Пожалуй, американская история нового и новейшего времени могла бы поспорить в этом плане с историей феодальных монархий, изобилующей убийствами венценосцев.

Те же методы еще более широко применяются против прогрессивных деятелей, у которых, естественно, нет охраны, сопровождающей американских президентов. За последние 20 лет были убиты Мартин Лютер Кинг, М. Икс, М. Эверс и многие другие политические и профсоюзные деятели. О смерти одних просто не сообщалось, другие были представлены жертвами уголовных преступников. Как говорится в докладе комитета по выполнению США решений Хельсинкского совещания, имеются свидетельства, что ФБР и ЦРУ используют для устранения неугодных им лиц профессиональных убийц из преступного мира.

Помимо контроля, которому подвергаются все американцы, особенно бдительное наблюдение ведется за теми общественными слоями (т. н. маргинальными), которые по разным причинам находятся в ущемленном положении. По словам профессора Нью-Йоркского университета Р. Пайеса, «в каждой нации есть победители и потерпевшие. Потерпевшие в Америке — негры, латиноамериканцы, индейцы, бедняки, лишенные образования белые и другие, запертые в городских гетто или рассеянные в отсталых сельских местностях» [1].

Не вдаваясь в подробности этой обширной и острой проблемы, ограничимся выдержкой из Манифеста американских индейцев, предпринявших длительный массовый поход в Вашингтон для защиты своих прав. «Сегодня,— говорится в Манифесте,— условия жизни в Центральной и Южной Америке идентичны условиям жизни в Соединенных Штатах в XIX веке. Процесс уничтожения и разрушения ведется с помощью денег, современных видов оружия, миссионеров, широкой стерилизации, так называемых программ развития, централизованной подготовки террористов и провокаторов в ЦРУ и ФБР — и все это организуется и обеспечивается Соединенными Штатами. Мы не можем назвать эти действия иначе, как убийством и терроризмом. Этот процесс скрывают от народов всего мира путем сознательного утаивания информации...» [2].

Невольно приходит на память каста «эпсилон» в «Прекрасном новом мире» О. Хаксли. Впрочем, если правящим кругам США удастся довести до конца геноцид в отношении индейцев и полностью ассимилировать остатки племен, некогда бывших свободными хозяевами американской земли, то буржуазные социологи и это ухитрятся записать в актив американской демократии.

Вдобавок к контролю над мыслями у себя в стране ЦРУ осуществляет, можно сказать, глобальные операции с целью экспорта таких же порядков в другие страны и районы мира. Проведенные за последнее время расследования показали, что за два десятилетия эта организация совершила около 900 вмешательств за границей, вела тайные войны по всему миру и, по словам вашингтонского корреспондента журнала «Эсквайр» Т. Бранча, «негласно доминировала над иностранными правительствами, превращая их в клиентов США». Результатом «секретных интервенций» ЦРУ за границей, начиная с Лаоса и кончая Кубой и Конго, стала гибель тысяч людей, пишет он [3].

---

[1] «Monde diplomatique», VIII. 1978.

[2] Severn B. Opus cit., p. 38.

[3] В 1865 г. был убит президент Авраам Линкольн. В 1881 г.— президент Д. Гарфилд, в 1901 г.— У. Маккинли, в 1923 г. при таинственных обстоятельствах скончался У. Гардинг, в 1945 г. странные факты сопутствовали внезапной смерти Ф. Рузвельта, в 1963 г. убит Д. Кеннеди, в 1968 г. скончался от ран претендент на пост президента Р. Кеннеди.

[1] Civil rights and liberties in the 1970's, ed by R. M. Pious. N. Y., 1973, p. 3.

[2] Текст Манифеста, переданного в июле 1978 г. представителю Белого дома.

[3] «New York Times magazine», 12/IX.1976.

Наиболее «образцовой», с полицейской точки зрения, явилась операция в Чили. Сейчас широко известны все ее подробности — от попытки не допустить прихода к власти правительства Альенде, организации саботажа его решений, подкупа целых профессиональных кланов (вроде водителей грузовиков) для подрывной деятельности, убийств отдельных видных деятелей и до финала чилийской трагедии — военно-фашистского путча, закончившегося установлением одной из самых кровавых тоталитарных диктатур XX века. Вдохновленная этим опытом, американская разведка вынашивает теперь планы его распространения или, по меткому выражению, проскользнувшему в печати, «чилизации» Латинской Америки.

ЦРУ, безусловно, имеет на своем счету и много других операций подобного рода, хотя, может быть, не столь крупного масштаба. Впрочем, вопрос в том, какие применять критерии. Так, если иметь в виду «капиталовложения», то старания ЦРУ воспрепятствовать участию коммунистов в правительстве Италии обошлись американским налогоплательщикам куда дороже, чем расчистка дороги фашистам в Чили.

Бывший директор ЦРУ У. Колби, написавший книгу «Люди чести: моя жизнь в ЦРУ», заявил, что после поражения христианско-демократической партии Италии в 1953 году была предпринята «самая дорогостоящая секретная политическая акция ЦРУ в западной стране» [1]. В Италию были направлены целые армии мнимых «представителей», журналистов, студентов, артистов и даже «прожигателей жизни», чтобы воздействовать на обстановку, поддержать павший духом правящий класс и всеми мерами дискредитировать политический авангард трудящихся страны. Денег не жалели, финансируя и ХДП, и так называемые центристские партии, и антикоммунистическое руководство некоторых профсоюзов, и газеты. Скупали, что называется, оптом и в розницу.

Империалистический разведчик, пытающийся выдать себя за «человека чести», признался, что ЦРУ использовало средства, по его выражению, «непропорциональные целям» — в Индонезии в 1958 году, во Вьетнаме, на Кубе в заливе Кочинос и при попытке убить Кастро. Но в основном, заявил он, были использованы средства, «пропорциональные целям», как, например, в Италии с 1953-го по 1958 год. Вот, оказывается, как понимают честь люди из ЦРУ.

Что касается операций ЦРУ в слаборазвитых странах, то там эта организация действовала еще более «деликатно». Она ухитрялась пополнять кассу партий, которым покровительствовала, так ловко, что последние якобы «даже не подозревали об этом» [1]. Иначе говоря, «тихие американцы» научились тихо подкидывать денежки.

После того как деятельность ЦРУ была разоблачена рядом прогрессивных американских журналистов, можно сказать, в мировом масштабе, ее бывшие шефы подвергли себя самокритике. Тот же Колби сделал это весьма оригинальным образом. Он заявил, в частности: «ЦРУ, конечно, пыталось убивать в некоторых случаях, но нам это никогда не удавалось» [2]. Вот в чем, оказывается, «оправдание» этой организации тотального контроля и слежки — в ее низкой эффективности. Между тем даже специальная комиссия сената США, расследовавшая деятельность правительства в связи с внешнеполитической и военной разведкой, вынуждена была записать в своем докладе: недостатки и злоупотребления разведки нельзя объяснить целиком ошибками или противозаконными действиями отдельных руководящих деятелей, рост этих злоупотреблений отражает в большей мере «общий крах основных американских институтов» [3].

■

Согласимся с этой формулировкой и обратимся теперь к другому примеру попыток установить контроль над мыслями. Речь идет о пресловутом «запрете на профессии». В соответствии с законом, принятым в ФРГ в январе 1972 года (официальное его наименование — «Постановление о радикальных элементах»), власти получили право контролировать доступ граждан к тем или иным должностям на государственной службе с учетом их «отношения к конституции». На этой основе была развернута настоящая «охота на ведьм», причем преследования, наряду с чиновниками государственного аппарата, распространились также на учителей, юристов, инженеров, преподавателей университетов и т. д.

Председатель СДПГ В. Брандт (увы, один из авторов «запретов на профессии») выразил опасение, что ФРГ может вскоре стать страной, «в которой отец не доверяет сыну, сосед подозревает соседа, органы государства ведут слежку за гражданами». Действительность, пишут западногерманские публицисты, превзошла эти опасения [4].

В результате приведения в действие «Постановления о радикальных элементах» несколько миллионов людей были подвергнуты проверке с точки зрения их

[1] «Europeo», 2/VI.1978.

[1] «Jeune Afrique», 8/IV.1972.

[2] «Express», 3/V 1976.

[3] Foreign and military intelligence. Final Report... US Senate, Book I, Washington, 1976, p. 10.

[4] «Stern», 27/VII.1978.

умонастроений. Дело дошло до того, что повóдом для увольнения с государственной службы считалась в ряде случаев поддержка программы правящей социал-демократической партии. Основаниями для преследования признаются и выступления против распространения ядерного оружия, присутствия иностранных войск на территории ФРГ, организации школьного образования и т. д. Все это неизменно сопровождается напыщенными разглагольствованиями об «интересах свободы и национальной безопасности».

Своеобразное направление приняли антидемократические тенденции в Англии. Здесь они приобрели прежде всего расистский характер. По словам социолога Д. Брауна, отношения между полицией и цветными жителями «смахивают на состояние войны» [1]. При прямой поддержке полицейских властей расширяет масштабы своей деятельности так называемый «Национальный фронт» — союз расистов, провозгласивший своим лозунгом «Англия для англичан».

Любопытно также, как оценивают некоторые публицисты состояние дел во Франции. Приводя многочисленные примеры нарушения прав человека и гражданских свобод, М. Машино спрашивает: можно ли сказать, что в стране существует тоталитарная система? Отвечая отрицательно, он, однако, продолжает: «Но существует система, которая, в зависимости от конъюнктуры, проявляет терпимость или не проявляет, разрешает или запрещает, предоставляет или конфискует. Иначе говоря, наши свободы — во власти системы. Ведь она от своих царских щедрот не столько давала нам свободы, сколько предоставляла во временное пользование» [2].

А ведь речь идет о капиталистических странах с наиболее устойчивыми демократическими традициями, за которыми стоят, можно сказать, столетия борьбы за гражданские права, развернутая структура специальных институтов по защите демократии. Не приходится говорить, что в развивающихся странах, находящихся в орбите империализма, ситуация мало чем отличается от той, какую описывали антиутописты. Можно сказать, что «папа Док» и его потомки на Гаити, Сомоса в Никарагуа, Пиночет в Чили и другие тираны, находящиеся под покровительством «величайшей демократии мира», как любят именовать США буржуазные идеологи и пропагандисты, ухитрились намного «опередить» прогнозы Оруэлла и ввести в своих странах порядки «1984-го» задолго до сакраментальной даты.

Мы говорили до сих пор только о насилии, не затрагивая более широкого вопроса об условиях существования и социальных правах людей в капиталистическом обществе. Между тем связь здесь самая прямая. Ограничимся ссылкой на следующее признание лидера социалистической партии Австрии Б. Крайского. «Рискуя вызвать кое у кого озлобление,— заявил он,— можно, впрочем, сказать, что права человека не соблюдаются и на Западе. Взять хотя бы 17 миллионов безработных. Это нарушает, конечно, наш маленький интеллектуальный комфорт, однако это факт: мы не можем обеспечить полную занятость. И это неопровержимый политический аргумент. Разве не показывает опыт прошлого, что безработица в конечном счете приводит к расцвету диктатур, уничтожающих те свободы, которые мы, как полагают, должны беречь?» [1]

Обратите внимание: Крайский говорит о несоблюдении прав и на Западе. Иначе говоря, перед нами все та же попытка игнорировать качественное различие между капитализмом и социализмом как новым строем, призванным преодолеть и на практике преодолевающим органические пороки старого строя. В этом нежелании, добавим: неумении отделить новое от старого — вся суть философии правого социализма.

Если буржуазные и примыкающие к ним социал-демократические идеологи стремятся уравнять капитализм и социализм «в грехах» применительно к настоящему, то футурология делает то же самое применительно к будущему. А коль скоро обнаруживают вирус тоталитаризма во всех современных обществах, невзирая на различие экономических и политических систем, постольку находят логичным предположить, что в перспективе эта болезнь примет характер эпидемии и все сольется в тоталитарном кошмаре.

Приблизительно таков смысл пророчеств западногерманского писателя Г. Грасса, который утверждает, будто все существующие или вновь возникающие структуры власти в конечном счете тяготеют к «олигархическому коллективизму», который был предсказан Оруэллом для общества 1984 года и рекомендован А. Дёблином задолго до этого [2].

Примерно такой же подход к вопросу можно найти в работе американского политолога К. Силверта. Давая довольно острую критику современного капитализма с позиций «классической» либеральной теории, он в то же время утверждает, что конфликт между псевдодемократией и истинной демократией — это «не столкновение между капиталистами и социалистами, между левыми и правыми в общепринятом смысле слова», а «конфликт между авторитаризмом и

[1] «Spiegel», 31/VII.1978.

[2] «Monde diplomatique», IV.1976.

[1] «Le Figaro», 19/IV.1978.

[2] А. Дёблин — автор утопического романа «Горы, моря и гиганты», вышедшего в 1924 г. и близкого по проблематике к произведениям О. Хаксли и Д. Оруэлла. По существу это та же антиутопия, но с сильными элементами мистицизма.

демократией, рабством и свободой, между настоящими правыми и истинными левыми». Причем конфликт этот носит, как он утверждает, всемирный характер[1].

Может возникнуть вопрос: так ли уж велика передержка, допускаемая Грассом, Силвертом и многими другими прорицателями грядущих бедствий и катастроф, в том числе — в образе тотально-антигуманного общественного устройства? Ведь если даже тенденция к технотирании, если можно так выразиться, свойственна только капиталистической структуре, то разве это не угрожает опасностью всему человечеству? И если мир рухнет, то способна ли послужить утешением мысль, что землетрясение началось не на нашем участке и мы стали лишь жертвой докатившейся до нас сейсмической волны?

Безусловно, в этих рассуждениях есть доля истины. Имманентно свойственная капитализму тенденция к авторитарным методам власти, нашедшая дополнительный импульс в своекорыстном использовании достижений научно-технической революции, способна поставить под вопрос существование человечества. Опыт фашизма доказал это со всей очевидностью. И если бы фашизм или какая-то новая его модификация сумели взять верх в развитых капиталистических странах, то вопрос о будущем мирового сообщества решался бы уже совершенно на другой основе, чем сейчас.

Ясно видя реальность такой угрозы, надо в то же время иметь в виду следующий принципиальной важности факт: социализм, достигший определенной степени зрелости, не просто всем своим существом отрицает любые проявления авторитаристской тенденции. Он, по сути дела, является единственным противовесом этой опасности как в мировом масштабе, так и в рамках отдельных стран.

В международном масштабе именно социализм отбил фронтальную атаку тоталитаризма, представленного фашистскими государствами. (Речь при этом идет как о решающей роли Советского Союза в военных действиях против гитлеровских полчищ и японской Квантунской армии, так и о движении Сопротивления, в авангарде которого выступали коммунисты.) Что касается отдельных стран, то здесь ту же задачу решало и решает рабочее движение, защищая демократические институты и тем самым препятствуя утверждению тоталитарных диктатур.

Исторической роли социализма как хранителя и продолжателя мировой цивилизации не хотят понять многие футурологи либерального и даже прогрессивного направления. Типичной в этом смысле является работа Дж. Синая. Он критически оценивает политику американских правящих кругов, которые, руководствуясь слепым антикоммунизмом, «пытаются принудительно реорганизовать мир в соответствии со своим пониманием образа жизни». Возражая апологетам капитализма, называющим его самой рациональной из всех социальных систем, Синай говорит, что этот строй порождает лишь «иррациональность и технологическое идиотство». «Некомпетентная и безответственная правящая верхушка, погрязшая в иллюзиях и бессмысленной риторике интеллигенция, средний класс, заглатывающий упакованные для него порционные удовольствия и еще не понимающий, что он одурачен, рабочие, зажатые в тисках сводящей с ума рутины и социального отчаяния, молодежь, отвергающая общество и не видящая никакой реальной ему альтернативы»[1],— так характеризует автор основные черты современного капитализма.

Но поскольку американский профессор не желает признавать в социализме силу обновления, постольку весь этот обличительный пафос сводится к банальной мысли о цикличности развития и очередной стадии упадка, якобы угрожающей человечеству. «Вся история человеческого рода,— утверждает Синай,— свидетельствует о несовершенстве и никчемности признаваемых человеком ценностей, доказывает, что напряженность, неустойчивость и противоречия являются главным условием существования всех цивилизаций и причиной неизбежного прохождения ими циклов зарождения, роста и падения»[2].

Приведем еще один пример. Американский советолог А. Мейер, заслуживший репутацию антикоммуниста, не протестует против такого малопочетного звания и даже им гордится. Статья, о которой пойдет речь, так и называется «Взгляд антикоммуниста на разрядку». Тем интересней найти в ней признание не только малой эффективности слепого антикоммунизма, но и предостережение, что он может оказаться гибельным для тех, кто на него уповает. «Во имя антикоммунизма,— пишет Мейер,— американская демократия в известной мере разрушает самое себя. Всемирный антикоммунистический поход, продолжающийся последние 30 лет, может оказаться для США тем же, чем была Сицилий-

[1] Silvert K. The reason for democracy. N. Y., 1977. pp. 97—98.

[1] Sinai J. The decadence of modern world. Cambridge (Mass.), 1978, p. 114.

[2] Ibid., p. 215.

ская экспедиция для Афин или гибель Великой Армады — для Испании» [1].

Какой же рецепт выписывается Западу? Оказывается, нужно более строго следовать «гуманизму» и «демократическим традициям» и... не допускать дальнейшего углубления разрядки. Что такой курс неизбежно должен завести в тупик — эта мысль господину Мейеру в голову явно не приходит.

Посмотрим теперь, как прогнозирует будущее изобретатель термина «футурология» О. Флехтхайм, известный социолог и политолог. По его мнению, возможны три альтернативы грядущего: 1) впадение в варварство вследствие тотальной ядерной катастрофы и в конечном счете гибель человечества; 2) создание неоцезаристской цивилизации в духе «прекрасного нового мира» О. Хаксли: 3) объединение человечества во всемирной федерации, построенной на подлинно гуманистических началах[2]. Каковы эти начала: капиталистические, социалистические или помесь того и другого.— остается, по существу, за скобками прогноза. Если, конечно, можно так назвать эти расплывчатые суждения — представьте гадалку, которая сообщает клиенту, что он либо умрет, либо будет благоденствовать.

И, наконец, сошлемся на американского публициста и политического деятеля Дж. Таккиля, который в 1974 году баллотировался на пост губернатора Нью-Йорка от либерально настроенных избирателей и который является членом Всемирного футурологического общества. В книге под любопытным названием «Кто боится 1984-го? Попытка оптимистического взгляда на 80-е годы» он решительно опровергает предсказания возможной катастрофы — идет ли речь о последствиях демографического взрыва, истощении природных ресурсов, конфронтации великих держав или любых других возможных ее источниках.

Надо сказать, что собранные им факты и их остроумный комментарий представляют немалый интерес. Так, по сообщению автора, ряд американских специалистов в 1972 году предсказали, что к 1977 году правительство США будет вынуждено взять под свой контроль энергетическую промышленность; к 1980 году в стране будет введен жесткий контроль над потреблением горючего; к 1985 году произойдет общий спад промышленности до уровня 1929 года; 1987 год ознаменуется конфликтом мирового масштаба из-за источников энергии, способным привести к третьей мировой войне; к 1990 году нехватка меди будет настолько острой, что электротехническая промышленность потерпит крах; к 2000 году Земля окажется почти без пресной воды. И, наконец, к 2030 году из-за повышения температуры земной поверхности начнется постепенное таяние льдов Северного и Южного полюсов, что приведет к затоплению суши и прекращению жизни на Земле. Экономические потрясения повлекут за собой удушение гражданских свобод как в США, так и повсюду в мире, повсеместное утверждение тоталитаризма.

Комментируя этот сценарий «страшного суда», Таккиль пишет, что пока история движется не в этом направлении, и делает общий вывод: как только возникает очередная угроза и кажется, что цивилизация вот-вот потерпит катастрофу, открываются новые возможности для преодоления трудностей и дальнейшего прогресса. «Обещая», что к 1984 году энергетический кризис будет полностью устранен, он дает фантастико-утопическое описание будущего. В экономике воцарятся многонациональные корпорации, интересам которых противопоказаны военные конфликты; в результате уже с конца 70-х годов будет установлен всеобщий мир. Одновременно бурный взлет науки и техники в сочетании с частной инициативой создаст возможность для всеобщего процветания, идеалом станет так называемый рациональный гедонизм и т. д.

Можно не приводить других пророчеств, которые выглядят не очень серьезно и уже опровергнуты жизнью, по крайней мере в том, что относится к срокам их осуществления. В данном случае важно, что книга завершается оптимистическим выводом: человечество ожидает впереди некое подобие земного рая, а «пророческий 1984-й будет расцениваться как недальновидная фантастика» [1].

Надо сказать, что Дж. Таккиль не одинок. Среди западных теоретиков и публицистов немало таких, кто не разделяет точки зрения пророков технотирании, считающих, что мир неминуемо приближается к состоянию, описанному в «1984 году». Однако свои надежды на более или менее сносное будущее они связывают не с социализмом, тем более — не с революционным его направлением, а все с той же НТР. Иначе говоря, пытаются избавиться от техницистского кошмара путем рационального применения той же техники. Как обеспечить такой рационализм, не посягая на основы капиталистического общественного порядка, оставляя власть в руках монополий, сохраняя частную собственность и

---

[1] Eissenstat B. (ed.) The Soviet Union: the seventies and beyond. Lexingtom (Mass.), 1975, p. 325.

[2] Fiechtheim O. Futurologie. Der Kampf um die Zukunit. Köln, 1971.

[1] Tuccille J. Who's afraid of 1984? The case for optimism in looking ahead to the 1980's, N. Y., 1975.

все ее атрибуты,— эти вопросы остаются без ответов.

Поскольку не могут (или не хотят) указать на основное препятствие социальному прогрессу, постольку не могут (уже при всем желании) разработать сколько-нибудь реалистическую позитивную программу, которая отвечала бы возможностям и потребностям человечества на рубеже второго и третьего тысячелетий. И это слабосилие в главном вопросе составляет общую черту всех направлений немарксистской общественной мысли — техницистов и антитехницистов, утопистов и антиутопистов, оптимистов и пессимистов.

■

Буржуазная футурология в широком смысле слова (имея в виду все немарксистские концепции развития) в своей попытке постигнуть будущее потерпела фиаско. Она, безусловно, способствовала накоплению знаний о тех или иных особенностях пути, который лежит перед нами, высказала немало ценных догадок, но в силу своей классовой ограниченности не смогла породить цельную научную теорию социального прогресса и ответить на вопрос, который человечество постоянно задает само себе: quo vadis?

Ответ на этот вопрос дал марксизм-ленинизм.

Вместо приложения

По различным причинам (в том числе в интересах экономии читательского времени) автор почти не касался такого обширного и важного направления мысли о будущем, как современная научная фантастика. В этом жанре, переживающем в последние десятилетия бурный расцвет, появился ряд произведений, представляющих большую познавательную ценность и вносящих заметный вклад в освоение «terra futura». Завоевания фантастики и ее просчеты заслуживают, разумеется, специального внимания.

В то же время мне показалось целесообразным дать в качестве приложения небольшой памфлет о той низкопробной массовой продукции под маркой «science-fiction», которая, в полном смысле слова, чернит будущее.

Объект МКАНФ

Стояло тихое ясное утро 10 января 2971 года.

Настроение у Ксанфа было превосходное, да и как иначе, если позади долгие годы учебы, в кармане диплом специалиста, а впереди — увлекательный труд на новых планетах. Настал его черед предстать перед комиссией во главе с самим Алирозом.

— Мой юный друг,— сказал маститый ученый, облазивший едва ли не все уголки Вселенной,— вы показали отличные успехи. Машинные анализаторы весьма одобрительно отозвались о ваших волевых и психологических качествах. В предварительной заявке вы выразили пожелание трудиться на самом ответственном и трудном участке. Комиссия единодушно приняла решение удовлетворить эту просьбу и направить вас на объект МКАНФ.

Ксанф был польщен донельзя. Даже наедине с самим собой он не смел надеяться на такое высокое доверие. Кроме узкого круга посвященных, мало кто знал толком об объекте МКАНФ; он был предметом странных, порой вздорных слухов и небылиц. Но считалось не подлежащим сомнению, что нет задания более почетного, чем получить назначение на таинственный объект. Сюда направлялись самые-самые, те, кого почитали избранниками судьбы.

— Вам,— продолжал Алироз,— известен эффект Сакуры, позволивший вплотную подойти к решению грандиозной задачи — материализации мысли. Дело это находится в стадии лабораторных исследований, пройдут годы, пока наука овладеет управляемым процессом материализации. Но вы не знаете, что во время одного из опытов по необъяснимому стечению обстоятельств произошла

гигантская вспышка материализации, превратившая в реальность старинные фантазии на темы будущего. При этом материализовались не научные прогнозы, поскольку они уже так или иначе воплощены в жизнь, а самые дикие, порой чудовищные бредни, какие способен породить примитивный и извращенный мозг.

— Значит, объект МКАНФ...

— Не что иное, как серия искусственно воспроизведенных и тем не менее вполне реальных миров, названных Материализованными Кошмарами Антинаучной Фантастики. Теперь вы понимаете, перед какой сложной проблемой мы были поставлены. Секрет дематериализации пока не известен, а применение других средств для ликвидации безумной химеры недопустимо с этической точки зрения. Остается, с одной стороны, изолировать эти миры, исключить возможность их отрицательного влияния на цивилизованные сообщества, а с другой — вести систематическое изучение МКАНФ с целью последующего активного воздействия.

— В чем же будет заключаться моя задача?

— Обследовать, изучать, искать способ переделки, готовить соответствующие проекты. Впрочем, подробности уточним позднее.— Алироз поднялся, давая понять, что беседа подходит к концу.— Я бы хотел добавить два слова, мой друг,— сказал он.— Мы верим в вас, но соберите все свое мужество, оно вам понадобится. А главное — не позволяйте себе ни в чем, ни в одной мелочи поддаться влиянию среды.

— Как вы можете сомневаться!— возмутился Ксанф.

— Не горячитесь. Со временем вы поймете, что мое предостережение нелишне.

Спустя месяц друзья провожали молодого разведчика-космонавта в далекий путь.

Первое письмо Ксанфа Алирозу

Мой дорогой друг и наставник, вы просили писать о моей работе и впечатлениях. Теперь, когда я вышел живым из первого испытания, могу рассказать вам о нем.

Для моего дебюта была избрана планетка фантастического производства под названием «Бегство Логана» (БЛ). В соответствии с инструкцией сразу после высадки я настроил электронный преобразователь на местных обитателей и воспроизвел в себе их физиологические особенности. Я не ощутил никаких существенных изменений, за исключением одного: в ладони правой руки под кожей возник небольшой кристаллический цветок багрово-красного цвета. Я не стал ломать голову над этой странностью и, войдя в пределы гигантского густонаселенного города, приступил к изучению среды.

При первом знакомстве БЛ казался вполне нормальным миром: люди учились, трудились, развлекались, в их распоряжении была довольно развитая техническая цивилизация, включая мощный электронный мозг. Но уже очень скоро я обратил внимание на одно загадочное обстоятельство — на улицах мелькали только юные лица, нельзя было встретить ни одного человека среднего возраста, не говоря уже о пожилых и стариках. Куда могли деться старшие поколения? Я не успел толком поразмыслить над этим вопросом. Неожиданно из переулка выбежала женщина, преследуемая мужчиной. Растрепанная, в порванной одежде, задыхаясь от изнеможения, она кинулась ко мне на грудь. Мужчина, весь в черном, остановился в трех шагах, в руке его угрожающе поблескивало какое-то оружие. Ошеломленный, я попытался успокоить ее:

— Не бойтесь, я защищу вас, он не посмеет сделать ничего дурного среди бела дня, вокруг люди...

Она взглянула на меня как на безумного.

Я понял, что она не ждала помощи, а просто укрылась за мной, как можно было укрыться за любым неодушевленным предметом. Прохожие, как ни странно, не спешили к нам на помощь, а, напротив, шарахались в сторону. Вокруг нас образовалась пустота, а на другой стороне улицы собралась порядочная толпа, наблюдавшая за происходящим, как зеваки могут развлекаться обычным уличным происшествием.

Внезапно женщина оттолкнула меня и побежала вдоль улицы, мечась из стороны в сторону, как зверек, уходящий от охотника. Еще секунда — и ей удалось бы скрыться за поворотом. Но человек в черном не дремал. Раздался негромкий выстрел, мелькнула яркая вспышка, и там, где была женщина, осталась горсть пепла. Человек в черном спокойно спрятал аннигилятор, который, как я узнал позднее, назывался здесь бластером. Толпа начала расходиться.

Позднее мне пришлось наблюдать подобные сцены бессчетное число раз. Не стану, однако, дорогой Алироз, утомлять вас деталями и попытаюсь коротко рассказать о порядке, установленном в мире БЛ. Своим происхождением он обя-

зан Уильяму Нолану и Джорджу Джонсону [1]. Согласно их прогнозу, к концу второго тысячелетия рост населения привел к катастрофической нехватке пищи. Правительство США попыталось насильственными мерами ограничить рождаемость. Но молодежь расценила это как покушение на ее права. Началось восстание, на сторону молодежи перешла армия, состоявшая в основном из людей не старше 21 года, сенаторы и конгрессмены были перевешаны на фонарях, сердитые молодые люди захватили власть.

Что же было дальше? Некий юный пророк по имени Мун предложил, чтобы отныне все люди старше 21 года уничтожались. Его проект получил массовую поддержку, и уже к 2072 году старшие поколения были истреблены. Сам Мун, дожив по предельного срока, пал жертвой своего проекта. Постепенно усовершенствовалась методика ликвидации «избыточного» населения. Каждому новорожденному в ладонь правой руки вшивается хрустальный цветок, принимающий разную окраску: голубую, желтую, потом, с 14 лет (взрослый период, по местным понятиям),— красную. Контроль за этими изменениями осуществляется электронным мозгом. В 21 год кристалл становится черным, и каждый гражданин обязан явиться на специальный пункт, чтобы добровольно аннигилироваться. Есть, конечно, отдельные несознательные люди, которые не хотят выполнять свой долг и обращаются в бегство. Таких преследуют и в конечном счете успешно уничтожают агенты аннигиляционной службы, как это случилось с той несчастной.

К тому времени, когда удалось все это выяснить, мне исполнился 21 год и хрустальный цветок в ладони почернел. Спасаясь от людей с бластерами, я попал в ледниковые пещеры, где укрывались немногие уцелевшие старцы в возрасте от 21 до 25—30 лет. Здесь выживали сильные, поскольку единственным средством пропитания было людоедство. Затем я оказался во власти банды пятнадцатилетних хиппи, от которых откупился куском собственного мяса. Пришлось испытать и некоторые другие прелести мира БЛ. До сих пор не соображу, как мне удалось унести ноги.

Что касается проекта, то мне пришло в голову следующее: нельзя ли с помощью машины времени забросить кого-нибудь в XX век и аннигилировать авторов мира БЛ до того, как они написали свою книгу?

Второе письмо

Привет, Алироз! Я почти на 100% был уверен в неосуществимости своей идеи — потому-то о ней не упоминается в официальном отчете. Прекрасно знаю, что наши правила воспрещают вносить поправки в прошлое, чтобы не допускать неожиданных последствий для настоящего. И все-таки где-то в глубине души надеялся, что для такого случая будет сделано исключение. Ну, нет так нет.

Теперь об очередном объекте — о «Башне у порога Времени». Приземлившись в этом мире и пустив в ход свой электронный преобразователь, я с ужасом обнаружил исчезновение почти всей своей одежды. Остались лишь набедренная повязка и ремешок, на котором болтался внушительного размера меч. Поначалу я решил, что произошла ошибка в исчислении координат и меня высадили где-то в первобытном прошлом. Но, оглядевшись вокруг, успокоился. Все было в полном порядке: к планетке причаливали гигантские космические корабли, чудо техники даже по нынешним понятиям, а из них выгружались молодцы, одетые на мой манер. С одним из них, неким Тзаном, мне удалось свести знакомство.

Это парень хоть куда! Огненно-рыжий, атлет, по-видимому, культурист, отменный боксер, к тому же наделенный способностями телепата и понимающий толк в оккультных науках. По сходству имен я сразу догадался, что он происходит от легендарного Тарзана. Он хорошо воспитан, по-своему даже благороден (рыцарское отношение к женщинам), а по профессии космический пират. Работал в разных бандах, орудующих во Вселенной, как в свое время в Атлантике знаменитый капитан Флинт.

Войдя с ним в компанию, я сразу же оказался в центре событий и получил возможность быстро разобраться, что к чему. В этом мире, созданном воображением Лина Картера [2], господствует смешанная рабовладельчески-феодальная система. Политический строй сводится к двум основным формам — деспотии и теократии. Что касается техники, то, помимо упомянутых космических кораблей, существуют только лазерные бичи — весьма эффективное средство вышибания мозгов. Это — все, что сохранилось от богов, которые когда-то навестили здешние места.

---

[1] W. Nolan, G. Johnson. Logan's Run. Manhunt through a utopian nightmare of tomorrow's world. London, 1967.

[2] Lin Carter. Tower at the Edge of Time. New York, 1968.

Прямо с космодрома мы с Тзаном отправились в кабачок, где потребовали вина. Какой-то мерзавец, как впоследствии выяснилось — агент местного принца Чана, затеял было драку, но мой приятель уложил его ударом кулака.

Потом Чан напустил на нас целую свору своих воинов и вдобавок подослал шпионку — обольстительницу редкой красоты. Когда все это не сработало, подлый принц вступил в сговор с известным разбойником Шастаром. Они охотились за Тзаном, поскольку рыжему была известна тайна вечности, а за ее порогом хранится ценный клад. Обманом заговорщики временно захватили Тзана, но Шастару стало стыдно выступать против своего же брата пирата на стороне чванливого и гнусного аристократишки...

Извини, Алирос, некогда дописывать письмо — надо помешать Чану, который крадется с ножом в зубах к моему дружку.

Третье письмо

Здорово, старик! По твоему письму вижу, что тебе не терпится узнать, чем это дело кончилось. Ты ведь небось догадался, что я рассчитывал захватить финансовые средства вечности и пустить их на переделку объектов МКАНФ. Увы, затея лопнула как мыльный пузырь, клада за порогом Времени не оказалось.

Ты упрекаешь меня за употребление нелитературных оборотов, но в нашей работе, знаешь, не до стиля. С кем поведешься, от того и наберешься. Тебя бы на мое место, еще бы не так заговорил!

Вот уже третий месяц сижу на объекте «Сексмакс». Помнишь БЛ? Это немного похоже, с той разницей, что там была тирания юности, а здесь тирания женщин. По утверждению основателя этого мира Хъюза Купера [1], воспользовавшись своим численным преобладанием среди избирателей, женщины захватили большинство в Конгрессе США и установили свою диктатуру. Самое возмутительное состоит в том, что мужчина низведен здесь до положения рабочей скотины, превращен в орудие наслаждения, лишенное каких-либо человеческих прав.

Посуди сам, не успел я приспособиться к местным условиям, как был вызван на проверку специальной комиссии в составе семи женщин. Там меня подвергли гнусному физиологическому обследованию, щупали бицепсы, смотрели зубы (на белизну и прочность), велели прыгать и т. д. Затем приступили к оценке умственных способностей, выставив в конце изнурительного экзамена посредственный балл. В довершение всего меня передали женоавтомату, и эта хамская машина пришла к выводу, что я вовсе лишен какой-либо привлекательности.

В результате я теперь зачислен в самую низшую касту мужчин, обреченных на пожизненный рабский труд в рудниках. Здесь отсутствует элементарная охрана здоровья, скудная пища, жизнь подчинена суровому распорядку, за исполнением которого бдительно следят надзирательницы — мегеры в полном смысле этого слова. Что там говорить, нашей категории не полагается даже пенсия по старости! Единственное развлечение — раз в месяц нас навещают сердобольные сестры милосердия — нечто вроде маркитанток при войске в доисторические времена.

Вообще эта лицемерная практика понадобилась только для того, чтобы сделать вид, будто выполняется одна из статей действующей здесь конституции: «Каждый гражданин США, независимо от возраста и других качеств, имеет естественное право на полноценную сексуальную жизнь». На деле какая может идти речь о полноценности, если подбор мужчин для женщин, пожелавших вступить в брак, осуществляется компьютерами!

В поисках проектов преобразования этого сексоманиакального мира я перебрал немало идей — от распространения просвещения среди женщин до восстания мужчин. А может быть, соединить «Сексмакс» с БЛ? Любопытно, кто возьмет верх...

Четвертое письмо

Прежде всего хочу сказать, что мне осточертели твои упреки. Больше я не нуждаюсь ни в чьих наставлениях. И вообще это моя последняя информация.

Пишу я с планеты «Эмма Лютер», основанной Бобом Шоу [2]. Она находит-

[1] Hughes Cooper. Sexmax. London, 1969.
[2] Bob Shaw. Night Walk. London, 1970.

ся в весьма напряженных отношениях с метрополией — Землей, и дело идет к космической войне. Земляне запустили сюда своих шпионов, но здешняя контрразведка, действующая весьма эффективно, сумела их выследить. Сейчас эти бедняги ослеплены и заключены в концентрационный лагерь; бежать из него практически невозможно, поскольку вокруг на сотни километров тянутся болота, где обитают страшные электроящеры. Кроме того, для надежности повсюду разбросаны ракетные установки, посылающие смертоносный снаряд по излучению человеческого мозга.

Ты, Алироз, давно, должно быть, сообразил, что я, Ксанф, работник объекта МКАНФ, окованный цепями, сижу в концлагере. Меня опознали как агента Земли по запаху еще до того, как я вступил одной ногой на «Эмму Лютер». Им, правда, не удалось взять меня сразу — пребывание в других мирах МКАНФ и дружба с Тзаном не прошли даром. Я укокошил несколько десятков местных контрразведчиков, похитил ультрасекретные сведения, связанные с открытием антивещества, соблазнил красотку, находящуюся в родстве с самим правителем. Ты скажешь, что я превысил полномочия. А мне плевать! Настала пора действовать. У меня уже созрел план. С помощью своей любовницы я убегу из лагеря, захвачу здесь власть, а также подчиню себе и другие миры. Это тебе говорю я, Ксанф, будущий повелитель Вселенной!..

— Да, конечно,— сказал Алироз, откладывая письмо,— он помешался. Потеряли еще одного хорошего парня. Эх, мне бы сюда этих фантастов, я бы им головы оторвал!

Члены Совета переглянулись. Они никогда не предполагали, что великий исследователь и гуманист способен настолько выйти из себя.

Остается заверить читателя, что пересказанные здесь кошмары антинаучной фантастики не подбирались со специальной целью. В книжной лавке на Чэрринг-Кросс, в Лондоне, эта духовная пища лежит «навалом», и мы взяли первое, что попалось в руки (по случаю это оказались издания 1967, 1968, 1969 и 1970 годов). Впрочем, это мог быть не Лондон, а Нью-Йорк, не Нью-Йорк, а Токио, не Токио, а Гамбург... Сотни и тысячи подобных книжонок предлагаются публике на всей территории капиталистического мира.

Как нетрудно заметить, эта литературная стряпня фабрикуется по одному канону: немного псевдонаучной терминологии, побольше секса и еще больше ужасов, а герой — тот же Тарзан или Джеймс Бонд, но в космическом скафандре. Беззастенчиво спекулируя на интересе людей к будущему, бизнес превратил жанр фантастики в еще одно средство выколачивания денег. Но не только. Антинаучная фантастика выполняет вполне определенную социальную функцию: отвлекать людей от забот и тревог сегодняшнего дня (своеобразный заменитель наркотиков) и внушать им страх перед днем грядущим. Предпринимается по существу попытка массового духовного отравления нынешних ксанфов.

◆

Против ветра и течения

Отрывки из книги

3

История радикализации

Процесс переоценки начался, как мы видели, еще в «предыстории», развиваясь в двух направлениях: разочарование в Соединенных Штатах и отход от среды эмигрантов.

Это своего рода двойное отчуждение поначалу нас обескуражило...

Некоторые из нас включились в русло американской «контркультуры». Это была опасная траектория. Однако длинные волосы, марихуана и т. д. были лишь временным этапом, одной из форм, в которой проявилось наше неприятие окружающего порядка вещей.

Меня не оставляло ощущение какой-то неприкаянности. Я начал принимать наркотики, пытаясь с их помощью создать иллюзию эмоциональной полноты, недостижимой для меня в реальной жизни.

Я попал в тюрьму из-за одного инцидента в школе. Школьная администрация запретила мне ходить с длинными волосами, я сопротивлялся. Кончилось тем, что меня несколько раз выгоняли из разных школ. Потом я уехал в Нью-Йорк, где познакомился с ребятами, которые выступали против войны во Вьетнаме. Я же до тех пор не думал ни о Вьетнаме, ни о политике, ни о чем серьезном. Единственное, в чем я разбирался, это в наркотиках. Теперь я начал задавать себе вопросы: что такое мыслящая личность? Что такое империализм? В чем проблема Вьетнама? Что на самом деле произошло на Кубе?

Я поверил в романтические идеи хиппи, но скоро понял, что все это постепенно превращается в предмет торговли. Я увидел, что идеи хиппи продаются и покупаются, так же как и их символы, так же как моя жизнь. Пропала часть моей юности.

Лишь осенью 1969 года, когда начались массовые выступления против войны во Вьетнаме, получившие название «Мораториум», я почувствовал, что мои политические убеждения и взгляды на жизнь начинают постепенно изменяться.

...Что касается начала моей радикализации, то его можно отнести к осени 1969 года, ко времени «Мораториума» против войны во Вьетнаме. Но пока что не было речи о моем отношении к «кубинской проблеме». Это пришло позднее.

Делать какие-то обобщения относительно «процесса радикализации» — задача одновременно простая и сложная. Простая — потому что нетрудно найти в нем совпадения, общие вехи и черты: университетский опыт, опыт борьбы за гражданские права и социальную справедливость для национальных меньшинств Соединенных Штатов Америки, опыт участия в движении пуэрториканцев [1]. Война во Вьетнаме... Ряд исторических дат — от доминиканской революции 1965 года до падения правительства Альенде.

В то же время дать характеристику этому процессу — вещь достаточно сложная, ибо речь идет о пересмотре истории, как «большой» [со-

---

[1] Многие эмигранты с Кубы поселились в Пуэрто-Рико.

[*] Окончание. Начало см. в № 6.

бытия которой определили нашу общую судьбу), так и «малой» (касающейся лишь каждого из нас). Мы должны были постепенно, шаг за шагом, ценой больших усилий переделывать самих себя и становиться совсем иными людьми.

Начало всему положил Гейнсвиллский университет. Я тогда был настроен решительно против кубинских студентов радикальных убеждений и, для того чтобы спорить с ними, стал усиленно и серьезно готовиться, подбирать весомые аргументы — информацию о том, что в действительности происходит на Кубе, о том, что представляла она собой до революции и что революция означала для этой страны. И случилось совсем неожиданное, противоположное тому, на что я рассчитывал. По мере того как я углублялся в материал, мои взгляды стали меняться, так же как и мои намерения. В конце концов я стал все более приближаться к позиции своих оппонентов.

Фактически я стал пересматривать свое отношение к революции лишь в 1969 году, когда поступил в Гейнсвиллский университет во Флориде. Я считал себя в это время человеком передовых взглядов, летом в Майами участвовал в забастовке сборщиков винограда, поддерживал борьбу сельскохозяйственных рабочих — чиканос — в Калифорнии...

Тем не менее я осуждал революцию и был антикоммунистом. В университете я начал посещать курс политической философии. В первый же день наш профессор, знакомясь с нами, сообщил, что по убеждениям он социалист-радикал.

Я не стал сразу ни социалистом, ни радикалом, но его откровенность меня поразила. Кроме того, мне было крайне любопытно познакомиться с его идеями. Я начал читать, спорить, думать...

Мои взгляды начали меняться, когда я прослушал цикл лекций о Кубе в университете Индианы. Мифы о предреволюционной Кубе, которые мне вбивали в голову в течение многих лет, развеивались. Я почувствовал, как мало-помалу тают доводы.

Переоценке моих взглядов на кубинскую революцию предшествовало изменение моего отношения ко многим другим проблемам окружающей действительности. Однажды я спорил с профессором о Вьетнаме, причем аргументировал свою позицию угрозой мирового господства, коммунистическим террором и т. д. Наконец он устал и сказал мне почти с жалостью: «You poor schmuck»[1]. Я растерялся. Именно в этот момент я понял, что нужно иметь собственное мнение, а не повторять формулы, затверженные под чужую диктовку. Это было на втором курсе университета. Мне было 18 лет. Два года спустя, когда я защитил диплом, процесс завершился.

Я изучал в университете политэкономию капитализма и по мере того, как курс заканчивался, приходил к выводу, что усвоенные нами христианские ценности не могут реализоваться в рамках капиталистической системы. Требовать, чтобы любовь и справедливость взросли в недрах общества рыночной экономики и частной собственности, было наивностью.

В проблеме войны во Вьетнаме я разобрался с помощью американских друзей, более радикально настроенных, чем я, активных участников антивоенного движения.

Когда дошла моя очередь идти в американскую армию, мне пришлось занять более четкую позицию. Явившись на призывной пункт, я разбросал там листовки... В листовках мы рассказывали, что эта война выгодна лишь монополиям, которые правят страной, и что трудящейся молодежи, особенно неграм и латиноамериканцам, она не нужна.

В результате меня отдали под суд за нарушение закона об обязательной воинской повинности. Процесс показал, что такое «правый суд» при капиталистической системе. Я был признан виновным, и мне дали два года тюрьмы.

В Пуэрто-Рико возмущение функционированием РОТСа[1] вылилось в кровавое столкновение 11 марта 1971 года.

Студенты атаковали здание РОТСа. Полиция начала стрелять... Университет был закрыт на несколько недель.

Помню, что в 1965 году я начал пересматривать свое отношение к кубинской революции и к своей прежней жизни в связи с этим. Потом — проблема Вьетнама, борьба против войны и т. д. Для тех, кто всерьез начал задумываться над этими вопросами, война стала последней каплей, переполнившей чашу. Я был настроен против войны и принял участие в студенческом антивоенном выступлении. Мои взгляды были еще довольно неясны, но я понял, что такое империализм.

Война застала меня в армии. Через четыре-пять месяцев подготовки пришел приказ об отправке во Вьетнам. Только тогда я начал размышлять о смысле всей этой затеи. Не потому, что я боялся. Мне было все равно, убьют меня или нет: из-за армейской муштры и отвращения к жизни в армии мне все стало безразлично.

Я должен был отправиться во Вьетнам в декабре. Как раз в это время полным

[1] Здесь — несчастный глупец *(англ.)*.

[1] Особый отдел американских вооруженных сил на территории университета, вербующий студентов в армию.

ходом осуществлялась программа «вьетнамизации». Помню, у нас забрали одежду и выдали зеленую полевую форму — зеленые шорты, носки и т. д. Тринадцать дней я ждал отправки во Вьетнам. В конце концов планы командования изменились, и меня послали в ФРГ.

Именно там меня стали особенно занимать проблемы Вьетнама и Кубы.

В подразделении, куда я попал, произошел случай, который повлиял на мою жизнь. Нас было пятьдесят человек, в том числе шесть негров и два латиноамериканца. Отношения между нами на почве расизма установились довольно напряженные.

Один из негров побывал во Вьетнаме и в ФРГ заканчивал свою службу. Этот парень был очень вспыльчив, очевидно, сказывался тяжелый опыт вьетнамской войны. Однажды белый сержант, отъявленный расист, из тех, кто завоевывает себе авторитет при помощи чина, грубо растолкал его, когда он спал. Негр резко отпихнул сержанта, и его хотели сразу же, без суда, отправить в тюрьму «за нападение на офицера». Между тем буквально за два-три дня до этого один офицер так двинул солдата, что тот отлетел на бутылки с кока-колой. Офицеру ничего не сделали.

Несколько оппозиционно настроенных солдат начали убеждать всех, что парень не должен идти в тюрьму. Мы собрались группой (примерно 25 человек), направились к капитану и заявили, что солдат-негр до суда в тюрьму не пойдет. Капитан не знал, как ему реагировать. Нам велели собраться в здании клуба, туда явился и капитан. Когда мы ему рассказали о случае с офицером, ударившим солдата, капитан, человек недалекий, ответил, что это совсем другое дело, дескать, офицер есть офицер. Это лишь подлило масла в огонь.

Когда полковник сообщил о приказе отправить парня в тюрьму, мы заявили протест, требуя расследования. Вернувшись через час в сопровождении нескольких солдат полицейской спецслужбы, полковник отдал распоряжение немедленно арестовать негра. Наша реакция была моментальной: мы все как один встали и окружили парня. Один полицейский выхватил пистолет, наверное, сдали нервы, и полковник едва успел отвести его руку. Потом они вместе удалились, а мы стали обсуждать, что делать дальше. Решили выйти из клуба, считая, что на открытом воздухе легче будет защищаться. А той порой нас принялись запугивать. Это длилось шесть или семь часов, к месту происшествия подходили все новые грузовики с полицейскими и собаками. Наконец полковник снова вызвал нас, чтобы сообщить, что парня не отправят в тюрьму до суда. Это была победа.

...Через некоторое время состоялся суд, солдата-негра оправдали. Эта история имела для меня огромное значение. Нужно объединяться в борьбе, тогда можно добиться победы. Я навсегда запомнил это. В результате мне не дали медали за хорошую дисциплину во время пребывания в армии, но я, разумеется, не был этим огорчен.

В 1965 году произошло событие, имевшее для нас огромное значение,— нападение США на Доминиканскую Республику[1].

В моей жизни в это время случился эпизод, который произвел на меня большое впечатление. Я был уже преподавателем, и в день нападения открыто осудил в классе американскую политику, ожидая, что мои ученики меня полностью поддержат. Но большая часть класса оказалась против меня. Правда, через некоторое время в настроениях учащихся наметились перемены, но ужасный шок, который я пережил в тот день, заставил меня почувствовать себя латиноамериканцем, окруженным злыми «гринго».

Нападение на Доминиканскую Республику показало, что если бы революция на Кубе даже не была бы социалистической, а просто пыталась осуществить серьезные преобразования, Соединенные Штаты постарались бы помешать этому.

Отсюда до понимания того, что революция на Кубе не смогла бы выжить без мобилизации масс, без применения революционного насилия, без поддержки социалистических стран,— один шаг.

Я видел в Хуане Боше[2] альтернативу Фиделю Кастро — демократические реформы в противовес радикальным преобразованиям коммунистов...

Вторжение Соединенных Штатов в Доминиканскую Республику, разбившее мои надежды на возможность демократической революции, глубоко потрясло меня. Мне казалось, что я схожу с ума, потому что начал мыслить в какой-то мере как коммунист.

И, наконец, события в Чили. Быть может, чилийский эксперимент, как никакой другой, возродил надежды на радикальные изменения общества демократическим путем. Эти иллюзии сгорели в пламени Ла Монеды.

Я плакал, когда погиб Альенде. Плакал не только по Альенде и по Чили, но и по самому себе. Я увидел, как погиб мой излюбленный «демократический путь» к социализму.

Если такой путь невозможен для Чили, страны с долгой историей организованной борьбы трудящихся классов, то не прихо-

[1] Имеется в виду вооруженная интервенция США в апреле 1965 года после свержения революционными силами правящей реакционной хунты.

[2] Хуан Бош — президент Доминиканской Республики в феврале—сентябре 1963 года. Его правительство приняло первую буржуазно-демократическую конституцию.

дится сомневаться в его неприемлемости для других стран Латинской Америки, где условия борьбы в тысячу раз менее благоприятны.

Итак, цикл завершился. Наше видение исторической эпохи и кубинской революции обретало зрелость. Однако и на последнем этапе не обошлось без трудностей. Правда, дело кубинской революции начало становиться нашим делом, но был период, когда кумиром, истинным героем революции оказался Че Гевара. Более того, мы противопоставляли Че Фиделю, не понимая, что ошибочный путь идеализации погибшего революционера в ущерб живому мог завести нас в тупик. Теоретически мы принимали революционные программы и идеи, на деле же отвергали опыт конкретного осуществления идей революции. При том что в целом воздействие революционного подвига Че Гевары было благотворно для нас.

Я сказал бы, что эпопея Че Гевары в Боливии сыграла важную роль в формировании моих взглядов. Когда я прочел его «Дневник», в голове у меня все перевернулось, в положительном смысле, конечно.

Вся история Че в Боливии помогла мне многое понять. Я сравнивал бескорыстное благородство тех, кто погиб там, с теми подонками, которые заправляют нами здесь, в Майами. И я понял, что для народов Латинской Америки существует лишь один путь — путь к социализму.

На меня произвела огромное впечатление речь Че в Пунта-дель-Эсте. Знакомство с ней стало для меня событием, совершенно изменившим мое отношение к жизни. Это случилось в начале семидесятых годов. Именно тогда пришло ко мне неудержимое желание как можно больше читать и знать о Кубе. Так все началось.

Помню, что сначала мне было скучно читать «Гранму»[1] и не хватало терпения прочитывать до конца речи Фиделя. Сейчас я могу сказать, что именно в его речах я нахожу ответы на свои вопросы относительно революционного процесса на Кубе и относительно теории и практики перехода к социализму.

Процесс радикализации столкнулся со многими осложнениями на уровне семьи. Тем не менее, вопреки предположениям, реакция родителей, в принципе отрицательная, не была в большинстве случаев столь непримирима, чтобы повлечь за собой разрыв.

Мои отношения с семьей менялись от полного разрыва в 1968—1969 годах до негласного уговора избегать обсуждения острых проблем в 1970—1975 гг. В настоящее время мои стычки с родными носят случайный и очень локальный характер, не распространяясь на прочие области семейных отношений.

Я знаю, что были случаи, когда расхождения во взглядах приводили к полному разрыву с семьей. Со мной этого не случилось, и мне кажется, что во многих других семьях тоже все обходилось более или менее благополучно.

Подозреваю, что в иных случаях наши старики предпочитали не отрезать себе пути к отступлению и оставляли за собой возможность изменить мнение и перейти на сторону молодых. До сих пор они повторяли формулы, затверженные много лет назад, в которые сами давно уже не верят.

Реакция моих родных была более спокойной, чем в других знакомых семьях. Более того, с течением времени они стали даже сочувственно относиться к моим политическим идеям.

Думаю, что не последнюю роль в этом сыграл опыт их жизни в Соединенных Штатах, который заставил их здесь, в изгнании, стать более терпимыми к идеям и целям революции.

Моя семья предпочитает не говорить со мной на политические темы. Это всегда влечет за собой слишком бурные и темпераментные дискуссии. Мой радикализм они объясняют дурным влиянием и моей «наивностью». Они считают, что со временем я повзрослею и «преодолею» все это. Они ждут уже довольно долго...

В моих отношениях с семьей было несколько этапов. Первая реакция была совершенно непримиримая. Дошло до того, что я вынужден был уйти из дома. Сейчас, я бы сказал, наши взаимоотношения строятся на принципе мирного сосуществования...

Как это ни парадоксально, но в моем политическом формировании и отношении к революции решающую роль сыграла семья, особенно отец. Несмотря на буржуазное сознание и классовые предрассудки, он всегда учил меня любить родину и гордиться ее историей.

Уроки, им преподанные, заставили меня понять, что честности и справедливости нет места при капитализме и что любить Кубу — значит любить революцию.

Кроме того, отец спорил со мною о сложных и серьезных вещах, что заставляло меня думать, логически развивать и четко формулировать свои идеи. Даже его несогласие со мною способствовало моему политическому созреванию.

[1] Ежедневная газета, орган Коммунистической партии Кубы.

Реакцию семьи на изменение моих взглядов лучше всего выразила моя мать: «Сын мой, ты определенно сошел с ума. На Кубе, когда нужно было быть социалистом, ты был контрреволюционером, а теперь, когда тебе следовало бы быть капиталистом, ты социалист. Иногда я думаю, что ты поступаешь так нарочно, чтобы осложнить свою и мою жизнь, видно мне никогда не знать покоя». Но старуха понимает...

Моя семья реагировала очень резко на все это. В первый раз моя мать проявила столь острый интерес к политике. Она меня оскорбляла и говорила, что предпочла бы видеть меня мертвой. Она сказала, что не станет больше говорить на эту тему. Я приняла решение никогда не сообщать ей о своих мыслях и намерениях. Это очень отдалило меня от нее, и я стала ее меньше уважать.

Я обязан своей матери тем, что она научила меня самостоятельно мыслить и защищать свои идеи, если они, с моей точки зрения, были правильными и ценными. Она внимательно выслушивала мои аргументы и во многих наших спорах признавала мою правоту.

4

Революция

Что значит для нас Куба! Что значит для нас революция! Нужно сказать, что наше признание освободительной и очистительной силы кубинской революции — результат сложнейшего процесса... В ходе этого процесса мы перешли от психологической необходимости вновь обрести родину, которую мы потеряли или которой нас лишили, к объективному анализу национального и международного значения революции на Кубе. В Соединенных Штатах, особенно в эмигрантской прессе, заинтересованной в том, чтобы дискредитировать и обесценить собранные нами свидетельства, нас обвиняют в бездумном фанатизме по отношению к революционной Кубе. На самом деле это не так. Наше восприятие развития революции неоднозначно, о чем свидетельствуют включенные в публикуемый ниже текст ответы... Однако в одном аспекте наше отношение к революции единодушно. Мы гордимся революцией и страной, где она произошла. Это чувство гордости поддерживает нас в мире, лишившем нас родного языка и культуры и превратившем в «национальные меньшинства»... Для молодежи кубинская революция — символ возрождения нации и возрождения национального самосознания...

Мой взгляд на кубинскую революцию стал более зрелым, чем шесть-семь лет назад. Он стал более реалистическим. Переход к социализму — процесс длительный и нелегкий, возможны и кризисы, но у Кубы обеспеченное будущее, для развивающейся страны единственный шанс выжить в условиях современного международного рынка — это плановая, социалистическая экономика.

Мое восприятие кубинской революции до сих пор еще довольно наивно и неполно, многое в нем — от ностальгии по Кубе. Чем больше я читаю о ней, тем яснее вижу сложность революционного процесса...

Я положительно смотрю на кубинскую революцию, при этом уже не так, как два-три года назад, когда Куба для меня была некой осуществленной утопией, когда я мечтал, вернувшись туда, лишь освободиться от комплекса отчуждения, который преследует меня в этой стране. Сейчас в моем желании вернуться главное — уже не столько это, сколько идеи справедливого общества, которое там строится, где трудящиеся занимают подобающее им место.

Мне кажется, что основные достижения революции следующие: 1. она создала базис для развития политического сознания кубинцев; 2. одержала блестящую победу в области воспитания, осуществив проект о всеобщем обязательном обучении и создании загородных школ-интернатов. Таким образом, дети были избавлены от унизительного бремени нужды и лишений еще до того, как была разрешена проблема повышения жизненного уровня их отцов; 3. развила в кубинцах новое отношение к труду, обеспечив для всех право на работу; 4. сделала доступным для всех медицинское обслуживание.

Революция достигла того, что все имеют право на бесплатное медицинское обслуживание. Увеличилась и средняя продолжительность жизни кубинского населения. Уменьшилась детская смертность. Ликвидирована безграмотность, построено много новых школ по всей Кубе, в городах и в деревнях, для детей и для взрослых, от начальных школ до университетов. И все это бесплатно.

Остается разрешить проблемы полного удовлетворения нужд населения в таких областях потребления, как питание, жили-

ща и т. д. (не впадая в потребительский фетишизм, характерный для капиталистических стран). Другая проблема — расширение в будущем процесса демократизации, причем моделью в этом случае никак не может стать псевдодемократическая диктатура буржуазии в Соединенных Штатах. Кроме того, мне кажется чрезвычайно важным осуществление принципа «каждому по потребностям» в сочетании с моральным стимулом, а не только материальным.

Прежде всего кубинская революция доказала две вещи: существование огромного потенциала в любой стране «третьего мира» и эффективность социалистической системы, которая оказалась способной превратить слаборазвитую страну в общество, свободное от колониализма и неоколониализма — двух бедствий стран «третьего мира».

Свидетельства нашего отношения к кубинской революции заключают ответы на следующий вопрос: «Какой ты видишь Кубу в 1988 году!»

Куба 1988 года видится мне страной, более органично вписанной во внутриамериканский контекст, еще более развитой экономически. Приступившей к выплате большого национального долга Советскому Союзу. Я вижу морально здоровый, полный творческих сил народ, преодолевший трудности шестидесятых годов, связанные с отъездом специалистов. Усложнившиеся общественные отношения в связи с перемещением сельского населения в город. Еще более укрепившееся и зрелое государство, возможно к тому времени несколько озабоченное проблемой роста населения... Я вижу Кубу частью обширного социалистического сообщества с новыми представительствами в странах Западной Европы и «третьего мира».

Куба 1988 года представляется мне государством, не только окончательно расставшимся со статусом слаборазвитой страны, но и заложившим основы для создания самого высокого уровня жизни народа. Трудности, которые будут еще встречаться на его пути, с лихвой компенсируются сознанием своей независимости и высокой честью быть освободительной силой мира.

5

Изгнание

Мы называем его «субмирок»

Изгнание, эмиграция, исход, «субмирок» — как бы мы ни называли этот мир, каждый из нас в тот или иной момент столкнулся с его упадочностью и гротескностью, претенциозностью и нелепостью, с его юмором, печалью и радостью. Мы испытываем к нему ненависть, сострадание, отвращение, но мы чувствуем и свою причастность к тому добру и злу, которое воплощено в Майами. Некий сплав амбивалентных ощущений, которые нам трудно выразить.

С одной стороны, я чувствую свою общность с миром изгнания. С удовольствием гуляю по Восьмой улице, когда приезжаю в Майами, пью кофе на углу, закусываю в кафе, смотрю на кубинцев, освежающихся кока-колой и мороженым. Мне ничего не стоит найти общий язык с любой встречной компанией. Я чувствую себя здесь своим. Но на самом деле, на другом уровне, я далек от них и принадлежу к иному кубинскому сообществу, не имеющему ничего общего с этим миром. Все мои убеждения восстают против самой сути этого мира, и вдали от него я от него отрекаюсь.

...Есть что-то декадентское, сюрреалистическое, анахроничное в этом мире, воспроизвести который трудно, не обладая зрением Феллини. При том, что многое здесь кажется привлекательным и что я чувствую свою принадлежность к этой жизни. Грустно, но это так...

В нашем анализе мира изгнания мы должны отметить роль разнородных эмиграционных волн, сформировавших его и усложнивших его экономическую и социальную структуру.

Первыми приехали элементы, скомпрометировавшие себя при режиме Батисты. Потом те, кого не устраивали реформы революционного правительства, — латифундисты, хозяева предприятий, банкиры и т. д. Позднее Кубу покинули специалисты и мелкие предприниматели. Именно в это время правительство Соединенных Штатов стало продуманно и систематически стимулировать выезд кубинских граждан, пользуясь самыми различными методами, в том числе пресловутым законом о «patria potestad». Многие из уезжавших верили, что их возвращение — «дело одного-двух месяцев», так как правительство Кубы может пасть в любой момент.

С 1965 года начинается новая волна эмиграции в США, теперь уже по инициа-

тиве правительства Кубы. Многие едут в США, чтобы воссоединиться со своими детьми, родными, друзьями, убедившись в том, что революция развивается и укрепляет свои позиции. Некоторые покидают Кубу не по политическим, а по экономическим мотивам. Это было тяжелое время для революции.

Социальная структура изгнания воспроизводит резкое расслоение общества, характерное для дореволюционной Кубы, — разделение на бедные и богатые кварталы, разделение по принципу уровня образования, вида труда, материального положения, политических пристрастий и т. д. Все острее становятся проблемы преступности, наркомании, безработицы.

Антикоммунизм — вот что объединяло разношерстную кубинскую эмиграцию. Под его знаменем нашли себе место самые многочисленные представители самых разнообразных политических доктрин — от сторонников Батисты до либералов.

...Кубинская эмиграция политически дезорганизована и разобщена. Политическая деятельность сводится в большинстве случаев к «социально-патриотическим» акциям, в которых участвуют старые кубинки, мечтающие о потерянном рае, и девицы, ищущие приличного молодого человека с будущим, за которого они могли бы выйти замуж.

Майами в этом смысле являет собой пример полного разброда. Буржуазия живет в ирреальном мире, похожем на тот, в котором она жила на Кубе, бедняки работают с утра до ночи. А отдельные представители средних классов пытаются сохранить то, что они называют «своей культурой» и что давно уже превратилось в жалкую карикатуру. Так называемая кубинская «культура» продается и покупается на улицах Майами, как любой другой продукт на капиталистическом рынке.

Ассимиляция происходит быстро и часто помимо воли кубинцев, и мне кажется, что пройдут долгие годы, прежде чем к нам вернется национальное самосознание, если оно вообще вернется. Лишь очень немногие проявляют твердость в своем стремлении несмотря ни на что сохранить связь с национальными корнями.

Буржуа, хорошо вписавшихся в американское общество, мало волнует восстановление отношений между Кубой и Соединенными Штатами, хотя у некоторых из них, желающих показать себя либералами, может проснуться желание посетить Кубу. В конце концов «это более интересно, чем поехать в Сан-Хуан или Санто-Доминго, и пляжи там лучше». Но кубинец-бедняк, с утра до ночи вкалывающий на какой-нибудь фабрике, и даже мелкий собственник поедут на Кубу, хотя многим из них придется для этого продать последнюю рубашку. Они увидят там довольных людей, живущих нормальной жизнью. И тогда они спросят себя: стоило ли им ехать в Соединенные Штаты, чтобы оценить все это?

Когда восстановятся отношения... в Майами начнется страшный бедлам... Мне ясно видится гражданская война в кубинском ghetto в Майами. Конечно, американцы не дураки и примут меры, когда настанет время... Но все равно мне мерещатся картины страшного хаоса... люди выбрасываются из окон... «Версаль»[1], заполненный ликующей толпой... Карнавальные шествия на улицах... Разрываются бомбы. Корабли, отплывающие на Кубу. Шум и сутолока... На Восьмой улице комментируются события... Кто-то говорит: «Если Фидель придет в Майами, я первый повешу на дверь плакат: «Этот дом — твой».

[1] Самый большой ресторан в кубинской части Майами.

Воображаемое путешествие по Восьмой улице, или Возвращение в Майами и в его восемьдесят миров

Мир изгнания не ограничен пределами Майами, но без Майами нельзя до конца понять, что такое кубинское изгнание. Те, кто не жил в Майами, наверняка когда-нибудь там побывал, там у каждого из нас есть свои знакомые.

Для того чтобы понять, почему мы называем Майами «субмирок», нужно пройтись по Восьмой улице. В каком-то смысле это все равно что в машине времени перенестись в прошлое. Потому что в Майами живут, во всяком случае пытаются жить, как в некой мифической стране под названием «Старая Куба», созданной на основе фантазии, ностальгии, мистификации. Все это материализуется в «малой Гаване», районе города, где кубинская ностальгия достигает своего апогея, питаемая американским кичем.

Если Гавана пятидесятых годов походила подчас на Майами-Бич, то Майами, сооруженное кубинцами, похоже на копию копии. В Майами повсюду слышится испанская речь. Этот город не только резиденция кубинской эмиграции, но и туристский и торговый центр стран Латинской Америки. Отсюда его сомнительная привилегия считаться также центром контрабандной торговли кокаином, который проникает сюда из Латинской Америки и находится под контролем «кубинской мафии»... В Майами все, даже поросенок на Новый год, продается и покупается в рассрочку, на основе lay away, кредита для бедных. По системе lay away сумма за ту или иную вещь выплачивается вперед в рассрочку, и вы получаете необходимый вам предмет, лишь заплатив все сполна.

Восьмая улица — главная улица «малой Гаваны». В «малой Гаване» обосновались старые кубинцы, живущие в довольно стесненных материальных обстоятельствах, которые со временем отнюдь не улучшаются. Трудящиеся кубинцы и средние классы занимают Хайали, более обеспеченные эмигранты живут в северо-восточной части Майами и в районе Вестчестера, богачи разместились в «богатых кварталах» города. Но есть место в Майами, где собираются кубинские эмигранты всех рангов. Это ресторан «Версаль» на углу Восьмой улицы и Тридцать шестой авеню. Этот так называемый «зеркальный дворец» являет собой безвкусный креольский вариант своего французского прототипа. Это аляповатое сооружение с громоздящимися чуть ли не друг на друге столами, элегантность которому, по замыслу его создателей, очевидно, должны придавать зеркала и массивные люстры с тяжелыми подвесками. Все это дешевое стекло слепит не ослепляя.

Если мы продолжим путешествие по Восьмой улице, то на углу Тридцатой авеню увидим знаменитый книжный магазин, место сборищ кубинских интеллектуалов... Каждую субботу здесь собирается местная «интеллектуальная элита» и так называемые «революционеры», чтобы поговорить о «божественном» и «человеческом» и, в частности, как легко себе вообразить, обсудить новый проект свержения нынешнего правительства Кубы.

Провинциализм и некомпетентность участников подобных дискуссий бросаются в глаза. Случайному посетителю, услышавшему глупости, которые там изрекаются, с трудом удается удержаться от смеха. Именно случайному. Ибо местный житель, привыкший к подобным разглагольствованиям, в том числе и по радио или, лучше сказать, особенно по радио, уже ничему не удивляется.

Кстати, на углу Восьмой улицы и Двадцать шестой авеню высится здание Royal Trust Tower, откуда вещает радиостанция WQBA, более известная под названием «Самая кубинская». В ее коронной передаче в пять часов дня можно услышать такие сентенции: «Биранская гиена[1] выступала вчера на кровавой площади Революции, где красная тирания праздновала еще одну годовщину Комитета защиты революции, этого сборища фиделевских шпионов».

Местную прессу представляют помимо выходящих на испанском языке «крупных» ежедневных газет («Диарио де лас Американас», «Реплика», «Майами геральд») множество мелких газетенок, которые выходят раз в неделю или раз в месяц. Они существуют при коммерческих предприятиях за счет субсидий, пожертвований, попрошайничества и объявлений...

Но даже «крупные» газеты должны быть крайне осторожны в своих публикациях, ибо атмосфера в Майами нетерпима не только к «прогрессистским», но и к сколько-нибудь либеральным настроениям. Например, «Майами геральд» опубликовала статью о романе Гарсиа Маркеса «Сто лет одиночества». Не слишком глубокую, не слишком хвалебную, да и написанную довольно посредственно. Она вызвала бурное негодование эмигрантской общественности, в том числе письмо в редакцию, начинающееся следующим заявлением: «Господа, этого только нам не хватало! Неслыханно! И вы тоже! Международный коммунизм тратит огромные суммы на пропаганду во всем мире «Ста лет одиночества»... Эта грязная книга»... и т. д.

Театр Майами ограничивает свой репертуар несколькими развлекательными комедиями — жалкая постановка, жалкие пьесы, адаптация адаптаций, пародия на пародии. Любой актер, высказавший прогрессивные убеждения или побывавший с гастролями на Кубе, немедленно подвергается нападкам со стороны местных средств массовой информации... Майами, наверное, единственное место в мире, где слушать Марисоль, Жоана Мануэля Серрата и Денни Риверу значит подвергаться риску прослыть «коммунистом»...

В заключение нашего путешествия по Восьмой улице мы должны сказать, что на многое в «субмирке» Майами можно смотреть с иронией, даже с юмором, но существуют в этом мире вещи, к которым приходится относиться серьезно, ибо речь идет здесь о вопросах жизни и смерти. Мы имеем в виду феномен терроризма...

[1] Биран — место рождения Фиделя Кастро.

Терроризм среди эмигрантов

Для многих из нас процесс радикализации и изменения наших взглядов на новую Кубу был сопряжен с угрозой контрреволюционного террора.

Террористы в среде эмигрантов существовали всегда. Но вначале их акции были направлены против революционной Кубы, а сейчас они развязали в Майами междоусобную войну. ЦРУ использовало кубинских эмигрантов в качестве основной силы в борьбе с революцией на Кубе, и для многих кубинцев сотрудничество с Центральным разведывательным управлением помимо всего прочего было способом разрешения экономических затруднений.

Когда у правительства США отпала необходимость в кубинских террористах, последние как бы лишились жизненного сти-

мула. Кроме того, потеряв финансовую поддержку своих американских покровителей, они оказались без заработка и без официальных занятий. Они реагировали на это единственно возможным для них способом — новыми актами насилия.

В начале семидесятых годов мы столкнулись с группой людей, подготовленных для совершения террористических акций, брошенных своими хозяевами, неспособных выработать какую-либо определенную линию поведения, погрязших во внутренних склоках и интригах на почве предательства и денежных затруднений, не желающих признать, что революционный процесс на Кубе необратим.

...Растущий терроризм держит в страхе большинство кубинских эмигрантов, которые боятся высказывать свое истинное отношение ко многим проблемам, в том числе к положению на Кубе. Я думаю, что большинство кубинцев хотят восстановления отношений между Кубой и Соединенными Штатами, которое даст им возможность побывать на Кубе хотя бы с визитом. Естественно, этого не говорят вслух, потому что боятся бомбы и подозрений в симпатии к коммунистам.

Мы были жертвами различных типов терроризма. Во-первых, эмигрантская пресса — «газетенки изгнания», как мы их называем. Когда вышел первый номер «Арейто», они подняли против нас клеветническую кампанию. Нас называли коммунистами только потому, что мы поддерживали идею снятия блокады Кубы и пытались объективно анализировать этапы кубинской революции. Затем посыпались угрозы и анонимные письма, в конце концов несколько сотрудников редакции подверглись нападениям террористов.

Терроризм принял в Майами такие размеры, что правительство США вынуждено было создать здесь Большой суд присяжных, одну из форм американского правосудия, применяемых в кризисных ситуациях.

Эпилог

Что делать?

Какими мы себя представляем в 1988 году? Что мы будем делать через десять лет? Захотим ли мы вернуться на Кубу?

Я не знаю, что со мной будет в 1988 году. Не нужно забывать, что положение большинства из нас крайне нестабильно, мы не уверены в завтрашнем дне, у нас нет корней.

Я не представляю, каким буду в 1988 году. Конечно, мне трудно представить себя капиталистом, зато совершенно точно могу сказать, что буду на десять лет старше...

Я родился на Кубе, но вырос в Пуэрто-Рико, и я во многих отношениях чувствую себя пуэрториканцем. Мое будущее связано с этой страной, с ее борьбой за освобождение. Мне бы хотелось побывать на Кубе, пожить там некоторое время, но с тем чтобы вернуться в Пуэрто-Рико.

Я хотел и даже пытался поехать на Кубу... Мне хочется повидать родителей и семью. Сам я не считаю себя вправе приехать на все готовенькое и пользоваться плодами революции, не разделив трудностей и испытаний, которые выпали на долю кубинцев, боровшихся за победу революции на земле Кубы. Земле, которую я покинул.

Возможно, если бы у меня были сын или дочь, я бы предпочел жить на Кубе. Может быть, все сложится именно так. Но я предчувствую, что удел мой — доживать здесь.

Я бы хотел вернуться, потому что у Кубы есть будущее, хотя в настоящем много трудностей. Соединенные Штаты не имеют будущего, они движутся к упадку.

Безусловно, я чувствую необходимость вернуться на Кубу, прикоснуться к кубинской действительности.

Что касается того, чтобы остаться там навсегда... Не знаю, еще не решила. Очевидно, нужно жить там, где ты больше всего необходим, где можешь принести больше пользы.

Куба — моя страна, кубинская революция — моя революция. Я останусь в Соединенных Штатах или поселюсь в одной из стран Латинской Америки лишь в том случае, если не смогу вернуться на Кубу.

Меня приводит в ужас мысль, что мой сын будет расти в этой стране. Я готов решиться на то, чтобы совсем не иметь ребенка, лишь бы ему не пришлось жить в этом безумном мире и не подвергаться риску стать одной из его многочисленных жертв.

Если же подойти к проблеме менее эмоционально, то я должен признаться, что не уверен, что смогу адаптироваться на Кубе и что меня примут мои соотечественники. Большую часть своей жизни я прожил в Соединенных Штатах и в каком-то смысле превратился в американца, хотя чувствую себя не американцем, а кубинцем.

Если бы мне предложили выбрать, где жить, я бы остановился на Кубе. Мне бы хотелось работать там учителем. По образованию я учитель, но в США не могу найти работу... Сказать по правде, на Кубе я взялся бы за любую работу.

Я давно уже думаю о возвращении. Одно время я был одержим этой идеей. Сейчас я понимаю, что процесс адаптации может быть крайне болезненным, кроме того, не знаю, как на меня посмотрят те, кто прожил там все трудные годы.

Мне бы хотелось жить на Кубе, но мне тяжело во второй раз увидеть себя изгнанником, почувствовать себя на родине таким же чужим, каким я чувствую себя здесь. А между тем это может случиться.

Я знаю, что на Кубе меня ждет жизнь менее комфортабельная и обеспеченная, но зато я буду чувствовать себя порядочным человеком, избавившись от ощущения своей причастности к несправедливости, на которой основано общество, чьими материальными благами я пользуюсь.

Моя жизнь больше нужна здесь, в стране, где я живу сейчас, чем на Кубе. Мой долг — бороться вместе с народом этой страны за его освобождение...
Хотя все время мучит мысль, что не доведется умереть на родине.

Разумеется, я хочу и даже чувствую необходимость вернуться на Кубу. Я хочу вернуться на родину и по личным, и по политическим мотивам.

Без сомнения, многие из нас вернутся на Кубу, свою социалистическую родину. Но где бы мы ни жили в 1988 году, неизгладим отпечаток, наложенный на нас процессом, который заставил нас принять кубинскую революцию. Не исключено, что в каком-то смысле мы на всю жизнь останемся своего рода «гибридами» и всегда будем выпадать из контекста окружающей нас действительности. Но, с другой стороны, сознание своей живой, идеологической и духовной, связи с историей кубинского народа всегда нам будет приносить покой, счастье и уверенность.

Приложение

Ниже приведены некоторые данные о сорока семи участниках анкеты.

Классовая принадлежность

Двадцать четыре человека, из ответивших на вопросы «Арейто», — дети мелких буржуа или выходцы из так называемого «среднего класса». Семнадцать — члены семей крупных буржуа, пятеро — дети рабочих и крестьян. Один не ответил на вопрос.

Род занятий

28% опрошенных — студенты и аспиранты, 4% — клерикалы, 19% — преподаватели, 23% — адвокаты, архитекторы, журналисты, социологи, один человек — профсоюзный деятель, 6% не ответили на вопрос.

Пол и возраст

Среди сорока семи человек, ответивших на анкету, 15 женщин и 32 мужчины. Из них пятеро в возрасте от 19 до 23 лет, восемнадцать — от 24 до 28, шестнадцать — от 29 до 33, семеро — от 34 до 38, один человек 44 лет.

Серии вопросов, предложенных журналом «Арейто»

Общие сведения

Возраст, пол, образование, занятие, занятие родителей на Кубе, занятие в эмиграции, образование родителей, дата отъезда с Кубы, дата прибытия в США или Пуэрто-Рико.

Период жизни на Кубе

Политические убеждения родителей, их отношение к революции до 1959 года и после него, религия и ее роль, воспоминания о Кубе.

Впечатления об отъезде с Кубы

Воспоминания о последних днях на Кубе и дне отъезда, представления об эмиграции в тот момент, воспоминания о первых днях эмиграции.

Жизнь в США

А. Первые годы. Впечатления, предшествующие радикализации.

Назвать три события, три впечатления в первые годы эмиграции, оставившие особенно глубокий след.

Б. Процесс радикализации.

Назвать момент, с которого начался процесс нового отношения к революции, и момент, когда новые убеждения стали проявляться в конкретных действиях.

Назвать впечатления, людей, события, повлиявшие на процесс радикализации. Реакция семьи.

Отношение к Кубе

Описать свой сегодняшний взгляд на Кубу. В чем основные достижения революции? Ваши представления о проблемах революции уже решенных и которые предстоит разрешить. Какой вы видите Кубу в 1988 году?

Отношение к кубинской эмиграции

Ваше сегодняшнее отношение к эмиграции и точка зрения на ее эволюцию. Представление о кубинской эмиграции 1988 года с точки зрения ассимиляции, отношения к революции, политических взглядов, сохранения языка и культуры. Мнение о терроризме в среде эмигрантов. Точка зрения на реакцию кубинской эмиграции и особенно молодежи, на возобновление отношений между Кубой и Соединенными Штатами.

Что делать?

Каким вы представляете себя в 1988 году? Где бы вам хотелось жить в это время? Думаете ли вы вернуться на Кубу и почему?

Как бы вы назвали эту книгу?

Названия, предложенные участниками анкеты «Арейто»

«Не все кубинцы «гусанос» [1]. Процесс политической радикализации молодых эмигрантов».

«Из куколок выходят бабочки».

«Исповедь святого «Арейто».

«Исход и другие рассказы».

«Непутевые дети Вулкании»[2].

«Издержки роста, или Разногласия в среде кубинской эмиграции».

«Разлука и встреча».

«Встреча с революцией».

«От гусеницы к бабочке».

«Против ветра и течения».

Перевод с испанского М. КАНТОРОВИЧ

[1] Червяки, гусеницы, куколки *(исп.)*. — прозвища кубинских контрреволюционеров.

[2] Неофициальное название Майами.

◆

Антирубрика

ВЛОДЗИМЕЖ ШИСЛОВСКИЙ

■

Перевод с польского КАТАРИНЫ МУРАДЯН

ИЗВЕСТНЫЙ САТИРИК

Он брал — сначала мало, невпопад,
Потом смелее — и у всех подряд.
При этом он придерживался свято
Неписаных законов... плагиата.

РЕАЛИЗМ

Не плакала ива, над речкой склонясь,
Хотя почему-то плакучей звалась.

УТЕШЕНИЕ

И пятен солнечных не станет скоро
Благодаря искусству ретушера.

ПРОПОРЦИИ

«У вас, по-моему, терпенья мало...» —
Секунда строго Вечности сказала.

ПРОБЛЕМА ИЗ ОБЛАСТИ АКУСТИКИ

Быть чьим-то эхом — сложная наука.
Но как же эхо отличить от звука?

НЕТ

Запретный с л а д о к плод. И потому
Быть под запретом следует ему.

СТРОЙКА

Внизу — фундамент неготовый.
А наверху — венец лавровый.

Г. Л. ЛЭК

УПРЯМЫЙ РОБОТ

Перевод с английского Э. БАШИЛОВОЙ

Фирма «Аренда роботов», Лтд., Лондон

От А. Уиллиса эсквайра, 15, Слимбридж Гарденс, Бат, Сомерсет

Дорогой сэр,

огромное спасибо за то, что вы так быстро и точно выполнили мой заказ. Робот, которого вы прислали для работы в доме и саду (на время моего отпуска на континенте), оказался, если можно так выразиться, верхом совершенства. Он делал все, что от него требовалось: наводил порядок в комнатах, подстригал лужайку и вообще создавал видимость того, что дом обитаем,— в точности как рекомендует справочник по предупреждению преступности, изданный полицейским управлением.

Должен поздравить вас также и с тем, что вам удалось добиться потрясающего сходства со мной, а ведь я позировал всего-навсего два раза.

Я уже завел механизм, возвращающий робота к вам, и надеюсь, что вы получите его в полной сохранности. Буду признателен, если вы вышлете без промедления счет за прокат модели РР/1307.

С уважением
А. Уиллис.

А. Уиллису, эсквайру, 15, Слимбридж Гарденс, Сомерсет, Бат

От фирмы «Аренда роботов», Лтд., Лондон

Дорогой сэр,

благодарю вас за письмо. Очень приятно было узнать, что вы довольны работой нашей фирмы. Ваш лестный отзыв по поводу сходства между моделью РР/1307 и вами я передал технику, который непосредственно этим занимался.

Хочу объяснить небольшую задержку в отправке счета, вложенного в этот конверт: высланный вами робот пробыл в пути несколько дольше, чем предполагалось. Возможно, есть небольшие неполадки в механизме, осуществляющем его возвращение, что же касается прочих данных, то модель РР/1307 работает отлично.

Будем рады получить в срок денежный перевод и ждем ваших новых заказов.

С уважением
П. Крейн
(отдел доставки).

А. Уиллису, эскв., 15, Слимбридж Гарденс, Сомерсет, Бат

От юридической конторы «Брайт, Брайт и Пурвис», 5-А, Таун Сквер, Чемберс, Бат, Сомерсет

Уважаемый г-н Уиллис,

по поручению нашего клиента г-на Роберта Стегга, проживающего по соседству с вами (Слимбридж Гарденс, д. 17), обращаюсь к вам по поводу некоторых событий, по-видимому имевших место в течение августа месяца и первой недели сентября сего года.

Имеется в виду следующее. В течение этого срока, в то время как ваша супруга, по всей вероятности, находилась в отъезде, вы проводили длительные отрезки времени, наблюдая буквально за каждым шагом супруги моего клиента, г-на Стегга, которая, к чести ее следует сказать, долго не верила глазам своим. Наконец ее нервная система пришла в такое состояние, что г-жа Стегг буквально боялась выйти из дому или оставить незадернутыми шторы на окнах.

С тех пор как ваша жена вернулась из отпуска и вы приступили к работе, этой непрестанной слежке как будто бы настал конец, если не считать тех трех вечеров, ко-

гда вы продолжали следить за своей соседкой из укрытия, образованного низким кустарником в вашем саду.

Все вышеизложенное крайне шокировало супругов Стегг, которые до сих пор питали к вам глубокое уважение, хотя и не были с вами близко знакомы. Надеюсь, что вы не подадите нашему клиенту новых поводов для жалоб, и буду рад вручить ему ваше письмо, в котором вы все объясните и извинитесь — в том случае, если не соизволите сделать этого лично. Кстати говоря, г-н Стегг надеется, что вы предпочтете последнее.

От имени юридической конторы
А. Брайт.

В фирму «Аренда роботов», Лтд., Лондон

От А. Уиллиса, эскв., 15, Слимбридж Гарденс, Бат, Сомерсет

Дорогой сэр,

надеюсь, что робот, которого я брал в аренду, прибыл благополучно. Впрочем, поводом, побудившим меня взяться за перо, послужило нечто более серьезное, чем его задержка.

Направляю вам копию письма, полученного мною сегодня. Не трудно заметить, что события, вызвавшие нарекания моего соседа, совпадают по времени со сроком пребывания в моем доме вашего робота, которого г-н Стегг принял за меня самого.

Может быть, все это и свидетельствует о прекрасной работе создателей модели PP/1307, однако вы должны согласиться, что действия робота, упомянутые в письме, ставят меня в крайне неловкое положение. Буду вам чрезвычайно признателен, если вы пришлете письмо, которое раскрыло бы суть работы вашей фирмы и подтвердило бы, что в свое время она снабдила меня роботом. С таким письмом в руках я смог бы нанести визит г-ну Стегту.

Искренне ваш
А. Уиллис.

А. Уиллису, Эскв. 15, Слимбридж Гарденс, Сомерсет Бат

От фирмы «Аренда роботов», Лтд., Лондон

Дорогой сэр,

благодарю вас за письмо, которое мы получили сегодня. Смею заверить, что я прекрасно понимаю ваше положение. Однако услуги, предоставляемые нашей фирмой, как вам известно, сохраняются в тайне. Кроме того, мы обслуживаем лишь избранный круг лиц, собственно говоря, далеко не все знают даже то, что такой вид услуг существует. Поскольку г-н Стегг еще не состоит в числе наших клиентов, я вынужден отказать вам в вашей просьбе и предлагаю ограничиться устным объяснением, которого будет вполне достаточно.

С уважением
П. Крейн.

Директору фирмы «Аренда роботов», Лтд., Лондон

От А. Уиллиса, эскв., 15, Слимбридж Гарденс, Бат, Сомерсет

Дорогой сэр,

в дополнение к моему письму, направленному в вашу фирму несколько дней назад вместе с приложенным к нему письмом адвоката (которое, я надеюсь, у вас хранится), позвольте сообщить вам, что разговор мой с соседом, г-ном Стеггом, был абсолютно безуспешным. Если же называть вещи своими именами, то следует сказать, что г-н Стегг, при обычных обстоятельствах человек с мягким характером и тихим голосом, разразился страшной бранью и не пожелал даже слушать моих объяснений, назвав их бредом сивой кобылы. Кроме того, он отказался поверить, что такая фирма, как ваша, вообще существует.

Теперь, когда настал критический момент, совершенно ясно, что объяснительного письма недостаточно. Буду чрезвычайно благодарен, если вы пришлете мне робота назад, чтобы я смог доказать свою невиновность. Разумеется, необходимые расходы будут мной оплачены и строжайшая секретность соблюдена.

Ваш А. Уиллис.

Для внутреннего пользования! **Срочно!**

Фирма «Аренда роботов», Лтд.
От директора,
в отдел глубокого замораживания.

Прошу проверить, находится ли модель РР/1307 в состоянии полной рабочей готовности, и незамедлительно отправить ее по адресу: А. Уиллису, эскв., 15, Слимбридж Гарденс, Бат, Сомерсет.

Директору фирмы «Аренда роботов», Лтд., Лондон

От А. Уиллиса, эскв., 15, Слимбридж Гарденс, Бат, Сомерсет

Дорогой сэр,

думаю, вам будет приятно узнать, что операция прошла успешно. Выражение лица моего соседа в тот момент, когда я предстал перед ним вместе с вашим роботом, описать немыслимо, его нужно было увидеть своими глазами. Потом пришлось его убеждать, что мы с роботом — не близнецы-братья.

Есть и еще одна небольшая загвоздка. Я снова завел робота так, чтобы он возвращался к вам, однако, судя по его виду, покидать дом ему совсем не хочется. И хотя это в данный момент не причиняет мне особых неудобств, я был бы вам благодарен за совет.

Спасибо за внимание и прошу по возвращении робота выслать счет.

С уважением
А. Уиллис.

А. Уиллису, эскв., 15, Слимбридж Гарденс, Сомерсет Бат

От фирмы «Аренда роботов», Лтд., Лондон

Дорогой сэр,

счастлив был узнать, что операция прошла с блеском. Мы всегда рады угодить своим клиентам и в данном случае даже откажемся от оплаты.

Просим вас не беспокоиться по поводу медлительности, проявляемой нашим роботом. В обычных условиях мы после каждого задания настраиваем устройство, возвращающее модель на место. На сей раз, по причине поспешности, с которой мы отсылали к вам РР/1307, это не было сделано, и в механизме, видимо, появилась небольшая погрешность. Он должен начать работать; если же этого не произойдет через двое суток после получения вами моего письма, пожалуйста, свяжитесь со мной снова.

С уважением
О. Флавенбаум,
директор.

О. Флавенбауму, директору, «Аренда роботов», Лтд., Лондон

От А. Уиллиса, эскв., 15, Слимбридж Гарденс, Бат, Сомерсет

Дорогой сэр,

в дополнение к моему письму, отправленному в ваш адрес позавчера, хочу сообщить, что ваш робот все еще у меня, и, поскольку ведет он себя ненормально, я просил бы кого-то за ним прислать поскорее.

Возможно, что это лишь игра моего воображения, но мне кажется, что на лице у него выражение *превосходства* и весь вид у него такой, словно он *повелевает* всем домом. Видимо, механизм требует тщательной проверки.

Принимая во внимание все вышеизложенное, к помощи роботов я больше прибегать не буду, хотя вы в свое время и оказали мне большую услугу. Вот и сейчас, когда я пишу это письмо, он читает его, стоя у меня за спиной, что повергает меня в полное отчаяние.

С уважением
А. Уиллис.

От Патриции Уиллис,
15, Слимбридж Гарденс,
Бат, Сомерсет

Дорогая Тилли,

знаешь, я так много должна тебе рассказать, что нам нужно непременно встретиться, и поскорее. Отпуск на континенте мы провели изумительно, я надеюсь, что ты получила мою открытку из Венеции. Погода стояла великолепная все время, и жили мы в роскошном отеле. Даже мой Артур немного оттаял, а в те дни, когда у него были деловые встречи (ведь он совсем не умеет просто *отдыхать*), меня катал на моторной лодке один потрясающий швед! Разумеется, я не могу рассказать *всего*, достаточно сказать, что это был блондин, весь-весь покрытый красивым загаром! Настоящий викинг, совершенно в моем вкусе!

Я думала, что, когда вернусь домой, меня одолеет скука, но по крайней мере одно интересное событие все же произошло. Ты знаешь, что мы хотели взять одного из этих роботов, чтобы он присматривал за домом (честно говоря, я не должна тебе этого рассказывать, и ты не выдавай меня кое-кому). Ну вот, такого робота мы взяли, а он здесь неприлично себя вел, и наш сосед подумал, что это мой Артур пялит глаза на его жену. Артур! Можешь себе такое представить? Пришлось запросить робота на время обратно, чтобы оправдаться. Самое смешное в том, что теперь, когда все утряслось, он не хочет уезжать!

Целыми днями он слоняется по дому — кстати говоря, похож на моего благоверного как две капли воды (как будто бы мне одного из них было мало!). Однако этот робот бросает на меня взгляды, говорящие о том, что он совсем не такая холодная рыба, как мой милый Артур.

Я же говорю, Тилли, нам непременно надо увидеться — и ты тоже расскажешь мне о своих приключениях. Не думаю, что ты ездила в Ниццу *зря!*

Твоя Пэтти

Для внутреннего пользования!

Срочно!

Фирма «Аренда роботов», Лтд.,
Сеймуру Денту, отдел ликвидации

Прошу забрать модель РР/1307 у клиента А. Уиллиса, проживающего по адресу: 15, Слимбридж Гарденс, Бат, Сомерсет. Робота по возвращении ликвидировать.

О. Флавенбаум,
директор.

Директору фирмы О. Флавенбауму.

Уважаемый г-н директор,

сегодня утром я не вышел на работу, потому что неважно себя чувствую. Ваше последнее поручение — забрать робота из Бата — совершенно меня доконало, потому что ехать он не хотел ни за что.

В вашей фирме я работаю уже несколько лет, и раньше мне это очень нравилось, но теперь я понял — с меня хватит. Когда роботы были механизмами, все было в порядке, а теперь они так на нас похожи, что это меняет дело.

Этот последний вывернул из меня всю душу. Пока он просто дрался, я не имел ничего против, но вопль, который он испустил, когда я совал его в печь, пронзил меня как стальной клинок. Надо было меня предупредить, что он такой усовершенствованный. Я вообще не вижу смысла в том, чтобы делать таких натуральных роботов. Считайте это письмо моим заявлением об уходе.

С уважением
Сеймур Дент.

■

ВОЛЬФРАМ ЗИБЕК

О БОЖЕ, БОЖЕ...

Перевод с немецкого И. БОЛОТНИКОВА

Я постучал — три раза тихо, потом три раза погромче.

— Кто там?— шепотом спросили меня из-за двери.

— Тридцать шестой, — тихо ответил я.

Мы знаем друг друга только по номерам, обозначающим возраст. Согласно новому закону все старики — кому за тридцать — обязаны носить этот номер на виду, на левом рукаве.

Кто-то осторожно приоткрыл дверь, ведущую в помещение нашего тайного клуба.

— Ну, что слышно?— поинтересовались мои товарищи, как только я очутился внутри.

— Да все по-старому,— сказал я.— В городском парке изловили одного, ему за пятьдесят было... В гроте прятался несколько месяцев... А у нас в доме кто-то пытался влезть в помещение, где паспортный стол находится,— вероятно, за свидетельствами о рождении. Только ребята-часовые его поймали. Будет теперь последний свой год в тюрьме доживать...

— Может, скоро все это кончится,— заговорил Сороковой.— Я слышал, хотят понизить предельный возраст. Как будто до сорока пяти лет, а не то и до сорока.

— Рано или поздно они непременно это сделают,— заметил Тридцать третий. Он был самым молодым среди нас, и ему все равно оставалось бы жить еще семь лет. Наверно, поэтому он с таким чувством добавил: — Вот сукины дети!

— Сегодня за завтраком мой сын так пристально посмотрел на меня,— с грустью сказал Тридцать девятый.— Боюсь, он заметил, что я подкрашиваю виски.

Многие из присутствовавших непроизвольно схватились за свои виски: их предательскую седину пока удавалось скрыть только благодаря усилиям знакомых парикмахеров. У кого седина в волосах, того сейчас выгоняют с работы.

— Стариков, кому за тридцать, в кино теперь пускают только по воскресеньям, да и то на утренние сеансы,— сказал я. Но об этом все и так знали.

— Не самое страшное, если учесть, какие там фильмы показывают,— пробурчал кто-то.

— А что же нам еще делать?— возмутился Тридцать девятый.— Загородные прогулки запрещены, кегельные клубы распущены. Вино пить и слушать джаз нельзя, не то сразу в лагерь угодишь. А уж того, кто классиков читает...

И он выразительно покрутил рукой вокруг шеи. Все удрученно молчали.

Кто-то, направляясь к двери, обронил:

— Не дай бог, наши дети что-нибудь заподозрят, если в девять мы еще не будем дома.

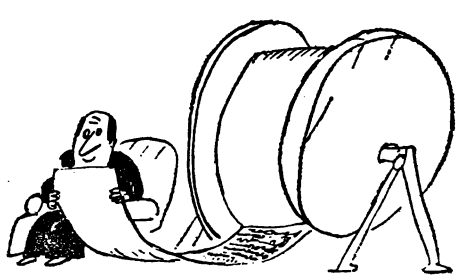
Вскоре ушел и я. По дороге домой я попал в облаву — проверяли возраст.

— Что, старикан, на кладбище бегал? — вернув мне паспорт, спросил карапуз.— Нет? Сходил бы как-нибудь, а? Глядишь, там бы и остался!

И он захохотал.

Дома меня отправили спать без ужина: сочинение, которое я написал за своего старшего сына, было оценено только на «удовлетворительно».

■



ПОМПИЛИУ ДУМИТРЕСКУ.
Румыния
Без слов.

ШАНДОР ТЁРЁК

ОБЩЕСТВО ОХРАНЫ ЛЮДЕЙ

Перевод с венгерского СВЕТЛАНЫ СОЛОДОВНИК

Однажды звери решили меж собой основать Общество охраны людей. Ибо им было очень стыдно оттого, что уже почти в каждой стране люди создали общества охраны животных, а они и ухом не ведут.

— За добро жди добра,— вещал волк,— нам тоже надо что-то предпринять.

— Верно,— вдохновенно поддержал товарища тигр.— Куй железо, пока горячо. Докажем, что и у нас есть сердце, не только у людей.

Послали делегатов ко льву. Изложили ему суть вопроса: в каждом звере, мол, живет горячее желание создать общество, и теперь дело лишь за его высочайшим соизволением.

Лев одобрил затею. Закивал головой:

— Вы правы, дорогие мои единомышленники, надо действовать!

Созвали собрание. Там были все до одного дикие звери и мирные домашние животные. Пришли ягуар, гиена, косуля, серна, слон, волк, лисы, зайцы, собаки. Митинг проходил на берегу моря, у подножия большой скалы. На мелководье скопились рыбы, вокруг на деревьях, как на галерке, расселись птицы. Явились все, даже больные поднялись с постелей: человека надо защитить! В последнюю минуту, запыхавшись, примчалась одна несчастная кошка. Какие-то дети привязали ей к хвосту пустую коробку из-под гуталина, и она стала от этого как бешеная. Это была многодетная, почтенная кошка, но стыд и физические мучения лишили беднягу рассудка. Жестяная коробка с грохотом волочилась за ней, и кошка считала, что она теперь ученик слесаря. Как ни странно, в подобных случаях не принято смеяться, это грустная история.

Словом, собрались звери все вместе и единогласно выбрали председателем льва. Так, всего лишь для соблюдения формальностей, ведь он всегда бывал председателем на собраниях зверей.

Лев торжественно взошел на скалу, надел на нос очки и вытащил речь, которую ему заранее подготовил жираф-секретарь.

— Дорогая публика, верные мои подданные!—начал он, и звери закричали: «Слушаем, слушаем!», а собака отпихнула в сторону безумную кошку, потому что она ужасно гремела своей коробкой.— Мы сегодня собрались здесь для того,— продолжал лев,— чтобы создать Общество охраны людей. Всем нам хорошо известно, что люди основали уже бесчисленное множество организаций, ведающих защитой животных, то есть нас. И я, естественно, нахожу, что если у них есть Общество охраны животных, то и у нас тоже будет свое Общество охраны людей. Очень рад, что вы согласны с моим мнением!

Волк и тигр переглянулись и промолчали.

— Дорогие мои подданные,— продолжал лев дрожащим от волнения голосом,— все вы прекрасно знаете, как много хорошего делают люди зверям. Это могут подтвердить, к примеру, голуби, которых кормят перед церквами вкусными булочками, а как люди любят фотографироваться с голубем на плече, что, если подумать, великая честь для такой ничтожной птицы, как голубь. Зимой люди развешивают птичьи кормушки в занесенных снегом лесах, и всем нам хорошо известен случай, который произошел совсем недавно, в печальное зимнее время: когда несколько стай ласточек отстало от армии перелетных птиц, великодушные люди на самолете переправили этих замерзших на ветру бедняг в самую теплую африканскую провинцию.

Аудитория засопела, одна седеющая ласточка тихонько разрыдалась, а лев протер очки и продолжал:

— Вы знаете также о том, что люди с возвышенной душой завещают свои маленькие сбережения собачьим и кошачьим приютам. О, как велико сердце человеческое! А мы что оставим после себя? Нет, братья и сестры мои, мы тоже должны идти в ногу со временем, и наше знамя, на котором мы выведем святой девиз человеколюбия, я верю, станет памятником тому древнему пастуху, который, как мы можем прочитать в письменных хрониках, вынул колючку из лапы одного из моих предков и тем самым спас его от заражения крови. Друзья мои, четвероногие, пернатые и плавающие, перед нами великая задача, вперед, на защиту человека!

— Вперед! Защитим человека! — восторженно зашумели четвероногие, рыбы и птицы.

— Приступим к обсуждению плана действий,— сказал лев, моргая на лежащую перед ним бумажку.— У кого есть какие-нибудь предложения? Мы должны решить, как мы будем охранять человека!

В собрании воцарилась глубокая тишина.

— Ну,— подталкивали друг друга слоны, ягуары, косули,— скажите же хоть что-нибудь!

АНТИРУБРИКА

— Что говорить? — простонала одна маленькая косуля,— я еще ни разу не обидела ни одного человека.

— Косуля желает выступить? — прогремел лев.— Пожалуйста!

Застенчивая косуля так смешалась, что позабыла, мальчик она или девочка.

— Уважаемые господа,— забормотала она,— не знаю, что и сказать... я никогда не обижала людей, честное слово, я их боюсь, я убегаю, если даже вдалеке почую человека. Правда, один раз в жизни я видела человека, это было, когда убили моего милого, тихого старшего брата.

— Верно,— подтвердили ее родственники и знакомые, серны и олени,— она никогда не обижает людей, и мы тоже не обижаем.

— Не обижает, не обижает,— проворчал слон.— Вы, косуля, большая глупышка. Я порешительнее вас буду и то никогда их не трогаю. Кто-нибудь когда-нибудь слышал о том, чтобы слон пошел в город охотиться на людей? А они являются сюда со всякими хитрыми штучками, в крайних случаях мы защищаемся, но если только есть возможность — убегаем.

— Что я хочу сказать? — запинаясь, залопотал заяц, нападая на слона.— Ведь с вами-то трудненько справиться.

— Вы все хоть можете убежать,— замычала тут одна корова,— а мне что делать? Держат в хлеву, пьют мое молоко, а потом... известно, что потом.

— А я? — захрюкала свинья.

— А я? — проржала лошадь.

— А мы? — заплакали куры, гуси, утки.

— А я? — залаяла собака.— Бьют, когда вздумается, а я и звука не издай.

— А я? — вопрошала канарейка.— Заперли в клетку и заставляют свистеть.

И заплакали все белки, попугаи:

— А мы, а мы, а мы?..

— Ну а я,— разрыдалась сумасшедшая кошка, и на ее хвосте забренчала жестяная коробка,— я бедный осиротевший подмастерье, куда мне деваться?

— Тише!— рыкнул лев и потряс колокольчиком.— Мы пришли сюда не для того, чтобы жаловаться, а для того, чтобы решить, как защищать людей!

— Да кто против? — зашумели звери.— Мы их и так не трогаем, это они на нас нападают.

— Шубы из нас делают,— разбушевались лисы, волки, медведи, соболи, крохотные горностаи и другие пушные звери.

— Сумочки выделывают из нашей кожи,— заохал посланник крокодилов.

— Как говорится, ворон ворону глаз не выклюет,— прокаркал ворон.— Только человек копает под человека. Человек — единственный, кто уничтожает себе подобных. Слон не убивает слона, зебра — зебру, а люди убивают друг друга, и даже самих себя.

— Правильно,— закричала кенгуру.— Человек на все способен и все разрушает.

— Довольно об этом! — воскликнул разъяренный лев.— Ведь и я тоже не охочусь на людей, не об этом речь. Общество создано, идея прекрасная, пожалуйста, решайте: как защищать людей, от кого, от чего защищать?

— От вас! — мяукнула безумная кошка.— Вы тоже убиваете друг друга.

— Ш-ш-ш,— примиряюще зашипели котята,— господин председатель рассердится!

— Пусть сердится, я не боюсь, я правду сказала!

Лев хотел вышвырнуть вон взбесившуюся кошку, но она забралась на дерево и оттуда шипела. Шакалы выли, трубили слоны, в общем, началась полная неразбериха, и лев взял в руки колокольчик. В конце концов постановили, что звери не могут защищать человека от человека — не имеют они права в это вмешиваться. Но что же тогда оставалось? Что было делать? Ничего.

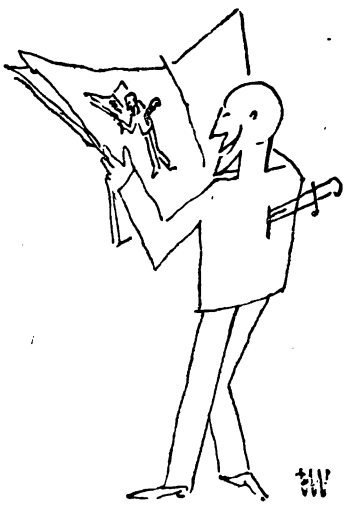
— С глубоким прискорбием должен сообщить,— возвестил лев,— что я вынужден распустить Общество охраны людей за отсутствием сферы деятельности, охрану собственной безопасности человек должен взять в свои руки.

— Ура! — зашумели звери, они уже привыкли, что нужно кричать «ура», когда лев что-нибудь скажет. И разбежались во все четыре конца света тигры, ягуары, слоны, косули, коровы и собаки, рассеялись по миру четвероногие, пернатые и рыбы. Сумасшедшая кошка тоже убегала все дальше и дальше, и только жестяная коробка громыхала за ней.

■

ТАН ОРАЛ.
Турция

Без слов.



Р. К. НАРАЙАН

О ЮМОРЕ

Перевод с английского ЕЛЕНЫ КАЛИННИКОВОЙ

«Если вы любите юмор, не говорите и не пишите о нем»,— наставлял знаменитый гуру [1] своего ученика. Похвальный совет! Потому что ничто так быстро не испаряется, как юмор, и особенно в тот момент, когда над ним начинают мудрить или объяснять его. Ничто так мгновенно не убивает юмор, как анализ или изучение.

Я чувствую себя безмерно счастливым при мысли, что юмор не служит предметом штудирования в наших университетах. Нас пощадили, избавили от лишних забот: приобретать степень магистра юмористических наук. Я частенько думаю о том, какие вопросы могли бы быть заданы, скажем, на экзамене по «теории юмора», если бы такая дисциплина существовала в университете. Быть может, такие: объяснить с помощью схемы анатомию смеха; в чем отличие усмешки от ухмылки; определить границу между серьезностью и веселостью; каково происхождение улыбки; что такое шутка, клоунада, реприза, эпиграмма, колкость. А на экзамене по «практике юмора» студенту поручили бы на деле применить теорию: предположим — рассмешить экзаменатора до гомерического хохота.

К счастью, юмор еще не является темой публичных выступлений. Но если бы он таковой был, то общественные деятели, возглавляющие неделю национального юмора, могли бы увещевать свою аудиторию так: «Будьте юмористически настроены. Мы должны распрощаться с печалью. Помните: печаль — наш национальный враг номер один. Юмор облегчает гнет существования, и поэтому, добрые граждане, тренируйте свое чувство юмора и в дни вашего отпуска, и во время всех национальных праздников, установленных правительством».

Пока нам очень повезло, ни одному правительству в мире еще не пришло в голову создать министерство сатиры и юмора. Хотя кое-где, благодаря росту культуры, уже такая опасность возникла. К счастью, юмор все еще остается привилегией одиночек. Иначе, конечно, появились бы инспекторы по юмору и отчеты в синем коленкоре о годовом обороте шуток в разных провинциях страны.

Я абсолютно убежден, что почтовые служащие обладают большим чувством юмора, чем сотрудники остальных государственных учреждений. Я предполагаю даже, что они в сговоре с нашим населением вершат свои тайные делишки, иначе чем объяснить загадочные явления, с которыми мы порой сталкиваемся?

Вот, скажем, жених в день свадьбы получает поздравительную телеграмму со словами: «Номер восемь». Такое таинственное сообщение, которое следует разгадать, я обнаружил в обычном доме после свадебных торжеств. «Номер восемь»... Я чувствовал в этом что-то зловещее... звучит как зашифрованное послание заговорщиков, решившихся на тайное убийство... Фантазия гостей безудержно разыгрывается, пока кто-то не отправляется на почту, где ему сообщают, что под «номером восемь» кроется всего-навсего кодовый номер приветствия, обращенного к небесам ниспослать ливень лучших благословений на счастливую чету.

Далее. Может быть, кто-то из вас заметил в городах на пешеходных дорожках металлические диски, расположенные на определенном расстоянии друг от друга? Каждый диск поднимается, как рассвирепевшая кобра, примерно на один фут над мостовой. Надпись на диске сообщает, что они установлены департаментом связи.

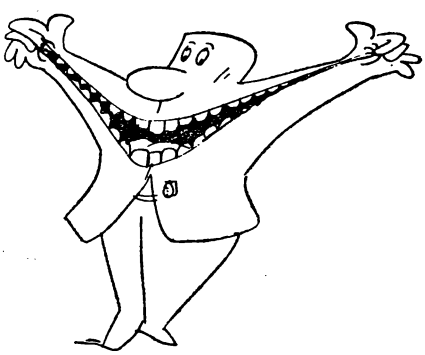
Только тупой, лишенный чувства юмора человек начал бы войну с этими дисками. Стоит вам немного понаблюдать, вы без труда заметите спокойно шагающих людей. И вдруг... один оступился на первом диске, другой — споткнулся на втором. Третьи обходят диски с опасением, а некоторые уже и прихрамывают — будто танцуют что-то, похожее на танго. И вот что любопытно: как только полицейские-регулировщики принуждают людей шагать по пешеходным дорожкам, именно в это время коварные диски рьяно осуществляют свою зловещую миссию. Такой уличный юмор выполнен, несомненно, на уровне цирковой клоунады, но тем не менее это — своеобразный юмор, и постараемся отдать ему должное.

Юмор — штука индивидуальная, и что-то в этом роде обобщить не представляется мне возможным. Я чувствую себя огорченным, когда вижу этаких серьезных мужей, вопрошающих: «У нас есть чувство юмора?» На этот вопрос следует отвечать в меру

[1] Учитель, наставник.

своих возможностей. Правда, вас тут подстерегает опасность: один мнит себя способным распознать юмор, другой — ни в какую. Но нет ничего более трагического, чем человек, заблуждающийся на этот счет. И нет на земле более несчастного, чем усердно заучивающий анекдоты и любящий их рассказывать. Я знаю одного общественного деятеля, считающего самой драгоценной собственностью увесистую книгу анекдотов и острот. Время от времени он выбирает два-три анекдота, тщательно репетирует перед зеркалом и затем изрекает перед аудиторией. Публика предвкушает комизм ситуации и наслаждается им заранее, ибо точно знает, что его анекдоты «с бородой» и все остроты извлечены со старого склада. Когда лектор делает паузу и произносит: «Я вспомнил анекдот...» — аудитория уже хохочет. Разве это не доказательство, что наш народ любит смеяться и обладает более тонким чувством юмора, чем многие ораторы, мнящие себя юмористами.

Наши карикатуристы, пародисты, фельетонисты сейчас находятся в расцвете сил и черпают свое вдохновение из нелепых ситуаций и противоречий, подмеченных в общественной жизни: они показывают претенциозность себялюбцев, помпезность кинозвезд, волокитчиков-бюрократов, но более всего их вдохновляет наш современник — человек обыкновенный, часто попадающий в бедственное положение и который не в состоянии вынести те усовершенствования и выгоды, какие сулят обрушить на его голову доблестные поборники прогресса. Разве возможно вынести все нелепости жизни, все абсурды ситуаций, если бы не наше чувство юмора, а это само по себе доказывает, что мы-то обладаем им в избытке.



ИРЖИ ДАНИЕЛЬ.
Чехословакия
Без слов.

◆

Наши гости

Сильвестр Эрдег

ВЕНГРИЯ

Сильвестра Эрдега считают в Венгрии одним из наиболее интересных молодых прозаиков. Его первый же сборник рассказов «Жеребенок», вышедший в 1972 году, был удостоен литературной премии Аттилы Йожефа. В 1976 году появилась следующая книга — «На горе черепов». В настоящее время к печати готовится третий сборник. В своих рассказах писатель строго реалистичен, многие из них носят автобиографический характер. Критика причисляет Эрдега к «деревенским прозаикам». Его герои — вчерашние крестьяне, люди, недавно переселившиеся в город, психологически еще не освоившиеся в новых условиях.

— Писателем быть я не собирался, всегда мечтал стать учителем. Откровенно говоря, и литература меня не особенно привлекала, больше я увлекался историей. Но однажды по просьбе родителей написал сочинение и послал его на радио, на конкурс. И неожиданно для себя и всех окружающих победил. И сразу «прославился». Тут уже отступать было некуда, надо было делом доказывать, что я «писатель». В сочинении на тему «Что такое счастье?» я такого однажды понаписал, что меня чуть из школы не выгнали... Ну, а потом, в 1966 году, один из моих рассказов принял журнал «Тисатай».

Однако перед тем, как наш гость стал профессиональным писателем, была служба в армии, учеба на отделении французского языка филологического факультета Будапештского университета. Сейчас Сильвестр Эрдег работает редактором в издательстве «Магветё». Последнее время он занимается и критикой, недавно опубликовал статью, посвященную творчеству Валентина Распутина.

— Когда я учился в университете, совсем не думал, что стану редактором. А сейчас на моем счету уже около ста отредактированных книг. Анализ чужих рукописей помогает критически подходить к своим вещам. В настоящее время я работаю над романом о венгерском революционере, одном из героев революции 1848 года Михае Танчиче.

Мы знаем, что наш гость уже несколько лет возглавляет клуб молодых литераторов имени Аттилы Йожефа при Союзе венгерских писателей. Просим его рассказать о деятельности Клуба.

— В конце шестидесятых — начале семидесятых годов в венгерскую литературу вошло новое поколение писателей. Все они родились, выросли, получили образование в

социалистическом обществе. Назрела необходимость создать организацию, которая объединила бы в своих рядах довольно большой отряд литературной молодежи. И вот в 1973 году был создан клуб молодых литераторов имени Аттилы Йожефа, выдающегося венгерского пролетарского поэта. За пять лет количество членов почти утроилось. Мы нашли свои, специфические формы коллективной работы: составляем сборники произведений молодых авторов, организуем дискуссии, встречи с читателями, завязываем международные связи.

Надо сказать, что у нас сложились прекрасные отношения с молодыми советскими писателями. В апреле прошлого года в Доме творчества Союза венгерских писателей в Сиглигете состоялась наша первая двусторонняя встреча. Молодежный литературный журнал «Мозго вилаг» опубликовал большую подборку стихов молодых советских поэтов. Приезжал к нам в гости для участия в работе «летних лагерей читателей» ваш известный прозаик Сергей Абрамов. Эта форма работы с подростками — также выдумка венгерских писателей-комсомольцев. Молодые литераторы, художники, композиторы на две-три недели становятся воспитателями, своего рода эстетическими вожатыми учеников профтехучилищ.

— Каковы, по вашему мнению, наиболее интересные книги «молодой» венгерской литературы?

— *О поэзии судить не берусь. Из прозы прежде всего мне бы хотелось отметить книгу Петера Надаша «Конец семейного романа», в которой описаны первые послевоенные годы. Петер Надаш, на мой взгляд, очень интересный прозаик, хотя ему еще много надо работать для того, чтобы стать настоящим мастером. Назову Петера Ландьела и Андраша Шимонффи, их книги мне пришлось редактировать. Мне кажется, они тоже обещают стать хорошими писателями. С интересом я слежу за творчеством Гезы Беременьи. Его стиль, полный иронии, неудержимого жизнелюбия, напоминает молодого Иштвана Эркеня. Из более «зрелых», несомненно, очень талантлива Маргит Ач, но думаю, ей необходимо писать о человеке вообще, а не только о женщине.*

— Где вам удалось побывать в СССР?

— *Впечатлений очень много. Увидел в первый раз Ленинград и Ереван. Два прекрасных и совсем не похожих города. Интересными были встречи в Совете по работе с молодыми писателями в издательстве «Молодая гвардия», в журналах «Литературная учеба», «Аврора».*

Я усиленно изучаю русский язык. Трехнедельное пребывание в Советском Союзе, думаю, должно мне очень помочь. В вашей стране у меня много друзей, хотелось бы с ними объясняться без переводчика. А главное — хочу в подлиннике читать произведения вашей великой литературы.

С. ФАДЕЕВ

◆

Из месяца в месяц

АВСТРАЛИЯ

В 1978 году важное место в австралийской кинопромышленности заняли художественные кинофильмы об аборигенах. В таких фильмах, как «Песня Джимми Блэксмита», «Последняя волна», исполнителями ведущих ролей являются актеры-аборигены — Томми Льюис и Дэвид Гулпилил.
«Последняя волна» режиссера Питера Вейра — остросоциальный фильм, повествующий о драматической судьбе аборигенов.
На снимке: Дэвид Гулпилил в фильме «Последняя волна».

(Журнал «Эйруэйз»)

БОЛГАРИЯ

ЛЕТОПИСЕЦ НАРОДНОЙ ЖИЗНИ

«Гигантский мост между классической и современной прозой, между литературой прошлого и литературой сегодняшней» — так охарактеризовал творчество выдающегося болгарского прозаика Георгия Караславова критик Александр Спиридонов в своей новой книге «Герои Георгия Караславова».

Анализируя образы многих героев в произведениях этого мастера прозы, критик подчеркивает, что это не просто портретная галерея; в характерах персонажей, в их взаимоотношениях, в их поведении нашли отражение главнейшие проблемы времени, основные направления общественного развития, история борьбы болгарского народа, коммунистической партии за создание нового общества.

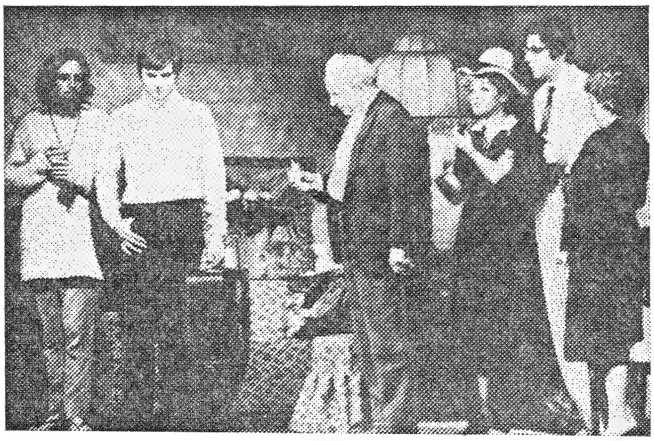
Как отмечает еженедельник «Литературен фронт», исследование А. Спиридонова выходит за рамки указанной в заглавии темы, в нем рассмотрены вопросы, касающиеся творчества Г. Караславова в целом и прежде всего вопрос о традиции и новаторстве, об овладении методом социалистического реализма.

ВЕНГРИЯ

ИМРЕ ДОБОЗИ О СВОЕМ НОВОМ РОМАНЕ

Газета «Непсабадшаг» опубликовала интервью с писателем Имре Добози по поводу его нового романа «Без власти», вышедшего весной этого года.

В настоящее время, сказал Имре Добози, в Венгрии наблюдается растущий интерес к истории недавнего прошлого. Действие нового романа происходит в 1945—1946 гг., главным его персонажем является секретарь райкома партии. «Хотя роман и написан на основе личных впечатлений и личного опыта, но не это главное,— подчеркивает Имре Добози.— Важно мое стремление изобразить становление личности, связь этой личности с коллективом, для сегодняшнего дня именно такой аспект очень своевременен. Однако мой собственный жизненный опыт человека, пережившего контрреволюционный режим 20-х годов и вторую мировую войну, ставшего участником освобождения и строительства новой Венгрии, несомненно отразился на мне как художнике, на моем мировоззрении... Я убежден, что каждый человек рожден для борьбы — для борьбы за идеи гуманизма, но вести эту борьбу может лишь тот, кто обладает чувством гуманности. Именно поэтому важно понять человека сегодняшнего дня в сопоставлении с человеком прошлого, отсюда мое стремление в своих произведениях, в каком бы жанре они ни были написаны, показать настоящее в соотнесении с прошлым. Я считаю это ключом к национальному самосознанию. Для меня историзм заключается не в обязательном и исключительном показе положительных моментов истории, а в стремлении показать человека в его сложных взаимосвязях с миром в наиболее характерные для истории периоды развития. Отрадно, что именно такой подход к изображению характерен сегодня для нашей литературы в целом.



На снимке: сцена из спектакля «Телевизионные помехи» в будапештском театре «Пешты синхаз».

(Журнал «Синхаз»)

Для меня в понятие историзма,— продолжает Имре Добози,— входит и понятие интернационализма. Когда я думаю об идеях свободы, я думаю не только о тех венграх, кто боролся за освобождение Венгрии, а и о тех венграх, кто сражался за победу революции в России, участвовал в гражданской войне в Испании, воевал в рядах Советской Армии во время второй мировой войны».

Идеи свободы, гуманизма Имре Добози связывает с постоянным поиском истины. Истина в марксистском понимании этого слова, говорит он, открывается лишь тогда, когда мы выдвигаем требование правды прежде всего по отношению к самим себе. Истина не относится только к этической категории, как не существует отдельно и какой-то особой политической морали. Политика тем лучше и убедительней, чем она полнее интегрирует в себе мораль.

О ТВОРЧЕСТВЕ КАРОЯ САКОНИ

Венгерский журнал «Синхаз» опубликовал большую статью театроведа Тамаша Тарьяна, посвященную драматургическому творчеству известного венгерского писателя Кароя Сакони.

В статье содержится анализ драматургических произведений Сакони, начиная с пьесы «Жизнь моя, Жока» (1963) и кончая пьесой «На шестой день» (1978).

Как правило, пишет Тарьян, пьесы Сакони посвящены жизни рядовой семьи, которая является одной из основных тем автора.

С одной из пьес Сакони — «Телевизионные помехи» — скоро познакомятся и советские зрители: ее готовят к постановке в театрах ряда городов Советского Союза.

ГДР

ПАМЯТИ БРУНО АПИЦА

Скончался один из старейших писателей Германской Демократической Республики Бруно Апиц. В некрологе Союза писателей ГДР говорится о жизненном пути писателя-антифашиста, узника Бухенвальда, принимавшего после освобождения активное участие в строительстве нового немецкого государства.

«Апиц — автор романов, рассказов, сценариев. Всемирную славу принес ему роман «Голый среди волков». За свою литературную и общественную деятель-

ность Бруно Апиц был дважды удостоен Национальной премии и награжден орденом Карла Маркса, он был членом Немецкой академии искусств и членом президиума Союза писателей ГДР. Мы потеряли в его лице социалистического писателя, мужественного борца за дело социализма. Мы будем чтить его память».

«Нельзя без волнения читать роман Бруно Апица «Голый среди волков»,— говорится в некрологе Немецкой академии искусств.— Это — рассказ о мужестве и стойкости людей, сумевших сохранить доброту и человечность в страшное время фашистского владычества».

С большими статьями о Бруно Апице выступил Вернер Нойберт в газете «Берлинер цайтунг», Альфред Кляйн в «Нойес Дойчланд», Уве Кант в «Зонntаг».

«НОЧНЫЕ ИГРЫ»

Так называется новый фильм студии ДЕФА. Это режиссерский дебют известного кинооператора Вернера Бергмана.

...В гостиницу приезжает молодая пара, стремящаяся хоть ненадолго уйти от родительской опеки. В этой же гостинице останавливаются двое людей более зрелого возраста: человек, находящийся в командировке, и женщина, попавшая в автомобильную аварию. Эти четыре человека проводят вместе меньше суток, но о многом успевают поговорить, многое узнать друг о друге, многое решить.

«Вернер Бергман создал фильм о четырех людях, об их проблемах, об их жизни,— пишет рецензент газеты «Нойес Дойчланд».— В этой на первый взгляд бесхитростной истории ему удалось показать интересные, живые характеры».

«Бергман никому не подражает, он идет своим путем,— пишет газета «Берлинер цайтунг».— Фильм «Ночные игры» можно назвать камерным, неброским фильмом, но он безусловно тронет зрителей и будет пользоваться успехом».

На снимке: Хорст Дринда и Кристина Шорн в фильме «Ночные игры».

(Газета «Нойес Дойчланд»)

КНИГИ НА ЛЕЙПЦИГСКОЙ ЯРМАРКЕ

Около 80 издательств Германской Демократической Республики представили свою продукцию на весенней Лейпцигской ярмарке. Среди книг — примерно 3 000 новинок. Пресса отмечает новые романы известных писателей: «Кипшенберг» Дитера Нолля, «Погреб старой кузницы» Герберта Нахбара, «Вступление в рай» Ганса Вебера, «Дерево Магдалины» Армина Мюллера, рассказы Юрия Брезана, Эрика Нойча, Эберхарда Паница, сборники стихов, литературоведческие работы.

К 30-летию ГДР издательство «Миттельдойчер ферлаг» выпустило антологию «Базар у красной башни», в которой приняли участие прозаики, поэты, художники, графики и скульпторы. Юбилейной дате посвящен также сборник, выпущенный Институтом марксизма-ленинизма, Центральным комитетом СЕПГ и Культурбундом ГДР. Он содержит воспоминания деятелей культуры о первых годах восстановления страны.

Особое внимание уделено на ярмарке книгам для детей. Их выставили на стендах издательства ГДР, СССР, Чехословакии, Болгарии, Кубы, Франции.

Широко представлена и переводная литература, в том числе советская.

В книжной ярмарке приняли участие 22 страны.

«Ярмарка книг в Лейпциге — мероприятие большого культурного значения,— пишет газета «Берлинер цай-

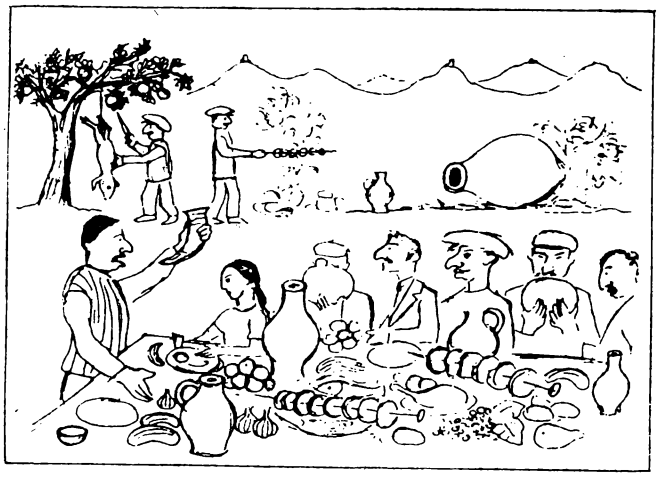
тунг».— Это — вклад в дело взаимопонимания между народами в духе Хельсинки».

ДАНИЯ

ХАНС ШЕРФИГ— ХУДОЖНИК

Ханс Шерфиг, скончавшийся на 74-м году жизни в январе этого года, был не только крупнейшим датским писателем, но и художником. Его выразительная графика, полные сочных и ярких красок картины, панно, иллюстрации к книгам приобрели широкую известность. Херлуф Бидструп так писал о нем: «Рисунки Шерфига — либо остросатирические и полные юмора, либо лирические и идиллические. Они свидетельствуют, что он никогда не менял своих взглядов на капиталистическую систему. В то же время его более поздние произведения выражают радость и удовлетворение по поводу того, что народы Советского Союза могут теперь пользоваться плодами Октябрьской революции и своей победы над фашизмом. Его совершенно не страшили бешеные нападки врагов, недовольных его открытой симпатией к социализму, ставшему реальностью. Те же, кто упрямо придерживался пронацистских, антикоммунистических позиций, имели все основания испытывать страх перед контрударами Шерфига, часто разившими противника наповал лишь с помощью смеха».

В связи с кончиной Шерфига в Скандинавских странах состоялись вечера, посвященные творчеству писателя. По телевидению Дании и Швеции демонстрировался фильм-интервью с писателем, снятый незадолго до его смерти. В Копенгагене были показаны отрывки из драмы, написанной по роману Шерфига «Замок «Фрюденхольм», а также из оперы Хеннинга Христиансена по его роману «Ботус Окцитанус, или Восьмиглазый Скорпион», состоялась выставка его картин.



На снимке: рисунок Ханса Шерфига «Обед под открытым небом в Грузии».

(Газета «Фрихетен»)

Норвежская коммунистическая газета «Фрихетен», посвятившая памяти Шерфига ряд материалов, опубликовала некоторые из его рисунков разных лет.

ИЗРАИЛЬ

«ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ»

Как сообщает газета «Аль-Иттихад», в издательстве «Дар аль-Кятиб» (г. Иерусалим) недавно вышла в переводе на арабский язык третья книга известной израильской общественной деятельницы и адвоката коммунистки Фелиции Лангер под названием «Из записной книжки».

Книга изобличает израильские власти, беспощадно подавляющие борьбу за свободу палестинцев на оккупированных арабских землях.

Видный палестинский ученый и публицист доктор Эмиль Тума в своем предисловии к книге дает высокую оценку новой работе Лангер. В ней она, как и в предыдущих книгах — «Своими глазами» и «Это мои братья»,— отражает путь страданий и борьбы палестинского народа.

ИНДИЯ

ЮБИЛЕЙ СУРДАСА

В Дели, как сообщает газета «Джан юг», прошла научная конференция, посвященная 500-летию со дня рождения одного из крупнейших поэтов индийского средневековья — Сурдаса (1478—1564). Конференция была организована отделом культуры министерства иностранных дел Индии и национальным комитетом по проведению юбилея Сурдаса.

Председательствующий — министр иностранных дел Индии А. Ваджпаи — в своем выступлении охарактеризовал Сурдаса как одного из величайших представителей мировой литературы.

В конференции, вместе со своими индийскими коллегами, приняли участие также ученые из Советского Союза, ЧССР, ФРГ, Японии и ряда других стран.

РАСТУЩАЯ АКТИВНОСТЬ

По сообщению газеты «Джан юг», в Дели состоялась годичная сессия Национального совета — руководящего органа Национальной федерации прогрессивных писателей Индии (НФППИ).

В отчетном докладе генерального секретаря НФППИ Бхишама Сахни было отмечено, что в области культуры наблюдается опасная активизация религиозно-общинных и консервативных сил.

Бхишам Сахни обратился к местным отделениям организации с призывом приложить все усилия к подготовке и проведению 100-летнего юбилея со дня рождения классика индийской литературы Премчанда — юбилея, который все прогрессивное человечество будет отмечать в 1980 г. Учрежден юбилейный комитет, в состав которого вошли представители всех литератур Индии.

НОВАЯ ПОЭМА НАГАРДЖУНА

Три колонки одного из воскресных номеров газеты «Джан юг» заняла рецензия на только что вышедшее в свет «Сказание о хариджане» — новую поэму выдающегося прогрессивного поэта хинди Нагарджуна (см. «ИЛ» № 2, 1977).

Поэт, всегда стоявший в первых рядах прогрессивных сил страны в борьбе за светлое будущее своего народа, не мог оставаться равнодушным наблюдателем того, как отчаянно сопротивлялись проведению в жизнь аграрной реформы деревенские богатеи. Они развернули широкую кампанию запугивания и террора прежде всего против безземельных крестьян.

Поводом для создания поэмы послужили события в одной из деревень Северной Индии, где деревенская верхушка учинила настоящее побоище, жертвами которого стали многие хариджаны («неприкасаемые») и члены их семей, женщины, старики, дети. «Такую потрясающую картину насилия и террора, которую нарисовал автор в поэме, можно встретить разве только в народных преданиях,— пишет рецензент, известный критик-марксист Вишванатх Трипатхи.— В нашей литературе ничего подобного я еще не встречал... Все, о чем повествует Нагарджун, он почерпнул не на литературных семинарах и не со страниц популярных еженедельников с их наигранным возмущением и словесными фейерверками. Для этого надо было не один год прожить среди неприкасаемых, среди деревенских поденщиков, людей, представляющих социальные низы общества. Самой сильной стороной творчества Нагарджуна является его неразрывная связь с жизнью — это тот фундамент, на котором зиждется каждое его произведение».

ИНДОНЕЗИЯ

ПРАЗДНИК ПОЭЗИИ

В Джакарте состоялась встреча поэтов стран АСЕАН, организованная по инициативе Джакартского совета по делам искусств. В этом первом в своем роде мероприятии приняло участие 35 индонезийских поэтов, среди них Сутарджи Кальзум Бакри, Сапарди Джоко Дамоно, Ситор Ситуморанг. Из Малайзии прибыло семнадцать делегатов, в том числе Кемала, Мухаммад Хаджи Салех, Усман Аванг и Баха Зайн. Филиппины представлял Леонидас Бенеса, Таиланд — поэты Ангкарн Кальянапонгс, Витаякорн Чиенгкул, Наоварат Понгпаибол, а Сингапур — поэты Джамал Тукимин и Чу Кок Чанг. В Джакарте планируется издание сборника стихов участников встречи на языках оригиналов с параллельным английским переводом. Следующую встречу поэтов АСЕАН намечено провести в Маниле в 1980 г.

ИСПАНИЯ

ПРЕМИЯ «МИГЕЛЬ ДЕ СЕРВАНТЕС»

В 1978 году эту почетную награду, ежегодно присуждаемую Королевской Академией литературы и языка испаноязычному писателю, получил восьмидесятилетний Дамасо Алонсо, крупнейший из ныне живущих испанских филологов.

Блестящий ученый, Алонсо еще в 1927 году был удостоен национальной премии за работу «Поэтический язык Гонгоры». Круг его интересов необычайно широк, но главное место среди опубликованных им монографий занимают исследования по испанской поэзии. Основатель и глава стилистической школы в литературоведении, автор ряда фундаментальных работ, Дамасо Алонсо сегодня пользуется признанием ученых многих стран мира. В 1948 году он был избран в Королевскую Академию, а в 1968 году становится ее президентом.

Дамасо Алонсо и сам является блестящим поэтом, представителем поколения, к которому принадлежат лучшие испанские поэты XX века: Ф. Гарсиа Лорка, В. Алейсандре, Х. Гильен, Р. Альберти, М. Эрнандес. Его первые сборники были опубликованы в 20—30-е годы. В 1942 году Дамасо Алонсо выпустил свой первый после окончания национально-революционной войны сборник «Дети гнева», где в аллегорической форме осуждает фашистский режим и братоубийственную войну. Книга «Дети гнева» знаменовала собой рождение гуманистической и реалистической послевоенной поэзии, стала отправной точкой для целого поколения.

Известный современный поэт старшего поколения Луис Росалес в статье, опубликованной мадридской газетой «Эль паис» в связи с присуждением премии «Мигель де Сервантес», охарактеризовал эту книгу как «радикальным образом изменившую поэтический мир нашего времени». Поэтиче-

ское творчество Дамасо Алонсо 20-х и 60-х годов отличается глубиной, строгостью стиля и связью с лучшими традициями испанской классической поэзии.

ЗА РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ИСКУССТВА

В Мадриде состоялся «Демократический конгресс испанского кино», созванный по инициативе ряда политических партий, профессиональных и творческих организаций.

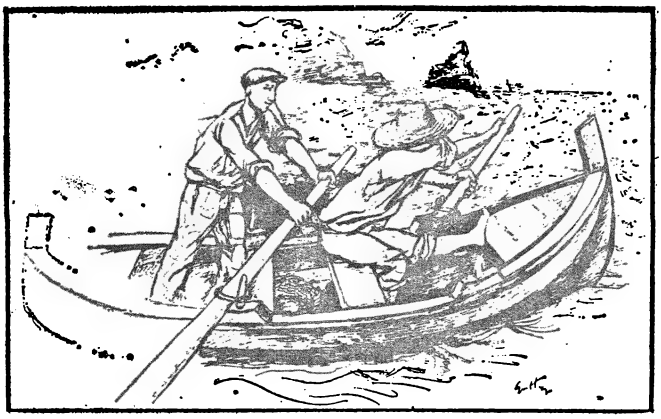
Делегаты конгресса представляли 1700 кинематографистов страны: сценаристов, режиссеров, операторов и т. д. Внимание участников форума привлекли, в частности, проблемы проката фильмов, влияющего на формирование вкуса зрителей.

Одну из основных проблем сегодня представляет засилье в стране крупных межнациональных прокатных фирм, господствующее положение в которых занимают Соединенные Штаты. Эти фирмы совершенно не заинтересованы в пропаганде испанского кино. Половина фильмов, пользовавшихся в 1978 г. наибольшим коммерческим успехом, была снята в США. В основном это фильмы развлекательного характера. Серьезным и интересным фильмам, рассказывающим о проблемах современной Испании, анализирующим ее недавнее прошлое, не всегда легко найти своего зрителя, поэтому дискуссия о пропаганде национального искусства, о необходимости организации ежегодных кинофестивалей, создании фильмотек, школ профессионального мастерства приобрела на конгрессе особенно острый характер.

ИТАЛИЯ

ВЕРГА В ПРОЧТЕНИИ ГУТТУЗО

Газета «Унита» в дар своим подписчикам 1978 — 1979 годов преподносит новое издание романа классика итальянской литературы Джованни Верги «Семья Малаволья» с восемью иллюстрациями, выполненными художником Ренато Гуттузо. Роман сицилийского писателя конца прошлого — начала нашего века, реалистически описавшего жизнь рыбаков родного острова,



На снимке: рисунки Ренато Гуттузо к роману Джованни Верги.

(Газета «Унита»)

оказал глубокое влияние на многих итальянских авторов — представителей направления веризма, вдохновил режиссера Лукино Висконти на создание фильма «Земля дрожит» — одного из первых произведений неореализма; отзвуки этого романа чувствовались и в другой его ленте — «Рокко и его братья». Теперь к нему обратился Ренато Гуттузо.

В газете «Унита» художник опубликовал статью, в которой говорит о тех давних особых узах, которые связывают его творчество с творчеством Верги — сицилийца, как и Гуттузо. Художник вспоминает, какое неизгладимое «впечатление произвел на него в отрочестве этот роман, который он не раз перечитывал потом в своей жизни. Многие персонажи романа запечатлены в его работах, в частности в росписи небольшой церкви в рыбачьем селении Аспра неподалеку от его родного города Багерия. Рисунки, изображающие рыбаков и крестьян-поденщиков Аспры и других сицилийских прибрежных деревень, просил художника сделать для своего фильма Лукино Висконти. Многие из них он использовал при подготовке к съемкам. В частности, знаменитые кадры фильма, показывающие женщин в

черных шалях, ожидающих в тревоге возвращения рыбаков на берегу бушующего моря, навеяны зарисовками Гуттузо. Художник пишет, что в числе его друзей было много сицилийских рыбаков, живо напоминающих персонажи Верги.

«Вспоминая и размышляя обо всем этом,— говорит Гуттузо,— я выполнил рисунки для нового издания «Семьи Малаволья», осуществленного газетой «Унита» и издательством «Эдитори риунити», надеюсь, что они хранят хотя бы некоторые следы того, что я нашел и прочувствовал в этой замечательной книге, составляющей столь большую и неотъемлемую часть жизни Сицилии и моей собственной».

На выставке в Гаване, посвященной пятнадцатой годовщине создания Союза писателей и деятелей искусства, были представлены и рисунки о детях.
На снимке: картина художника Пуига «Детские игры: голубь».

(Журнал «Куба»)

КУБА

«НОКТЮРН БЕСТИЙ»

Так называется роман кубинского поэта и журналиста Хоакина Г. Сантаны, недавно опубликованный в Гаване издательством «Уньон». Положительно оценивая первое крупное выступление в прозе Хоакина Сантаны, рецензент Сино Колина в газете «Гранма» отмечает оригинальность и динамику сюжета, умелое построение острых коллизий.

Действие романа развертывается в период между 1957 г. и первыми месяцами 1959 г., когда на Кубе развертывалась борьба против ненавистной народу диктатуры Батисты.

Воспоминания полицейского шпика перед расстрелом, к которому он приговорен народным трибуналом за совершенные злодеяния, перемежаются в романе с яркими эпизодами, показывающими решительную и упорную борьбу с тиранией. С. Колина пишет в рецензии, что перед читателем как бы оживает недавнее тяжкое прошлое его родины и народа.

Рекомендуя новую книгу Хоакина Г. Сантаны, рецензент пишет, что она поможет читателям заново пережить волнующие моменты истории страны, а молодым кубинцам — глубже понять то, чего никогда нельзя забывать.

МЕКСИКА

Одной из лучших актрис года названа мексиканской критикой Исела Вега, успешно выступающая в кинематографе, театре и на телевидении. Фильмы с участием И. Вега пользуются большой популярностью во многих странах Латинской Америки. Актриса с успехом снялась в нескольких картинах, сделанных известными режиссерами Испании и США. Советским зрителям И. Вега знакома по фильму «Грибной человек».

На снимке: Исела Вега.

(Газета «Эксельсиор»)

НАРОДНАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЙЕМЕН

НОВЫЕ ТЕАТРАЛЬНЫЕ ПОСТАНОВКИ

Как сообщает выходящая в г. Адене газета «Ас-Саури», по случаю двух знаменательных событий в жизни йеменского народа — пятнадцатилетия со дня начала восстания в Южном Йемене против британских колонизаторов и приуроченного к этой годовщине создания партии нового типа — Йеменской социалистической партии — столичные и провинциальные театральные коллективы Народной Демократической Республики Йемен показали зрителям несколько новых пьес.

Аденский Авангардный театр поставил пьесу «Сана — открытый город», в основу которой положена одноименная повесть йеменского писателя Мухаммеда Ахмада Абд аль-Вали (1940—1973). Режиссер — Хусейн ас-Сейид, автор инсценировки — Атик Сакариб.

Действие пьесы охватывает период с 1947 по 1957 год. Она переносит зрителя то в древнюю столицу Йемена Сана, то в Аден, то в Тихаму, на побережье Красного моря, то в горные йеменские деревушки. Пьеса, по словам обозревателя газеты «Ас-Саури», передает трагедию йеменского народа, изнывавшего под гнетом феодально-теократической монархии на севере страны и британского колониализма на юге. Музыка и народные песни, составляющие органическую часть действия пьесы, усиливают ее эмоциональное воздействие.

Труппа Национального театра (г. Аден) поставила сатирическую пьесу «Убийственный индивидуализм», посвященную сегодняшним проблемам демократического Йемена. Автор и режиссер пьесы — Али ар-Рахм.

Театральный коллектив «Октобар» («Октябрь») округа Аш-Шааб показал зрителям пьесу немецкого драматурга Бертольта Брехта «Правило и исключение» (режиссер Ахмад аш-Шамири).

ПАПУА — НОВАЯ ГВИНЕЯ

СОБЫТИЕ В КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ

«Книга на службе нации» — так озаглавлена передовая статья газеты «Пост курир», выходящей в Порт-Морсби, столице Папуа — Новая Гвинея. В этой статье и других материалах номера широко освещено большое событие в культурной жизни молодой республики — открытие нового здания Национальной библиотеки в городском центре Ваигани, оцениваемое как «важный шаг на пути прогресса». В связи с переездом в новое здание библиотека значительно пополнила свои фонды, которые состоят из книг, написанных первыми путешественниками, посетившими этот далекий остров, миссионерами и поселенцами ранней поры, а также справочной литературы и энциклопедий по многочисленным отраслям знаний; внушительная коллекция книг по искусству охватывает все страны мира. Кроме книг и периодических изданий (для их чтения выделены специальные залы) библиотека насчитывает свыше 10 000 фильмов, микрофильмов и других аудиовизуальных материалов, роль которых особенно велика в стране, где грамотность еще невысока.

Открытие новой библиотеки будет способствовать повышению культурного уровня населения страны и расширению информации.

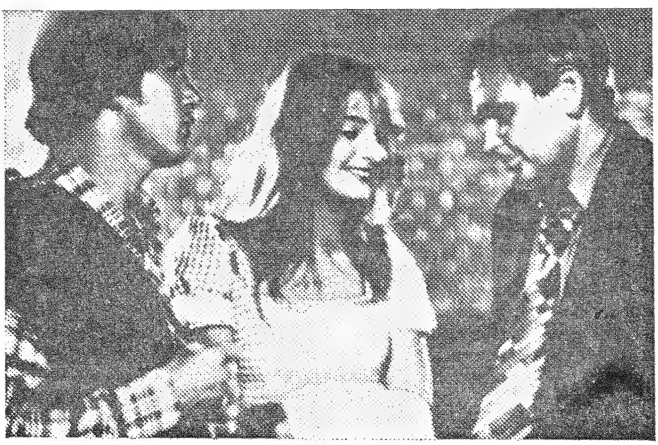
ПОЛЬША

«ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПЕЙЗАЖ»

Польский документалист Януш Кидава, дебютировавший художественным фильмом «Горизонтальный пейзаж», был прежде известен лишь как создатель короткометражных фильмов «Искатели завтрашнего дня», «Человек с цифрой», «Многоголосие». Эти фильмы, снятые на крупнейшей польской стройке семидесятых годов — металлургическом комбинате Катовице, являются плодами его наблюдений за жизнью и работой строителей, прибывших на стройку со всех концов страны. Ту же тему он раскрывает в фильме «Горизонтальный пейзаж», при-

Кадр из фильма «Горизонтальный пейзаж»

(Журнал «Фильм»)



знанном одной из интереснейших работ 1978 г.

На вопрос корреспондента журнала «Фильм» Яна Левандовского, не боялся ли режиссер браться за производственную тему, имея в виду, что она была «скомпрометирована» плохими фильмами, Януш Кидава ответил: «Да, боялся, я понимал, что это очень трудная тема. Все мои усилия были направлены на то, чтобы доказать, что «производственный» фильм может быть интересным, я все время думал о том, как создать увлекательную ленту... Но это, однако, не значит, что я покончил с документальным кино, просто проблемы, о которых я хотел сказать, не вмещались в жанр документального кино».

Чтобы создать впечатление подлинности изображаемых событий, многие съемки на строительстве Гуты Катовице велись скрытой камерой. С этой же целью режиссер пригласил сниматься в фильме актеров, не пользующихся широкой известностью.

«Утренние звезды» — так называется фильм, поставленный по сценарию Евы Петельской молодым режиссером Хенриком Бельским. Фильм повествует о совместной борьбе польских и советских партизан против гитлеровских оккупантов.
На снимке: кадр из фильма «Утренние звезды».

(Журнал «Фильм»)

БИБЛИОГРАФИЯ ПЕРЕВОДОВ

В издательстве «Чительник» в Варшаве вышел второй том Библиографии литературы, переведенной на польский язык. Если в первом томе содержится информация о переводах литературы пятидесяти пяти капиталистических и развивающихся стран, то второй том дает перечень названий переводов литературы социалистических стран, вышедших в период с 1945 по 1977 г.

Он включает перечень романов, повестей, рассказов, драматических и поэтических произведений, а также произведений мемуарной и библиографической литературы, очерков, эссе, фельетонов. Сюда же включены материалы по теории литературы и литературной критике. В Библиографии представлены публикации из области искусства (музыка, театр, живопись, скульптура, архитектура), книги по археологии, науке и просвещению, научно-популярные произведения для детей. В отличие от первого тома Библиографии во второй том не вошли научные и научно-популярные работы из области философии, религии, социологии, истории и политической экономии.

Большое место в Библиографии уделено советской литературе.

И первый и второй тома, как говорится в предисловии, отображают достижения польских переводчиков в области художественного перевода, показывают огромный труд издателей.

В 1981 г. предусматривается выпуск следующего тома, в который войдет список переводов литературы всего мира до 1980 г.

США

«СЫН УТРА»

Творческий диапазон Джойс Кэрол Оутс необычайно широк. Она известна в первую очередь как романистка. Но ее новеллы и стихи, а также многочисленные литературно-критические эссе неизменно привлекают внимание читателей. Хотя Оутс принадлежит к молодому поколению американских писателей, ею написано уже более двадцати книг, что само по себе свидетельствует и о необыкновенной работоспособности писательницы, и, главное, об ее исключительно серьезном отношении к своему ремеслу — качество, свойственное далеко не многим молодым писателям США. Нередко творчество Оутс вызывает у американских критиков отрицательные эмоции, нотки разочарования и даже недовольства проскальзывают особенно часто в последнее время. Главная претензия, предъявляемая ей критиками,— известное однообразие ее творчества, привязанность к нескольким «своим» темам, что приводит, по мнению критиков, к определенному ограничению возможностей писательницы.

Однако есть сторонники противоположного мнения, которые считают, что главная оутсовская тема — тема насилия и «ужаса американской жизни» — очень актуальна для сегодняшней Америки и то, что писательница остается верна этой теме, является достоинством ее прозы, а не недостатком.

В новом своем романе, «Сын утра» (издательство «Вангард пресс»), Оутс обращается вроде бы к неожиданному сюжету. В центре повествования — история мальчика Нэйтена, родившегося и выросшего в поселке, где живут сектанты-пятидесятники. По мнению рецензента еженедельника «Нью-Йорк таймс бук ревью», «Сын утра» производит порой впечатление «социологического исследования о жизни и деятельности американских пятидесятников»: Оутс со всеми подробностями описывает быт и нравы религиозных фанатиков, перед глазами читателя предстают странствующие проповедники, кликушествующие шаманы-«исцелители», ловкие «святые отцы», разъезжающие в роскошных «роллс-ройсах». В то же время, отмечает рецензент, в этом романе настойчиво звучит «оутсовская тема». Мальчик Нэйтен, которого хитрые главари секты объявляют «спасителем» (мальчик якобы обладает чудесной способностью слышать глас божий),— сын несчастной женщины, которая, будучи еще почти ребенком, подверглась страшному насилию. Да и вся жизнь в поселке проникнута тягостно-кошмарной атмосферой насилия — не физического, но морального: люди живут в постоянном страхе, нагнетаемом «святыми отцами» и ежедневными исступленно-безумными молебнами, унизительными и жестокими ритуалами «испытания веры».

Иногда книга кажется излишне затянутой (в ней более 400 страниц) и экзальтированной,— отмечает рецензент. Но этот недостаток он склонен объяснить «страстным желанием писательницы обращаться к сложным темам». Как и в прежних романах, Оутс достигает здесь подлинной виртуозности и глубокого психологизма в изображении своих героев. «Сын утра» по праву может занять место рядом с лучшими книгами писательницы, считает рецензент.

«РОМАН В НОВЕЛЛАХ» ДЖ. АПДАЙКА

«Слишком далеко. Истории из жизни семьи Мэйплов» — так называется сборник новелл (издательство «Фоусетт») известного американского писателя Джона Апдайка. Большинство из семнадцати рассказов, вошедших в книгу, ранее уже печатались в прессе, а теперь, появившись под одной обложкой, они, по мнению рецензента газеты «Интернэшнл геральд трибюн», составили единый цикл, своего рода «роман в новеллах».

В центре «романа» — типичная «средняя» американская семья: Ричард и Джоан Мэйпл. Сюжетная коллизия, отмечает рецензент, типично апдайковская: история постепенного крушения счастливого брака, «двадцатилетняя семейная жизнь по нисходящей траектории — от наивного простодушия до полного упадка». Начало семейной жизни Мэйплов было безоблачным, полным радужных надежд. Затем настало то, что, по словам рецензента, так часто случается не только на страницах книг Апдайка, но и в повседневной жизни: сначала мелкие семейные ссоры, постепенно перерастающие в крупные скандалы, затем начало взаимного отчуждения, флирты «на стороне» и, наконец,— распад семьи.

Несмотря на драматичность описываемых в этом «романе в новеллах» событий и безрадостный его конец, сам Апдайк в одном из интервью сказал, что не считает судьбу семьи Мэйплов полностью трагической. Писатель согласен с девизом своего героя Ричарда Мэйпла: «Ничто на свете не длится вечно». В предисловии к сборнику Апдайк расценил историю Мэйплов

Медвежонок Мишка — талисман «Олимпиады-80» (на снимке) стал главным героем многосерийного мультипликационного фильма, созданного американскими мультипликаторами.

(Журнал «Фильм»)

так: «Хотя рассказы о Мэйллах повествуют о крушении семьи, они в то же время являются хроникой множества светлых моментов в их жизни: это воспитание детей, прежде всего, и тысячи самых обыкновенных житейских радостей, которые они доставляли друг другу».

ТУНИС

ПРАЗДНИК КИНО ТРЕХ КОНТИНЕНТОВ

В Тунисе в седьмой раз прошли Карфагенские дни кино. Как свидетельствует кинообозреватель журнала «Жён Африк» Ферид Бугедир, никогда еще после учреждения в 1966 году этого фестиваля он не был столь представительным. Впервые в Карфаген для участия во внеконкурсном показе были приглашены кинематографисты Азии и Латинской Америки. Среди гостей Африки наибольший успех выпал на долю живущего в изгнании аргентинского режиссера Фернандо Соланаса, который привез в Карфаген два фильма: «Время костров» и «Сын Фьерро». Последний (Ферид Бугедир называет его «революционной поэмой») получил «Гран при» Форума трех континентов.

В конкурсном показе участвовали, как и на предыдущих шести фестивалях, фильмы Африки и арабских стран. Первая премия, золотая статуэтка богини Танит, была присуждена фильму «Приключения героя» алжирского режиссера Мерзака Аллуаша, представляющего собой, по словам Ферида Бугедира, «ироническое разоблачение традиционного героя, который скитается по вымышленной стране «третьего мира» в поисках правды».

Вторую премию получил малийский фильм «Баара», посвященный социальным конфликтам в современной Африке. Постановщика его, Сулеймана Сиссе, по «глубине проникновения в ритм африканской действительности» критик сравнивает с Сембеном Усманом. С большим успехом были показаны также фильмы «Уамба» малийца Аекали Кабы, «Вновь прибывший» бенинца Ришара де Медейроса, «Цена свободы» камерунца Диконге Пипы и «Нуба женщин с горы Шенуа», первая работа в кино известной алжирской романистки Асии Джеббар.

Новая дирекция фестиваля, отмечает Ферид Бугедир, очень много сделала для того, чтобы седьмые Карфагенские дни кино прошли успешно. В фестивале приняли участие кинематографисты сорока девяти стран. Было показано 509 фильмов. Цены на билеты в шестидесяти кинозалах страны, где шли фестивальные фильмы, были значительно снижены. В результате общее число зрителей фестиваля, который продолжался три недели, составило 850 000 человек. Однако этот праздник кино, заканчивает свою статью Ферид Бугедир, был испорчен тем обстоятельством, что на нем не было тунисских фильмов. Кинематографисты страны-организатора решили бойкотировать Карфагенские дни кино, поскольку государство не оказывает им достаточной финансовой помощи в организации проката их фильмов.

На снимке: актер Мустафа Джаджа, исполнитель главной роли в фильме Мерзака Аллуаша «Приключения героя».

(Журнал «Жён Африк»)

УРУГВАЙ

ДЕНЬ ПРОШЕДШИЙ, ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ

Уругвайская поэтесса Мария Ф. Гравина Телечеа была удостоена премии на литературном конкурсе «Каса де лас Американ» 1979 года за поэтический сборник «Изгнанник прозревает».

В 1972 году поэтесса была вынуждена покинуть Уругвай. Но горечь разлуки с родиной не стала той главной нотой, которая определила настрой книги.

«Это поэзия мужества и веры,— отмечает рецензент газеты «Хувентуд ребельде»,— и ей не свойственны безысходная печаль и щемящая боль одиночества. И потому воспоминания о павших в борьбе с фашизмом уругвайских патриотах — это одновременно и дань уважения их героизму, и пламенный призыв к живым продолжать правое дело. И проникнутые лиризмом строки любви неотделимы от откровенного признания общности убеждений с любимым человеком».

Ведущий лейтмотив поэзии М. Гравины Телечеа, подчеркивает рецензент, — не признать себя побежденной и в самые, казалось бы, невыносимые скорбные часы...

Символично название этого сборника — «Изгнанник прозревает», первой книги поэтессы, книги, отразившей не только глубоко личные переживания автора, но и судьбу сотен тысяч латиноамериканцев, которые вдали от родины осознали с особой силой необходимость продолжения борьбы за национальное освобождение народов Латинской Америки.

ФИНЛЯНДИЯ

«КРАСНАЯ ЧЕРТА» АУЛИСА САЛЛИНЕНА

А. Саллинен, молодой талантливый финский композитор, автор нескольких

симфонических произведений и оперы «Всадник», создал новую оперу «Красная черта», в основу которой лег одноименный роман известного финского писателя Илмари Кианто, написанный в 1909 году. Действие романа происходит в глухом лесном селении на севере Финляндии, в нем показана тяжелая, полная драматизма жизнь его обитателей.

Премьера оперы состоялась на сцене Финской национальной оперы. В главных партиях выступили известные певцы — Йорма Хюннинен и Тару Вальякка. Режиссер спектакля — Калле Холмберг.

Ф[illegible]

КАК ЭТО БЫЛО

Известный западногерманский писатель Макс фон дер Грюн написал книгу, посвященную событиям недавней истории Германии: с 1926 (год рождения писателя) по 1945 г. Книга называется «Как это было на самом деле».

Это прежде всего своеобразный учебник истории: здесь есть и даты, и рассказ о реальных событиях, который иллюстрируется документами, отрывками из книг, свидетельствами очевидцев.

Но одновременно это и автобиография самого писателя: история маленького мальчика, затем подростка и юноши, который сам был свидетелем того, о чем пишет.

Тогда он многого не знал, не понимал; теперь он изучил исторические источники, которые дополняют и подкрепляют живой рассказ. Макс фон дер Грюн пишет о своей семье, о бедствиях, которые выпали на ее долю. Отец писателя был сапожником, по большей части безработным; после прихода к власти фашистов он попал в концлагерь. Мать нанималась поденщицей к богатому крестьянину. Макс фон дер Грюн пишет о том, как безработица, обозленность, безнадежность толкали многих людей в объятия фашизма.

«Это не только автобиография, не только учебник по истории эпохи,— замечает в еженедельнике «Ди цайт» критик Эдгар Хильзенрат.— Книга Макса фон дер Грюна звучит как предостережение против фашизма». Рецензент называет эту «политическую книгу для юношества» необычайно увлекательной. «Я прочел ее от первой страницы до последней не отрываясь».

ФРАНЦИЯ

ПОЧЕМУ ПАЛАЧИ БОЯТСЯ СОБСТВЕННОЙ ТЕНИ

Новый роман Агустина Гомеса Аркоса «Сцена тайной охоты» (изд-во «Сток») вызвал широкий отклик во французской прессе. Испанец по происхождению, Агустин Гомес Аркос покинул франкистскую Испанию, где были запрещены все его произведения. Более десяти лет он живет во Франции, пишет по-французски романы, проникнутые, по мнению французских критиков, «эпическим реализмом». Главная тема его творчества — величие души народа, не покоряющегося фашистской диктатуре.

Последний роман Гомеса Аркоса продолжает эту главную тему. Действие его происходит в одном из испанских городов, жителей которого гнетет постоянный страх перед тайной полицией. Роман начинается и завершается одной и той же сценой — убийством дона Эрмана Энрикеса, самого отвратительного полицейского, замучившего сотни людей.

Основное в романе — его политический смысл, пишет критик «Нувель литтерер» Пьер Мори,— именно на таких «деятелях», как Энрикес, держался режим Франко. Гомес Аркос разоблачает власть предержащих с их омерзительными пороками, страстью к наживе, порождающей бесконечную цепь преступлений.

По мнению Доминика Гризони в «Магазин литтерер», педантичный полицейский чиновник Эрман Энрикес, для которого садизм и усердие по службе нераздельны, является одним из тех, на ком держится фашистская диктатура. Он рассчитывает на низость окружающих его людей. «Я не хочу власти,— говорит он,— я хочу лишь служить ей».

Ив Флоренн отмечает в «Монд», что хотя в центре романа фигура истязателя и палача, в эпилоге романа, в его заключительных страницах, воплощено все величие народной эпопеи. Среди жертв полицейского палача два персонажа обретают художественную значимость: борец с диктатурой Луис Мориана и его жена Тереса Лопес. Луис умирает от пыток.

Ален Пуарсон в «Юманите» пишет о том, что убийство палача в романе Гомеса Аркоса — это символическое изображение народной расправы над диктатурой, победы жизни над бесчеловечностью.

Критик отмечает искусство, с которым писатель посредством внутренних монологов раскрывает образ мышления, порождаемый диктатурой. Книга оптимистична не только потому, что кончается смертью палача. Прекрасен образ Тересы Лопес, символизирующий память народа о преступлениях и о том, что сделало возможным эти преступления. В романе показано, что палачи всегда кончают тем, что боятся собственной тени.

ЧЕТЫРЕ ТЫСЯЧИ ПИСЕМ ЗОЛЯ

Вышел первый том многотомной публикации «Писем Эмиля Золя» в совместном франко-канадском издании.

Главный редактор с французской стороны — Анри

Кадр из многосерийного фильма по роману Луи Арагона «Орельен», показанного по французскому телевидению. «Встреча с великим писателем» — так назвал эту передачу критик журнала «Франс нувель» Ален Пуарсон.

(Журнал «Франс нувель»)

Миттеран, руководивший изданием собрания сочинений Золя в издательстве Клода Шу. Главный редактор с канадской стороны — профессор университета в Торонто Бард Беккер.

В интервью с корреспондентом «Юманите» Анри Миттеран рассказал: «Над изданием писем Эмиля Золя работают многие десятки специалистов разных стран. Корреспонденция Золя и связанные с ней документы приведены в порядок и хранятся в Национальной библиотеке Парижа, их копии — в университете Торонто. Таким образом, существуют два центра архивов Золя — в Европе и в Америке. Это сделано для того, чтобы облегчить доступ к ним исследователей обоих континентов. Наша работа над письмами Золя — это новая форма исследования, объединяющая несколько университетов и научных учреждений во Франции и в Канаде. По количеству и качеству работ о Золя и натурализме канадские исследователи (и англоязычные и франкоязычные) занимают сейчас первое место. Мы собрали около четырех тысяч писем Золя. В предыдущих изданиях было не более шестисот. Разумеется, среди них есть и такие, которые публиковались в различных журналах. Они обращены к сотням адресатов, среди которых немало знаменитых современников Золя: Флобер, Гонкуры, Мишле, Доде, Мопассан, Верлен, Малларме, Сезанн, Роден.

Если можно так выразиться, я «охотился» за неопубликованными письмами Золя в течение двадцати лет. С 1970 года «охота» превратилась в систематическое коллективное «прочесывание» библиотек, публичных распродаж, архивных фондов, журналов, собраний частных коллекционеров, у которых мы получали фотокопии их находок. Мы исследуем все библиотеки Европы. Я призываю всех, кто владеет письмами Золя, присылать нам их фотокопии.

В начавшемся издании будет десять или, может быть, двенадцать томов. В них войдет более шести тысяч страниц писем, приложений, примечаний, биографических и исторических статей. Первый том охватывает письма с 1858 по 1867 год. Они являются основным источником сведений о молодом Золя, его первых выступлениях в прессе, о его дружеских связях, о глубоком участии, проявленном им к работе Сезанна, художников-импрессионистов, о его первых романах. Эти письма — настоящая энциклопедия полувека литературной жизни и идейной борьбы. В них отражено общение Золя со всеми примечательными людьми его эпохи, его отношение ко всем знаменательным событиям нашей литературы и нашей истории между 1860 и 1900 гг. и прежде всего к сотрясавшей страну лихорадке дела Дрейфуса. В том, что касается собственно дела Дрейфуса, публикуемые письма и ответы на них, из которых даются обширные выдержки, по-новому осветят вызванное им общественное движение, его идеологические корни. Письма Золя о деле Дрейфуса, даже частные его письма, это великолепные тексты, сами по себе составляющие целостное произведение».

ЧАД

ИНТЕРВЬЮ С ПОЭТОМ

Ливийский еженедельник «Аль-Усбу ас-сакафи» напечатал интервью своего корреспондента с поэтом и общественным деятелем Республики Чад Мухаммедом Джермой Хатиром.

Господствующим жанром литературы Чада является, по словам М. Дж. Хатира, поэзия.

Говоря о влиянии французской культуры, чадский поэт подчеркнул, что мусульманская интеллигенция страны считает французский язык лишь средством приобщения к мировой культуре.

Что касается других жанров, то широкое распространение занимает, по словам Хатира, фольклор, который литераторы записывают и обрабатывают. Публикуются также рассказы и критические статьи. Из чадских литераторов наибольшей популярностью пользуются известный прозаик и критик, пишущий на французском языке, Ибрагим Саид, лауреат нескольких литературных премий, новеллист Баба Мустафа и ученый и публицист Д. Комина.

В период с 1968 по 1974 г. в Чаде были осуществлены реформы, имевшие целью сохранение и развитие африканской культуры. Эти реформы нашли глубокий отклик у чадского народа, так как «выражали его стремление к самобытности, к возрождению африканской цивилизации».

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

«ФАНТАСТИЧЕСКИЕ МУЖЧИНЫ С КИНОАППАРАТОМ»

Восемьдесят лет прошло с тех пор, как Ян Кршиженецкий начал снимать фильмы, став впоследствии первым кинематографистом Чехословакии.

Как сообщает журнал «Кино», этому выдающемуся режиссеру и его коллегам посвятили фильм «Фантастические мужчины с киноаппаратом» сценарист Олдржих Влчек и режиссер театра и кино Иржи Менцель, создатель трагикомических лент «Капризное лето» (экранизация новеллы Владислава Ванчуры), «На хуторе у леса», «Кто ищет золотое дно» и другие.

В фильме «Фантастические мужчины» авторы стремились воспроизвести атмосферу в Чехии на рубеже столетий и первые попытки энтузиастов превратить тогда еще всеми презираемое дитя техники в десятую музу. О больших трудностях и маленьких победах на этом пути с чувством юмора и налетом ностальгии вместе со сценаристом и режиссером рассказали известные актеры Рудольф Грушинский и Владимир Меньшик.

Одну из трех главных ролей сыграл режиссер Иржи Менцель, в исполнительском мастерстве которого как бы кристаллизуется тип юмора, присущий его режиссуре. «Не люблю шутку ради шутки. Нужно всегда искать такой угол зрения, который не улучшает увиденное, а дает возможность лучше видеть,— говорит Иржи Менцель.— Школой для меня был кинематографический гротеск, и я убедился в том, что из многих коми-

На снимке: кадр из фильма «Фантастические мужчины с киноаппаратом».

(Журнал «Кино»)

ков был не забыт только Чарли Чаплин. И не потому, что его искусство было более совершенным в техническом отношении, а шутки более смешны. Кроме шутки там было еще нечто, что давало зрителю возможность отождествить себя с героем. А то, что скрывалось за юмором, просто не забудется, как забываются головоломные трюки, не имеющие иной задачи, кроме задачи атаковать диафрагму зрителя. Примером для меня служит юмор Чаплина, Джерми, Моничелли, Ренуара, юмор Вериха и Восковца в их довоенных фильмах».

Но не только комики мирового экрана учили режиссера. «В чешской литературе, а соответственно и в чешском кино,— добавляет Менцель,— есть одна прекрасная традиция: мы умеем и на серьезные вещи, окружающие нас, смотреть с улыбкой. Это делали, к примеру, Иржи Восковец с Яном Верихом и, разумеется, классик юмора Ярослав Гашек».

«Фантастические мужчины с киноаппаратом» в известной степени «личный фильм»,— отмечает рецензент журнала «Кино», — потому что Менцель играет своего собрата-режиссера и может высказать свое мнение о миссии киноискусства, помогающего человеку познавать действительность».

ПАМЯТИ ИРЖИ ТРНКИ

Памяти Иржи Трнки, умершего несколько лет назад, посвящена выставка, открывшаяся в Вальдштейнском манеже в Праге. Живопись, графика, мелкая деревянная скульптура, эскизы к театральным постановкам и, конечно же, известные всему миру персонажи кукольных фильмов, созданных этим замечательным мастером: маленький грустный император из «Соловья императора», деревенские увальни из «Шпаличека», многочисленные шуты — от балагуров до мудрых королевских советников...

Еженедельник «Свет в образах» отмечает вынужденную фрагментарность выставки. Очень многосторонним и щедрым был талант художника-сценографа: широко известны его эскизы к постановкам Национального театра, иллюстратора книг — на его творческом счету их 127 (причем только «Сказки» Андерсена издавались с его иллюстрациями 46 раз на 13 языках), портретиста — им созданы десятки оригинальных портретов.

Среди 92 отечественных и международных наград, обычно упоминаемых в биографиях Трнки, отсутствует самая первая, полученная девятилетним Иржи на конкурсе детского рисунка, устроенном знаменитым кукольником Скупой. Но именно встреча со Скупой, работа в его театре с прославленными куклами Спейблом и Гурвинеком определили судьбу будущего художника. «Скупа,— говорил Трнка впоследствии,— научил меня понимать, что с помощью кукол можно выразить все чувства, впечатления и человеческие страсти. В ту пору для меня это было открытием и немного чудом, которое я стремлюсь разгадать и сегодня».

В кино Трнка начал работать сразу после его национализации в 1945 г. Уже его работа в студии рисованного фильма «Братья по трюку» оказала заметное влияние на выпускаемые фильмы: они отличались изобразительной взыскательностью и поэтическим настроем. В 1946 г. Иржи Трнка получил первую международную премию на Международном кинофестивале в Канне за фильм «Зверюшки». Тем не менее он расстался с рисованным кино и основал студию кукольного фильма. Уже его первый фильм «Шпаличек, или Чешский год» раскрыл возможности этого вида искусства, в то же время показав необычность и многогранность таланта автора. «Чертова мельница», «Баня», «Ночь на Ивана Купалу», «Похождения бравого солдата Швейка», «Кибернетическая бабушка», «Архангел Гавриил и госпожа Гусыня», «Рука» и многие другие фильмы покоряют миллионы зрителей. «Трнка — волшебник, умеющий ценить детские грезы. Его магия — это поэзия, присущая миру каждого ребенка и утрачиваемая взрослыми, по рассеянности забывшими оставить для нее уголок в сердце»,— писал Жан Кокто.

Трнка не раз говорил, что никогда не стремился рассказывать истории для развлечения детей и взрослых. В основе всех его фильмов лежит необходимость сказать человечеству нечто очень важное и актуальное. «В фильмах Трнки,— замечал Б. Полевой,— можно найти все большие гуманистические идеи нашего времени». И не только в фильмах... Все его обширное творчество, как бы тезисно представленное на выставке в Праге, свидетельствует об этом.

ШВЕЙЦАРИЯ

НОВАЯ ПОВЕСТЬ МАКСА ФРИША

Маленькая швейцарская деревушка в одной из горных долин южного Тессина. Здесь одиноко и замкнуто живет в своем доме 73-летний пенсионер, господин Гайзер. Уже много дней и ночей как непогода отрезала деревушку от остального мира. В то время, как все в природе, кажется, готово ввергнуться в первобытный хаос, Гайзер отдается странному занятию: он выписывает и вырезает из книг заметки о древнейших геологических эпохах земли. Название одной из этих эпох фигурирует в заглавии новой повести Макса Фриша: «Человек появляется в голоцене».

Писатель широко использует в этой повести прием монтажа: цитаты из специальных работ, даже иллюстрации включаются в повествование. Возникает ощущение глубинной взаимосвязи всего, что происходит в природе, в доме и в сознании старика, размышля-

ющего о трагизме человеческой жизни.

Утихает буря, вновь ярко светит солнце, прекрасны горы вокруг. Все прошедшее кажется страшным сном. Но красота эта уже не для Гайзера. После пережитого его настигает апоплексический удар.

Хотя между героем книги и автором нет явного сходства, рецензент газеты «Франкфуртер альгемайне» Вальтер Хинк считает эту повесть во многом автобиографичной. Нетрудно узнать даже пейзаж окрестностей местечка Брецоны и описание тессинского дома Макса Фриша, знакомое по его дневникам. По мнению критика, писатель рассказывает здесь о собственном жизненном кризисе, связанном с мыслями о старости. Рецензент отмечает мастерство Фриша, особенно проявившееся в пейзажных описаниях.

ШВЕЦИЯ

«ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ НИКОГДА НЕ УМИРАЛ»

Осенью этого года исполняется сто лет со дня рождения известного американского поэта-песенника, профсоюзного вожака и агитатора Джо Хилла, казненного в 1915 г. на электрическом стуле по сфабрикованному «делу» в отместку за активное участие в рабочем движении. На родине Джо Хилла (так же, как и в ряде других стран), в шведском городе Евле, из которого в начале века вслед за своим братом в США эмигрировал Йоэль Эмануэль Хеглунд (настоящее имя Хилла), в честь юбилея знаменитого поэта

На снимке: сцена из спектакля «Человек, который никогда не умирал».

(Газета «Дагенс нюхетер»)

состоялась премьера пьесы о короткой, но яркой жизни Джо. Автор постановки Христиан Лунд взял за основу известную пьесу о Джо Хилле «Человек, который никогда не умирал» американского автора Барри Стэвиса, написанную в 50-х годах и переведенную на 18 языков мира. Нынешний, шведский, вариант этой пьесы отличается от оригинала некоторыми сокращениями, за счет которых сделаны многочисленные вставки музыкальных номеров, в том числе песен Джо Хилла. Исполнитель роли героя гётеборгский артист Андерс Гранель оказался хорошим певцом, а весь спектакль, как отмечала газета «Ню даг», вызывает огромный энтузиазм публики. «Дагенс нюхетер» в этой связи отмечала, что приехавший в Евле из США на премьеру своей пьесы 75-летний Барри Стэвис сначала вел себя довольно сдержанно, явно относясь с подозрением и недоверием к шведской интерпретации своего произведения. Затем, однако, он сдался и на премьере, захваченный атмосферой общего подъема, отбивая такт ногами, хлопая в ладоши, он вместе с артистами стал петь популярную среди американских рабочих песню Джо Хилла «Проснитесь, рабы мира». Пьеса «Человек, который никогда не умирал» поставлена шведским гастролирующим театром «Рикстеатер». После гастролей в Евле ее увидят жители еще 25 городов Швеции. В связи с памятным юбилеем своего знаменитого земляка шведские фирмы выпустили долгоиграющие пластинки с записями наиболее известных песен американского профсоюзного вожака.

◆

Авторы этого номера

В подборке стихов молодых польских поэтов представлены:

■

ЮЗЕФ БАРАН — JÓSEF BARAN (род. в 1947 г.).

Окончил горный техникум, учился в университете в Кракове, работал сельским учителем, журналистом. Автор трех книг стихов. Его творчество отмечалось премиями — Анджея Бурсы (установленной для молодых поэтов Кракова) и Станислава Пентака (которой отмечаются молодые писатели, пишущие о деревне).

Публикуемые стихи взяты из его сборников «Наши искреннейшие разговоры» («Nasze najszczersze rozmowy». Kraków, Wydawnictwo Literackie, 1974), «Пока еще» («Dopóki jeszcze». Warszawa, LSW, 1976).

■

МИРОСЛАВ БОРУШЕВСКИЙ — MIROSŁAW BORUSZEWSKI (род. в 1942 г.).

Работал на заводе, в автотранспорте, механизатором в сельскохозяйственных кооперативах; окончил заочно техникум и политехнический институт; в настоящее время инженер-механик. Печатается в периодике с 1975 г.

Публикуемые стихотворения были напечатаны в его первой книге стихов «Кровь и шоколад» («Krew i czekolada». Łódź, Wydawnictwo Łódzkie, 1977).

■

ЮЛИАН КОРНХАУЗЕР — JULIAN KORNHAUSER (род. в 1946 г.).

Научный сотрудник университета в Кракове. Автор четырех поэтических сборников, повести «Несколько мгновений» («Kilka chwil», 1975) и монографии о югославской поэзии XX в. «От мифологии к конкретности» («Od mitu do konkretu», 1978).

Публикуемые стихи взяты из книг «Настанет праздник и для лентяев» («Nastanie święto i dla leniuchów», 1972), «Едоки картофеля» («Zjadacze kartofli». Kraków, Wydawnictwo Literackie, 1978), «Чрезвычайное положение» («Stan wyjątkowy». Warszawa, PIW, 1978).

■

МАРИАННА БОЦЯН — MARIANNA BOCIAN (род. в 1942 г.).

Окончила филологический факультет Вроцлавского университета, работала в городской библиотеке Вроцлава, в научном издательстве. Автор шести книг стихов; первая книга вышла в 1968 г.

Стихотворения, вошедшие в подборку, взяты из ее сборников «Республика Вавилонской башни» («Wieży Babel Pospolita». Wrocław, Ossolineum, 1972) и «Бесконечные прямые» («Proste nieskónczone». Wrocław Ossolineum, 1977).

■

СТАНИСЛАВ ГОСТКОВСКИЙ — STANISŁAW GOSTKOWSKI (род. в 1948 г.).

Окончил Гданьский университет, работает в Гданьской городской библиотеке. Печатается в периодике с 1969 г. Автор сборников стихов «Не хороните меня живым» и «Исключительно твое личное дело» («Wyłącznie twoja osobista sprawa», 1978).

Публикуемые стихи взяты из первого сборника («Nie chowajcie mnie żyjącego». Gdańsk, Wydawnictwo Morskie, 1974).

АСТАФЬЕВА НАТАЛЬЯ ГЕОРГИЕВНА.

Советская поэтесса, переводчик с польского. Автор книг стихов «Девчата» (1959), «Гордость» (1961), «Кумачовый платок» (1965), «В ритме природы» (1977). В ПНР вышел сборник ее стихов в переводах польских поэтов. «Иностранная литература» печатала переводы Н. Астафьевой из поэзии Я. Ивашкевича, К. Иллакович, В. Слободника, А. Свирщиньской, Х. Посвятовской, Т. Новака, Е. Харасымовича, Е. Липской.

ТИБОР ДЕРИ — DÉRY TIBOR (1894—1977).

Венгерский писатель, поэт, эссеист; лауреат премий имени Кошута и Аттилы Йожефа. Автор повести «Лицом к лицу» («Szemtöl szembe», 1945), романов «Неоконченная фраза» («A befejezetlen mondat», t. I—III, 1947), «Ответ» («Felelet», t. 1—2, 1950—1952), «Приговора нет» («Ítélet nincs», 1969), «Воображаемый репортаж с американского попфестиваля» («Képzelt riport egy amirikai popfestiválról», 1971), книги эссе «Приношения дней» (фрагменты этой книги публиковались в «ИЛ» № 9, 1974).

Подробнее о писателе и его творчестве — в статье Имре Добози.

Мы предлагаем вниманию читателя повесть Тибора Дери — «Милый бо-пэр!..» («Kedves bópeer!..». Budapest, Szépirodalmi könyvkiadó, 1976), которая печатается с небольшими сокращениями.

ИМРЕ ДОБОЗИ — DOBOZY IMRE (род. в 1917 г.).

Венгерский писатель, драматург, публицист. Автор романов, пьес, очерков, сборников рассказов, киносценариев. Председатель Союза венгерских писателей, лауреат премий имени Кошута и Аттилы Йожефа. В «Иностранной литературе» (№ 6, 1968) напечатана его повесть «Вторник, среда, четверг», издательство «Прогресс» выпустило сборник рассказов «Человек в кожаной тужурке» (1969), в периодической печати неоднократно публиковались его рассказы и статьи.

МАЛЫХИНА ЕЛЕНА ИВАНОВНА.

Советский переводчик, литературовед. Автор многих статей к изданиям венгерских писателей на русском языке. Основные переводы с венгерского: Ласло Немет «Траур», Дюла Ийеш «Шандор Петефи», Тибор Дери «Ответ», Ференц Шанта «20 часов», Дюла Фекете «Смерть врача», Лайош Мештерхази «Загадка Прометея» и др.

КИПРИАН ЭКВЕНСИ — CYPRIAN EKWENSI (род. в 1921 г.).

Нигерийский писатель, пишет на английском языке. Окончил Ибаданский университет и Политехнический техникум в Ачимоте (Гана); один из видных деятелей нигерийской культуры, работал в нигерийской Радиовещательной компании. Автор романов «Люди города» («People of the City», 1954), «Джагуа Нана» («Jagua Nana», 1961), «Прекрасное оперение» («Beautiful feathers», 1963), «Иска» («Iska», 1966), сборников рассказов и исследований по вопросам африканской литературы и искусства.

«Иностранная литература» познакомила читателей с творчеством этого писателя, напечатав его повесть «Когда горит трава» (№ 8, 1963). Затем на русский язык был переведен роман «Люди города» и ряд рассказов.

В этом номере мы начинаем публиковать новый роман Киприана Эквенси «Переживи мир» («Survive the Peace». London, Heinemann, 1976).

ДЖОН АПДАЙК — JOHN UPDIKE (род. в 1932 г.).

Американский писатель. Родился в семье учителя. Окончил Гарвардский университет. Автор многих романов и сборников рассказов, член Американской Академии искусств и наук. Известность и признание пришли к Дж. Апдайку после выхода в свет романов «Кролик, беги» («Rabbit, Run», 1960) и «Кентавр» («The Centaur», 1963), за который ему была присуждена Национальная книжная премия. В последующие годы вышли книги рассказов «Музыкальная школа» («The Music School», 1966), «Музеи и женщины» («Museums and Women», 1972), романы «Супружеские пары» («Couples», 1968), «Кролик возвращается» («Rabbit Redux», 1971), «Месяц безделья» («A Month of Sundays», 1976) и другие. Его лучшие рассказы 1967—1968 гг. были отмечены премией О. Генри.

«Иностранная литература» познакомила советских читателей с творчеством этого видного писателя, напечатав на своих страницах романы «Кентавр» (№ 1, 2, 1965) и «Ферма» (№ 4, 1967).

Мы предлагаем вниманию читателей новый роман Дж. Апдайка «Давай поженимся» («Marry Me». New York, Alfred A. Knopf, 1976). начало которого публикуется в этом номере.

КУДРЯВЦЕВА ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА

Советский переводчик с английского языка. Печатается с 1949 г. В ее переводах издавались произведения Ч. Диккенса, Дж. Голсуорси, М. Твена, Т. Драйзера, Р. Олдингтона, Дж. Уэйна, Р. Крайтона, Р. Хьюза, А. Хейли и др.

БАКЛАНОВ ГРИГОРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ

(род. в 1923 г.).

Советский писатель. Начал печататься в 1950 г. Автор романов «Июль 1941 года» (1964), «Друзья» (1975), повестей «Южнее главного удара» (1957), «Пядь земли» (1959), «Мертвые сраму не имут» (1961), «Карпухин» (1965) и др. Перу Г. Бакланова принадлежит также ряд сценариев фильмов, рассказы, публицистические очерки. Его книги переводились на многие языки и изданы в тридцати странах мира.

ТОНИНО ГУЭРРА — TONINO (ANTONIO) GUERRA (род. в 1920 г.).

Итальянский поэт, прозаик, сценарист. Его первая книга «Каракули» («I scarabocc») появилась в 1946 г. Затем последовали поэтические сборники «Ружейный выстрел» («La sciupteda», 1950), «Лунный календарь» («E luneri», 1954), произведения прозы «История Фортунато» («La storia di Fortunato», 1952), «Равновесие» («L'equilibrio», 1967), «Сто птиц» («I cento uccelli», 1973) и др.

Тонино Гуэрра — один из авторов сценариев к фильмам М. Антониони «Приключение», «Ночь», «Красная пустыня», «Blow up», к ряду фильмов Ф. Феллини и др.

Публикуемая подборка составлена из стихотворений его сборника «Волы» («I bu», 1972).

ВИТТОРЕ БРАНКА — VITTORE BRANCA (род. в 1913 г.).

Итальянский критик и литературовед, профессор университета в Падуе, президент Международной ассоциации по изучению итальянского языка и литературы, вице-президент научно-культурного центра «Фонд Чини», главный редактор журнала «Леттере итальяне». Автор монографий «Альфьери и поиски стиля» («Alfieri e la ricerca dello stile», 1947), «Средневековый Боккаччо» («Boccaccio medievale», 1956) и многочисленных работ о средневековой литературе и литературе эпохи Возрождения. Под его редакцией было осуществлено научное издание «Декамерона» Дж. Боккаччо и других классиков.

ХЛОДОВСКИЙ РУФ ИГОРЕВИЧ

(род. в 1923 г.).

Советский литературовед и критик, переводчик; кандидат филологических наук. Автор книги «Франческо Петрарка. Поэзия гуманизма» (1974) и многих статей по истории итальянской и русской литературы. Переводил новеллистов Возрождения, в частности Пьетро Фортини, Лоренцо Медичи, Антона Фр. Граццини. Из современных итальянских писателей — А. Моравиа, Л. Пиранделло, И. Кальвино, В. Пратолини, К. Кассола и др.

ВЛОДЗИМЕЖ ШИСЛОВСКИЙ — WŁODZIMIERZ SCISŁOWSKI (род. в 1931 г.).

Польский писатель, юморист и сатирик. Автор сборников стихов, юморесок и фражек «В моем аллюзионе» («W moim aluzjonie», 1967), «Внешность обманчива» («Pozery mylą», 1973), «Треугольные квадраты» («Trójkątne kwadraty», 1977) и др.

Публикуемые фражки отобраны из сборника «Тирады и нюансы» («Tyrady i niuanse». Poznań, Wydawnictwo poznańskie, 1978).

Г. Л. ЛЭК — G. L. LACK.

Современный английский писатель, автор научно-фантастических рассказов.

Рассказ «Упрямый робот» был напечатан в сборнике «Новое в научной фантастике» («New Writings in SF 8». New York, Bantam Books, 1971).

■

ВОЛЬФРАМ ЗИБЕК — WOLFRAM SIEBECK.

Западногерманский юморист, постоянно сотрудничающий в еженедельнике «Ди цайт».

Рассказ «О боже, боже!..» («O selig, o selig! . .») был напечатан в сборнике «Известно как... и 46 других рассказов» («Gewusst Wie und sechsundvierzig andere Satiren». Zürich, Diogenes Verlag A. G., 1970).

■

ШАНДОР ТЁРЁК — TÖRÖK SÁNDOR (род в 1904 г.).

Венгерский писатель, драматург, лауреат премии имени Аттилы Йожефа. Автор романов, пьес, популярных произведений для детей и юношества.

Рассказ «Общество охраны людей» («Az Allatok Embervédo Egyesulte») взят из книги «Новые сказки» («Csupa új mese». Budapest, Móra könyvkiadó, 1976).

■

РАЗИПУРАМ КРИШНАСВАМИ НАРАЙАН — RASIPURAM KRISHNASWAMI NARAYAN (род. в 1906 г.).

Индийский писатель, пишет на английском языке. С творчеством Р. К. Нарайана хорошо знакомы советские читатели по переведенным на русский язык и опубликованным в «ИЛ» наиболее известным его романам «Святой Раджу» (№ 6, 7, 1960), «Людоед в Мальгуди» (№ 2, 1964), «Продавец сладостей» (№ 1, 2, 1969), «Мои дни» (№ 10, 11, 1978) и др. Его произведения переведены и на другие языки народов СССР. Р. К. Нарайан — член Литературной академии Индии, ему присуждена Национальная премия.

Публикуемая юмореска взята из сборника его рассказов «В будущее воскресенье» («Next Sunday». Bombay, 1956).

◆

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Н. Т. ФЕДОРЕНКО

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
Н. А. АБАЛКИН, Л. А. ГВИШИАНИ, Ю. В. ДАШКЕВИЧ, Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, И. Ф. ЗОРИНА, Т. П. КАРПОВА, Е. Ф. КНИПОВИЧ, А. А. КОСОРУКОВ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА, Т. Л. МОТЫЛЕВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, Е. Н. ПРАЛЬНИКОВ (зам. главного редактора), **А. Н. СЛОВЕСНЫЙ, М. Г. ФЕДОРОВ** (отв. секретарь), **К. А. ЧУГУНОВ** (зам. главного редактора), **М. А. ШОЛОХОВ, Л. З. ЭЙДЛИН.**

Художественный редактор **Л. Б. Филиппова.** Технический редактор **Л. Д. Фарафонтова.**

Адрес редакции: 109017. Москва, Пятницкая ул., д. 41. Телефон 233-51-47.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР».
Москва, Пушкинская пл., 5.

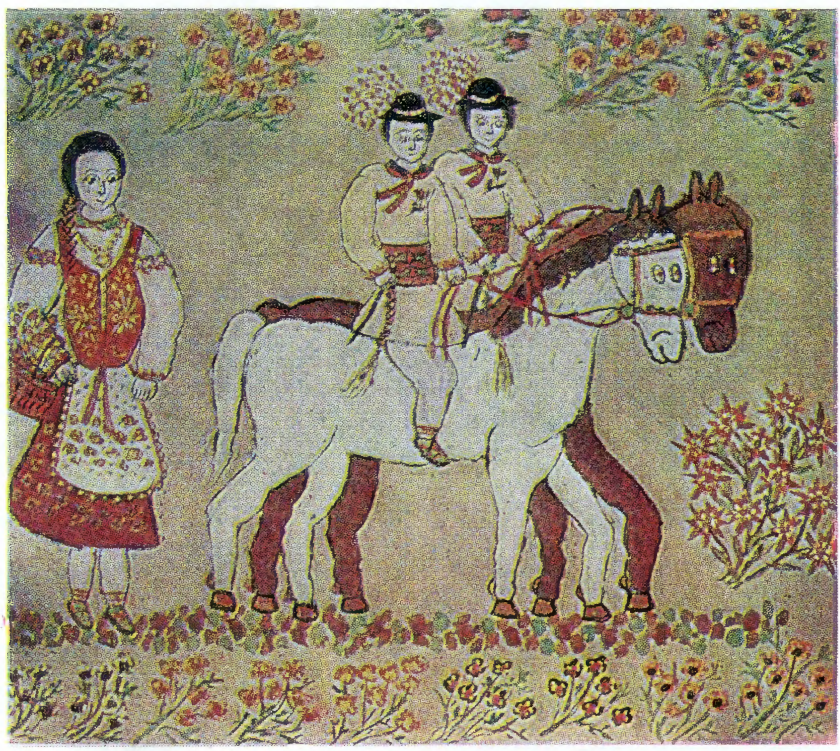
Журнал выходит один раз в месяц.

Сдано в набор 3/V 1979 г. А 02825. Подписано в печать 12/VI 1979 г.
Бумага 70×108 1/16 = 9 бум. л.= 18 п. л. (25,2) усл. печ. л. Уч.-изд. л. 30,03.

Тираж 686.000 экз. (1-й завод: 1 — 400.000 экз.) Зак. 1573.

Ордена Трудового Красного Знамени типография «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

АЛЬЖБЕТА КОРКОШОВА. Работа в лесу



АЛЬЖБЕТА КОРКОШОВА. Горцы

Цена 80 коп. ИНДЕКС 70394